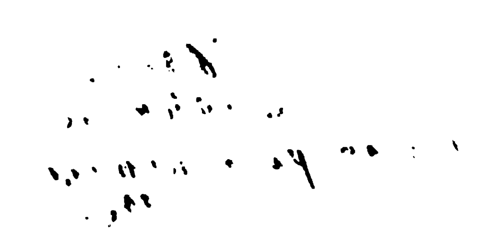

A 1,011,340





Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

Исторія русской интеллигенціи.

Итоги русской художественной литературы XIX вѣка.

Часть I.

Чацкій.—Онѣгинъ.—Печоринъ.—Рудинъ.—Лаврецкій.—Тентетниковъ.—Обломовъ.

2-е изданіе В. М. Саблина.





МОСКВА,

Типо-литографія „Русскаго Товарищества“ печ. и издат. дѣла.

Чистые пруды, Мыльниковъ пер., с. д. Телеф. № 18-35 и 53-95.

1907.

Предисловіе къ первому изданію.

Предлагаемая книга не претендуетъ на титулъ исторіи русской художественной литературы. Задача автора состояла въ томъ, чтобы прослѣдить, въ историческомъ порядкѣ (начиная съ 20-хъ годовъ), послѣдовательное развитіе и смѣну нашихъ общественно-психологическихъ типовъ, созданныхъ самой жизнью и нашедшихъ свое художественное воплощеніе въ извѣстныхъ образахъ—Чацкаго, Онѣгина, Печорина, Рудина и т. д. Это, стало быть, не исторія русской литературы, а исторія русской интеллигенціи, изучаемая по даннымъ или по „итогамъ“ художественной литературы, которые авторъ старался провѣрить и комментировать данными литературной критики, мемуаровъ, писемъ и другихъ документовъ соотвѣтственной эпохи.

Сообразно съ задачею труда, оставлены безъ разсмотрѣнія и даже безъ упоминанія многія первостепенныя произведенія нашей художественной литературы, каковы напр.: „Полтава“, „Мѣдный всадникъ“, „Русалка“, „Капитанская дочка“, „Тарасъ Бульба“, „Старосвѣтскіе помѣщики“, „Шинель“ и т. д., и т. д., представляющія большой интересъ съ точки зрѣнія историко-литературной, но либо не относящіяся, по сюжету, къ изучаемой эпохѣ (XIX в.), либо не воспроизводящія

типы мыслящей части общества. На последнемъ основаніи не разобраны (и только упоминаются мимоходомъ) типы первой части „Мертвыхъ Душъ“ (между тѣмъ, какъ второй части удѣлено соотвѣтственное мѣсто и разобрана фигура Тентетникова).

Авторъ не претендовалъ на полноту изложенія и оставилъ въ сторонѣ или упустилъ многое, что могло бы дать различнаго рода указанія и поясненія по вопросамъ, разсматриваемымъ въ этой книгѣ. Такъ, между прочимъ, обойденъ знаменитый романъ Герцена „Кто виноватъ?“ съ центральною фигурою Бельтова, откуда можно было бы извлечь не мало чертъ, характеризующихъ психологію передовыхъ дѣятелей времени. Это, несомнѣнно,—упущеніе, но оно отчасти извиняется тѣмъ, что фигура Бельтова не художественна, кромѣ того, этотъ пробѣлъ восполненъ характеристикою личности самого Герцена: вмѣсто не совсѣмъ удачнаго портрета взятъ его „оригиналъ“, въ высокой степени типичный для эпохи.

Я долженъ признать, что, выдѣляя и анализируя общественно-психологическіе типы, въ которыхъ, такъ сказать, чувствуется—учащенное или замедленное—біеніе пульса эпохи, я не позаботился о томъ, чтобы зарисовать и фонъ картины—тѣми красками, какія въ изобиліи найдутся, напр. у Писемскаго („Люди 40-хъ годовъ,“, „Тюфякъ“, „Тысяча душъ“ и др.), у Тургенева (въ повѣстяхъ, какъ „Андрей Колосовъ“, „Затишье“, „Два пріятеля“, „Ася“, „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, „Дневникъ лишняго человѣка“ и т. д.),

у Достоевскаго и у Л. Н. Толстого (въ ихъ раннихъ произведеніяхъ). Но это значительно увеличило бы размѣръ изслѣдованія,—и я предпочелъ, ограничиваясь анализомъ типовъ, обставить этотъ анализъ такими комментаріями, которые, какъ мнѣ кажется, отчасти замѣняютъ недостающій фонъ картины.

Само собой разумѣется, задачи и планъ труда исключаютъ разсмотрѣніе лирической поэзіи. Можно было бы, однако, указать на тѣ мотивы ея, въ которыхъ выразилось настроеніе передовыхъ дѣятелей того или другого времени (напр. „гражданскіе" мотивы у Рылѣева и у Пушкина). Но, мнѣ казалось, это будетъ „балластъ", такъ какъ настроеніе передовыхъ дѣятелей достаточно выясняется анализомъ типовъ. Единственное изъятіе я допустилъ для поэзіи Некрасова—въ виду ея важности для раскрытія идеологіи и даже самой психологіи передовыхъ круговъ общества въ эпоху 50-хъ—60-хъ годовъ.

Д. Овсянико-Куликовскій.

Предисловіе ко второму изданію.

Авторъ признаетъ справедливость нѣкоторыхъ изъ тѣхъ упрековъ, которые были сдѣланы ему въ рецензіяхъ, посвященныхъ первому изданію этой книги (въ особенности въ рецензіи *Е. А. Ляцкаго* въ Вѣстн. Европы) и постарается, по возможности, восполнить важнѣйшіе пробѣлы и упущенія. Это будетъ сдѣлано въ видѣ «*Приложенія*» ко *второй части* сочиненія, которая вскорѣ выйдетъ въ свѣтъ.

Справедливо также замѣчаніе, что заглавіе не вполнѣ отвѣчаетъ содержанію книги. „Исторія интеллигенціи“ сведена въ ней лишь къ изученію психологіи типовъ мыслящей части общества въ ихъ послѣдовательной, исторической преемственности. Но я затруднялся подобрать другое, болѣе подходящее заглавіе... *)

Мартъ 1907.

Д. Овсянико-Куликовскій.

---

*) Таковымъ могло бы, пожалуй, служить, напр., слѣдующее: „Этюды изъ исторіи и психологіи типовъ мыслящей части русскаго общества по даннымъ художественной литературы“.



ГЛАВА I.

„Горе отъ ума". Чацкій.

1.

Приступая къ нашей задачѣ, мы прежде всего встрѣчаемся въ историческомъ порядкѣ съ однимъ изъ величайшихъ произведеній реальнаго художественнаго творчества,—съ безсмертной комедіею Грибоѣдова.

Нѣкоторое подчиненіе иностраннымъ образцамъ (именно—Мольеру), разъясненное проф. Алексѣемъ Ник. Веселовскимъ [1]), ничуть не помѣшало реализму знаменитой пьесы. Ее можно даже назвать ультра-реальной: такъ тѣсны, такъ неразрывны ея связи съ дѣйствительностью, ограниченною весьма узкими предѣлами мѣста и времени. Однако, это не помѣшало ей получить огромное значеніе, далеко выходящее за эти предѣлы. Въ ней воспроизведено московское общество въ періодъ отъ 1812 до половины двадцатыхъ годовъ, но она сразу пріобрѣла всероссійское значеніе, сохранявшееся за нею въ теченіе всего XIX вѣка и не увядшее до сихъ поръ.

Типы Грибоѣдова, непосредственно взятые изъ дѣйствительности, списанные съ натуры, оказались безсмертными.

---

[1]) „Этюды и характеристики" (М. 1894), статья „Альцестъ и Чацкій", и въ особенности стр. 156—157, 161, 162—163.

Достаточно извѣстно, что и Фамусовъ, и Скалозубъ, и Загорѣцкій, и Репетиловъ, и нѣкоторыя второстепенныя лица были „портреты". Объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ Грибоѣдовъ въ извѣстномъ письмѣ къ Катенину (январь 1825 г.), гдѣ, возражая на упрекъ послѣдняго („характеры портретны"), онъ говоритъ: „Да! и я коли не имѣю таланта Мольера, то по крайней мѣрѣ чистосердечнѣе его; портреты и только портреты входятъ въ составъ комедіи и трагедіи, въ нихъ однако есть черты, свойственныя многимъ другимъ лицамъ, а иныя всему роду человѣческому настолько, насколько каждый человѣкъ похожъ на всѣхъ своихъ двуногихъ собратій" („Полное собраніе сочиненій А. С. Грибоѣдова" (1889), подъ редакціею И. А Шляпкина, т. I, стр. 187) [1]).—Въ средѣ, къ которой принадлежали „оригиналы", это произвело впечатлѣніе „скандала", „пасквиля". Но въ какіе-нибудь 3—4 года пьеса распространилась по всей Россіи въ тысячахъ списковъ,— и для многочисленныхъ читателей, не принадлежавшихъ къ данной московской средѣ, она была не пасквилемъ, а художественною сатирою, которая сразу же обнаружила свое тѣсное сродство съ обыденнымъ художественнымъ мышленіемъ довольно широкихъ круговъ читающей публики. Именно всѣ отрицательные типы, всѣ эти Фамусовы, Молчалины, Скалозубы, Загорѣцкіе,—въ своей основѣ—оказались такими, какими уже давно рисовались они въ мысли всѣхъ тѣхъ, кто, обладая извѣстнымъ умственнымъ развитіемъ, проявлялъ болѣе или менѣе сознательное отношеніе къ дѣйствительности. Образованное общество давно знало, напр., Фамусовыхъ съ ихъ покладистостью, ихъ умственной темнотой, ихъ нравственной слѣпотой, ихъ пошлостью и всегдашней

[1]) О лицахъ, послужившихъ (достовѣрно или предположительно) Грибоѣдову „оригиналами", см. въ „Полн. собр. соч. А. С. Грибоѣдова", подъ ред. И. А. Шляпкина, т. II, стр. 523—526.

готовностью, при всемъ ихъ московскомъ или вообще русскомъ благодушіи, впадать въ свирѣпое мракобѣсіе.—Достаточно хорошо извѣстны были въ разныхъ кругахъ и карьеристы Молчалины, и проходимцы Загорѣцкіе и т. д. Можно положительно утверждать, что въ этомъ смыслѣ Грибоѣдовъ не сказалъ обществу ничего совсѣмъ новаго. И тѣмъ не менѣе пьеса была принята, какъ нѣчто небывалое, какъ рѣдкостная новинка, не имѣвшая прецедентовъ. Такою, безъ всякаго сомнѣнія, и была она.—Это кажущееся противорѣчіе въ высокой степени характерно для произведеній реальнаго искусства. Взятыя изъ живой дѣйствительности, они говорятъ о томъ, что всѣ знаютъ; они являются только дальнѣйшимъ развитіемъ художественныхъ образовъ и художественно-моральныхъ сужденій, принадлежащихъ обществу, или, по крайней мѣрѣ, его мыслящей части. Оттуда то интимное пониманіе со стороны публики, которое—въ большинствѣ случаевъ—такъ легко достается на долю этого рода произведеній, если не всегда—въ ихъ цѣломъ и въ ихъ идеѣ, то, по крайней мѣрѣ,—типамъ, въ нихъ выведеннымъ. Пусть замыселъ Грибоѣдова и, въ частности, фигура (скажемъ лучше—идея) Чацкаго не были тогда (да и долго потомъ) поняты и оцѣнены по достоинству, но типы Фамусова, Молчалина, Скалозуба и т. д. были, безъ всякаго сомнѣнія, отлично поняты и вполнѣ правильно оцѣнены, потому что обобщенные въ нихъ натуры и характеры были достаточно извѣстны, и критическое отношеніе къ нимъ было въ образованномъ обществѣ явленіемъ обычнымъ. Здѣсь мы ясно видимъ ту связь высшаго художественнаго мышленія съ обыденнымъ, которая образуетъ психологическую основу реальнаго искусства. Благодаря этой связи, обыватель получаетъ возможность интимно понять созданіе художника,—по крайней мѣрѣ,—тѣ образы, которые въ обыденномъ мышленіи уже получили нѣкоторую „разработку"

и стали „ходячими типами". И вотъ, когда обыватель, встрѣчая ихъ въ произведенiи художника, легко узнаетъ въ нихъ, такъ сказать, свое собственное добро, тогда и происходитъ въ его сознанiи тотъ любопытный и важный процессъ обоюдной апперцепцiи, въ силу котораго въ одно и то же время „собственное достоянiе" читателя уясняется ему образами, созданными художникомъ, и эти образы постигаются силою „собственнаго достоянiя". И тогда то, что было смутно, неопредѣленно, неярко, становится яснымъ, опредѣленнымъ, яркимъ. „Собственное достоянiе" получаетъ характеръ вопроса, на который далъ отвѣтъ художникъ. Пусть въ созданiи послѣдняго не будетъ ничего „совсѣмъ новаго", но оно воспринимается, какъ новое, потому что отвѣтило на вопросъ, пролило яркiй свѣтъ на знакомыя явленiя, затронуло нравственное чувство читателя, заставило его задуматься надъ тѣмъ, что онъ хорошо зналъ—да не задумывался. Такъ, напр., читатели отлично знали Фамусовыхъ и Молчалиныхъ, но Грибоѣдовъ пролилъ неожиданный свѣтъ на эти фигуры и заставлялъ читаталей знать ихъ по новому,—смотрѣть на нихъ и судить о нихъ не по обывательски, а съ точки зрѣнiя той высшей человѣческой морали, которая присуща искусству. Не всѣ читатели одинаково были способны возвыситься до этой высшей морали, и—какъ это всегда бываетъ—комедiя Грибоѣдова въ разныхъ умахъ и натурахъ отражалась различно, возгораясь всѣмъ своимъ свѣтомъ въ однихъ, тускнѣя въ другихъ, опошливаясь въ третьихъ. Этотъ обычный процессъ взаимодѣйствiя между высшими продуктами творчества поэтовъ и обыденно-художественнымъ мышленiемъ публики улавливается и прослѣживатся на судьбахъ комедiи Грибоѣдова съ особливой наглядностью.

Въ своей замѣчательной статьѣ о „Горѣ отъ ума" („Миллiонъ терзанiй") Гончаровъ говоритъ: „Изустная оцѣнка опередила печатную, какъ сама пьеса задолго опередила

печать. Но громадная масса оцѣнила ее фактически... Она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишья, развела всю соль и мудрость пьесы въ разговорной рѣчи, точно обратила милліонъ въ гривенники, и до того испестрила грибоѣдовскими поговорками разговоръ, что буквально истаскала комедію до пресыщенія".—Случилось то, что предсказалъ Пушкинъ, говоря о языкѣ и стихѣ Грибоѣдова, когда впервые познакомился съ пьесой по рукописи: „О стихахъ я не говорю,—половина должна войти въ пословицу". (Письмо къ Бестужеву, 1825 г.).—Этотъ отзывъ Пушкина, какъ и приведенныя слова Гончарова, живо изображаютъ намъ тотъ процессъ взаимодѣйствія высшаго художественнаго мышленія съ обыденнымъ, о которомъ мы ведемъ рѣчь. Прежде всего въ самомъ языкѣ Грибоѣдова общество нашло свое собственное достояніе: всѣ эти мѣткія словечки, поговорки, обороты уже давно существовали въ рѣчи и были ходячей монетой языка. Теперь, использованные поэтомъ для обрисовки типовъ, они возвращались обратно въ обыденную рѣчь, въ стихію языка, еще болѣе отчеканенные, пріуроченные къ опредѣленнымъ художественнымъ образамъ, впитавъ въ себя изъ этихъ образовъ новое содержаніе или новые оттѣнки значенія. Старое становилось новымъ, обычное, ходячее и притомъ нерѣдко нечуждое нѣкоторой, свойственной всему ходячему, пошловатости являлось необычнымъ, значительнымъ, своеобразнымъ. Подержанному, притупившемуся оружію былъ данъ новый закалъ,—и теперь его удары были необычайно мѣтки и сильны. Волей-неволей читатели, даже наиболѣе благодушные, становились, „разнося рукопись на клочья, на стихи и полустишья" (какъ говоритъ Гончаровъ), единомышленниками и соратниками желчнаго старика. Обыденное художественное мышленіе читателей, благодаря Грибоѣдову, принимало характеръ своеобразнаго протеста и явно-критическаго отношенія къ дѣйствительности.

2.

Прежде всего намъ необходимо уяснить себѣ съ возможною отчетливостью **характеръ** этого протеста, этого критическаго отношенія къ дѣйствительности. Не будемъ смущаться тѣмъ, что тутъ (по выраженію Гончарова) „милліонъ размѣнялся на гривенники",—и посмотримъ, на что, собственно, были направлены сатирическія стрѣлы Грибоѣдова.

Онѣ были направлены на наше самое больное мѣсто: на тѣхъ, которые являлись—и тогда, и потомъ—основою самой гибельной изо всѣхъ реакцій—**реакціи общественной**. Для общественнаго блага и прогресса нѣтъ ничего пагубнѣе той умственной тьмы и свѣтобоязни, той нравственной слѣпоты и того душевнаго уродства, которыя воплощены въ образахъ Фамусова, Молчалина, Скалозуба и всѣхъ этихъ

> Старухъ зловѣщихъ, стариковъ,
> Дряхлѣющихъ надъ выдумками, вздоромъ...

Эти образы вышли столь выразительными, а филиппики Чацкаго были такъ мѣтки и страстны, что пьеса получила огромное общественное значеніе. И это была не просто художественная сатира. Это былъ также политическій памфлетъ, котораго дѣйствіе на умы въ первой половинѣ 20-хъ годовъ должно было быть особливо значительнымъ. То была эпоха, когда въ общественной атмосферѣ вѣяло весной, несмотря на затянувшуюся общую реакцію во внутренней политикѣ. Людей просвѣщенныхъ, жаждавшихъ, по выраженію Чацкаго, „свободной жизни", было тогда не мало, и уже слагался типъ передового дѣятеля, представителя новыхъ идей. Онъ и былъ воплощенъ Грибоѣдовымъ въ

фигурѣ Чацкаго. Черты этого типа мы найдемъ и у самого Грибоѣдова, и у Пушкина, и у Чаадаева, и у Николая Тургенева и т. д. — Широкое обобщающее значеніе этого образа, въ свое время недостаточно оцѣненное (напр., Пушкинымъ и потомъ Бѣлинскимъ), впервые было раскрыто Гончаровымъ въ вышеупомянутой статьѣ „Милліонъ терзаній".

Но прежде чѣмъ говорить о Чацкомъ, въ рѣчахъ котораго протестъ и критическое отношеніе къ дѣйствительности выразились такъ ярко, намъ нужно уяснить себѣ значеніе отрицательныхъ типовъ, выведенныхъ въ комедіи Грибоѣдова.

Несмотря на строгое пріуроченіе ихъ къ мѣсту и времени, они (по крайней мѣрѣ, важнѣйшіе изъ нихъ) продолжають сохранять доселѣ свое живое значеніе. Пьеса до сихъ поръ остается яркою сатирою и злымъ памфлетомъ. Вся разница (сравнительно съ ея прошлымъ, съ тѣмъ, чѣмъ была она въ 20-хъ гг.) въ томъ, что теперь она стала произведеніемъ историческимъ, т.-е. такимъ, которое воспроизводитъ эпоху, уже отошедшую въ историческое прошлое. Мы называемъ ее комедіею историческою въ томъ смыслѣ, какъ называемъ, напр., „Войну и Миръ" историческимъ романомъ.—При столь извѣстной измѣняемости нашихъ общественныхъ типовъ, при той быстротѣ (почти по десятилѣтіямъ), съ которою они видоизмѣнялись вмѣстѣ со смѣною общественныхъ настроеній, умственныхъ интересовъ, литературныхъ и иныхъ вліяній, комедія Грибоѣдова становилась историческою (въ указанномъ смыслѣ) уже въ 40-хъ и даже въ 30-хъ годахъ, когда Фамусовы, Молчалины и другіе явились въ иномъ обличьѣ, а Чацкіе стали говорить иначе—не по-Грибоѣдовски и больше шопотомъ, да при закрытыхъ дверяхъ. Театральная публика 40-хъ годовъ уже воспринимала пьесу, какъ картину прошлаго, хотя и недавняго.—Вообще, въ

нашемъ умственномъ и общественномъ развитіи нѣтъ послѣдовательной преемственности идей, настроеній, стремленій, идеаловъ. Извѣстныя теченія вдругъ останавливаются или изсякаютъ, чтобы уступить мѣсто другимъ; послѣдующее иногда упорно отказывается признать свое духовное родство съ прежнимъ, пресѣченнымъ или изсякшимъ... А Фамусовы и Молчалины, обладая удивительною приспособляемостью и живучестью, переряжаются въ другіе костюмы и часто не сразу узнаются въ новомъ нарядѣ. Но традиція основныхъ чертъ этихъ отрицательныхъ типовъ сохраняется при всѣхъ возможныхъ перемѣнахъ условій жизни. Мы знаемъ Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, Скалозубовъ, Загорѣцкихъ дореформенныхъ и пореформенныхъ, и посейчасъ они существуютъ,—и попрежнему—

„Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима!"

Эту живучесть отрицательныхъ типовъ Грибоѣдова отмѣтилъ въ началѣ 70-хъ годовъ авторъ статьи „Милліонъ терзаній". Онъ говоритъ: „Колоритъ не сгладился совсѣмъ; вѣкъ не отдѣлился отъ нашего, какъ отрѣзанный ломоть; мы кое-что оттуда унаслѣдовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорѣцкіе и проч. и видоизмѣнились такъ, что не влѣзутъ уже въ кожу грибоѣдовскихъ типовъ"...

Вотъ именно въ силу такой живучести темныхъ силъ, образующихъ оплотъ общественной реакціи, комедія Грибоѣдова, хотя и стала исторической, продолжаетъ сохранять живое значеніе,—какъ разъ такъ, какъ сохраняетъ его и долго еще будетъ сохранять сатира Салтыкова.

Въ нашей художественной литературѣ настоящимъ преемникомъ Грибоѣдова, достойнымъ продолжателемъ его дѣла былъ только Салтыковъ. Это дѣло—борьба, средствами искусства, съ темными силами, съ общественно-реакціонными элементами. Специфическій характеръ и отличительные признаки художественныхъ произведеній, являющихся

выраженіемъ этой борьбы въ данномъ случаѣ „Горе отъ ума“ и сатира Салтыкова“, мнѣ кажется, недостаточно выяснены и нуждаются въ болѣе точномъ опредѣленіи.

Подобно всякой сатирѣ, эти произведенія принадлежать къ творчеству экспериментальному. Но они рѣзко отличаются отъ другихъ видовъ сатиры, прежде всего тѣмъ, что въ нихъ отрицательныя стороны жизни, натуръ, характеровъ подвергаются художественному осужденію съ точки зрѣнія общественнаго блага и прогресса. Напр., пошлость, глупость, нечестность, пролазничество и т. д. изображаются въ нихъ не столько какъ вообще пороки, сколько какъ черты, которыми характеризуются реакціонные элементы, какъ нѣчто общественно и политически вредное или даже пагубное.

Таковъ именно и былъ преобладающій характеръ художественнаго эксперимента, произведеннаго Грибоѣдовымъ въ его безсмертной комедіи.

Въ ней данъ односторонній подборъ чертъ, въ силу чего получилась не полная, не разносторонняя картина жизни, а рѣзкая критика извѣстныхъ сторонъ ея [1]. Возьмемъ, для сравненія, описаніе московской жизни приблизительно той же эпохи у Толстого въ „Войнѣ и мирѣ“,—и мы сейчасъ же почувствуемъ и поймемъ всю разницу между изображеніемъ, основаннымъ на художественномъ наблюденіи, и тѣмъ, которое было результатомъ художественнаго опыта. Рѣзкія отрицательныя черты Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, Загорѣцкихъ, пустота и пошлость жизни, дикость понятій, все это въ широкой эпической картинѣ Толстого смягчено, затушевано или отодвинуто на задній планъ,—можетъ быть, даже больше, чѣмъ оно обычно смягчалось, затушевывалось, скрадывалось въ самой дѣйствительности. Въ жизни ея пошлая сторона далеко не всегда

---

[1] „Рѣзкая картина нравовъ“, по выраженію Пушкина.

проявляется съ достаточною яркостью, и не всякій день Фамусовы выступаютъ съ открытымъ выраженіемъ своихъ дикихъ понятій, съ откровеннымъ мракобѣсіемъ. Они дѣлаютъ это—при случаѣ, когда, напр., сталкиваются съ Чацкимъ, или когда это представляется выгоднымъ. Внѣ такихъ оказій это — благодушные наивные люди, не лишенные нѣкоторыхъ хорошихъ человѣческихъ чертъ. Нерѣдко они бываютъ лучше своихъ понятій, принадлежащихъ скорѣе вѣку и средѣ, чѣмъ каждому изъ нихъ въ отдѣльности. У Грибоѣдова мы найдемъ только намеки на то хорошее или безразличное, что наблюдалось у Фамусовыхъ и другихъ. Впередъ выдвинуты и сгущены ихъ темныя стороны. И это сдѣлано такъ, что, слушая, напр., рѣчи Фамусова и филиппики Чацкаго, мы проникаемся настроеніемъ послѣдняго и начинаемъ смотрѣть на Фамусовыхъ, по-своему да по-московски благодушныхъ, — какъ на темную и зловредную силу, имѣщую очевидное реакціонное значеніе.

Хотя всѣмъ намъ извѣстны съ дѣтства безсмертные стихи Грибоѣдова, или, лучше, — именно потому, что затверженные съ дѣтства, они у насъ обезцвѣтились („милліонъ размѣнялся на гривенники")—не мѣшаетъ освѣжить въ памяти нѣкоторыя мѣста, чтобы яснѣе увидѣть, какой замыселъ лежалъ въ основѣ художественныхъ экспериментовъ Грибоѣдова.

Вспомнимъ, напр., великолѣпный монологъ Фамусова во 2-мъ актѣ, начинающійся словами: „вотъ то-то, всѣ вы гордецы!—Спросили бы, какъ дѣлали отцы, — учились бы, на старшихъ глядя...",—гдѣ, наивно восхваляя старину и низкопоклонство карьеристовъ былого времены, Фамусовъ нарисовалъ живую картину порядковъ и нравовъ XVIII вѣка съ его „случайными людьми", фаворитами и т. д. Вспомнимъ и злую отповѣдь Чацкаго:

И точно, началъ свѣтъ глупѣть,
Сказать вы можете, вздохнувши,

Какъ посравнить, да посмотрѣть
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій,—
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ... и т. д.

Дѣло идетъ не о частныхъ или узко-общественныхъ недостаткахъ и порокахъ,—дѣло идетъ о понятіяхъ господствующаго класса, объ отношеніяхъ его къ власти, о степени его гражданскаго развитія. Передъ нами черты не порчи нравовъ, а самаго строя государственной жизни. И Фамусовъ, съ своей точки зрѣнія, совершенно правъ, когда въ отвѣтъ на филиппику Чацкаго, онъ восклицаетъ:

Ахъ, Боже мой! Онъ карбонарій!

Но послушаемъ дальше.

Чацкій. Нѣтъ, нынче свѣтъ ужъ не таковъ!
Фамусовъ. Опасный человѣкъ!
Чацкій. Вольнѣе всякій дышетъ
И не торопится вписаться въ полкъ шутовъ.

Отъ этихъ рѣчей Фамусовъ приходитъ въ ужасъ. Выходки Чацкаго противъ низкопоклонства кажутся ему „потрясеніемъ основъ". И въ самомъ дѣлѣ, Чацкій „потрясалъ основы"—старыхъ порядковъ, обветшалыхъ понятій. Когда онъ заговорилъ было о новыхъ людяхъ, которые путешествуютъ (поѣздки за границу въ 10-хъ и 20-хъ годахъ были однимъ изъ важнѣйшихъ проводниковъ передовыхъ идей) или уединяются въ деревню (это была особая форма оппозиціи, причемъ въ деревню влекло передовыхъ дѣятелей желаніе улучшить положеніе крестьянъ), Фамусовъ, перебивая его, кричитъ: „Да онъ властей не признаетъ!"—Едва Чацкій заикнулся о тѣхъ,

Кто служитъ дѣлу, а не лицамъ,—

Фамусовъ уже перебиваетъ его безсмертными словами, получившими особливое примѣненіе:

Строжайше бъ запретилъ я этимъ господамъ
На выстрѣлъ подъѣзжать къ столицамъ!

Порицатель старыхъ, уже отживавшихъ, понятій и порядковъ, Чацкій—вовсе не панегиристъ своего времени. Онъ говоритъ:

Вашъ вѣкъ бранилъ я безпощадно;
Предоставляю вамъ во власть:
Откиньте часть:
Хоть нашимъ временамъ въ придачу,—
Ужъ такъ и быть, я не заплачу.

Вспомнимъ далѣе знаменитый монологъ Чацкаго, начинающійся словами:

А судьи кто? За древностію лѣтъ
Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима...

Слѣдующее мѣсто характерно для той эпохи:

Теперь пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,
Не требуя ни мѣстъ, ни повышенья въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ умъ, алчущій познаній.
Или въ душѣ его самъ Богъ возбудитъ жаръ
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ,—
Они сейчасъ: „разбой! пожаръ!"
И прослыветъ у нихъ мечтателемъ опаснымъ.
Мундиръ! Одинъ мундиръ... Онъ въ прежнемъ ихъ быту
Когда-то укрывалъ—расшитый и красивый—
Ихъ слабодушіе, разсудка нищету...

Это, разумѣется, давно уже отжило. Уже въ 40-хъ годахъ общественно-реакціонныя силы, по крайней мѣрѣ, въ столицахъ, не проявляли такого мракобѣсія, и человѣкъ, посвящавшій себя наукѣ или искусству, уже не возбуждалъ подозрѣній, не казался eo ipso „мечтателемъ опаснымъ".

Наука и искусство,—растенія экзотическія на русской почвѣ понемногу принимались на ней и пускали корни сперва благодаря собственно тому, что высшая власть брала ихъ подъ свое покровительство.—Достаточно извѣстно, какъ туго прививалось у насъ высшее образованіе, съ какимъ равнодушіемъ, съ какимъ тупымъ отвращеніемъ относилось общество къ университетамъ, предпочитая имъ иностранцевъ-гувернеровъ. 30-е годы могутъ считаться пограничнымъ періодомъ, когда этотъ родъ мракобѣсія уже отходилъ въ прошлое, когда университеты, наука, искусство, литература начали акклиматизировываться въ Россіи и становились національнымъ достояніемъ. И Фамусовы 40-хъ и послѣдующихъ годовъ не рѣшались уже, развѣ лишь за рѣдкими исключеніями, открыто заявлять:

...ужъ коли зло пресѣчь,—
Забрать всѣ книги бы, да сжечь.

Если и заводили они рѣчь о такомъ спасительномъ аутодафэ, то, конечно, не имѣли въ виду всѣхъ книгъ, а только нѣкоторыя... Для этихъ болѣе просвѣщенныхъ временъ характернѣе точка зрѣнія Загорѣцкаго, который „съ кротостью“ (ремарка Грибоѣдова) отвѣчаетъ Фамусову:

Нѣтъ-съ, книги книгамъ рознь.
А если бъ, между нами,
Былъ цензоромъ назначенъ я,
На басни бы налегъ. Охъ, басни—смерть моя!
Насмѣшки вѣчныя надъ львами, надъ орлами!
Кто что ни говори,
Хоть и животныя, а все-таки цари.

Вообще, можно сказать, что Фамусовы въ той ихъ разновидности, какая выведена въ „Горе отъ ума“, довольно скоро отживали свой вѣкъ и перерождались въ другія разновидности, болѣе подходящія къ духу времени, къ требованіямъ

распространявшагося просвѣщенія, къ новымъ понятіямъ, наконецъ, къ видамъ правительства. Типъ смягчался и терялъ черты рѣзко выраженнаго наивнаго мракобѣсія... Напротивъ, Загорѣцкіе и Молчалины плодились, множились и „прогрессировали", приспособляясь къ новымъ условіямъ, изощряя свои хищническія наклонности и пролазничество. Столь же безстыжіе, какъ и ихъ грибоѣдовскіе прототипы, они научились маскировать свое безстыдство, и уже не откровенничаютъ такъ наивно, какъ это дѣлалъ Молчалинъ. Эти скверныя натуры въ тѣ „добрыя старыя времена" не имѣли большого хода, ограничиваясь карьерою прихлебателей въ кругу баръ. Въ большое плаваніе Загорѣцкіе и Молчалины пустились гораздо позже, — въ пореформенное время, въ эпоху горячки банковъ и концессій, служебнаго и всяческаго карьеризма. Процвѣтаютъ они и въ наши дни... Въ свой чередъ другой великій сатирикъ обратилъ на нихъ вниманіе,—и они ожили въ новыхъ формахъ въ грозной сатирѣ Салтыкова.

Загорѣцкій и Молчалинъ—типы-эмбріоны, фигуры пророческія...

Пророческимъ приходится признать и Скалозуба съ его безподобными изреченіями въ родѣ:

Я васъ обрадую: всеобщая молва,
Что есть проектъ насчетъ лицеевъ, школъ, гимназій:
Тамъ будутъ лишь учить по-нашему: разъ, два!
А книги сохранятъ такъ, для большихъ оказій.

Или:

Я князь—Григорію и вамъ
Фельдфебеля въ Вольтеры дамъ:
Онъ въ три шеренги васъ построитъ,
А пикните, такъ мигомъ успокоитъ.

Широкій размахъ сатирической кисти Грибоѣдова коснулся и представителей передового движенія того времени.

Глупо-восторженный „либералъ“, слабоумный крикунъ и враль Репетиловъ воспроизводитъ, въ каррикатурномъ видѣ, извѣстный сортъ приспѣшниковъ тогдашняго броженія [1]).

Фигура Репетилова наводитъ на размышленія неутѣшительнаго свойства.

Выше я упомянулъ о шаткости, о неустойчивости, о прерывистомъ ходѣ нашихъ передовыхъ движеній. Разумѣется, въ значительной степени это зависѣло отъ причинъ внѣшнихъ, отъ искусственныхъ преградъ, тормозившихъ освободительныя стремленія лучшихъ людей нашего общества. Но нельзя свалить все на внѣшнія препятствія, на неблагопріятныя условія. Многое объясняется лучше нашею неподготовленностью къ воспріятію и самостоятельной переработкѣ сложныхъ европейскихъ идей, вырабатывавшихся тамъ вѣками въ суровой школѣ жизненной борьбы и умственнаго труда на разныхъ поприщахъ мысли. Всматриваясь въ умственный и вообще душевный обиходъ различныхъ представителей передовыхъ движеній у насъ, начиная съ 20-хъ годовъ, нетрудно отмѣтить признаки незрѣлости и шаткости мысли, а нерѣдко и общую психическую неустойчивость. Выработка широкихъ, прогрессивныхъ и жизнеспособныхъ общественно-политическихъ идей есть прямая и насущная задача просвѣщенныхъ, передовыхъ людей времени,—это—историческая необходимость, болѣе или менѣе умѣлыми органами которой и являются эти люди. И вотъ, ког-

[1]) Самъ Грибоѣдовъ отрицалъ каррикатурность своихъ героевъ. Въ письмѣ къ Катенину онъ говоритъ: „Каррикатуръ ненавижу; въ моей картинѣ ни одной не найдешь,..“ (Полн. собр. соч. А. С. Г., подъ ред. И. Л. Шляпкина, т. I, стр. 197).—Однако, нѣкоторыхъ чертъ каррикатурности нельзя отрицать въ фигурахъ „Горе отъ ума“, какъ нельзя отрицать ихъ въ „Ревизорѣ“. Каррикатурность Репетилова бьетъ въ глаза.—Говорю это—не въ осужденіе: каррикатура—законный пріемъ экспериментальнаго искусства,—не хуже другихъ его пріемовъ.

да мы видимъ, что они тратятъ добрую долю силъ и времени, напр., на ненужныя метафизическія словопренія о тонкостяхъ гегеліанской философіи, тогда у насъ возникаетъ законное сомнѣніе въ подготовленности ихъ служить органомъ вышеуказанной исторической необходимости. Такое же сомнѣніе шевелится у насъ, когда мы вспоминаемъ о разныхъ уклоненіяхъ въ сторону и шатаніхъ мысли у нѣкорыхъ передовыхъ людей 60-хъ годовъ, а равно и послѣдующаго времени. Но едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что—въ этомъ отношеніи—долженъ былъ осуществляться нѣкоторый прогрессъ, ибо жизнь учитъ, ошибки и бѣды воспитываютъ, выстраданный опытъ умудряетъ. И я думаю, что общественно-политическая мысль, наприм., людей 60-хъ и 70-хъ годовъ, была, въ общемъ, и выше, и раціональнѣе, и шире таковой же мысли людей 40-хъ годовъ. Это, пожалуй, покажется „ересью“ тому, кто привыкъ считать „людей 40-хъ годовъ“ даровитѣе, образованнѣе и, вообще, выше ихъ преемниковъ, а на дѣятелей 20-хъ годовъ смотрѣть сквозь призму героической легенды и „съ птичьяго полета“—на разстояніи, стушевывающемъ рѣзкости, шероховатости и другіе изъяны. Я не имѣю возможности вдаваться здѣсь въ фактическое разсмотрѣніе этого вопроса, въ которомъ вижу любопытную задачу, еще ожидающую изслѣдователя. И мнѣ кажется, ея разработка обнаружила бы, что въ 40-хъ годахъ говорилось и дѣлалось разныхъ ненужностей, и было разброда мысли значительно больше, чѣмъ въ 60-хъ, а въ 20-хъ—больше, чѣмъ въ 40-хъ. Грибоѣдовскій Репетиловъ, именно своею каррикатурностью, служитъ живымъ свидѣтельствомъ того, какъ много было нелѣпой накипи въ замѣчательномъ движеніи передовыхъ людей эпохи 1815—1825 годовъ. Такая каррикатура уже не годится для 40-хъ годовъ, а тѣмъ болѣе для движеній эпохи пореформенной. Пригодная лишь для своего времени, фигура Репетилова довершаетъ общій смыслъ сатиры Грибоѣдова, а въ частно-

сти своеобразно оттѣняетъ своимъ отрицательнымъ характеромъ личность Чацкаго, представителя положительныхъ сторонъ движенія 20-хъ годовъ.—Къ анализу этой центральной фигуры и обратимся теперь.

3.

Пушкинъ отказалъ ему въ умѣ. Онъ писалъ (Бестужеву въ 1825 г.): „... въ комедіи „Горе отъ ума“ кто умное дѣйствующее лицо? Отвѣтъ: Грибоѣдовъ. А знаешь ли, что такое Чацкій? Пылкій, благородный и добрый малый, проведшій нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ (именно съ Грибоѣдовымъ) и напитавшійся его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями. Все, что говоритъ онъ, очень умно. Но кому говоритъ онъ все это? Фамусову? Скалозубу? На балѣ московскимъ бабушкамъ? Молчалину? Это непростительно; первый признакъ умнаго человѣка—съ перваго взгляда знать, съ кѣмъ имѣешь дѣло, и не метать бисера передъ Репетиловыми и т. п...“ Гончаровъ внесъ существенную поправку въ это сужденіе, показавъ, что эта „глупость“, какъ и „горе“ Чацкаго были невольнымъ, фатальнымъ слѣдствіемъ его ума.—Заявленіе протеста передъ Фамусовыми, просвѣщенная рѣчь, обращенная къ Скалозубу, проповѣдь или филиппика на балу, среди Загорѣцкихъ, Горичевыхъ, княгинь Тугоуховскихъ, княженъ и т. д.,—все это несомнѣнная „глупость“,—но такого рода „глупостями“ кишитъ исторія. Появленіе ума, просвѣтительныхъ стремленій, общественнаго и политическаго смысла среди пошлаго, невѣжественнаго общества, лицомъ къ лицу съ дикими понятіями, умственной и нравственной слѣпотой—фатально ставитъ этотъ умъ, эти стремленія, этотъ смыслъ въ глупое и болѣе чѣмъ неловкое положеніе, результатомъ котораго и является „милліонъ терзаній“.

Отъ такого тягостнаго и неумнаго положенія и [redacted]

словленнаго имъ „милліона терзаній" люди, обладающіе большимъ, чѣмъ у Чацкаго, чувствомъ самосохраненія, заблаговременно спасаются бѣгствомъ изъ общества, эмиграціею, одиночествомъ кабинетнаго мыслителя, удаленіемъ въ тѣсный дружескій кругъ единомышленниковъ. Такъ спасались Бѣлинскіе и Герцены въ своемъ кругу, лучшіе изъ славянофиловъ — въ своемъ. Молодой ученый, эллинистъ Печоринъ, бѣжалъ отъ Фамусовыхъ и Скалозубовъ за границу, откуда прислалъ министру нар. просв. извѣстное письмо, во многомъ подходящее къ рѣчамъ Чацкаго.—Да и самъ Чацкій въ концѣ концовъ бѣжитъ „искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ", когда упала съ глазъ пелена, и онъ увидѣлъ себя обманутымъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ и понялъ всю несообразность, всю невозможность своего пребыванія въ пошлой средѣ, всю неумѣстность своихъ рѣчей, напомнившихъ Пушкину изреченіе о расточеніи бисера.

Становясь на точку зрѣнія Пушкина, мы скажемъ, что Чацкій подлежитъ упреку лишь въ томъ, что не догадался тотчасъ же, что въ этомъ обществѣ ему не подобаетъ не только ораторствовать, но и присутствовать.—Однако, этотъ упрекъ отчасти обезоруживается нѣкоторыми „смягчающими обстоятельствами". Во-первыхъ, Чацкій влюбленъ, а любовь ослѣпляетъ. Любовь къ Софьѣ и удерживаетъ его въ московскомъ обществѣ до поры до времени, пока онъ не убѣдился, что на взаимность никакихъ надеждъ у него нѣтъ.— Во-вторыхъ, онъ произноситъ свои горячія рѣчи и сыплетъ сарказмами—больше для себя, чтобы облегчить душу. Онъ, разумѣется, ни на минуту не обольщается надеждой убѣдить Фамусова или Скалозуба и вообще „вліять" на общество,— онъ просто не можетъ удержаться отъ злыхъ выходокъ, отъ выраженія своего презрѣнія и негодованія. Онъ мыслитъ вслухъ, не справляясь съ тѣмъ, кто его слушаетъ, и какъ отнесутся присутствующіе къ его рѣчамъ. Въ правѣ—излить

на всѣхъ „всю желчь и всю досаду", въ правѣ — громко негодовать и открыто бросить въ лицо обществу обвиненіе въ томъ, что оно—дрянное и пошлое общество,—мы не можемъ отказать Чацкому.

Слѣдуя Гончарову, мы ставимъ его, какъ личность и какъ дѣятеля, выше Онѣгиныхъ и Печориныхъ. „Чацкій, какъ личность,—говоритъ Гончаровъ,—несравненно выше и умнѣе Онѣгина и Печорина. Онъ искренній и горячій дѣятель, а тѣ—паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ болѣзненныя порожденія отжившаго вѣка. Ими заканчивается ихъ время, а Чацкій начинаетъ новый вѣкъ—и въ этомъ все его значеніе и весь умъ".

Отсылая читателя къ мастерскому анализу характера и трагической роли Чацкаго, сдѣланному знаменитымъ авторомъ „Обломова", мы скажемъ только, что дѣйствительно Грибоѣдовскій герой, все горе котораго происходило отъ ума, живо напоминаетъ лучшихъ дѣятелей той эпохи. Это — истинно просвѣщенный, серьезно образованный человѣкъ, одушевленный лучшими стремленіями, жаждущій живой дѣятельности—„служенія дѣлу, а не лицамъ", Его „программа" достаточно ясна. Чацкій—поборникъ просвѣщенія, и правовыхъ нормъ, врагъ произвола и злоупотребленій, другъ народа, даже „народникъ". Безъ всякаго сомнѣнія въ его „программу" прежде всего входила отмѣна крѣпостного права, осужденіе котораго ясно звучитъ въ монологѣ: „А судьи кто?.. [1]) Напомнимъ, для лучшаго оттѣненія идей-

[1]) Тотъ Несторъ негодяевъ знатныхъ,
Толпою окруженный слугъ?
Усердствуя, они, въ часы вина и драки,
И жизнь, и честь его не разъ спасали; вдругъ
На нихъ онъ вымѣнялъ борзыя три собаки!
Или вонъ тотъ еще, который для затѣй,
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей?..

ной стороны рѣчей Чацкаго, что всѣ его обличенія опирались на „фактическихъ данныхъ“. Онъ очень прозрачно намекаетъ на лицъ, всѣмъ извѣстныхъ тогда, по крайней мѣрѣ въ столичномъ обществѣ, и на ихъ дѣянія, уже ставшія достояніемъ болѣе или менѣе скандальной хроники. Въ его горячихъ, желчныхъ рѣчахъ слышенъ голосъ не моралиста, а трибуна, который хорошо знаетъ, противъ чего онъ идетъ, во имя чего горячится, кого обличаетъ.

Остается еще одинъ пунктъ, который позже, когда обострился знаменитый споръ между западниками и славянофилами, подалъ поводъ видѣть въ Чацкомъ предтечу славянофильства. Это его извѣстная выходка противъ европейскаго костюма (фрака), панегирикъ старинной русской одежды и рискованная, съ языка сорвавшаяся, фраза о „премудромъ незнаніи иноземцевъ“, которое намъ не мѣшало бы позаимствовать у китайцевъ. Гончаровъ видитъ въ этомъ просто результатъ нѣкотораго затменія мысли, вызваннаго всѣмъ ходомъ коллизіи; возбужденный, ожесточенный, выбитый изъ колеи, Чацкій „заговаривается“, впадаетъ въ крайности.—Отчасти это вѣрно, но нужно говорить, что націоналистическія тенденціи, напоминающія позднѣйшее славянофильство, вообще замѣчаются у передовыхъ людей той эпохи, а лично у самого Грибоѣдова были выражены, можетъ быть, ярче, чѣмъ у другихъ.

Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что въ рѣчахъ Чацкаго Грибоѣдовъ далъ выраженіе своимъ собственнымъ взглядамъ, симпатіямъ и антипатіямъ, наконецъ, настроенію [1]). Въ извѣстныхъ строкахъ Пушкина, посвященныхъ Грибоѣдову, говорится, между прочимъ, о его „меланхо-

---

[1]) О Чацкомъ, какъ портретѣ самого Грибоѣдова, подробно говоритъ А. П. Кадлубовскій въ своей прекрасной рѣчи „Нѣсколько словъ о значеніи А. С. Грибоѣдова въ развитіи русской поэзіи“ (Кіевъ, 1896 г. см. стр. 13 и сл.). См. также—Алексѣй Веселовскій. „Этюды и характеристики“, статья „Грибоѣдовъ“, стр. 514 и сл.

лическомъ характерѣ“ и „озлобленномъ умѣ“, что напоминаетъ Чацкаго. Рѣзкая оппозиція пошлости, рутинѣ, обскурантизму, обществу, столь характерная въ Чацкомъ, была, повидимому, отличительной чертой Грибоѣдова: онъ гораздо меньше Пушкина и даже Лермонтова умѣлъ уживаться въ этомъ обществѣ, да и вообще среди господствовавшихъ понятій и порядковъ. Нелишне отмѣтить и то, что, въ противоположность будущимъ славянофиламъ, Грибоѣдовъ тяготѣлъ къ Петербургу, а Москву не любилъ, чувствуя себя въ московскомъ обществѣ въ положеніи Чацкаго. Эта антипатія къ Москвѣ была у него, москвича, застарѣлая и прочная,—она питалась впечатлѣніями дѣтства и юности. Сюда относится слѣдующее мѣсто въ письмѣ къ Бѣгичеву (отъ 18 сент. 1818 г.): „Въ Москвѣ все не по мнѣ: праздность, роскошь, не сопряженныя ни съ малѣйшимъ чувствомъ къ чему-нибудь хорошему. Прежде тамъ любили музыку, нынче и она въ пренебреженіи; ни въ комъ нѣтъ любви къ чему-нибудь изящному, и притомъ „нѣсть пророка безъ чести, токмо въ отечествѣ своемъ, въ сродствѣ и въ дому своемъ“: отечество, сродство и домъ мой—въ Москвѣ. Всѣ тамошніе помнятъ во мнѣ Сашу, милаго ребенка, который теперь выросъ, много повѣсничалъ, наконецъ становится къ чему-то годенъ, опредѣленъ въ миссію и можетъ со временемъ попасть въ статскіе совѣтники, а больше во мнѣ ничего видѣть не хотятъ. Въ Петербургѣ я, по крайней мѣрѣ, имѣю нѣсколько такихъ людей, которые, не знаю, настолько ли меня цѣнятъ, сколько я думаю, что стою; но, по крайней мѣрѣ, судятъ обо мнѣ и смотрятъ съ той стороны, съ которой хочу, чтобы на меня смотрѣли. Въ Москвѣ другое: спроси у Жандра, какъ однажды, за ужиномъ, матушка съ презрѣніемъ говорила о моихъ стихотворныхъ занятіяхъ и еще замѣтила во мнѣ зависть, свойственную мелкимъ писателямъ оттого, что я не восхищаюсь Кокошкинымъ и ему подобными. Я ей это отъ души прощаю“...

и т. д. (Полн. собр. соч., подъ ред. И. А. Шляпкина, I, стр. 168—169.)—И въ позднѣйшихъ письмахъ встрѣчаются мѣста, напоминающія настроеніе Чацкаго, напр.: „Кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно вдохновенныхъ, въ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ? Все-таки Шереметевъ у насъ затмилъ бы Омира... Мученіе быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ". (Письмо къ Бѣгичеву 9 дек. 1826 г. Сочин., I. стр. 222.)—То, въ чемъ Пушкинъ упрекалъ Чацкаго („метаніе бисера"), повидимому, было свойственно Грибоѣдову: у него былъ очень злой языкъ, и онъ не умѣлъ или не хотѣлъ его сдерживать. „Онъ не могъ и не хотѣлъ,—говоритъ А. А. Бестужевъ,—скрывать насмѣшки надъ позлащенною и самодовольною глупостью, ни презрѣнія къ низкой искательности, ни негодованія при видѣ счастливаго порока". (См. „Полн. собр. соч. А. С. Гр.", подъ ред. И. А. Шляпкина, т. I, стр. XXV). Отрицательное отношеніе Грибоѣдова къ господствовавшимъ въ его время нравамъ, порядкамъ и понятіямъ, между прочимъ, выражалось и въ формѣ оппозиціи „нечистому духу пустого, рабскаго, слѣпого подражанія", какъ говоритъ Чацкій,—въ формѣ того „національизма", о которомъ было упомянуто выше. По всѣмъ признакамъ, это былъ національизмъ не консервативный, а либеральный и демократическій, съ оттѣнкомъ того романтизма, который уносилъ воображеніе „въ старину святую" (слова Чацкаго) и приводилъ къ нѣкоторой (весьма умѣренной) идеализаціи историческаго прошлаго. На это указываетъ, между прочимъ, его статья „Загородная поѣздка", гдѣ описывается народное мимическое представленіе съ пѣснями на сюжетъ изъ былыхъ похожденій удальцовъ въ родѣ Стеньки Разина. Здѣсь читаемъ: „Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самихъ слушателей-наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полуевропейцевъ, къ которому и я

принадлежу... Какимъ чернымъ волшебствомъ сдѣлались мы чужіе между своими... Если бы какимъ-нибудь случаемъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который бы не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ, конечно, заключилъ бы изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами..." (Тамъ же, I, стр. 108—109).—Фактъ оторванности высшихъ классовъ отъ народа привлекалъ къ себѣ вниманіе Грибоѣдова, кажется, въ нѣсколько большей степени, чѣмъ это наблюдается у его современниковъ. Въ этомъ отношеніи онъ дѣйствительно напоминаетъ послѣдующихъ славянофиловъ, а еще больше народниковъ-демократовъ. Что онъ по общему строю своихъ идей ближе подходилъ къ послѣднимъ, чѣмъ къ первымъ,—видно изъ слѣдующаго. Несмотря на свою нелюбовь къ нѣмцамъ (чувство, которое онъ раздѣлялъ со многими передовыми дѣятелями эпохи), онъ не обнаруживалъ и слѣда того принципіальнаго отрицанія основъ западно-европейской цивилизаціи, какое было особливо характерно для славянофиловъ. Такъ, передавая свои впечатлѣнія во время поѣзки на востокъ (1819 г.,) онъ пишетъ о персіянахъ: „...въ дѣлахъ государственныхъ здѣсь, кажется, не любятъ сокровенности кабинетовъ: они производятся въ присутствіи многочисленныхъ слушателей. Я въ простотѣ моего сердца сперва подумалъ, что, стало быть, рѣдко во зло употребляется обширная власть, которой облечены здѣшніе высшіе чиновники, но въ томъ, въ чемъ нашъ повѣренный въ дѣлахъ объяснялся съ сардаремъ, напр., о переманкѣ и поселеніи у себя нашихъ бродячихъ татаръ, притѣсненіи нашихъ купцовъ, высокостепенный былъ кругомъ неправъ, притомъ изложилъ составленную имъ самимъ такую теорію налоговъ, которая, не думаю, чтобы самая сносная для шахскихъ подданныхъ, ввѣренныхъ его управленію. И все это го-

ворилось при многолюдномъ сборищѣ, чье разстроенное достояніе ясно доказываетъ, что польза сардаря не есть польза общая. Рабы, мой любезный! И по дѣломъ имъ! Смѣютъ ли они осуждать верховнаго ихъ обладателя? Кто ихъ боится? У нихъ и историки панегиристы. И эта лѣствица слѣпого рабства и слѣпой власти здѣсь безпрерывно восходитъ до бега, хана, беглеръ-бега и каймакана и такимъ образомъ выше и выше. Недавно одного областного начальника, невзирая на его 30-тилѣтнюю службу, сѣдую голову и алкоранъ въ рукахъ, били по пятамъ, разумѣется, безъ суда. Въ Европѣ, даже въ тѣхъ народахъ, которы еще не добыли себѣ конституціи, общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ, требуетъ суда виноватому, который всегда наряжаютъ. Криво ли, прямо ли судятъ, иногда не какъ хотятъ, а какъ велятъ,—подсудимый хоть имѣетъ право предлагать свое оправданіе...“—Ниже, отмѣчая азіатскую лесть и велерѣчіе, онъ говоритъ: „Въ Европѣ, которую моралисты вѣчно упрекаютъ порчею нравовъ, никто не льститъ такъ безстыдно...“ Повидимому, чѣмъ ближе знакомился онъ съ патріархально-деспотическимъ Востокомъ, тѣмъ болѣе склонялись его симпатіи къ европейскимъ порядкамъ и нравамъ. Азіатскій Востокъ живо напоминалъ ему старую, допетровскую Русь, и, повидимому, указанное критическое отношеніе его къ восточнымъ порядкамъ распространялось и на старые московскіе порядки, но только оно смягчалось присущимъ Грибоѣдову романтическимъ и патріотическимъ культомъ родной старины.

Зато тѣмъ рѣзче проявлялось, порою, его отрицательное отношеніе къ современной дѣйствительности, при чемъ онъ выступалъ какъ послѣдовательный народникъ-демократъ. Это видно въ любопытномъ планѣ драмы „1812 годъ“, гдѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является нѣкій М*, очевидно, ополченецъ изъ крѣпостныхъ. Онъ совершаетъ чудеса храбрости и по окончаніи войны остается въ прежнемъ по-

ложеніи крѣпостного. Вотъ программа эпилога: „Вильна. Отличія, искательства, вся поэзія великихъ подвиговъ исчезаетъ. М* въ пренебреженіи у военачальниковъ. Отпускается восвояси съ отеческими наставленіями къ покорности и послушанію.—Село или развалины Москвы. Прежнія мерзости. М* возвращается подъ палку господина, который хочетъ ему сбрить бороду. Отчаяніе... Самоубійство". — Совершенно справедливо говоритъ по этому поводу А. Н. Пыпинъ: „Двѣнадцатый годъ оставилъ въ современной литературѣ замѣчательно малый слѣдъ, не отвѣчающій его историческому значенію. Онъ былъ, конечно, „воспѣтъ", но воспѣваніе въ громадномъ большинствѣ случаевъ свидѣтельствовало о дурномъ литературномъ вкусѣ и затѣмъ выразило только элементарный мотивъ—патріотическую радость объ изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества; при этомъ обыкновенно самое дѣло загромождается преувеличенной реторикой и почти не затрогиваются ни внутренніе факты общественнаго возбужденія, ни оборотная сторона событій. Грибоѣдову предметъ представился именно съ народно-общественной стороны..." [1]). Изложивъ планъ драмы, А. Н. Пыпинъ заключаетъ: „Очевидно, въ этомъ печальномъ выводѣ (что „вся поэзія подвиговъ исчезаетъ" и начинаются „прежнія мерзости")—основная мысль драмы, и ничего подобнаго мы не находимъ въ современной Грибоѣдову литературѣ". (Исторія русск. литературы, 1899, т. IV. стр. 306—307).

Кажется, мы не ошибемся, если изъ приведенныхъ данныхъ сдѣлаемъ такой выводъ-догадку: если бы Грибоѣдовъ дожилъ до 40-хъ годовъ, онъ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ примкнулъ къ славянофильскому теченію, но только

---

[1]) Курсивъ мой.

едва ли онъ раздѣлялъ бы „правовѣрную“ доктрину и философію исторіи, выработанную Кирѣевскими, Хомяковымъ, К. Аксаковымъ, и ужъ навѣрно очутился бы въ „крайней лѣвой“ славянофильства, которая въ 60-хъ годахъ сближалась съ радикальнымъ западничествомъ.

Черты народничества, характеризующія взгляды и симпатіи Грибоѣдова, дополняются еще слѣдующими свидѣтельствами, которыя привожу изъ книги Пыпина: „Грибоѣдовъ любилъ простой народъ—разсказываетъ одинъ изъ его друзей—и находилъ особое удовольствіе въ обществѣ образованныхъ молодыхъ людей, не испорченныхъ еще искательствомъ и свѣтскими приличіями. — Любилъ онъ и ходить въ церковь. „Любезный другъ,—говорилъ онъ, — только въ храмахъ Божіихъ собираются русскіе люди, думаютъ и молятся по-русски. Въ русской церкви я въ отечествѣ, въ Россіи! Меня приводитъ въ умиленіе мысль, что тѣ же молитвы читаны были при Владимірѣ, Дмитріи Донскомъ, Мономахѣ, Ярославѣ, въ Кіевѣ, Новгородѣ, Москвѣ; что то же пѣніе одушевляло набожныя души. Мы—русскіе только въ церкви, а я хочу быть русскимъ...“ Говорятъ дальше, что Грибоѣдовъ „уважалъ и иностранцевъ, особенно посвятившихъ себя служенію Россіи“; наконецъ, что онъ „любилъ болѣе всего славянскія поколѣнія и считалъ ихъ единою семьею“. (А. Н. Пыпинъ, Исторія русск. лит., IV, 309.)

Если эти указанія позволяютъ сближать Грибоѣдова съ позднѣйшими славянофильскими и народническими теченіями, если здѣсь есть намеки также на панславизмъ, то еще тѣснѣе этою стороною примыкаетъ Грибоѣдовъ къ передовому идейному движенію своего времени. Дѣло въ томъ, что и культъ прошлаго вмѣстѣ съ постояннымъ обращеніемъ къ исторіи, и народолюбіе, и патріотическій національзмъ, и даже панславистическія стремленія, и, наконецъ, искренняя религіозность,—все это въ значительной степени

было свойственно дѣятелямъ 10-хъ и 20-хъ годовъ, въ особенности декабристамъ, на что указываетъ и А. Н. Пыпинъ, и что подтверждается и новѣйшими изслѣдованіями. Вотъ, что говоритъ И. П. Щеголевъ въ своей интересной статьѣ о Влад. Раевскомъ: „У Раевскаго была одна общая черта со многими декабристами, въ особенности съ декабристами-писателями,—своеобразный патріотизмъ. Возвысившись до идеальнаго представленія о высокой цѣли жизни и благѣ родины, посвятивъ свою дѣятельность самоотверженной любви къ своимъ соотечественникамъ,—и Раевскій, и многіе другіе не могли освободиться отъ чувства національной исключительности и нетерпимости. Раевскій питалъ, напр., ненависть къ нѣмцамъ; однимъ изъ мотивовъ возникновенія въ немъ оппозиціоннаго настроенія было „возстановленіе“ всегда враждебной намъ Польши. На ряду съ этой нетерпимостью необходимо отмѣтить стремленіе къ національной самобытности; борьбой за самобытное, національное содержаніе опредѣляется значеніе литературной дѣятельности декабристовъ“. („Вѣстн. Европы“, 1903 г. іюнь, стр. 537.)

Насколько можно судить по отрывочнымъ даннымъ, приведеннымъ выше, Грибоѣдовъ выгодно отличался отъ многихъ сверстниковъ тѣмъ, что не былъ узкимъ націоналистомъ, и что его патріотизмъ совмѣщался съ уваженіемъ къ западной цивилизаціи. Въ этомъ отношеніи онъ, думается мнѣ, стоялъ гораздо ближе, напр., къ Н. И. Тургеневу, чѣмъ къ Влад. Раевскому и другимъ. Отъ декабристовъ же въ тѣсномъ смыслѣ онъ отличался не столько общими понятіями и настроеніемъ, сколько тѣмъ, что не былъ, какъ говоритъ А. Н. Пыпинъ, „политическимъ мечтателемъ и скептически относился къ планамъ политическаго переворота, выразившись однажды, что „сто человѣкъ прапорщиковъ хотятъ измѣнить весь государственный бытъ Россіи“ (А. Н. Пыпинъ, Ист. р. лит., IV, стр.

327) [1]).—Повидимому, по самой натурѣ своей, онъ, какъ и Пушкинъ, совсѣмъ не годился для роли агитатора или заговорщика. Можетъ быть, это находилось въ нѣкоторой психологической связи съ его геніемъ художника-реалиста и также съ преобладающимъ направленіемъ его ума, склоннаго къ разлагающей критикѣ, скептицизму и мизантропіи.

4.

То немногое, что мы знаемъ о понятіяхъ, взглядахъ, стремленіяхъ и натурѣ Грибоѣдова, проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на процессъ его художественнаго творчества.

Типы великой комедіи были, кромѣ Чацкаго, продуктомъ не наблюденія, а эксперимента въ искусствѣ. Фигура и рѣчи Чацкаго и вообще все, что знаемъ мы о Грибоѣдовѣ-Чацкомъ, указываютъ намъ на тѣ, заранѣе данныя, идеи, чувства и настроенія, которыя опредѣлили характеръ и всю постановку опыта. Въ этомъ смыслѣ Чацкій, самъ по себѣ образъ не экспериментальный, являлся необходимымъ условіемъ или прецедентомъ опыта, постепенный ходъ котораго представляется мнѣ въ слѣдующемъ видѣ.

Я указалъ уже на связь отрицательныхъ типовъ комедіи съ соотвѣтственными образами обыденнаго мышленія.

Типичныя черты — фамусовскія, молчалинскія, скалозубовскія и т. д. — были достаточно извѣстны въ широкихъ кругахъ и, конечно, схватывались обыденно-художественнымъ мышленіемъ преимущественно людей образованныхъ, стоявшихъ на извѣстномъ уровнѣ умственнаго и обществен-

---

[1]) Новѣйшія данныя объ отношеніяхъ Грибоѣдова къ декабристамъ приведены въ брошюрѣ г. Щеголева „Грибоѣдовъ и декабристы“ (С.-Петерб. 1904 г.).

наго развитія. Если возьмемъ Чацкаго или, такъ сказать, minimum Чацкаго—какъ обобщеніе этихъ людей, то мы скажемъ, что первоначальные силуэты типовъ „Горе отъ ума" были уже даны въ обыденно-художественномъ мышленіи Чацкихъ самой дѣйствительности. Эти—живые Чацкіе уже умѣли относиться къ живымъ. Фамусовымъ, Молчалинымъ, Скалозубамъ и т. д. отрицательно, смотря на нихъ, какъ на представителей пошлыхъ и темныхъ сторонъ жизни. И самъ Грибоѣдовъ, когда впервые созрѣлъ въ его головѣ замыселъ комедіи, былъ только однимъ изъ такихъ Чацкихъ. Иначе говоря, замыселъ и первые наброски пьесы были продуктомъ обыденно-художественной мысли Грибоѣдова, примыкавшей къ таковой же мысли многихъ представителей его круга. Но только эта обыденная мысль у Грибоѣдова, какъ геніальнаго таланта, съ самаго начала должна была отличаться гораздо большей энергіей и выразительностью, чѣмъ у другихъ, въ сознаніи которыхъ жили или прозябали тѣ же образы. Возможно, что въ данномъ случаѣ имѣло вліяніе и то, что замыселъ впервые созрѣлъ въ головѣ Грибоѣдова тогда, когда онъ (въ 1821 г.) находился въ Персіи и тосковалъ по родинѣ, въ особенности по близкимъ, по друзьямъ-единомышленникамъ, и вообще по жизни въ образованномъ кругу. Какъ бы то ни было, но родныя впечатлѣнія и воспоминанія ожили въ его сознаніи съ исключительною яркостью и быстро сгруппировались въ ту картину, которая въ послѣдующей обработкѣ превратилась въ знаменитую комедію. Это первичное проявленіе замысла и картины въ мысли Грибоѣдова совершилось, какъ свидѣтельствуетъ извѣстный разсказъ Булгарина, во снѣ; „Какъ-то легъ онъ въ кіоскѣ, въ саду, и видѣлъ сонъ, представившій ему любезное отечество, со всѣмъ, что осталось въ немъ милаго для сердца. Ему снилось, что онъ въ кругу друзей разсказываетъ о планѣ комедіи, будто имъ написанной, и даже читаетъ нѣкоторыя

мѣста изъ оной. Пробудившись, Грибоѣдовъ беретъ карандашъ, бѣжитъ въ садъ и въ эту же ночь начертываетъ планъ „Горе отъ ума“ и сочиняетъ нѣсколько сценъ перваго акта“. Возникновеніе въ головѣ поэта художественнаго замысла и появленіе первыхъ очертаній образовъ, подготовленныхъ данными обыденнаго мышленія, совершается быстро и какъ бы автоматично. Поэтому здѣсь нечего сочинять и выдумывать. Засимъ, при извѣстномъ навыкѣ въ литературной формѣ, онъ такъ же легко положитъ ихъ на бумагу. Этимъ и объясняется быстрота работы и плодовитость тѣхъ беллетристовъ, которые предъявляютъ публикѣ плоды своего обыденнаго, а не своего высшаго художественнаго мышленія. Грибоѣдовъ, какъ всѣ великіе поэты, не хотѣлъ обнародовать плоды своего обыденнаго мышленія,—онъ подвергъ ихъ переработкѣ силами высшаго творчества. Извѣстно, какъ долго и тщательно передѣлывалъ онъ свое произведеніе. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что при этомъ онъ въ полной мѣрѣ испыталъ тѣ „муки творчества“, которыя вытекаютъ изъ необходимости считаться съ литературными формами, со вкусомъ публики, съ готовымъ шаблономъ литературнаго мастерства. Испыталъ онъ, очевидно, и тѣ высшаго порядка „муки“, которыя обусловливаются столкновеніемъ высшаго художественнаго творчества съ обыденнымъ. На все это намекаетъ слѣдующій отрывокъ: „... первое начертаніе этой сценической поэмы, какъ оно родилось во мнѣ, было гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія, чѣмъ теперь, въ суетномъ нарядѣ, въ который я принужденъ былъ облечь его. Ребяческое удовольствіе слышать стихи мои въ театрѣ, желаніе имъ успѣха заставили меня портить мое созданіе, сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишетъ для сцены: Расинъ и Шекспиръ подвергались той же участи,—такъ мнѣ ли роптать?—Въ превосходномъ стихотвореніи многое должно угадывать; не вполнѣ выраженныя мысли и

чувства тѣмъ болѣе дѣйствуютъ на душу читателя, что въ ней, въ сокровенной глубинѣ ея, скрываются тѣ струны, которыхъ авторъ едва коснулся, нерѣдко однимъ намекомъ, — но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно. Для того съ обѣихъ сторонъ требуется: съ одной — даръ, искусство; съ другой—воспріимчивость, вниманіе. Но какъ же требовать его отъ толпы народа, болѣе занятаго собственною личностью, нежели авторомъ и его произведеніемъ? Притомъ сколько привычекъ и условій, ни мало не связанныхъ съ эстетическою частью творенія, — однако надобно съ ними сообразоваться. Суетное желаніе рукоплескать, не всегда кстати, декламатору, а не стихотворцу; удары смычка послѣ каждыхъ трехъ-четырехъ сотъ стиховъ; необходимость побѣгать по коридорамъ, душу отвести въ поучительныхъ разговорахъ о дождѣ и снѣгѣ, — и всѣ движутся, входятъ и выходятъ, и встаютъ, и садятся. Всѣ таковы, и я самъ таковъ, и вотъ, что называется публикой!..“ („Полн. собр. соч.“, I, стр. 83.)

Этотъ черновой набросокъ, относящійся ко времени послѣ 1823 г., когда комедія была уже написана, представляетъ собою любопытный документъ, заслуживающій болѣе внимательнаго разсмотрѣнія.

Какое чувство продиктовало эти строки? Кажется, мы не ошибемся, если скажемъ, что это были тѣ „муки слова“ и „муки творчества“, которыя всегда возникаютъ у большихъ поэтовъ, когда имъ приходится вгонять создающіеся образы и идеи въ рамки литературныхъ формъ. Въ данномъ случаѣ эти рамки были гораздо уже и стѣснительнѣе, чѣмъ, напр., тѣ, съ которыми имѣлъ дѣло Пушкинъ, когда писалъ „Евг. Онѣгина“. Грибоѣдову приходилось считаться не только съ общими требованіями литературной формы, но и спеціально съ условіями сцены. Это—не то, что та „даль свободнаго романа“, которую Пушкинъ „сквозь магическій кристаллъ еще не ясно различалъ“, ко-

гда писалъ первую главу „Онѣгина“. Эта „даль“ позволяла замыслу расширяться и углубляться. Грибоѣдову, напротивъ, нужно было „урѣзать“ замыселъ, чтобы изъ него могла выйти пьеса, которую можно было бы ставить на сценѣ. Онъ говоритъ въ отрывкѣ о „ребяческомъ удовольствіи“ слышать свои стихи въ театрѣ, о погонѣ за успѣхомъ, что заставило его „портить“ свое „созданіе, сколько можно было“.

Въ чемъ состояла эта порча, мы въ точности не знаемъ, не имѣя первоначальнаго текста, не зная тѣхъ передѣлокъ, какимъ онъ подвергался. Сохранились только отрывочныя указанія въ письмѣ къ Бѣгичеву (авг. 1824 г.), гдѣ читаемъ: „...Не могу въ эту минуту оторваться отъ побрякушекъ авторскаго самолюбія. Надѣюсь, жду, урѣзываю, мѣняю дѣло на вздоръ, такъ что во многихъ мѣстахъ моей драматической картины яркія краски совсѣмъ... (стерлись?), сержусь и возстановляю стертое, такъ, что, кажется, работѣ конца не будетъ...“ („Полн. собр. соч.“, I, стр. 185—186.)—Здѣсь, повидимому, имѣются въ виду, между прочимъ, и тѣ перемѣны, которыя дѣлались ради цензуры, чтобы сдѣлать возможною постановку пьесы на сцену.— Любопытно выраженіе „драматическая картина“, какъ въ вышеприведенномъ отрывкѣ — „сценическая поэма“. Эти опредѣленія намекаютъ на то, что, по художественному замыслу, „Горе отъ ума“ не укладывалось въ шаблонъ театральной пьесы, комедіи, хорошо знакомой Грибоѣдову, записному театралу, уже пробовавшему свои силы въ этомъ родѣ литературнаго сочинительства. Казалось бы, это дѣло ему, искушенному въ сочиненіи пьесъ, не должно было бы представлять большихъ трудностей. Но, видно, „начертаніе“ „сценической поэмы“, какъ оно „родилось“ въ его головѣ, не умѣщалось въ законный шаблонъ. „Великолѣпное“ и „высшаго значенія“ „начертаніе“, какъ не трудно догадаться, было не что иное, какъ та глубоко жизненная

трагедія „милліона терзаній", которую разъяснилъ Гончаровъ въ своей статьѣ о „Горе отъ ума". Трагедія вытекала изъ столкновенія идей и настроенія Чацкаго, представителя лучшихъ людей 20-хъ гг., съ обществомъ Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, Скалозубовъ и прочихъ, являвшихся оплотомъ общественной реакціи. Это требовало широкихъ рамокъ бытового романа и плохо ладило съ условіями сцены, гдѣ нужно дѣйствіе, занимательная интрига, живость разговора, и гдѣ поэтому нельзя говорить прямо отъ себя. „Даль свободнаго романа", очевидно, и манила Грибоѣдова, но онъ самъ сознается, что его соблазнило „ребяческое удовольствіе слышать свои стихи на сценѣ". Намъ думается, что это искушеніе было естественнымъ послѣдствіемъ того, что Грибоѣдовъ, по художественному призванію своему, былъ преимущественно поэтъ драматическій. Не даромъ онъ такъ увлекался сценой.—Сдѣлать изъ замысла „милліона терзаній" Чацкаго, во что бы то ни стало, произведеніе драматическое, вполнѣ приспособленное къ постановкѣ на сценѣ,—это была задача, внушенная ему самимъ его геніемъ. Но при трудности ея исполненія, при необходимости пожертвовать въ угоду ей многимъ, что казалось ему существеннымъ въ „начертаніи" „поэмы", его настойчивость являлась ему самому въ свѣтѣ суетной жажды театральныхъ успѣховъ. Въ томъ же письмѣ онъ называетъ это „гвоздемъ", „который онъ вбилъ себѣ въ голову", и „мелочной задачей, вовсе не сообразной съ ненасытностью души, съ пламенной страстью къ новымъ вымысламъ"... — Здѣсь же любопытны и слѣдующія строки: „... на дорогѣ пришло мнѣ въ голову придѣлать новую развязку; я ее вставилъ между сценою Чацкаго, когда онъ увидалъ свою негодяйку, со свѣчею надъ лѣстницею, и передъ тѣмъ, какъ ему обличить ее; живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались въ самый день моего пріѣзда, и въ этомъ видѣ читалъ ее Крылову, Жандру, Хмѣль-

ницкому, Шаховскому, Гр(ечу) и Булг(арину), Колосовой, Каратыгину, дай счесть — 8 чтеній, нѣтъ, обчелся, — двѣнадцать; третьяго дня обѣдъ былъ у Столыпина, и опять чтеніе, и еще слово далъ на три въ разныхъ закоулкахъ. Грому, шуму, восхищенію, любопытству конца нѣтъ. Шаховской рѣшительно признаетъ себя побѣжденнымъ (на этотъ разъ). Замѣчаніемъ Вьельгорскаго я тоже воспользовался. Но, наконецъ, мнѣ такъ надоѣло все одно и то же, что во многихъ мѣстахъ импровизирую,—да, это нѣсколько разъ случилось, потомъ я самъ себя ловилъ, но другіе не домекались".

Эти чтенія, какъ видно, были весьма нужны Грибоѣдову. Успѣхъ ободрялъ его и показывалъ, что онъ блистательно справился съ трудною задачею—приладить свой замыселъ и свои вдохновенія къ данной литературной и сценической формѣ. Все существенное въ нихъ было сохранено, и, несмотря на то, вышла живая, бойкая пьеса, гдѣ есть все, что полагается, — и завязка, и развязка, и интрига, и дѣйствіе. Не бѣда, что горничная Лиза оказалась похожею больше на французскихъ субретокъ, чѣмъ на московскихъ крѣпостныхъ служанокъ. Это — лицо второстепенное, а, помимо того, въ добрыя старыя времена „смѣшенія французскаго съ нижегородскимъ" такой „типъ" могъ намѣчаться и въ самой дѣйствительности. Не бѣда и то, что Чацкій напоминаетъ мольеровскаго Альцеста, и что въ тѣсныхъ рамкахъ сценическаго произведенія основная идея Грибоѣдова казалась многимъ (въ томъ числѣ, напр., Бѣлинскому) „сбивчивой" и „неясною". Въ свое время, вмѣстѣ съ поступательнымъ ходомъ идей и развитіемъ самой общественности, она выяснится. Окажется, что Чацкій—широкое художественное обобщеніе, распространившееся на послѣдующія поколѣнія, и что трагедія „милліона терзаній"—и глубоко жизненна, и психологически правдива, и знаменательна. Здѣсь умѣстно вспомнить пре-

красныя слова А. Н. Пыпина: „... время Чацкихъ — не только въ широкомъ отвлеченномъ, но и въ болѣе тѣсномъ смыслѣ—далеко не прошло... Довольно оглянуться на ежедневные факты нашей общественной жизни, чтобы видѣть, какъ много матеріала нашелъ бы новѣйшій Чацкій для „раздражительныхъ монологовъ"... Смыслъ произведенія Грибоѣдова для нашего времени заключается вовсе не въ какой-нибудь спеціальной славянофильской или „настоящей русской" общественной теоріи, а какъ вѣрно замѣтилъ Гончаровъ, въ тонѣ, настроеніи его рѣчей, въ этомъ исканіи исхода изъ окружающаго мрака къ свѣту и свободѣ, въ чемъ бы ни былъ этотъ мракъ и этотъ исходъ для лучшихъ людей данной эпохи. („Ист. русс. лит." IV, 330.)

Таково значеніе и таковъ—доселѣ живой—итогъ художественнаго эксперимента, столь широко и правильно поставленнаго и проведеннаго Грибоѣдовымъ въ двадцатыхъ годахъ истекшаго столѣтія.

Поэтъ достигъ столь блестящихъ результатовъ благодаря тому, что въ борьбѣ съ формою, въ своихъ мукахъ творчества, сумѣлъ дать перевѣсъ творческой работѣ надъ литературнымъ сочинительствомъ. Онъ самъ сознавалъ это, когда, въ отвѣтъ на упрекъ Катенина, что въ пьесѣ „дарованія больше, чѣмъ искусства", онъ писалъ: „Самая лестная похвала, которую ты могъ мнѣ сказать; не знаю, стою ли ея. Искусство въ томъ только и состоитъ, чтобы поддѣлываться подъ дарованіе, а въ комъ болѣе вытверженнаго, пріобрѣтеннаго потомъ и мученіемъ искусства угождать теоретикамъ, т.-е. дѣлать глупости, въ комъ, говорю я, болѣе способности удовлетворять школьнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ, нежели собственной творческой силы, тотъ, если художникъ, разбей свою палитру, и кисть, и рѣзецъ или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ спорѣе дѣло, и не лучше ли во-

все безъ хитростей... Я какъ живу, такъ и пишу свободно и свободно". („Полн. собр. соч.", I, 107.)

5.

Работа Грибоѣдова надъ „Горе отъ ума" совпала по времени съ работой Пушкина надъ „Евг. Онѣгинымъ".

Это знаменательно,—и представляется въ высокой степени характернымъ для той эпохи. Какъ извѣстно, она была отмѣчена быстро надвигавшеюся реакціей и—параллельно—быстро растущимъ возбужденіемъ общественной мысли и совѣсти. Въ сознаніи многихъ представителей новыхъ стремленій вырисовывались—параллельно—съ одной стороны типы и картины, изображавшіе общественный оплотъ реакціи, а съ другой—протестъ озлобленныхъ, желчныхъ Чацкихъ и разочарованныхъ, скучающихъ Онѣгиныхъ. Эти картины и образы и связанныя съ ними настроенія, чувства, думы были принадлежностью коллективной художественной и общественной мысли цѣлаго поколѣнія. Два великихъ поэта явились ихъ выразителями. Они сдѣлали это общее достояніе предметомъ высшаго творчества.

Чацкій предупредилъ Онѣгина. Его рѣчи отзвучали, и онъ бѣжалъ—„искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ", прежде чѣмъ Онѣгинъ успѣлъ вполнѣ сложиться и—разочароваться.

„Горе отъ ума" съ центральною фигурою Чацкаго было первымъ по времени великимъ созданіемъ нашего реальнаго искусства въ XIX-мъ вѣкѣ,—первымъ выраженіемъ общественнаго самосознанія въ поэзіи.

Намъ предстоитъ теперь прослѣдить, какъ вліяло это могучее выраженіе на обыденную и на критическую мысль той эпохи и послѣдующихъ,—пока, по почину Гончарова, не установился тотъ взглядъ на смыслъ и значеніе комедіи Грибоѣдова, въ которомъ и кристаллизовался последній итогъ ея воздѣйствія на нашу мысль и совѣсть.

ГЛАВА II.

„Горе отъ ума" во второй половинѣ 20-хъ годовъ и въ началѣ 30-хъ.

1.

Критика второй половины 20-хъ и начала 30-хъ годовъ оцѣнила комедію Грибоѣдова по достоинству. Она не дала обстоятельнаго разбора пьесы, ея замысла, типовъ, въ ней выведенныхъ, но по всему видно, что все это было хорошо понято, и притомъ не только критиками, но и публикою. Прежде чѣмъ критики заговорили о пьесѣ, она уже успѣла распространиться въ тысячахъ списковъ и въ молодомъ поколѣніи вызывала неподдѣльный восторгъ. „Горе отъ ума" сводило всѣхъ съ ума, волновало всю Москву", вспоминаетъ Т. П. Пассекъ, говоря о 1825—1827 гг., когда она и ея кузенъ Саша (А. И. Герценъ), еще совсѣмъ юные, учились дома и только что начинали развиваться („Изъ дальнихъ лѣтъ", воспоминанія Т. П. Пассекъ, т. I. стр. 220). —Нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1833 году, Н. А. Полевой писалъ: „Лѣтъ десять тому, какъ начали говорить въ обществахъ о комедіи Грибоѣдова. Восторгъ, съ которымъ отзывались о ней тѣ, кому удавалось слышать или читать ее, подстрекнулъ любопытство многихъ..." —Указавъ на разныя обстоятельства, способствовавшія успѣху „Горя отъ ума", Полевой продолжаетъ: „И надобно сказать, что успѣхъ былъ неслыханный: Много ли отыщете примѣровъ, чтобы сочиненіе, листовъ въ 12 печатныхъ, было переписываемо тысячи разъ,— ибо гдѣ и у кого нѣтъ рукописи „Горя отъ ума"? Бывалъ ли у насъ примѣръ, еще болѣе разительный, чтобы рукописное сочиненіе сдѣлалось достояніемъ словесности, чтобы

о немъ судили, какъ о сочиненіи извѣстномъ всякому, знали его наизусть, приводили въ примѣръ, ссылались на него, и только въ отношеніи къ нему не имѣли надобности въ изобрѣтеніи Гуттенберговомъ?“ (Московскій Телеграфъ, 1833 г. № XVIII, стр. 246. Статья о первомъ изданіи „Горя отъ ума“.) Любопытны и слѣдующія строки: „... комедія Грибоѣдова—уже давно собственность публики. Дайте какому-нибудь писарю 20 руб., и онъ принесетъ вамъ чисто переписанный экземпляръ „Горя отъ ума“, который, можетъ быть, вы и не промѣняете на печатный...“ (тамъ же, стр. 248.)

Эти любопытныя показанія, какъ и другія, аналогичныя, какихъ можно найти немало въ литературѣ той эпохи и въ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ современниковъ, даютъ поводъ думать, что образованная публика 20-хъ гг., въ особенности ея лучшая, передовая часть, понимала сатиру Грибоѣдова достаточно хорошо, такъ что критикамъ не зачѣмъ было разъяснять публикѣ, что такое Фамусовъ, Скалозубъ и прочіе, и даже что такое Чацкій, и что именно „хотѣлъ сказать“ Грибоѣдовъ. Да и сами критики въ своемъ пониманіи пьесы лишь немногимъ возвышались надъ пониманіемъ публики, и въ своихъ отзывахъ они даютъ, такъ сказать, только резюмэ или сводку общераспространеннаго взгляда, являясь выразителями общественнаго мнѣнія,—по крайней мѣрѣ мнѣнія лучшей части общества. О Чацкомъ установилось тогда воззрѣніе (вполнѣ правильное)—какъ о представителѣ передовыхъ людей эпохи, представителѣ, болѣе для нея характерномъ, чѣмъ Евг. Онѣгинъ. Т. П. Пассекъ хорошо помнила это, когда писала: „Типъ того времени... въ литературѣ отразился въ Чацкомъ“ (а не въ Онѣгинѣ, который „выражалъ одну сторону тогдашней жизни и нисколько не выражалъ всѣхъ стремленій умственныхъ и нравственныхъ 20-хъ годовъ“).—„Въ его молодомъ негодованіи уже слышится порывъ къ дѣлу. Онъ возмущается, потому что не можетъ выносить диссонансъ своего внутренняго міра съ

міромъ, окружающимъ его" („Изъ дальнихъ лѣтъ", т. I, 221).—Это сужденіе тѣмъ цѣннѣе, что оно принадлежитъ собственно Герцену, на котораго Т. П. Пассекъ и ссылается въ этомъ мѣстѣ („какъ вѣрно замѣтилъ Саша").—Въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ другихъ, взгляды „Саши" были (въ эпоху, когда они болѣе или менѣе сложились у него, т.-е. въ первой половинѣ 30-хъ годовъ) отраженіемъ, а частью и дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ передовой части общества 20-хъ годовъ. То же самое воззрѣніе на Чацкаго отразилось и въ томъ мѣстѣ вышецитированной статьи Полевого, гдѣ онъ, указавъ на нравственную несостоятельность и пошлость среды, воспроизведенной въ комедіи Грибоѣдова, говоритъ: „И посреди такого-то общества является Чацкій, какъ будто выходецъ съ другого свѣта. Его пламенная, чистая, благородная душа, его умъ, просвѣщенный и современный, не понимаютъ этого общества..." и т. д. (указ. статья, стр. 253).—Грибоѣдовскій Чацкій былъ вполнѣ понятенъ современникамъ, которые видѣли въ немъ воплощеніе чертъ, взятыхъ изъ дѣйствительности. Такъ въ другомъ мѣстѣ той же статьи Полевой говоритъ, что „въ Чацкомъ соединено множество чертъ нѣкоторыхъ изъ нынѣшнихъ молодыхъ людей" (стр. 249), и тутъ же указываетъ на эти черты: „Чацкій одушевленъ страстями огненными: онъ пылокъ, гордъ, страстенъ ко всему прекрасному, высокому и родному". Не совсѣмъ ясно то, что говоритъ Полевой, или что хочетъ онъ сказать, противопоставляя художественный образъ Чацкаго образу Фамусова (и потомъ Молчалина) со стороны ихъ яркости, законченности и находя, что Чацкій „не можетъ быть такъ разителенъ, какъ Фамусовъ, ибо стремленіе безсильное не носитъ въ себѣ характера самобытности и не имѣетъ имени (?). Чацкій хочетъ всего хорошаго, но не достигаетъ ни къ чему: это человѣкъ, стоящій немного выше толпы" (?).—Можетъ быть, здѣсь нужно видѣть отголосокъ сужденія тѣхъ, которымъ неясенъ былъ самый замыселъ

Чацкаго и которые, относясь съ полнымъ сочувствіемъ къ сатирѣ Грибоѣдова, находили однако горячность Чацкаго неумѣстною и самый протестъ его безсильнымъ и безплоднымъ. Такой взглядъ существовалъ и съ годами упрочивался; ниже мы увидимъ его крайнее выраженіе въ знаменитой статьѣ Бѣлинскаго. Если это такъ, то приведенныя неясныя слова Полевого переносятъ насъ въ то переходное, какъ бы промежуточное, умонастроеніе общества и печати, которымъ характеризуется начало 30-хъ годовъ. Память о движеніи 20-хъ годовъ еще не заглохла тогда, но тѣ вліянія и то настроеніе, которыхъ выразителемъ былъ Чацкій, уже становились преданіемъ, уступая мѣсто другимъ вѣяніямъ и другому настроенію общества. Мы же, въ этой главѣ, имѣемъ въ виду именно 20-ые годы, а потому выслушаемъ теперь отзывъ одного изъ наиболѣе видныхъ представителей и вмѣстѣ съ тѣмъ самаго выдающагося литературнаго критика этой эпохи—А. А. Бестужева, столь знаменитаго впослѣдствіи подъ псевдонимомъ „Марлинскій“.

Въ статьѣ „Взглядъ на русскую словесность въ теченіе 1824 и начала 1825 годовъ“ (въ „Полярной звѣздѣ“) Бестужевъ въ слѣдующихъ восторженныхъ словахъ привѣтствуетъ появленіе рукописной комедіи г. Грибоѣдова „Горя отъ ума“...: „Толпа характеровъ, обрисованныхъ смѣло и рѣзко; живая картина московскихъ нравовъ, душа въ чувствованіяхъ, умъ и остроуміе въ рѣчахъ, невиданная доселѣ бѣглость и природа разговорнаго русскаго языка въ стихахъ. Все это завлекаетъ, поражаетъ, приковываетъ вниманіе. Человѣкъ съ сердцемъ не прочтетъ ее, не смѣявшись, не тронувшись до слезъ...“ Ниже Бестужевъ упоминаетъ, что въ театральномъ альманахѣ „Русская Талія“ (изданномъ Булгаринымъ въ 1825 г.) напечатанъ 3-й актъ комедіи „Горе отъ ума.“

При всемъ огромномъ успѣхѣ пьесы, не было, разумѣется, недостатка и въ отрицательныхъ отзывахъ. Одни

(какъ, напр., Катенинъ) осуждали комедію съ точки зрѣнія строгихъ правилъ старой „піитики", другіе осуждали рѣзкій тонъ сатиры Грибоѣдова. По адресу тѣхъ и другихъ направлены слѣдующія слова Бестужева: „Люди, привычные даже забавляться по французской систематикѣ или оскорбленные зеркальностью сценъ, говорятъ, что въ ней нѣтъ завязки, что авторъ не по правиламъ нравится;—но пусть они говорятъ, что имъ угодно: предразсудки разсѣются, и будущее оцѣнитъ достойно сію комедію, и поставитъ ее въ число первыхъ твореній народныхъ" [1]).

Вернемся еще къ статьѣ Полевого. Любопытны первыя же строки ея: „Наконецъ вотъ она, эта знаменитая русская комедія! Наконецъ она не скользитъ среди публики какъ тать, какъ запрещенный товаръ безъ клейма, какъ умный мѣщанинъ среди надутыхъ аристократовъ, какъ тетрадь между книгами! Она сама книга, предназначенная пережить много книгъ". Въ этихъ словахъ сказался человѣкъ, сформировавшійся въ 20-хъ годахъ и хранившій лучшія традиціи этой эпохи, какимъ и былъ тогда Н. А. Полевой. Еще ярче сказалось это въ тѣхъ мѣстахъ статьи, гдѣ онъ указываетъ на типичность фигуръ Грибоѣдова. Эти фигуры не списаны съ опредѣленныхъ лицъ,—на этомъ настаиваетъ Полевой, можетъ быть, не довѣряя слухамъ, а можетъ быть, и намѣренно, чтобы тѣмъ прочнѣе установить свой взглядъ на широкое общественное значеніе сатиры Грибоѣдова. Фамусовъ, напр., не воспроизводитъ того или другого опредѣленнаго лица, а является обобщеніемъ, типичнымъ представителемъ множества подобныхъ лицъ. Въ этомъ образѣ мѣтко схвачены характерныя черты московскаго барина: неудивительно, что многіе могутъ узнавать себя въ грибо-

[1]) Эта статья была, вмѣстѣ съ другими критическими статьями Бестужева-Марлинскаго, переиздана въ 1838 г. въ сборникѣ „Стихотворенія и полемическія статьи" (безъ имени автора), откуда мы взяли наши цитаты (стр. 198—199).

ѣдовскомъ Фамусовѣ. „Фамусовъ является вамъ въ обществѣ подъ тысячью различныхъ обликовъ, и потому-то многіе находятъ въ немъ сходство съ тѣмъ и съ другимъ", говоритъ критикъ, которому не было извѣстно заявленіе самого Грибоѣдова (въ письмѣ къ Катенину), что онъ сознательно писалъ съ натуры, что его образы — портреты. Но Полевой совершенно правъ, когда указываетъ на типичность этихъ образовъ, на то, что они рисуютъ намъ не отдѣльныхъ лицъ (имя-рекъ), а среду, общество [1]). Въ этомъ и состоитъ, по мнѣнію Полевого, высшее достоинство комедіи Грибоѣдова, это „даетъ" ей „народность и дѣлаетъ" ее „произведеніемъ своего вѣка и народа". Слово „народность", употреблявшееся въ 20-хъ и 30-хъ годахъ въ смыслѣ „популярность", въ приведенномъ мѣстѣ означаетъ, какъ я думаю, не только „популярность", но вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что мы выразили бы терминомъ „общественное значеніе". Именно съ этой-то точки зрѣнія и смотритъ Полевой на фигуры, выведенныя Грибоѣдовымъ. „Всякій вѣкъ имѣетъ своихъ Молчалиныхъ,—говоритъ онъ, — но въ наше время они точно таковы, какъ Молчалинъ „Горя отъ ума"... Осмотритесь: вы окружены Молчалиными. Созданіе этого характера есть порывъ души благородной, желающей обличить порокъ и невѣжество".—Послѣднее выраженіе („обличать порокъ и невѣжество") было тогда, какъ въ XVIII-мъ вѣкѣ, ходячимъ терминомъ, подъ которымъ понималась не только нравоучительная сатира, но и сатира, имѣвшая общественно-политическое значеніе, какою и была комедія Грибоѣдова. — „Наконецъ, забудемъ ли милаго Скалозуба, встрѣчнаго на всякомъ шагу Репетилова, мастера услужить Загорѣцкаго, княгиню и князя Тугоуховскихъ, Хлестову,

[1]) Любопытна терминологія. Слово „типичность" еще не было тогда въ ходу. Полевой говоритъ — „самобытность", „первообразность характеровъ"; лицо Молчалина „такъ же отличено самобытностью, какъ лицо Фамусова" (стр. 250).

графиню бабушку и внучку, шестерыхъ княженъ? Нѣтъ, они не даютъ забыть о себѣ, они всѣ вокругъ насъ, впереди насъ, за нами и передъ нами. Это—члены свѣтскаго общества" (стр. 250—251). И вслѣдъ за тѣмъ критикъ еще разъ указываетъ на то, что все это — „не личности, а характеры нашего времени, принадлежащіе главной части общества" (тамъ же). — Обращаясь къ разсмотрѣнію самаго замысла пьесы и его развитія (по терминологіи автора, „связи пьесы"), Полевой находитъ, что эта сторона „не менѣе оригинальна и превосходна", чѣмъ характеры. Въ бѣгломъ обзорѣ „связи пьесы" критикъ попутно характеризуетъ дѣйствующихъ лицъ и — не скупится на сильныя выраженія, какъ напр., „бездушные, ничтожные невѣжды, погруженные въ тину своихъ пороковъ, глупостей и подлостей...", „Фамусовъ—глупый, бездушный невѣжда, думающій только объ удобствѣ животной жизни", „Скалозубъ — дуракъ, не имѣющій ни доброты, ни чувства, это—Скотининъ нашего времени" и т. д.

Полевой хорошо понялъ смыслъ сатиры Грибоѣдова и вполнѣ правильно указалъ на ея общественное значеніе. Въ свою очередь, и его статья, написанная смѣло и рѣзко, имѣла общественное значеніе, какъ и вся дѣятельность этого писателя въ 20-хъ и 30-хъ годахъ. Не забудемъ, что въ ту пору Фамусовы, Скалозубы и Молчалины были и многочисленны, и сильны. Неудивительно, что Полевой заслужилъ репутацію „якобинца" [1]).

Изъ людей 20-хъ годовъ, продолжавшихъ свою дѣятельность въ 30-хъ, замѣтно выдѣляются эти два писателя, отзывы которыхъ о комедіи Грибоѣдова мы привели здѣсь. Марлинскій и Полевой продолжаютъ при новыхъ условіяхъ

---

[1]) Въ доносѣ на Полевого, посланномъ въ III-е отдѣленіе въ 1827 г., говорится о цѣлой „партіи", „атаманами" которой названы кн. Вяземскій и Полевой. См. „Литература и просвѣщеніе въ Россіи въ XIX-мъ в.", проф. Евг. Боброва (Казань, 1901 г.), т. II, стр. 152.

и новомъ настроеніи общества традицію и общее направленіе, которыя впервые установились около половины 20-хъ годовъ и наиболѣе яркими выраженіями которыхъ были комедія Грибоѣдова и поэзія Пушкина въ „Александровскую эпоху“. Да и самъ Пушкинъ можетъ быть также названъ „человѣкомъ и писателемъ 20-хъ годовъ“, продолжавшимъ свою дѣятельность въ 30-хъ годахъ. Характерныя черты духовной физіономіи, особенности воспитанія, общій обликъ личности, нѣкоторыя отличія въ умонастроеніи, въ складѣ общественной мысли—все это у Пушкина выдаетъ его, такъ сказать, „кровную“ принадлежность къ тому же поколѣнію, къ которому относятся Марлинскій и Полевой. Это поколѣніе въ 30-хъ годахъ жило главнымъ образомъ процентами съ душевнаго капитала, пріобрѣтеннаго въ „Александровскую эпоху“. Правда, Пушкинъ былъ „явленіе чрезвычайное“ и — внѣ конкурса. Но это только заслоняло въ немъ черты времени, не уничтожая ихъ. Тѣ же черты мы найдемъ и у другихъ эпигоновъ Александровской эпохи, какъ, наприм., у кн. Вяземскаго, у Н. И. и Л. И. Тургеневыхъ, и кн. В. Ѳ. Одоевскаго. Но изъ этой группы Полевой и Марлинскій выдѣляются — своимъ вліяніемъ на широкую публику, своимъ литературнымъ значеніемъ, въ частности тѣмъ, что они являлись наиболѣе видными продолжателями такъ называемаго „романтизма“, понятіе о которомъ переплеталось у нихъ съ общимъ взглядомъ ихъ на движеніе европейскихъ литературъ и самой цивилизаціи. Этотъ своеобразный „романтизмъ“ мѣшалъ имъ понимать, какъ слѣдуетъ, напр., Гоголя и реализмъ Пушкина (въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ), равно какъ и новыя теченія въ общественной мысли и жизни Европы. Но онъ отлично уживался у нихъ съ пониманіемъ реализма Грибоѣдова по той простой причинѣ, что среда и типы, воспроизведенные въ комедіи, были слишкомъ хорошо извѣстны имъ по личному опыту, что идеи и идеалы Чацкаго были ихъ собственными

и, наконецъ, имъ, какъ и другимъ представителямъ того же поколѣнія, приходилось нерѣдко переживать настроеніе, аналогичное тому, которое такъ ярко отразилось въ горячихъ рѣчахъ героя пьесы.

Этотъ герой былъ — **ихъ** герой. Лучшіе люди 20-хъ годовъ были, каждый по-своему, „Чацкими",—и не только по „соціальному положенію", среди отсталаго общества, лицомъ къ лицу съ Фамусовыми, Скалозубами, Молчалиными и въ виду надвигавшейся реакціи, но еще больше—**по своему умственному и нравственному складу, по характернымъ признакамъ своей душевной организаціи.** Если потомъ, въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, образъ Чацкаго потускнѣлъ, и бывали случаи либо отрицательнаго, либо равнодушнаго къ нему отношенія со стороны лучшихъ людей эпохи, то это объясняется не перемѣною „соціальнаго положенія" этихъ людей (**съ этой стороны** они оставались все такими же „Чацкими"), а **рѣзкимъ измѣненіемъ умственнаго и нравственнаго склада, равно какъ и преобладающихъ чертъ душевной организаціи.**

Мы здѣсь подошли къ одному, въ высокой степени любопытному явленію, періодически повторяющемуся у насъ при исторической смѣнѣ поколѣній. Это — что съ легкой руки Тургенева принято называть розньюмежду „отцами" и „дѣтьми", но что гораздо правильнѣе назвать розныо между двумя **психологическими типами.** Поясняя свою мысль примѣромъ, я скажу, что разладъ между Базаровыми и Кирсановыми (Ник. Петровичемъ и Павломъ Петровичемъ) оставался бы во всей своей силѣ и въ томъ случаѣ, если бы ихъ не раздѣляла разница понятій, если бы они въ общемъ держались однихъ и тѣхъ же взглядовъ и убѣжденій. Суть дѣла здѣсь не въ понятіяхъ, не въ идеалахъ, а въ томъ, что Базаровъ по своей натурѣ, по своей психической организаціи, по самому складу ума, чувства

и воли, являетъ собою психологическій типъ, во многомъ противоположный тому, къ которому принадлежатъ Кирсановы. Представители разныхъ психологическихъ типовъ могутъ сходиться во взглядахъ, въ стремленіяхъ, въ идеалахъ, могутъ имѣть однѣ и тѣ же симпатіи и антипатіи, но взаимное душевное, интимное пониманіе и сочувствіе устанавливается между ними съ большимъ трудомъ, и то — больше теоретически, чѣмъ практически; всего труднѣе имъ сговориться и понять другъ друга тогда, когда они сталкиваются въ жизни, среди однихъ и тѣхъ же условій времени, ибо на одинаковыя впечатлѣнія и воздѣйствія среды они реагируютъ различно въ силу различнаго уклада психики и, реагируя различно, по необходимости расходятся въ разныя стороны, поворачиваются другъ къ другу спиной. И часто различіе въ идеяхъ, во взглядахъ оказывается явленіемъ вторичнымъ,—не причиною разлада, а слѣдствіемъ уже существующей розни, обусловленной кореннымъ различіемъ душевныхъ организацій.

Чѣмъ вызывалось это различіе, почему на смѣну поколѣнія съ извѣстнымъ укладомъ душевныхъ силъ выступало поколѣніе съ совершенно другимъ укладомъ, это — трудный вопросъ общественной психологіи, для рѣшенія котораго не всегда мы найдемъ достаточно свѣдѣній. Въ особенности трудно освѣтить его надлежащимъ образомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда мы имѣемъ дѣло съ эпохою, отошедшею въ прошлое и еще далеко не изслѣдованною во всѣхъ изгибахъ ея умственной и нравственной жизни.

Для нашей цѣли, въ этомъ трудѣ, важно не столько раскрыть причины, сколько установить и описать самый фактъ коренного различія въ духовномъ обликѣ двухъ поколѣній эпохи, о которой идетъ рѣчь.

2.

Поколѣніе, выступившее на арену сознательной жизни около половины 30-хъ годовъ, окончательно сложившееся къ началу 40-хъ и извѣстное подъ именемъ „людей 40-хъ годовъ", представляло по своему душевному складу, по преобладающему настроенію и по самому способу реагировать на получаемыя впечатлѣнія и умственныя возбужденія, прямую противоположность людямъ 20-хъ годовъ. Нелишне будетъ здѣсь же оговорить, что это различіе вначалѣ, въ 30-хъ годахъ, когда новое поколѣніе еще находилось въ періодѣ духовнаго роста, было замѣтно ярче, чѣмъ позже, въ 40-хъ годахъ, когда уже миновало то, что можно назвать „болѣзнью умственнаго и нравственнаго роста".

Взглянемъ сперва на дѣятелей 20-хъ годовъ, т.-е. на поколѣніе, которое росло, развивалось въ 10-хъ годахъ XIX вѣка и сложилось около 20-хъ. Эти люди совмѣщали въ себѣ образованность, идейность, умственные интересы съ тою, если можно такъ выразиться, душевною выдержкой, которую даетъ непосредственное участіе въ практической жизни. Большею частью это были военные, и притомъ воспитавшіеся не на однихъ смотрахъ и парадахъ, а также въ походахъ, въ сраженіяхъ и, что, пожалуй, еще важнѣе, въ прикосновенности къ міровымъ событіямъ. Другіе—не военные—проходили также либо суровую школу жизни (какъ напр., Сперанскій, Полевой), либо вели дѣятельную, подвижную жизнь, богатую опытомъ и впечатлѣніями (Николай Тургеневъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Рылѣевъ). Индивидуальныя различія между ними были, конечно, весьма велики, со стороны ума, дарованій, лич-

наго характера, темперамента и т. д., но при всемъ томъ эти люди объединяются какимъ-то общимъ отпечаткомъ и легко подводятся подъ опредѣленный „психологическій типъ“. Этотъ типъ характеризуется со стороны чувствованій замѣтною выдержанностью, какъ бы закаленностью души: эти люди переживали сильныя впечатлѣнія (напр., на войнѣ), много переиспытали, много перенесли и сравнительно съ силою этихъ впечатлѣній и испытаній мало поражались, мало плакали, мало восторгались, рѣдко унывали, никогда не отчаивались. Они далеко не были такъ чувствительны, какъ было чувствительно слѣдующее за ними поколѣніе. Это можно назвать „закаломъ“ души и можно назвать „слабою раздражимостью чувствующей сферы“ и наконецъ—отсутствіемъ „восторженности“. Самый восторженный изъ нихъ былъ Кюхельбекеръ, да и тотъ слылъ у нихъ оригиналомъ, чудакомъ. Итакъ, умѣренность въ реагированіи чувствомъ на сильныя внѣшнія воздѣйствія и на тревогу собственной души—вотъ первое, что бросается въ глаза психологу, изучающему жизнь и дѣятельность людей 20-хъ годовъ [1]). Со стороны мысли замѣтно выдѣляются у нихъ слѣдующія черты: жажда знаній, охота и умѣніе учиться, способность усвоивать европейское просвѣщеніе, здоровая дѣятельность ума и отсутствіе „глубокомыслія“. Они не были „мыслителями“ въ томъ смыслѣ, какъ можно назвать мыслителями, напр., Бѣлинскаго, Герцена, Станкевича и др. Интересъ къ философіи уже пробуждался, и мы видимъ проблески философской мысли въ сочиненіяхъ

---

[1]) Я не могу здѣсь вдаваться въ подробности, въ фактическое изслѣдованіе этой стороны въ психологіи людей 20-хъ годовъ, и мнѣ приходится просто сослаться на біографіи, письма, мемуары. Сравните, напр., письма Грибоѣдова, Пушкина, Рылѣева, А. А. Бестужева, воспоминанія кн. Волконскаго, бар. Розена и т. д., съ письмами Герцена, Бѣлинскаго и др., и вы легко отмѣтите то различіе, о которомъ я говорю.

и Бестужева-Марлинскаго, и Полевого [1]). Но, вообще говоря, людямъ этой эпохи было не до философіи. Имъ приходилось учиться, и они учились всю жизнь, съ рѣдкимъ для русскаго человѣка усердіемъ и выдержкою. Почти всѣ они были такъ или иначе самоучки, ибо школа того времени давала слишкомъ мало, а иные изъ нихъ никакой и не знали. Пушкинское „въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ“ было у нихъ лозунгомъ, живою потребностью ума, неусыпнымъ стремленіемъ. Самоучка-Полевой съ энциклопедическимъ образованіемъ—характерная фигура эпохи. Умственныя занятія декабристовъ въ Сибири и раньше, жажда умственной пищи и энергія въ ея добываніи, какія обнаруживалъ Бестужевъ среди тревогъ и тяжелыхъ условій солдатской жизни на Кавказѣ, любовь къ книгѣ, живой интересъ къ просвѣщенію у Грибоѣдова, у Пушкина, у Рылѣева и т. д.—все это живо рисуетъ намъ умственный обликъ поколѣнія, которое призвано было учиться и просвѣщаться за всю Россію, въ противоположность слѣдующему поколѣнію, призванному мыслить и страдать муками самосознанія. Когда Пушкинъ сказалъ: „я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать“, онъ этимъ упредилъ свое время, какъ упредилъ его во многомъ. Поколѣніе 20-хъ годовъ не страдало болѣзнями и скорбями мысли. Оно скорѣе наслаждалось познавательною работою ума. Только тѣ, которые обладали творческимъ даромъ, какъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ, знали муки мысли, муки творчества.

Умственная жизнь людей 20-хъ годовъ, сравнительно съ богатствомъ умственной жизни Бѣлинскаго, Станкевича, Герцена, и др., представляется гораздо менѣе сложною, болѣе простою и элементарною. Это нельзя объяснить однимъ лишь различіемъ эпохъ, т.-е. тѣмъ, что новое время принесло и новые умственные интересы, выдвинуло новые во-

---

[1]) Повидимому, настоящими, призванными мыслителями поколѣнія 10—20-хъ гг. были Веневитиновъ и проф. Павловъ.

просы мысли и развитія. Новые интересы и вопросы требовали и новыхъ умовъ, умственныхъ организацій иного склада, иного типа. Нѣкоторые, и притомъ изъ числа наиболѣе сильныхъ умовъ поколѣнія 20-хъ годовъ, какъ извѣстно, продолжали свою дѣятельность и въ 30-е годы. И вотъ тутъ-то и обнаружилось, что эти умы были, по самому укладу своему, совсѣмъ не приспособлены для разработки новыхъ задачъ развитія. Это наглядно рисуется на частномъ примѣрѣ, гдѣ мы видимъ столкновеніе новаго склада и новыхъ потребностей мысли со старыми. Я имѣю въ виду извѣстный разсказъ Герцена о томъ, какъ Н. А. Полевой „не могъ понять сенсимонизма", которымъ увлекались юные умы, сплотившіеся въ тѣсный дружескій кругъ. Дѣло было въ томъ же 1833 году, къ которому относится вышеразсмотрѣнная статья Полевого о „Горе отъ ума". „Уже тогда въ 1833 году,—разсказываетъ Герценъ,—либералы смотрѣли на насъ исподлобья, какъ на сбившихся съ дороги". Эти либералы и были люди старшаго поколѣнія, къ которому принадлежалъ и Полевой. „... Сенсимонизмъ,—продолжаетъ Герценъ,—поставилъ рубежъ между мной и Н. А. Полевымъ". Слѣдуетъ сжатая, мѣткая и очень правильная характеристика Полевого: „Полевой былъ человѣкъ необыкновенно ловкаго [1]) ума, дѣятельнаго, легко претворяющаго всякую пищу"... Замѣтимъ мимоходомъ, что эти слова могли бы послужить удачной характеристикой ума почти всѣхъ дѣятелей, принадлежавшихъ къ поколѣнію 20-хъ гг.,—и продолжаемъ выписку: „...онъ родился быть журналистомъ, лѣтописцемъ успѣховъ, открытій, политической и учебной борьбы. Я познакомился съ нимъ въ концѣ курса и бывалъ иногда у него и у его брата, Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее

[1]) Слово „ловкій", какъ видно изъ контекста, не выражаетъ здѣсь никакого порицанія, оно указываетъ только на гибкость, отзывчивость, живость ума Полевого.

запрещенію Телеграфа.—Этотъ-то человѣкъ, жившій послѣднимъ открытіемъ, вчерашнимъ вопросомъ, новою новостью въ теоріи и въ событіяхъ, мѣнявшійся, какъ хамелеонъ, при всей живости ума не могъ понять сенсимонизма. Для насъ сенсимонизмъ былъ откровеніемъ, для него—безуміемъ, пустой утопіей, мѣшающей гражданскому развитію". Иначе говоря: Полевой, какъ и почти всѣ дѣятели его поколѣнія, выдвигали на первый планъ „гражданское развитіе", которому и хотѣли служить, какъ кто могъ и умѣлъ. А новое молодое поколѣніе прежде всего искало высшей душевной жизни, болѣе утонченной умственной пищи,—оно жаждало „откровеній"—въ философіи, въ искусствѣ, въ религіи, въ передовыхъ идеяхъ вѣка. Что же касается „гражданскаго развитія", то часть молодежи, „кружокъ Станкевича", совсѣмъ почти не интересовалась его задачами, едва-едва различая ихъ сквозь туманъ высшихъ „вопросовъ духа", поглощавшихъ все вниманіе этихъ,—дѣйствительно высокой пробы,—идеалистовъ. Другая часть,—„кружокъ Герцена, и Огарева", напротивъ очень тяготѣла къ вопросамъ жизни, „гражданскаго развитія" и вскорѣ близко подошла къ нимъ, но все-таки и эти идеалисты не менѣе высокой пробы въ то время всего болѣе жаждали философскихъ и иныхъ „откровеній", нуждались въ гимнастикѣ отвлеченной мысли, хлопотали о новомъ—широкомъ, общечеловѣческомъ—міровоззрѣніи, на которомъ можно было бы обосновать передовой идеалъ вѣка... Казалось бы, Полевому стоило только не обращать на это особеннаго вниманія, какъ на личное дѣло молодыхъ мыслителей, и—сойтись съ ними на другой почвѣ, на практическихъ вопросахъ просвѣщенія, литературнаго и „гражданскаго" развитія. Однако же сенсимонизмъ помѣшалъ, хотя было очевидно, что интересъ части молодежи къ этому столь яркому и столь идеалистическому движенію никоимъ образомъ не могъ бы заслонить насущ-

ныхъ нуждъ и очередныхъ задачъ русской дѣйствительности. И здѣсь разыгрался типичный эпизодъ взаимныхъ недоразумѣній между „отцами" и „дѣтьми". Послушаемъ дальше: „Сколько я ни ораторствовалъ, ни развивалъ, ни доказывалъ, Полевой былъ глухъ, сердился, становился желченъ. Ему было особенно досадна оппозиція, дѣлаемая студентомъ, онъ очень дорожилъ своимъ вліяніемъ на молодежь и въ этомъ преніи видѣлъ, что она ускользаетъ отъ него".— Казалось бы, и Герцену надлежало бы отпустить Полевому его несочувствіе сенсимонизму и сойтись съ уважаемымъ и вліятельнымъ писателемъ на томъ, что оба они одинаково хорошо понимали, во всякомъ же случаѣ—не смотрѣть на смѣлаго журналиста, какъ на „отжившаго, стараго гладіатора". Тогда Полевой былъ еще въ апогеѣ своей дѣятельности; умирающимъ же гладіаторомъ онъ сталъ позже, и не потому, что не понималъ Сенъ-Симона, а по другимъ, болѣе реальнымъ, причинамъ. И однако же вышло такъ, что сенсимонизмъ помѣшалъ и Герцену сойтись съ Полевымъ, какъ не допустилъ онъ Полевого понять Герцена. Прочтемъ дальше: „Одинъ разъ, оскорбленный нелѣпостью его возраженій, я ему замѣтилъ, что онъ такой же отсталый консерваторъ, какъ тѣ, противъ которыхъ онъ всю жизнь сражался. Полевой глубоко обидѣлся моими словами и, качая головой, сказалъ мнѣ: „Придетъ время, и вамъ въ награду за цѣлую жизнь усилій и трудовъ какой-нибудь молодой человѣкъ улыбаясь скажетъ: ступайте прочь, вы— отсталый человѣкъ". Мнѣ было жаль его, мнѣ было стыдно, что я его огорчилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ я понялъ, что въ его грустныхъ словахъ звучалъ его приговоръ. Въ нихъ слышался уже не сильный боецъ, а отжившій, устарѣлый гладіаторъ" [1]).

[1]) Къ этому мѣсту, повидимому, приложимо то, что говоритъ П. Н. Милюковъ объ автобіографіи Герцена: „Думы" слишкомъ заслоняютъ въ ней „былое": написанная много времени спустя, она часто смо-

Вникая глубже, мы легко поймемъ, что не сенсимонизмъ или иной, столь же „отвлеченный“ вопросъ (ибо вѣдь не былъ же это—жизненный вопросъ у насъ, въ Москвѣ, въ 1833 году!) былъ причиной разлада: причина лежала глубже—въ психологическомъ складѣ умовъ, а этого рода „вопросы“ и споры только выясняли тотъ фактъ, что прошла эпоха наивнаго реализма мысли, и народилось поколѣніе съ болѣе глубокими запросами ума, чувства, совѣсти. Здѣсь сталкивались два типа духовной организаціи, между которыми взаимное пониманіе, именно—пониманіе интимное, душевное, не могло установиться, потому что представители этихъ двухъ типовъ смотрѣли на Божій міръ различно, предъявляли ему различные вопросы, искали не однихъ и тѣхъ же отвѣтовъ. Міросозерцаніе Полевого и людей его поколѣнія было не только просто, элементарно, но и законченно. Люди новаго поколѣнія только вырабатывали свое міросозерцаніе, и они хотѣли, чтобъ оно было не просто, не элементарно, а по возможности сложно и возвышенно, чтобы въ него входили всѣ высшія, какъ тогда выражались, „стихіи“ духа...

Люди обладаютъ весьма различною воспріимчивостью къ впечатлѣніямъ жизни и мысли, различною способностью

трить на прошлое глазами послѣдующаго времени; помимо воли автора, „Dichtung“ часто получаетъ въ ней перевѣсъ надъ „Wahrheit“. („Изъ исторіи русской интеллигенціи“, стр. 117.) Дружескія связи съ Полевымъ не прекратились у Герцена послѣ размолвки по поводу сенсимонизма,—и самое осужденіе Полевого, какъ падшаго „гладіатора“, относится къ болѣе позднему времени. Объ этомъ см. въ интересномъ и обстоятельномъ изслѣдованіи Н. К. Козмина: „Очерки изъ исторіи русскаго романтизма“ (С.-Петерб. 1903), стр. 482—487. Этотъ трудъ посвященъ спеціально Полевому и, основанный на большой эрудиціи, представляетъ собою весьма цѣнный вкладъ въ исторію русской литературы. Если не ошибаюсь, это первый опытъ у насъ—обозрѣть всю литературную дѣятельность Полевого и бросить свѣтъ на самую личность этого замѣчательнаго человѣка. Книга написана живо и читается съ неослабѣвающимъ интересомъ.

реагировать, напр., на идеи или на вопросы, выдвигаемые нравственнымъ сознаніемъ, наконецъ — на образы художественные.

Въ этомъ отношеніи наблюдается замѣтное различіе не только между отдѣльными личностями, но и между слоями общества, между поколѣніями, между эпохами.

Бываютъ поколѣнія, которыя на впечатлѣнія жизни, на новыя идеи, на возбужденія религіознаго или нравственнаго порядка отвѣчаютъ страстью, энтузіазмомъ, экстазомъ и слезами. Это проявлялось довольно рѣзко въ Зап. Европѣ въ XVIII-мъ вѣкѣ, который съ этой стороны можно назвать не только вѣкомъ „просвѣщенія", но и вѣкомъ сентиментальныхъ, часто „безпредметныхъ" слезъ. Чувствительный и слезливый Руссо является типичнымъ выразителемъ этой черты вѣка энциклопедистовъ и революціи. У насъ запоздалый и подражательнѣй сентиментализмъ конца XVIII-го столѣтія и начала XIX-го, сентимантализмъ Карамзина и его школы, былъ явленіемъ поверхностнымъ и, съ психологической точки зрѣнія, не представляетъ большого интереса. Зато своебразный умственный сентиментализмъ или, если позволено такъ выразиться, „головная чувствительность" людей 30-хъ годовъ невольно привлекаетъ къ себѣ пытливость психолога и является фактомъ въ высокой степени знаменательнымъ, въ особенности, если противопоставить ему противоположную черту предшествующаго поколѣнія.

Припомнимъ здѣсь нѣкоторые факты, которыми наиболѣе ярко характеризуется восторженность и чувствительность поколѣнія 30-хъ годовъ.

Перечитывая переписку Герцена, Бѣлинскаго и др., мы поражаемся необычной экзальтаціей этихъ замѣчательныхъ дѣятелей, въ ряду которыхъ были и великіе, и переносимся въ странную для насъ, совсѣмъ особенную, атмосферу интимной жизни кружковъ, гдѣ не только много

работали головой, но также непропорціонально много восторгались и плакали отъ избытка чувствъ, отъ умиленія, отъ вычитанной у Гегеля мысли, отъ стиха Пушкина, отъ собственной мечты...

Душевная жизнь такихъ умовъ и талантовъ, какъ Бѣлинскій, Герценъ, Станкевичъ, Огаревъ и др., была какая-то напряженная и наэлектризованная избыткомъ чувствъ, требовавшихъ выраженія и изліянія. Передъ нами любопытная картина какъ бы душевной неуравновѣшенности, порою близкой къ тому, что набюдается у натуръ религіозно-экзальтированныхъ, у мистиковъ, заражающихъ другъ друга своимъ экстазомъ. Дружба и любовь, разлука и свиданіе нерѣдко сопровождались у нихъ исключительною роскошью чувствъ, явнымъ излишествомъ въ ихъ выраженіи. Вотъ, напр., картина своего рода экстаза, овладѣвшаго Герценомъ, Огаревымъ и ихъ женами, когда, впервые послѣ нѣсколькихъ лѣтъ разлуки, они увидѣлись 17 марта 1839 года во Владимірѣ, гдѣ жилъ тогда Герценъ. „Восторженное душевное состояніе,—разсказываетъ Анненковъ, — достигло на этомъ свиданіи сьоего апогея и истощило все свое содержаніе. Радость, охватившая друзей, перешла въ религіозный экстазъ. Всѣ четверо были молоды, счастливы и, несмотря на опальное свое положеніе, исполнены надеждъ на себя, на будущее свое, на предстоящую имъ дорогу въ жизни. Они искали, куда излить избытокъ своихъ ощущеній. По предложенію Огарева, они пали ницъ всѣ четверо передъ распятіемъ, принося благодарныя молитвы, и потомъ въ слезахъ расцѣловались другъ съ другомъ... (Анненковъ, „Идеалисты 30-хъ годовъ", въ книгѣ „В. П. Анненковъ и его друзья", С.-Петерб. 1892, стр. 69 — 70). И, вѣрный обычаю оповѣщать друзей о всѣхъ событіяхъ своей жизни, посвящать ихъ въ подробности своихъ душевныхъ настроеній, Герценъ не преминулъ написать въ Москву: „... мы инстинктуально всѣ четверо бросились передъ рас-

пятіемъ, и горячія молитвы лились изъ устъ. Что за дивный, что за высокій Огаревъ! Зачѣмъ ты не могъ взглянуть на эту группу, которая обратилась къ небу не съ упрекомъ, не съ просьбой, а съ гимномъ, съ осанной!..." (Тамъ же, стр. 70).—Здѣсь—и обожаніе другъ друга, и взаимное зараженіе чувствомъ, и исключительная приподнятость всей чувствующей сферы. Восторгъ и умиленіе—вотъ тѣ чувства, или, вѣрнѣе, аффекты, которые эти люди переживали гораздо чаще и напряженнѣе, чѣмъ это полагается натурѣ душевно-уравновѣшенной и не страдающей чрезмѣрною раздражимостью чувствующей сферы. У нихъ былъ и „даръ слезъ" почти въ той же мѣрѣ, въ какой онъ свойственъ дѣтямъ и женщинамъ. Герценъ разсказываетъ (въ „Былое и Думы"), какъ еще ребенкомъ онъ, бывало, плакалъ, „какъ сумасшедшій", читая послѣднее письмо „Вертера"; но то же самое повторилось съ нимъ и въ 1839 г., когда ему было 27 лѣтъ: „Въ 1839 году Вертеръ попался мнѣ случайно подъ руки; это было во Владимірѣ я разсказалъ моей женѣ, какъ я мальчикомъ плакалъ, и сталъ ей читать послѣднія письма... и когда дошелъ до того же мѣста, слезы полились изъ глазъ, и я долженъ былъ остановиться" („Был. и Думы", гл. II).

Изъ писемъ Герцена, Бѣлинскаго и др. можно было бы привести немало выдержекъ, свидѣтельствующихъ объ экзальтаціи и чувствительности этихъ, въ остальномъ—столь различныхъ, умовъ и натуръ. Именно этою чертою, психологическою и психо-физіологическою, они и объединяются въ одну группу. Достаточно извѣстно, съ какою силою, съ какимъ блескомъ проявилась экзальтація и избытокъ чувствованій въ сочиненіяхъ и письмахъ Бѣлинскаго, „неистоваго Виссаріона". Онъ былъ въ ряду современниковъ самымъ „неистовымъ", самымъ экзальтированнымъ. Но его экзальтація питалась восторженностью другихъ, его страстное чувство находило откликъ въ стра-

стномъ чувствѣ другихъ. Почти всѣ они были, каждый по-своему, „неистовы", т.-е. восторжены и страстны, или, по крайней мѣрѣ, доступны экзальтаціи. Наиболѣе спокойнымъ и уравновѣшеннымъ изъ нихъ былъ, повидимому, Станкевичъ [1]): въ его душевной жизни аффектированныя состоянія были рѣдки. Но и онъ жилъ напряженною дѣятельностью чувствъ: его мысль всегда „окрашивалась" чувствами, какъ это видно изъ его біографіи и писемъ. Восторженность и чувствительность были какъ бы психическимъ повѣтріемъ, которое захватывало и натуры болѣе спокойныя или уравновѣшенныя. Даже юмористъ и скептикъ Клюшниковъ поддавался общему настроенію и писалъ стихи, въ которыхъ, какъ характеризуетъ ихъ Анненковъ, „чувствуется ипохондрическое расположеніе и болѣзненная экзальтація" („Воспом. и крит. очерки", III, 333), а порою звучала и „слезливая сентиментальность" (тамъ же). — Что же касается Герцена и Огарева, то они въ то время, въ 30-хъ годахъ, лишь немногимъ уступали Бѣлинскому въ восторженности, въ душевной воспламеняемости. Вспоминая въ 1842 году недавнее прошлое, Герценъ записалъ въ „Дневникѣ": „... я со всѣмъ огнемъ любви [2]) жилъ въ сферѣ общечеловѣческихъ, современныхъ вопросовъ, придавши имъ субъективно-мечтательный цвѣтъ" [2])... Съ годами, съ опытомъ жизни онъ утрачивалъ юную восторженность, — его мысль все болѣе освобождалась отъ окраски чувствами. Въ 1843 году онъ заноситъ въ „Дневникъ": „Сколько перемѣнилось въ эти 4 года, сколько испытаній! Главное дѣло, все цѣло: и дружба, и любовь, и пре-

---

[1]) Такое впечатлѣніе оставляютъ его письма. „Мѣра и гармонія были въ природѣ Станкевича", говоритъ Анненковъ („Н. В. Станкевичъ" въ „Воспоминаніяхъ и критич. очеркахъ", отд. III, стр. 327). „Станкевичъ не любилъ вообще всего, что порывисто... не понималъ гнѣва въ борьбѣ съ сложнымъ..." и т. д. (Тамъ же, стр. 331).

[2]) Курсивъ мой.

данность общимъ интересамъ, — но освѣщеніе не то, алый свѣтъ юности замѣнился сѣвернымъ, яснымъ, но холоднымъ солнцемъ реальнаго пониманія [1]). Чище, совершеннѣе пониманіе, но нѣтъ нимба, окружавшаго все для него. Періодъ романтизма исчезъ..." Грусть, сожалѣніе объ утраченномъ „освѣщеніи", о „нимбѣ" сквозитъ въ этихъ строкахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ видно сознаніе, что самая-то „мысль" отъ этой утраты только выиграла. Оно и понятно: „окраска" чувствомъ, если оно неумѣренно, а тѣмъ болѣе претвореніе въ аффектъ мѣшаютъ мысли быть вполнѣ раціональною. Слишкомъ окрашенная чувствомъ мысль тускнѣетъ, умственный взоръ затемняется,—и человѣкъ видитъ вещи, ясныя какъ Божій день, въ какомъ-то фантастическомъ освѣщеніи. Отуманенные чувствомъ или аффектомъ, даже лучшіе умы, глубокіе и проницательные, доходятъ до парадоксальныхъ теорій, граничащихъ съ абсурдомъ, какъ это и случилось съ Бѣлинскимъ въ эпоху его „примиренія съ дѣйствительностью"; не даромъ это „примиреніе" совпало съ наибольшею экзальтированностью великаго критика, о степени которой даютъ понятіе, напр., слѣдующія проявленія чувства, граничащія уже съ нѣкоторою ненормальностью „чувствующей души". Анненковъ сообщаетъ: „... при появленіи въ „Современникѣ" 1838 года посмертныхъ сочиненій Пушкина, Бѣлинскій испыталъ болѣе чѣмъ восторгъ [1]): даже нѣчто въ родѣ испуга передъ величіемъ творчества, открывшагося глазамъ его..." („Воспомин. и крит. очерки", III, стр. 31. Статья „Замѣчательное десятилѣтіе").—Когда Бѣлинскій впервые, при содѣйствіи Бакунина, познакомился съ философіей Гегеля, онъ пришелъ въ то восторженное состояніе, о которомъ свидѣтельствуютъ слѣдующія строки его письма къ Станкевичу (1839 г.): „Новый міръ намъ открылся. Сила есть

[1]) Курсивъ мой.

право и право есть сила: — нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова [1]),—это было освобожденіе...". Усвоеніе мысли, которая, какъ ему тогда казалось, должна была лечь въ основу его міросозерцанія, распутать противорѣчія и освободить душу отъ тягостныхъ внутреннихъ бореній и сомнѣній, сопровождалось исключительно сильнымъ умственнымъ возбужденіемъ и отозвалось въ сферѣ чувствующей аффектомъ.

Къ числу особливо экзальтированныхъ натуръ принадлежалъ Конст. Аксаковъ, этотъ „Бѣлинскій" славянофильства. О его невоздержанности или неумѣренности въ выраженіи своихъ чувствъ неоднократно говоритъ его отецъ, С. Т. Аксаковъ, въ воспоминаніяхъ о Гоголѣ, гдѣ разсказывается, какъ при каждомъ появленіи Гоголя въ домѣ Аксаковыхъ Константинъ Сергѣевичъ поднималъ крикъ, бросался къ смущенному поэту, всегда такъ боявшемуся всяческихъ „излишествъ", и готовъ былъ задушить его въ объятіяхъ. Избытокъ чувства, состояніе аффекта перешли у Конст. Аксакова въ тотъ фанатизмъ, съ которымъ онъ воспринялъ славянофильскую идею. Фанатизмъ есть порабощеніе мысли чувствомъ, ею же вызваннымъ. Это мы видимъ и у Ив. Киреевскаго, о которомъ Герценъ отозвался въ „Дневникѣ" такъ (1843 г.): „Длинный разговоръ о философіи съ И. Киреевскимъ. Глубокая, сильная, энергичная до фанатизма личность...".

Я не имѣю возможности разсмотрѣть по порядку всѣхъ важнѣйшихъ дѣятелей поколѣнія 30-хъ годовъ съ точки зрѣнія, на которую я здѣсь становлюсь. Каждый изъ нихъ и всѣ они вмѣстѣ представляютъ для психолога въ высокой степени заманчивую задачу—изслѣдовать ихъ душевную организацію съ функціональной стороны, т.-е. со стороны дѣятельности мысли и чувства, способовъ реагировать на

[1]) Курсивъ мой.

возбужденія, вліянія чувства на мысль. Такія чисто психологическія изслѣдованія, думается мнѣ, должны пролить свѣтъ на нѣкоторые еще неясные пункты въ душевной жизни и въ дѣятельности „людей 40-хъ годовъ", въ эпоху, когда они еще развивались и только еще начинали обнаруживать богатство своихъ духовныхъ силъ, именно въ 30-е годы, знаменательные, между прочимъ, тѣмъ любопытнымъ и на первый взглядъ загадочнымъ настроеніемъ, которое принято называть „примиреніемъ съ дѣйствительностью".

За исключеніемъ нѣсколькихъ лицъ (Герцена, Огарева и ихъ ближайшихъ друзей), это особое настроеніе, очевидно, возникшее на почвѣ общаго размягченія душъ восторженностью и чувствительностью, охватило наибольшую часть молодыхъ дѣятелей, выступавшихъ тогда на арену сознательной жизни.

Излишне оговаривать, что въ сущности „примиреніе" было кажущимся, мнимымъ, что между дѣйствительностью той эпохи и идеализмомъ новыхъ людей не было ничего общаго, никакихъ точекъ соприкосновенія. „Примиреніе" отнюдь не означало, что молодые идеалисты завязывали дружескія связи съ міромъ Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Молчалиныхъ и Загорѣцкихъ. Оно означало только одно—что эти идеалисты, по молодости, чувствительности и восторженности своей, еще не могли или не умѣли стать на точку зрѣнія Чацкаго, не догадывались, что имъ подобаетъ и предстоитъ разыграть въ самой жизни роль героя Грибоѣдовской комедіи. Они еще не пришли къ сознанію всего горя, которое имъ сулитъ ихъ умъ. Раньше и отчетливѣе другихъ сознали это Герценъ, Огаревъ, Грановскій. Позже другихъ, путемъ мучительной внутренней борьбы и окольнымъ путемъ затянувшагося „примиренія" съ дѣйствительностью,—пришелъ къ тому же сознанію Бѣлинскій, этотъ истинный Чацкій 40-хъ годовъ.

ГЛАВА III.

„Горе отъ ума" въ критикѣ Бѣлинскаго.

1.

Отношеніе Бѣлинскаго въ 30-хъ годахъ къ комедіи Грибоѣдова и, въ частности, къ образу Чацкаго, заслуживаетъ внимательнаго разсмотрѣнія. Это — въ высокой степени любопытный эпизодъ изъ исторіи нашего самосознанія, — эпизодъ, въ которомъ съ особливою наглядностью обнаружился разладъ между двумя поколѣніями, и притомъ такъ, что казалось, будто бы чисто психологическое различіе въ душевномъ укладѣ, въ настроеніи готово было перейти въ принципіальное разногласіе идей, общественныхъ понятій и стремленій.

Въ извѣстной большой статьѣ о „Горе отъ ума" (написанной въ концѣ 1839 года) Бѣлинскій, высоко цѣня талантъ Грибоѣдова и художественное значеніе отрицательныхъ типовъ комедіи, въ то же время высказываетъ рѣшительное осужденіе пьесы въ цѣломъ, въ особенности же ополчается на Чацкаго.

Въ настоящее время благодаря Гончарову, а потомъ изысканіямъ А. Н. Пыпина (въ IV томѣ „Исторіи русской литературы", въ главѣ о Грибоѣдовѣ) ошибка Бѣлинскаго выяснилась съ различныхъ сторонъ; недавно обстоятельныя примѣчанія г. Венгерова дополнили наши свѣдѣнія („Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго", Спб. 1901 г., т. V).

Бѣлинскій переживалъ тогда періодъ „примиренія" съ дѣйствительностью и со свойственною ему откровенностью

и страстностью выражалъ это въ своихъ письмахъ, спорахъ съ друзьями и статьяхъ, къ великому смущенію нѣкоторыхъ изъ друзей, да и изъ читающей публики. Какъ извѣстно, позже онъ самъ отрекся отъ этихъ статей и вспоминалъ о нихъ съ ужасомъ и отвращеніемъ.

„Примиреніе съ дѣйствительностію", какъ оно проявлялось въ настроеніи кружка, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій, обыкновенно приписываютъ вліянію неправильно понятой формулы Гегеля („все дѣйствительное — разумно"), апостоломъ которой явился Мих. Бакунинъ, имѣвшій въ тѣ годы большое вліяніе на Бѣлинскаго. Г. Венгеровъ, по примѣру своихъ предшественниковъ, также выдвигаетъ этотъ мотивъ на первый планъ. Онъ говоритъ: „То, что Бѣлинскій сказалъ въ настоящей статьѣ о Чацкомъ, принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ эпизодовъ той полосы его духовнаго развитія, когда, увлекаясь теоріей „разумной дѣйствительности", онъ возненавидѣлъ всѣхъ „безпокойныхъ" людей и на всякаго протестующаго человѣка смотрѣлъ, какъ на фразера" („Полное собраніе сочин. Бѣлинскаго", т. V, стр. 546). Здѣсь же сдѣлана ссылка на статью, приложенную къ IV-му тому („Бакунинско-гегеліанскій періодъ въ жизни Бѣлинскаго"), въ началѣ которой г. Венгеровъ говоритъ: „Приблизительно около половины 1836 года начинается одинъ изъ важнѣйшихъ періодовъ жизни Бѣлинскаго, замѣчательно характерный для всей вообще исторіи русской мысли и показывающій, *до чего можно дойти подъ вліяніемъ чисто метафизическаго отношенія къ вещамъ*[1]). Рѣчь—о знаменитомъ эпизодѣ фанатическаго прославленія „дѣйствительности", такъ мало вяжущемся съ общимъ обликомъ Бѣлинскаго" (томъ IV, стр. 547).

Я не буду отрицать извѣстнаго вліянія „метафизическаго отношенія къ вещамъ", въ особенности у Бѣлинскаго, ко-

[1]) Курсивъ мой.

торый, какъ еще отмѣтилъ кн. Одоевскій, обладалъ исключительно-сильнымъ философскимъ умомъ. Все философское, обобщающее могущественно двигало его мысль: онъ жадно ловилъ эти „откровенія" мысли у Фихтэ, у Гегеля и съ удивительнымъ мастерствомъ, какъ настоящій виртуозъ и поэтъ отвлеченныхъ идей, перерабатывалъ ихъ въ своемъ сознаніи. Оттуда и наклонность смотрѣть на вещи черезъ философскія очки и видѣть дѣйствительность не такъ, какъ она есть, а такъ, какъ освѣщается философскимъ воззрѣніемъ. Но при всемъ томъ я думаю, что стремленіе къ такъ называемому „примиренію съ дѣйствительностію" коренилось глубже—въ психологіи безсознательныхъ или полусознательныхъ движеній души, какъ у самого Бѣлинскаго, такъ и у другихъ дѣятелей 30-хъ годовъ,—и что эти глухіе импульсы должны были бы привести къ временному и относительному примиренію во всякомъ случаѣ, хотя бы даже пресловутая формула о „разумности всего дѣйствительнаго", да и вся философія Гегеля остались неизвѣстными ни Бакунину, ни Бѣлинскому, ни другимъ. Неправильно или односторонне понятый Гегель только пришелъ на помощь поколѣнію, и безъ того готовому искать согласія съ дѣйствительностью, поколѣнію, которому еще были чужды роль и настроеніе Чацкаго, и которое всего болѣе стремилось найти себѣ среди данной дѣйствительности уголокъ, гдѣ можно было бы жить и мыслить. Гегеліанство только дало формулу, идею, и эта идея-формула осмыслила и возвела въ принципъ глухое стремленіе души, уже заявлявшее о себѣ и выражавшееся въ другихъ формахъ „примиренія". Мы видимъ, что еще до 1836 года это стремленіе сказывалось у Бѣлинскаго весьма опредѣленнымъ образомъ, что уже въ „Литературныхъ мечтаніяхъ" (1834 г.), на ряду съ рѣзкимъ литературнымъ отрицаніемъ, довольно замѣтно обнаруживается примирительное и консервативное настроеніе въ отношеніи къ „дѣйствительности". Доста-

точно извѣстно, что въ кружкѣ Станкевича, имѣвшемъ большое вліяніе на развитіе Бѣлинскаго, отвлеченные интересы рѣшительно преобладали надъ общественными, и здѣсь господствовало то настроеніе и та особая форма реагированія на впечатлѣнія дѣйствительности, которыя вскорѣ должны были привести — и безъ Гегеля — къ „примиренію“, правда, лишь временному и вообще непрочному.

Въ этомъ настроеніи мы видимъ, прежде всего, безсознательную, чисто-психологическую (не идейную) реакцію противъ настроеній и самаго движенія 20-хъ годовъ, — реакцію, естественно возникшую въ чувствительныхъ, болѣзненно-воспріимчивыхъ, склонныхъ къ аффекту психическихъ организаціяхъ поколѣнія 30-хъ годовъ. У Бѣлинскаго эта „реакція“ выразилась только ярче и прямѣе, чѣмъ у другихъ. Если Станкевичъ и его друзья мало интересовались политикою и вообще вопросами жизни и общественности и удалялись подъ сѣнь философіи и искусства, то Бѣлинскій со свойственною ему прямолинейностью и страстностью возводилъ это въ догматъ, въ родъ „исповѣданія вѣры“, которое въ извѣстномъ письмѣ отъ 7-го авг. 1837 г. (изъ Пятигорска) продиктовало ему слѣдующія строки: „...только въ ней (въ философіи) ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей... Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустыя головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства, — тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страною въ мірѣ...“. Большія выдержки изъ этого письма, приведенныя у Пыпина въ IV главѣ біографіи Бѣлинскаго („Бѣлинскій, его жизнь и переписка“), показы-

ваютъ, что „примирительное“ настроеніе, какъ оно выразилось у Бѣлинскаго, приводило къ рѣшительному осужденію стремленій и мечтаній людей 20-хъ годовъ и къ оправданію statu quo тогдашнихъ порядковъ въ Россіи. Чисто психологическая „реакція“, о которой мы сказали выше, превращалась здѣсь въ идейную. Это была уже цѣлая „программа“, въ силу которой всѣ надежды на лучшее будущее возлагались на внутреннее совершенствованіе каждаго индивидуума, на просвѣщеніе, на постепенное смягченіе нравовъ, и не знай мы, откуда взяты эти выдержки, можно было бы подумать, что это — неизданныя страницы изъ „Переписки съ друзьями“ Гоголя.

2.

Теперь обратимся къ статьѣ о „Горе отъ ума“ и сперва прочтемъ то мѣсто, гдѣ Бѣлинскій говоритъ, что общество (въ 20-хъ годахъ) „ожесточилось“ противъ комедіи Грибоѣдова: „За что же общество такъ сильно осердилось на нее?“ — спрашиваетъ критикъ и отвѣчаетъ: „За то, что она была самою злою сатирою на это общество. Она заклеймила остатки XVIII-го вѣка, духъ котораго бродилъ еще, какъ заколдованная тѣнь, ожидая себѣ осиноваго кола, которымъ и было „Горе отъ ума“ [1]). „Новое поколѣніе вскорѣ не замедлило объявить себя за блестящее произведеніе Грибоѣдова, потому что вмѣстѣ съ нимъ оно смѣялось надъ старымъ поколѣніемъ, видя въ „Горе отъ ума“ злую сатиру на него и не подозрѣвая еще злѣйшей, хотя и безумышленной сатиры на самого себя, въ лицѣ полоумнаго Чацкаго“ [1]) („Полное собр. соч. Бѣл.“, изданіе Венгерова, т. V, стр. 76).

---

[1]) Курсивъ мой.

Смыслъ этихъ словъ и настроеніе, ихъ подсказавшее, совершенно ясны и вмѣстѣ съ тѣмъ наглядно показываютъ, до какого ослѣпленія можетъ дойти высокій умъ, когда онъ „примиряется съ дѣйствительностью". Бѣлинскому казалось, будто „Горе отъ ума" — это сатира на XVIII-ый вѣкъ или его остатки, его духъ, еще „бродившій" въ 20-хъ годахъ XIX-го. А между тѣмъ, очевидно, что Фамусовъ и Скалозубъ изображены вовсе не какъ отживающіе эпигоны XVIII-го вѣка, хотя первый и восхваляетъ старину; Молчалинъ, Загорѣцкій и др., скорѣе, типы новые, которымъ еще предстояло развиваться въ жизни. Послѣдующее время показало, что сатира Грибоѣдова, хотя и была направлена на современное ему общество первой четверти вѣка, но простерла свое дѣйствіе далеко за эту хронологическую грань. Въ аффектѣ „примиренія" Бѣлинскій не замѣтилъ всей примѣняемости сатиры Грибоѣдова къ господствующимъ понятіямъ, порядкамъ и нравамъ 30-хъ годовъ. Иллюзія—поразительная, объясняемая только аффектомъ и отпавшая, когда аффектъ прошелъ. Въ 1841 году эта „полоса" была уже пройдена Бѣлинскимъ, и онъ, чистосердечно каясь въ письмѣ къ Боткину въ своихъ недавнихъ заблужденіяхъ, писалъ между прочимъ: „Послѣ этого (выходки противъ Мицкевича въ статьѣ о Менцелѣ) всего тяжелѣе мнѣ вспомнить о „Горе отъ ума", которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это—благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства"... Пелена спала съ глазъ,—и весь глубокій смыслъ и широкій захватъ сатиры Грибоѣдова предстали критику во всемъ своемъ общественно-политическомъ значеніи. И, разумѣется, теперь образъ

Чацкаго озарился для него другимъ свѣтомъ, и онъ долженъ былъ почувствовать интимное средство этого образа съ своей собственной великой душой и понять всю трагедію „милліона терзаній", всю живучесть ея...

Но вернемся къ статьѣ и посмотримъ, какъ тогда отзывался Бѣлинскій о Чацкомъ.

Въ пьесѣ онъ не усматривалъ идеи, отвергая мысль, что этою идеею является „притиворѣчіе умнаго и глубокаго человѣка съ обществомъ, среди котораго онъ живетъ". По его мнѣнію, такой идеи нѣтъ въ комедіи Грибоѣдова, ибо, во-первыхъ, Чацкій приходитъ въ столкновеніе не съ обществомъ, а только съ частью его (съ кругомъ Фамусовыхъ, Скалозубовъ и т. д.), во-вторыхъ же, потому, что Чацкій— совсѣмъ „не глубокій человѣкъ". Первое возраженіе развивается такъ: „неужели же представители русскаго общества— все Фамусовы, Молчалины, Софьи, Загорѣцкіе, Хлестовы, Тугоуховскіе и имъ подобные?.. Нѣтъ, эти люди не были представителями русскаго общества, а только представителями одной стороны его; слѣдовательно, были другіе круги общества, болѣе близкіе и родственные Чацкому. Въ такомъ случаѣ затѣмъ же онъ лѣзъ къ нимъ и не искалъ круга болѣе по себѣ?" (указ. изданіе, V, стр. 48). Не будемъ, да и не зачѣмъ, пускаться въ споръ съ Бѣлинскимъ и только отмѣтимъ здѣсь то, что́ намъ нужно. Ошибка, въ которую онъ впалъ здѣсь, пожалуй, могла бы быть объяснена и безъ привлеченія къ дѣлу того „примирительнаго" и консервативнаго настроенія, въ какомъ находился тогда великій критикъ. Въ подобную ошибку легко можно впасть, просто не распознавъ экспериментальнаго характера даннаго художественнаго произведенія и принявъ типы, въ немъ выведенные, за продуктъ наблюденія. Общество не состояло, конечно, изъ однихъ Фамусовыхъ, Скалозубовъ и прочихъ; но эти люди давали тонъ всему и являлись оплотомъ общественной реакціи. Присутствіе этого темнаго и нездороваго

элемента дѣлало возможными и аракчеевщину, и дѣятельность Магницкаго, Рунича и т. д. Рѣзкія филиппики Чацкаго мѣтили гораздо дальше благодушнаго Фамусова, ничтожнаго Молчалина, ограниченнаго Скалозуба. И возраженіе, что эти лица—не представители общества, должно быть устранено, какъ не идущее къ дѣлу. Но сдѣлать такое не идущее къ дѣлу возраженіе можно было, и не находясь въ полосѣ „примиренія". Такъ, между прочимъ, случилось впослѣдствіи съ Писаревымъ, когда онъ совѣтовалъ Щедрину бросить „цвѣты невиннаго юмора" и заняться популяризаціей естественныхъ наукъ: Писаревъ не былъ „примиренъ" съ дѣйствительностью, а только не разглядѣлъ настоящаго смысла сатиры Щедрина; это случилось потому, что онъ не распозналъ ея художественнаго метода, чисто-экспериментальнаго, и за юморомъ не увидѣлъ того гнѣвнаго отрицанія, на которомъ были основаны художественные эксперименты великаго сатирика. Но что касается Бѣлинскаго, то при объясненіи его ошибки нельзя обойтись безъ указанія на пресловутое примиреніе съ дѣйствительностью, и притомъ—возведенное на степень аффекта. Ибо слишкомъ велика была художественная чуткость и проницательность великаго критика, и не могъ же онъ, если бы только не былъ въ ослѣпленіи, не уразумѣть общественнаго смысла комедіи и понять, какъ слѣдуетъ, значеніе рѣчей Чацкаго и глубокую психологію его драмы.

Но послушаемъ дальше: „И потомъ: что за глубокій человѣкъ Чацкій? Это просто крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говоритъ. Неужели войти въ общество и начать всѣхъ ругать въ глаза дураками и скотами значитъ быть глубокимъ человѣкомъ?.. Это новый Донъ-Кихотъ, мальчикъ на палочкѣ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на лошади... Глубоко-вѣрно оцѣнилъ эту комедію кто-то, сказавшій, что это горе,—только не отъ ума, а отъ умничанія..."

Здѣсь не излишне вспомнить, что послѣднія строки имѣютъ въ виду оцѣнку, совершенно отрицательную, комедіи Грибоѣдова, сдѣланную М. А. Дмитріевымъ, посредственнымъ стихотворцемъ и литераторомъ, повидимому, изъ того же лагеря, къ которому принадлежали Фамусовы и прочіе. Онъ критиковалъ „Горе отъ ума“ съ явно-консервативной точки зрѣнія [1]),—и вотъ, какъ отозвался на эту „критику“ человѣкъ 20-хъ годовъ, Вильг. Кюхельбекеръ, записавшій въ своемъ дневникѣ (7-го февр. 1833 г.): „Нападки М. Дмитріева и его клевретовъ на „Горе отъ ума“ совершенно показываютъ степень ихъ просвѣщенія, познаній и понятій. Но пусть они въ этомъ не виноваты; есть, однако же, въ ихъ статьяхъ такія вещи, за которыя ихъ можно бы обвинить передъ такимъ судомъ, котораго никакой писатель— съ талантомъ или безъ таланта, съ обширными свѣдѣніями или нѣтъ,—не долженъ терять изъ виду,—говорю о судѣ чести“ [2])... („Русская Старина“, 1875 г., сент., стр. 84).

Съ этимъ-то обскурантомъ, да еще злостнымъ, и сошелся великій критикъ.

Въ рѣзкомъ и несправедливомъ отзывѣ Бѣлинскаго о Чацкомъ нельзя не видѣть слѣдовъ какого-то внутренняго

---

[1]) Эту „критику“ Дмитріева извлекъ изъ забвенья г. Суворинъ въ своей статьѣ, приложенной къ его извѣстному изданію „Горя отъ ума“. О сопоставленіи у г. Суворина критики Бѣлинскаго съ критикою Дмитріева см. у Пыпина („Исторія русск. литературы“, глава о Грибоѣдовѣ) и въ изданіи сочиненій Бѣлинскаго Венгерова, т. V, стр. 548.

[2]) Какъ видно изъ дальнѣйшаго, Дмитріевъ хвалилъ Грибоѣдова за удачные портреты. Цѣль была та, чтобы вооружить извѣстныхъ лицъ противъ пьесы и набросить тѣнь на „благонамѣренность“. Кюхельбекеръ утверждаетъ, что „поэтъ никогда не былъ намѣренъ писать подобные портреты: его прекрасная душа была выше такихъ мелочей“, — и говоритъ, что это извѣстно ему лично, потому что Грибоѣдовъ ему „первому читалъ каждое отдѣльное явленіе послѣ того, какъ оно было написано“.—Кстати, подобное же настойчивое отрицаніе портретности лицъ комедіи въ статьѣ Полевого не было ли внушено, помимо прочаго, желаніемъ обезвредить литературный доносъ Дмитріева?

возмущенія противъ направленія умовъ молодого поколѣнія въ 20-хъ годахъ и дальнѣйшихъ отголосковъ этого направленія у немногихъ отдѣльныхъ лицъ въ 30-хъ, напр., у Герцена и Огарева. Это станетъ очевиднымъ, если обратимъ вниманіе на слѣдующее. Въ томъ мѣстѣ статьи, гдѣ говорится, что Фамусовы и прочіе—не представители общества, пояснено: „Общество всегда правѣе и выше частнаго лица, и частная индивидуальность только до той степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собою общество" (слѣдов., борьба съ Фамусовымъ и проч.—это борьба съ призраками, а не съ „обществомъ").

Фраза—гегеліанская, но подъ нею скрывался особый мотивъ—протестъ противъ тѣхъ, которые, отрицая Фамусовыхъ и прочіе „призраки", мнили себя дѣятелями, двигателями общественной мысли. Не понимая, что такое о б щ е с т в о (подъ этимъ терминомъ, очевидно, слѣдуетъ здѣсь понимать г о с у д а р с т в о въ гегеліанскомъ смыслѣ), эти „либералы" приняли отживающихъ Фамусовыхъ за истинныхъ представителей „общества" и оказались „Донъ-Кихотами", „мальчиками на палочкѣ верхомъ" и т. д. Здѣсь, только въ другой формѣ, повторена сентенція письма 1837 года: „заниматься политикою могутъ только пустыя головы". Горячность, съ которою Бѣлинскій обрушивается на Чацкаго, была отзвукомъ жаркихъ споровъ съ Герценомъ, подзадоривавшихъ Бѣлинскаго и заставлявшихъ его доводить свою мысль до крайности. Есть свидѣтельство, дорисовывающее эту горячность спора въ эпоху, когда Бѣлинскій уже былъ близокъ къ перемѣнѣ настроенія и воззрѣнія. Анненковъ, упоминая о стычкахъ Бѣлинскаго съ Герценомъ, какъ онѣ описаны у послѣдняго, разсказываетъ далѣе: „Герценъ добавлялъ еще свое описаніе изустно слѣдующею подробностью. Когда, черезъ годъ послѣ перваго столкновенія съ Бѣлинскимъ, Герценъ явился въ Петербургъ, онъ уже засталъ тамъ Бѣлинскаго и, разумѣется, возобновилъ съ нимъ

распрю по поводу новаго ученія. И тогда-то, разсказывалъ Герценъ,—въ жару спора со мной, Бѣлинскій прибѣгъ къ аргументу, прозвучавшему необычайно дико въ его устахъ: „Пора намъ, братецъ", сказалъ критикъ,—„посмирить нашъ бѣдный, заносчивый умишко и признаться, что онъ всегда окажется дрянью передъ событіями, гдѣ дѣйствуютъ народы съ своими руководителями и воплощенная въ нихъ исторія". По сознанію Герцена, онъ пришелъ въ ужасъ отъ этихъ словъ, тотчасъ же замолчалъ и удалился. Ему показалось, что тутъ совершилось какое-то отреченіе отъ правъ собственнаго разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубійство" (Анненковъ, „Воспомин. и критич. очерки", III, 18). Этотъ разсказъ достаточно вразумительно поясняетъ то, что говоритъ Бѣлинскій (въ статьѣ о „Горе отъ ума") о Чацкомъ, о его умничаніи, а также и то, что говорится тамъ объ „обществѣ", которое „всегда правѣе и выше частнаго человѣка".

Въ другомъ мѣстѣ статьи, отзываясь о Чацкомъ значительно мягче, критикъ — такъ кажется — вспомнилъ своего молодого пріятеля-противника Герцена: если взять Чацкаго не какъ художественный образъ, а только какъ „выраженіе мыслей и чувствъ" автора, то онъ представится „уже съ другой точки зрѣнія". „У него много смѣшныхъ и ложныхъ понятій [1]), но всѣ они выходятъ изъ благороднаго начала, изъ бьющаго горячимъ ключомъ источника жизни. Его остроуміе вытекаетъ изъ благороднаго и энергическаго негодованія противъ того, что онъ справедливо или ошибочно почитаетъ дурнымъ и унижающимъ человѣческое достоинство, и потому его остроуміе такъ колко,

---

[1]) Курсивъ мой.—Какихъ? Мы знаемъ только одно такое: восхваленіе старорусскаго костюма и прославленіе „премудраго незнанія иноземцевъ", китайщины.—Повидимому, говоря „Чацкій", Бѣлинскій думалъ „Герценъ", понятія котораго онъ считалъ тогда ложными.

сильно и выражается не въ каламбурахъ, а въ сарказмахъ...“ [1]) (указ. изд., V, стр. 88—89).

Такъ образъ Чацкаго впутывался въ споры, служа художественною формою мышленія, направленнаго на выработку понятій объ отношеніи личности къ „обществу“, къ дѣйствительности, о нравственномъ правѣ личности негодовать, протестовать, отрицать. То или иное отношеніе къ Чацкому являлось показателемъ направленія общественной мысли. Спорящіе исходили изъ отвлеченныхъ формулъ Гегеля, а орудовали, обращаясь къ русской дѣйствительности, художественными „формулами“ Грибоѣдова. Поэтъ 20-хъ годовъ помогалъ молодымъ идеалистамъ 30-хъ мыслить, спорить, отстаивать свои взгляды, вырабатывать общественныя идеи. Такое значеніе могутъ имѣть, такую услугу мысли могутъ оказывать только реальные художественные образы.

Любопытно отмѣтить, какъ рѣзко измѣнился взглядъ нашего критика на комедію Грибоѣдова съ той поры, когда онъ только еще искалъ „примиренія“ съ дѣйствительностью, именно съ 1834 года: въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ мы находимъ иной отзывъ о „Горе отъ ума“, въ существѣ совпадающій съ отзывомъ Полевого. Здѣсь читаемъ: „Комедія Грибоѣдова есть истинная divina comedia... ея персонажи давно были вамъ извѣстны въ натурѣ, вы видѣли, знали ихъ еще до прочтенія „Горя отъ ума“ и, однако же, вы удивляетесь имъ, какъ явленіямъ совершенно новымъ для васъ: вотъ высочайшая истина поэтическаго вымысла!“ Здѣсь мѣтко схвачена извѣстная особенность реальнаго искусства: его образы опираются на соотвѣтственныя данныя обыденно-художественнаго мышленія, но перерабатываютъ ихъ такъ, что въ результатѣ получается нѣчто какъ бы новое.—Но только при чемъ тутъ „divina comedia“?

---

[1]) Послѣднее, повидимому, уже маленькая шпилька по адресу Герцена, который часто прибѣгалъ въ спорѣ къ каламбурамъ.

„Лица, созданныя Грибоѣдовымъ,—продолжаетъ критикъ,— не выдуманы, а сняты съ натуры во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни; у нихъ не написано на лбахъ ихъ добродѣтелей и пороковъ; но они заклеймены печатью своего ничтожества, заклеймены мстительною рукою палача-художника...“ Затѣмъ, воздавъ должное языку Грибоѣдова, Бѣлинскій заключаетъ свой отзывъ утвержденіемъ, что, несмотря на нѣкоторые недостатки, пьеса Грибоѣдова есть произведеніе „образцовое“ и „геніальное“, и что русская литература „лишились въ Грибоѣдовѣ Шекспира комедіи“ (указ. изд., т. I, стр. 373).

Чтобы отъ этого взгляда перейти къ тому, который изложенъ въ статьѣ о „Горе отъ ума“, нужно было сдѣлать много шаговъ впередъ по пути „примиренія“ съ дѣйствительностью и дойти до безповоротнаго осужденія стремленій дѣятелей 20-хъ годовъ. Эти шаги и были сдѣланы Бѣлинскимъ въ періодъ отъ 1835 до 1839 года, когда и была написана статья о „Горе отъ ума“, появившаяся въ № 1-мъ „Отечеств. Записокъ“ 1840 года.

3.

„Примиреніе“ съ дѣйствительностью, хотя бы частичное и очень условное, было психологическою необходимостью. Въ полномъ разладѣ съ дѣйствительностью могутъ жить только натуры не отъ міра сего. Бѣлинскій не принадлежалъ къ ихъ числу. Онъ былъ глубоко чувствующая и мыслящая натура съ ясно выраженнымъ призваніемъ дѣятеля жизни, борца за идеалъ—и ему, какъ и другимъ, ему подобнымъ, психологически невозможно было игнорировать дѣйствительность и успокоиться на сознаніи своего разлада съ нею. Психологическая потребность, о которой мы говоримъ, состоитъ въ томъ, чтобы, чувствуя свой разладъ съ дѣйствительностью, найти въ ней же какую-либо точку опоры, хотя бы

воображаемую, Такъ, старые славянофилы „нашли“ опору себѣ въ патріотическомъ культѣ идеализированныхъ „древле-русскихъ“ началъ... Позже народники „нашли“ себѣ могущественную—воображаемую—опору въ идеализированномъ ими народѣ... Бываетъ и такъ, что для отысканія точки опоры стоитъ только не разсчитать своихъ силъ и вообразить, что „времена созрѣли“ или „мы созрѣли“,—вообще, сдѣлать хронологическую ошибку. Къ этому роду иллюзій принадлежатъ также разные виды идеализаціи дѣйствительности или нѣкоторыхъ ея сторонъ. Все это только обнаруживаетъ глубокую психологическую потребность искать опоры или основы для своей дѣятельности въ самой жизни, въ дѣйствительности.

Молодые идеалисты 30-хъ годовъ живо чувствовали эту потребность. Это былъ для нихъ вопросъ жизни. Онъ гласилъ: какъ имъ быть, какъ имъ жить и дѣйствовать, въ какомъ уголку дѣйствительности можно было бы имъ устроиться съ ихъ идеализмомъ, и притомъ такъ, чтобы оттуда вліять на дѣйствительность?

Отъ того или иного разрѣшенія этого вопроса зависѣло, почувствуютъ ли они въ себѣ Чацкаго, или нѣтъ, и, если почувствуютъ, то какой оборотъ приметъ у нихъ душевная драма „милліона терзаній“.

Если въ эпоху первой половины 20-хъ годовъ воображали, будто опора уже есть, и можно не только жить, но и дѣйствовать, то 30-е годы были эпохою мучительно-напряженнаго испытанія дѣйствительности съ цѣлью такъ или иначе пристроить въ ней или къ ней свой идеализмъ.

А время было глухое. „Дѣйствительность“ являлась въ видѣ компактнаго цѣлаго, всѣ элементы котораго казались чрезвычайно согласованными между собою, и все вмѣстѣ производило впечатлѣніе необычайно прочнаго сооруженія, монолита, незыблемо покоившагося на фундаментѣ крѣпостного права.

И всякій въ тѣ времена, кто такъ или иначе чувствовалъ, что начинаетъ расходиться съ дѣйствительностью, тѣмъ самымъ чувствовалъ себя одинокимъ, отщепенцемъ, и оказывался въ положеніи Чацкаго, но только безъ тѣхъ „преимуществъ", какими располагали многочисленные „Чацкіе" первой половины 20-хъ годовъ, имѣвшіе возможность дѣлать „хронологическія ошибки". Для идеалистовъ 30-хъ годовъ „хронологія" была установлена съ ясностью и авторитетностью, не допускающими никакихъ иллюзій. Оставалась возможность только одной иллюзіи: искать такъ называемаго „примиренія съ дѣйствительностью".

Этому примиренію вовсе не нужно было становиться непремѣнно идейнымъ, принципіальнымъ. Это было по существу примиреніе психологическое, т.-е. такое, которое выражалось въ новомъ настроеніи и новомъ отношеніи къ дѣйствительности, вполнѣ совмѣстимомъ съ нравственнымъ и идейнымъ отчужденіемъ отъ нея.

Представителями этой разновидности „примиренія" являлись преимущественно немногія лица изъ старшаго поколѣнія, какъ Пушкинъ, Чаадаевъ, М. Ѳ. Орловъ, кн. Одоевскій, кн. Вяземскій, Александръ Тургеневъ и др. Нѣкоторые изъ нихъ въ свое время—въ 10-хъ годахъ и въ началѣ 20-хъ—были настоящими Чацкими (какъ, напр., М. Ѳ. Орловъ); теперь они скорѣе походили на томящихся въ бездѣйствіи Онѣгиныхъ. Настроеніе, ихъ отличавшее или, если можно такъ выразиться, „имъ приличествовавшее", меланхолически прозвучало въ грустныхъ нотахъ поэзіи Пушкина 30-хъ годовъ...

Это были люди зрѣлаго возраста, и имъ оставалось доживать свой вѣкъ, что они и дѣлали, какъ умѣли...

Въ другомъ положеніи была молодежь, только что вступившая въ сознательную жизнь. Не доживать, а строить свою жизнь, вырабатывать ея нравственныя основы, устанавливать ея идейныя цѣли—составляло задачу новыхъ при-

шельцевъ, юныхъ работниковъ на едва вспаханной нивѣ русской культуры и мысли. И прежде всего имъ нужно было выяснить свои отношенія къ дѣйствительности.

Наиболѣе типичнымъ представителемъ этого поколѣнія въ первое время былъ кружокъ Станкевича, гдѣ отношеніе молодыхъ идеалистовъ къ дѣйствительности опредѣлилось въ томъ смыслѣ, что они просто отвернулись отъ нея и думали найти внутренній миръ и удовлетвореніе запросамъ мысли и совѣсти въ самовоспитаніи, въ саморазвитіи при помощи философіи, религіи и искусства. Эти юноши были полны душевныхъ силъ, въ ихъ ряду были выдающіеся умы и дарованія; они сразу поднялись надъ окружающей средою, и все труднѣе становилось имъ приспособиться къ жизни. Отчужденіе отъ дѣйствительности подсказывало имъ рискованную мысль, что для „высшей жизни духа“ нѣтъ надобности интересоваться общественными вопросами,—и они изъ своей „программы“ исключили „политику“. Въ этомъ и состояло ихъ такъ называемое „примиреніе съ дѣйствительностью“,—да, пожалуй, съ теченіемъ времени оно и въ самомъ дѣлѣ могло бы превратиться въ настоящее примиреніе, если бы на почвѣ такого отчужденія отъ жизни у нихъ развился индифферентизмъ. Но—пока—они были застрахованы отъ этого молодостью, жаждою знаній и впечатлѣній, высшими интересами, культомъ идеала, хотя бы и неопредѣленнаго. Къ тому же ихъ очень занимали вопросы нравственнаго сознанія,—они искали внутренняго мира,—а это такъ или иначе ставило передъ ними вопросъ объ отношеніи къ дѣйствительности, слѣдов., неизбѣжна была и критика этой послѣдней.

Этотъ вопросъ и былъ поставленъ Герценомъ,—и закипѣли кружковые споры, положительнымъ результатомъ которыхъ было то, что уже стало невозможнымъ безъ дальнихъ разговоровъ отстраняться отъ дѣйствительности и отвергать задачи, вытекавшія изъ ея критики.

Философскій покой, казалось,—почти достигнутый, былъ нарушенъ; „примиреніе“ не давалось („не вытанцовывалось“, выражаясь любимымъ словечкомъ Бѣлинскаго), оно являлось какою-то фикціею, чѣмъ-то искусственнымъ. Его сторонникамъ, если они не хотѣли пойти на уступки, оставалось одно—взять подъ свою защиту самую дѣйствительность, отразить нападки на нее и постараться доказать, что эта дѣйствительность вовсе не такъ ужъ безнадежна, что не должно смѣшивать ея временнаго, преходящаго проявленія (ея „опредѣленія“ — по философской терминологіи) съ ея сущностью, наконецъ, что она не нуждается въ воздѣйствіи со стороны и сама собою идетъ впередъ, къ лучшему будущему. На этотъ-то путь защиты самой дѣйствительности и выступилъ самый горячій, смѣлый и послѣдовательный изъ молодыхъ идеалистовъ, искавшихъ „примиренія“, — В. Г. Бѣлинскій. Онъ блестяще и страстно проводилъ эту мысль въ статьяхъ второй половины 30-хъ годовъ, а также въ письмахъ и спорахъ. Но чего это ему стоило! Это было отчаянное усиліе отстоять безнадежную „позицію“. Подъ рѣшительностью и безоглядностью утвержденій критика скрывалась цѣлая драма внутреннихъ бореній и сомнѣній. „Внутренняя жизнь Бѣлинскаго,—свидѣтельствуетъ Анненковъ,—въ эту эпоху представляла раздвоеніе поистинѣ трагическое и исполнена была страданій и сомнѣній, которыя по временамъ онъ и открывалъ собесѣдникамъ въ рѣзкомъ, неожиданномъ словѣ, можно сказать, въ воплѣ истерзанной души. Онъ судорожно и отчаянно держался за новыя свои вѣрованія, но съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе чувствовалъ, что они мѣняются, тускнутъ и испаряются на его собственныхъ глазахъ“ („Воспомин. и крит. очерки“, III, стр. 33).

Гегелевская философія, какъ онъ ее понялъ, дала только новое оружіе, новые аргументы въ защиту „позиціи“, которую онъ уже занялъ. Оттого такъ обрадовался онъ

когда узналъ, что „сила есть право и право есть сила“, и что „все дѣйствительное—разумно и все разумное—дѣйствительно“. Оставалось только приложить эти формулы къ русской дѣйствительности того времени и показать ея „разумность“... И онъ это дѣлалъ—страстно, безоглядно, не боясь крайнихъ выводовъ, доходя до явныхъ несообразностей,—и, естественно, пришелъ къ тому, что, наконецъ, глаза его раскрылись, онъ увидѣлъ дѣйствительность въ ея настоящемъ свѣтѣ и понялъ, что примиреніе невозможно.

4.

Нетрудно видѣть, что защита или оправданіе дѣйствительности, предпринятыя Бѣлинскимъ, были возможны только при условіи, какъ можно дальше стоять отъ нея, какъ можно усерднѣе отворачиваться отъ нея. Напротивъ, отвергнуть „примиреніе“ значило повернуться лицомъ къ дѣйствительности, подойти къ ней поближе.

Я уже указалъ на то, что удаленіе отъ дѣйствительности, отрицательное отношеніе къ общественнымъ вопросамъ и политикѣ и—на этой почвѣ своеобразное „примиреніе“ съ дѣйствительностью, все это означало, что молодые идеалисты были заняты другимъ дѣломъ—самовоспитаніемъ, развитіемъ своей личности и стремленіемъ жить „высшею жизнью духа“. Ихъ предшественники, люди 10—20 годовъ, также очень усердно занимались ствоимъ умственнымъ развитіемъ и много работали надъ собою. То же самое слѣдуетъ сказать и о лучшихъ людяхъ послѣдующаго времени, въ особенности тѣхъ, которые учились и развивались въ 40 и 50 годахъ; въ ихъ ряду первое мѣсто принадлежитъ Чернышевскому и Добролюбову, которые представляли собою образецъ натуръ не только исключительно-возвышенныхъ, но также исключительно-цѣльныхъ (отъ природы) и гармонично-воспитанныхъ въ сознательной

и упорной работѣ надъ собою. Итакъ, самовоспитаніе, работа надъ собою—это не была какъ бы монополія поколѣнія 30-хъ годовъ. И тѣмъ не менѣе люди 30-хъ годовъ рѣзко выдѣляются именно этою стороною. Дѣло въ томъ, что они дѣлали это такъ и въ такихъ размѣрахъ, какъ не дѣлалось это никогда, ни раньше, ни послѣ. И въ этомъ отношеніи не было большой разницы между кругомъ Станкевича, съ одной стороны, и кругомъ Герцена и Огарева, съ другой, ибо и эти послѣдніе, хотя и выдвигали впередъ общественныя задачи, но, можно сказать, добрыхъ $^2/_3$ своихъ богатыхъ умственныхъ и нравственныхъ силъ потратили (въ то время) на утонченную разработку своей личности, на вниканіе во всѣ оттѣнки и переливы чувствъ, настроеній, мыслей,—вообще „носились" со своимъ „я" слишкомъ много, слишкомъ усердно. Эта черта, бьющая въ глаза и порою странно поражающая насъ, когда читаемъ ихъ переписку и другіе документы (напр., дневникъ Герцена), находилась въ тѣсной психологической связи съ ихъ экзальтированностью, чувствительностью и склоностью къ аффекту, о чемъ мы говорили выше.

Явленіе это, съ точки зрѣнія „душевной гигіены", какъ личной, такъ и общественной, не можетъ считаться нормальнымъ. Нездорово, ненормально слишкомъ носиться со своимъ „я". Излишняя утонченность самовоспитанія, избытокъ рефлексіи, слишкомъ усердная гимнастика ума и чувства, крайности самоанализа — все это легко можетъ кончиться тѣмъ, что человѣкъ не воспитаетъ себя въ смыслѣ цѣнной общественной величины, умственной и нравственной, а только выраститъ изъ себя утонченнаго эгоиста, дилетанта высокихъ чувствъ, сибарита искусства и философіи и вмѣстѣ съ тѣмъ—общественнаго недоросля. Кое съ кѣмъ изъ „людей 40-хъ годовъ" такъ и случилось. Конечно, Бѣлинскій и Герценъ были отъ этого застрахо-

ваны исключительно счастливою природною организацiей своего духа вообще, своей совѣсти—въ частности. Но и они потратили непропорцiонально-большую часть своихъ душевныхъ силъ на то, что можно бы назвать „психическимъ уходомъ“ за собою.

Все это говорится не въ осужденiе. Пусть, какъ сказано выше, такой путь развитiя, такой излишне-тщательный „уходъ за собой“ не нормаленъ, не чуждъ чего-то болѣзненнаго, но вѣдь исторiя не идетъ „нормальнымъ“ путемъ, по правиламъ „психологической гигiены“. Роды исторiи болѣзненны, а всего болѣзненнѣе или, по крайней мѣрѣ, труднѣе тѣ роды исторiи, плодомъ которыхъ является самоопредѣляющаяся, освободившаяся отъ стадности личность. Быть хорошимъ „обывателемъ“, общественнымъ дѣятелемъ, даже „гражданиномъ“ человѣку гораздо легче, чѣмъ сдѣлаться человѣчно-мыслящею и гуманно-чувствующею личностью, не затеривающеюся въ массѣ и выступающею на фонѣ общественности со своимъ особымъ—необщимъ—выраженiемъ [1]), съ незауряднымъ содержанiемъ души. Это такъ трудно, такъ рѣдко и такъ цѣнно, что бывали эпохи (напр., эпоха „возрожденiя“), когда къ этому пункту, къ выработкѣ личности, и сводился главный интересъ историческаго момента, и имъ же опредѣлялось значенiе этого момента для будущаго, для человѣчества.

Соцiальныя чувства, тяготѣнiе индивидуума къ своей соцiальной средѣ (классу, нацiи, отечеству и т. д.), наконецъ, крайнее выраженiе этого въ самопожертвованiи человѣка интересамъ цѣлаго, какъ онъ ихъ понимаетъ, все это коренится въ соцiальномъ (стадномъ) инстинктѣ и культивировалось искони. „Гражданскiя добрести“ стары почти такъ же, какъ человѣчество. Напротивъ, личность, продуктъ долгаго развитiя прогрессирующей части человѣче-

---

[1]) Беру терминъ („необщее выраженiе“) изъ одного стихотворенiя Баратынскаго.

ства, есть явленіе, сравнительно новое, хотя возникало уже въ древности; подготовленная раздѣленіемъ труда, общественной дифференціацiей, личность въ разныя эпохи, у разныхъ народовъ возникала и угасала, чтобы потомъ возродиться вновь, и этотъ процессъ ея возникновенія, развитія, борьбы съ нивеллирующей силой общественности, повидимому, всегда выражался въ тѣхъ болѣзняхъ мысли и совѣсти, симптомами которыхъ были различныя философскія системы, моральныя и иныя ученія, а также созданія искусства.

То, что въ большомъ масштабѣ совершалось въ исторіи человѣчества, въ маломъ масштабѣ повторяется въ исторіи отдѣльныхъ запоздавшихъ народовъ, а также и въ жизни отдѣльныхъ лицъ, и здѣсь-то этотъ процессъ наиболѣе доступенъ психологическому наблюденію.

Изучая жизнь и дѣятельность, переписку и сочиненія нашихъ идеалистовъ 30—40-хъ годовъ, мы ясно видимъ, что это былъ процессъ дотолѣ небывалаго на Руси развитія личности. Онъ протекалъ въ философскихъ томленіяхъ мысли, въ своеобразныхъ недугахъ нравственнаго чувства, въ мукахъ совѣсти, въ религіозныхъ исканіяхъ, въ истомѣ высшихъ запросовъ духа. И все это было такъ ново и необычно, что сами носители этихъ чувствъ, запросовъ, мыслей и т. д. съ недоумѣніемъ и изумленіемъ останавливались передъ зрѣлищемъ внутренней работы духа, совершавшейся въ нихъ. Это внутреннее недоумѣніе и изумленіе и является началомъ высшей рефлексіи и пробужденіемъ личности отъ сна готовыхъ понятій, унаслѣдованныхъ привычекъ, установленныхъ моральныхъ отношеній. Чтобы, какъ слѣдуетъ, пробудиться отъ этого сна, нужно было „заболѣть философіею, моралью, религіею“ — какъ болѣло ими, въ большихъ размѣрахъ, человѣчество, — и почувствовать „духовную жажду“, страстное стремленіе къ „высшей жизни духа“.

„Духовною жаждою томимы“, наши идеалисты 30-хъ годовъ являютъ изумительную картину своеобразной душевной жизни, внутренней борьбы, — картину, какой мы не найдемъ у послѣдующихъ дѣятелей, какъ не видимъ ея и у предшествовавшихъ.

То, что они пережили годами въ интенсивной работѣ духа съ частными „кризисами“, мы, ихъ духовные потомки, переживаемъ быстро, незамѣтно. Имъ выпало на долю выстрадать нарожденіе и образованіе личности на Руси. И именно они-то по преимуществу и являются родоначальниками нашего развитія. Это была ихъ историческая миссія, и съ этой-то точки зрѣнія и слѣдуетъ судить о нихъ. Становясь на эту точку зрѣнія, мы легко поймемъ многое въ ихъ жизни, что на первый взглядъ кажется страннымъ, причудливымъ, мы поймемъ ихъ вѣчно-бодрствующую рефлексію и уже безъ большой скуки и, порою, досаднаго чувства дочитаемъ до конца тѣ, большею частью очень длинныя, письма ихъ, гдѣ они разбираются въ тонкостяхъ своихъ чувствъ и настроеній, исповѣдуются другъ передъ другомъ, выкапываютъ со дна души мельчайшія движенія тайныхъ помысловъ и, философски анализируя ихъ, стараются достичь высоты самосознанія и точности самоопредѣленія, призывая на помощь и Гегеля, и Гете, и искусство, и религію, и исторію человѣчества.

И они достигали большой высоты и большой утонченности душевной жизни...

Но человѣку свойственно засыпать не только на лонѣ непосредственности, среди общаго умственнаго сна, но и на лонѣ „высшей жизни духа“, гдѣ также есть много такого, что убаюкиваетъ.

Убаюканные высшими радостями мысли, наслажденіемъ искусствомъ, всею роскошью личной душевной жизни, идеалисты были близки къ опасности стать ненужными. Герценъ понялъ опасность раньше всѣхъ. Но лучше всѣхъ

созналь ее Бѣлинскій, выразившій это сознаніе въ слѣдующихъ знаменательныхъ словахъ, въ которыхъ рѣзко обозначился поворотъ отъ узко-личной, хотя и „высшей", работы духа къ иной его работѣ, его страдѣ, можетъ быть— не столь „возвышенной", но безусловно необходимой для того, чтобы пробудились къ человѣчности спящія національныя силы, и чтобы сами идеалисты не заснули: „...идея общества охватила меня крѣпче,—и пока въ душѣ останется хоть искра, а въ рукахъ держится перо,—я дѣйствую. Мочи нѣтъ,—куда ни взглянешь, чувства оскорбляются. Что мнѣ за дѣло до кружка: во всякой стѣнѣ, хотя бы и не китайской, плохое убѣжище. Вотъ уже нашъ кружокъ и разсыпался, еще больше разсыплется, а куда приклонить голову, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе, гдѣ человѣчность? Нѣтъ, къ чорту всѣ высшія стремленія и цѣли [1])! Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму: мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить... Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку „Отечеств. Записокъ" [2]). Я литераторъ—говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ съ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупѣть, чтобы расейская публика лучше понимала меня..." (Письмо къ Боткину 1841 г.).

Такъ въ лицѣ великаго критика отвлеченный идеализмъ 30-хъ годовъ проснулся—въ 40-хъ—для „милліона терзаній", для живой дѣятельности, руководимой реализмомъ общественной мысли, чтобы лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью повторить въ новомъ видѣ всѣ негодованія и всю драму Чацкаго.

[1]) Курсивъ мой. Подъ этимъ, конечно, нужно понимать ту изысканность душевной жизни и отвлеченность стремленій, которыя „культивировали" идеалисты въ своемъ тѣсномъ кругу, рискуя оказаться „лишними" и ненужными.

[2]) Курсивъ мой.

ГЛАВА IV.

Евгеній Онѣгинъ во второй половинѣ 20-хъ годовъ.

1.

Онѣгинъ, какъ художественный образъ, какъ типъ, былъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ далеко не то, чѣмъ сталъ онъ позже, и чѣмъ является для насъ въ настоящее время. Говоря такъ, мы различаемъ бытовое значеніе типа отъ его общественно-психологическаго значенія. Бытовое въ тѣсномъ смыслѣ значеніе Онѣгина пошло на убыль уже въ 40-хъ годахъ, когда измельчалъ и, такъ сказать, вывѣтрился въ самой жизни типъ великосвѣтскаго либерала, не знающаго, что дѣлать съ собою, за что взяться, и за неимѣніемъ лучшаго занятія позирующаго, „ломающагося", болѣе или менѣе удачно маскируя свое душевное содержаніе или свою душевную безсодержательность. Въ бытовомъ отношеніи люди этого сорта въ 40-хъ годахъ и позже могли живо напоминать Пушкинскаго Онѣгина,—и однако же этотъ образъ не распространился на нихъ: въ этомъ направленіи его обобщающее дѣйствіе остановилось на исходѣ 30-хъ годовъ. Но это не значило, что образъ потерялъ всякій интересъ и былъ сданъ въ архивъ: онъ получилъ иное значеніе. Дѣло въ томъ, что въ теченіе 40-хъ и 50-хъ годовъ жизнь выработала, а послѣдующая художественная литература (съ 50-хъ годовъ) обобщила и объяснила типъ лишняго человѣка, какъ

явленіе, по преимуществу русское и представляющее высокій общественно-психологическій интересъ. И когда этотъ типъ сложился и обнаружился съ достаточною яркостью, тогда стало ясно, что Онѣгинъ Пушкина и былъ истиннымъ „родоначальникомъ лишнихъ людей“, и вмѣстѣ съ тѣмъ возросъ и интересъ къ этому образу, да и самъ онъ наполнился новымъ содержаніемъ. Ниже, въ главѣ V, мы увидимъ, какъ появленіе въ самомъ началѣ 40-хъ годовъ типа Печорина оживило и вызвало къ новой жизни образъ Онѣгина.

Согласно съ основной идеей и задачей этихъ очерковъ, мы постараемся опредѣлить связь образа Онѣгина съ самою дѣйствительностью сперва—его же эпохи, а потомъ и послѣдующихъ.

Онѣгинъ, какъ Чацкій, прежде всего — представитель образованнаго общества 20-хъ годовъ, именно той его части, въ которой по преимуществу сосредоточивалось броженіе и движеніе умовъ въ ту эпоху. Но между Чацкимъ и Онѣгинымъ есть важное различіе: первый принадлежалъ къ лучшимъ людямъ эпохи, второй — человѣкъ, немногимъ лишь возвышающійся надъ среднимъ уровнемъ свѣтскихъ, по-тогдашнему образованныхъ и затронутыхъ идеями вѣка молодыхъ людей. Онъ уменъ, но въ умѣ его нѣтъ ни глубокомыслія, ни возвышенности; „идеологія“ не чужда ему, и онъ, пожалуй, имѣетъ нѣкоторое право смотрѣть на свою среду, на „толпу“ (своего круга, на „свѣтскую чернь“, какъ тогда выражались) сверху внизъ, съ презрѣніемъ; но онъ, несомнѣнно, злоупотребляетъ этимъ „правомъ“ потому что, во многихъ отношеніяхъ онъ — значительно ниже лучшихъ людей эпохи: въ немъ не могли бы узнать себя ни Н. И. Тургеневъ, ни Веневитиновъ, ни кн. Сергѣй Волконскій, ни кн. Трубецкой, ни Пущинъ и т. д. Зато многіе другіе, стоявшіе ближе къ среднему уровню, легко находили въ Онѣгинѣ свои черты, свою позу и фразу, свой

складъ ума „холоднаго“ и „озлобленнаго“, свои душевныя противорѣчія.

Послушаемъ отзывы о немъ современниковъ, именно тѣхъ, которые, принадлежа къ тому же кругу, не могли узнать себя въ чертахъ героя перваго у насъ „соціальнаго романа“.

Самый замѣчательный отзывъ принадлежитъ Веневитинову, безспорно—одному изъ самыхъ выдающихся людей эпохи. Я имѣю въ виду замѣтку о второй „пѣсни“ „Евг. Онѣгина“, появившуюся въ 4-хъ № „Моск. Вѣстника“ (издан. Погодинымъ) 1828 года (послѣ смерти автора), гдѣ читаемъ: „Вторая пѣснь по изобрѣтенію и изображенію характеровъ несравненно превосходнѣе первой. Въ ней уже исчезли слѣды впечатлѣній, оставленныхъ Байрономъ, и въ „Сѣверной Пчелѣ“ напрасно сравниваютъ Онѣгина съ Чэйльдъ-Гарольдомъ. Характеръ Онѣгина принадлежитъ нашему поэту и развитъ оригинально. Мы видимъ, что Онѣгинъ уже испытанъ жизнью; но опытъ поселилъ въ немъ не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду, а скуку, наружное безстрастіе, свойственное русской холодности (мы не говоримъ—русской лѣни). Для такого характера все рѣшаютъ обстоятельства. Если они пробудятъ въ Онѣгинѣ сильныя чувства, мы не удивимся:—онъ способенъ быть минутнымъ энтузіастомъ и повиноваться порывамъ души. Если жизнь его будетъ безъ приключеній, онъ проживетъ спокойно, разсуждая умно, а дѣйствуя лѣниво“ [1]) (Полное собраніе сочиненій Д. В. Веневитинова, изд. А. П. Пятковскаго, 1862 г., стр. 225—226).

---

[1]) Я уже имѣлъ случай цитировать эту мѣткую характеристику Онѣгина въ статьѣ „Пушкинъ, какъ художественный геній“ („Вопросъ психологіи творчества“, 1902 г., стр. 25), гдѣ указалъ и на то, что она легко распространяется на всю серію типовъ, „родоначальникомъ“ которыхъ былъ Онѣгинъ.

Вотъ именно — „русская холодность", плохая работоспособность, неумѣніе увлечься какимъ-либо дѣломъ или идеею и большое умѣніе скучать, — таковы характерныя черты Онѣгина, какъ типа психологическаго, гораздо болѣе важныя, чѣмъ его бытовые признаки. Эти-то черты и дѣлаютъ Онѣгина натурою заурядною. Не являть „русской холодности", быть не только человѣкомъ, разсуждающимъ умно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и человѣкомъ, дѣйствующимъ не лѣниво, и притомъ — не въ исключительныхъ условіяхъ какихъ-либо сильныхъ воздѣйствій или „приключеній", а постоянно, при обычномъ теченіи жизни, — это значило тогда, какъ и потомъ, быть натурой исключительной, высоко подымающейся надъ среднимъ уровнемъ слабыхъ характеровъ, недѣятельныхъ, праздно-любопытныхъ умовъ.

Въ этомъ отзывѣ Веневитинова ясно сказался взглядъ на Онѣгина сверху внизъ; это—сужденіе выдающагося, исключительно одареннаго дѣятеля своего времени о человѣкѣ заурядномъ, но не лишенномъ извѣстныхъ положительныхъ качествъ ума и души.

Болѣе рѣзко высказался объ Онѣгинѣ другой замѣчательный дѣятель, начинавшій тогда свою литературную карьеру, Иванъ Вас. Кирѣевскій, въ то время убѣжденный и послѣдовательный „западникъ". Сравнивая Онѣгина съ Чайльдъ-Гарольдомъ, онъ отмѣчаетъ безыдейность и душевную пустоту Пушкинскаго героя и также то, что онъ—натура обыкновенная, заурядная: „...Онѣгинъ есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное. Онъ также равнодушенъ ко всему окружающему; но не ожесточеніе, а неспособность любить, сдѣлали его холоднымъ. Его молодость также прошла въ видѣ забавъ и разсѣянія; но онъ не завлеченъ былъ кипѣніемъ страстной, ненасытной души, но на паркетѣ провелъ пустую, холодную жизнь моднаго франта... Онъ не живетъ внутри себя жизнью особенною, отмѣнною отъ жизни другихъ людей, и презираетъ чело-

вѣчество потому только, что не умѣетъ уважать его. Нѣтъ ничего обыкновеннѣе такого рода людей [1]), и всего меньше поэзіи въ такомъ характерѣ... Самъ Пушкинъ, кажется, чувствовалъ пустоту своего героя и потому нигдѣ не старался коротко познакомить съ нимъ своихъ читателей (?). Онъ не далъ ему опредѣленной физіогноміи (?), и не одного человѣка, но цѣлый классъ людей представилъ онъ въ его портретѣ: тысячѣ различныхъ характеровъ можетъ принадлежать описаніе Онѣгина" [1]) („Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина", статья, написанная, когда появилось только 5 главъ „Евг. Он.", и помѣщенная въ „Москов. Вѣстникѣ" 1828 г., часть 8, стр. 171 — 196, безъ подписи автора; перепечатана въ „Полномъ собраніи сочиненій И. В. Кирѣевскаго", М. 1861 г., т. I, стр. 5 и сл.) [2]).—Приговоръ Кирѣевскаго представляется мнѣ слишкомъ суровымъ: Онѣгинъ во всякомъ случаѣ не можетъ быть названъ ничтожествомъ. Но вѣрно и любопытно указаніе Кирѣевскаго на типичность и заурядность Онѣгина: такихъ, какъ онъ, было много. Изъ рѣзкаго тона, взятаго Кирѣевскимъ, явствуетъ только, что молодой критикъ сознавалъ себя выше такихъ людей и презиралъ ихъ и ту среду, въ которой они вращались. Это презрѣніе помѣшало ему разглядѣть нѣчто положительное въ Онѣгинѣ, котораго можно назвать человѣкомъ заурядным, избалованнымъ, неспособнымъ къ труду, къ серьезному дѣлу и т. д., но нельзя назвать душевно „пустымъ". Онъ велъ вначалѣ пустую жизнь, но она ему прискучила именно своею пустотою, — онъ не удовлетворился ею. Перенеся впечатлѣніе пустоты отъ образа жизни Онѣгина на него самого, на его натуру, Кирѣевскій по этому ложному пути пошелъ еще дальше: онъ перенесъ

---

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Приведенное мѣсто—на стр. 15—16.

это впечатлѣніе на самый романъ (на первыя 5 главъ его) и говоритъ: „эта пустота главнаго героя была, можетъ быть, одною изъ причинъ пустоты содержанія первыхъ пяти главъ романа“. (Тамъ же, стр. 16, „Полн. собр. соч.“, т. I).—Надо замѣтить при этомъ, что Кирѣевскій отнюдь не принадлежалъ къ числу тѣхъ, которые въ то время старались развѣнчать Пушкина, какъ, напр., Каченовскій, Надеждинъ, Булгаринъ, отчасти Полевой. Напротивъ, Кирѣевскій былъ горячимъ поклонникомъ Пушкина,—и въ той статьѣ, откуда мы взяли наши выдержки, является даже панегиристомъ великаго поэта.

Сужденіе Кирѣевскаго объ Онѣгинѣ показываетъ, что у него, какъ и у Веневитинова и другихъ, былъ свой обыденно-художественный образъ, обобщавшій людей этого типа, и что Кирѣевскій составилъ себѣ извѣстное мнѣніе о нихъ — болѣе отрицательное, чѣмъ мнѣніе Веневитинова. При этомъ критикъ не принимаетъ въ соображеніе взгляда самого Пушкина, очень ясно сказавшагося въ романѣ. И неизвѣстно, чего собственно хотѣлъ бы молодой критикъ: чтобы поэтъ отнесся къ Онѣгину еще строже, еще отрицательнѣе, или чтобы онъ вмѣсто Онѣгина далъ образъ болѣе положительный, характеръ болѣе высокій? — Во всякомъ случаѣ, Кирѣевскій не предугадалъ общественнаго значенія типа Онѣгина и не уразумѣлъ его психологіи.

2.

Сужденія объ Онѣгинѣ такихъ лицъ, какъ Веневитиновъ, Кирѣевскій, Бестужевъ (Марлинскій) и др., любопытны между прочимъ въ томъ отношеніи, что здѣсь Онѣгинъ рисуется и осуждается, какъ типъ классовый, и притомъ — судьями, которые сами принадлежали къ тому же общественному классу.

Онѣгинъ—въ нашей литературѣ—первый, по времени, классовый типъ, т.-е. образъ, въ которомъ выразились характерныя черты психологіи извѣстнаго, именно—верхняго, общественнаго слоя, причемъ эти черты далеко не идеализированы. Отрицательное отношеніе къ Онѣгину незамѣтно могло переходить въ критику его классовой психологической формы. Въ этомъ отношеніи есть замѣтная разница между нимъ и Чацкимъ: въ послѣднемъ черты классовыя затушованы и заслонены частью чертами эпохи, частью—„идеологіей". Оттого-то Чацкій былъ, такъ сказать, „свой братъ" всякому образованному человѣку его времени, лишь бы послѣдній раздѣлялъ тѣ же идеи и то же настроеніе. И, напр., „разночинецъ" Полевой въ свое цвѣтущее время чувствовалъ себя очень близкимъ къ Чацкому... Въ Онѣгинѣ, напротивъ, идеологія отодвинута на второй планъ, намѣчена лишь въ блѣдныхъ очертаніяхъ, скорѣе—намеками, а черты классовой психологіи, вмѣстѣ съ бытовыми, изображены весьма ярко, даже какъ-будто намѣренно подчеркнуты, приблизительно такъ, какъ въ кн. Андреѣ Болконскомъ (въ „Войнѣ и Мирѣ"). Этимъ между прочимъ объясняется тотъ фактъ, что фигура Онѣгина производила на нѣкоторыхъ впечатлѣніе сатиры. Въ письмѣ къ брату (изъ Одессы, янв. 1824) поэтъ сообщаетъ, что „можетъ быть" пришлетъ Дельвигу „отрывокъ изъ Онѣгина": „это лучшее мое произведеніе. Не вѣрь Н. Раевскому, который бранитъ его—онъ ожидалъ отъ меня романтизма, нашелъ сатиру и цинизмъ и порядочно не расчухалъ". — Подобно Н. Раевскому, „не расчухалъ" и Александръ Бестужевъ (Марлинскій), усмотрѣвшій въ Онѣгинѣ и сатиру, и подражаніе Байрону. Ему Пушкинъ возражалъ въ отвѣтномъ письмѣ (изъ Михайловскаго, 21 марта 1825 г.): „...все-таки ты смотришь на Онѣгина не съ той точки; все-таки онъ—лучшее произведеніе мое. Ты сравниваешь первую главу съ Донъ-Жуаномъ. Никто болѣе не уважаетъ Донъ-Жуана, но въ

немъ нѣтъ ничего общаго съ Онѣгинымъ. Ты говоришь о сатирѣ англичанина Байрона, сравниваешь ее съ моею и требуешь отъ меня таковой же. — Нѣтъ, моя душа, многаго хочешь. Гдѣ у меня сатира? О ней и помина нѣтъ въ Евг. Онѣгинѣ...“ Въ письмѣ Бестужева (отъ 9 марта 1825 г.), на которое, повидимому, и возражалъ Пушкинъ (письмомъ отъ 21 марта того же года), находимъ слѣдующія строки, относящіяся къ фигурѣ Онѣгина: „поставилъ ли ты его (Онѣгина) въ контрастъ со свѣтомъ, чтобъ въ рѣзкомъ злословіи показать его рѣзкія черты?..“ — Повидимому, Бестужеву хотѣлось бы, чтобы Пушкинъ вывелъ въ лицѣ Онѣгина, если ужъ не новаго Алеко, то, по крайней мѣрѣ, „героя“ — сродни Чацкому. Кстати укажемъ здѣсь на то предпочтеніе, которое отдавалъ Бестужевъ романтическому Алеко, что видно изъ сопоставленія его отзыва о первой главѣ „Евг. Онѣгина“ съ его отзывомъ о (тогда еще не изданной) поэмѣ „Цыганы“ — въ статьѣ „Взглядъ на русскую словесность въ теченіе 1824 и началѣ 1825 годовъ“. Здѣсь критикъ упоминаетъ какъ бы вскользь о только что появившейся въ печати первой главѣ „Евг. Онѣгина“, ничего не говоритъ о главномъ героѣ и, отозвавшись съ большой похвалой о „Разговорѣ поэта съ книгопродавцемъ“ (помѣщенномъ въ видѣ предисловія къ роману), переходитъ къ „Цыганамъ“. И вотъ его отзывъ объ этой поэмѣ: „Если можно говорить о томъ, что не принадлежитъ еще печати, хотя принадлежитъ словесности, то это произведеніе далеко оставило за собою все, что онъ (Пушкинъ) писалъ прежде. Въ немъ геній его, откинувъ всякое подражаніе, возсталъ въ первородной красотѣ и простотѣ величественной. Въ немъ-то сверкаютъ молнійные очерки вольной жизни и глубокихъ страстей и усталаго ума въ борьбѣ съ дикою природою...“ („Стихотворенія и полемическія статьи“, Спб. 1838, стр. 195 — 196). — Онѣгинъ не понравился критику-романтику, потому что этотъ образъ слишкомъ реаленъ и въ немъ

нѣтъ никакихъ „молнійныхъ очерковъ", ничего романтически—приподнятаго, ничего титаническаго. Въ письмѣ отъ 9 марта 1825 г. Бестужевъ, вслѣдъ за вышеприведенной выдержкой продолжаетъ: „Я вижу (въ Онѣгинѣ) франта, который душой и тѣломъ преданъ модѣ; вижу человѣка, которыхъ тысячи встрѣчаю на яву, ибо самая холодность, и мизантропія, и странность теперь въ числѣ туалетныхъ приборовъ..." [1]). Изъ этихъ словъ, между прочимъ, видно, что Бестужевъ, будучи недоволенъ Онѣгинымъ, какъ характеромъ и натурой, хорошо понималъ реальность, типичность этого образа. Его отзывъ почти совпадаетъ съ отзывомъ Кирѣевскаго.

Хотя Пушкинъ и оспаривалъ мнѣніе, что его романъ—сатира, но нельзя не видѣть въ немъ присутствія нѣкоторыхъ сатирическихъ чертъ. Можно только утверждать, что Пушкинъ не задавался цѣлью написать настоящую, послѣдовательную сатиру, дать (какъ онъ выражается о „Горе отъ ума") „рѣзкую картину нравовъ". Это не входило въ его задачу. „Евг. Онѣгинъ", какъ произведеніе, это—то, что позже стали называть „соціальнымъ романомъ". Въ немъ, какъ и въ „соціальныхъ романахъ и повѣстяхъ" Тургенева, сатирическія черты присутствуютъ, какъ элементъ, какъ подробность; на первый же планъ выступаетъ психологія героя и героини, какъ представителей лучшей части образованнаго общества, и разрабатываются ихъ отношенія къ средѣ и духу времени, при чемъ, большею частью, герои не поставлены на пьедесталъ, не идеализированы. Не скрыты ихъ недостатки, ихъ слабости, предразсудки, смѣшныя стороны и т. д., но поэтъ позаботился о томъ, чтобы—при всѣхъ этихъ болѣе или менѣе отрицательныхъ чертахъ—

[1]) Цитирую по изданію Л. Поливанова „Сочиненія А. С. Пушкина, съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики" (1887 г.). т. IV, стр. 67.

читатель видѣлъ въ героѣ и, въ особенности, въ героинѣ людей по натурѣ хорошихъ, съ положительными задатками, съ благими стремленіями, и—не приписывалъ бы автору, въ отношеніи къ нимъ, цѣлей сатирическихъ. Онѣгинъ, какъ лицо и типъ,—вовсе не сатира на людей 20-хъ годовъ, подобно тому какъ Рудинъ—не сатира на людей 40-хъ годовъ, какъ не сатира и самъ Илья Ильичъ Обломовъ.

Присмотримся нѣсколько ближе къ тому, что въ фигурѣ Онѣгина могло съ большимъ или меньшимъ правомъ казаться, или въ самомъ дѣлѣ было чертами сатирическими.

Это прежде всего—тѣ, которыми изображены его воспитаніе и образованіе, пустота его свѣтской жизни и родъ особаго—изысканнаго—цинизма. Передъ нами, въ самомъ дѣлѣ, пустой франтъ, фатоватый свѣтскій „левъ". И только то обстоятельство, что онъ очень скоро почувствовалъ всю тяготу такой жизни, впалъ въ хандру и сталъ искать выхода изъ заколдованнаго круга пустого времяпрепровожденія,—отчасти примиряетъ насъ съ нимъ. Но и сама хандра его описана иронически, даже ядовито. Пушкинъ и тутъ не возвеличиваетъ своего героя. Есть злое указаніе на то, что причину „разочарованія" Онѣгина нужно видѣть просто въ пресыщеніи удовольствіями и однообразіи впечатлѣній (гл. I, стр. XXXVII). Это очень далеко отъ разочарованности романтическихъ героевъ, хотя бы того же Алеко; но зато это—правда, это взято прямо изъ дѣйствительности. Образъ жизни Онѣгина—вѣрный сколокъ съ той, какую вело большинство молодыхъ людей изъ свѣтскаго общества въ то время, и нетрудно было бы иллюстрировать поведеніе и привычки Онѣгина рядомъ фактовъ изъ біографій дѣятелей той эпохи. Пресыщеніе являлось неизбѣжнымъ слѣдствіемъ излишествъ всякаго рода, избытка наслажденій, какъ грубыхъ, такъ и утонченныхъ. Отъ пресыщенія недалеко до равнодушія, до своего рода taedium vitae, откуда и тотъ

Недугъ, котораго причину
Давно бы отыскать пора...

Вотъ именно этотъ-то „недугъ“,

Подобный англійскому *сплину*,
Короче: русская *хандра*
Имъ овладѣла понемногу;
Онъ застрѣлиться, славу Богу,
Попробовать не захотѣлъ,
Но къ жизни вовсе охладѣлъ...

Эту „болѣзнь“, вѣроятно, переживали тогда многіе, и въ ней не было ровно ничего возвышеннаго. Но нѣкоторые, а можетъ быть и многіе, слѣдуя модѣ и подражая Чайльдъ-Гарольду, старались придать этой хандрѣ ложный видъ какой-то значительности, скептическаго умонастроенія, „гордаго“ презрѣнія къ людямъ, къ пошлой жизни и т. д. Въ этомъ было, конечно, много напускного, дѣланнаго, это была „поза“, но все это имѣло, такъ сказать, свою зацѣпку въ *психологіи барства*, взлелѣяннаго крѣпостнымъ правомъ, сознающаго, что онъ—„бѣлая кость“ и имѣетъ право „ломаться“ и презирать всѣхъ прочихъ смертныхъ. Эту „зацѣпку“ превосходно изобразилъ Л. Н. Толстой въ психологіи кн. Андрея Боклонскаго, который также „ломается“, презираетъ всѣхъ и все и впадаетъ въ хандру (правда—не на почвѣ пресыщенія, а по другимъ душевнымъ мотивамъ).

Крайней степени утрировки и позированія достигало это пессимистическое или скептическое настроеніе у тѣхъ молодыхъ людей, которые были захвачены вѣяніями тогдашняго романтизма и, въ особенности, байронизма. Типичный образчикъ байроническаго позированія мы видимъ, между прочимъ, въ *Александрѣ Николаевичѣ Раевскомъ*, какимъ онъ былъ въ 20-хъ годахъ, когда онъ имѣлъ вліяніе на Пушкина, посвятившаго ему стихотво-

реніе „Демонъ". В. В. Сиповскій въ интересномъ этюдѣ „Татьяна, Онѣгинъ и Ленскій" („Русск. Старина", 1899 г., май и апрѣль), рядомъ остроумныхъ сближеній, приходитъ къ выводу, что этотъ же самый А. Н. Раевскій и послужилъ Пушкину „натурщикомъ" для образа Онѣгина [1]). Если мы согласимся съ этимъ заключеніемъ даровитаго ученаго, то нелишне будетъ къ характеристикѣ А. Н. Раевскаго, какимъ онъ былъ тогда, присоединить еще одно свидѣтельство человѣка, къ нему близкаго. Я имѣю въ виду отзывъ князя Сергѣя Волконскаго, который былъ женатъ на сестрѣ Раевскаго. Въ своихъ извѣстныхъ „Запискахъ" (Спб., изд. 2-е, 1902 г., стр. 410), говоря о предложеніи, сдѣланномъ М. Ѳ. Орловымъ другой сестрѣ Раевскаго, Екатеринѣ Николаевнѣ, кн. Волконскій пишетъ: „переговоры эти шли черезъ брата ея, Александра Николаевича, который ему поставилъ первымъ условіемъ выходъ его изъ тайнаго общества, т.-е. изъ дѣйствительныхъ членовъ его. Александръ Николаевичъ, какъ человѣкъ умный, не былъ въ числѣ отсталыхъ, но, какъ человѣкъ хитрый и осторожный, видѣлъ, что тайное общество не минуетъ преслѣдованія правительства, а потому и положилъ первымъ условіемъ Орлову выходъ его изъ общества"... Имѣя въ виду Онѣгина, мы могли бы взять отсюда одну фразу: „какъ

---

[1]) „... душа этого юноши (Раевскаго) была отмѣчена чертами, очень близкими къ онѣгинскимъ. Впрочемъ, у Раевскаго эти черты значительно рѣзче, глубже, чѣмъ у Онѣгина; не даромъ его образъ вдохновилъ Пушкина на созданіе такого сильнаго произведенія, какъ „Демонъ"...Конечно, здѣсь передъ нами оригиналъ идеализированъ... но стоитъ свести этого демона съ пьедестала, одѣть на него широкій боливаръ, модный костюмъ и лакированные ботфорты,—и передъ нами, какъ живой, встаетъ Раевскій-Онѣгинъ"... (Указ. изслѣдованіе, „Русск. Стар.", апр., стр. 566—567).—Свѣдѣнія объ А. Н. Раевскомъ (старшій сынъ извѣстнаго генерала Н. Н. Раевскаго) читатель найдетъ въ цитированной статьѣ В. В. Сиповскаго и въ книгѣ Анненкова „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху" (Спб. 1874 г. стр. 151 и слѣд.).

человѣкъ умный, онъ не былъ въ числѣ отсталыхъ...", а выраженіе: „какъ человѣкъ хитрый и осторожный" — намъ пришлось бы замѣнить выраженіемъ: „какъ человѣкъ, относящійся къ вещамъ и людямъ скептически и критически". Кажется, такая замѣна была бы умѣстна и по отношенію къ самому А. Н. Раевскому [1]). Повидимому, это былъ не „осторожный и хитрый" человѣкъ себѣ на умѣ, а именно скептикъ, съ большимъ запасомъ той „русской холодности", которую Веневитиновъ видѣлъ въ Онѣгинѣ,—русскій Мефистофель, какимъ онъ и представленъ въ „Демонѣ", „охлажденный умъ", загримированный à la Байронъ, и—въ сущности—„добрый малый",—по выраженію Веневитинова, „разсуждающій умно, а дѣйствующій лѣниво". Если возьмемъ первое впечатлѣніе, произведенное А. Н. Раевскимъ на Пушкина (въ 1820 году на Кавказѣ: „старшій сынъ его (генерала Н. Н. Раевскаго) будетъ болѣе, нежели извѣстенъ",—въ письмѣ поэта къ брату отъ 24 сент., 1820 г., изъ Кишинева [2]), потомъ—стихотвореніе „Демонъ" (1823 г.) и наконецъ Онѣгина, то получимъ, такъ сказать, рядъ нисходящихъ ступеней отъ возвеличенія этого „типа" къ его развѣнчанію, къ критическому и явно-ироническому изображенію его. Но въ этомъ изображеніи есть замѣтная двойственность. Съ одной стороны здѣсь—ироническое описаніе хандры Онѣгина и его неумѣнія найти выходъ изъ этого состоянія душевной угнетенности: пробовалъ онъ заняться литературою,—дѣло не пошло на ладъ; задумалъ привить себѣ умственные вкусы и интересы мысли, углубился въ серьезныя книги, но и тутъ ничего не вышло; „читалъ, читалъ, а все безъ толку". Онѣгинъ представленъ

---

[1]) Нѣкоторые отзывы знаменитаго декабриста о его современникахъ представляются намъ слишкомъ ригористическими и суровыми (напр. о Н. И. Тургеневѣ).

[2]) Ср. также Анненковъ, „Пушкинъ въ Алекс. эпоху", стр. 151.

какимъ-то неудачникомъ. А съ другой стороны, Пушкинъ въ скучающемъ, апатичномъ, опустившемся Онѣгинѣ находитъ что-то привлекательное, не совсѣмъ заурядное, отнюдь не пошлое и какъ будто значительное. И словно обращаясь мысленно къ Раевскому и оживляя свои лучшія воспоминанія о немъ, поэтъ говоритъ объ Онѣгинѣ и о себѣ (гл. I, строфа XLV):

Условій свѣта свергнувъ бремя,
Какъ онъ, отставъ отъ суеты,
Съ нимъ подружился я въ то время.
Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И рѣзкій, охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ... [1]).

Вотъ именно этимъ сочувствіемъ разочарованности и скептицизму Раевскаго-Онѣгина и смягчается тотъ сатирическій элементъ, который мы находимъ въ изображеніи этого типа. И у насъ само собою, въ послѣднемъ итогѣ, осѣдаетъ впечатлѣніе, которое можно выразить такъ: хотя и жизнь, и хандра Онѣгина и „Онѣгиныхъ" конца 20-хъ годовъ были пусты и не свидѣтельствовали о большой содержательности души, но все-таки разочарованность, апатія, „озлобленность" этихъ людей имѣли свое оправданіе,

---

[1]) В. В. Сиповскій (указ. статья, „Русск. Стар." 1899 г. апр. стр. 568) приводитъ варіантъ къ этой строфѣ, сопоставляя его съ черновыми набросками „Демона". Сходство настлоько велико, что не остается никакого сомнѣнія: въ этомъ мѣстѣ, говоря объ Онѣгинѣ, поэтъ вспоминалъ А. Н. Раевскаго. Вотъ образчики:

Чернов. наброски „Демона".	Варіанты изъ XLV строфѣ 1-й главы Онѣгина.
. . . .	. . . .
Мое спокойное незнаніе	. . . .
Страстями возмущалъ,	Онъ сочеталъ меня невольно

свое психологическое обоснованіе и не были однимъ сплошнымъ ломаніемъ, одною лишь „красивою позою“. За „позою“ скрывался дѣйствительно особый „*недугъ*“, *причины* котораго были довольно сложны (на нихъ указалъ съ обычнымъ остроуміемъ проф. *Ключевскій* въ блестящей статьѣ „Предки Евг. Онѣгина“, „Русск. Мысль“, 1887 г., февр.), а *симптомы*—довольно разнообразны и психологически значительны: они проявлялись и въ сферѣ умственной, и нравственной, и волевой. Мы остановимся здѣсь на одномъ изъ нихъ, именно на томъ, о которомъ я уже упомянулъ выше: *Онѣгинъ оказывается какимъ-то неудачникомъ въ жизни.*

3.

Неудачники бываютъ разные. Здѣсь я имѣю въ виду тѣхъ, о которыхъ можно сказать, что имъ по чему бы то ни было не удалось *осуществить свою общественную стоимость.*—Понятіе „общественной стоимости“ человѣка я старался установить въ книжкѣ „Н. В. Гоголь“

И я его существованье
Съ своимъ невиннымъ сочеталъ.
Я видѣлъ міръ его глазами...
. . . .
. . . .
. . . .
Непостижимое волненіе
Меня къ лукавому влекло...
. . . .
Я сталъ взирать его глазами,
Мнѣ жизни дался бѣдный кладъ...

Своей таинственной судьбѣ;
Я сталъ взирать его очами...
. . . .
. . . .
. . . .
Я неописанную сладость
Въ его бесѣдахъ находилъ,
Я сталъ взирать его очами;
Открылъ я жизни бѣдной кладъ...

(гл. III). Не буду повторять здѣсь того, что сказано тамъ, и только приложу эти понятія „общественной стоимости" и ея утраты или неосуществленія къ герою перваго у насъ „соціальнаго романа".

Человѣкъ съ умомъ, съ нѣкоторыми хорошими задатками, съ пониманіемъ вещей, Онѣгинъ, казалось бы, легко могъ найти свое мѣсто въ жизни, свое дѣло, тѣмъ болѣе, что онъ принадлежалъ къ тому классу, которому были открыты разныя поприща дѣятельности. Къ тому же и время было (въ первой половинѣ 20-хъ годовъ) вовсе не глухое, напротивъ—очень оживленное, и дѣла было много. Для мыслящихъ и энергичныхъ людей, одушевленныхъ идеею общаго блага, было къ чему приложить свои душевныя силы, несмотря на препятствія, которыя создавались Аракчеевской реакціей. Читая мемуары и письма дѣятелей той эпохи, мы поражаемся контрастомъ между растущею реакціею и растущимъ движеніемъ умовъ. Въ противоположность тому, что являетъ намъ послѣдующая исторія нашихъ общественныхъ движеній, тогда реакція не дѣйствовала на умы угнетающимъ образомъ. Мы не видимъ того упадка духа, того хроническаго состоянія испуга, подавленности и приниженности душевныхъ силъ, которымъ обычно означались позже періоды усиленной реакціи [1]).

Широко разлившееся движеніе создавало почву, на которой сравнительно легко осуществлялась „общественная стоимость" всякаго неглупаго и неотсталаго человѣка, который хотѣлъ бы бросить праздное и безцѣльное существованіе и почувствовать себя дѣятелемъ жизни, гражданиномъ, ощутить свою психологическую связь съ цѣлымъ,

---

[1]) **„Въ это время свободное выраженіе мыслей было принадлежностью не только всякаго порядочнаго человѣка, но и всякаго, кто хотѣлъ казаться порядочнымъ человѣкомъ" („Записки" И. Д. Якушкина, стр. 70).**

какъ онъ понималъ это цѣлое. Для этого не было даже необходимости непремѣнно сдѣлаться членомъ „Союза благоденствія" или масонскихъ ложъ и тайныхъ обществъ. Можно было найти себѣ удовлетворяющее дѣло и на такъ называемой „легальной почвѣ". Извѣстно, что нѣкоторые изъ „декабристовъ", кромѣ своей тайной дѣятельности, работали въ духѣ своихъ идей и открыто, напр., по важнѣйшему, очередному тогда вопросу объ улучшеніи положенія крестьянъ и по подготовкѣ отмѣны крѣпостного права [1]). Литература, очень оживившаяся въ ту пору, вопросы просвѣщенія, распространеніе гуманныхъ идей, борьба съ общественнымъ обскурантизмомъ—все это призывало людей мыслящихъ и отзывчивыхъ къ усиленной дѣятельности, вовсе не запретной, и сулило ту долю душевнаго удовлетворенія, которая зачастую могла сойти за осуществленіе общественной стоимости. Волна общественнаго возбужденія захватывала тогда не только Чацкихъ, которыхъ было много, но и Онѣгиныхъ, страдавшихъ недугомъ душевной усталости или, по выраженію Пушкина, „преждевременной старости души".

И вотъ оказывается, что, несмотря на все это, находились люди, которые во цвѣтѣ лѣтъ и силъ умудрялись „разочаровываться" и опускать руки—до срока, до того времени, когда въ самомъ дѣлѣ осуществленіе „общественной стоимости" или хотя бы ея иллюзія оказались для нихъ невозможными.

---

[1]) Такова была дѣятельность Н. И. Тургенева, которому посвященъ прекрасный этюдъ г. А. Корнилова въ „Мірѣ Божьемъ" (1903 г., іюнь—августъ).—И. Д. Якушкинъ упоминаетъ о Левашевѣ и Тютчевѣ, которые „не были членами тайнаго общества, но дѣйствовали совершенно въ его смыслѣ", и говоритъ, что „такихъ людей было тогда много". Ихъ дѣятельность состояла въ распространеніи просвѣщенія, улучшеніи быта крестьянъ, благотворительности. Такъ, „Левашевы жили уединенно въ деревнѣ, занимались воспитаніемъ своихъ дѣтей и улучшеніемъ быта своихъ крестьянъ, входя въ положеніе каждаго изъ нихъ... У нихъ были заведены училища, по порядку взаимнаго обученія" („Записки", 62). Тамъ же (стр. 64) любопытныя свѣдѣнія о такой же дѣятельности Пассека.

Присматриваясь ближе къ той оживленной эпохѣ, мы уже встрѣчаемъ признаки или отдѣльныя проявленія намѣчающейся душевной усталости, иногда дряблости, скороспѣлой разочарованности—вообще той психической неустойчивости, которою русскій человѣкъ надѣленъ, повидимому, отъ природы или отъ прошлой исторіи, и отъ которой онъ можетъ со временемъ излечиться только оздоровляющимъ дѣйствіемъ дальнѣйшей—болѣе здоровой—исторіи. Эти симптомы обнаруживались спорадически—въ мелочахъ, въ настроеніи отдѣльныхъ лицъ, въ неумѣніи справиться съ внутренними противорѣчіями, въ модной байронической разочарованности, въ напускномъ презрѣніи къ людямъ, въ поискахъ сильныхъ впечатлѣній. Пушкинъ съ необыкновенною прозорливостью отмѣтилъ эти черты еще на зарѣ своей поэтической дѣятельности, въ „Кавказскомъ плѣнникѣ", и не только отмѣтилъ, но уже задумался надъ этимъ явленіемъ, какъ надъ какою-то общественно-психологическою болѣзнью. Въ томъ же 1821 году, къ которому относится „Кавказскій плѣнникъ", поэтъ писалъ В. П. Горчакову: „Я въ немъ (въ „Кавказскомъ плѣнникѣ") хотѣлъ изобразить равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи 19-го вѣка".—Въ юношеской романтической поэмѣ эта задача была выполнена далеко не удовлетворительно [1]). Вскорѣ въ реальномъ романѣ Пушкинъ далъ ей иную, лучшую постановку и создалъ безсмертный типъ преждевременно состарившагося

[1]) В. В. Сиповскій въ очеркѣ „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ" (С.-Петерб., 1899 г.) показалъ, что въ то время (начало 20-хъ годовъ) Пушкинъ былъ подъ особо сильнымъ вліяніемъ Шатобріана, и что именно въ „Кавк. Плѣнникѣ" это вліяніе сказалось очень ярко. Разумѣется, подражаніе иностранному образцу не исключаетъ одновременнаго воздѣйствія на мысль поэта впечатлѣній русской дѣйствительности. „Идея" „Плѣнника" взята изъ жизни, но обработана подражательно.

душою „умнаго и вовсе не отсталаго“ русскаго человѣка, который именно по причинѣ этой „душевной старости“ и является неудачникомъ, потерявшимъ и смыслъ, и вкусъ жизни.

Передъ нами—психологическое явленіе, довольно сложное и своеобразное. Присмотримся къ нему ближе.

Оно ограничено (въ той формѣ, въ какой представляетъ его типъ Онѣгина) извѣстными предѣлами времени и класса. „Преждевременная старость души“, о которой говоритъ Пушкинъ, обнаруживалась въ 10-хъ и 20-хъ годахъ XIX вѣка въ молодомъ поколѣніи высшаго общества, дворянства. Пресыщеніе праздною и распутною жизнью, о чемъ мы упомянули выше, было лишь однимъ изъ ближайшихъ условій „преждевременной старости души“, и весьма вѣроятно, что послѣдняя имѣла бы мѣсто и безъ этого условія; дѣло не въ этихъ „ошибкахъ молодости“, и вопросъ, насъ занимающій, относится не къ области нравовъ, а къ психологіи класса, и гласитъ такъ: какъ велики были душевныя силы, умственныя и моральныя, въ томъ классѣ, который самою исторіею былъ поставленъ тогда лицомъ къ лицу съ задачами европейскаго просвѣщенія и съ вопросами, подымавшимися самою русскою жизнью?

На этотъ вопросъ можно безъ большой погрѣшности отвѣтить анализомъ типа Онѣгина. Ибо въ этомъ типѣ и суммированы имѣвшіяся тогда въ наличности въ высшемъ „сословіи“ душевныя силы. Правда, были дѣятели во всѣхъ отношеніяхъ гораздо выше Онѣгина, но, во-первыхъ, они составляли меньшинство, а во-вторыхъ, умственный и нравственный „капиталъ“, представляемый ими, былъ, по обстоятельствамъ, издержанъ прежде, чѣмъ могъ принести положительную прибыль—въ размѣрѣ, соотвѣтственномъ его величинѣ. Говоря такъ, мы имѣемъ въ виду главнымъ образомъ декабристовъ, которыхъ дѣятельность продолжалась всего какихъ-нибудь восемь лѣтъ (отъ основанія „Союза

спасенія" въ февралѣ 1817 года и до катастрофы 14 декабря 1825 г.). Вообще, для сужденія объ умственномъ и нравственномъ содержаніи общества нужно брать среднихъ людей, тѣхъ самыхъ, что̀ обыкновенно и воплощаются въ художественныхъ типахъ.

Александръ Бестужевъ (въ вышецитированной статьѣ) жалуется на то, что „мы слишкомъ безстрастны и слишкомъ лѣнивы", и говоритъ, что, правда, „мы начинаемъ чувствовать и мыслить, но—ощупью". Эта фраза не отнесена у него къ Онѣгину, но эти „мы", о которыхъ онъ говоритъ, и были обобщены Пушкинымъ въ типичномъ образѣ Онѣгина.

„Безстрастный и лѣнивый", т.-е. не обладающій тою энергіею мысли и чувства, какая необходима человѣку для осуществленія его общественной стоимости, Онѣгинъ, начавъ „мыслить и чувствовать ощупью", не извѣдалъ того душевнаго подъема, о которомъ вспоминаетъ въ своихъ „Запискахъ" одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей эпохи, близкій другъ Пушкина, Ив. Ив. Пущинъ, когда онъ сблизился съ „мыслящимъ кругомъ", гдѣ велись „постоянныя бесѣды о предметахъ общественныхъ". Передъ нимъ открылась „высокая цѣль жизни". „Я какъ будто вдругъ получилъ,—разсказываетъ онъ,—особенное значеніе въ собственныхъ глазахъ; сталъ внимательнѣе смотрѣть на жизнь, во всѣхъ проявленіяхъ буйной молодости наблюдалъ за собой, какъ за частицей, хотя ничего не значащей, но входящей въ составъ того цѣлаго, которое рано или поздно должно было имѣть благотворное свое дѣйствіе" [1]). Въ этихъ словахъ выражено то оздоровляющее дѣйствіе на психику человѣка, какое всегда оказываетъ осуществленіе общественной стоимости; человѣкъ чувствуетъ и сознаетъ, что онъ—уже не нуль, а единица, органически связанная съ цѣлымъ, съ

---

[1]) Цитирую по книгѣ А. Н. Пыпина „Общественное движеніе при Александрѣ I" (1871 г., стр. 399).

ближайшимъ кругомъ мыслящихъ людей, а черезъ этотъ кругъ—и съ тѣмъ огромнымъ цѣлымъ, которое называется отечествомъ. Вотъ именно такой связи и не было у Онѣгина, хотя онъ, человѣкъ „умный и не отсталый", легко могъ бы имѣть ее. Во избѣжаніе недоразумѣній, поясню, что я имѣю здѣсь въ виду чисто психологическую сторону дѣла, и съ этою цѣлью приведу еще одно свидѣтельство современника. „Было бы большой ошибкой предполагать, что въ этихъ тайныхъ собраніяхъ [1]) занимались только заговорами: здѣсь вовсе ими не занимались... Начинали обыкновенно тѣмъ, что жаловались на безсиліе общества предпринимать что-нибудь серьезное. Потомъ разговоръ переходилъ на политику вообще, на положеніе Россіи, на неустройства, ее отягощавшія, на злоупотребленія, которыя ее истощали, на ея будущее... Здѣсь обсуждались европейскія событія и съ радостью привѣтствовались успѣхи цивилизованныхъ странъ на пути къ свободѣ. Если я когда-нибудь жилъ жизнью существъ, сознающихъ свое назначеніе и желающихъ его исполнить, то это въ особенности было въ эти рѣдкія минуты бесѣды съ людьми, которыхъ я видѣлъ одушевленными разумнымъ и безкорыстнымъ энтузіазмомъ къ счастію имъ подобныхъ". Это свидѣтельство принадлежитъ Н. И. Тургеневу, одному изъ самыхъ выдающихся дѣятелей эпохи [2]).

Безъ всякаго сомнѣнія, въ такихъ кругахъ мыслящихъ людей было немало Онѣгиныхъ, бѣда которыхъ состояла въ томъ, что они не умѣли найти себѣ подходящаго дѣла—по силамъ и способностямъ, и, не обладая достаточною душевною энергіею, не были (говоря словами Н. И. Тургенева) „одушевлены разумнымъ и безкорыстнымъ энтузіазмомъ къ счастію имъ подобныхъ".

---

[1]) Въ кругахъ мыслящихъ людей, о которыхъ говоритъ Пущинъ.

[2]) Цитирую по книгѣ А. Н. Пыпина „Общ. движ. при Александрѣ I" (1871), стр. 401.

Неумѣніе Онѣгина живо заинтересоваться дѣломъ, которое, казалось бы, могло дать хотя нѣкоторое удовлетвореніе, очерчено въ романѣ съ достаточною рельефностью, въ особенности въ томъ мѣстѣ, гдѣ описывается его жизнь въ деревнѣ:

Два дня ему казались новы
Уединенныя поля и т. д.

Но—

На третій роща, холмъ и поле
Его не занимали болѣ;
Потомъ ужъ наводили сонъ;
Потомъ увидѣлъ ясно онъ,
Что и въ деревнѣ скука та же...

Однако же, если гдѣ-либо въ то время, то именно въ деревнѣ и предстояло мыслящимъ и дѣятельнымъ людямъ живое и благое дѣло—по крестьянскому вопросу. Надо отдать справедливость Онѣгину: онъ не обошелъ этого вопроса:

Въ своей глуши мудрецъ пустынный
Яремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнилъ;
И рабъ судьбу благословилъ...

Это было не очень много, но все-таки было добрымъ и идейнымъ дѣломъ. При этомъ надо имѣть въ виду, что дальше того, что сдѣлалъ для своихъ крестьянъ Онѣгинъ, шли тогда весьма немногіе. Извѣстно, что самое больное мѣсто тогдашней Россіи, крѣпостное право, занимало въ мысляхъ и стремленіяхъ передовыхъ людей 20-хъ годовъ непропорціонально малое мѣсто [1]). Далеко не всѣ они по-

---

[1]) Н. И. Тургенева „печально поражало, что при всѣхъ благихъ намѣреніяхъ не было (въ проектѣ „общества", сообщенномъ ему кн. Трубецкимъ) вовсе рѣчи объ уничтоженіи крѣпостного права". (Пыпинъ,

нимали, что, пока существуетъ крѣпостное право, нельзя сдѣлать ни одного шага впередъ въ развитіи русской гражданственности. А изъ тѣхъ, которые это понимали, лишь немногіе доработались до простой мысли, что освобожденіе крестьянъ должно непремѣнно сопровождаться обезпеченіемъ ихъ достаточнымъ надѣломъ. Даже такой выдающійся умъ и такой спеціалистъ въ вопросахъ экономическихъ и общественныхъ, какъ Н. И. Тургеневъ, предлагалъ безземельное освобожденіе (позже онъ стоялъ за надѣлъ, но— почти нищенскій) [1]. Якушкинъ въ своихъ „Запискахъ" наивно разсказываетъ, какъ онъ хотѣлъ отпустить своихъ крестьянъ на волю, только безъ земли, и какъ его удивило нежеланіе послѣднихъ получить свободу при такихъ условіяхъ. „Ну такъ, батюшка, оставайся все по-старому: мы— ваши, а земля—наша", говорили они ему, и онъ никакъ не могъ взять этого въ толкъ [2].

Итакъ, Онѣгинъ въ своихъ отношеніяхъ къ крестьянамъ не уступалъ многимъ передовымъ людямъ эпохи и подлежитъ упреку не въ томъ, что сдѣлалъ мало, а скорѣе въ томъ, что это малое онъ сдѣлалъ какъ-то по-барски, больше для „очистки совѣсти" и не сумѣлъ заинтересоваться крестьянскимъ вопросомъ, какъ насущнымъ и очереднымъ вопросомъ времени. Впрочемъ, и этотъ упрекъ относится не

„Обществ. движеніе при Александрѣ I", стр. 400). Н. И. Тургеневъ тотчасъ возымѣлъ мысль привлечь вниманіе общества на крестьянскій вопросъ. Я (разсказываетъ онъ) немедленно сказалъ это своему собесѣднику (кн. Трубецкому) и, убѣдившись изъ его словъ, что онъ и его друзья одушевлены самыми лучшими намѣреніями относительно несчастныхъ крестьянъ, я почувствовалъ, что въ мою душу проникаетъ сладкая надежда, что подвинется впередъ дѣло, составлявшее постоянный предметъ моихъ мыслей". Тамъ же, стр. 400—401).

[1]) См. А. Корниловъ, „Н. И. Тургеневъ" („Міръ Божій", 1903, авг., стр. 51—52).

[2]) Записки Ив. Дм. Якушкина, стр. 35.



столько къ нему лично, сколько ко всѣмъ „Онѣгинымъ" того времени, а также и ко многимъ другимъ, стоявшимъ выше „Онѣгинскаго" уровня.

Не находя себѣ дѣла по душѣ, не обладая тѣмъ даромъ „энтузіазма", который далъ бы ему возможность найти нѣкоторое душевное удовлетвореніе въ кругахъ мыслящихъ людей, наконецъ—не умѣя даже устроить свое личное счастье, Онѣгинъ скоро почувствовалъ себя „лишнимъ человѣкомъ". Недугъ „русской хандры" оказался неизлечимымъ. „Общественная стоимость" этого скитальца оставалась неосуществленною, и не было надежды на возможность ея осуществленія.

Тоска душевнаго одиночества преслѣдуетъ Онѣгина всюду. На Кавказскихъ „группахъ" онъ предается такимъ размышленіямъ:

Зачѣмъ я пулей въ грудь не раненъ?
Зачѣмъ не хилый я старикъ,
Какъ этотъ блѣдный откупщикъ?
Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма?—Ахъ, Создатель,
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка;
Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска...

Убѣгая отъ тоски, онъ ищетъ не столько новыхъ впечатлѣній, которыя всѣ пріѣлись, сколько хоть какой-нибудь пищи уму, и порою поддается иллюзіи—найти эту пищу въ усвоеніи извѣстныхъ идей или идеаловъ. Намекъ на это сдѣланъ въ черновыхъ набросках путешествія Онѣгина, гдѣ между прочимъ говорится о томъ, какъ онъ чуть-было не сдѣлался (отъ скуки!) „патріотомъ" и „націоналистомъ":

Наскуча... Мельмотомъ
Иль маской щеголять иной,

Проснулся разъ онъ патріотомъ
Въ Hôtel de Londres, что на Морской.
Россія!.. Русь!.. мгновенно
Ему понравилась отмѣнно,
И рѣшено—ужъ онъ влюбленъ!
Россіей только бредитъ онъ!
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея логической (душой),
Съ ея разумной суетой...

Ироническій тонъ этого наброска показываетъ, какъ непрочно и несерьезно было это патріотическое настроеніе Онѣгина. Онъ могъ, ни съ того, ни съ сего, вдругъ „взять"— да и сдѣлаться „патріотомъ" и возненавидѣть Европу, какъ могъ, напротивъ, еще болѣе пристраститься къ Европѣ и въ одинъ прекрасный день перейти въ католицизмъ и даже стать іезуитомъ, какъ это сдѣлалъ позже профессоръ московскаго университета Печоринъ. Примѣры быстрой, немотивированной перемѣны воззрѣній тогда бывали именно въ томъ кругу, къ которому принадлежалъ Онѣгинъ. Они свидѣтельствовали объ инстинктивномъ стремленіи найти хоть какую-нибудь пищу праздному уму и хоть какое-нибудь упражненіе вялому чувству. Извѣстныя идеи и даже міросозерцанія усвоивались—отъ скуки, отъ душевной праздности. Это явленіе типично для той эпохи и того класса, къ которому принадлежалъ Онѣгинъ. Къ концу 30-хъ годовъ оно исчезло, и слагавшіяся тогда воззрѣнія (западническое и славянофильское) вырабатывались сравнительно медленно, въ глубокимъ раздумьи, въ серьезныхъ занятіяхъ, въ горячихъ спорахъ, и не Онѣгиными, а умами и натурами иного склада и закала, для которыхъ Онѣгинъ уже не былъ типиченъ, хотя потомъ эти дѣятели („люди 40-хъ годовъ") и оказались въ положеніи, напоминавшемъ положеніе Онѣгина. Поскольку они чувствовали себя „лишними", постольку и Онѣгинъ, „человѣкъ лишній"

по преимуществу, является ихъ ближайшимъ „родичемъ", ихъ прямымъ предшественникомъ.

4.

Появленіе „лишнихъ людей" въ странѣ, которой такъ нужны неглупые, образованные и порядочные люди, можетъ показаться на первый взглядъ страннымъ, даже загадочнымъ. И первое, что готово прійти въ голову наблюдателю, это—свалить всю вину на внѣшнія препятствія, на неблагопріятныя условія, тормозившія какъ общественную дѣятельность, такъ и личную иниціативу. Эти неблагопріятныя условія, особливо въ то глухое, дореформенное время, имѣли, конечно, большое значеніе. Но бѣда въ томъ, что, хорошо объясняя Чацкихъ, они плохо объясняютъ Онѣгиныхъ, „лишнихъ людей". Все, что могутъ дать они для истолкованія этихъ послѣднихъ, сводится къ указанію на то разслабляющее и угнетающее дѣйствіе, какое тяжелая атмосфера реакціи оказываетъ на плохо организованную, неустойчивую психику „лишняго человѣка". Эта атмосфера дѣлаетъ его еще болѣе лишнимъ, но она не создаетъ его.

„Лишняго человѣка" создаетъ совмѣстное дѣйствіе двухъ факторовъ, которые могутъ быть налицо гдѣ угодно и при весьма различныхъ условіяхъ общественной жизни. Одинъ— это плохая психическая организація человѣка, наслѣдственная или благопріобрѣтенная, выражающаяся въ недостаткѣ душевной энергіи, въ вялости чувства и мысли, въ неспособности къ упорному и правильному труду, въ отсутствіи иниціативы. Это мы и видимъ въ Онѣгинѣ. Второй факторъ—это умственный, идейный и моральный разладъ между личностью и сре-

дой. И это мы находимъ въ Онѣгинѣ, который отъ своихъ отсталъ, а къ другому кругу, къ широкой средѣ, темной и патріархально-невѣжественной, пристать, разумѣется, не могъ. Вспомнимъ его жизнь въ деревенской глуши, гдѣ только въ спорахъ съ юнымъ Ленскимъ онъ и могъ отвести душу. Онѣгины въ тогдашнемъ обществѣ, какъ провинціальномъ, такъ и столичномъ, были, повидимому, болѣе одинокими и „чужими", чѣмъ позже—Печорины и еще позже—Рудины.

Иногда бывало достаточно одного изъ указанныхъ факторовъ для того, чтобы человѣкъ сталъ „лишнимъ". Но для созданія въ жизни цѣлаго типа „лишнихъ людей", очевидно, необходимо совмѣстное дѣйствіе обоихъ. Человѣкъ съ плохою психическою организаціею, вяло чувствующій, лишенный энергіи мысли и иниціативы, тѣмъ не менѣе не окажется лишнимъ, если у него нѣтъ разлада со средою, по крайней мѣрѣ — ближайшею: въ ней онъ найдетъ опору, нравственную и иную поддержку. Съ другой стороны, человѣкъ, обладающій большою душевною энергіей, найдетъ возможность жить осмысленною жизнью даже при полномъ разладѣ съ окружающею средою. Онъ, конечно, будетъ чувствовать тяготу одиночества, но, дѣлая свое дѣло и находя въ немъ извѣстное удовлетвореніе, онъ не признаетъ себя лишнимъ или же сумѣетъ отыскать себѣ другую, болѣе подходящую среду.

Еще одно существенное поясненіе. „Лишніе люди"—явленіе соціально-патологическое, и, какъ таковое, оно, повидимому, заключаетъ въ себѣ также элементъ психо-патологическій, который въ однихъ случаяхъ можетъ сводиться къ минимуму и быть едва замѣтнымъ, въ другихъ же можетъ выражаться болѣе или менѣе ярко. Если имѣть въ виду только эту—психо-патологическую—сторону занимающаго насъ явленія, то „лишнихъ людей" окажется очень много. Но вся эта масса дегенерантовъ, психо-

патовъ, неуравновѣшенныхъ и т. д., не имѣющихъ общественной стоимости, или неспособныхъ осуществить ее, не можетъ быть подведена цѣликомъ подъ тѣ художественные типы „лишнихъ людей“, литературную исторію которыхъ мы здѣсь изучаемъ. Въ этихъ типахъ выдвинута впередъ не психопатологическая, а *общественная* сторона явленія, такъ что вполнѣ возможно представить себѣ въ видѣ Онѣгина или Печорина человѣка совершенно нормальнаго, въ которомъ психіатръ не откроетъ никакихъ признаковъ дегенераціи или душевной неуравновѣшенности. И, тѣмъ не менѣе, я утверждаю, что для надлежащаго пониманія занимающихъ насъ типовъ, для болѣе глубокаго проникновенія въ природу явленія, въ нихъ изображеннаго, необходимо имѣть въ виду также и психо-патологическую сторону его. Мы, разумѣется, не будемъ подводить подъ образы Онѣгина, Печорина и пр., какъ „лишнихъ людей“, всѣхъ этихъ дегенерантовъ, психопатовъ и т. д., но мы будемъ помнить, что послѣдніе существовали и существуютъ, и что въ нихъ психологическій діагнозъ можетъ указать рядъ чертъ, живо напоминающихъ и, пожалуй, объясняющихъ многое въ психологіи Онѣгиныхъ, Печориныхъ и другихъ.

Мы знаемъ, что реальные и художественные образы, къ числу которыхъ принадлежатъ и разсматриваемые типы „лишнихъ людей“, возникаютъ изъ соотвѣтственныхъ образовъ обыденнаго мышленія. Доискиваясь этихъ послѣднихъ (у самихъ поэтовъ, у критиковъ, у читателей), мы имѣемъ возможность видѣть, какъ современники судили о данныхъ явленіяхъ или сторонахъ жизни, отразившихся въ образахъ обыденнаго и высшаго художественнаго мышленія. Теперь, указывая на соціально-патологическій характеръ лишнихъ людей и на присутствіе въ нихъ элемента психо-патологическаго, мы хотѣли бы уяснить себѣ, въ какой мѣрѣ и насколько осмысленно тотъ и другой были въ свое время отмѣчены и поняты какъ самими поэтами, такъ и критиками.

Этотъ вопросъ мы постараемся освѣтить въ слѣдующей главѣ, гдѣ сопоставимъ типъ Онѣгина съ типомъ Печорина и вмѣстѣ съ тѣмъ разсмотримъ ихъ истолкованіе въ критикѣ Бѣлинскаго, которая, какъ извѣстно, была отраженіемъ и переработкою мнѣній цѣлаго круга мыслящихъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ.

ГЛАВА V.

Печоринъ.

1.

Печоринъ Лермонтова не только хронологически, но и въ отношенiи общественно-психологическомъ,—прямой и ближайшiй преемникъ Онѣгина. Этому преемству нисколько не мѣшаетъ то, что по натурѣ, по характеру и темпераменту, это—люди совершенно различные. Онѣгинъ—холоденъ, безстрастенъ, апатиченъ. Печоринъ—человѣкъ „съ темпераментомъ", съ кипучими страстями, съ душевной энергiей. У Онѣгина замѣчается недостатокъ силы и воли,—Печоринъ, напротивъ, одаренъ незаурядною волею. Онѣгинъ не умѣетъ, да и не желаетъ покорять умы и сердца („романы" въ счетъ не идутъ), подчинять себѣ волю другихъ; у Печорина это—главная страсть, и онъ съ большимъ искусствомъ, какъ виртуозъ, играетъ на струнахъ души человѣческой (и не только женской). Онъ умѣетъ и любитъ властвовать. Эти и другiя различiя между двумя героями были указаны неоднократно; но рѣшительнѣе другихъ настаиваетъ на этомъ Н. А. Котляревскiй въ своей прекрасной книгѣ о Лермонтовѣ [1]). Онъ приходитъ къ выводу, что Печоринъ

[1]) „М. Ю. Лермонтовъ" (С.-Петерб., 1891), стр. 210—211.

„не былъ Онѣгинымъ своего времени", въ противность взглядамъ Бѣлинскаго, который въ своей извѣстной большой статьѣ о „Героѣ нашего времени" прямо говоритъ о Печоринѣ: „Это Онѣгинъ нашего времени... Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онѣгою и Печорою" („Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго", изд. С. А. Венгерова, 1901, т. V, стр. 367).

И въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ и Печоринъ—люди разные, но они принадлежатъ къ одному и тому же общественно-психологическму типу. Это—типъ неудачника и лишняго человѣка. Ихъ индивидуальныя различія только ярче оттѣняютъ ихъ общественно-психологическое родство. Сопоставляя ихъ въ этомъ отношеніи, мы убѣждаемся въ томъ, что въ самомъ дѣлѣ жизнь вырабатывала особый соціально-психологическій типъ безпокойно-мечущагося человѣка, чувствующаго себя лишнимъ, не находящаго своего мѣста и назначенія, и подъ этотъ типъ подходили весьма различные, даже противоположные характеры и натуры.

Эти люди не могли осуществить своей „общественной стоимости", потому что со средою своего круга они не уживались, а другой среды найти не умѣли; они также не располагали тѣмъ душевнымъ содержаніемъ, которое давало бы имъ возможность выносить тяготу душевнаго одиночества.

Вотъ послушаемъ, что говоритъ о себѣ Печоринъ Максиму Максимовичу (кстати, это одна изъ самыхъ „искреннихъ" страницъ романа): „Въ первой моей молодости, съ той минуты, когда я вышелъ изъ опеки родныхъ, я сталъ наслаждаться бѣшено всѣми удовольствіями, которыя можно достать за деньги, и, разумѣется, эти удовольствія мнѣ опротивѣли..."—Такъ было и съ Онѣгинымъ.—„Потомъ пустился я въ большой свѣтъ, и скоро общество мнѣ также надоѣло; влюблялся въ свѣтскихъ красавицъ и былъ лю-

бимъ; но ихъ любовь только раздражала мое воображеніе и самолюбіе, а сердце осталось пусто".—И это испыталъ и пережилъ Онѣгинъ.—„Я сталъ читать, учиться—науки также надоѣли",—какъ и Онѣгину.—Параллель до этихъ поръ—полная. Но дальше обнаруживается различіе, легко объясняемое несходствомъ натуръ героевъ.—„Я видѣлъ, продолжаетъ Печоринъ, „что ни слава, ни счастье отъ нихъ (наукъ) не зависятъ нисколько, потому что самые счастливые люди—невѣжды, а слава—удача, и чтобъ добиться ея, надо только быть ловкимъ. Тогда мнѣ стало скучно..."—Скучно стало и Онѣгину, но онъ не добивался славы и даже не искалъ счастья. Чего хотѣлъ и искалъ онъ—это только хоть какого-нибудь дѣла по душѣ и по силамъ. Сперва онъ принялся было писать „но трудъ упорный ему былъ тошенъ; ничего не вышло изъ пера его..."; ни откуда не видно, чтобы онъ мечталъ о „славѣ" писателя. Потомъ онъ углубился въ книги—„съ похвальною цѣлью себѣ присвоить умъ чужой"—и вовсе не гоняясь за какой-то славой. Вообще Онѣгинъ—не честолюбецъ. Здѣсь мы видимъ одно изъ существенныхъ—индивидуальныхъ различій между двумя героями: Печоринъ, въ противоположность Онѣгину, одержимъ бѣсомъ честолюбія и властолюбія. Въ отношеніи къ вопросу объ осуществленіи общественной стоимости эта особенность Печорина даетъ ему несомнѣнное преимущество передъ Онѣгинымъ: у него есть импульсъ, побуждающій стремиться къ осуществленію своей общественной стоимости, а также становится возможной прямая цѣль жизни, внушаемая все тѣмъ же честолюбіемъ. Разъ это есть,—нетрудно ему, казалось бы, найти и соотвѣтственное поприще, на которомъ онъ могъ бы достичь многаго такого, что, насыщая честолюбіе и властолюбіе, такъ или иначе скрасило бы его жизнь. И въ самомъ дѣлѣ, Печоринъ честолюбивъ, жаждетъ успѣховъ, славы, дѣятельности; при этомъ отнюдь нельзя сказать, что у него охота

смертная, да участь горькая,--напротивъ, онъ уменъ, хитеръ, весьма способенъ къ интригѣ, неразборчивъ на средства, смѣлъ, сдержанъ, умѣетъ управлять собою и пользоваться другими для достиженія своихъ цѣлей,—чего больше? Съ такими ресурсами онъ могъ бы весьма и весьма преуспѣть въ жизни... Служа на Кавказѣ, онъ легко нашелъ бы все, чего жаждетъ его душа,—и сильныя впечатлѣнія, и упражненія всѣхъ своихъ способностей, и „славу", и даже „власть". Пожалуй, возразятъ, что онъ вовсе не гонится за успѣхами по службѣ, что онъ выше этой „прозы", и его „демоническая" душа жаждетъ иной дѣятельности, иной славы. Но, спрашивается—какой же? Мы не знаемъ, да и самъ онъ не знаетъ. Несомнѣнно только, что къ служебнымъ отличіямъ, къ чинамъ и орденамъ онъ вполнѣ равнодушенъ и что вообще онъ не въ состояніи найти себѣ подходящую дѣятельность на какомъ бы то ни было официальномъ поприщѣ, ни на Кавказѣ, ни въ Петербургѣ. На этомъ пунктѣ онъ опять сближается съ Онѣгинымъ. Въ эпоху, когда общественной дѣятельности въ собственномъ смыслѣ не существовало, а была только „служба", уже являлись люди, для службы непригодные, но зато имѣвшіе извѣстные задатки для общественной дѣятельности. И въ этомъ—и интересъ, и трагизмъ этого типа. За отсутствіемъ подходящаго поприща, за неупражненіемъ, эти задатки не развивались, атрофировались или извращались.

При этомъ необходимо отмѣтить, что непригодность Печорина къ „службѣ", къ карьерѣ вовсе не означаетъ, чтобы у него были какія-либо высшія стремленія или идеалы, чтобы онъ критически и отрицательно относился къ дѣйствительности, къ данному порядку вещей (онъ меньше всего—„идеологъ"). Вмѣсто критики, у него есть только презрѣніе къ людямъ. Ко всякимъ идеямъ и идеаламъ онъ, повидимому, такъ же равнодушенъ, какъ и къ службѣ или карьерѣ.

Не „идейная", не моральная въ тѣсномъ смыслѣ причина, а какая-то другая — чисто-психологическая — дѣлаетъ Печорина непригоднымъ для „службы", карьеры, да и всякой иной дѣятельности, которая бы могла удовлетворить его. Въ немъ, при всѣхъ задаткахъ для успѣховъ въ жизни, бросается въ глаза какое-то душевное безсиліе. Послушаемъ, какъ самъ онъ говоритъ объ этомъ: „во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображеніе безпокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало, къ печали я такъ же легко привыкаю, какъ къ наслажденію, и жизнь моя становится пустѣе день ото дня; мнѣ осталось одно средство: путешествовать..." Опять приходится вспомнить Онѣгина, для котораго также осталось одно—путешествовать, слоняться по свѣту; черта—характерная для всѣхъ нашихъ „лишнихъ людей", въ томъ числѣ и для той разновидности, которая воплощена въ Рудинѣ. Но ни объ Онѣгинѣ, ни о Рудинѣ нельзя сказать, что у нихъ „сердце ненасытное", „воображеніе безпокойное" и т. д. Для характеристики „лишнихъ людей" не важно, какое у нихъ „сердце" и „воображеніе",— важно лишь то, что они, при всевозможныхъ индивидуальныхъ различіяхъ, одинаково не умѣютъ или не могутъ найти себѣ дѣло, хотя бы маленькое, опредѣлить свое призваніе въ жизни, осуществить свою общественную стоимость—и являются неудачниками и вѣчными странниками, снѣдаемыми тоской пустого существованія.

Максимъ Максимовичъ, передавая автору признанія Печорина, заключаетъ вопросомъ: „Скажите-ка, пожалуйста, вы вотъ, кажется, бывали въ столицѣ, и недавно—неужто тамошняя молодежь вся такова?"—На этотъ вопросъ авторъ отвѣчаетъ, что „много есть людей, говорящихъ то же самое, что есть, вѣроятно, и такіе, которые говорятъ правду; что, впрочемъ, разочарованіе, какъ всѣ моды, начавъ съ высшихъ слоевъ, спустилось къ низшимъ, которые его донашиваютъ, и что

нынче тѣ, которые больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучаютъ, стараются скрыть это несчастье, какъ порокъ“ [1]).

Эти слова весьма важны, и отъ нихъ, по моему мнѣнію, и слѣдуетъ исходить при объясненіи психологіи и самого типа Печорина.

2.

Было высказано мнѣніе, что Печоринъ—не вполнѣ реальный типъ, въ томъ смыслѣ, какъ мы называемъ реальными типы Онѣгина, Руднева, Обломова и др. Такъ, Н. А. Котляревскій говоритъ, что „Печоринъ болѣе естественъ и правдоподобенъ, чѣмъ Арбенинъ; но и онъ не можетъ быть названъ образцомъ реальнаго типа, какъ мы теперь такой типъ понимаемъ“ („М. Ю. Лермонтовъ“, стр. 189—190). Даровитый ученый видитъ въ Печоринѣ не столько „реальный типъ“, обобщающій соотвѣтственныя явленія дѣйствительности, сколько воспроизведеніе нѣкоторыхъ сторонъ натуры самого Лермонтова и какъ бы воплощеніе извѣстнаго момента въ душевномъ развитіи великаго поэта. „Лермонтовъ, говоритъ онъ (стр. 206), — далъ намъ въ Печоринѣ не цѣльный типъ, не живой организмъ, носящій въ своемъ настоящемъ зародыши своего будущаго, а очень реально обставленное отраженіе одного момента въ своемъ собственномъ духовномъ развитіи“ [2]). Съ послѣднимъ утвержденіемъ нужно безусловно согласиться: Печоринъ (какъ раньше „Демонъ“, Арбенинъ и др.)—это самъ Лермонтовъ, взятый въ извѣстный моментъ его душевнаго развитія и нѣсколько односторонне освѣщенный, ибо въ Лермонтовѣ, кромѣ „Печоринскихъ“ чертъ, были и другія. Но вотъ въ чемъ во-

---

[1]) Курсивъ мой. „Герой наш. врем.“, „Бэла“.

[2]) Ниже: „Печоринъ былъ скорѣе типомъ единичнымъ, чѣмъ собирательнымъ“ (стр. 209).

просъ: эти черты („Печоринскія") не были ли принадлежностью многихъ,—изображенный „моментъ" не переживался ли тогда многими представителями поколѣнія 30-хъ годовъ, и Лермонтовъ, рисуя съ себя (субъективно), не находилъ ли въ то же время оправданія созданному образцу въ наблюденіяхъ надъ другими людьми? Вышеприведенныя слова Лермонтова, повидимому, указываютъ на это: Печориныхъ было не мало, и если иные изъ нихъ только говорили то, что говоритъ Печоринъ, то были и такіе, которые говорили правду, т.-е. въ самомъ дѣлѣ переживали душевныя состоянія, воспроизведенныя въ Печоринѣ. Однимъ словомъ, были Печорины искренніе и неискренніе, поверхностные и болѣе глубокіе, поддѣльные и настоящіе; была даже мода Печоринской разочарованности, распространенная въ высшемъ классѣ и оттуда переходившая къ „низшимъ". Наконецъ, это былъ родъ не то порока, не то несчастья. И рядомъ съ тѣми, которые охотно выставляли на показъ свою тоску и скуку, были другіе, которые ихъ скрывали. Эти-то послѣдніе „больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучали".

Изъ этого свидѣтельства, кажется, позволительно заключить, что „скука" какъ Лермонтовскаго Печорина, такъ и прочихъ, менѣе „интересныхъ" Печориныхъ, не заключала въ себѣ ничего идейнаго. Въ этомъ отношеніи Онѣгинъ имѣетъ нѣкоторое преимущество передъ Печоринымъ: Онѣгинъ былъ затронутъ передовыми идеями своего времени, хотя и не былъ его „героемъ",—Печорину же совершенно чужды какія бы то ни было идейныя стремленія, онъ—очевидный индифферентистъ, и, со своею безыдейною тоскою, онъ и является характернымъ „героемъ своего времени" или, по выраженію Н. К. Михайловскаго, „героемъ безвременья".

Не заключая въ себѣ ничего идейнаго, разочарованность или скука Печорина однако же представляется настроеніемъ несовсѣмъ банальнымъ. Повидимому, оно довольно сложно

и свидѣтельствуетъ о незаурядности натуры скучающаго „героя". Другой на его мѣстѣ и не сталъ бы скучать и былъ бы совершенно удовлетворенъ и пошло счастливъ.

Въ то глухое, почти безпросвѣтное время, когда критическое отношеніе къ дѣйствительности только начинало вырабатываться въ немногихъ интимныхъ кружкахъ мыслящихъ людей, встрѣчались натуры, отличавшіяся, такъ сказать, органическою, природною неспособностью удовлетворяться пошлою, пустою и тѣсною жизнью. Въ высшемъ обществѣ того времени люди этого рода встрѣчались чаще, чѣмъ въ другихъ слояхъ. Они не имѣли опредѣленныхъ, выработанныхъ убѣжденій, плохо разбирались въ дѣлѣ критической оцѣнки людей и вещей; но, повинуясь какому-то благородному инстинкту, они брезгливо сторонились отъ извѣстныхъ темныхъ сторонъ тогдашней дѣйствительности. Не рѣдкость, напр., было встрѣтить человѣка, который въ своемъ міровоззрѣніи недалеко ушелъ отъ господствующей системы понятій, но Булгарина и Греча ненавидѣлъ и презиралъ всѣми силами души. Натуры этого рода плохо ладили также съ пошлою стороною жизни, томились ея однообразіемъ, жаждали новыхъ, освѣжающихъ впечатлѣній и, не находя ихъ, хандрили и скучали. Однимъ лишь фактомъ своего существованія они представляли живой протестъ противъ тогдашней дѣйствительности, почему представители и „теоретики" этой послѣдней смотрѣли на нихъ косо и подозрительно. Печорины, при всей ихъ безпринципности и бездѣятельности, были „на плохомъ счету". Лучшимъ подтвержденіемъ этого служитъ примѣръ самаго интереснаго изъ всѣхъ тогдашнихъ Печориныхъ—М. Ю. Лермонтова.

Это, въ свою очередь, приводило къ тому, что они привыкали смотрѣть на себя, какъ на людей особенныхъ, незаурядныхъ, рожденныхъ не для пошлой жизни и не для обычной „карьеры". Имъ казалось, что они предназначены были для чего-то высшаго, для какого-то необыкновеннаго

„поприща", о которомъ они, впрочемъ, не имѣли никакого понятія. Печоринъ говоритъ: „Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?.. А вѣрно она существовала, а вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя..." [1]). Это—слишкомъ сильно сказано и приличествуетъ скорѣе самому Лермонтову, чѣмъ Печорину, все преимущество котораго состоитъ только въ томъ, что онъ родился съ незаурядною и не легко опошляемою душою. Тѣмъ не менѣе Печоринъ могъ сказать или подумать это,—и здѣсь нѣтъ основанія упрекнуть Лермонтова въ психологическомъ промахѣ (хотя, кажется, въ данномъ случаѣ онъ имѣлъ въ виду больше себя самого, чѣмъ своего героя). Дѣло въ томъ, что Печоринъ—натура рѣзко-эгоцентрическая. Онъ все относитъ къ себѣ; ему кажется, что все создано для него; онъ не можетъ увлечься чѣмъ бы то ни было такъ, чтобы хоть на мигъ забыть о себѣ. И соотвѣтственно этому, у него чрезмѣрное самомнѣніе. Онъ склоненъ преувеличивать свою душевную значительность. Зная о себѣ, что онъ—человѣкъ незаурядный, не пошлый, не мелкій, онъ уже мнитъ себя какимъ-то „избранникомъ", онъ уже подозрѣваетъ въ себѣ „силы необъятныя" и задумывается надъ вопросомъ о своемъ высокомъ предназначеніи.

Его крайній эгоцентризмъ ярко характеризуется въ другомъ мѣстѣ, гдѣ онъ говоритъ: „Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы..." [2]).

---

[1]) „Княжна Мери".
[2]) Тамъ же. Курсивъ мой.

Такая натура менѣе всего можетъ жить замкнутою жизнью своимъ внутреннимъ міромъ, ей нужна чужая жизнь, чужія горести и радости—какъ „пища", именно для того, чтобы, вмѣшиваясь въ жизнь другихъ, утверждать свою личность, возвеличивать, тѣшить, „кормить" свое „ненасытное" я. Оттуда, между прочимъ, столь извѣстное тяготѣніе этого рода натуръ къ той средѣ, которую онѣ презираютъ, но безъ которой обойтись не могутъ. Печоринъ презираетъ и высмѣиваетъ Грушницкаго, но что бы онъ дѣлалъ безъ Грушницкихъ? Ему необходимы люди, которымъ онъ могъ бы противопоставить себя, какъ нѣкое высшее существо. Но нетрудно видѣть, что такое занятіе и вообще постоянное, интимное сообщеніе съ людьми низшаго порядка, съ пошлою средой невольно втягиваетъ незауряднаго человѣка въ тину мелкой жизни, пустыхъ интригъ, и этотъ человѣкъ, незамѣтно для самого себя, начинаетъ уподобляться тѣмъ, кого презираетъ.

Печоринъ, какъ уже было указано, честолюбивъ и властолюбивъ. Есть намекъ на то, что онъ не могъ найти исхода своимъ честолюбивымъ стремленіямъ на единственно возможномъ тогда поприщѣ—на службѣ: „честолюбіе у меня", говоритъ онъ,—подавлено обстоятельствами..." Но „оно проявилось въ другомъ видѣ": оно нашло себѣ другую арену и другое упражненіе—покорять женскія сердца, внушать людямъ зависть, имѣть „поклонниковъ", вообще „подчинять своей волѣ" другихъ („Кн. Мери"). Это все равно, какъ, за неимѣніемъ работы, упражнять сильные мускулы ненужной гимнастикой и при этомъ гордиться тѣмъ, что вотъ молъ какая у меня сила. Эта подстановка такъ важна въ психологіи Печорина, что даже стала предметомъ его философскихъ соображеній, и онъ выработалъ себѣ такую теорію счастья: „...честолюбіе—не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе—подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувство любви,

преданности и страха—не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права,—не самая ли это сладкая пища для нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость..." („Кн. Мери").

Все это—не одни „слова". Въ романѣ превосходно выдержанъ и, можно сказать, раскрытъ, средствами искусства, этотъ эгоцентрическій характеръ, и мы имѣемъ возможность вникнуть глубже въ его психологію.

3.

Чертами, до сихъ поръ указанными, опредѣляется то что можно назвать „душевною позиціею" человѣка. Подъ этимъ терминомъ я понимаю психологическія отношенія человѣка къ другимъ людямъ, къ средѣ. Всякій изъ насъ имѣетъ свою „душевную позицію". У Печорина она характеризуется эгоцентризмомъ, „ненасытною жадностью" души, честолюбіемъ, теоріей счастья „насыщенной гордости".

Въ этой „позиціи" нельзя не видѣть чего-то ненормальнаго, болѣзненнаго,—пока еще не въ психіатрическомъ смыслѣ, но уже въ смыслѣ общественномъ и моральномъ. Человѣкъ смотритъ на людей, на среду, какъ на средство для возвеличенія своего „я", для „насыщенія своей гордости".

Въ другомъ мѣстѣ (въ этюдѣ „Н. В. Гоголь", стр. 82) я высказалъ между прочимъ мысль, что крайній эгоцентризмъ духа есть уже „болѣзнь", хотя бы подъ нею и не таился никакой психозъ въ собственномъ смыслѣ. Симптомами этой „болѣзни" являются слишкомъ повышенное самочувствіе человѣка, избытокъ рефлексіи и противорѣчіе замкнутости въ себѣ, скрытно-

сти—съ *кажущеюся экспансивностью*. Послѣдній признакъ выражается въ томъ, что эти люди много говорятъ или пишутъ (письма, дневники и пр.), все о себѣ да о себѣ. Для Печорина въ указанномъ отношеніи чрезвычайно характерно то, что бо́льшая часть знаменитаго романа такъ и написана—въ видѣ „записокъ" самого героя („Тамань", „Княжна Мери", „Фаталистъ"), а другая часть („Бэла") содержитъ въ себѣ признанія, даже родъ исповѣди Печорина. Эта наклонность или потребность высказываться, исповѣдываться, раскрывать другимъ свой внутренній міръ у натуръ эгоцентрическихъ не есть слѣдствіе или признакъ экспансивности и уживается вмѣстѣ съ другою, противоположною чертою характера—замкнутостью, скрытностью. Это просто—результатъ того, что эгоцентрическія натуры слишкомъ переполнены собою, слишкомъ заняты интересами своего внутренняго міра, и поэтому ихъ „я" невольно вырывается наружу,—высказывается. Такъ точно и тяготѣніе къ людямъ, къ обществу у нихъ не является выраженіемъ симпатіи и общественныхъ стремленій и уживается съ мизантропіей. Ихъ, такъ сказать, „тянетъ" къ людямъ, большинство которыхъ они не любятъ и презираютъ, и въ этомъ сказывается потребность отвлечься отъ вѣчныхъ помысловъ о себѣ и освѣжить новыми впечатлѣніями свою душу, отягченную прошлымъ опытомъ жизни. Здѣсь-то и даетъ себѣ знать ихъ *повышенное самочувствіе*, которое можетъ выражаться въ различныхъ формахъ. Но вотъ двѣ весьма любопытныя и, кажется, наименѣе „здоровыя" формы: 1) „У меня, — говоритъ Печоринъ,—врожденная страсть противорѣчить; *цѣлая жизнь моя была только цѣпь грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разсудку*[1]). Присутствіе энтузіаста обдаетъ меня крещенскимъ холо-

---

[1]) Курсивъ мой.

домъ, и, я думаю, частыя сношенія съ вялымъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя" („Кн. Мери").—2) „Нѣтъ въ мірѣ человѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое воспоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу [1]) и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ: ничего не забываю, ничего!" [1]) („Кн. Мери").

Чтобы хорошо понять психологическое (а, можетъ быть, отчасти уже психопатологическое) значеніе этихъ двухъ формъ повышеннаго самочувствія, нужно принять во вниманіе слѣдующее:

1) Душевная жизнь индивидуально- и соціально-нормальнаго человѣка состоитъ въ общеніи, въ обмѣнѣ психическимъ содержаніемъ—мыслей, чувствъ, настроеній и т. д. съ другими людьми. Этотъ обмѣнъ не всегда бываетъ справедливъ и одинаково выгоденъ для обѣихъ сторонъ: человѣкъ съ большимъ душевнымъ содержаніемъ въ общеніи съ людьми незначительнаго душевнаго содержанія даетъ много, а получаетъ мало. Но не въ этомъ дѣло. Важно умѣть давать и умѣть брать. Если челочѣкъ не въ состояніи передать вамъ свое душевное содержаніе, свою мысль, свое чувство и настроеніе, при всей вашей готовности и охотѣ воспринять ихъ, сочувственно отозваться на нихъ, а самъ, напротивъ, рабски подчиняется вашему „внушенію", то, очевидно, онъ стоитъ ниже нормы. Такъ же точно, если онъ, умѣя передать вамъ свое, не въ силахъ усвоить ваше (при всей вашей охотѣ и всемъ умѣніи передать), онъ долженъ быть признанъ субъектомъ анормальнымъ. При этомъ, рузумѣется, предполагается, что субъекты имѣютъ между собою нѣчто общее и не говорятъ „на разныхъ языкахъ", что они могли бы обмѣниваться

---

[1]) Курсивъ мой.

душевнымъ достояніемъ, чѣмъ кто богатъ. Печоринъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые умѣютъ передавать, но не умѣютъ брать. Въ этомъ-то и обнаруживается между прочимъ его повышенное самочувствіе: онъ слишкомъ сильно, слишкомъ ярко чувствуетъ свою мысль, свое чувство, свое настроеніе, чтобы удѣлять потребную долю вниманія мыслямъ, чувствамъ, настроеніямъ другихъ людей. Оттуда—тотъ духъ противорѣчія, о которомъ онъ говоритъ. Его душа какъ будто замурована и неспособна сочувствоватъ другой душѣ, настраиваться въ унисонъ съ настроеніемъ другихъ. На чужой энтузіазмъ онъ отвѣчаетъ душевнымъ холодомъ, на чужой душевный холодъ онъ, какъ самъ думаетъ, отвѣтитъ энтузіазмомъ (что, впрочемъ, сомнительно, такъ какъ, повидимому, Печоринъ вообще неспособенъ къ энтузіазму). Это—уединенная душа, скудная симпатическимъ воображеніемъ, которое служитъ проводникомъ отъ человѣка къ человѣку. Противорѣча другимъ, онъ постоянно противорѣчитъ и себѣ самому, и его жизнь есть „цѣпь грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разсудку". Повидимому, дѣло идетъ здѣсь не о тѣхъ противорѣчіяхъ, которыя возникаютъ въ силу, напр., столкновенія страсти съ разсудкомъ, не о внутренней борьбѣ человѣка съ самимъ собою. Рѣчь идетъ о томъ, что Печоринъ неспособенъ отдаться влеченію сердца, точно такъ, какъ неспособенъ онъ поддаться настроенію другого человѣка, и что онъ также не удѣляетъ должнаго вниманія голосу разсудка по какому-то не то своенравію, не то капризу. Онъ часто поступаетъ наперекоръ своему разсудку, какъ поступаетъ наперекоръ мнѣнію, желанію и т. п. другихъ людей. Въ немъ нѣтъ должной цѣльности или гармоніи душевной жизни. Такое состояніе души не можетъ считаться нормальнымъ—и субъектъ становится мало пригоднымъ для соціальной жизни, онъ уже—несомнѣнный кандидатъ въ „лишніе люди".

Но здѣсь надо принять во вниманіе степень дефекта. У Печорина мы видимъ только относительный недостатокъ симпатическаго воображенія и связанной съ нимъ способности воспринимать чужое душевное достояніе и жить общею жизнью съ другими. Такъ, напр., въ общеніи съ докторомъ Вернеромъ онъ вполнѣ „нормаленъ": онъ его понимаетъ, сочувствуетъ ему, обмѣнивается съ нимъ и мыслями, и чувствами. Но, однако, отъ добраго и по-своему умнаго Максима Максимовича онъ ничего не взялъ и, очевидно, не могъ сочувственно понять его, какъ понялъ Лермонтовъ. Напротивъ, Максимъ Максимовичъ, въ мѣру своего умственнаго развитія и силою простого здраваго смысла, сумѣлъ понять и даже очертить другому душевный складъ Печорина, столь чуждый ему. Въ этомъ смыслѣ простая душа стараго штабсъ-капитана оказалась богаче сложной души Печорина.

Нѣтъ худа безъ добра. Печорины, мало способные къ сочувственному пониманію другихъ и одержимые духомъ противорѣчія, благодаря этому душевному изъяну, оказываются застрахованными отъ разныхъ „психическихъ эпидемій", какія въ данное время получаютъ особливое распространеніе въ обществѣ. И вотъ почему въ эпоху „безвременья", когда сервилизмъ, испугъ и квасной патріотизмъ стали своего рода „эпидеміями", Печоринъ гордо и твердо шелъ противъ теченія, неспособный усвоить себѣ господствующее настроеніе и обязательный кодексъ идей и чувствъ. Тутъ, между прочимъ, одна изъ причинъ его неприспособленности къ служебной карьерѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ это придавало ему своеобразное общественное значеніе. Бываютъ эпохи, когда неспособность человѣка, хотя бы и „лишняго", заражаться всеобщимъ испугомъ есть уже заслуга и высоко цѣнится...

2) Если въ томъ „духѣ противорѣчія", которымъ одержимъ Печоринъ, мы усматриваемъ нѣчто анормальное

(хотя и могущее, по условіямъ времени, оказаться полезнымъ для чести человѣка), то другую черту, указанную въ вышеприведенномъ признаніи Печорина, мы должны признать безусловно патологической и опасной для душевнаго здравія субъекта: Печоринъ ничего не забываетъ и вѣчно находится подъ гнетомъ своего прошлаго. Въ этомъ еще яснѣе обнаруживается его повышенное самочувствіе. При этомъ, очевидно, тутъ имѣются въ виду не столько мысли, идеи, сколько чувства, аффекты и настроенія. Печоринъ говоритъ о „минувшихъ печаляхъ и радостяхъ", которыя остаются въ его, какъ сказали бы современные французскіе психологи, „аффективной памяти" [1]) и болѣзненно ударяютъ въ его душу". Это значитъ, что нѣкогда пережитыя имъ чувства оставляютъ послѣ себя слѣды въ его душѣ, болѣе устойчивые, чѣмъ у другихъ, нормальныхъ людей. Его душа, разъ испытавъ извѣстное, конечно—болѣе или менѣе сильное, чувство, сохраняетъ способность вновь переживать соотвѣтственное чувство или настроеніе, хотя бы оно и не вызывалось новымъ опытомъ жизни. Было у него, скажемъ, когда-то чувство любви къ такому-то лицу, или чувство вражды къ нему, зависти и т. д.; съ теченіемъ времени эти чувства исчезли, имъ на смѣну явились новыя, къ другимъ лицамъ; но они исчезли не безслѣдно, и Печоринъ можетъ вновь пережить ихъ или—точнѣе—воспоминаніе о нихъ, почти такъ, какъ будто бы они и сейчасъ живы, какъ будто вновь повторился прежній опытъ жизни. Мы всѣ болѣе или менѣе помнимъ разныя чувства, переживавшіяся нами, т.-е. помнимъ, что они были у насъ; но мы, вспоминая о нихъ, сравнительно

---

[1]) Оговорюсь, что, вопреки Рибо и другимъ, я не склоненъ приравнивать явленіе „памяти чувствъ" къ памяти умственной. Я думаю, что это—психическія явленія различнаго порядка, о чемъ я имѣлъ случай высказаться въ статьѣ „Къ психологіи мысли и творчества" (въ кн. „Вопросы психологіи творчества", стр. 226 и сл.).

рѣдко способны живо перечувствовать ихъ, т.-е. отозваться на нихъ новымъ, соотвѣтственнымъ чувствомъ, — испытать печаль при воспоминаніи о давно пережитой печали, почувствовать радость при мысли о давно угасшей радости. Наша чувствующая душа подчинена благому закону забвенія. Мы можемъ помнить, напр., что когда-то мы ненавидѣли такого-то человѣка. Прошли года, и это чувство забылось, исчезло. Вспоминая о немъ, мы уже не находимъ въ себѣ этой былой ненависти. Но бываетъ и такъ, что, вспоминая о давно заглохшемъ чувствѣ, мы вновь ощущаемъ нѣчто болѣе или менѣе похожее на него, въ душѣ проходитъ какъ бы его тѣнь, или же возникаетъ новое настроеніе, вызванное воспоминаніемъ, но ничего общаго не имѣющее съ прежнимъ чувствомъ. Такъ, вспоминая былую, давно забытую печаль, я могу вмѣсто того, чтобы почуять ея вѣяніе, испытать радостное настроеніе, вызванное сознаніемъ, что, слава Богу, нѣтъ уже той печали и нѣтъ причины, которая могла бы вновь вызвать ее. Но представимъ себѣ душевную организацію, въ которой и прежняя печаль, и былая радость, и гнѣвъ, и зависть, и стыдъ и т. д. оставляютъ въ душѣ прочную настроенность, въ соотвѣтственномъ направленіи, такъ что, при новыхъ обстоятельствахъ, по другимъ поводамъ, эти чувства вновь воскресаютъ, и это—уже не легкое вѣяніе тѣней былого, а живыя чувства, хотя и новыя, но удивительно точно воспроизводящія прошлую исторію души. Вспомнимъ: у Печорина старыя чувства, казалось, заглохшія, все будто живы и извлекаютъ изъ души его „все тѣ же звуки". Пережитыми чувствами, страстями, аффектами его душа разъ навсегда настроена извѣстнымъ образомъ и постоянно готова звучать замогильными звуками прошлаго. И все равно, радостны, или печальны эти „звуки": въ томъ и въ другомъ случаѣ они причиняютъ душевную боль. Былая радость либо отравляется теперь сознаніемъ, что ея

нѣтъ [1]), либо, что вѣрнѣе и важнѣе,—она причиняетъ особую душевную боль въ качествѣ чувства лишняго, такъ сказать „сверхкомплектнаго“, ненужнаго для текущей минуты, немотивированнаго настоящимъ. Ибо душа человѣческая безсознательно стремится къ экономіи, какъ къ сферѣ мысли, такъ и къ сферѣ чувства и „законъ забвенія“, господствующій, именно въ душѣ чувствующей, въ высокой степени благодѣтеленъ. У Печорина онъ плохо дѣйствуетъ, и его душа одержима призраками прежнихъ чувствъ, страстей, аффектовъ, настроеній.

Такая душевная организація не можетъ считаться нормальной и уравновѣшенной. Она фатально становится игралищемъ разныхъ, болѣе или менѣе тягостныхъ, угнетающихъ, состояній и томленій душевныхъ,—и нѣтъ ей успокоенія, нѣтъ ей забвенія.

Кажется, мы не ошибемся, если скажемъ, что натура Печорина въ этомъ отношеніи болѣе, чѣмъ въ другихъ, воспроизводила душевную организацію самого Лермонтова, въ поэтическомъ „паѳосѣ“ котораго мотивъ жажды „покоя и забвенія“ игралъ весьма видную роль.

Вспомнимъ, напр.:

За все, за все Тебя благодарю я:
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За месть враговъ и клевету друзей;
За жаръ души, растраченный въ пустынѣ,
За все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ...

---

[1]) Помимо этого воспоминанія о прошломъ вообще, о пережитыхъ нѣкогда чувствахъ и настроеніяхъ въ особенности, обыкновенно окрашиваются какимъ-то оттѣнкомъ грусти, который усиливается по мѣрѣ того, какъ пережитое все дальше отодвигается въ прошлое. Въ этой своеобразной грусти есть что-то „похоронное“, что-то „кладбищенское“. Того же порядка и грусть историческихъ воспоминаній.

Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ
Не долго я еще благодарилъ...

Поэтъ „все помнитъ“, и все пережитое такъ болѣзненно отзывается въ его душѣ, что онъ не видитъ иного успокоенія, какъ только въ смерти. Но ему мерещится даже, что и за гробомъ его будутъ преслѣдовать земныя страсти— и любовь, и ревность, и муки, и восторги:

Пускай холодною землею
 Засыпанъ я,
О, другъ! всегда, вездѣ съ тобою
 Душа моя.
Любви безумнаго томленья,
 Жилецъ могилъ,
Въ странѣ покоя и забвенья
 Я не забылъ...

(*„Любовь мертвеца“*).

Лирическая обработка этого мотива у Лермонтова такова, что само собою напрашивается предположеніе, что здѣсь передъ нами родъ поэтической исповѣди, что поэтъ лично испытывалъ эти тягостныя душевныя состоянія.

4.

Я не имѣю здѣсь возможности входить въ разсмотрѣніе вопроса, насколько отмѣченная выше въ Печоринѣ и самомъ Лермонтовѣ черта (болѣзненная живость „аффективной памяти“, ограниченіе „закона забвенія“) была явленіемъ, характернымъ для психологіи поколѣнія 30-хъ годовъ. Ограничусь замѣчаніемъ, что этотъ родъ душевной неуравновѣшенности отчасти гармонируетъ съ той чувствительностью, восторженностью, экзальтаціей, которыя я отмѣтилъ (въ главѣ II-й), какъ отличительный признакъ душевнаго склада извѣстныхъ представителей того же поколѣнія. тъ

тихъ послѣднихъ Печоринъ, помимо другихъ, весьма существенныхъ отличій, разнится также отсутствіемъ восторженности, энтузіазма — вообще, въ отношеніи къ идеямъ и идеаламъ — въ особенности. Но его психологія отчасти сближается съ ихъ психологіей въ томъ смыслѣ, что у него, какъ и у нихъ, отклоненіе отъ нормы или нарушеніе душевнаго равновѣсія наблюдается въ одной и той же области, именно въ сферѣ чувствъ. На ряду съ этимъ можно отмѣтить и другіе пункты, на которыхъ психологія Печорина-Лермонтова сближалась съ психологіей лучшихъ представителей поколѣнія 30-хъ годовъ. Такъ, эгоцентризму Печорина отвѣчаетъ, не совпадая съ нимъ по своему характеру, тотъ своеобразный эгоцентризмъ Бѣлинскаго, Герцена, Станкевича и др., о которомъ мы говорили въ главѣ III-й. Тамъ же я указалъ на то, что душевное и, тѣснѣе, умственное развитіе этихъ дѣятелей было процессомъ выработки у насъ мыслящей и морально-автономной личности и въ этомъ смыслѣ представляетъ собою высокій общественно-психологическій интересъ. Обращаясь къ Печорину, мы прежде всего видимъ въ немъ ярко-выраженную личность, которая какъ-ни-какъ, худо или хорошо, мыслитъ, чувствуетъ, понимаетъ вещи по-своему, а не шаблонно, по установившимся и традиціоннымъ формамъ. Оттуда, между прочимъ, тотъ интересъ и даже симпатія, съ которыми лучшіе люди 30—40-хъ годовъ относились къ Печорину. Его психологическій укладъ, во многомъ чуждый имъ, былъ однако понятенъ и какъ бы родственъ ихъ душѣ. Они, энтузіасты, готовы были простить Печорину его индифферентизмъ; не зная Печоринской скуки и бездѣлья, они понимали эту сторону его душевной жизни и не видѣли въ ней доказательства пошлости или пустоты. Встрѣтясь съ Печоринымъ, они могли бы сойтись съ нимъ такъ, какъ сошелся съ нимъ докторъ Вернеръ. Они бы, безъ сомнѣнія, охотно допустили Печорина въ свой интимный кругъ.

Таковы, думается мнѣ, должны были быть отношенія передовыхъ людей 30—40-хъ годовъ къ Печорину живому. Что же касается Печорина „литературнаго", то появленіе этого образа прежде всего направило мысль передовыхъ людей на другой образъ, давно знакомый, уже ставшій достояніемъ ихъ мысли,—на образъ Онѣгина. Представитель, такъ сказать,—„лидеръ", „партіи" западниковъ, Бѣлинскій, выступилъ съ обширной статьей о „Героѣ нашего времени", гдѣ впервые онъ далъ и характеристику Онѣгина („Отеч. Зап.", 1840, № 6; въ изданіи С. А. Венгерова, томъ V-й, стр. 290—372 [1]).

Въ этой характеристикѣ (указ. изд., т. V, стр. 367—368) критикъ устанавливаетъ взглядъ на Онѣгина, какъ на реальный типъ, воспроизводящій извѣстный моментъ въ жизни и развитіи русскаго общества: „Онѣгинъ—не подражаніе, а отраженіе (т.-е. европейскихъ идей и литературныхъ типовъ), но сдѣлавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изображалъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европой должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ,—и Пушкинъ геніальнымъ инстинктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицѣ Онѣгина".

---

[1]) До этого времени Бѣлинскому приходилось только мелькомъ высказываться о романѣ Пушкина, не касаясь героя. Въ „Литературныхъ Мечтаніяхъ" (изд. Венгерова, т. I, стр. 386) онъ говоритъ: „Кавказскаго плѣнника", „Бахчисарайскій фонтанъ", „Цыганъ" могъ написать всякій европейскій поэтъ, но „Евгенія Онѣгина" и „Бориса Годунова" могъ только написать поэтъ русскій.—Тамъ же (стр. 368) онъ называетъ эти два произведенія „самыми драгоцѣнными алмазами поэтическаго вѣнка" Пушкина.—Въ статьѣ „О критикѣ и литер. мнѣніяхъ" „Московскаго Наблюдателя" находимъ выраженіе: „Онѣгинъ — этотъ живой, движущійся міръ лицъ, мыслей, чувствъ"... (указ. изд., II, 485).—Въ статьѣ объ „Очеркахъ русской литературы" Полевого Бѣлинскій, порицая взглядъ Полевого на „Евгенія Онѣгина", называетъ это произведеніе „полнымъ, оконченнымъ, замкнутымъ въ себѣ художественнымъ созданіемъ, въ дивныхъ образахъ выразившимъ глубокую идею"... (указ. изд., V, 111).

Затѣмъ, указавъ, что этотъ моментъ, воплощенный въ Онѣгинѣ, уже прошелъ „невозвратно", Бѣлинскій говоритъ, что если бы Онѣгинъ „явился въ наше время", то естественъ былъ бы вопросъ:

Все тотъ же ль онъ, иль усмирился?
Иль корчитъ такъ же чудака?
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представитъ онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится?.. и т. д.

И говоритъ, что на эти-то вопросы и далъ отвѣтъ Лермонтовъ созданіемъ Печорина. Такимъ образомъ, Печоринъ — это „Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени". Здѣсь же находится приведенное въ началѣ этой главы замѣчаніе, что „несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онѣгою и Печорою". „Иногда, — читаемъ тутъ же, — въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость (?), хотя, можетъ быть, и невидимая самимъ поэтомъ"... (указ. изд. V, стр. 367). Повидимому, эта „разумная необходимость" состояла просто въ томъ, что Лермонтовъ, разрабатывая характеръ героя, намѣченный уже въ предшествующихъ его произведеніяхъ [1]), и возводя его въ общественно-психологическій типъ, родственный типу Онѣгина и хронологически слѣдующій за нимъ, сознательно выбралъ имя Печоринъ--въ pendant къ имени Онѣгинъ.

---

[1]) Н. А. Котляревскій указываетъ на братьевъ Радиныхъ въ юношеской драмѣ Лермонтова „Два брата", какъ на образы, предшествовавшіе Печорину и подготовившіе его. „Наибольшее сходство имѣетъ Печоринъ съ Александромъ Радинымъ, характеръ котораго, по всѣмъ вѣроятіямъ, служилъ Лермонтову точкой отправленія въ его новой работѣ. Нѣкоторыя слова Радина цѣликомъ вложены въ уста Печорина, и нѣтъ сомнѣнія, что Лермонтовъ дѣлалъ такія заимствованія умышленно, а не случайно" („М. Ю. Лермонтовъ", стр. 192).

Если это такъ, то нельзя не видѣть здѣсь указанія на то, что **главной задачей** Лермонтова было вовсе не написать свой собственный портретъ, а именно **создать общественно-психологическій типъ**, который, по своему значенію, могъ бы стать рядомъ съ типомъ Онѣгина. И въ этомъ смыслѣ Лермонтовъ былъ вполнѣ искрененъ, когда писалъ въ „Предисловіи ко 2-му изданію" романа „Герой нашего времени": „точно портретъ, но не одного человѣка: это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи"... А что въ этотъ портретъ вошли нѣкоторыя черты самого автора, это другое дѣло, обусловленное главнымъ образомъ **субъективностью** художественнаго творчества Лермонтова.

Бѣлинскій далъ подробный анализъ характера и всего душевнаго склада Печорина. Онъ видѣлъ въ „героѣ" портретъ самого автора, но такой, который въ то же время воплощаетъ въ себѣ и характерныя черты времени. И критикъ относится къ Печорину съ нескрываемой симпатіей. Онъ видитъ въ немъ личность незаурядную, богатую душевными силами, заключающую въ себѣ залогъ лучшаго будущаго. „Въ идеяхъ Печорина,—говоритъ онъ (стр. 365),— много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатой натурой. Его во многихъ отношеніяхъ дурное настоящее обѣщаетъ прекрасное будущее". Сопоставляя его съ Онѣгинымъ, критикъ находитъ, что, уступая послѣднему въ художественномъ отношеніи, Печоринъ выше его „по идеѣ". Поясненіе этой мысли, данное Бѣлинскимъ, представляетъ для насъ большой интересъ. Прежде всего критикъ оговаривается, что это преимущество Печорина передъ Онѣгинымъ вовсе не составляетъ заслуги Лермонтова: „это преимущество принадлежитъ нашему времени" (стр. 368). Дѣло въ томъ, что Онѣгинъ, при несомнѣнныхъ положительныхъ сторонахъ (онъ „вчужѣ чувства уважалъ", „въ его сердцѣ была и гордость и прямая

честь"),— человѣкъ апатичный, вялый, его „убили воспитаніе и свѣтская жизнь",— онъ опустился, ему „все приглядѣлось, все прiѣлось" — и „онъ равно зѣвалъ средь модныхъ и старинныхъ залъ"; но „не таковъ Печоринъ", говоритъ критикъ. И тутъ же онъ характеризуетъ Лермонтовскаго героя такими чертами, которыя невольно напоминаютъ намъ душевный складъ и моральное „творчество" самого Бѣлинскаго и его друзей. Вотъ это любопытное мѣсто: „Этотъ человѣкъ не равнодушно, не апатично несетъ свое страданіе: бѣшено гоняется онъ за жизнью, ища ея повсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. *Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучатъ, и онъ въ рефлексіи ищетъ ихъ разрѣшенія: подсматриваетъ каждое движеніе своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдѣлалъ изъ себя самый любопытный предметъ своихъ наблюденій и, стараясь быть какъ можно искреннѣе въ своей исповѣди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые или ложно истолковываетъ самыя естественныя свои движенія*" [1]) (стр. 368). Почти буквально все это приходитъ въ голову, когда перечитываешь интимную переписку Бѣлинскаго, Герцена, Станкевича и др. Очевидно, были какія-то точки соприкосновенія между психологіей Печорина и душевнымъ міромъ этихъ выдающихся дѣятелей, столь отличныхъ отъ Печорина. Разумѣется, въ этомъ сближеніи первенствующую роль игралъ Лермонтовъ. Печоринъ оказался столь близкимъ и даже дорогимъ Бѣлинскому прежде всего потому, что онъ видѣлъ въ немъ самого Лермонтова и мысленно прибавлялъ къ душевному

---

[1]) Курсивъ мой.

достоянію Печорина недостающія ему качества, принадлежавшія его автору. Здѣсь у мѣста припомнить восторженныя строки изъ письма Бѣлинскаго къ Боткину, гдѣ критикъ разсказываетъ о своемъ свиданіи съ Лермонтовымъ, когда послѣдній сидѣлъ на гауптвахтѣ (за дуэль съ Барантомъ): „Печоринъ—это онъ самъ, какъ есть. Я съ нимъ спорилъ [1]), и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему,—онъ улыбнулся и сказалъ: дай Богъ! Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ"... (А. Н. Пыпинъ. „Бѣлинскій, его жизнь и переписка", 1876, т. II, стр. 38). Но, съ другой стороны, если Печоринъ—это самъ Лермонтовъ „какъ есть", то Лермонтовъ—не Печоринъ, потому что, вопреки взгляду Н. А. Котляревскаго, „герой нашего времени"—типъ собирательный. Бѣлинскій это чувствовалъ и понималъ, что видно изъ слѣдующихъ словъ въ другомъ письмѣ къ Боткину (отъ 13 іюня 1840 г.): „... я несогласенъ съ твоимъ мнѣніемъ о натянутости и изысканности (мѣстами) Печорина: онѣ разумно-необходимы. Герой нашего времени долженъ быть таковъ. Его характеръ—или рѣшительное бездѣйствіе, или пустая дѣятельность. Въ самой его силѣ и величіи должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтовъ—великій поэтъ: онъ объектировалъ современное общество и его представителей"... (Пыпинъ, II, 48).

Эта мысль, проводимая Бѣлинскимъ и въ статьѣ о „Героѣ нашего времени", въ существѣ своемъ совпадаетъ съ тѣмъ, что говоритъ и Лермонтовъ въ „Предисловіи" ко 2-му изданію романа.

---

[1]) Очевидно, какъ явствуетъ изъ контекста, на тему о презрѣніи мужчинъ, свойственномъ Лермонтову, который „любитъ однѣхъ женщинъ и въ жизни только ихъ и видитъ", презирая, впрочемъ, и ихъ.

Перечитывая статью великаго критика, мы убѣждаемся въ томъ, что для него, а слѣдовательно—и для того поколѣнія, представителемъ котораго онъ былъ, Печоринъ въ самомъ дѣлѣ является „героемъ времени". Его рефлексія, его хандра, его „охлажденный взглядъ" на жизнь, все это казалось Бѣлинскому особливо значительнымъ, онъ видѣлъ въ этомъ доказательство глубины натуры героя, находящагося въ томъ „переходномъ состояніи духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ человѣкъ есть только возможность чего-то дѣйствительнаго[1]) въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ" (указ. изд., V, 354). Нельзя, кажется, сомнѣваться въ томъ, что здѣсь Бѣлинскій обращался мыслью къ себѣ самому: онъ самъ въ это время находился въ „переходномъ состояніи духа", переживая столь извѣстный кризисъ перехода отъ „примиренія съ дѣйствительностью" къ ея критикѣ и отрицанію. Человѣкъ въ такомъ состояніи разлада съ окружающею дѣйствительностью и съ самимъ собою подпадаетъ подъ всемогущую власть рефлексіи; онъ, такъ сказать, раздваивается, „распадается на два человѣка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судитъ о немъ" (тамъ же). Поэтому онъ не можетъ жить полною жизнью, отдаться чувству и т. д. Съ этой точки зрѣнія и разсматриваются въ статьѣ Бѣлинскаго различные факты изъ жизни Печорина, его отношенія къ другимъ людямъ, его романы и пр.,—и во всемъ этомъ выслѣживается та „призрачность" или неполнота чувствъ, идей, страстей, и т. д., которая была, по мнѣнію критика, слѣдствіемъ „переходнаго состоянія". Изъ писемъ Бѣлинскаго можно было бы привести мѣста, гдѣ онъ обвиняетъ самого себя въ избыткѣ рефлексіи, въ неспособ-

---

[1]) Въ гегельянскомъ смыслѣ. Курсивъ мой.

ности жить полною жизнью, отдаться чувству, „не мудрствуя лукаво". Достаточно извѣстно, какъ мучился онъ этимъ сознаніемъ, какъ жаждалъ „полноты жизни". То же самое переживали и его друзья. Мучительность этого состоянія была имъ хорошо знакома. Вотъ какъ изображаетъ ее Бѣлинскій въ той же статьѣ (стр. 355): „... благоуханный цвѣтъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ; рука, подъятая для дѣйствія, какъ внезапно окаменѣлая, останавливается на взмахѣ, и не ударяетъ..." —Слѣдуетъ цитата изъ Гамлета („Такъ робкими всегда творитъ насъ совѣсть..." и т. д.), послѣ чего критикъ продолжаетъ: „Ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженнѣйшаго упоенія и полноты жизни, возстаетъ этотъ враждебный внутренній голосъ, чтобы заставить человѣка думать

. . . . въ такое время,
Когда не думаетъ никто,

и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнить его отвратительнымъ скелетомъ..."

Неудивительно, что психологія Печорина съ его хандрой, рефлексіей, разочарованностью и пр. могла показаться Бѣлинскому чѣмъ-то родственнымъ, знакомымъ. И сосредоточивъ все свое вниманіе на *этомъ* пунктѣ, критикъ оставилъ безъ разсмотрѣнія другія стороны Печорина, внимательное отношеніе къ которымъ могло бы охладить его симпатію къ Лермонтовскому герою. Бѣлинскій не отмѣтилъ *бытовыхъ* чертъ послѣдняго, а равно и тѣхъ, въ силу которыхъ Печоринъ является *неудачникомъ* и *лишнимъ человѣкомъ*. Впрочемъ, эти черты едва ли и могли быть поняты въ то время: онѣ ясны намъ въ настоящее время, благодаря той разработкѣ этого общественно-психологическаго типа, которую далъ въ 50-хъ годахъ Тургеневъ. Въ концѣ же 30-хъ годовъ, ни въ литературѣ, ни въ

жизни эта сторона героевъ, олицетворявшихъ извѣстные „моменты“ въ развитіи общества, еще не проявлялась съ достаточной отчетливостью.

Итакъ, для Бѣлинскаго Печоринъ былъ чисто-психологическій типъ, олицетворявшій переходный моментъ въ развитіи личности, такъ мучительно переживавшійся самимъ Бѣлинскимъ и его друзьями.

Мы знаемъ, что въ этомъ процессѣ или „кризисѣ“ причудливо сочетались два стремленія: 1) къ выработкѣ личнаго нравственнаго сознанія и 2) къ выработкѣ новыхъ критическихъ воззрѣній на дѣйствительность и къ созданію общественнаго идеала.

Въ Печоринѣ Бѣлинскому видѣлось и то, и другое. Печоринъ переживаетъ „переходное состояніе“, изъ котораго онъ выйдетъ обновленнымъ. „Переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію, болѣе или менѣе болѣзненную, смотря по свойству индивидуума“ (тамъ же, стр. 355). Печоринъ представленъ вышедшимъ изъ „непосредственности“. Поэтъ взялъ его въ этомъ переходномъ состояніи и изобразилъ всѣ муки, съ нимъ сопряженныя. Но Печорина ожидаетъ „прекрасное будущее“, потому что въ этомъ человѣкѣ скрыты „силы необъятныя“. Въ другомъ мѣстѣ статьи (стр. 362) Бѣлинскій указываетъ „глубину и мощь“ натуры Печорина. Но въ этой глубинѣ и мощи, въ этихъ „силахъ необъятныхъ“ есть, скажемъ отъ себя, что-то неясное, проблематическое. Не видать, въ чемъ онѣ заключаются и чѣмъ и какъ могли бы сказаться. И Бѣлинскій также—по-своему—отмѣчаетъ это, говоря (стр. 369), что Печоринъ „скрывается отъ насъ такимъ же неполнымъ и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началѣ романа“. Въ связи съ этимъ критикъ указываетъ на то, что вообще въ романѣ Лермонтова „есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное...“— И это поясняется слѣдующимъ: „...этотъ недостатокъ есть

въ то же время и достоинство романа...: **таковы бываютъ всѣ современные общественные вопросы, высказываемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это вопль страданія, но вопль, который облегчаетъ страданіе**...“ (стр. 369).

Эти строки характерны, и въ нихъ таится глубокая правда: процессъ выработки нравственнаго и общественнаго сознанія, совершавшійся въ тѣ годы въ душѣ Бѣлинскаго и его друзей, былъ крупнымъ фактомъ нашего общественнаго развитія. Поскольку въ романѣ, именно въ психологіи Печорина, были даны указанія на аналогичный процессъ, постольку въ немъ былъ выдвинутъ „общественный вопросъ“. И въ дальнѣйшемъ мы неоднократно будемъ встрѣчаться съ этимъ явленіемъ: внутренная жизнь героевъ, вопросы ихъ совѣсти, выработка ихъ самосознанія и т. д. получаютъ значеніе общественно-психологическое, становятся въ одно и то же время и **постановкою общественнаго вопроса**, и „**воплемъ страданія, облегчающимъ это страданіе**“.

Иначе можно выразить это такъ: мучительно и трудно было въ ту эпоху русскому мыслящему человѣку отрываться отъ „непосредственности“, перерастать, умственно и нравственно, тотъ уровень, на которомъ стояло огромное большинство общества. Выходя изъ этой непосредственности, человѣкъ оказывался одинокимъ, чуждымъ всему, „лишнимъ“. Въ особенности тягостнымъ было это для тѣхъ, кто живо чувствовалъ необходимость общественныхъ связей, кто стремился къ осуществленію своей общественной стоимости. Муки душевнаго одиночества толкали людей, оторвавшихся отъ непосредственности, къ искусственному и непрочному „примиренію“ съ дѣйствительностью, о которомъ можно сказать, вопреки поговоркѣ, что такой плохой миръ— гораздо хуже хорошей ссоры. „Ссора“ съ дѣйствительностью для людей, умственно и нравственно незаурядныхъ была въ

концѣ концовъ неизбѣжною. Все это, и первый выходъ изъ непосредственности, и неудачныя попытки примиренія, и самая „ссора“, и сопряженная со всѣмъ этимъ внутренняя борьба, муки одиночества и т. д.,—все это не могло не отражаться на душевномъ здоровьи или, по крайней мѣрѣ, равновѣсіи человѣка, откуда извѣстныя уклоненія отъ „нормы“, повышенное самочувствіе, эгоцентризмъ, разочарованность, хандра и многое другое—болѣе или менѣе патологическое, частью—только въ соціальномъ смыслѣ, частью же—и въ психологическомъ.

Эта соціально-патологическая, равно какъ и психо-патологическая окраска, чувствовалась и отмѣчалась, хотя и въ чертахъ неопредѣленныхъ, въ выраженіяхъ двусмысленныхъ. Лермонтовъ въ „Предисловіи“ говоритъ о какихъ-то „порокахъ“, изъ которыхъ „составленъ“ образъ Печорина. Въ разговорѣ съ докторомъ Вернеромъ (передъ дуэлью) поэтъ влагаетъ въ уста Печорина такое признаніе: „Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслитъ и судитъ его...“ Выше мы видѣли, какъ изображаетъ это душевное состояніе Бѣлинскій, по опыту знавшій, что это—родъ „болѣзни“ [1]), хотя и спасительной.

Изъ всего этого между прочимъ видно, что типъ Печорина былъ для лучшихъ людей того времени не совсѣмъ то, чѣмъ является онъ для насъ. Съ одной стороны, онъ говорилъ имъ больше, а съ другой—меньше, чѣмъ говорятъ

---

[1]) „Дивно художественная „Сцена Фауста“ Пушкина представляетъ собою высокій образъ рефлексіи, какъ болѣзни многихъ индивидуумовъ нашего общества“—говоритъ Бѣлинскій въ той же статьѣ, стр. 356.

намъ. Дальнѣйшее выясненіе или, скажемъ, развитіе этого типа въ сознаніи мыслящей и передовой части общества шло въ направленіи убыли его моральнаго интереса въ тѣсномъ смыслѣ и расширенія его значенія, какъ типа общественно-психологическаго, стоящаго посрединѣ между Онѣгинымъ, человѣкомъ 20-хъ годовъ, и такъ называемыми „людьми 40-хъ годовъ“, къ которымъ мы и обратимся теперь.

ГЛАВА VI.

„Люди 40-хъ годовъ“. — Рудинъ.

1.

До 40-хъ годовъ наша художественная литература не отставала отъ жизни: едва—въ дѣйствительности—успѣвало обозначиться извѣстное теченіе общественной мысли, извѣстное настроеніе, опредѣленный родъ „соціальнаго самочувствія“ людей передовыхъ и мыслящихъ, какъ уже и въ литературѣ появлялся соотвѣтственный художественный типъ. Такъ, художественные типы Чацкаго, Онѣгина, Печорина являлись, можно сказать, по горячимъ слѣдамъ жизни, въ то самое время, когда жили и дѣйствовали настоящіе, живые Чацкіе, Онѣгины и Печорины. Ихъ образъ мысли, ихъ характерная душевная складка, ихъ негодованіе, протестъ, грусть, тоска, степень достигнутаго ими самосознанія,—все это было взято поэтами прямо въ дѣйствительности, еще не отшедшей въ прошлое, подслушано, подмѣчено въ живой душѣ человѣческой.

Такимъ образомъ, 20-е и 30-е годы, со стороны передового движенія, въ типичныхъ чертахъ умственной жизни и общаго душевнаго склада мыслящихъ и чувствующихъ людей эпохи, непосредственно отразились въ современной же художественной литературѣ.

Этого нельзя сказать о 40-хъ годахъ. Изображеніе и анализъ душевнаго склада лучшихъ людей этой эпохи стало возможнымъ лишь по завершеніи ея, заднимъ числомъ, когда, въ годину безвременной первой половины 50-хъ годовъ и позже, во второй ихъ половинѣ, наканунѣ реформъ, было—на досугѣ—продумано, осмыслено и критически оцѣнено умственное, моральное и общественное наслѣдіе 40-хъ годовъ. Художественный итогъ этому наслѣдію былъ впервые подведенъ Тургеневымъ въ „Рудинѣ“ (1885) и въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ (1858). Типы Рудина и Лаврецкаго, по своему общественно-психологическому смыслу и художественному значенію, являются для „людей 40-хъ годовъ“ тѣмъ же, чѣмъ Чацкій и Онѣгинъ—для людей 20-хъ годовъ, а Печоринъ—для извѣстной части поколѣнія 30-хъ.

Умственная и вообще духовная жизнь людей 40-хъ годовъ была значительно сложнѣе душевнаго обихода Чацкихъ, Онѣгиныхъ и даже Печориныхъ. Работа мысли стала интенсивнѣе, кругъ умственныхъ интересовъ расширился, ярко обозначились философскія стремленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ и вліяніе западно-европейскихъ идей и литературныхъ направленій стало дѣйствительнѣе и плодотворнѣе, ибо онѣ воспринимались уже не какъ мода, не подражательно, а перерабатывались — худо ли, хорошо ли — самостоятельной работой мысли. Явились первостепенные- творческіе—умы, какъ Герценъ и Бѣлинскій. Наконецъ, обособлялись опредѣленныя, ясно выраженныя, оригинально разработанныя направленія или формы нашего національнаго и общественнаго самосознанія—западничество и славянофильство.

Замѣтно измѣнился и классовый составъ мыслящей части общества. Въ 20-хъ и частью еще въ 30-хъ годахъ люди, мыслящіе и чувствующіе, принадлежали къ великосвѣтскому кругу и слоямъ, близкимъ къ нему, съ присоединеніемъ небольшого числа лицъ, вышедшихъ изъ другихъ слоевъ.

Въ 40-хъ годахъ центръ умственной жизни перемѣщается въ „средній“ классъ—богатаго, зажиточнаго и бѣднаго дворянства, съ присоединеніемъ уже болѣе значительнаго числа лицъ изъ другихъ, „низшихъ“, словвъ. Общій душевный обликъ этихъ людей былъ уже не тотъ, какой мы находимъ у представителей мыслящей части великосвѣтскаго круга. Наслѣдственныя черты дворянскаго, помѣщичьяго склада, барскаго воспитанія и столь же барскаго отношенія къ вещамъ и людямъ, конечно, сохранялись и нерѣдко обнаруживались, такъ или иначе; но онѣ уже значительно смягчались общеніемъ съ „разночинцами“, вліяніемъ философскаго образованія, широтою и разнообразіемъ умственныхъ интересовъ, наконецъ нивеллирующимъ воздѣйствіемъ университетской среды, студенческой жизни. Эти баричи уже не переходили изъ студентовъ въ офицеры, рѣдко и лишь случайно появлялись въ великосвѣтскомъ и чиновномъ кругу и жили обособленной жизнью въ тѣсныхъ дружескихъ кружкахъ, гдѣ умственные и нравственные интересы преобладали надъ всѣмъ прочимъ.

Напряженная работа мысли и совѣсти, совершавшаяся въ этихъ кружкахъ, была тогда явленіемъ совершенно новымъ на Руси. Тутъ-то вырабатывались и созрѣвали, какъ въ теплицѣ, тѣ своеобразныя душевныя явленія, которыми психологія „людей 40-хъ годовъ“ характеризуется по преимуществу, замѣтно отличаясь отъ душевнаго склада какъ предшествующихъ, такъ и послѣдующихъ поколѣній.

Эти-то отличія, эта своеобразная душевная складка и были потомъ мастерски воспроизведены Тургеневымъ въ его романахъ и повѣстяхъ, особенно — въ „Рудинѣ“ и „Дворянскомъ гнѣздѣ“.

Біографія и переписка дѣятелей того времени, такіе документы эпохи, какъ „Дневникъ“ Герцена и его романъ „Кто виноватъ?“, яркая картина интимной жизни кружковъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ изображенная имъ же

въ „Былое и думы", воспоминанія Анненкова и т. д.,—все это даетъ изслѣдователю цѣнный матеріалъ, которымъ онъ можетъ провѣрить правильность художественныхъ обобщеній, сдѣланныхъ Тургеневымъ. Такая провѣрка показала бы, что, дѣйствительно, въ Рудинѣ, Лаврецкомъ, Лежневѣ, Михалевичѣ, Пасынковѣ, вводномъ лицѣ Покорскаго и мн. др. Тургеневъ вполнѣ удачно отмѣтилъ самое важное, самое существенное, чѣмъ душевный міръ людей 40-хъ годовъ характеризовался по преимуществу.

2.

На первый планъ выдвигается здѣсь то, что можно назвать философскою жаждою. Ни одно поколѣніе не отличалось этой чертою въ такой мѣрѣ, какъ именно поколѣніе 40-хъ годовъ, когда съ такимъ рвеніемъ философствовали и западники, и славянофилы.

Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что у насъ, русскихъ, потребность въ философской систематизаціи знанія и опыта жизни, запросовъ мысли и тревоги совѣсти образуетъ черту національнаго умственнаго склада, сближающую насъ съ нѣмцами, при чемъ однако у насъ замѣтно выдѣляется настойчивое стремленіе добиться, путемъ философскаго объединенія, „прямыхъ отвѣтовъ" на „проклятые" вопросы и найти здѣсь нравственную санкцію. Наша философская мысль преслѣдуетъ преимущественно задачи „практическаго разума", даже тогда, когда уносится въ заоблачныя высоты метафизики. Есть что-то религіозное въ философскихъ построеніяхъ и исканіяхъ нашихъ мыслителей. Это мы видимъ и у Бѣлинскаго, и у Герцена, и у Бакунина, и, наконецъ, у матеріалистовъ и позитивистовъ 60-хъ и 70-хъ годовъ. Ярко обнаруживается эта черта въ замѣчательной (еще далеко не оцѣненной по достоинству) философской работѣ П. Л. Лаврова. Покойный Н. К. Михайловскій,

10*

одинъ изъ самыхъ большихъ и творческихъ философскихъ умовъ у насъ, создатель стройной системы, объединяющей правду-истину и правду-справедливость, былъ однимъ изъ типичныхъ русскихъ людей,—и здѣсь тайна его огромнаго вліянія, разгадка того обаянія, какое въ теченіе трехъ съ лишнимъ десятилѣтій окружало ореоломъ эту яркую, эту сильную и высокоодаренную личность.

Національная черта, о которой мы говоримъ, впервые и съ особливою напряженностью обнаружилась въ „философской жаждѣ“ людей 40-хъ годовъ, философскія увлеченія которыхъ принимали такіе размѣры и выработались въ такихъ формахъ, какія въ послѣдующее время уже не встрѣчаются. Можетъ быть, только теперешніе „нео-идеалисты“ могутъ отчасти поспорить съ ними въ этомъ отношеніи. Но послѣдніе, вмѣстѣ со всѣми нами, какъ философствующими, такъ и не философствующими, стоятъ вплотную лицомъ къ лицу съ очередными историческими „проблемами“—не „идеализма“, а жизни, не имѣющими непосредственной связи съ философскою, а тѣмъ болѣе метафизическою, систематизаціей,—и, можно опасаться, ихъ философствованіе останется втунѣ. Люди 40-хъ годовъ не имѣли передъ собою такихъ задачъ (кромѣ подготовки освобожденія крестьянъ, задачи трудной и, какъ отмѣтимъ ниже, непосильной имъ),—и они могли вволю и досыта философствовать, выдвигая впередъ отвлеченные вопросы и общегуманную сторону мышленія. Работая и томясь въ этихъ границахъ, они подготовили возможность раціональной постановки—въ будущемъ—общественныхъ задачъ и проложили путь нравственному воспитанію послѣдующихъ поколѣній.

Вотъ именно эту исключительную жажду философскихъ откровеній, свойственную людямъ 40-хъ годовъ, и изобразилъ Тургеневъ въ слѣдующихъ словахъ Лежнева о Рудинѣ:

„Видите ли (повѣствуетъ Лежневъ Александрѣ Павловнѣ), я вамъ сейчасъ сказалъ, что онъ (Рудинъ) прочелъ

немного, но читалъ онъ философскія книги, и голова у него такъ была устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы... Положимъ, онъ говорилъ не свое, — что за дѣло! но стройный порядокъ водворялся во всемъ, что мы знали, все разбросанное вдругъ соединялось, складывалось, выростало передъ нами, точно зданіе, все свѣтлѣло, духъ вѣялъ всюду... Ничего не оставалось безсмысленнымъ, случайнымъ; во всемъ сказывалась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и въ то же время таинственное; каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ чувствовали себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому..." (глава VI).

Итакъ, Рудинъ—философская голова. Какъ умъ, онъ воплощаетъ въ себѣ черты, которыми несомнѣнно обладали выдающіеся дѣятели эпохи, въ особенности Бѣлинскій, Бакунинъ, Герценъ и Хомяковъ. Но, повидимому, рисуя Рудина, какъ умъ, Тургеневъ имѣлъ въ виду преимущественно Бакунина, перваго у насъ насадителя гегельянской философіи. То, что мы знаемъ о его умѣ, діалектическихъ способностяхъ и самой манерѣ говорить, въ самомъ дѣлѣ живо напоминаетъ Рудина. Анненковъ отмѣчаетъ „многосторонность, быстроту и гибкость" ума Бакунина, его „страсть къ витійству", „врожденную изворотливость мысли" и „пышную, всегда какъ-то праздничную по своей формѣ, шумную, хотя и нѣсколько холодную, малообразную и искусственную рѣчь". (Воспоминанія и крит. очерки" III, стр. 23). (Здѣсь только выраженіе—„малообразная" (рѣчь) не согласуется съ тѣмъ, какъ Тургеневъ изображаетъ краснорѣчіе Рудина). Извѣстно, какое сильное вліяніе имѣлъ

въ концѣ 30-хъ годовъ Бакунинъ на Бѣлинскаго, въ періодъ пресловутаго „примиренія съ дѣйствительностью", апостоломъ котораго былъ тогда Бакунинъ. Не меньшее впечатлѣніе производилъ онъ и за границей. Анненковъ приводитъ любопытныя свѣдѣнія, относящіяся ко второй половинѣ 40-хъ годовъ: „...уже и тогда приходили къ нему (Бакунину) за совѣтомъ и разъясненіемъ по вопросамъ философскаго отвлеченнаго мышленія, и при томъ такіе люди, какъ, напримѣръ, Прудонъ. Одинъ изъ умныхъ и развитыхъ французовъ... созывалъ ради Бакунина своихъ знакомыхъ и при этомъ говорилъ: я вамъ покажу чудище (une monstruosité) по сжатой діалектикѣ и по лучезарной концепціи сущности всяческихъ вещей (par sa dialectique serrée et par sa perception lumineuse des idées dans leur essense)—(тамъ же, стр. 173).

Но за вычетомъ ума и діалектики, а также, можетъ быть, и нѣкоторыхъ чертъ характера, которыми Рудинъ отчасти напоминаетъ Бакунина, мы скажемъ, что въ остальномъ между ними нѣтъ сходства. Бакунинъ, несомнѣнно, былъ доктринеръ и фанатикъ, чего отнюдь нельзя сказать о Рудинѣ. Диллетантъ мысли и благородныхъ чувствъ, Рудинъ имѣетъ опредѣленныя убѣжденія и, навѣрное, никогда не измѣнилъ бы имъ, но мы не видимъ, чтобы онъ слѣдовалъ какой-либо доктринѣ, и въ его отношеніяхъ къ идеямъ нѣтъ фанатизма. Можно думать только, что въ 50-хъ годахъ Бакунинъ представлялся Тургеневу, какъ умъ и отчасти характеръ, приблизительно въ томъ свѣтѣ, въ какомъ изображенъ Рудинъ, но видѣть въ послѣднемъ вѣрную копію съ перваго нельзя [1]).

---

[1]) О Бакунинѣ см. статью Венгерова въ IV-мъ томѣ „Полн. собр. сочин. В. Г. Бѣлинскаго" (изд. Венгерова), стр. 547 и сл. („Бакунинско-гегегельянскій періодъ жизни Бѣлинскаго").—Въ статьѣ объ И. С. Тургеневѣ въ энциклоп. словарѣ Брокгауза и Эфрона г. Венгеровъ говоритъ: „До извѣстной степени Рудинъ - портретъ знаменитаго агитатора и гельянца Бакунина, котораго Бѣлинскій опредѣлилъ, какъ человѣка съ румянцемъ

3.

Постараемся прослѣдить, какъ развивается въ романѣ характеръ и весь духовный обликъ Рудина.

Въ той сценѣ, гдѣ онъ впервые появляется (гл. III), онъ обрисованъ, какъ отличный діалектикъ, ловкій спорщикъ и мастеръ говорить. Безъ труда, двумя-тремя удачными „ходами" сбивъ съ позиціи Пигасова, онъ разговорился и овладѣлъ общимъ вниманіемъ. Онъ „говорилъ умно, горячо, дѣльно; выказалъ много знанія, много начитанности..." Въ числѣ слушателей были и такіе, которыхъ не подкупишь звонкой фразой: это Басистовъ и Наталья, отзывчивые юные умы и чистыя, чуткія сердца,—изъ числа тѣхъ, которые, при всей неопытности, какимъ-то чутьемъ сразу отличаютъ настоящую мысль отъ поддѣлокъ подъ нее и сейчасъ же почувствуютъ фальшь, если она есть, какою бы красивою и убѣдительною формою выраженія она ни прикрывалась. И вотъ, оказывается, что рѣчами Рудина „больше всѣхъ были поражены Басистовъ и Наталья". „У Басистова чуть дыханье не захватило; онъ сидѣлъ все время съ открытымъ ртомъ и выпучеными глазами—и слушалъ, слушалъ, какъ отъ роду не слушалъ никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ, и заблисталъ..." Очевидно, въ рѣчахъ Рудина звучали ноты глубокой искренности, да изъ дальнѣйшаго мы убѣждаемся, что онъ—человѣкъ несомнѣнно искренній, въ особенности когда говоритъ, когда проповѣду-

на щекахъ и безъ крови въ сердцѣ".—О Рудинѣ Лежневъ отзывается, что онъ „холоденъ, какъ ледъ".—Приведенный отзывъ Бѣлинскаго о Бакунинѣ Анненковъ слышалъ лично изъ устъ критика въ такомъ видѣ: „это—пророкъ и громовержецъ, но съ румянцемъ на щекахъ и безъ пыла въ организмѣ" („Воспомин. и крит. оч.", III, стр. 25).

етъ... Въ этой же главѣ мы знакомимся съ его краснорѣчіемъ, съ его манерой говорить: „Разсказывалъ онъ не совсѣмъ удачно. Въ описаніяхъ его недоставало красокъ. Онъ не умѣлъ смѣшить“. Но въ общихъ разсужденіяхъ, развитіи мысли онъ былъ неподражаемъ, умѣя дѣйствовать и на мысль, и на чувство. Прочтемъ еще слѣдующее: „Обиліе мыслей мѣшало Рудину выражаться опредѣлительно и точно. Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольною изысканностью опытнаго говоруна,—вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшею тайной—музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія. Иной слушатель, пожалуй, и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди...“

Передъ нами настоящій талантъ—оратора, трибуна. Эта черта не случайна: она характерна для „людей 40-хъ годовъ“, у которыхъ, рядомъ съ философскими дарованіями, выдѣлялись и „словесныя“, очень цѣнившіяся и имѣвшія несомнѣнное значеніе въ ихъ жизни и дѣятельности. Объ ораторскомъ талантѣ Бакунина мы говорили выше. Хомяковъ былъ удивительный діалектикъ и спорщикъ. Бѣлинскій, когда былъ въ ударѣ, развивалъ необычайную силу рѣчи. Грановскій былъ образцовый лекторъ. Евг. Ѳ. Коршъ блисталъ „мѣткимъ и ядовитымъ остроуміемъ“, по свидѣтельству Анненкова („Восп. и крит. оч.“, III, 120). Блескъ и обаяніе рѣчи Герцена достаточно извѣстны. Весьма характерно то, что въ воспоминаніяхъ объ эпохѣ 40-хъ годовъ,

какъ, напр., соотвѣтственныя главы „Былого и думъ" Герцена, „Замѣчательное десятилѣтіе" Анненкова и др., такъ обстоятельно говорится о „словесныхъ" способностяхъ и особенностяхъ лицъ, которымъ посвящены воспоминанія, точно ихъ авторы уже ожидаютъ отъ читателя вопроса Александры Павловны: „а какъ онъ говорилъ?" Намъ невольно вспоминаются при этомъ Наталья и Басистовъ, пораженные рѣчью Рудина, да и вообще вырисовывается то обаяніе, какое въ тѣ годы производило умное, просвѣщенное, искреннее, горячее, краснорѣчивое слово. Приведу слѣдующее мѣсто изъ воспоминанія Анненкова, относящееся къ Герцену, но вмѣстѣ съ тѣмъ рисующее и самого, тогда юнаго, автора въ положеніи Басистова: „Признаться сказать, меня ошеломилъ и озадачилъ [1]), на первыхъ порахъ знакомства (съ Герценомъ), этотъ необычайно подвижный умъ, переходившій съ неистощимымъ остроуміемъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, умѣвшій схватить и въ складѣ чужой рѣчи, и въ простомъ случаѣ изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной идеѣ ту яркую черту, которая даетъ имъ физіономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ, неожиданнымъ сближеніямъ разнородныхъ предметовъ... была развита у Герцена въ необычайной степени, — такъ развита, что подъ конецъ даже утомляла слушателя. Неугасающій фейерверкъ его рѣчи, неистощимость фантазіи и изобрѣтенія, какая-то безоглядная расточительность ума приводили постоянно въ изумленіе его собесѣдниковъ („Восп. и крит. оч.", III, 78).

„Люди 40-хъ годовъ" много учились, читали, много мыслили и много разговаривали, разговаривали гораздо больше своихъ предшественниковъ и своихъ преемниковъ. Ихъ интимная жизнь протекала въ частыхъ дружескихъ бесѣдахъ, въ которыхъ они отводили душу, и въ нескончаемыхъ спо-

---

1) Курсивъ мой.

рахъ, въ которыхъ выяснялись ихъ мысли, ихъ разногласія, опредѣлялись ихъ отношенія къ дѣйствительности. „Слово“ было ихъ „дѣло“. Взамѣнъ того въ практической дѣятельности—даже въ узкихъ предѣлахъ возможнаго и доступнаго тогда — они обнаруживали невыдержанность, неумѣлость, отсутствіе дѣловитости и иниціативы. Въ этомъ смыслѣ по ихъ адресу высказывались въ 50-хъ и 60-хъ годахъ суровые упреки, въ которыхъ было много справедливаго. Но эти упреки приходится теперь смягчить—не только ссылкою на „независящія обстоятельства“ и общія условія времени, но также и на психологію самихъ дѣятелей. Принимая во вниманіе ея важнѣйшія черты, мы скажемъ такъ: главнѣйшая очередная задача времени—улучшеніе быта крѣпостныхъ и подготовка ихъ эмансипаціи—занимала въ ихъ сознаніи, въ ихъ мысляхъ и спорахъ, а равно и въ ихъ дѣятельности далеко не подобающее мѣсто. Правда, тѣ изъ нихъ, которые владѣли крѣпостными, старались улучшить ихъ бытъ, переводили съ барщины на оброкъ, относились къ нимъ гуманно. Но вѣдь это только тотъ минимумъ, который былъ нравственно обязателенъ для всякаго порядочнаго, добраго помѣщика, и старый реакціонеръ Шишковъ въ этомъ отношеніи не только не уступалъ имъ, но и превосходилъ нѣкоторыхъ изъ нихъ [1]). Одинъ только Огаревъ рѣшился отпустить своихъ крестьянъ на волю, взявъ съ нихъ ничтожный (сравнительно съ милліоннымъ состояніемъ) выкупъ (500,000 руб. за знаменитый Бѣлоомутъ—цѣлое феодальное владѣніе въ Пензенск. губ.) и „устроивъ“ ихъ бытъ. Но по непрактичности „устроилъ“ дѣло такъ, что его крестьяне попали изъ огня да въ полымя—въ кабалу кулакамъ, „почему (разсказываетъ Анненковъ) побочный братъ Огарева, рожденный отъ крестьянки, никогда не могъ помириться съ своимъ вельможнымъ

---

[1]) Объ этомъ см. въ книгѣ В. И. Семевскаго: „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX в.“ (1888 г.).

родственникомъ, несмотря на всѣ благодѣянія послѣдняго, ненавидѣлъ его. „Зачѣмъ барченокъ этотъ — размышлялъ онъ,—не взялъ съ богачей два, три, пять милліоновъ за свободу, которой они только и добивались, и не предоставилъ потомъ даромъ всему люду земли и угодья, освобожденныя отъ пьявокъ и эксплуататоровъ?" („П. В. Анненковъ и его друзья", С.-Петерб., 1892 г., стр. 114.—Все это любопытное дѣло изложено Анненковымъ въ статьѣ „Записка о Н. О. Огаревѣ", откуда взята нами приведенная цитатата).—Можно ли осуждать Огарева? Разумѣется, нѣтъ. Но можно указывать на такіе факты, какъ на доказательство неприспособленности лучшихъ людей 40-хъ годовъ къ важнѣйшему общественному дѣлу, стоявшему тогда на очереди.

Оставляя въ сторонѣ эту чисто-практическую дѣятельность, мы повторимъ здѣсь то, на что указывалось неоднократно: вырабатывать міросозерцаніе, упражняться въ діалектикѣ, очищать свои и чужія головы отъ устарѣлыхъ и дикихъ понятій, распространять гуманныя идеи и т. д.,— это было тогда несомнѣнное „дѣло", и люди 40-хъ годовъ отлично дѣлали его, устно, письменно и въ предѣлахъ цензуры—печатано. И Рудинъ въ этомъ отношеніи является типичнымъ представителемъ эпохи, которую можно назвать эпохою первоначальной выработки передовыхъ идей, гуманныхъ стремленій и, такъ сказать, психологическихъ предпосылокъ нравственнаго и общественнаго сознанія у насъ. Для такого дѣла „музыка краснорѣчія" была неоцѣненнымъ подспорьемъ.

Главный недостатокъ Рудина это — то, что онъ самъ слишкомъ увлекается „музыкою своего краснорѣчія" и неосторожно переступаетъ ту границу, которая отдѣляетъ слово, какъ орудіе пропаганды, какъ силу просвѣтительную, отъ слова, какъ легкаго и пріятнаго способа — отдѣлаться отъ дѣла разговоромъ о немъ, о его необходимости. И это было далеко не чуждо „людямъ 40-хъ годовъ" (не всѣмъ,

конечно). Излишество и праздность рѣчи—вотъ „порокъ", которымъ страдали въ разной мѣрѣ говоруны, блестящіе собесѣдники и спорщики того времени. Тургеневъ мѣтко и зло оттѣнилъ въ Рудинѣ эту черту, напр., въ главѣ V, гдѣ Наталья говоритъ ему: „...вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ. Кому же, какъ не вамъ..."—Въ отвѣтъ на это Рудинъ только „безнадежно махнулъ рукой", но потомъ, воспрянувъ духомъ и „встряхнувъ своей львиной гривой", произнесъ горячую тираду о томъ, что онъ „не долженъ скрывать свой талантъ", „не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню пустую, безполезную болтовню, на одни слова..."—„И слова его полились рѣкою. Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно о позорѣ малодушія и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло. Онъ осыпалъ самого себя упреками..." и т. д. [1]).

Какъ типичный представитель людей эпохи, Рудинъ обладаетъ всѣми качествами, необходимыми для роли „просвѣтителя", кромѣ одного: работоспособности. У него нѣтъ выдержки въ трудѣ, упорства въ достиженіи цѣли, въ любви къ самому дѣлу „просвѣщенія" въ его трудной, будничной сторонѣ. Онъ любитъ только говорить о немъ,—и пока онъ говоритъ, это дѣло само собою дѣлается. Но бѣда въ томъ, что онъ говоритъ такъ удачно и успѣшно только тогда, когда въ ударѣ, когда его посѣщаетъ „вдохновеніе". А между тѣмъ всякое культурное дѣло, въ томъ числѣ и „просвѣтительное", имѣетъ свою черную работу, свои будни и не можетъ преуспѣвать, если будетъ дѣлаться только по праздникамъ „вдохновенія".

Вотъ именно этою-то невыдержкою въ будничной работѣ и отличались люди 40-хъ годовъ, кромѣ немногихъ, преимущественно лицъ не-дворянскаго, не-помѣщичьяго про-

[1]) Такова же и сцена въ гл. XI—отъѣздъ Рудина и его рѣчи провожающему его до станціи Басистову.

исхожденія, какъ Бѣлинскій, изъ дворянъ — Грановскій. Герценъ много работалъ, но все-таки онъ былъ „баринъ",— „барство сказывалось въ его отношеніяхъ къ вещамъ и людямъ, въ самой „манерѣ" мыслить и понимать, и не только въ 40-е годы, въ Россіи, но и позже за границей [1]).

4.

Итакъ, Рудинъ—„философъ" и „ораторъ". И въ качествѣ таковаго, онъ проводникъ Европейскаго просвѣщенія, гуманныхъ идей,—всего, что тогда подводилось подъ формулу: „истина", „добро" и „красота".

Въ такія эпохи, какъ наши 40-е годы, подобныя расплывчатыя, туманныя формулы и вообще „красивыя" и „глубокомысленныя" слова получаютъ особое—воспитательное—значеніе. Отсюда—огромная важность и благотворное вліяніе, въ такія эпохи, идеалистическихъ философскихъ системъ и, рядомъ съ ними и, можетъ быть, больше ихъ,— твореній поэтическихъ, критическихъ, историческихъ и иныхъ, окрыленныхъ философскою мыслью, одухотворенныхъ все тѣмъ же общечеловѣческимъ идеаломъ „истины", „добра" и „красоты", какъ творенія Лессинга, Гердера, Гёте, Шиллера. Властителяли думъ эпохи не только у насъ, но и въ Европѣ были Гегель и эти великіе умы и таланты, выступившіе еще въ XVIII вѣкѣ. Эпоха, въ значительной мѣрѣ, жила процентами съ умственнаго капитала прошлаго времени. Перенесеніе на Русь этихъ огромныхъ умственныхъ цѣнностей, служившихъ для воспитанія всѣхъ прогрессирующихъ народовъ, составляло весьма серь-

---

[1]) Черты „барства" сказались у Герцена между прочимъ въ его отношеніяхъ къ Чернышевскому и Добролюбову, о чемъ см. въ превосходной статьѣ г. Богучарскаго „Столкновеніе двухъ теченій общественной мысли" („Изъ прошлаго русскаго общества", стр. 228 и слѣд.).

езную и въ общемъ удобоисполнимую задачу, которую, по мѣрѣ силъ и умѣнія, и выполняла наша литература 40-хъ годовъ. Напомнимъ, что тутъ, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ - дѣло шло не о простомъ перенесеніи къ намъ общечеловѣческаго идейнаго добра въ видѣ переводовъ, изложеній, популяризацій и т. д. (это—дѣло не хитрое),— задача сводилась къ переработкѣ творческой мысли великихъ умовъ, геніевъ и талантовъ собственною—самостоятельною—дѣятельностью мысли. Слѣдовательно, нужны были прежде всего свои умы, свои таланты, самостоятельно, а не по-ученически мыслящіе и работающіе, и таковые не замедлили явиться. Ихъ имена—Станкевичъ, Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій, а также нѣкоторые изъ славянофиловъ, тѣ, которымъ „староверіе“ и „византизмъ“ не слишкомъ мѣшали цѣнить и понимать все общечеловѣческое, все гуманное въ европейской философіи, искусствѣ, литературѣ (К. Аксаковъ, Хомяковъ, Ив. Кирѣевскій, потомъ младшіе—Ив. Аксаковъ, Самаринъ и др.). Для такой дѣятельности требовалась незаурядная умственная воспріимчивость, философскій складъ ума, способность увлекаться умственными перспективами, даръ мечты, игра воображенія, особая восторженность,—и, скажемъ еще, исключительная способность кипѣть душою и расточать, безъ оглядки и соображенія экономіи въ умственномъ трудѣ и дѣятельности чувствъ, свои богатыя душевныя силы и дарованія. Эта послѣдняя черта ея придавала особливый блескъ бесѣдамъ, рѣчамъ, писаніямъ и вообще дѣятельности людей 40-хъ годовъ и образуетъ прямую противоположность на видъ „сухой“, „дѣловой“ работѣ мысли ихъ преемниковъ, Чернышевскаго, Добролюбова и др., у которыхъ мы видимъ строгую экономію, суровую воздержанность отъ всякихъ излишествъ мысли и чувства, имѣвшую своимъ результатомъ такую мощную концентрацію, такое

„сгущеніе“ мысли, чувства и моральныхъ стремленій, что послѣ нихъ цѣлое 40-лѣтіе жило этимъ духовнымъ достояніемъ, и до сихъ поръ еще оно далеко не исчерпано.

Типичный представитель своего времени, Рудинъ—блестяще воспріимчивъ къ философіи, искусству, поэзіи, блистательно популяризируетъ и „развиваетъ“ усвоенныя мысли и эффектно расточаетъ, походя, силу своего ума и краснорѣчія. Благодаря этому блеску и отсутствію „экономіи“, онъ и является „дѣятелемъ“, пропагандистомъ „истины“ и т. д., своего рода „властителемъ думъ“ въ средѣ, доступной его воздѣйствію. Прочтемъ слѣдующее мѣсто: „Какія сладкія мгновенія переживала Наталья, когда, бывало, въ саду на скамейкѣ, въ легкой сквозной тѣни ясеня, Рудинъ начнетъ читать ей гётевскаго Фауста, Гофманна или письма Беттины, или Новалиса, безпрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темнымъ!.. Рудинъ былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ и увлекалъ ее за собою въ тѣ заповѣдныя страны. Невѣдомыя, прекрасныя, раскрывались онѣ передъ ея внимательнымъ взоромъ; со страницъ книги, которую Рудинъ держалъ въ рукахъ, дивные образы, новыя свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями ей въ душу, и въ сердцѣ ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущеній, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...“ (гл. VI).

Эти строки—документъ, сжато обобщающій всѣ подобные умственные восторги, выраженія которыхъ мы найдемъ въ изобиліи въ біографіяхъ, письмахъ, дневникахъ, да и сочиненіяхъ лучшихъ людей эпохи. Вспомнимъ (хотя это относится къ 30-мъ годамъ, что въ данномъ случаѣ не существенно) жизнь и извѣстный романъ Герцена съ г-жею Р. въ Вяткѣ, его переписку съ невѣстою, романтическую дружбу его съ Огаревымъ и т. д. Вспомнимъ нѣкоторыя странно-восторженныя страницы Бѣлинскаго (напр. о те-

атрѣ), да и вообще ту экзальтацію, съ которою онъ воспринималъ философскія идеи и художественные образы.

Эта восторженность (какъ мы уже говорили) имѣла свое психологическое основаніе въ той мозговой чувствительности, которою отличалось поколѣніе, развивавшееся въ 30-хъ годахъ, въ нѣкоторой, ему свойственной, душевной · неуравновѣшенности, откуда, съ другой стороны, и относительно слабая работоспособность, и та расточительность душевныхъ даровъ, о которой мы говорили выше.

Но послѣдуемъ дальше за Рудинымъ. Слѣдующій за приведенными строками (изъ главы VI) разговоръ характеризуетъ именно ту относительную слабость или невыдержку въ трудѣ, которою отличался Рудинъ, какъ истый сынъ своего времени. На вопросъ Натальи: „Что вы будете дѣлать зимой въ деревнѣ?“ Рудинъ отвѣчаетъ: „Что я буду дѣлать? Окончу мою большую статью,—вы знаете,—о трагическомъ въ жизни и искусствѣ—я вамъ третьяго дня планъ разсказывалъ, и пришлю ее вамъ“.—„И напечатаете?„—„Нѣтъ“.—„Какъ нѣтъ? Для кого же вы будете трудиться?“—„А хоть бы для васъ?“ и т. д. Читатель понимаетъ, что, конечно, Рудинъ никогда статьи не напишетъ, а все только будетъ разсказывать о ней. „Вотъ и г. Басистовъ прочтетъ (продолжаетъ онъ). Впрочемъ, я не совсѣмъ еще сладилъ съ основною мыслью. Я до сихъ поръ еще не довольно уяснилъ самому себѣ трагическое значеніе любви“. „Рудинъ (замѣчаетъ Тургеневъ) охотно и часто говорилъ о любви“.

Это и зло, и мѣтко. Слѣдующая затѣмъ тирада Рудина о любви („Любовь!—въ ней все тайна: какъ она приходитъ, какъ развивается, какъ исчезаетъ“ и т. д.) живо напоминаетъ намъ многое въ письмахъ и сочиненіяхъ людей эпохи, когда и любовь, и дружба представлялись въ какомъ-то романтическомъ ореолѣ. Подобно Рудину, люди 40-хъ годовъ „охотно и часто“ говорили да и писали о любви.

Контрастъ между энергіей и восторженностью мысли и чувства съ одной стороны, и вялостью дѣйствующей (а нерѣдко задерживающей) воли съ другой,—характеренъ для нихъ. Но только въ Рудинѣ это представлено въ преувеличенномъ видѣ, не совсѣмъ такъ, какъ наблюдается оно у выдающихся людей эпохи. И если для выясненія обобщающаго значенія (типичности) этого образа мы обращаемся за справками къ выдающимся людямъ, къ Герцену, Бакунину, Бѣлинскому и другимъ, то мы дѣлаемъ это потому, что эти дѣятели оставили намъ наиболѣе яркіе документы своей душевной жизни, своего умственнаго и волевого уклада. Находя и у нихъ соотвѣтственныя, аналогичныя „Рудинскимъ", черты, хотя и выраженныя иначе, мы тѣмъ самымъ обнаруживаемъ типичность и, такъ сказать, психологическую необходимость этихъ чертъ въ душевномъ укладѣ людей, какъ выдающихся, исключительныхъ по уму и дарованіямъ, такъ и среднихъ, именно тѣхъ людей эпохи, которые являлись выразителями ея „духа" и ея особеннаго психическаго склада.

5.

Рудинъ, взятый отдѣльно, не можетъ, конечно, служить *исчерпывающимъ* выраженіемъ „духа" и психическаго склада эпохи. Въ немъ собраны только ея важнѣйшія, наиболѣе распространенныя, самыя типичныя черты. Большая ихъ часть (*философская жажда, повышенная воспріимчивость къ умственнымъ впечатлѣніямъ, восторженность, „рѣчистость", относительно слабая работоспособность*) уже указана нами. Нѣкоторыя другія будутъ отмѣчены ниже. Сейчасъ же намъ нужно упомянуть о тѣхъ фигурахъ романа, которыя, дополняя Рудина, вносятъ въ романъ такія черты, благодаря которымъ это замѣчательное произведеніе даетъ намъ весьма

полную картину преобладающаго направленія умовъ и настроеніе эпохи.

Рудина дополняютъ Лежневъ, Басистовъ, Наталья,—въ особенности же одинъ вводный образъ, лишь упоминаемый въ извѣстномъ разсказѣ Лежнева о его студенческихъ годахъ (гл. VI). Это—Покорскій, воспроизводящій, какъ извѣстно, нравственный обликъ Бѣлинскаго. На вопросъ Александры Павловны: „Что же было такого особеннаго въ этомъ Покорскомъ?“ Лежневъ отвѣчаетъ: „Какъ вамъ сказать? Поэзія и правда — вотъ что влекло всѣхъ къ нему. При умѣ ясномъ, обширномъ, онъ былъ милъ и забавенъ, какъ ребенокъ. У меня до сихъ поръ звенитъ въ ушахъ его свѣтлое хохотаніе, и въ то же время онъ—

Пылалъ полуночной лампадой
Передъ святынею добра...

Такъ выразился о немъ одинъ полусумасшедшій и милѣйшій поэтъ нашего кружка“.—Затѣмъ, на характерный для женщины 40-хъ годовъ вопросъ Александры Павловны: „А какъ онъ говорилъ?“—Лежневъ отвѣчалъ: „Онъ говорилъ хорошо, когда былъ въ духѣ, но не удивительно. Рудинъ и тогда былъ въ двадцать разъ краснорѣчивѣе его“. Мы узнаемъ тутъ же, что Рудинъ казался даровитѣе Покорскаго, „а на самомъ дѣлѣ былъ бѣднякъ въ сравненіи съ нимъ“. „Покорскій“, продолжаетъ Лежневъ,—„вдыхалъ въ насъ всѣхъ огонь и силу; но онъ иногда чувствовалъ себя вялымъ и молчалъ. Человѣкъ онъ былъ нервическій, нездоровый; зато, когда онъ расправлялъ свои крылья,—Боже! куда ни залеталъ онъ! въ самую глубь и лазурь неба!“ — Вступивъ въ кружокъ Покорскаго, Лежневъ „совсѣмъ переродился“: „смирился, разспрашивалъ, учился, радовался, благоговѣлъ,—однимъ словомъ, точно въ храмъ какой вступилъ“... Описавъ кружковые бесѣды, споры и восторги, онъ закан-

чиваетъ свои воспоминанія такъ: „Эхъ! славное было время тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало,—не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошлила потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣтить такихъ людей, прежнихъ товарищей! Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ человѣкъ, а стόитъ только произнести при немъ имя Покорскаго,—и всѣ остатки благородства въ немъ зашевелятся, точно ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ забытую склянку съ духами"...

Покорскій противопоставляется Рудину, какъ высшаго порядка умственная и нравственная организація, какъ натура, свободная отъ той мелочности самолюбія, тѣхъ слабостей, какихъ не чуждъ Рудинъ. Послѣдній—блестящій пропагандистъ чужихъ идей, которыя онъ усвоилъ; Покорскій — самобытный мыслитель и морально-творческая личность. Такіе люди вездѣ рѣдки и всегда являются величайшею общественною цѣнностью. У насъ они вдвойнѣ драгоцѣнны. Что ихъ отличаетъ по преимуществу, это—особливая тонкость нравственнаго уклада, дающая и способность, и право—негодованія. Въ той или иной мѣрѣ способность негодовать имѣли и имѣютъ многіе, но не всякій обладаетъ полнотою нравственныхъ правъ на негодованіе и даромъ широкой постановки задачъ, внушаемыхъ этимъ нравственнымъ чувствомъ. Въ 40-хъ годахъ такимъ правомъ и даромъ обладали Герценъ, Грановскій и нѣкоторые другіе, но всѣхъ ихъ, безспорно, превосходилъ въ этомъ отношеніи Бѣлинскій. Его прямыми преемниками въ этомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, были въ 50-хъ и 60-хъ годахъ Чернышевскій и Добролюбовъ, а въ послѣднее 40-лѣтіе—Н. К. Михайловскій. Сохраненіе и передача послѣдующимъ поколѣніямъ этихъ нравственныхъ правъ негодованія и неразрывно связанныхъ съ ними задачъ общечеловѣческаго развитія, все углубляемыхъ и расширяемыхъ при свѣтѣ научно-философскаго знанія,—такова историче-

ская миссія этихъ людей, таково ихъ умственное и моральное наслѣдіе, образующее въ нашей духовной культурѣ самую яркую и благую силу, движущую и творящую...

Наша бѣда и отсталость—помимо всего прочаго—выражается въ томъ, что русскій человѣкъ, даже при лучшихъ задаткахъ, слишкомъ легко опошливается, примиряется съ дѣйствительностью, становится, съ годами, рецидивистомъ, теряя благопріобрѣтенные въ юности идеалы мысли, чести и совѣсти. Тина вялой жизни засасываетъ насъ, мы утрачиваемъ „добра и зла различье", братаемся съ представителями мрака, обскурантизма и нравственнаго сна, забываемъ о призваніи мыслящаго человѣка—помнить, хранить и разрабатывать усвоенныя понятія о человѣческомъ достоинствѣ, о томъ, что поверхъ и вопреки мерзости запустѣнія, насъ окружающей и завѣщанной затхлымъ прошлымъ, есть свѣтлый міръ общечеловѣческихъ идеаловъ, чистый и прекрасный, и вовсе не заоблачный, а земной, созидающійся повсюду въ лучшихъ умахъ и уже являющійся силою творческою въ тѣхъ общественныхъ движеніяхъ и организаціяхъ, которыя образуютъ прямой переходъ къ лучшему будущему.

Одна изъ причинъ нашей неустойчивости, нашего рецидивизма — слабость, шаткость нашей психической организаціи. Мы душевно расплывчаты, слабы мыслью, нравственнымъ сознаніемъ, волею. У насъ мало душевной уравновѣшенности и крѣпости. Но, къ великому нашему счастью, изъ нашей среды—оказывается—могутъ выходить Бѣлинскіе, Добролюбовы, Чернышевскіе, Михайловскіе, вообще „Покорскіе". Безъ нихъ „Рудины", все равно — 40-хъ ли годовъ или послѣдующихъ, были бы только болтунами, безцѣльно, хотя и краснорѣчиво, вопіющими въ пустынѣ нашего безлюдья, а Лежневы совсѣмъ бы опошлились, отяжелѣли и заснули.

Когда Лежневъ окончилъ свой разсказъ о кружкѣ По-

корскаго, онъ умолкъ, и „его безцвѣтное лицо раскраснѣлось“.

Что такое Лежневъ? Это—умный, образованный, съ несомнѣннымъ здравымъ смысломъ русскій средній человѣкъ, съ лѣнцой и вялостью, съ „добра желаніемъ“ (его крестьяне—на оброкѣ), съ пониманіемъ того, что такое Рудинъ, что такое Покорскій. Фигура—характерная не для однихъ 40-хъ годовъ. Мы всѣ—болѣе или менѣе Лежневы, какъ болѣе или менѣе—Обломовы. Какъ у Лежнева, наши лица безцвѣтны, но способны покраснѣть при иныхъ хорошихъ воспоминаніяхъ. Наше большое достоинство въ томъ, что, обладая нѣкоторымъ чутьемъ и пониманіемъ, мы, подобно тургеневскому Лежневу, „страстно любимъ“ Покорскихъ „и ощущаемъ нѣкоторый страхъ передъ ними“ (гл. VI). И, подобному ему же, мы „стоимъ ближе“ къ Рудину.

Рудинъ намъ—свой братъ, и мы можемъ смотрѣть ему прямо въ глаза, можемъ критиковать, порицать его, или, наоборотъ, одобрять, поощрять. Лежневы имѣютъ даже нѣкоторое основаніе считать себя выше или лучше Рудиныхъ. Это обусловливается различными чертами душевной организаціи Рудина, но, кажется, скорѣе всего тѣмъ, что Рудинъ—неудачникъ и человѣкъ слабый, незаконченный.

6.

Какъ неудачникъ, онъ явился какъ разъ во-время и кстати послѣ Онѣгина и Печорина.

Въ немъ есть кое-что и „онѣгинское“, и „печоринское“. Пушкинскаго героя онъ напоминаетъ своею „холодностью“, которую отмѣтилъ въ немъ Лежневъ. Болѣзненнымъ самолюбіемъ, претензіей играть роль, покорять умы и сердца въ особенности—женскія, онъ сближался съ Печоринымъ. Передъ нами какъ бы преемство родовыхъ чертъ общественно-психологическаго типа.

Свою незадачливость, свою душевную слабость онъ самъ хорошо сознаетъ и откровенно говоритъ объ этомъ въ письмѣ къ Натальѣ: „Мнѣ природа дала много—я это знаю, но я умру, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадетъ даромъ; я не увижу плодовъ отъ сѣмянъ своихъ. Мнѣ недостаетъ... я самъ не могу сказать, что именно недостаетъ мнѣ"... Но тутъ же онъ говоритъ, что ему недостаетъ способности „отдаться": „я отдаюсь весь, съ жадностью, вполнѣ—и не могу отдаться". Эта черта, какъ мы знаемъ, въ высокой степени характерна и для Онѣгина, и для Печорина.

Безъ способности „отдаться", продолжаетъ Рудинъ, — „нельзя двигать сердцами людей, какъ и овладѣть женскимъ сердцемъ; а господство надъ одними умами и непрочно, и безполезно". Эти слова переносятъ насъ въ то доброе старое время, когда, въ самомъ дѣлѣ, думали, что „господство надъ умами и непрочно, и безполезно", т.-е. не понимали или недостаточно цѣнили силу мысли, могущество идей и романтически уповали на чувство, на „сердце",—когда плѣнить женское сердце, при помощи Шиллера или Гофманна, считалось чуть ли не общественнымъ дѣломъ, гражданскимъ подвигомъ. Романтизмъ настроенiй, чувствительность и мечтательность, т.-е. душевное разслабленiе, были очень распространены въ 40-хъ годахъ, причудливо смѣшиваясь и сталкиваясь съ реализмомъ мысли, съ оздоровленiемъ психики, начавшимися и сдѣлавшими значительные успѣхи въ тѣ же годы.

Въ томъ же письмѣ Рудинъ жалуется, что не можетъ „побѣдить свою лѣнь".—„Я остаюсь, — говоритъ онъ, — все тѣмъ же неоконченнымъ существомъ, какимъ былъ до сихъ поръ... Первое препятствiе—и я весь разсыпался"... (гл. XI).

Кромѣ, такъ сказать, „нормальной" „обломовщины", вообще свойственной русскому человѣку, я вижу здѣсь нѣкоторую особую ненормальность волевого уклада, которая,

вмѣстѣ съ вышеуказанной „холодностью“ Рудина, и является главной причиной его участи, какъ неудачника.

Подобно своимъ предшественникамъ, Онѣгину и Печорину, Рудинъ — вѣчный странникъ. Но онъ выгодно отличается отъ нихъ тѣмъ, что онъ — горемыка, между тѣмъ какъ они — баловни. Барское баловство и пресыщенность жизнью и впечатлѣніями идетъ, уменьшаясь: въ Печоринѣ уже немного меньше этого „добра“, чѣмъ въ Онѣгинѣ, въ Рудинѣ уже совсѣмъ мало. Параллельно этому идетъ, увеличиваясь, душевная содержательность: Рудинъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, несомнѣнно богаче душевнымъ содержаніемъ не только Онѣгина, но и Печорина. Какъ-никакъ, онъ живетъ умственною жизнью вѣка, онъ стоитъ на уровнѣ современнаго движенія умовъ въ Европѣ, онъ увлекается идеями философскими, поэтическими, общественными, какъ не умѣли увлекаться Онѣгины и Печорины. У него гораздо больше, чѣмъ у нихъ, умственной воспріимчивости.

И въ связи съ этимъ не совсѣмъ вѣрно то, что онъ говоритъ о безплодности своего существованія. Кое-что онъ сдѣлалъ, нѣкоторый слѣдъ оставилъ послѣ себя, чему нагляднымъ доказательствомъ служитъ признаніе его заслуги со стороны такого строгаго „критика“, какъ Лежневъ. Вспомнимъ сцену XII главы, гдѣ Лежневъ, провозглашая въ дружеской бесѣдѣ тостъ за отсутствующаго Рудина, говоритъ между прочимъ: „А что касается до вліянія Рудина, клянусь вамъ, этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!“ Это—несомнѣнная заслуга: если не „переворачивать до основанія“, не „зажигать“ Лежневыхъ, они заснутъ, отяжелѣютъ, превратятся въ настоящихъ Обломовыхъ, въ азіатовъ, только одѣтыхъ по-европейски. И Лежневы сами сознаютъ это, и съ благодарностью вспоминаютъ они своихъ

Рудиныхъ: „Въ немъ есть энтузіазмъ; а это, повѣрьте мнѣ, флегматическому человѣку, самое драгоцѣнное количество въ наше время. Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, и спасибо тому, что хоть на мигъ насъ расшевелитъ и согрѣетъ!“ Такой заслуги не числится ни за Онѣгиными, ни за Печориными.

Перейдемъ, слѣдя за Рудинымъ,—какъ освѣщается онъ Лежневымъ (а это—самое правильное освѣщеніе), къ заключительной сценѣ, къ „Эпилогу“. Здѣсь, такъ сказать, раскрываются карты, подводится итогъ всей „дѣятельности“ Рудина, и здѣсь мы найдемъ поистинѣ „вѣщія слова“, которыми съ необычайною поэтическою прозорливостью раскрывается весь трагизмъ положенія Рудина, потрясающая драма горемычной жизни безпріютнаго скитальца.

Рудинъ разсказываетъ Лежневу свою жизнь за послѣдніе годы, свои неудачи. „Маялся я много, — говоритъ онъ,—скитался не однимъ тѣломъ—душой скитался“.

Слѣдуетъ описаніе скитаній, суть которыхъ въ томъ, что Рудинъ, повинуясь какому-то фатальному влеченію, всегда хотѣлъ быть дѣятелемъ жизни, приносить пользу, искалъ людей, средствами или энергіею которыхъ онъ могъ бы воспользоваться не для себя, а для „дѣла“. Тутъ и тупица-помѣщикъ, возомнившій себя ученымъ, тутъ и дѣлецъ Курбѣевъ, тутъ, наконецъ, и дебютъ Рудина въ роли преподавателя словесности въ гимназіи, гдѣ онъ затѣялъ провести „коренныя“ реформы, полагаясь на свое вліяніе на директора. Читая всю эту скорбную Одиссею, мы невольно запоминаемъ характерныя выраженія Рудина въ родѣ: „...онъ (помѣщикъ - тупица) владѣлъ такими средствами, столько можно было черезъ него сдѣлать добра, принести пользы существенной...“, или: „я попалъ было въ секретари къ благонамѣренному сановному лицу...“, или о прожекторѣ Курбѣевѣ: „это былъ человѣкъ удивительно ученый, знаю-

щій, голова, творческая, братъ, голова въ дѣлѣ промышленности и предпріятій торговыхъ...", или еще о женѣ директора гимназіи: „она вѣрила въ добро, любила все прекрасное... и не боялась высказывать свои убѣжденія предъ кѣмъ бы то ни было..."

Передъ нами рядъ какъ бы миніатюръ, изображающихъ отношенія идеалиста-неудачника къ средѣ, къ которой онъ не можетъ приспособиться, при чемъ приходится винить не только его, за непрактичность, неумѣніе взяться за дѣло, но еще болѣе—среду, за ея уродство, тупость и злобное отношеніе къ уму, таланту, гуманности, просвѣщенію. Такъ или иначе, раньше или позже, она выбрасываетъ вонъ идеалиста-просвѣтителя, пользуясь первою его оплошностью, она готова оклеветать, унизить его, донести по начальству. И мы разстаемся съ Рудинымъ въ тотъ моментъ, когда онъ долженъ уѣхать изъ города и водвориться въ своей жалкой деревенькѣ. Но за все это Лежневъ уважаетъ его. Честь и слава Лежневу!

Лежневъ понимаетъ глубокій смыслъ вѣщихъ словъ: „скитался не однимъ тѣломъ—душой скитался". Онъ говоритъ Рудину: „Ты уваженіе мнѣ внушаешь—вотъ что!" И поясняетъ: „съ какими бы помыслами (ты) ни начиналъ дѣло, всякій разъ непремѣнно кончалъ его тѣмъ, что жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ недобрую почву, какъ она жирна ни была...

Неумѣніе и нежеланіе „пускать корни въ недобрую почву",—это—качество несомнѣнной и значительно нравственной цѣнности.

„Я родился перекати-полемъ,—продолжаетъ Рудинъ,—я не могу остановиться".

Вспомнимъ скитальческую жизнь Онѣгина и Печорина. Рудинъ—такой же вѣчный странникъ. Но не трудно видѣть всю разницу въ этомъ отношеніи между ними, съ одной стороны, и Рудинымъ—съ другой. Психологія скитальчества

послѣдняго—уже не та, что у нихъ. Лежневъ говоритъ: „...ты не можешь остановиться не отъ того, что въ тебѣ червь живетъ... Не червь въ тебѣ живетъ, не духъ празднаго безпокойства, — огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ...“

„Огонь любви къ истинѣ“, конечно,—не вполнѣ подходящее выраженіе для того душевнаго побужденія, которое сказывалось въ скитальничествѣ Рудина. Но Лежневъ—человѣкъ 40-хъ годовъ—лучшаго термина подобрать не могъ. Слово „истина“ употреблялось тогда часто, кстати и некстати, и между прочимъ для обозначенія тѣхъ общегуманныхъ стремленій, которыя одушевляли идеалистовъ. Во всякомъ случаѣ, какова бы ни была эта „истина“, но нѣкій „священный огонь“ несомнѣнно горитъ въ душѣ Рудина и мѣшаетъ ему приспособляться къ пошлой жизни, погрязнуть въ тѣни и гонитъ его съ мѣста на мѣсто. Это не хандра Онѣгина и Печорина, о которыхъ ужъ никоимъ образомъ нельзя было бы сказать, что въ нихъ „горитъ огонь любви къ истинѣ“. Скитальчество Рудина это—не то „безпокойство“ и „охота къ перемѣнѣ мѣстъ“, которыя овладѣли Онѣгинымъ, и не та тоска и жажда новыхъ впечатлѣній, которыя привели Печорина къ сознанію, что ему „осталось одно—путешествовать“. Не „путешественникъ“— Рудинъ, а „безпріютный скиталецъ“; мы, подобно Лежневу, съ чувствомъ щемящей грусти разстаемся съ нимъ, читая эти печальныя строки: „А на дворѣ поднялся вѣтеръ и завылъ зловѣщимъ завываніемъ, тяжело и злобно ударяясь въ звенящія стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто въ такія ночи сидитъ подъ кровомъ дома, у кого есть теплый уголокъ... И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!“

И вскорѣ на Руси настала своего рода „долгая осенняя ночь“—конца 40-хъ годовъ и первой половины 50-хъ.

Рудинъ очутился за границей, гдѣ наконецъ нашелъ

себѣ „пристанище"—въ революціонномъ движеніи 1848 г. Онъ погибъ на баррикадахъ Парижа 26 іюля 1848 года во время возстанія „національныхъ мастерскихъ".

Смерть окончательно примиряетъ насъ съ нимъ.

7.

Теперь остается отдать себѣ отчетъ въ томъ, можно ли, и въ какомъ смыслѣ, назвать Рудина лишнимъ человѣкомъ. Для Онѣгина и Печорина этотъ вопросъ рѣшается гораздо легче. Праздные, скучающіе, безучастные къ окружающей средѣ, къ народу, къ самому идеалу, они были лишніе не только потому, что не умѣли сдѣлаться дѣятелями жизни, но еще болѣе потому, что не имѣли никакой охоты къ этому. Иное дѣло—Рудинъ. Въ сущности, онъ ничего другого и не дѣлаетъ, какъ именно стремится стать дѣятелемъ, вліять на жизнь, на людей. Онъ суетится, хлопочетъ, изъ силъ выбивается, и въ этомъ смыслѣ онъ—человѣкъ вовсе не праздный. Совершенно справедливо говоритъ ему Лежневъ: „наши дороги разошлись, можетъ быть, именно оттого, что, благодаря моему состоянію, холодной крови да другимъ счастливымъ обстоятельствамъ, ничто мнѣ не мѣшало сидѣть сиднемъ, да оставаться зрителемъ, сложивъ руки; а ты долженъ былъ выйти на поле, засучивъ рукава, трудиться, работать... („Эпилогъ"). При всей своей невыдержанности въ трудѣ, о чемъ была рѣчь выше, при всей своей лѣни, въ которой онъ самъ признается, Рудинъ—не бѣлоручка, не баловень, не праздный туристъ, не „зритель" жизни. Онъ—въ своемъ родѣ—труженикъ жизни, мученикъ „фразы", за которою однако скрывается нѣчто положительное,—идеалистическое настроеніе, возвышенныя, хотя и неопредѣленныя, туманныя идеи, отъ которыхъ онъ такъ же не можетъ „отдѣлаться", какъ не можетъ „отдѣлаться" отъ красивой фразы. И эту „фразу",

вмѣстѣ съ настроеніемъ и идеей, въ ней скрытыми, онъ несетъ въ жизнь; онъ обращается съ нею къ людямъ, къ средѣ, которая за это и выбрасываетъ его вонъ. Тогда и обнаруживается, что онъ—лишній въ этой средѣ. Иначе говоря, въ этой средѣ оказываются „лишними", не ко двору, тѣ идеалистическія настроенія, тѣ умственные интересы и гуманныя идеи, которыхъ адептомъ былъ Рудинъ. Въ средѣ, гдѣ онъ хотѣлъ дѣйствовать, всѣ эти духовныя блага не имѣли цѣны, и неудивительно, что ихъ представитель не могъ, даже если бы обладалъ гораздо большею работоспособностью, цѣпкостью и практическимъ смысломъ, осуществить въ этой средѣ свою общественную стоимость и подъ конецъ самъ убѣдился въ томъ, что онъ—„лишній". Это сознаніе скорбною нотой прозвучало въ его послѣднемъ разговорѣ съ Лежневымъ, гдѣ между прочимъ онъ говоритъ: „Мнѣ рѣшительно скрывать нечего: я вполнѣ, и въ самой сущности слова,—человѣкъ благонамѣренный; я смиряюсь, хочу примѣниться къ обстоятельствамъ, хочу малаго, хочу достигнуть цѣли близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нѣтъ! не удается! Что это значитъ? Что мѣшаетъ мнѣ жить и дѣйствовать, какъ другіе?.. Я только объ этомъ теперь и мечтаю. Но едва успѣю я войти въ опредѣленное положеніе, остановиться на извѣстной точкѣ, судьба такъ и сопретъ меня съ нея долой... Я сталъ бояться ея—моей судьбы... Отчего все это? Разрѣши мнѣ эту загадку!" („Эпилогъ"),

Подобный вопросъ, полный скорби, нерѣдко задавали себѣ всѣ лучшіе люди 40-хъ годовъ. Имъ зачастую казалось, что, какъ бы они ни „смирялись", какъ бы ни „примѣнялись къ обстоятельствамъ", среда, обширная, грозная стихія „рассейской дѣйствительности", по выраженію Бѣлинскаго, ихъ отвергаетъ, фатально дѣлаетъ ихъ „лишними". Вспомнимъ здѣсь, разставаясь съ Рудинымъ, слѣдующія грустныя строки изъ „Дневника" Герцена: „Поймутъ

ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? А между тѣмъ наши страданія—почка, изъ которой разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы—лѣнтяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино и пр.?.. Отчего руки не подымаются на большой трудъ? Отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски? О, пусть они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ: мы заслужили ихъ грусть!" (Подъ 11 сент. 1842 г.).

8.

Можетъ быть, скажутъ: идеалисты 40-хъ годовъ оказывались, въ извѣстномъ смыслѣ, „лишними" потому, что были западники, и ихъ идеалы были чужды русской жизни и русскому національному духу. Это соображеніе было бы совершенно ложно, ибо достаточно извѣстно, что и славянофилы 40-хъ годовъ всецѣло раздѣляли участь „западниковъ", поскольку были также идеалисты. Аксаковы, Хомяковъ, Кирѣевскіе нерѣдко чувствовали себя „лишними" въ той же мѣрѣ и въ томъ же смыслѣ, какъ и Герценъ, Бѣлинскій, Грановскій и др. Не чувствовали себя „лишними" только тѣ, которые не были идеалистами по натурѣ, при чемъ все равно, принадлежали ли они къ тому или къ другому „лагерю", напр., такіе, какъ Погодинъ, Шевыревъ („славянофилы"), Катковъ (радикальный западникъ тогда) и др.

Тѣмъ не менѣе соображеніе о „западничествѣ" Рудина, какъ причинѣ его незадачливости, его участи „лишняго человѣка", не можетъ быть здѣсь оставлено нами безъ разсмотрѣнія, потому что оно выдвинуто въ романѣ самимъ авторомъ, какъ извѣстно,—крайнимъ западникомъ. Мы здѣсь подошли къ одному любопытному пункту въ творчествѣ Тургенева.

Въ главѣ XII, гдѣ Лежневъ объясняетъ собравшемуся обществу, что такое Рудинъ, и, такъ сказать, „реабилитируетъ“ его, онъ однако бросаетъ ему упрекъ въ космополитизмѣ, въ отчужденіи отъ народности, къ чему и сводитъ все его „несчастье“. Онъ говоритъ: „Несчастье Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точно большое несчастье. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ; двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ—чепуха, космополитизмъ—нуль, хуже нуля; внѣ народности нѣтъ ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ...“ и т. д.

Здѣсь нужно принять во вниманіе слѣдующее. „Рудинъ“ былъ написанъ какъ разъ въ то время, когда произошло нѣкоторое сближеніе между Тургеневымъ и славянофилами, когда поэтъ поддерживалъ дружескую переписку съ Аксаковыми. Можно предполагать нѣкоторое вліяніе со стороны послѣднихъ на автора „Записокъ охотника“, на что указалъ г. Грузинскій [1]). Это вліяніе я представлю себѣ въ слѣдующемъ видѣ. Тургеневъ не усвоилъ (и не могъ усвоить) доктрины славянофильства, не могъ стать на точку зрѣнія этой партіи, но онъ, какъ вдумчивый и чуткій художникъ, долженъ былъ заинтересоваться самымъ фактомъ появленія людей, проводившихъ принципъ народности, идеалистовъ влюбленныхъ (если можно такъ выразиться) въ русскую національность и стремившихся сознательно обосновать на ея началахъ и поэзію, и всякое творчество, и общественные, даже политическіе идеи и идеалы. Вспомнимъ, что въ ту эпоху,—въ половинѣ 50-хъ годовъ,—независимо отъ славянофильской пропаганды, интересъ къ народности сталъ

---

[1]) „Къ исторіи „Записокъ охотника“ Тургенева“, въ „Научномъ Словѣ“, іюль 1903, стр. 89.

распространяться въ широкихъ кругахъ общества, и уже возникало своеобразное умственное теченіе, занимавшее какъ бы середину между демократическимъ славянофильствомъ и радикальнымъ западничествомъ,—народничество, въ которомъ вскорѣ должны были объединиться лучшіе элементы того и другого. Интересъ къ народу и сочувствіе къ нему, все усиливавшіеся въ виду мелькавшей вдали, въ предразсвѣтномъ туманѣ безвременья, крестьянской реформы, оживляли и самое чувство народности. Тургеневъ не могъ остаться незатронутымъ этими вѣяніями. Они отразились уже въ „Запискахъ охотника", именно въ отдѣльномъ изданіи ихъ 1852-го года, какъ показалъ это г. Грузинскій. Три года спустя поэтъ отдалъ дань новому вѣянію въ „Рудинѣ"—вышеприведенной тирадой, вложенной въ уста Лежнева. Но это не значитъ, конечно, что въ фигурѣ Лежнева Тургеневъ хотѣлъ изобразить славянофильское умонастроеніе 40-хъ годовъ. Въ защиту идеи народности выступали тогда не одни славянофилы. Во всемъ остальномъ, что говоритъ Лежневъ, не видать сколько-нибудь ясныхъ признаковъ самой доктрины славянофильства. О пресловутомъ „гніеніи" западной цивилизаціи въ его рѣчахъ и помина нѣтъ. Въ энтузіазмѣ, съ которымъ Лежневъ говоритъ о народности, сквозитъ одно: сознаніе нѣкоторой отвлеченности и безпочвенности пропаганды Рудина, мысль, что нужно изучать Россію, народъ и, путемъ такого изученія, добиться обоснованія на національной почвѣ тѣхъ общечеловѣческихъ идеаловъ, проводникомъ которыхъ является Рудинъ. Если видѣть здѣсь народническую, въ тѣсномъ смыслѣ, идею, окрѣпшую и распространившуюся позже, то пришлось бы тираду Лежнева признать нѣкоторымъ анахронизмомъ. Но этотъ упрекъ отчасти смягчается тѣмъ соображеніемъ, что въ словахъ Лежнева мы видимъ только энтузіазмъ къ идеѣ народности, а вовсе не тотъ культъ самого народа, которымъ по преимуществу и характеризуется на-

родничество, зачинавшееся въ 50-хъ годахъ. Идея Лежнева, собственно говоря, не народническая, а націоналистическая (терминъ „народность“ употреблялся тогда въ смыслѣ „національность“), и онъ легко могъ проникнуться ею не только подъ вліяніемъ ученія славянофиловъ 40-хъ годовъ, но и подъ впечатлѣніемъ того, что писалъ на эту тему Бѣлинскій [1]).

Указанное настроеніе самого Тургенева, возникшее въ немъ въ 50-хъ годахъ подъ вліяніемъ новыхъ тогда вѣяній, благопріятныхъ идеѣ народа и народности, еще ярче сказалось въ другомъ его произведеніи, написанномъ три года спустя послѣ „Рудина“,—въ романѣ „Дворянское Гнѣздо“, гдѣ также изображаются люди и эпоха 40-хъ годовъ. Главный герой романа, Лаврецкій, является, по самому замыслу автора, уже прямо славянофиломъ, а западничество представлено въ чертахъ отрицательныхъ—фигурою Паншина.

Разсмотрѣнію этихъ образовъ, какъ и всего романа, поскольку въ немъ даны художественныя обобщенія и истолкованія идей, настроеній и психологіи „людей 40-хъ годовъ“, мы посвящаемъ слѣдующую главу.

---

[1]) „Что личность въ отношеніи къ идеѣ человѣка, то—народность въ отношеніи къ идеѣ человѣчества“,—говорилъ онъ въ „Обозрѣніи литературы“ за 1846 г.—„Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія...“—Цитируя это мѣсто, Анненковъ говоритъ, что оно пришлось не по вкусу крайнимъ западникамъ, которыхъ здѣсь же Бѣлинскій обзываетъ „гуманическими космополитиками“ и отдаетъ, въ отношеніи постановки идеи народности, рѣшительное предпочтеніе славянофиламъ („Воспом. и крит. оч.“, III, 149).

ГЛАВА VII.

Люди 40-хъ годовъ. — Лаврецкій.

1.

Въ фигурѣ Лаврецкаго, героя „Дворянскаго гнѣзда", „заднимъ числомъ" воспроизведенъ духовный обликъ „человѣка 40-хъ годовъ", но только не западника, какъ Рудинъ, а славянофила.

Какъ извѣстно, всѣ симпатіи автора на сторонѣ Лаврецкаго, который выведенъ въ освѣщеніи гораздо болѣе благопріятномъ, чѣмъ Рудинъ. Передъ Лаврецкимъ пасуетъ западникъ Паншинъ, изображенный сатирически. Если бы, предположимъ, не были извѣстны убѣжденія Тургенева и его исконная и неизмѣнная принадлежность къ лагерю западниковъ, пришлось бы на основаніи „Дворянскаго гнѣзда" заключить, что этотъ романъ написанъ убѣжденнымъ славянофиломъ, который только остерегается почему-то внести сюда изложеніе самой доктрины славянофильства.

Въ статьѣ „По поводу „Отцовъ и дѣтей" мы имѣемъ прямое свидѣтельство самого Тургенева, относящееся къ данному вопросу: „Я — коренной, неисправимый западникъ и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ вывелъ въ лицѣ Паншина („въ Дворянскомъ гнѣздѣ") всѣ

комическія и пошлыя стороны западничества[1]), я заставилъ славянофила Лаврецкаго[1]) „разбить его, на всѣхъ пунктахъ". Почему я это сдѣлалъ—я, считающій славянофильское ученіе ложнымъ и безплоднымъ? Потому, что въ данномъ случаѣ—такимъ именно образомъ, по моимъ понятіямъ[2]), сложилась жизнь, а я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ".

Въ романѣ „Дворянское гнѣздо" дѣйствіе происходитъ въ 1842 году. Написанъ же романъ въ 1858-мъ. Спрашивается: къ которой изъ этихъ двухъ датъ нужно отнести свидѣтельство Тургенева, что „въ данномъ случаѣ такимъ именно образомъ (какъ изображено въ романѣ) сложилась жизнь?" На этотъ вопросъ мы отвѣтимъ, не обинуясь: разумѣется, ко второй, ко времени написанія романа, но отнюдь не къ первой, когда разладъ между двумя партіями только начиналъ возникать, и онѣ еще только вырабатывали основы своихъ доктринъ и программъ.

Жизнь стала „складываться" въ томъ видѣ, какъ изображено въ романѣ, именно во второй половинѣ 50-хъ годовъ, когда наканунѣ эпохи реформъ — западничество казалось на ущербѣ, а славянофильство брало перевѣсъ надъ нимъ и представлялось направленіемъ болѣе жизненнымъ и здоровымъ. Вспомнимъ: старая западническая партія разлагалась, на смѣну ей выступали новыя западническія направленія, изъ которыхъ одно, радикально-демократическое, съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ во главѣ, открыто выражало свою солидарность съ славянофилами по практическимъ вопросамъ подготовлявшагося освобожденія крестьянъ, а другое — поверхностно-либеральное и бюрократическое — не отличалось ни глубиной идей, ни широтой воззрѣнія и не могло привлечь къ себѣ какъ особливой

---

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Курсивъ Тургенева.

приверженности молодого поколѣнія, такъ и сочувствія лучшихъ представителей стараго западничества, хранившихъ завѣты Бѣлинскаго. Въ то же время образовалась и радикальная фракція въ самомъ славянофильствѣ (такъ называемая „молодая редакція Москвитянина"), гдѣ душою былъ смѣлый, убѣжденный демократъ Аппполонъ Григорьевъ. — А на очереди стояла великая реформа, для которой западно-европейскіе образцы оказывались непригодными, и силою вещей выдвигался русскій народный идеалъ: обезпеченное землей крестьянство и сохраненіе общины.

На литературной аренѣ славянофильство было представлено тогда рядомъ выдающихся, убѣжденныхъ, идеалистически-настроенныхъ дѣятелей (Константинъ и Иванъ Аксаковы, Хомяковъ, Ю. Самаринъ и др.). Напротивъ, ряды старыхъ западниковъ сильно порѣдѣли. Бѣлинскій давно уже покоился въ могилѣ. Да если бы онъ и оставался въ живыхъ, онъ стоялъ бы, безъ сомнѣнія, во главѣ не западничества въ традиціонной его формѣ, а во главѣ новой радикально-демократической группы, сближавшейся съ славянофилами. Герценъ былъ за границей и все болѣе склонялся къ пресловутой—по существу славянофильской—антитезѣ Востока и Запада. Кавелинъ далеко не былъ „правовѣрнымъ" западникомъ. В. Боткинъ, проживая за границей, отставалъ отъ интересовъ и задачъ русской жизни и погружался въ безплодный эстетизмъ, индифферентизмъ и эпикурейство.

Такъ „складывалась жизнь", и такъ разлагалось старое западничество. И неудивительно, что чуткій къ вѣяніямъ времени и ко всѣмъ поворотамъ исторіи художникъ-наблюдатель живо почувствовалъ это и, какъ бы повинуясь художническому инстинкту, повернулъ, оставаясь все тѣмъ же „неисправимымъ западникомъ" въ своемъ общемъ міросозерцаніи, въ сторону не доктрины, не философіи, а прак-

тическихъ, жизненныхъ идеаловъ и настроеній лучшихъ людей славянофильства. Завязались очень дружескія отношенія между Тургеневымъ и Аксаковыми, и отъ начала до конца 50-хъ годовъ мы имѣемъ ихъ оживленную интимную переписку, изъ которой изслѣдователь можетъ извлечь многое для объясненія художественной работы Тургенева въ этотъ періодъ вообще и для комментарія къ „Дворянскому гнѣзду“ въ частности [1]). Мы воспользуемся ниже нѣкоторыми указаніями этихъ писемъ для характеристики настроенія, отразившагося въ знаменитомъ романѣ.

А теперь обратимся къ Лаврецкому.

2.

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что для правильнаго сужденія о Лаврецкомъ, какъ о типѣ людей 40-хъ годовъ, нужно сперва устранить въ немъ специфическія черты, отзывающіяся настроеніемъ 50-хъ годовъ и тѣмъ „поворотомъ исторіи“, о которомъ мы только что говорили. Еще въ большей мѣрѣ относится это къ Паншину, который освѣщенъ не соотвѣтственно эпохѣ (начала 40-хъ годовъ). Скажемъ больше: онъ перенесенъ изъ 50-хъ годовъ въ 40-ые. И его „посрамленіе“, торжество Лаврецкаго надъ нимъ,— все это отзывается духомъ второй половины 50-хъ годовъ.

Мы скажемъ такъ: Лаврецкій — это „художественный итогъ“ общественно-психологическимъ „формаціямъ“ 40-хъ годовъ, подведенный въ концѣ 50-хъ и окрашенный соотвѣтственно духу времени, когда романъ писался. Устраняя

---

[1]) Эта переписка опубликована въ Вѣстникѣ Европы, 1894, январь (стр. 329—345) и февраль (стр. 469—500), въ Русскомъ Обозрѣніи, 1894, августъ и сентябрь (письма Аксаковыхъ къ Тургеневу съ поясненіями акад. Л. Н. Майкова), въ Литературномъ Вѣстникѣ, 1903, кн. 5, стр. 78 и сл.

эту окраску, мы можемъ возстановить, такъ сказать, подлиннаго Лаврецкаго, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, въ свое время.

Этой операціи очень помогаютъ извѣстныя вводныя главы VIII—XVI, повѣствующія о предкахъ Лаврецкаго, о его воспитаніи, его юности, женитьбѣ и т. д. Все, что мы читаемъ здѣсь, невольно отвлекаетъ насъ отъ идей и настроенія 50-хъ годовъ и переноситъ насъ сперва въ XVIII вѣкъ, потомъ въ начало XIX, наконецъ въ московскую студенческую жизнь 30-хъ годовъ и незамѣтно приводитъ насъ къ началу 40-хъ годовъ, къ которому и пріурочена фабула романа. Поэтъ ведетъ насъ въ этихъ главахъ не отъ 50-хъ годовъ назадъ, а отъ XVIII вѣка впередъ, и мы, не отвлекаясь въ сторону, имѣемъ возможность прослѣдить, такъ сказать, „подлинныхъ Лаврецкихъ" и понять интимное, не идейное, не „программное", а психологическое происхожденіе ихъ „славянофильства", ихъ русскаго національизма.

Итакъ, заглянемъ сперва въ родословную барскаго рода Лаврецкихъ: это—возведенная въ художественный типъ родословная самого славянофильства.

Родъ Лаврецкихъ — старинный, служилый, именитый и, какъ таковой, давно уже (съ XVII вѣка) отгороженъ отъ народа стѣной крѣпостного права. — Рисуя жизнь и нравы этихъ баръ, поэтъ сгущаетъ краски, — и выходитъ картина, далеко не похожая на ту, которую мы имѣемъ въ „Войнѣ и мирѣ" и „Декабристахъ" Л. Н. Толстого. Послѣдній, если и не идеализируетъ крѣпостные порядки той эпохи и нравы стараго барства, то во всякомъ случаѣ, такъ сказать, облагораживаетъ ихъ эпическими пріемами своего творчества. Тургеневъ, напротивъ, беретъ изъ тогдашней дѣйствительности черты рѣзко-отрицательныя, отталкивающія, какихъ было въ ней очень много, и рѣзко оттѣняетъ безобразную жизнь и нравственное уродство старыхъ баръ.

Прадѣдъ Θедора Ивановича Лаврецкаго, Андрей, былъ „человѣкъ жестокій, дерзкій, умный и лукавый. До настоящаго дня не умолкла молва объ его самоуправствѣ, о бѣшеномъ его нравѣ, безумной щедрости и алчности неутолимой...“ (гл. VIII). Его сынъ, „Петръ, Θедоровъ дѣдъ, не походилъ на своего отца; это былъ простой, степной баринъ, довольно взбалмошный, крикунъ и копотунъ, грубый, но не злой, хлѣбосолъ и псовый охотникъ. Ему было за тридцать лѣтъ, когда онъ наслѣдовалъ отъ отца двѣ тысячи душъ въ отличномъ порядкѣ, но онъ скоро ихъ распустилъ, частью продалъ свое имѣніе, дворню избаловалъ...“ (VIII). Домъ его наполнился разными дармоѣдами, „мелкими людишками“, и „все это наѣдалось, чѣмъ попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вонъ, что могло, прославляя и величая ласковаго хозяина; и хозяинъ, когда былъ не въ духѣ, тоже величалъ своихъ гостей дармоѣдами и прохвостами, а безъ нихъ скучалъ...“ (VIII).—Все это—не западное, не европейское, а „истинно-русское“, свое, „самобытное“. Но вотъ въ воспитаніи сына этого помѣщика, Ивана, отца нашего героя, уже обнаруживается „западное вліяніе“. Иванъ „воспитывался не дома, а у богатой старой тетки“, которая „назначила его своимъ наслѣдникомъ“ и „одѣвала его, какъ куклу, нанимала ему всякаго рода учителей, приставила къ нему гувернера, француза, бывшаго аббата, ученика Жанъ-Жака Руссо, нѣкоего m-r Courtin de Vaucelles, ловкаго и тонкаго проныру, fine fleur эмиграціи,—и кончила тѣмъ, что чуть не 70 лѣтъ вышла замужъ за этого „финьфлера“, перевела на его имя все свое состояніе и вскорѣ потомъ, разрумяненная, раздушенная амброй à la Richelieu, окруженная арапчонками, тонконогими собачонками и крикливыми попугаями, умерла на шелковомъ кривомъ диванчикѣ временъ Людовика XV, съ эмалевой табакеркой работы Петито въ рукахъ,—и умерла оставленная мужемъ: вкрадчивый господинъ Куртэнъ предпочелъ удалиться въ Парижъ

съ ея деньгами...“ (VIII).—Передъ нами—характерная страничка изъ бытовой исторіи нашего русскаго XVIII вѣка, въ его 90-хъ годахъ. Старушка-тетка съ ея аббатомъ обрисовываетъ картину стараго барства, перекроеннаго на европейскій ладъ и усвоившаго преимущественно внѣшній лоскъ цивилизаціи, утонченность и распущенность французской аристократіи. Но однако какъ ни былъ ничтоженъ и уродливъ этотъ налетъ „французскаго образованія“, все-таки хоть что-нибудь отъ него оставалось,—и воспитанное въ „новомъ духѣ“ молодое поколѣніе уже кое-чѣмъ разнилось отъ отцовъ, загрубѣлыхъ въ безпросвѣтномъ невѣжествѣ. Когда Иванъ Лаврецкій вернулся къ отцу, „грязно, бѣдно, дрянно показалось (ему) его родимое гнѣздо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждомъ шагу его оскорбляли, скука его грызла...“ (VIII). Дѣло было уже въ началѣ XIX вѣка, въ первые годы царствованія Александра I. Иванъ былъ по тому времени человѣкъ образованный, но это образованіе носило всѣ признаки той внѣшности, поверхностности, того отсутствія внутренней, самостоятельной переработки воспринятой премудрости, чѣмъ такъ характерно отличалась искусственно привитая образованность нашего XVIII вѣка. Это мѣтко схвачено въ слѣдующихъ словахъ: „...и Дидеротъ, и Вольтеръ сидѣли въ головѣ“ Ивана Петровича, „и не они одни—и Руссо, и Рейналь, и Гельвецій, и много другихъ, подобныхъ имъ, сочинителей сидѣли въ его головѣ, но *въ одной только головѣ* [1]). Бывшій наставникъ Ивана Петровича, отставной аббатъ и энциклопедистъ, удовольствовался тѣмъ, что влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника всю премудрость XVIII-го вѣка, и *онъ такъ и ходилъ наполненный* ею; *она пребывала въ немъ, не смѣшавшись съ его кровью, не проникнувъ въ его душу, не сказав-*

---

[1]) Курсивъ мой.

шись крѣпкимъ убѣжденіемъ..." [1]) (VIII). Дальше разсказывается романъ молодого человѣка съ крѣпостною дѣвушкой Маланьей, гнѣвъ и проклятіе отца, бѣгство сына, его женитьба на Маланьѣ и отъѣздъ сперва къ троюродному брату, потомъ въ Петербургъ, гдѣ ему удалось получить 5.000 руб. отъ престарѣлой тетки, его воспитавшей, и мѣсто при русской миссіи въ Лондонѣ.—Старикъ же, какъ ни былъ сердитъ на сына, все-таки пріютилъ его жену съ маленькимъ сыномъ ея Ѳедоромъ (гл. IX).—Въ X главѣ описывается та метаморфоза, которая произошла въ Иванѣ Петровичѣ за время его пребыванія въ Лондонѣ. Онъ „вернулся въ Россію англоманомъ". Но это англоманство было столь же искусственнымъ и поверхностнымъ, какъ и прежнее французское образованіе. Онъ стригся и одѣвался по англійской модѣ, говорилъ сквозь зубы, пристрастился къ кровавымъ ростбифамъ и портвейну и къ „исключительно политическому и политико-экономическому разговору" и т. д. Съ этой стороны „все въ немъ такъ и вѣяло Великобританіей; весь онъ казался пропитанъ ея духомъ". Кстати упомянемъ, что этою изумительною способностью схватывать верхи, усваивать чужую внѣшность и переряживаться"—физически и духовно—въ иностранные „костюмы", то французскіе, то нѣмецкіе, то англійскіе (при Петрѣ Великомъ въ голландскіе), никакая другая аристократія въ мірѣ не отличалась такъ, какъ наша русская въ XVIII и частью еще въ XIX вѣкѣ.—Бытовая, идейная и моральная исторія XVIII вѣка вся какая-то „костюмированная". Цѣлый классъ общества то и дѣло „переряживался" до неузнаваемости и до безобразія, даже до коверканія русскаго произношенія, до потери родного языка.

Иванъ Петровичъ, перекроенный на англійскій фасонъ, сталъ пренебрегать обычаями русской жизни и даже плохо

---

[1]) Курсивъ мой.

изъяснялся по-русски. Но однако же изъ Англіи онъ вывезъ еще нѣчто, впрочемъ столь же поверхностное, какъ и все остальное: желаніе изобразить изъ себя „патріота“, „гражданина“ и облагодѣтельствовать отечество проектами реформъ въ англійскомъ духѣ [1]). „Иванъ Петровичъ привезъ съ собой нѣсколько рукописныхъ плановъ, касавшихся до устройства и улучшенія государства; онъ очень былъ недоволенъ всѣмъ, что видѣлъ,—отсутствіе системы въ особенности возбуждало его желчь“.—Поселившись въ деревнѣ (послѣ смерти отца), онъ задумалъ „коренныя преобразованія“. Эти „реформы“ выразились въ томъ, что въ домѣ появилась новая мебель, плевальницы, „завтракъ сталъ иначе подаваться“, вмѣсто отечественныхъ наливокъ и водки появились иностранныя вина, и всѣ приживальщики были изгнаны. Что же касается управленія имѣніемъ и быта крестьянъ, то „*все осталось по-старому, только оброкъ кой-гдѣ прибавился, да барщина стала потяжелѣе* [2]), да мужикамъ запретили обращаться прямо къ Ивану Петровичу. *Патріотъ очень ужъ презиралъ* своихъ согражданъ“ [2]) (гл. X). Всѣми дѣлами завѣдывала сестра его, Глафира, женщина „настойчивая, властолюбивая“ (VIII), „колотовка“, какъ прозвали ее крѣпостные слуги, существо злое,—типичное порожденіе крѣпостныхъ порядковъ и дикихъ нравовъ „добраго стараго времени“.

3.

Въ чемъ дѣйствительно была произведена „коренная реформа“, такъ это—въ дѣлѣ воспитанія Ѳеди. Когда маль-

[1]) Поверхностное политическое англоманство этого рода проявлялось у насъ нерѣдко въ „Александровскую эпоху“ и—позже. Вспомнимъ хотя бы позднѣйшее англоманство *Каткова* въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ гг., проводившееся имъ въ его—тогда либеральномъ—„Русскомъ Вѣстникѣ“.

[2]) Курсивъ мой.

чикъ подросъ, отецъ начерталъ цѣлый планъ его воспитанія и образованія, взявъ за образецъ англійскую систему. „Я изъ него хочу сдѣлать человѣка, прежде всего, un homme, — сказалъ Иванъ Петровичъ сестрѣ Глафирѣ Петровнѣ, — и не только человѣка, но спартанца". — И вотъ Ѳедю одѣли по-шотландски: 12-тилѣтній малый сталъ ходить съ обнаженными икрами и съ пѣтушьими перьями на складномъ картузѣ" и т. д. Музыку отмѣнили, „какъ занятіе, недостойное мужчины". На первый планъ поставили гимнастику, физическія упражненія, спортъ. Мальчика „будили въ 4 часа утра, тотчасъ окачивали холодной водой и заставляли бѣгать вокругъ высокаго столба на веревкѣ" и т. п. Верховая ѣзда, стрѣльба и упражненія въ твердости воли составляли важную статью въ этой нелѣпой „системѣ". Что касается образованія въ собственномъ смыслѣ, то въ его программу входили: „естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совѣту Жанъ-Жака Руссо, и геральдика, для поддержанія рыцарскихъ чувствъ..." (гл. XI). Обязанность каждый вечеръ заносить „въ особую книгу отчетъ прошедшаго дня и свои впечатлѣнія" довершаетъ картину своеобразнаго воспитанія Ѳеди. Результаты получились такіе: „система сбила съ толку мальчика, поселила путаницу въ его головѣ, притиснула ее; но зато на его здоровье новый образъ жизни благодѣтельно подѣйствовалъ: сначала онъ схватилъ горячку, но вскорѣ оправился и сталъ молодцомъ" (гл. XI).

Зимою Иванъ Петровичъ проживалъ въ Москвѣ. Шли двадцатые годы, эпоха либеральныхъ движеній въ обществѣ, и нашъ „европеецъ-англоманъ" ораторствовалъ въ клубѣ и въ гостиныхъ и „болѣе чѣмъ когда-либо держался англоманомъ, брюзгой и государственнымъ человѣкомъ". — Но послѣ 1825 года съ нимъ случилось удивительное превращеніе. Напуганный карою, которой под-

верглись нѣкоторые изъ его знакомыхъ и пріятелей, „Иванъ Петровичъ поспѣшилъ удалиться въ деревню и заперся въ своемъ домѣ. Прошелъ еще годъ, и Иванъ Петровичъ захилѣлъ, ослабѣлъ, опустился... Вольнодумецъ—началъ ходить въ церковь и заказывалъ молебны; европеецъ—сталъ париться въ банѣ и т. д.; государственный человѣкъ — сжегъ всѣ свои планы, всю переписку, трепеталъ передъ губернаторомъ и егозилъ передъ исправникомъ...“ (гл. XI).

Между тѣмъ Ѳедѣ шелъ 19-ый годъ, „и онъ начиналъ размышлять и высвобождаться изъ-подъ гнета давившей его руки. Онъ и прежде замѣчалъ разладицу между словами и дѣлами отца, между его широкими либеральными теоріями и черствымъ, мелкимъ деспотизмомъ; но онъ не ожидалъ такого крутого перелома...“ (XI).

Это былъ хорошій урокъ, и онъ-то и заронилъ въ душу умнаго юноши зерно будущихъ его воззрѣній на отношенія между русскою дѣйствительностью и пустымъ, обезъяньимъ перениманіемъ европейскихъ понятій и привычекъ.— Ѳедю потянуло въ университетъ.

Затянувшаяся болѣзнь отца удержала молодого человѣка въ деревнѣ, и онъ могъ поступить въ университетъ только послѣ смерти отца, уже имѣя 23 года. „Жизнь открывалась передъ нимъ“ (XI). Онъ явился въ университетъ съ нѣкоторымъ запасомъ свѣдѣній, наблюденій и мыслей. Но въ его образованіи были большіе пробѣлы, а главное—онъ выросъ нелюдимымъ, „несвободнымъ“, болѣзненно - застѣнчивымъ, неловкимъ въ обществѣ, особенно—женскомъ. „Недобрую шутку сыгралъ англоманъ съ своимъ сыномъ; капризное воспитаніе принесло свои плоды... Онъ не умѣлъ сходиться съ людьми: 23-хъ лѣтъ отъ роду, съ неукротимой жаждой любви въ пристыженномъ сердцѣ, онъ еще ни одной женщинѣ не смѣлъ взглянуть въ глаза...“ (XII).

Любопытна и важна непосредственно слѣдующая за этими словами общая характеристика Ѳедора Лаврецкаго: „При его умѣ, ясномъ и здравомъ, но нѣсколько тяжеломъ, при его наклонности къ упрямству, созерцанію и лѣни ему бы слѣдовало съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искусственномъ уединеніи“ (XII).

И вотъ онъ—студентъ московскаго университета. Дѣло было, конечно, въ началѣ 30-хъ годовъ, и Ѳедя Лаврецкій долженъ былъ встрѣчаться въ университетѣ со многими даровитыми юношами-баричами (многіе изъ которыхъ ѣздили въ университетъ въ собственныхъ экипажахъ и часто въ сопровожденіи гувернеровъ),—съ Сашей Герценомъ, Никомъ Огаревымъ, Костей Аксаковымъ и др., а равно и съ бѣдняками-разночинцами, казеннокоштными студентами, напр., съ Виссаріономъ Бѣлинскимъ. Но—нелюдимый, застѣнчивый—Ѳедя Лаврецкій не сходился съ ними: „они въ немъ не нуждались и не искали въ немъ, онъ избѣгалъ ихъ“ (XII).—Однако случай привелъ его сблизиться съ однимъ, но зато типичнымъ, представителемъ тогдашняго передового студенчества, съ „энтузіастомъ и стихотворцемъ Михалевичемъ,—и черезъ него Лаврецкій отчасти пріобщился къ настроенію и броженію молодежи того времени.

Въ дальнѣйшихъ главахъ (XIII—XVI) разсказана исторія любви Лаврецкаго къ Варварѣ Павловнѣ Коробьиной, его женитьба, для чего онъ долженъ былъ оставить университетъ, и послѣдующая исторія его семейной жизни въ деревнѣ, въ Петербургѣ, въ Парижѣ, окончившейся разрывомъ съ женой и возвращеніемъ въ Россію.

Изъ этого повѣствованія отмѣтимъ три пункта: 1) Лаврецкій пробылъ въ университетѣ всего какихъ-нибудь три года, въ теченіе которыхъ онъ не сближался съ студенческой средой; и если послѣдняя все-таки оказала на него

нѣкоторое вліяніе, то только черезъ посредство Михалевича. Онъ, стало быть, не жилъ жизнью тѣсныхъ, дружескихъ кружковъ молодежи, не участвовалъ въ спорахъ, кипѣвшихъ въ этихъ кружкахъ, не испыталъ вліянія краснорѣчія Рудина и благородной натуры и высокаго ума Покорскаго. И если онъ все-таки усвоилъ себѣ извѣстныя убѣжденія, если онъ вышелъ не пустымъ, безпринципнымъ человѣкомъ, то этимъ онъ обязанъ самому себѣ, своей здоровой натурѣ, природному уму, жаждѣ знанія и упорству въ трудѣ. Очевидно, онъ не мало читалъ и умѣлъ работать головой. И, конечно, онъ перерабатывалъ и осмысливалъ впечатлѣнія дѣтства, вдумывался въ идеи, усвояемыя изъ книгъ, и въ то, что являла русская дѣйствительность. 2) Живя въ Петербургѣ и въ Парижѣ съ молодой женой, ведшей свѣтскую, разсѣянную жизнь, онъ не увлекся приманками и утѣхами этой жизни, онъ сознавалъ ея пустоту, и его тянуло къ книгѣ, къ работѣ мысли. Онъ не переставалъ учиться. Въ Петербургѣ „онъ принялся опять за собственное, по его мнѣнію недоконченное, воспитаніе, опять сталъ читать, приступилъ даже къ изученію англійскаго языка. Странно было видѣть его могучую, широкоплечую фигуру, вѣчно согнутую надъ письменнымъ столомъ, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро онъ проводилъ за работой...“ (XV). Въ Парижѣ онъ... „слушалъ лекціи въ Sorbone и Collège de France, слѣдилъ за преніями палатъ, принялся за переводъ извѣстнаго ученаго сочиненія объ ирригаціяхъ“ (XV).—Тѣмъ временемъ онъ лелѣялъ планы будущей дѣятельности въ Россіи, хотя ему самому было еще неясно, въ чемъ собственно должна состоять эта дѣятельность.—3) Жизнь за границей, повидимому, не внушила ему какого-либо отрицательнаго отношенія къ Западу (тѣмъ паче—мысли о его „гніеніи“); но она и не захватила его, не заинтересовала такъ, чтобы онъ могъ сдѣлаться „запад-

никомъ“ — по строю мысли или же просто по вкусамъ, привычкамъ, пристрастію къ условіямъ европейской жизни. Изъ него—даже при лучшихъ условіяхъ—не вышелъ бы такой „вѣчный туристъ“, какимъ былъ, напр., В. Боткинъ, частью П. В. Анненковъ, или такой „проживатель за границей“, какъ Гоголь или Тургеневъ.—Еще до разрыва съ женой, хотя онъ и не скучалъ въ Парижѣ, но „жизнь подчасъ тяжела становилась у него на плечахъ, — тяжела, потому что пуста“ (XV). Лаврецкій и за границей оставался, какъ въ Петербургѣ и Москвѣ,—одинокъ.

Эти указанія наводятъ насъ на мысль, что Тургеневъ, задумавъ типъ Лаврецкаго, сознательно поставилъ своего героя внѣ той сферы, гдѣ въ 30-хъ годахъ и 40-хъ годахъ вырабатывались идеи и направленія, западническія и слафянофильскія, гдѣ, при помощи Гегеля и въ нескончаемыхъ спорахъ, выковывались элементы личнаго, общественнаго и національнаго самосознанія. Рисуя Лаврецкаго, Тургеневъ видимо старается обойти и Гегеля, и всякую „доктрину“, и кружковые споры, и безпредметные восторги, и все, что такъ ярко изображено въ „Рудинѣ“. Въ этомъ отчасти можно усматривать нѣкоторый отпечатокъ того времени, когда писался романъ, когда давно уже распались идеалистическіе кружки, давно замолкли былые кружковые споры, и сама философія, въ томъ числѣ и Гегелевская, не имѣла уже прежней власти надъ умами. И, пожалуй, здѣсь приходится видѣть родъ анахронизма: въ 50-хъ годахъ могли появляться „славянофилы“ — Лаврецкіе внѣ района московскихъ или иныхъ кружковъ и безъ содѣйствія Гегеля,—ибо „такъ складывалась жизнь“. Но въ 40-хъ годахъ этого не было: старое „правовѣрное“ славянофильство вышло, вмѣстѣ съ таковымъ же западничествомъ, изъ нѣдръ московской кружковой жизни, университетской среды и журналистики, при непремѣнномъ содѣйствіи Гегеля. И въ этомъ отношеніи люди 40-хъ годовъ не находятъ себѣ въ Лаврецкомъ вѣрнаго

и типичнаго представителя. Кажется, самъ Тургеневъ почувствовалъ это—и пошелъ на „компромиссъ“: онъ заставилъ Лаврецкаго пробыть 3 года въ Москвѣ студентомъ и, кромѣ того, свелъ его съ восторженнымъ, вѣчно-кипящимъ „идеалистомъ“ Михалевичемъ. Этимъ „компромиссомъ“ значительно ослабляется тотъ „анахронизмъ“, на который я указалъ: Лаврецкій, не участвуя въ кружковой жизни, могъ черезъ Михалевича знакомиться съ идеями и настроеніями, вырабатывавшимися или возникавшими тамъ, какъ могъ узнать кое-что по этой части въ стѣнахъ университета.

Но спрашивается: зачѣмъ было Тургеневу прибѣгать къ этому компромиссу? Онъ могъ бы устранить „анахронизмъ“, вкравшійся въ его трудъ, гораздо проще и лучше другимъ путемъ: стоило только ввести Лаврецкаго-студента въ кружки 30-хъ годовъ и потомъ вывести его оттуда славянофиломъ или, по крайней мѣрѣ, идеалистомъ, склоняющимся къ національизму и славянофильской идеѣ.—Почему Тургеневъ не сдѣлалъ этого, а, напротивъ, уединилъ, изолировалъ своего героя отъ среды, отъ движенія умовъ и предоставилъ его, такъ сказать, самому себѣ?

Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ весь эпизодъ о предкахъ Лаврецкаго, въ особенности о его отцѣ, потомъ—о его воспитаніи и первыхъ сознательныхъ движеніяхъ его мысли еще въ деревнѣ. Обиліе подробностей, тщательная обработка всей этой темы, строгая обдуманность картины, развертывающейся передъ нами въ главахъ VIII—XII—все это ясно указываетъ на руководящую мысль Тургенева, на задачу, которую онъ поставилъ себѣ.

Эта задача состояла въ томъ, чтобы помощью историческаго экскурса въ XVIII вѣкъ и начало XIX, показать закономѣрность, историческую необходимость появленія у насъ того умонастроенія, которое съ наибольшею яркостью проявлялось у лучшихъ изъ славянофиловъ и сущность котораго сводилась къ естественной и здоровой реакціи,

противъ уродливостей подражанія западнымъ образцамъ, поверхностнаго перениманія понятій, идей, нравовъ, шедшихъ съ Запада,—безъ толку, безъ критики, безъ самостоятельной работы мысли и почти всегда въ сопровожденіи барскаго презрѣнія ко всему русскому вообще, къ закрѣпощенному народу въ частности. Эта реакція сказывалась, какъ извѣстно, еще въ XVIII вѣкѣ, преимущественно въ формѣ національно-патріотической и часто съ окраскою политическаго консерватизма, потомъ, въ эпоху „Александровскую“, довольно ярко выразилась въ окраскѣ либеральныхъ идей и также—демократическихъ, въ стремленіяхъ и дѣятельности лучшихъ людей времени, напр., у Грибоѣдова, у многихъ изъ декабристовъ. Тургеневъ хотѣлъ въ лицѣ Лаврецкаго вывести новаго представителя этого националистическаго и въ то же время передового и демократическаго направленія, какъ оно развивалось и выражалось въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, но только по возможности отгородивъ его отъ искусственныхъ воздѣйствій философіи, доктрины, юной мечты, юныхъ идеалистическихъ убѣжденій, подогрѣваемыхъ и обостряемыхъ спорами, столкновеніемъ мнѣній, взаимнымъ ожесточеніемъ спорщиковъ. Ему хотѣлось въ указанной національно-демократической реакціи выдѣлить ея здоровое зерно, ея психологически-законную суть, о которой уже нельзя сказать, что она вычитана изъ книгъ и взята изъ Гегеля. И когда онъ рисовалъ Лаврецкаго, ему въ качествѣ „натуры“, очевидно, представлялся не Хомяковъ, спорщикъ и діалектикъ, и даже не Константинъ Аксаковъ, фанатикъ и прямолинейный адептъ „системы“, которую такъ не жаловалъ Тургеневъ, а скорѣе всего Иванъ Аксаковъ, какимъ онъ былъ въ 40-хъ и 50-хъ годахъ. Во всякомъ случаѣ старые московскіе славянофилы 40-хъ годовъ, гегеліанцы, діалектики, систематики, не нашли въ Лаврецкомъ обобщающаго и воспроизводящаго ихъ образа. Въ этотъ образъ совсѣмъ ужъ ничего не вошло, напр., отъ Погодина или

Шевырева. Отъ него не отдаетъ ни кваснымъ патріотизмомъ ни философіей славянофильства, ни византинизмомъ Хомякова, ни историческимъ романтизмомъ К. Аксакова, ни, наконецъ, правовѣрною религіозностью, свойственною большинству славянофиловъ. Но зато—для своего героя—поэтъ взялъ у лучшихъ людей стараго славянофильства нѣчто болѣе цѣнное и психологически-важное, нѣчто болѣе „душевное"—глубокую „гражданскую" скорбь при видѣ уродствъ русской дѣйствительности, перекраиваемой безъ смысла на чужой образецъ, не всегда хорошій, уваженіе къ народности и любовь къ народу, наконецъ живую потребность найти въ русской жизни хоть что-нибудь самобытное и прогрессивное, на чемъ можно было бы опереться и обосновать дѣятельность, одушевляемую лучшими общечеловѣческими идеалами.

4.

Здѣсь будетъ у мѣста привести нѣкоторыя черты изъ личныхъ отношеній Тургенева представителямъ славянофильства, именно тѣ, въ которыхъ сказалось настроеніе поэта въ 50-хъ годахъ.

Тургеневъ сталъ, если можно такъ выразиться, присматриваться къ славянофиламъ еще съ конца 40-хъ годовъ. Съ 1850-го года онъ особенно сближается съ Аксаковыми [1]). Онъ усердно слѣдитъ въ это время за славянофильскими изданіями и ведетъ дѣятельную переписку со старикомъ С. Т. Аксаковымъ и его сыновьями. Сочиненія С. Т. Аксакова („Записки ружейнаго охотника", потомъ „Семейная хроника" и др.) возбуждаютъ въ немъ большой интересъ и сочувствіе, и онъ пишетъ для „Современника"

---

1) „Русск. Обозр.", 1894, авг. „Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковыхъ къ И. С. Тургеневу" (1851—1852 гг.) съ поясненіями акад. Л. Н. Майкова, стр. 450.

хвалебную рецензію о „Запискахъ ружейнаго охотника“.—Переписка ведется въ дружескомъ, задушевномъ тонѣ. Мѣстами корреспонденты вступаютъ въ полемику, при чемъ оппонентомъ Тургенева является преимущественно Конт. Серг. Аксаковъ, рѣже—Иванъ Серг. Аксаковъ.—Въ письмѣ отъ 4 окт. 1852 г. послѣдній упрекаетъ Тургенева за сохраненіе въ отдѣльномъ изданіи „Записокъ охотника“ фигуры Лобозвонова,—какъ извѣстно, пародіи на Конст. Сергѣевича. — „Вы могли это написать въ 1847 г., но теперь, для краснаго словца, вы пожертвовали истиной...“, пишетъ Иванъ Серг. Аксаковъ, и въ дальнѣйшемъ указываетъ на то, что теперь, въ 1852 г., общее мнѣніе о славянофильствѣ радикально измѣнилось, и самъ Тургеневъ уже иначе относится къ нимъ, не такъ, какъ прежде. Изъ этого же письма видно, что разсказъ „Муму“ былъ предназначенъ для „Сборника“, который хотѣла издать группа московскихъ славянофиловъ. И. С. Аксаковъ уже получилъ рукопись и въ восторгѣ отъ разсказа. Въ дворникѣ Герасимѣ онъ видитъ „олицетвореніе русскаго народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаленія къ себѣ и въ себя, его молчанія на всѣ запросы его нравственныхъ, честныхъ побужденій“.—Повидимому, и безъ вліянія своихъ славянофильскихъ друзей Тургеневъ принимается за изученіе русской исторіи, о чемъ и извѣщаетъ ихъ въ письмѣ отъ 6-го іюня 1852 г.: „Я эту зиму чрезвычайно много занимался русской исторіей и русскими древностями: прочелъ Сахарова, Терещенку. Снегирева e tutti quanti. Въ особый восторгъ привелъ меня Кирша Даниловъ.—Ваську Буслаева считаю я эпосомъ русскимъ, но къ результатамъ (привело) меня это все далеко не столь отраднымъ, какъ васъ, любезный К. С. [1]),—во всякомъ случаѣ къ другимъ результатамъ“ („Вѣстн. Евр.“, 1894, янв., стр. 334). — Теоретическія разногласія, на кото-

[1]) Константинъ Сергѣевичъ.

рыя мѣстами указываютъ письма, не мѣшали взаимному уваженію и симпатіи. Эти разногласія, повидимому, чувствовались преимущественно тогда, когда славянофильское воззрѣніе предъявлялось Константиномъ Аксаковымъ, наиболѣе рѣзкимъ и прямолинейнымъ представителемъ ученія. По крайней мѣрѣ, возраженія Тургенева адресуются обыкновенно ему лично. Такъ, въ письмѣ къ С. Т. Аксакову отъ 17 окт. 1852 г. читаемъ: „Къ сему письму приложено отъ меня нѣсколько словъ К—у С—чу насчетъ его замѣчаній, которыя я большею частью признаю справедливыми, хотя въ коренномъ нашемъ воззрѣніи на русскую жизнь, а оттого и на русское искусство, мы расходимся. Онъ это, я думаю, знаетъ; но чего онъ не знаетъ, можетъ быть, вполнѣ, это—та горячая симпатія, которую я чувствую къ его благородной и искренней натурѣ" („Вѣстн. Евр.", 1894, янв., 337).—Любопытно также обращенное къ Конст. Аксакову письмо отъ 16 янв. 1853 г., гдѣ между прочимъ Тургеневъ выражаетъ свое согласіе съ отрицательною оцѣнкою К. Аксаковымъ теоріи „родового быта" Соловьева и Кавелина и говоритъ, что эта теорія ему всегда казалась „чѣмъ-то искусственнымъ, систематическимъ, чѣмъ-то напоминавшимъ наши давно прошедшія гимнастическія упражненія на поприщѣ философіи".—„Всякая система,—продолжаетъ онъ,—въ хорошемъ и дурномъ смыслѣ этого слова—не русская вещь..."—Далѣе онъ указываетъ на свое разногласіе къ К. Аксаковымъ въ выводахъ: „... взглядъ вашъ вѣренъ и ясенъ, но, признаюсь вамъ откровенно, въ выводахъ вашихъ я согласиться не могу: вы рисуете картину вѣрную и, окончивъ ее, восклицаете: какъ все это прекрасно!.. Я никакъ не могу повторить этого восклицанія вслѣдъ за вами" („Вѣстн. Евр.", 1894 г., янв., стр. 340).—Дѣло идетъ объ идеализаціи „общиннаго быта и о противопоставленіи Россіи, искони крѣпкой духомъ „общинности", индивидуалистическому Западу. Ничего хорошаго, какъ

извѣстно, Тургеневъ въ общинѣ не видѣлъ. И вотъ здѣсь онъ напоминаетъ А. Аксакову эпизодъ изъ былины о Васькѣ Буслаевѣ и мертвой головѣ. „Мы обращаемся съ Западомъ,— поясняетъ онъ,—какъ Васька Буслаевъ съ мертвой головой— подбрасываемъ его ногой — а сами... Вы помните, Васька Буслаевъ взошелъ на гору, да и сломилъ себѣ на прыжкѣ шею. Прочтите, пожалуйста, отвѣтъ ему мертвой головы“ [1]) (тамъ же).

Въ 1853-мъ г. (6 марта) Тургеневъ пишетъ С. Т. Аксакову, что видѣлся въ Орлѣ съ П. В. Кирѣевскимъ, и отзывается о немъ такъ: „это человѣкъ хрустальной чистоты и прозрачности, его нельзя не полюбить“ („Вѣстн. Евр.“, 1894, февр., стр. 469). — Въ ноябрѣ того же года заѣхалъ къ Тургеневу въ Спасское Иванъ Серг. Аксаковъ, и поэтъ извѣщаетъ объ этомъ его отца такъ: „Дорогой гость... былъ у меня третьяго дня и просидѣлъ до вечера. Вы можете себѣ представить, какъ я былъ ему радъ и какъ много мы съ нимъ толковали и разговаривали. Это посѣщеніе было для меня истиннымъ праздникомъ“ („Вѣстн. Евр.“, 1894, февр., стр. 480).

Наступившая послѣ Крымской кампаніи новая эпоха оживила и настроеніе, и переписку друзей. Завѣтныя мечты и упованія у нихъ были одни и тѣ же, при всѣхъ теоретическихъ разногласіяхъ. Указаніе на эти послѣднія находимъ

---

[1]) Эта ссылка (по другому поводу, но при этомъ — попутно — въ томъ же полемическомъ направленіи) сдѣлана, много лѣтъ спустя, въ „Дымѣ“, гл. XXV, гдѣ Потугинъ повѣствуетъ: „Васька хочетъ тоже свое счастіе извѣдать. И попадается ему мертвая голова, человѣчья кость; онъ пихаетъ ее ногой. Ну, и говоритъ ему голова: „Что ты пихаешься? Умѣлъ я жить, умѣю и въ пыли валяться—и тебѣ то же будетъ“. И точно: Васька прыгаетъ черезъ камень, и совсѣмъ было перескочилъ, да каблукомъ задѣлъ и голову себѣ сломилъ. И тутъ я кстати долженъ замѣтить, что друзьямъ моимъ славянофиламъ, великимъ охотникамъ пихать ногою всякія мертвыя головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься надъ этою былиною“.

еще разъ въ письмѣ Тургенева отъ 25 мая 1856 г., и они относятся и здѣсь спеціально къ Конст. Аксакову. „Семейная хроника",—пишетъ поэтъ, — вещь положительно эпическая, а съ Константиномъ Серг., я боюсь, мы никогда не сойдемся. Онъ въ „мірѣ" видитъ какое-то всеобщее лѣкарство, панацею, альфу и омегу русской жизни; а я, признавая его особенность и свойственность—если такъ можно выразиться—Россіи, все-таки вижу въ немъ одну лишь первоначальную, основную почву, но не болѣе какъ почву, форму, на которой строится, а не въ которую выливается государство. Дерево безъ корней быть не можетъ; но К. С., мнѣ кажется, желалъ бы видѣть корни на вѣтвяхъ. Право личности имъ [1]), что ни говори, уничтожается, а я за это право сражаюсь до сихъ поръ и буду сражаться до конца [2]) („Вѣстн. Евр.", 1894 февр., стр. 495).

Въ письмѣ отъ 1 ноября 1856 г. (уже изъ Парижа) важно отмѣтить слѣдующія строки: „Что касается до меня, то пребываніе во Франціи произвело на меня обычное свое дѣйствіе: все, что я вижу и слышу, какъ-то тѣснѣе и ближе прижимаетъ меня къ Россіи, все родное становится мнѣ вдойнѣ дорого..." (тамъ же, 496).

Въ связи съ такимъ настроеніемъ проявлялось у Тургенева въ ту пору и отрицательное отношеніе къ тогдашней (наполеоновской) Франціи, къ Парижу и къ французской литературѣ, объ оскудѣніи и измельчаніи которой онъ въ рѣзкомъ тонѣ говоритъ въ письмѣ отъ 8 янв. 1857 г. (изъ Парижа).—Здѣсь находимъ такія выраженія, какъ: „дребезжащіе звуки Гюго", „хилое хныканіе Ламартина", даже—„болтовня зарапортовавшейся Сандъ"... — „Общій уровень

---

1) Крестьянскимъ „міромъ", общиною.

2) Курсивъ мой.

нравственности понижается съ каждымъ днемъ", читаемъ тутъ же, „и жажда золота томитъ всѣхъ и каждаго,—вотъ вамъ Франція!" („Вѣстн. Евр.", 1894, февр., стр. 488).

Все это рисуетъ намъ особое настроеніе Тургенева, такое, которое какъ разъ было подъ-стать для созданія фигуры „славянофила" Лаврецкаго, для воспроизведенія"—въ извѣстныхъ чертахъ—парижской жизни его жены, Варвары Павловны, для сатирическаго изображенія—въ лицѣ Паншина—поверхностнаго, пошлаго западничества,—вообще для того, чтобы взять надлежащій тонъ и найти строй тѣхъ идей и чувствъ, которыя такъ поэтически, можно сказать: „музыкально", выражены въ романѣ „Дворянское Гнѣздо".

5.

Вернемся къ роману и присмотримся ближе къ тому, что представляетъ собою Лаврецкій.

Напрасно будемъ искать у него, да и вообще въ романѣ славянофильской доктрины, своеобразной „философіи исторіи", разработанной Ив. Кирѣевскимъ, К. Аксаковымъ, Хомяковымъ, ихъ идеалистическаго „византинизма" и т. д. Взамѣнъ всего этого находимъ ярко выраженное тяготѣніе къ Россіи, „чувство родины", отвращеніе къ сутолокѣ западно-европейской (парижской) жизни и то настроеніе которое выше мы отмѣтили у самого Тургенева въ 1856—1857 годахъ, т.-е. непосредственно передъ тѣмъ, какъ идея „Дворянскаго Гнѣзда" и типъ Лаврецкаго стали складываться въ его умѣ.

Въ главахъ XVIII—XX описанъ, съ необыкновеннымъ мастерствомъ въ передачѣ ощущеній и настроенія, пріѣздъ Лаврецкаго въ деревню.

Передъ нами картина русской дореформенной деревни, съ ея патріархальнымъ складомъ... или, вѣрнѣе, деревен-

ской жизни помѣщика-дворянина, барина-идеалиста, который послѣ треволненій и разочарованій столичной и заграничной жизни возвращается, одинокій и грустный, на родное пепелище и ищетъ отрады одиночества въ старинномъ господскомъ домѣ, давно необитаемомъ, въ старомъ, тѣнистомъ саду, давно запущенномъ. Онъ хочетъ отдохнуть душою на лонѣ убаюкивающей деревенской тишины, дремотной и чуткой, среди которой такъ хорошо мечтать и перебирать прошлое, подводить итоги своей жизни, строить планы будущей дѣятельности и, не спѣша, исподволь начинать... хотѣть жить и работать. „И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой *бездѣйственной*[1]) тиши!" (гл. XX). Благодѣтельная лѣнь мысли, врачующая дремота чувствъ залѣчиваетъ старыя раны. Нѣтъ суеты, некуда спѣшить, не зачѣмъ и не для чего кипѣть и волноваться...

Незыблемы еще устои крѣпостного строя, ихъ, повидимому, нельзя и тронуть, но можно смягчить отношенія, „улучшить бытъ" крестьянъ, можно снять съ нихъ лишнюю тяготу барщины или оброка, быть для нихъ отцомъ роднымъ, благодѣтелемъ. Въ этомъ смыслѣ здѣсь, среди этой, на видъ остановившейся жизни, можно много добра сдѣлать,—и все останется попрежнему неподвижно. Хорошо здѣсь и мечтать, но эта мечта бездѣйственна; всеобщая неподвижность отрезвляетъ. Застывшая жизнь и дремотная тишь одинаково благопріятны и мечтѣ, и „трезвости". И получается какое-то оздоровляющее и пріятное равновѣсіе духа!—„Вотъ когда я на днѣ рѣки", думалъ Лаврецкій. „И всегда, во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь.. Кто входитъ въ ея кругъ—покоряйся: здѣсь не зачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку, не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ..." (XX). „На женскую любовь ушли мои

[1]) Курсивъ мой.

лучшіе годы", продолжаетъ думать Лаврецкій, „пусть же вытрезвитъ меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло" [1]) (XX). Въ чемъ же будетъ состоять это дѣло? Какія цѣли можно бы поставить себѣ? Какія средства должны быть примѣнены? Все это пока не ясно. Ясно одно: нужно дѣлать дѣло не спѣша. Да и куда спѣшить? Зачѣмъ торопиться? Сама жизнь здѣсь никуда не спѣшитъ... Тишина убаюкиваетъ, и, заколдованный ею, Лаврецкій все „прислушивается" къ ней, „ничего не ожидая и въ то же время какъ будто бы ожидая чего-то..." (XX). И въ дремотѣ созерцаній, въ ласкающемъ переливѣ грустныхъ мыслей, сонныхъ чувствъ—„скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ, какъ весенній снѣгъ,—и странное дѣло!— никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины" [1]).

Въ этомъ „глубокомъ и сильномъ чувствѣ родины"—вся суть „славянофильства" Лаврецкаго.

Но какъ ни властна тишина деревни, какъ ни обворожительна прелесть созерцанія и дремоты думъ и чувствъ,— Лаврецкому все-таки не удалось заснуть на этомъ глубокомъ и сильномъ „чувствѣ родины".

Шумъ ворвался въ его тихое убѣжище—въ лицѣ вѣчно-кипящаго, неугомоннаго Михалевича, и Лаврецкому пришлось выдержать всенощный споръ,—„одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди" (XXV).—И спору этому, при всей его комичности и кажущейся безтолковости, нельзя однако отказать въ нѣкоторомъ смыслѣ и принципіальномъ значеніи. Можно даже сказать, что онъ разбудилъ Лаврецкаго отъ затягивавшей его спячки. Михалевичъ напалъ на главную душевную „позицію противника". Онъ представилъ въ преувеличенномъ

---

[1]) Курсивъ мой.

видѣ ту дремоту душевныхъ силъ, въ которую втягивался Лаврецкій, и выругалъ его байбакомъ, лѣнтяемъ, скептикомъ, даже вольтеріанцемъ. „И когда же, гдѣ же вздумали люди обайбачиться?—кричалъ онъ подъ конецъ спора, въ 4 часа утра—у насъ! теперь! въ Россіи! когда на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая предъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собою! Мы спимъ, а время уходитъ...“ [1]) (XXV).—И что же? Проводивъ пріятеля, Лаврецкій подумалъ: „А вѣдь онъ, пожалуй, правъ... пожалуй, что я байбакъ“.—„Многія изъ словъ Михалевича,—добавляетъ Тургеневъ,—*неотразимо вошли ему въ душу* [2]), хотя онъ и спорилъ и не соглашался съ нимъ“ (XXV).

„Глубокое и сильное чувство родины, которое Тургеневъ самъ испыталъ въ 1856—1857 годахъ, проживая въ Парижѣ, а потомъ изобразилъ въ XX главѣ „Дворянскаго гнѣзда“, очевидно, по наблюденію поэта, заключаетъ въ своемъ психологическомъ составѣ нѣчто лѣниво-сонное, нѣчто убаюкивающее. Многое зависитъ тутъ, конечно, отъ свойствъ самой родины. Если она представляетъ собою громадное, неподвижное цѣлое, застывшее въ исторически-сложившихся формахъ, какимъ была дореформенная Россія, то, разумѣется, этотъ усыпляющій элементъ „чувства родины“ получаетъ особливую силу. И оно становится чувствомъ „бездѣйственнымъ“, какъ та деревенская „тишь“. Оно сковываетъ волю человѣка и, подавляя въ немъ гражданина и дѣятеля, нечувствительно, шагъ за шагомъ, ведетъ его къ „примиренію съ дѣйствительностью“.

Вотъ именно на этомъ-то опасномъ пути и находился Лаврецкій. Вѣроятно, онъ самъ раньше или позже сумѣлъ

---

[1]) Это также отзывается второй половиной 50-хъ гг., эпохой пробужденія и „новыхъ вѣяній“.

[2]) Курсивъ мой.

бы свернуть съ него въ другую сторону. Но Михалевичъ ускорилъ дѣло, указавъ ему на опасность опуститься, „примириться", „обабиться".

6.

Единственное мѣсто, гдѣ авторъ нѣсколько опредѣлительнѣе вводитъ насъ въ кругъ идей (а не только настроенія) Лаврецкаго, это—то, гдѣ описанъ его споръ съ Паншинымъ (гл. XXXIII).

Паншинъ высказываетъ шаблонныя западническія мысли, ставшія „общимъ мѣстомъ", въ родѣ того, что мы „только наполовину сдѣлались европейцами", что „Россія отстала отъ Европы" и „нужно подогнать ее",—„мы поневолѣ должны заимствовать у другихъ" и т. д. „Всѣ народы,—заявляетъ онъ—въ сущности одинаковы; вводите только хорошія учрежденія и дѣло съ концомъ. Пожалуй, можно приноравливаться къ существующему народному быту; это наше дѣло, дѣло людей... (онъ чуть не сказалъ: государственныхъ) служащихъ; учрежденія передѣлаютъ самый этотъ бытъ".—Лаврецкій сталъ возражать и „покойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ". А именно: „онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, **требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею**[1], того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна; не отклонился, наконецъ, отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ" (XXXIII).

На вопросъ Паншина: „что же вы намѣрены дѣлать въ

[1] Курсивъ мой.

Россіи?—онъ отвѣчаетъ: „Пахать землю и стараться какъ можно лучше ее пахать“. — Но мы понимаемъ, что этою сельскохозяйственною стороною его дѣятельность не ограничится.

Въ „Эпилогѣ“ мы узнаемъ, что онъ добросовѣстно выполнилъ свою „программу“: „онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ“ [1]).

А что касается западника Паншина, то онъ, устроившись въ Петербургѣ, сдѣлался заурядным чиновникомъ-карьеристомъ и „мѣтитъ уже въ директоры“.

Итакъ, „славянофилъ“ Лаврецкій — человѣкъ земли, дѣятель, можетъ быть, и не блещущій особливой энергіей и иниціативой, но во всякомъ случаѣ одушевленный положительнымъ идеаломъ, любовью къ родинѣ и народу, трудящійся—въ духѣ своихъ убѣжденій — на „нивѣ народной“.—Напротивъ, западникъ Паншинъ — пустой фразеръ, чиновникъ - карьеристъ, человѣкъ безъ настоящихъ убѣжденій...

Къ 40-мъ годамъ это не подходитъ, но „такъ складывалась жизнь“ въ 50-хъ.

7.

Постараемся теперь уяснить себѣ, какое мѣсто принадлежитъ Лаврецкому въ разсмотрѣнной нами серіи общественно - психологическихъ типовъ, открывающейся Онѣгинымъ.

Не трудно видѣть, что сравнительно съ Онѣгинымъ, Печоринымъ и Рудинымъ, Лаврецкій представлается наименѣе „лишнимъ человѣкомъ“, наименѣе „неудачникомъ“.

---

1) Курсивъ мой.

Неудачникъ онъ только въ личной жизни. Какъ величина общественная, какъ дѣятель, онъ не можетъ быть причисленъ къ этому сорту людей—безъ дѣла, безъ осуществленнаго призванія, безъ „общественной стоимости", людей, томящихся въ пустотѣ безцѣльной, неудавшейся жизни.—Если это такъ, то нельзя назвать его и „лишнимъ человѣкомъ" въ собственномъ смыслѣ.

Но есть и другая сторона медали.

Дѣло, которое дѣлаетъ Лаврецкій, составляетъ только минимумъ того, что нужно было, да и — пожалуй — можно было бы сдѣлать въ то время, принимая во вниманіе большія средства, которыми располагалъ Лаврецкій, его положеніе богатаго дворянина-помѣщика, наконецъ его личныя качества и силы. И въ самомъ дѣлѣ: этотъ богатый, родовитый, независимый, умный, образованный, полный силъ человѣкъ, ясно сознающій свою задачу, выработавшій себѣ простую и сравнительно удобоисполнимую программу жизни и дѣятельности, вѣдь могъ бы повести дѣло шире, захватить глубже, не ограничиваясь „паханіемъ" да „улучшеніемъ быта крестьянъ". Правда, время было глухое, и о крѣпостномъ правѣ было запрещено писать; но отпускать крестьянъ на волю и обезпечивать надѣломъ не запрещалось. Вспомнимъ привилегированное положеніе въ то время и „вѣсъ" богатыхъ дворянъ-помѣщиковъ въ провинціи: пользуясь этимъ положеніемъ и вѣсомъ, мыслящее барство той эпохи могло бы много сдѣлать для подготовки будущей эмансипаціи. Но оно оказалось въ этомъ отношеніи и неумѣлымъ, и медлительнымъ... Лаврецкій хоть что-нибудь сдѣлалъ... Но и онъ подлежитъ упреку въ барской медлительности, въ недостаткѣ иниціативы, въ неумѣніи придать своей программѣ должную широту. Мы не назовемъ его „байбакомъ", какъ назвалъ его Михалевичъ. Но „бариномъ"—назовемъ...

Это „барство" было основано на психологическомъ укла-

дѣ натуры не одного Лаврецкаго, но всего общественнаго класса, къ которому онъ принадлежалъ. Обратимъ вниманіе на общую медлительность, неповоротливость всѣхъ душевныхъ процессовъ въ немъ. Чтобы выйти на дорогу и взяться, какъ слѣдуетъ, за дѣло, ему понадобилось восемь лѣтъ (послѣ постриженія Лизы). „Въ теченіе этихъ 8 лѣтъ (читаемъ въ „Эпилогѣ") совершился, наконецъ, переломъ въ его жизни [1]), тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца: онъ дѣйствительно пересталъ думать о собственномъ счастьѣ, о своекорыстныхъ цѣляхъ"... Лучшее время жизни и большую часть своихъ незаурядныхъ силъ Лаврецкій потратилъ на погоню за личнымъ счастьемъ, и только когда оно оказалось недостижимымъ, онъ, измученный душевно, затаивъ глубокую скорбь, принялся за дѣло—почти какъ за средство забыться, скрасить жизнь. Далеко не безплодна его работа, и его жизнь, несомнѣнно, получила и смыслъ, и общественное значеніе... Но, при всемъ томъ, мы хорошо понимаемъ и возможность, и глубокій смыслъ, и всю скорбь тѣхъ думъ, которымъ онъ предается (въ „Эпилогѣ"), обращаясь мысленно къ беззаботному, шумному поколѣнію, водворившемуся въ домѣ Калитиныхъ: „Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы! Жизнь у васъ впереди... вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать дорогу, бороться, падать... Мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть... [1]) а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать... А мнѣ... остается отдать вамъ послѣдній поклонъ—и... сказать, въ виду конца, въ виду ожидающаго Бога: здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!.."

Было что-то особо-трагическое въ положеніи людей 40-хъ годовъ, что дѣлало даже лучшихъ и наиболѣе дѣя-

---

[1]) Курсивъ мой.

тельныхъ изъ нихъ въ своемъ родѣ „лишними", что мѣшало имъ развернуть всѣ свои силы, осуществить въ полной мѣрѣ свою „общественную стоимость".

Это „трагическое" въ ихъ положеніи, въ ихъ психологіи заслуживаетъ ближайшаго разсмотрѣнія.

До сихъ поръ, упрощая задачу, мы говорили о „людяхъ 40-хъ годовъ" такъ, какъ будто въ ту эпоху ничего не было у насъ, кромѣ дореформенныхъ порядковъ и той умственной культуры, которую представляли они, эти люди, на разныхъ поприщахъ возможной тогда дѣятельности,— въ литературѣ, въ наукѣ, на университетской каѳедрѣ, въ деревнѣ, на службѣ... Но была еще одна „сила",— великая и творческая. И если подойти къ эпохѣ и лучшимъ людямъ ея со стороны того, что сотворила и выстрадала эта сила, то многое, иначе темное, прояснится и опредѣлится. Имя этой силы—Гоголь.

ГЛАВА VIII.

„Люди 40-хъ годовъ“ и Гоголь.

1.

Въ настоящее время трудно представить себѣ то огромное значеніе, какое имѣлъ въ 40-ые годы Гоголь (преимущественно какъ авторъ „Мертвыхъ душъ“) для передовыхъ людей обѣихъ партій, западнической и славянофильской. Ни Рудиныхъ, ни Лаврецкихъ нельзя понять безъ Гоголя, примѣрно такъ, какъ нельзя понять Чацкихъ безъ Грибоѣдова, а передовыхъ людей 60-хъ и 70-хъ годовъ безъ сатиры Салтыкова.

Въ извѣстномъ некрологѣ Гоголя (въ „Моск. Вѣд.“ отъ 13 марта 1852 г.) Тургеневъ писалъ: „Гоголь умеръ! Какую русскую душу не потрясутъ эти два слова? — Онъ умеръ. Потеря наша такъ жестока, такъ внезапна, что намъ все еще не хочется ей вѣрить. Въ то самое время, когда мы всѣ могли надѣяться, что онъ нарушитъ, наконецъ, свое долгое молчаніе, что онъ обрадуетъ, превзойдетъ наши нетерпѣливыя ожиданія,—пришла эта роковая вѣсть! Да, онъ умеръ, этотъ человѣкъ, котораго мы теперь имѣемъ право, горькое право, данное намъ смертью, назвать великимъ; человѣкъ, который своимъ именемъ означилъ эпоху въ исторіи русской литературы; человѣкъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ нашихъ“...

Чувство, вылившееся въ этихъ словахъ, раздѣлялось всѣми лучшими людьми эпохи. Въ некрологѣ, за который, какъ извѣстно, авторъ „Записокъ охотника" поплатился гауптвахтой и ссылкой въ деревню, сказался прежде всего человѣкъ 40-хъ годовъ, оплакивающій потерю могучаго властителя думъ того времени. Таковымъ и былъ Гоголь, несмотря на мистицизмъ, на отсталость нѣкоторыхъ взглядовъ, на отчужденность его отъ передовыхъ идей и вѣяній эпохи, на „Переписку съ друзьями" и уничтожающее письмо Бѣлинскаго.

Въ 40-хъ годахъ на великаго художника-сатирика были устремлены „полныя ожиданія очи" мыслящихъ людей безъ различія „партій" и направленій. Появленіе въ 1842 году „Мертвыхъ душъ" было цѣлымъ событіемъ. „Великая поэма" сулила, кромѣ великихъ умственныхъ наслажденій, какія-то новыя откровенія,—она должна была повѣдать важную, хотя и горькую, правду о Руси, о русскомъ человѣкѣ, о русской жизни. И вотъ что записалъ Герценъ въ свой „Дневникъ" подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только что прочитанной „Одиссеи" Павла Ивановича Чичикова: „...Мертвыя души" Гоголя —удивительная книга, горькій упрекъ современной Руси, но не безнадежный. Тамъ, гдѣ взглядъ можетъ проникнуть сквозь туманъ нечистыхъ, навозныхъ испареній, тамъ онъ видитъ удалую, полную силы національность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полнотѣ; не типы отвлеченные, а добрые люди, которыхъ каждый изъ насъ видѣлъ сто разъ. Грустно въ мірѣ Чичикова, такъ какъ грустно намъ въ самомъ дѣлѣ; и тамъ, и тутъ одно утѣшеніе въ вѣрѣ и упованіи на будущее. Но вѣру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упованіе ins Blaue, а имѣетъ реалистическую основу, кровь какъ-то хорошо обращается у русскаго въ груди... (подъ 11 іюня 1842 г.).

Какъ видно изъ этихъ строкъ, „поэма" произвела въ концѣ

концовъ бодрящее впечатлѣніе. Герценъ сразу уловилъ поэтическую идею Гоголя: дѣйствительности, изображенной въ чертахъ рѣзко-отрицательныхъ, пошлой жизни, нравственной и умственной темнотѣ противопоставлена „удаль“ русскаго человѣка, широкій размахъ „широкой русской натуры“. Эти черты Герценъ наблюдалъ и самъ и любилъ останавливаться на созерцаніи ихъ, на размышленіи о нихъ. Онъ видѣлъ здѣсь нѣкоторый залогъ лучшаго будущаго: натура у русскаго человѣка, въ особенности у народа, крѣпка, здорова, свѣжа; много силъ припасено и лежитъ подъ спудомъ; современемъ эти силы такъ или иначе обнаружатся, и дѣйствительность, съ которою такъ трудно было примириться лучшимъ людямъ дореформенной эпохи (Герценъ никогда съ нею не мирился), отойдетъ въ прошлое, исчезнетъ, какъ сонъ... Но тяжелъ и ужасенъ этотъ долгій историческій сонъ... Вдохновленный поэзіей „Мертвыхъ душъ“, Герценъ продолжаетъ размышлять на тему о здоровой сущности и душевномъ размахѣ русскаго человѣка: „Я часто смотрю изъ окна на бурлаковъ, особенно въ праздничный день, когда, подгулявши, съ бубнами и пѣньемъ они ѣдутъ на лодкѣ,—крикъ, свистъ, шумъ. Нѣмцу во снѣ не пригрезится такого гулянія; и потомъ въ бурю—какая дерзость, смѣлость, летитъ себѣ...“ Но тутъ же онъ сознается, что „все это ни одной іотой не уменьшаетъ горечь жизни...“ Эта горечь обусловливается прежде всего одиночествомъ мыслящаго человѣка на Руси: съ міромъ Чичиковыхъ у него нѣтъ ничего общаго, а народъ „не довѣряетъ“ ему. Герценъ говоритъ, что самъ испытываетъ это недовѣріе очень часто (тамъ же).

Любопытна также запись подъ 29 іюля того же года по поводу толковъ и споровъ о „Мертвыхъ душахъ“. Славянофилы увидѣли въ поэмѣ „апотеозу Руси“, „нашу Илліаду“, —говоритъ Герценъ.—Какъ извѣстно, это утвержалъ Конст. Аксаковъ,—къ великому огорченію Гоголя. Но, однако, не

всѣ славянофилы такъ смотрѣли: были и такіе, которые увидѣли въ поэмѣ „анаѳему Руси“ и ополчились на Гоголя. Приблизительно такъ же раздѣлились и западники („антиславянисты“). Такимъ образомъ, появленіе „Мертвыхъ душъ“ произвело расколъ въ обѣихъ партіяхъ. Герценъ держится особаго взгляда,—въ общемъ того самаго, который проводилъ Бѣлинскій. Онъ заноситъ въ „Дневникъ“: „Видѣть апотеозу смѣшно, видѣть одну анаѳему несправедливо. Есть слова примиренія, есть предчувствія и надежды будущаго полнаго и торжественнаго, но это не мѣшаетъ настоящему отражаться во всей отвратительной дѣйствительности...“ (тамъ же). Герценъ замѣтилъ и оцѣнилъ чередованіе у Гоголя сатиры и лирики: „...съ каждымъ шагомъ вязнете, тонете глубже, лирическое мѣсто вдругъ оживитъ, освѣтитъ и сейчасъ замѣняется опять картиной, напоминающей еще яснѣе, въ какомъ рвѣ ада находимся... „Мертвыя души“—поэма, глубоко выстраданная [1]). Мертвыя души? Это заглавіе само носитъ въ себѣ что-то наводящее ужасъ. И иначе онъ не могъ назвать, не ревизскія—мертвыя души, а всѣ эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti—вотъ мертвыя души, и мы ихъ встрѣчаемъ на каждомъ шагу...“ (тамъ же).

Великое произведеніе геніальнаго художника, столь далекаго отъ круга идей и отъ настроенія Герцена, однако удивительно гармонировало съ этими идеями и настроеніемъ. Оно затрогивало глубокія струны его души. И вотъ какія строки занесъ онъ въ свой „Дневникъ“ 10-го апрѣля 1843 года: „Сегодня я читалъ какую-то статью о „Мертвыхъ душахъ“ въ „Отеч. Зап.“, тамъ приложены отрывки. Между прочимъ—русскій пейзажъ (зимняя и лѣтняя дорога); перечитываніе этихъ строкъ задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь-Русь такъ живо представилась мнѣ, современный вопросъ такъ болѣзненно пов-

---

[1]) Курсивъ мой.

торялся, что я готовъ былъ рыдать [1]). Дологъ сонъ, тяжелъ. За что мы такъ рано проснулись—спать бы себѣ, какъ все около...“

Художественное творчество Гоголя, воплощавшее въ яркихъ, законченныхъ типахъ все отрицательное, все темное, пошлое и нравственно-убогое, чѣмъ такъ богата была дореформенная Россія, было для людей 40-хъ годовъ неоскудѣвающимъ источникомъ умственныхъ и нравственныхъ возбужденій. Темные Гоголевскіе типы, всѣ эти Собакевичи, Маниловы, Ноздревы, Чичиковы, явились для нихъ источникомъ свѣта, ибо они умѣли извлечь изъ этихъ образовъ скрытую мысль поэта, его поэтическую и человѣческую скорбь; его „незримыя, невѣдомыя міру слезы“, превращенныя въ „видимый смѣхъ“, были имъ и видны, и понятны. Великая скорбь художника шла отъ сердца къ сердцу...

Такое магическое дѣйствіе „поэмы“ испыталъ на себѣ еще Пушкинъ, когда, слушая чтеніе черновыхъ набросковъ „Мертвыхъ душъ“ изъ устъ автора, онъ произнесъ „голосомъ тоски“: „Боже, какъ грустна наша Россія!“ Къ этому-то восклицанію или тому душевному движенію, выраженіемъ котораго оно было, и сводятся въ концѣ концовъ разнообразныя мысли, чувства, настроенія, вызывавшіяся въ лучшихъ людяхъ эпохи геніальнымъ твореніемъ Гоголя. „Боже! Какъ грустна наша Россія, и какъ глубоко-трагично и безотрадно положеніе въ ней людей мыслящихъ, человѣчно-чувствующихъ, просвѣщенныхъ!“—такова распространенная формула, подъ которую можно подвести все то, что переживали лучшіе люди 40-хъ годовъ, читая и перечитывая похожденія Павла Ивановича Чичикова. Скорбная мысль о Руси, казалась застывшей въ типѣ крѣпостного и всякаго иногда безправія, скорбная мысль о себѣ самихъ, которымъ міръ Чичиковыхъ такъ національно близокъ и такъ прав-

---

[1]) Курсивъ мой.

ственно-чуждъ,—вотъ естественныя, раціональныя отправныя точки личнаго, общественнаго и національнаго самосознанія, установленію которыхъ великій поэтъ-сатирикъ способствовалъ могущественнѣе не только философіи Гегеля и другихъ просвѣтительныхъ вліяній, но даже поэзіи Пушкина. И мы вполнѣ признаемъ справедливость свидѣтельства Анненкова, который говоритъ о Бѣлинскомъ, что въ то время (послѣ появленія „Мертвыхъ душъ") всевозможные литературные вопросы и „яркая полемика" по ихъ поводу „не могли заслонить ни на минуту передъ Бѣлинскимъ чисто-русскаго вопроса, который тогда цѣликомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романѣ „Мертвыя души" [1]) („Воспом. и крит. очерки", III, стр. 103). „Онъ не уставалъ (читаемъ далѣе) указывать... почему являются на Руси типы такого безобразія, какіе выведены въ поэмѣ; почему могутъ совершаться на Руси такія невѣроятныя событія, какія въ ней разсказаны; почему могутъ существовать на Руси, не приводя никого въ ужасъ, такія рѣчи, мнѣнія, взгляды, какіе переданы въ ней.—Бѣлинскій думалъ, что добросовѣстный отвѣтъ на вопросъ можетъ сдѣлаться для человѣка, добывшаго его, программой дѣятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себѣ и другихъ" [1]) (тамъ же).

Чтобы дать все это лучшимъ умамъ эпохи, нужно было быть Гоголемъ съ его глубокою натурой плачущаго сатирика и съ его великимъ геніемъ художника. Чтобы получить все это отъ Гоголя, нужно было быть Бѣлинскимъ, Герценомъ, Грановскимъ и т. д. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что Гоголь творилъ для немногихъ, для из-

---

[1]) Курсивъ мой.

бранныхъ, и что только эти избранники и умѣли брать у него все, что онъ давалъ.

И мы понимаемъ, становясь на эту точку зрѣнія, глубокій смыслъ и всю правду страстныхъ словъ Бѣлинскаго въ его позднѣйшемъ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю: „Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страною, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса...“

Если вспомнимъ теперь, какъ высоко цѣнился геній Гоголя передовыми славянофилами, какимъ почетомъ, какою любовью, почти обожаніемъ былъ окруженъ творецъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ въ семьѣ Аксаковыхъ, то мы получимъ достаточно яркое представленіе о великомъ значеніи „комическаго писателя“ для мыслящей и передовой части русскаго общества въ 40-хъ годахъ. Онъ былъ для этой части настоящимъ и полноправнымъ „властителемъ думъ“.

2.

Въ интересахъ разъясненія этого обаянія Гоголя, этой власти его надъ умами и сердцами лучшихъ людей эпохи я позволю себѣ высказать нѣсколько соображеній, которыя можетъ быть, окажутся нелишними.

Художественному генію Гоголя, его огромной творческой работѣ, создавшей широкіе національные типы, яркія картины, богатый запасъ художественныхъ идей и обобщеній, принадлежитъ, разумѣется, первое мѣсто въ этомъ процессѣ „магическаго“ воздѣйствія поэта на общество или извѣстную часть его. Но все-таки, какъ ни велико художественное достоинство произведеній Гоголя, имъ однимъ

нельзя объяснить всего обаянія и всей его власти надъ умами.

Теперь, когда опубликована его обширная переписка, когда, благодаря трудамъ Тихонравова, Шенрока и другихъ, мы имѣемъ возможность глубже заглянуть во внутренній міръ и въ самый процессъ творчества этого необыкновеннаго человѣка,—выясняются нѣкоторыя интимныя психологическія связи, которыми творецъ „Мертвыхъ душъ" былъ связанъ съ эпохою 40-хъ годовъ, съ завѣтными думами, стремленіями и великою скорбью лучшихъ людей ея. Я постараюсь отмѣтить здѣсь важнѣйшія изъ этихъ связей.

Лучшій матеріалъ для этого даетъ та—психологическая, интимная—исторія эпохи, съ которою мы знакомимся по письмамъ, дневникамъ, воспоминаніямъ ея дѣятелей. Надъ чѣмъ задумывались они, какія чувства ихъ волновали, какія настроенія были у нихъ преобладающими и наиболѣе устойчивыми—вотъ вопросы, на которые матеріалъ писемъ, дневниковъ и т. д. даетъ опредѣленные и обстоятельные отвѣты. Разумѣется, мы имѣемъ въ виду лучшихъ людей, жившихъ сознательною жизнью и доработавшихся до извѣстной высоты гуманнаго развитія. Въ ихъ ряду мы найдемъ весьма различные умы, натуры, дарованія, но, при всѣхъ различіяхъ, они объединяются въ одну группу тѣмъ отличительнымъ признакомъ, что они переживали мыслью и чувствомъ рядъ особыхъ, характерныхъ для эпохи душевныхъ состояній, болѣе или менѣе скорбныхъ или тягостныхъ. Это были нравственныя страданія человѣческой личности, угнетаемой общею пошлостью и попираемой всеобщимъ безправіемъ. Глубокая гражданская скорбь и острое чувство негодованія звучатъ не только въ страстныхъ тирадахъ писемъ Бѣлинскаго, въ „Дневникѣ" и позднѣйшихъ воспоминаніяхъ („Былое и думы") Герцена, но, напр., и въ извѣстномъ „Дневникѣ" Никитенко.

Эти стоны, эти жалобы, это благородное негодованіе образуютъ цѣнное душевное достояніе, завѣщанное людьми 40-хъ годовъ послѣдующимъ поколѣніямъ. Нелишнимъ будетъ освѣжить въ памяти нѣкоторыя мѣста, хотя они и достаточно извѣстны.

Никитенко писалъ: „Печальное зрѣлище представляетъ наше современное общество! Въ немъ ни великодушныхъ стремленій, ни правосудія, ни простоты, ни чести въ нравахъ, словомъ, ничего свидѣтельствующаго о здравомъ, естественномъ и энергичномъ развитіи нравственныхъ силъ... Общественный развратъ такъ великъ, что понятія о чести, о справедливости считаются или слабодушіемъ, или признакомъ романической восторженности... Образованность наша—одно лицемѣріе... Зачѣмъ заботиться о пріобрѣтеніи познаній, когда наша жизнь и общество въ противоборствѣ со всѣми великими идеями и истинами, когда всякое покушеніе осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добрѣ, о пользѣ общей клеймится и преслѣдуется, какъ преступленіе? Къ чему воспитывать въ себѣ благородныя стремленія?..“ (подъ 15 янв. 1841 г.). „Я долженъ преподавать русскую литературу,—а гдѣ она? Развѣ литература у насъ пользуется правами гражданства?.. Я, какъ ребенокъ, какъ дуракъ, играю въ мечты и призраки! О, кровью сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклятое время, гдѣ существуетъ выдуманная, оффиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды—гдѣ общество возлагаетъ на насъ обязанности, которыя само презираетъ...“ (подъ 28 окт. 1841 г.). По поводу указа объ увеличеніи налога на заграничные паспорта (100 руб. сер. за полгода): „Вслѣдствіе положеннаго на нее запрета, Европа становится какою-то обѣтованною землей. Но вѣдь нельзя же, чтобы идеи изъ нея не проникли къ намъ... Вездѣ насилія и насилія, стѣсненія и ограниченія — нигдѣ простора бѣдному рус-

скому духу. Когда же и гдѣ этому конецъ?" (подъ 19 марта 1844 г.) [1]) „Чудная эта земля Россія! Полтораста лѣтъ прикидывались мы стремящимися къ образованію. Оказывается, что это было притворство и фальшь: мы улепетываемъ назадъ быстрѣе, чѣмъ когда-либо шли впередъ. Дивная, чудная земля!" (подъ 1 дек. 1848 г.).

Порядокъ мыслей и чувствъ, характеризуемый этими выдержками, проходитъ черезъ всю дореформенную часть дневника Никитенка, окрашивая ее опредѣленнымъ настроеніемъ, во многомъ совпадающимъ съ тѣмъ, которымъ проникнутъ дневникъ Герцена.

Я уже цитировалъ (въ гл. VI) то мѣсто изъ этого „Дневника", которое начинается словами: „Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія?..." Приведу здѣсь окончаніе тирады: „Была ли такая эпоха для какой-либо страны? Римъ въ послѣдніе вѣка существованія,—да и то нѣтъ. Тамъ были святыя воспоминанія, было прошедшее, наконецъ, оскорбленный состояніемъ родины могъ успокоиться на лонѣ юной религіи, являвшейся во всей чистотѣ и поэзіи. Насъ убиваетъ пустота и безпорядокъ въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ—отсутствіе всякихъ общихъ интересовъ..." (подъ 11 сент. 1842 г.).

Подъ 10 сент. того же года: „Когда безъ всякаго внѣшняго побужденія, безъ всякой причины со дна души поднимается какая-то давящая грусть, которая растетъ, растетъ, и вдругъ сдѣлается нѣмая, жестокая боль и такъ станетъ ясно все дурное, трагическое нашей жизни,—готовъ бы умереть, кажется. Суета послѣдняго времени заглушала

[1]) На эту мѣру откликнулся и Герценъ въ своемъ „Дневникѣ" подъ 30 марта того же 1844 года: „Никто ранѣе 25 лѣтъ не можетъ ѣхать за границу, пошлины 700 руб. въ годъ..." и т. д. „Всѣ эти оскорбительныя, исполненныя презрѣнія всѣхъ правъ, мѣры возрастаютъ... и вѣроятно долго продлятся. Какія плечи надобно имѣть, чтобы не сломиться..."

этотъ голосъ... Лишь только стало поспокойнѣе и лучше, **вѣчный голосъ скорби, вопль негодованія, вопль духа, рвущагося къ формѣ жизни полной, человѣческой, свободной, снова раздался...**" [1]) Подъ 25 сент. 1843 г.: „Грустно, тяжело,—грустно, страшное время и ничего впереди. Конечно, пройдутъ вѣка... стара пѣсня, разумѣется такъ, но видѣть около, возлѣ, и всю жизнь быть только страдательнымъ зрителемъ... Какую грудь, какія плечи надобно имѣть!"

Послѣдняя запись „Дневника", (подъ 29 окт. 1845 г.), начинается такъ: „И на послѣднемъ листѣ повторится то же, что было сказано на первомъ. Страшная эпоха для Россіи, въ которой мы живемъ, и не видать никакого выхода..."

У Бѣлинскаго это порядокъ чувствъ и настроеній переходилъ, какъ извѣстно, въ настоящій вопль измученной и возмущенной души. Вспомнимъ: „Мочи нѣтъ, куда ни взглянешь—душа возмущается, чувства оскорбляются... Вотъ уже нашъ кружокъ и разсыпался, и еще больше разсыплется, а куда преклонить голову, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе, гдѣ человѣчность?.. Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму, мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить..." (изъ письма къ Боткину отъ 14 марта 1840 г.,—уже было цитировано въ гл. III). То и дѣло встрѣчаются въ перепискѣ Бѣлинскаго характерныя выраженія: „гнусная россійская дѣйствительность", „россійская дѣйствительность ужасно гнететъ меня" (письмо отъ 16 апр. 1840 г.) и т. д. Въ письмѣ отъ 13 іюля того же года онъ говоритъ: „...На насъ обрушилось безалаберное состояніе общества, въ насъ отразился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ общества, силою отторгнутаго отъ своей непосредственности и принужденнаго тернистымъ путемъ итти къ пріобрѣтенію разумной непосредственности, къ оче-

---

[1]) Курсивъ мой.

ловѣченію. Положеніе истинно трагическое!... Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?..." Въ томъ же письмѣ находится и характерное выраженіе: „Любовь моя къ родному, къ русскому стала грустнѣе: это уже не прекраснодушный энтузіазмъ, но страдальческое чувство. Все субстанціональное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно, грязно, подло". Подъ этою гегельянскою терминологіей („субстанціональное"—сущность, основныя, постоянныя черты; „опредѣленіе"—временная, историческая форма выраженія сущности, какъ она обнаруживается въ индивидуумахъ, въ отдѣльныхъ классахъ и т. д.) скрывалась та самая идея, которую такъ геніально выразилъ Гоголь въ художественныхъ типахъ и картинахъ „Мертвыхъ душъ".

3.

Не умножая цитатъ этого рода, которыхъ можно было бы привести еще немало, скажу только, что всѣ эти выраженія недовольства, неудовлетворенности, негодованія и чувства отчужденности отъ широкой общественной среды должны быть разсматриваемы, какъ новый въ то время и важный фактъ въ исторіи умственнаго и нравственнаго развитія нашего общества. Чувствамъ, съ которыми мы имѣемъ здѣсь дѣло, нельзя отказать въ высокомъ подъемѣ и достоинствѣ, и они громко свидѣтельствуютъ о томъ, какъ быстро шло тогда развитіе личности, хотя оно и не захватывало широкой среды. Оно было въ высокой степени интенсивно, но вмѣстѣ съ тѣмъ было недостаточно экстенсивно. Хорошо мыслили и благородно чувствовали, скорбѣли и негодовали

немногіе, но зато эти немногіе создали большія цѣнности мысли и чувства. Эти „цѣнности" образовали большую психическую силу, которой, чтобы она дѣйствовала правильно и не становилась для ея обладателей бременемъ неудобоносимымъ, необходимъ былъ откликъ, исходъ и точка приложенія къ жизни. Душевныя настроенія этого порядка и имъ соотвѣтствующая работа мысли требуютъ, съ особливою настойчивостью, выраженія и раздѣленія. Оттуда, между прочимъ, образованіе кружковъ и обиліе интимной переписки и устныхъ изліяній. Оттуда также—живая потребность найти себѣ точку опоры въ самой жизни, опуститься съ облаковъ на землю. Мысли, чувства и настроенія, о которыхъ мы ведемъ рѣчь, движутся въ направленіи къ дѣйствительности, враждуя съ нею, и раньше или позже непремѣнно обнаружится ихъ тѣсное психологическое сродство съ пріемами и нормами реалистическаго мышленія (въ обширномъ смыслѣ,—какъ въ философіи и наукѣ, такъ и въ искусствѣ) [1].

Это станетъ вполнѣ понятно, если мы точнѣе опредѣлимъ психологическую природу данныхъ процессовъ мысли и чувства.

Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ идейнымъ отрицаніемъ дѣйствительности, какъ нравственнымъ правомъ личности, переросшей данный уровень общественнаго, моральнаго и національнаго сознанія. Гражданская скорбь, національный стыдъ, чув-

---

[1] Мастерской анализъ различныхъ эпизодовъ изъ интимной жизни Бѣлинскаго, Герцена и др.,—эпизодовъ, въ которыхъ ярко обнаружился этотъ поворотъ къ реализму мышленія, совпадавшій съ критикою и отрицаніемъ дѣйствительности, читатель найдетъ въ превосходныхъ статьяхъ П. Н. Милюкова: „Любовь у идеалистовъ 30-хъ годовъ", „По поводу переписки В. Г. Бѣлинскаго съ невѣстою", „Надеждинъ и первыя критическія статьи Бѣлинскаго", вошедшихъ въ книгу „Изъ исторіи русской интеллигенціи" (С.-Петерб. 1902 г.).

ство оскорбленнаго человѣческаго достоинства, негодованіе,—все это служитъ симптомами указаннаго роста личности. Сама эта личность не съ неба свалилась, а выросла изъ той же дѣйствительности; она—продуктъ этой послѣдней, и понятно, что между нею и дѣйствительностью устанавливаются сложныя отношенія взаимодѣйствія, которыя не позволятъ настроеніямъ, чувствамъ и мыслямъ личности выродиться въ безпредметную, отвлеченную скорбь, въ романтическую тоску, въ заоблачный порывъ, въ расплывчатый и безплодный Weltschmertz. Все это было и можетъ явиться вновь, но оно всегда было и будетъ признакомъ болѣзненной стороны въ развитіи личности,—недуговъ ея молодости, недуговъ ея старости, вообще симптомомъ ея неуравновѣшенности, иногда дряблости. Но при мало-мальски здоровомъ развитіи личности работа ея мысли и чувства тѣснѣйшимъ образомъ будетъ связана съ даннымъ порядкомъ вещей, съ опредѣленнымъ укладомъ общественныхъ отношеній, со всѣмъ обиходомъ и строемъ дѣйствительности, какъ она исторически сложилась и какою является въ данное время. И съ психологическою необходимостью вырабатываются у людей мыслящихъ и чувствующихъ такія потребности и склонности мысли, которыя дѣлаютъ этихъ людей р е а л и с т а м и въ ихъ общемъ міросозерцаніи, въ ихъ философіи, ихъ публицистикѣ, ихъ искусствѣ. Въ особенности дорожатъ они реализмомъ этого послѣдняго. Бредъ и фантазіи романтизма ихъ не удовлетворятъ. Имъ нужна п о э з і я д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и, которая одна можетъ дать имъ разгадку или по крайней мѣрѣ постановку ихъ личной задачи, сводящейся къ уясненію и установленію ихъ отношеній къ дѣйствительности, къ жизни, къ средѣ.

Изучая жизнь и дѣятельность людей 40-хъ годовъ, мы видимъ, какъ быстро, по мѣрѣ выясненія ихъ разлада съ дѣйствительностью, стушевывались ихъ отвлеченные, метафизическіе интересы и романтическія настроенія. Роман-

тизмъ въ поэзіи палъ главнымъ образомъ оттого, что выяснился и окончательно установился разладъ лучшихъ людей съ дѣйствительностью. И этотъ-то разладъ и былъ важнѣйшей причиною необычайно быстраго успѣха „натуральной школы“ вообще и поэзіи Гоголя въ особенности.

Указанному движенію въ направленіи реализма мысли нисколько не противорѣчитъ увлеченіе людей 40-хъ годовъ философіей Гегеля. Ибо, во-первыхъ, изъ всѣхъ метафизическихъ системъ философія Гегеля можетъ по праву быть названа наиболѣе „реалистическою“, и она—по своему—была именно „философіей дѣйствительности“. Во-вторыхъ, интересъ къ „абсолютамъ“ и разнымъ тонкостямъ гегеліанской „діалектики“ шелъ быстро на убыль—именно по мѣрѣ того, какъ крѣпло отрицаніе, какъ окончательно устанавливался разладъ мыслящихъ людей съ дѣйствительностью и выяснялись жизненныя задачи (онѣ же и чисто-личныя), изъ этого разлада вытекающія. Такъ было и въ западной Европѣ, когда въ отрицаніи и радикализмѣ лѣваго гегеліанства (Фейербахъ, К. Марксъ, потомъ Лассаль) поблекла и стушевалась метафизическая сторона системы.

Но въ вопросѣ, здѣсь занимающемъ насъ, поворотъ художественнаго мышленія гораздо важнѣе, чѣмъ поворотъ мышленія философскаго. Когда широко раскрылись умственныя очи людей мыслящихъ и способныхъ чувствовать по-человѣчески, эти очи увидѣли прежде всего дѣйствительность и всю мерзость ея запустѣнія,—и тогда, не взирая ни на какую философію, при всевозможныхъ интересахъ отвлеченной, даже метафизической мысли, образы обыденно-художественнаго мышленія, въ которыхъ была дана все та же дѣйствительность, не могли не получить особаго значенія, должны были привлечь къ себѣ преимущественное вниманіе. Постигнуть дѣйствительность и уяснить свои отношенія къ ней, дать выраженіе своему отрицанію, своей кри-

тикѣ данныхъ формъ общественности—вотъ то, что, составляя глубокую, насущную потребность людей мыслящихъ, отнюдь не могло обойтись безъ формъ и пріемовъ реально-художественнаго мышленія. Оттуда особливый, живой интересъ къ реалистической поэзіи Пушкина и въ особенности Гоголя. Оттуда и собственныя попытки, лучшею изъ которыхъ былъ романъ Герцена „Кто виноватъ?",—попытки, показывающія, что мысль идеалистовъ-отрицателей той эпохи формировалась и находила себѣ выраженіе въ пріемахъ и образахъ реально-художественнаго мышленія, даже при отсутствіи настоящаго поэтическаго таланта и призванія.

Движеніе 40-хъ годовъ, характеризуемое разладомъ съ дѣйствительностью, привело такимъ образомъ къ созданію реальной (или натуральной, какъ ее тогда называли) школы въ нашей художественной литературѣ и беллетристикѣ,—школы, признававшей Гоголя своимъ вождемъ и основателемъ. Ея представителями были Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, Григоровичъ—въ ихъ раннихъ произведеніяхъ второй половины 40-хъ годовъ.

Творчество Гоголя, въ особенности то, которое выразилось въ „Ревизорѣ" и „Мертвыхъ душахъ", было—по своему реалистическому характеру и отрицательному направленію—какъ разъ тѣмъ, чего жаждала мысль, къ чему стремилось чувство нашихъ идеалистовъ—отрицателей 40-хъ годовъ. Въ этомъ смыслѣ можно—парадоксально—сказать, что „Ревизоръ" и „Мертвыя души", гдѣ художественно отрицалось все то, что они отрицали всѣми силами души, были написаны преимущественно для нихъ, чтобы они не были такъ одиноки въ своемъ разладѣ съ дѣйствительностью и, черпая душевное обновленіе и силу въ созданіяхъ поэта, могли еще сильнѣе отрицать, еще энергичнѣе негодовать. Вспомнимъ и тутъ это страстное обращеніе Бѣлинскаго къ Гоголю: „Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страной, можетъ

любить ея надежду, честь и славу, одного изъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса"..

Все вышеизложенное можетъ быть кратко выражено въ слѣдующемъ итогѣ: мы не поймемъ, какъ слѣдуетъ, ни психологіи „людей 40-хъ годовъ", ни ихъ великаго значенія въ развитіи нашего общественнаго самосознанія, если не оттѣнимъ того факта, что они (каждый по-своему) были не только идеалисты и гуманисты-просвѣтители, но и отрицатели (въ отношеніи къ дѣйствительности), и что именно это отрицаніе, въ которомъ лучшіе изъ западниковъ сходились съ лучшими изъ славянофиловъ, шло и крѣпло съ психологическою необходимостью, вмѣстѣ съ развитіемъ у нихъ реалистическаго мышленія вообще, художественнаго въ особенности. Откуда въ частности—„культъ Гоголя", раздѣлявшійся какъ западниками, такъ и славянофилами.

4.

Теперь перейдемъ къ самому Гоголю.

Если заглянемъ во внутренній міръ великаго поэта-властителя думъ лучшей части людей 40-хъ годовъ, то мы, къ удивленію, не найдемъ тамъ какъ разъ того, чѣмъ были „живы" эти люди,—ни ихъ идеализма, ни ихъ отрицанія, ни тѣхъ скорбныхъ думъ и настроеній, съ которыми мы познакомились выше. То, что такъ занимало мысль и такъ волновало душу этихъ людей, было чуждо и недоступно Гоголю. Напрасно въ огромной перепискѣ Гоголя будемъ искать общественнаго и даже моральнаго негодованія [1]). Это цѣнное чувство, можно сказать, не значится въ душевномъ обиходѣ творца „Ревизора" и „Мертвыхъ душъ"—фактъ, на первый взглядъ представляющійся

---

[1]) Моральныя филиппики и поученія найдутся тамъ въ изобиліи, но въ нихъ не сквозитъ оскорбленное нравственное чувство, въ нихъ нѣтъ негодованія въ собственномъ смыслѣ.

невѣроятнымъ, сбивающійся на какой-то психологическій парадоксъ. И мы готовы спросить: если у этого человѣка не было общественнаго и нравственнаго негодованія, то какъ могъ онъ создать великія произведенія, рисующія нашу „бѣдность да бѣдность", какъ могъ онъ художественно изобличить нравственное убожество Сквозниковъ - Дмухановскихъ, Чичиковыхъ, Собакевичей и т. д., наконецъ, какъ могъ онъ явиться въ роли моралиста?

Въ этюдѣ о Гоголѣ („Н. В. Гоголь", 1903 г. Изд. „Вѣст. Воспит.") я сдѣлалъ попытку проникнуть въ психологію творчества этого великаго художника и въ душевный міръ этого исключительно-своеобразнаго человѣка. Изъ данныхъ, сгруппированныхъ тамъ, и изъ ихъ посильнаго психологи ческаго анализа можно вывести слѣдующія заключенія по вопросу, насъ интересующему въ настоящее время

У Гоголя не было тѣхъ высокихъ душевныхъ цѣнностей, которыми „были живы" лучшіе люди 40-хъ годовъ, какъ Бѣлинскій, Герценъ, К. Аксаковъ, Грановскій, Кирѣевскіе и др., но зато были, если можно такъ выразиться, „психологическіе (а также и психо-патологическіе) эквиваленты" этихъ душевныхъ цѣнностей, оказавшіеся особливо пригодными—какъ движущая пружина творчества Гоголя и въ качествѣ импульса къ дѣятельности моралиста.

У Гоголя не было высокаго, гуманнаго идеализма „людей 40-хъ годовъ", коренившагося въ самомъ душевномъ складѣ этихъ избранныхъ натуръ и воспитаннаго работой мысли, сознательнымъ усвоеніемъ сокровищъ общечеловѣческаго знанія. Гоголь не былъ „идеалистомъ" ни по натурѣ, ни по образованію. Міръ идей и идеаловъ былъ чуждъ ему. Онъ не интересовался ни наукой, ни философіей, ни всемірною литературой. Въ эти высшія области мысли онъ заглядывалъ лишь урывками. Корифеи мысли, на твореніяхъ которыхъ воспитался рядъ поколѣній, были

извѣстны ему только по наслышкѣ. Онъ жилъ, мыслилъ и творилъ такъ, какъ будто никогда не существовало ни Лессинга, ни Гёте, ни Гегеля, ни всей европейской науки и философіи. Его образованіе и кругъ идей ограничивались нѣкоторыми свѣдѣніями и небольшою начитанностью по извѣстнымъ отдѣламъ исторіи (средніе вѣка, исторія Малороссіи), по искусству (живопись, скульптура, архитектура), по народной поэзіи (преимущественно малорусской), по исторіи христіанства и церкви. Только новую русскую литературу онъ зналъ достаточно хорошо и слѣдилъ за ея развитіемъ. Изъ великихъ поэтовъ онъ зналъ и постоянно перечитывалъ лишь немногихъ: Пушкина, Данта, Гомера... По цѣлымъ годамъ весь поглощенный то своею творческою работой, то своимъ такъ называемымъ „душевнымъ дѣломъ", то своими недугами, онъ не слѣдилъ за текущею литературой и движеніемъ мысли въ Европѣ, гдѣ живалъ подолгу.

Конечно, изученіе философіи, занятіе наукой, интересъ къ литературѣ и т. д., все это еще не можетъ само по себѣ сдѣлать человѣка „идеалистомъ". Встрѣчаются люди ученые и широко образованные, интересущіеся всѣмъ, что дѣлается въ мірѣ мысли, и въ то же время чуждые всякаго „идеализма". Это только—воспріимчивые и любознательные умы, усвоившіе себѣ извѣстные умственные вкусы, и очень обыденныя, „прозаическія", низменныя натуры. Но разъ у человѣка имѣются идеалистическіе задатки въ самомъ складѣ его души, онъ инстинктивно будетъ тянуться къ свѣту мысли, онъ будетъ жадно ловить и усваивать все то, что въ области общечеловѣческаго знанія и творчества окажется доступнымъ ему. Вспомнимъ Бѣлинскаго, который, какъ манны небесной, жаждалъ философскихъ откровеній и, можно сказать, ловилъ на лету мысли, знанія, выводы, какіе только могъ поймать. Гоголь же, живя годами за границей и владѣя тремя иностранными языками (французскимъ, нѣмецкимъ, итальянскимъ), имѣя полную возмож-

ность пріобрѣсть хорошее — европейское — образованіе, открыть себѣ доступъ въ сферу современной мысли, не сдѣлалъ однако никакихъ усилій въ этомъ направленіи.

Читатель понимаетъ, что мы беремъ здѣсь терминъ „идеализмъ“ въ очень широкомъ и чисто-психологическомъ смыслѣ, разумѣя подъ нимъ такой строй духа, при которомъ общечеловѣческіе идейные интересы занимаютъ въ сознаніи человѣка настолько видное мѣсто, что омутъ обыденной жизни уже не въ состояніи затянуть его душу плѣсенью.

Въ этомъ смыслѣ Гоголь не былъ „идеалистомъ“. Но тѣмъ не менѣе его душа не затягивалась тиной, не покрывалась плѣсенью, потому что у него взамѣнъ „идеализма“ было нѣчто другое,—какой-то „психологическій эквивалентъ“ послѣдняго. Это именно—столь извѣстная склонность Гоголя къ отшельнической и созерцательной жизни, его вѣчное бѣгство отъ общества, отъ „дрязгъ“ жизни, какъ онъ выражался, его углубленіе въ себя, въ свое „душевное дѣло“, долгое — по цѣлымъ годамъ — обдумываніе и „вынашиваніе“ художественныхъ образовъ, высокое понятіе о призваніи поэта и ґрозная вьюга вдохновенія“, освѣжавшая его душу, потомъ мистическое наитіе молитвы, наконецъ та „глубина душевная“, благодаря которой онъ умѣлъ „возводить въ перлъ созданія“ „картины, взятыя изъ презрѣнной жизни“...

Въ противоположность лучшимъ людямъ 40-хъ годовъ, Гоголь не былъ отрицатель. Напрасно будемъ искать у него критики тогдашней дѣйствительности, дореформенныхъ порядковъ; къ удивленію, мы не найдемъ у творца „Мертвыхъ душъ“ даже отрицанія крѣпостного права. И однако же великій поэтъ-сатирикъ содѣйствовалъ больше, чѣмъ кто-либо въ то время, установленію критическаго отношенія къ дореформенному строю. Очевидно, въ его душѣ было нѣчто, съ избыткомъ восполнявшее недостатокъ идейнаго отрицанія и критической общественной мысли. Этотъ

психологическій эквивалентъ отрицанія, служившій въ то же время основаніемъ его моральныхъ стремленій, сводился къ особому, мучительному соціальному и національному самочувствію Гоголя. Организація крайне сложная, неуравновѣшенная и болѣзненно-чувствительная, Гоголь реагировалъ своеобразными душевными муками на пошлую сторону человѣка и общественности, на „дрязгъ" жизни. Онъ по-своему — живо и болѣзненно — чувствовалъ тяготу существованія при данныхъ порядкахъ, отношеніяхъ, нравахъ, и, можно сказать даже, ему, по особенностямъ его душевной организаціи, было тошнѣе жить среди господствовавшей умственной тьмы и нравственной слѣпоты, чѣмъ многимъ и многимъ, въ томъ числѣ и кое-кому изъ тѣхъ, которые принадлежали къ передовымъ и просвѣщеннѣйшимъ людямъ эпохи. Онъ первый на Руси увидѣлъ, почувствовалъ и „вызвалъ наружу" въ геніальномъ художественномъ воспроизведеніи „всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ повседневныхъ характеровъ"... — и содрогнулся столь же судорожно, какъ содрогнулся Бѣлинскій, когда почувствовалъ всю „гнусность" „рассейской дѣйствительности". Но Гоголь ужаснулся не идейно, не какъ философски и морально развитая личность, а чисто-психологически, всѣмъ своимъ геніальнымъ, болѣзненнымъ, неуравновѣшеннымъ существомъ, какъ исключительно тонкая душевная организація, странности которой заставили С. Т. Аксакова написать въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ: „...мы не можемъ судить Гоголя по себѣ, даже не можемъ понимать его впечатлѣній, потому что, вѣроятно, весь организмъ его устроенъ какъ-нибудь иначе, чѣмъ у насъ; что нервы его, можетъ быть, во сто разъ тоньше нашихъ: слышатъ то, чего мы не слышимъ, и содрогаются отъ причинъ, намъ неизвѣстныхъ" („Исторія моего знакомства съ Гоголемъ", стр. 54).

Великій отрицатель-художникъ, великій поэтъ сатирикъ, онъ не былъ и не могъ быть отрицателемъ-мыслителемъ или публицистомъ въ томъ смыслѣ, какъ были таковыми Бѣлинскій, Герценъ и другіе. Главнымъ и непреодолимымъ препятствіемъ къ тому служила сама натура его,—неуравновѣшенность его души, угнетенной и тяготою существованія, и избыткомъ рефлексіи, и излишествомъ самоанализа, наконецъ, столь склонной къ нравственному сомнѣнію въ себѣ, къ самобичеванію и мистицизму. Для такой души философское, и общественное, и вообще идейное отрицаніе было бы бременемъ непосильнымъ. Оно явилось бы въ ней, и безъ того отравленной душевными ядами, лишнимъ разлагающимъ началомъ. Отрицаніе оздоровляетъ и закаляетъ души уравновѣшенныя и гармоническія или, по крайней мѣрѣ, имѣющія соотвѣтственные задатки. Отрицаніе—борьба, и оно предполагаетъ запасъ здоровой умственной силы и моральной крѣпости, не говоря уже о крѣпости нервной и психо-физической. Для такихъ психо-физическихъ и психическихъ организацій, какъ Гоголь, потребно не отрицаніе, а умиротвореніе, успокоеніе. Не борьба, а молитва — ихъ пристанище. Разладъ съ дѣйствительностью только осложняетъ и безъ того тяжелую болѣзнь ихъ внутренняго разлада. Гоголь, какъ извѣстно, не вынесъ тяжести даже того чисто-художественнаго отрицанія, которое вытекало изъ свойствъ его таланта, изъ психологіи его геніальности, изъ самой натуры его. Присоединить къ этой тяжести еще и бремя идейнаго отрицанія было для него психологическою невозможностью, если бы даже онъ и захотѣлъ усвоить тѣ идеи, точки зрѣнія и предпосылки, на которыхъ оно основывалось тогда. И онъ, какъ бы повинуясь инстинкту самосохраненія, уклонялся отъ усвоенія этихъ предпосылокъ, даже избѣгалъ знакомства и общенія съ людьми идейнаго отрицанія. Этотъ скрытый, можетъ быть неясный ему самому мотивъ пред-

ставляется тѣмъ вѣроятнѣе, что, какъ выясняется теперь, Гоголь не былъ консерваторомъ въ собственномъ смыслѣ— по убѣжденіямъ, по идеаламъ. Онъ не отрицалъ прогресса, онъ только боялся его или извѣстныхъ его правленій и сторонъ... Онъ даже интересовался — порою — передовыми людьми, какъ это видно изъ писемъ къ Анненкову [1]). Изъ тѣхъ же писемъ явствуетъ, что его возраженія противъ передовыхъ дѣятелей вытекали изъ чисто-субъективнаго мотива: вѣчно занятый своимъ душевнымъ міромъ, вѣчно въ поискахъ за успокоеніемъ, умиротвореніемъ своей мысли, совѣсти, чувствъ, онъ невольно судилъ о другихъ по себѣ, предполагая у нихъ аналогичный разладъ, и, наприм., совѣтовалъ Анненкову, прежде чѣмъ критиковать и отрицать, сперва „самому состроиться" (письмо отъ 7-го сент. 1847 г.), воспитать себя въ духѣ какой-то всеобъемляющей „правды", которая стояла бы выше всѣхъ партій и была бы авторитетна для всѣхъ. Его пугали споры, разногласія, недоразумѣнія, партійныя распри. Ему претили „излишества", какія онъ находилъ у западниковъ съ одной стороны, у славянофиловъ съ другой.

Слѣдующее мѣсто въ томъ же письмѣ къ Анненкову хорошо рисуетъ точку зрѣнія, съ которой Гоголь судилъ о „направленіяхъ" и „партіяхъ: „Ваше желаніе слѣдить все, не останавливаясь особенно ни надъ чѣмъ, очень понятно, въ немъ слышится разумное стремленіе всего ны-

---

[1]) Въ письмѣ отъ 7-го сент. 1847 г. читаемъ: „Въ письмѣ вашемъ вы упоминаете, что въ Парижѣ находится Герценъ. Я слышалъ о немъ очень много хорошаго. О немъ люди всѣхъ партій отзываются, какъ о благороднѣйшемъ человѣкѣ. Это лучшая репутація въ нынѣшнее время. Когда буду въ Москвѣ, познакомлюсь съ нимъ непремѣнно, а покуда извѣстите меня, что онъ дѣлаетъ, что его болѣе занимаетъ и что — предметомъ его наблюденій. Увѣдомьте меня, женатъ ли Бѣлинскій, или нѣтъ; мнѣ кто-то сказывалъ, что онъ женился. Изобразите мнѣ также портретъ молодого Тургенева, чтобы я получилъ о немъ понятіе, какъ о человѣкѣ; какъ пи-

нѣшняго вѣка, но непонятенъ для меня духъ нѣкотораго удовлетворенія [1]) вашимъ нынѣшнимъ состояніемъ, точно какъ бы вы уже нашли важную часть того, что ищете, и какъ бы стали уже на верховную точку вашего разумѣнія и вашего воззрѣнія на вещи. Вы уже подымаете заздравный кубокъ и говорите: да здравствуетъ простота положеній и отношеній, основанныхъ на практической дѣйствительности, здравомъ смыслѣ, положительномъ законѣ, принципѣ равенства и справедливости! Смыслъ всего этого необъятно обширенъ. Цѣлая бездна между этими словами и примѣненіями ихъ къ дѣлу. Если вы станете дѣйствовать и проповѣдывать, и то прежде всего замѣтятъ въ вашихъ рукахъ эти заздравные кубки, до которыхъ такой охотникъ русскій человѣкъ, и перепьются всѣ, прежде чѣмъ узнаютъ, изъ-за чего было пьянство. Нѣтъ, мнѣ кажется, никому изъ насъ не слѣдуетъ въ нынѣшнее время торжествовать и праздновать настоящій мигъ своего взгляда и разумѣнія [1]). Онъ завтра не можетъ быть уже другимъ; завтра же можемъ мы стать умнѣй насъ сегодняшнихъ..." [1]).

Эта выдержка, подобно другимъ въ томъ же родѣ, показываетъ, какъ необыкновенно уменъ былъ этотъ странный человѣкъ даже въ своихъ ошибкахъ и заблужденіяхъ. Опровергать эти заблужденія здѣсь не мѣсто, и мы только указываемъ на нихъ для того, чтобы нагляднѣе пояснить нашу мысль: отрицаніе идейное и партійное, вмѣстѣ съ неизбѣжно сопутствующею ему полемикой, борьбой, „крайностями", „излишествами", было чуждо уму Гоголя и не мирилось съ общимъ строемъ его души.

Психологія художественнаго отрицанія Гоголя и психо-

сателя, я его отчасти знаю: сколько могу судить по тому, что прочелъ, талантъ въ немъ замѣчательный и обѣщаетъ большую дѣятельность въ будущемъ".

[1]) Курсивъ Гоголя.

логія идейнаго отрицанія передовыхъ людей эпохи были по обществу различны, но ихъ результаты совпадали. Мало того: при всемъ различіи было въ этой психологіи нѣчто такое, что, одинаково выдѣляя и Гоголя, и передовыхъ людей изъ остальной массы общества, сближало и роднило ихъ. Это именно — душевныя муки отщепенства, грусть и скорбь моральнаго одиночества. Вспомнимъ знаменитое лирическое мѣсто въ началѣ VII главы I части „Мертвыхъ душъ", гдѣ, составляя „двухъ писателей", поэтъ въ яркихъ чертахъ рисуетъ горькій „удѣлъ" того изъ нихъ, который видитъ и изображаетъ то, „чего не зрятъ равнодушныя очи": „безъ раздѣленія, безъ отвѣта, безъ участія, какъ безсемейный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги..."

Какъ не вспомнить, читая эти строки, душу раздирающій крикъ Бѣлинскаго: „... а куда голову преклонить, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе...", и всѣ аналогичныя жалобы лучшихъ людей эпохи; какъ не вспомнить, наконецъ, и безсемейнаго путника Рудина, „душой скитавшагося", и душевное одиночество Лаврецкаго, когда, подведя итогъ своей жизни, онъ говоритъ: „здравствуй, одинокая старость, догорай, безполезная жизнь!"

Сердце сердцу вѣсть подаетъ. Лучшіе люди 40-хъ годовъ видѣли въ Гоголѣ не только великаго поэта-отрицателя, но и такого же „скитальца" и страдальца, какими были они сами. И, несмотря на все различіе идей и убѣжденій, они его любили страстно и восторженно. „Какое ты умное, и странное, и больное существо!" „думалось" Тургеневу, когда онъ въ послѣдній разъ видѣлъ поэта 20 окт. 1851 года... Анненковъ, разсказывая о своемъ послѣднемъ свиданіи съ Гоголемъ (въ Москвѣ, около того же времени), заканчиваетъ такъ: Это была моя послѣдняя бесѣда съ чудною личностью, украсившею вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, Герценомъ, Грановскимъ и

другими мою молодость [1]). Проходя къ дому Толстого [2]) на возвратномъ пути и прощаясь съ нимъ, я услыхалъ отъ него трогательную просьбу сберечь о немъ доброе мнѣніе и поратовать о томъ между партіей, „къ которой принадлежите...“ [1]) Упомянувъ еще объ одной мимолетной встрѣчѣ съ Гоголемъ нѣсколько времени спустя, Анненковъ оканчиваетъ разсказъ восклицаніемъ: „Бѣдный страдалецъ!“ („П. В. Анненковъ и его друзья“, 1892 г., стр. 516).

5.

Огромная умственная и нравственная тягота и работа, которую вынесли на своихъ плечахъ передовые люди 40-хъ годовъ, какъ извѣстно, сводилась не только къ созданію гуманныхъ стремленій и общественной мысли, но и къ выработкѣ національнаго самосознанія.

Въ другомъ мѣстѣ („Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“, изд. 2-е, 1904 г., Введеніе) я старался показать, что какъ славянофилы, такъ и западники одинаково были заняты вопросами національнаго самосознанія, только ставили и понимали ихъ различно; они шли къ одной и той же цѣли, только различными путями. Славянофильство было національнымъ положительнымъ, выдвигавшимъ впередъ защиту такъ назыв. „національныхъ началъ“; западничество было національнымъ отрицательнымъ, исходившимъ изъ критики нашего національнаго склада. Герценъ стоялъ по срединѣ, примыкая по нѣкоторымъ пунктамъ къ славянофильству, по другимъ же— по большинству — къ западничеству. Въ „Дневникѣ“ подъ 17 мая 1844 года онъ записалъ: „Странное положеніе мое,

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Гдѣ жилъ Гоголь.

какое-то невольное juste milieu въ славянскомъ вопросѣ передъ ними (славянофилами) я человѣкъ запада, передъ ихъ врагами (западниками) человѣкъ востока. Изъ этого слѣдуетъ, что для нашего времени эти одностороннія опредѣленія не годятся". Любопытна также запись подъ 12 мая того же года: „Истиннаго сближенія между ихъ (славянофиловъ) воззрѣніемѣ и моимъ не могло быть, но могло быть довѣріе и уваженіе... Съ полною гуманностью, подвергаясь упрекамъ со стороны всѣхъ друзей, протягивалъ я имъ руку, желалъ ихъ узнать, оцѣнилъ хорошее въ ихъ воззрѣніи. Но они фанатики и нетерпящіе люди. Они создали міръ химеръ и оправдываютъ его двумя-тремя порядочными мыслями, на которыхъ они выстроили не то зданіе, которое слѣдовало... Всѣхъ ближе изъ нихъ общечеловѣческому взгляду—Самаринъ; но и у него еще много твердо и исключительно славянскаго. Аксаковъ [1]) во вѣки вѣковъ останется благороднымъ, но и онъ не поднимается дальше Москвафиліи".

Споръ между двумя партіями шелъ о значеніи реформы Петра, котораго славанофилы (именно славянофилы-идеалисты) ненавидѣли, а западники превозносили (вспомнимъ восторженныя страницы Бѣлинскаго, посвященныя Петру), о старорусскихъ, „исконныхъ" началахъ, процвѣтавшихъ, будто бы, въ московскую эпоху, идеализированную славянофилами, по великолѣпной будущности славянства и пресловутомъ „гніеніи" Запада, рѣшительно отвергаемомъ западниками и т. д.

Какъ относился ко всему этому Гоголь?—Онъ мало входилъ въ суть дѣла, и ему казалось, что въ этомъ спорѣ много пустой болтовни, сопровождаемой разными „излишествами". Связанный личными отношеніями съ славянофилами (Аксаковыми съ одной стороны, Шевыревымъ и Погодиными—

[1]) Константинъ.

съ другой, а также съ поэтомъ славянофильства—Языковымъ) онъ отнюдь не раздѣлялъ ихъ доктрины. Старую допетровскую Русь онъ не любилъ, на великолѣпную будущность славянства большихъ надеждъ не возлагалъ, „гніенія" запада не усматривалъ, хотя и пугался отрицательныхъ идей и революціоннаго броженія. Съ другой стороны, онъ не примыкалъ и къ западничеству, какъ доктринѣ и направленію критическому.

И тѣмъ не менѣе коренной вопросъ, подымавшійся обѣими партіями,—вопросъ національнаго самосознанія,—былъ ему, можно сказать, кровно-близокъ и занималъ его—и какъ художника, и какъ человѣка, и даже какъ моралиста.

Уже въ „Ревизорѣ" онъ ставилъ себѣ задачей—показать не только уродство бытовыхъ типовъ, но также „искривленіе" національной физіономіи. Хлестаковъ вышелъ у него типомъ національнымъ. И вообще всякія уродства, легко объясняемыя строемъ жизни, состояніемъ нравовъ, отсутствіемъ просвѣщенія и т. д., онъ склоненъ былъ изображать, какъ національныя. Вслѣдъ за Ив. Алекс. Хлестаковымъ національнымъ типомъ вышелъ у него и Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Онъ самъ категорически заявлялъ, что главною его задачей, какъ художника, является познаніе и изображеніе психологіи русскаго человѣка[1]). И лично, какъ человѣка, вопросъ о психологическомъ характерѣ и складѣ русской національности (или, лучше сказать, русскихъ національностей) живо интересовалъ его[2]).

Къ „Мертвымъ душамъ" болѣе, чѣмъ къ какому-либо другому изъ великихъ произведеній нашей поэзіи, примѣ-

---

[1]) Объ этомъ см. въ моей книжкѣ „Н. В. Гоголь", глава IV стр. 116 и слѣд.

[2]) См. въ той же книжкѣ гл. V.

нимо выраженіе: „здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ“. Во второй части „поэмы“ вопросъ о русскомъ человѣкѣ, какъ таковомъ, можно сказать, поставленъ ребромъ. И эта постановка явилась отправною точкой нѣкоторыхъ сторонъ въ творчествѣ послѣдующихъ писателей, какъ увидимъ это въ дальнѣйшемъ.

Не трудно понять, что поэтъ, раскрывавшій и такъ ярко воспроизводившій національный складъ русскаго человѣка, долженъ былъ получить особое значеніе въ эпоху, когда въ сознаніи мыслящихъ людей впервые вырабатывались формы національнаго самосознанія.

ГЛАВА IX.

Типъ Тентетникова и вторая часть „Мертвыхъ душъ".

1.

Если оставить въ сторонѣ художественные образы людей 40-хъ годовъ, созданные Тургеневымъ „заднимъ числомъ", въ 50-хъ, и придерживаться строго хронологическаго порядка, то непосредственно вслѣдъ за Печоринымъ мы встрѣтимъ Гоголевскаго Тентетникова, этого „предтечу" Ильи Ильича Обломова [1]).

Во второй части „Мертвыхъ душъ" великій поэтъ, открыто выступившій теперь въ роли моралиста, хотѣлъ показать „другія стороны русскаго человѣка", не затронутыя въ первой части, гдѣ, въ геніальныхъ образахъ Чичикова, Манилова, Собакевича, Ноздрева, Плюшкина и др., было „выставлено на всенародныя очи" то, что Гоголь понималъ какъ искривленіе національной физіономіи, какъ нравствен-

---

[1]) Вторую часть „поэмы" Гоголь началъ писать еще въ 1840-мъ году. Черезъ пять лѣтъ, въ 1845 году, трудъ былъ оконченъ и готовъ для печати, но лѣтомъ этого года Гоголь сжегъ рукопись и принялся за работу сначала.—Подробности читатель найдетъ въ статьѣ Н. С. Тихонравова („Сочиненія Н. В. Гоголя", подъ редакц. Тихонравова, 1889, стр. 533 и сл.).—Эта новая обработка второй части „Мерт. душъ" была сожжена поэтомъ незадолго до смерти. Сохранившіеся отрывки были впервые изданы въ 1855 г.

ное искаженіе натуры русскаго человѣка. Теперь, во второй части поэмы, выступаютъ другія лица, иные характеры, не столь безнадежные, натуры, не столь безпросвѣтныя. Но и въ нихъ поэтъ находитъ извѣстное искривленіе и порчу— только въ другую сторону.

Прежде всего нужно обратить вниманіе на то, что эти новыя лица, въ противоположность героямъ первой части, принадлежатъ къ средѣ образованной и не чужды умственныхъ интересовъ. Передъ нами представители тогдашней интеллигенціи, дворяне-помѣщики, учившіеся въ лучшихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ университетѣ. Свойственная имъ порча русской натуры изображена въ лицѣ Тентетникова, Платона Платонова, Хлобуева, Кошкарева и, въ существѣ дѣла,—за исключеніемъ только Кошкарева,— все это—разныя формы того недуга, который позже, благодаря художественному діагнозу Гончарова и критическому Добролюбова, былъ опредѣленъ—какъ обломовщина.

Передъ нами — люди вялые, опустившіеся, неспособные управлять собою, лишенные воли, живущіе спустя рукава. Остановимся дольше на самомъ видномъ изъ нихъ, на Тентетниковѣ, характеръ котораго разработанъ съ наибольшею обстоятельностью.

Мы узнаемъ исторію его воспитанія, его прошлое. И здѣсь, въ первой же главѣ, обнаруживается тотъ ущербъ въ художестенной правдѣ изображенія, который сказывался у Гоголя все ярче, по мѣрѣ того, какъ моралистъ-проповѣдникъ бралъ въ немъ перевѣсъ надъ художникомъ-сатирикомъ. По мысли Гоголя, все несчастье Тентетникова произошло отъ того, что его идеальный воспитатель фантастическій Александръ Петровичъ, умеръ какъ разъ тогда, когда Тентетниковъ долженъ былъ перейти на послѣдній курсъ, гдѣ молодые люди получали окончательный закалъ и пріобрѣтали самостоятельный характеръ. Въ небываломъ и въ невозможномъ учебномъ заведеніи Александра Петро-

вича не столько обучали наукамъ, сколько воспитывали характеры и вырабатывали „гражданъ земли своей“. Переводу на старшій курсъ удостоивались только наиболѣе умные и даровитые, и здѣсь имъ преподавали „науку жизни“. „Большая часть лекцій состояла въ разсказахъ о томъ, что ожидаетъ впереди человѣка на всѣхъ поприщахъ и ступеняхъ государственной службы и частныхъ занятій“. Преподаваніе Александра Петровича дѣлало чудеса: „Изъ этого курса вышло немного, но эти немногіе были крѣпыши, были окуренные порохомъ люди. Въ службѣ они удержались на самыхъ шаткихъ мѣстахъ, тогда какъ многіе, гораздо ихъ умнѣйшіе, не вытерпѣвъ, бросили службу изъ-за мелочныхъ личныхъ непріятностей, бросили вовсе, или же, не вѣдая ничего, очутились въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но воспитанные Александромъ Петровичемъ не только не пошатнулись, но умудренные познаніемъ человѣка и души возымѣли высокое нравственное вліяніе даже на взяточниковъ и дурныхъ людей. Но этого ученія не удалось попробовать бѣдному Андрею Ивановичу...“ (II-я часть „Мертв. душъ“, гл. I).

Андрей Ивановичъ Тентетниковъ—типичный русскій хорошій человѣкъ, съ умомъ, „съ добра желаніемъ“. Характерная особенность этихъ натуръ—воспріимчивость, податливость и пассивность. Онѣ нуждаются въ постороннихъ благотворныхъ вліяніяхъ, въ воспитаніи, въ руководительствѣ. Сами собственными силами онѣ не пробьются къ свѣту, къ жизни, къ дѣятельности. Чтобы ихъ пробудить, направить, поставить на ноги, нужна исключительная школа и фантастическій воспитатель, — иначе говоря, нужны особыя, исключительно благопріятныя условія, среди которыхъ протекала бы ихъ юность. При отсутствіи этихъ условій хорошій русскій человѣкъ опускается, излѣнивается, превращается въ лежебока. Такъ и случилось съ Тентетниковымъ, типичнымъ „коптителемъ неба“. Великолѣпное изо-

браженіе „журнала дня" Тентетникова завершается такимъ заключеніемъ: „Изъ этого журнала читатель можетъ видѣть, что Андрей Ивановичъ Тентетниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ людей, которыхъ на Руси много, которымъ имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобныя. Родятся ли уже сами собою такіе характеры или создаются потомъ, это еще вопросъ. Я думаю, что лучше, вмѣсто отвѣта, разсказать исторію дѣтства и воспитанія Андрея Ивановича". Вотъ тутъ-то мы и ожидали бы встрѣтить картину, аналогичную той, какую нарисовалъ Гончаровъ въ знаменитомъ „Снѣ Обломова". Крѣпостные порядки съ ихъ даровымъ трудомъ, жизнь на всемъ готовомъ, съ дѣтства укореняющаяся привычка ничего не дѣлать, ни о чемъ не заботиться и по прихоти распоряжаться трудомъ рабовъ, избытокъ досуга, излишества сытости и баловства,— все это, дѣйствуя изъ поколѣнія въ поколѣніе, достаточно хорошо объясняетъ и лѣнь, и безпечность, и бездѣятельность, и парализацію воли нашихъ „байбаковъ", „увальней", „лежебоковъ" добраго стараго времени. Но, вмѣсто такой картины и такой мотивировки, Гоголь распространяется о необыкновенномъ воспитателѣ Александрѣ Петровичѣ и о неудачной попыткѣ Тентетникова устроиться на службѣ въ Петербургѣ. При всемъ томъ здѣсь есть черты, заслуживающія вниманія. Въ школѣ Александра Петровича Тентетниковъ получилъ хорошее общее образованіе, и, кромѣ того, согласно системѣ воспитателя, въ немъ было возбуждено честолюбіе,—страсть, которую Гоголь признавалъ въ высокой степени благотворною, при надлежащемъ направленіи и при соотвѣтственной выработкѣ характера. И вотъ, движимый этой страстью, Тентетниковъ поступаетъ на службу въ одинъ изъ департаментовъ, съ мыслью о полезной дѣятельности, о блестящей карьерѣ. — „Настоящая жизнь на службѣ, — говорилъ онъ себѣ, — тамъ подвиги". Но вышло слѣдующее: „Съ большимъ трудомъ и съ по-

мощью дядиныхъ протекцій, проведя два мѣсяца въ каллиграфическихъ урокахъ, досталъ онъ, наконецъ, мѣсто списывателя бумагъ въ какомъ-то департаментѣ. Когда взошелъ онъ въ свѣтлый залъ, гдѣ за письменными лакированными столами сидѣли пишущіе господа, шумя перьями и наклоня голову на бокъ, и когда посадили его самого, предложа ему тутъ же переписать какую-то бумагу,—необыкновенно-странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, какъ бы онъ очутился въ какой-то малолѣтней школѣ, за тѣмъ чтобы снова учиться азбукѣ. Сидѣвшіе вокругъ его господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Иные изъ нихъ читали романъ, засунувъ его въ большіе листы разбираемаго дѣла, какъ бы занимались они самимъ дѣломъ, и въ то же время вздрагивая при всякомъ появленіи начальника..." И Тентетниковъ очень скоро охладѣлъ къ службѣ. При первомъ же столкновеніи съ начальникомъ онъ поспѣшилъ выйти въ отставку, къ великому огорченію дяди, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, и уѣхалъ въ деревню, движимый такими помыслами: „...вы позабыли, — говоритъ онъ дядѣ, дѣйствительному статскому совѣтнику, — что у меня есть другая служба: у меня 300 душъ крестьянъ, имѣніе въ разстройствѣ, а управляющій—дуракъ. Государству утраты немного, если вмѣсто меня сядетъ въ канцеляріи другой переписывать бумагу, но большая утрата, если 300 человѣкъ не заплатятъ податей. Я помѣщикъ: званіе это также не бездѣльно. Если я позабочусь о сохраненіи, о сбереженіи и улучшеніи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству 300 трезвыхъ, работящихъ подданныхъ,—чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія Лѣницына?"

Прибывъ въ свое помѣстье, изображенное въ началѣ главы, какъ роскошный и благодатный уголокъ природы, Тентетниковъ предается такимъ размышленіямъ: „Ну, не дуракъ ли я былъ доселѣ? Судьба назначила мнѣ быть

обладателемъ земного рая, принцемъ, а я закабалилъ себя въ канцелярію писцомъ! Учившись, воспитавшись, просвѣтившись, сдѣлавши порядочный запасъ тѣхъ именно свѣдѣній, какія требуются для управленія людьми, улучшенія цѣлой области, для исполненія многообразныхъ обязанностей помѣщика, являющагося и судьей, и распорядителемъ, и блюстителемъ порядка, ввѣрить это мѣсто невѣжѣ-управителю!..“

Съ такими приблизительно мыслями пріѣзжали тогда въ свои помѣстья образованные и гуманные молодые помѣщики, искавшіе разумной и полезной дѣятельности. Но, къ сожалѣнію, лишь немногіе изъ нихъ возвышались до сознанія негодности и безобразія крѣпостного строя, какъ такового, даже при наилучшихъ отношеніяхъ между помѣщиками и крестьянами, при самомъ гуманномъ обращеніи рабовладѣльца съ рабами. Тентетниковъ, какъ и самъ Гоголь, очевидно, не принадлежалъ къ числу этихъ немногихъ. Помимо того, насъ поражаетъ его самоувѣренность: онъ вообразилъ, будто въ самомъ дѣлѣ вынесъ изъ школы Александра Петровича „тѣ именно свѣдѣнія, какія требуются для управленія людьми“ и т. д. Это—самоувѣренность самого Гоголя, вообразившаго, что онъ можетъ и призванъ научить русскихъ помѣщиковъ—какъ управлять „подданными“, какъ облагодѣтельствовать ихъ и цѣлый край. Во второй части „Мертвыхъ душъ“ онъ и хотѣлъ преподать эти наставленія въ художественной формѣ...

Какъ и слѣдовало, Тентетниковъ началъ съ того, что уменьшилъ барщину, убавилъ дни работы на себя, прибавилъ времени мужикамъ работать на нихъ самихъ. Но въ этомъ отношеніи онъ нѣсколько отсталъ даже отъ Онѣгина, который совсѣмъ отмѣнилъ барщину, замѣнивъ ее „легкимъ оброкомъ“. Надо думать идеальный наставникъ Александръ Петровичъ не стоялъ на высотѣ идейныхъ стремленій времени и не внушалъ

своимъ питомцамъ того отрицательнаго отношенія къ крѣпостному праву, какое мы видимъ уже у лучшихъ людей 20-хъ годовъ. Вѣроятно также и то, что тотъ кружокъ протестующихъ „огорченныхъ", по выраженію Гоголя, людей, въ который попалъ было Тентетниковъ, мало думалъ о работѣ по вопросу объ улучшеніи быта крестьянъ и о подготовкѣ ихъ будущей эмансипаціи, о чемъ думали такъ или иначе лучшіе люди эпохи. Не думалъ объ этомъ и самъ Гоголь, мало знавшій существовавшіе тогда кружки „огорченныхъ людей" и питавшій особливое недовѣріе къ тѣмъ, которые дерзали отрицать установленныя формы жизни, ея вѣковые устои. Вотъ какъ изображаетъ онъ этихъ отрицателей въ той же первой главѣ второй части „Мертвыхъ душъ": „Это были тѣ безпокойно-странные характеры, которые не могутъ переносить равнодушно не только несправедливость, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью. Добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дѣйствіяхъ, они исполнены нетерпимости къ другимъ..." На Тентетникова „сильно подѣйствовали" „пылкая рѣчь ихъ и благородный образъ негодованія". Ниже мы узнаемъ, что два пріятеля Тентетникова, „принадлежавшіе къ классу огорченныхъ людей", затянули было Андрея Ивановича въ какое-то „общество", имѣвшее цѣлью—„доставить счастье всему человѣчеству". Учредителями общества были „какіе-то философы изъ гусаръ, да недоучившійся студентъ, да промотавшійся игрокъ". Собирались огромныя пожертвованія, расходованіе которыхъ было въ вѣдѣніи „верховнаго распорядителя", который одинъ только и зналъ, куда эти деньги ушли. Пріятели же Тентетникова—изъ числа „огорченныхъ"—„отъ частыхъ тостовъ во имя науки, просвѣщенія и прогресса сдѣлались потомъ горькими пьяницами". Наконецъ „общество" запуталось въ какихъ-то неблаговидныхъ дѣяніяхъ, повлекшихъ за собою вмѣшательство полиціи. Тентетниковъ, впрочемъ,

успѣлъ во-время выйти изъ общества. Но все-таки ёкнуло его сердце, когда однажды, уже въ деревнѣ, онъ увидѣлъ бричку, подкатившую къ его крыльцу, и когда изъ нея выскочилъ съ быстротою и ловкостью почти военнаго человѣка господинъ необыкновенно приличной наружности... Тентетниковъ принялъ было Павла Ивоновича Чичикова „за чиновника отъ правительства“.

„Общество“, о которомъ говоритъ Гоголь, а равно и „огорченные люди“ въ его описаніи и освѣщеніи—все это почти также неправдободобно и не соотвѣтствуетъ тогдашней дѣйствительности, какъ и идеальный воспитатель Александръ Петровичъ съ его удивительною школою, гдѣ вырабатывались умы высшаго порядка и закаленные характеры „гражданъ земли своей“.

Но зато отнюдь не фантастиченъ самъ Андрей Ивановичъ Тентетниковъ. Это—фигура, цѣликомъ выхваченная изъ жизни. Гоголь уловилъ характерную душевную складку людей этого типа, и Гончарову оставалось потомъ только глубже проанализировать и разработать въ подробностяхъ психологію лѣни и безволія русскаго образованнаго человѣка, благородно мысящаго и ничего не дѣлающаго, да и неспособнаго ни къ какому дѣлу.

Тентетниковъ сперва съ жаромь принялся за дѣло улучшенія быта своихъ крестьянъ и устройства имѣнія, самъ во все входилъ, самъ надзиралъ за работами и т. п. Но скоро обнаружилось, что онъ рѣшительно неспособенъ ни благотворно влiять на крестьянъ, ни вести хозяйство. Крестьяне излѣнились, отбились отъ рукъ, стали пьянствовать, чинили всякія безобразія подъ носомъ у барина, котораго не боялись и не уважали. Все шло изъ рукъ вонъ плохо, и Тентетниковъ сразу охладѣлъ и бросилъ всѣ свои планы и затѣи. Эта способность охладѣвать при первой неудачѣ изображена очень ярко и заставляетъ насъ вспомнить не только Илью Ильича Обломова, но также хотя бы и Рудина

и всѣхъ русскихъ хорошихъ людей дореформеннаго времени, которые, не будучи лежебоками, однако столь же быстро и безъ достаточныхъ основаній охладѣвали къ своему излюбленному дѣлу при первомъ встрѣтившемся препятствіи и съ легкимъ сердцемъ бросали его, погружаясь въ лѣнь, скуку и хандру.

Эта черта въ Тентетниковѣ оттѣняется съ особенною рельефностью сопоставленіемъ съ противоположною чертою Чичикова. Живой, неутомимый, настойчивый, упорный въ преслѣдованіи своихъ цѣлей, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ являетъ полную противоположность лежебоку и коптителю неба Андрею Ивановичу Тентетникову.

И невольно думается: если бы дать Андрею Ивановичу живой умъ, подвижность, энергію Павла Ивановича, а Павлу Ивановичу дать образованіе и благородный образъ мыслей Андрея Ивановича, мы имѣли бы передъ собою совсѣмъ иную картину нравовъ и общественной жизни и не узнали бы нашей дореформенной Руси съ ея темными проходимцами, дикими понятіями, жестокими нравами, бездѣйствующими идеалистами, скучающими господами и т. д. О такой преображенной Руси и мечталъ Гоголь и думалъ силою моральной проповѣди и художественнаго изображенія облагородить однихъ, возбудить энергію другихъ...

Преслѣдуя эту мудреную задачу, онъ все пристальнѣе всматривался въ русскую дѣйствительность и все глубже проникалъ въ душу русскаго человѣка, выслѣживая въ первой намеки на лучшее будущее, ища во второй проблесковъ добра и душевной силы,—и вотъ во второй части „Мертвыхъ душъ“ является передъ нами Русь уже не столь безнадежно-темная и неподвижная, какъ въ первой части, являются русскіе люди, о чемъ-то тоскующіе, мечтающіе, желающіе начать новую жизнь, сознающіе свои грѣхи, свое безобразіе, даже протестующіе,—и въ самомъ Павлѣ Ивановичѣ Чичиковѣ начинаетъ пробуждаться желаніе стать по-

рядочнымъ человѣкомъ... Какъ великій художникъ-реалистъ Гоголь отлично понималъ всю трудность задачи. Оттуда эта неувѣренность и осторожность творческой работы, эта кропотливая переработка темы, наконецъ—сожженіе уже оконченнаго, но неудавшагося творенія, ложнаго въ цѣломъ, геніальнаго въ частяхъ.

Превосходно, прежде всего, сопоставленіе въ первыхъ главахъ Руси темной и нравственно спящей, представленной Павломъ Ивановичемъ Чичиковымъ, съ Русью новой, просвѣщенной, нравственно пробужденной, представленной фигурами Тентетникова и Улиньки.

Чичиковъ никакъ не можетъ понять обидчивости Тентетникова, который оскорбился тѣмъ, что генералъ Бетрищевъ сказалъ ему „ты", и который несмотря на любовь къ его дочери, Улинькѣ, порвалъ знакомство съ нимъ, пожертвовавъ счастьемъ чувству собственнаго достоинства. У Павла Ивановича совсѣмъ нѣтъ „собственнаго достоинства" и нѣтъ его чувства,—понятно, поступокъ Тентетникова представляется ему какимъ-то нелѣпымъ сумазбродствомъ. И никакъ не могутъ они столковаться по этому пункту.— „Какъ?—сказалъ Тентетниковъ, смотря пристально въ глаза Чичикову,—вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у него послѣ такого поступка?"—„Да какой же это поступокъ?" Это даже не поступокъ! сказалъ Чичиковъ. „Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!" подумалъ про себя Тентетниковъ. „Какой странный человѣкъ этотъ Тентетниковъ!" подумалъ про себя Чичиковъ".

Еще пуще пришлось изумиться Чичикову, когда онъ услышалъ отъ Тентетникова, что онъ позволилъ бы говорить ему „ты" другому, если бы этотъ другой былъ просто почтенный человѣкъ, старикъ, бѣднякъ, не гордый, не чванливый, не генералъ. „Онъ совсѣмъ дуракъ!" подумалъ про себя Чичиковъ. „Оборвышу позволить, а генералу не позволить!" Очевидно, цѣлая пропасть залегла въ пони-

маніи вещей и въ моральномъ развитіи между Тентетниковымъ и Чичиковымъ.—Въ свою очередь изумился Тентетниковъ, когда Чичиковъ объявилъ ему, что ѣдетъ къ генералу „засвидѣтельствовать почтеніе". „Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!" подумалъ Тентетниковъ. „Какой странный человѣкъ этотъ Тентетниковъ!" подумалъ Чичиковъ".

Писемскій, въ своей извѣстной статьѣ о второй части „Мертвыхъ душъ", приведя это мѣсто, говоритъ: „Не правда ли, что во всей этой сценѣ какъ будто разговариваютъ два человѣка, отдаленные другъ отъ друга столѣтіемъ: въ одномъ ни воспитаніемъ, ни жизнью никакія нравственныя начала не тронуты, а въ другомъ они уже черезчуръ развиты... Странное явленіе, но въ то же время поразительно вѣрное дѣйствительности!" („Полное собраніе сочиненій А. Ѳ. Писемскаго", изд. М. О. Вольфа, 1895 г., т. 6-й, стр. 358). Самъ большой художникъ и знатокъ дореформенной Руси, Писемскій въ восторгѣ отъ фигуры Тентетникова. „...Не могу выразить,—говоритъ онъ,—какое полное эстетическое наслажденіе чувствовалъ я, читая первую главу, съ появленія въ ней и обрисовки Тентетникова. Надобно только вспомнить, сколько повѣстей писано на тему этого характера и у сколькихъ авторовъ только еще надумывалось что-то такое сказаться; надобно было потомъ приглядѣться къ дѣйствительности, чтобы понять, до какой степени лицо Тентетникова, нынче уже отживающее и рѣдѣющее [1]), тогда было современно и типично" (тамъ же, стр. 353).

Свидѣтельство авторитетнаго современника имѣетъ для насъ большое значеніе. Писемскій увидѣлъ въ Тентетниковѣ хорошо знакомыя ему, тонкому наблюдателю жизни той эпохи, черты тѣхъ опустившихся, облѣнившихся дворянъ-помѣщиковъ, какихъ тогда было не мало и которые сами

---

[1]) Статья Писемскаго была написана въ 1855 году.

сознавали, что опускаются, пошлѣютъ, и порою съ болью сердца вспоминали лучшее время своей жизни, годы ученія, былыя мечты, неопредѣленныя, но живыя стремленія своей юности. Такъ и Тентетниковъ: „Когда привозила почта газеты, новыя книги и журналы и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвшаго на видномъ поприщѣ государственной службы или приносившаго посильную дань наукамъ и образованію всемірному, тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвно-грустная тихая жалоба на бездѣйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его... Градомъ лились изъ глазъ его слезы...“ („Мертв. души“, ч. II, гл. I).

Конечно, не всѣ Тентетниковы того времени были такими лежебоками, какъ гоголевскій. Въ послѣднемъ краски сгущены примѣрно такъ, какъ въ Обломовѣ Гончарова. Но психологія „ничегонедѣланія“ и причина душевнаго упадка, въ силу котораго образованные и одушевленные лучшими стремленіями молодые люди опускали руки, охладѣвали къ дѣлу, опошливались и погружались въ спячку, были все тѣ же: отсутствіе энергіи, вялость духа, дряблость чувства, слабость воли,—черты почти патологическія, выращенныя въ русскомъ человѣкѣ, въ особенности въ дворянинѣ-помѣщикѣ, характеромъ и условіями нашей исторической жизни вообще, разслабляющимъ и деморализующимъ воздѣйствіемъ крѣпостного права въ частности.

2.

Сопоставимъ теперь Тентетникова съ рядомъ предшествующихъ ему типовъ и посмотримъ, какое освѣщеніе получатъ они и жизнь, ими представляемая, отъ фигуры Гоголевскаго „Обломова“.

Тентетниковъ—не Чацкій. Цѣлая пропасть между ними—и въ смыслѣ характера, темперамента, общаго уклада натуры, и также въ отношеніи тѣхъ моментовъ общественнаго развитія, представителями которыхъ они являются. Чацкій никогда не дошелъ бы до той распущенности и апатіи, какими характеризуется Тентетниковъ. А этотъ послѣдній, по всему строю своей душевной жизни, всего менѣе годился бы для роли, аналогичной роли Чацкаго, и для характеристики людей 20-хъ годовъ. Но при всемъ томъ есть нѣчто общее между нимъ и Чацкимъ. Это именно—отчужденность отъ окружающей среды, глубокій разладъ между ними и обществомъ. Мы видѣли выше, какъ Чичиковъ не понимаетъ Тентетникова, а Тентетниковъ—Чичикова. Мало того: Тентетниковъ „опустился", впалъ въ апатію и т. д. вовсе не въ томъ смыслѣ, чтобы онъ утратилъ пріобрѣтенное имъ душевное развитіе и принаровился къ окружающей грубой и пошлой средѣ. Напротивъ, его лѣнь и апатія отчасти тѣмъ и объясняются, что эта среда ему противна, что онъ не можетъ ладить съ нею, не въ силахъ даже выносить присутствія и разговора пошляковъ, невѣждъ, болтуновъ и другихъ представителей застоявшейся, умственно и нравственно убогой жизни. „Временами (читаемъ въ 1-й гл.) изъ сосѣдей завернетъ къ нему бывало отставной гусаръ-поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандеръ-полковникъ, мастеръ и охотникъ на разговоры обо всемъ. Но и это ему стало надоѣдать. Разговоры ихъ начали ему казаться какъ-то поверхностными; живое, ловкое обращеніе, потребки по колѣну и прочія развязности начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и открытыми. Онъ рѣшилъ съ ними раззнакомиться и произвелъ это даже довольно рѣзко. Именно, когда представитель всѣхъ полковниковъ-брандеровъ, наипріятнѣйшій во всѣхъ поверхностныхъ разговорахъ обо всемъ, Варваръ Николаичъ Вишне-

покромовъ, пріѣхалъ къ нему за тѣмъ именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философіи, и литературы, и морали, и даже состоянія финансовъ въ Англіи, онъ выслалъ сказать, что его нѣтъ дома, и въ то же время имѣлъ неосторожность показаться передъ окошкомъ. Гость и хозяинъ встрѣтились взорами. Одинъ разумѣется, проворчалъ сквозь зубы: „скотина!“, другой послалъ ему нѣчто въ родѣ свиньи. Такъ и кончилось знакомство. Съ тѣхъ поръ не заѣзжалъ къ нему никто. Уединеніе полное водворилось въ домѣ“.

„Общественное мнѣніе о немъ—читаемъ въ другомъ мѣстѣ той же главы,—было скорѣе неблагопріятное, чѣмъ благопріятное“. Сосѣдъ изъ отставныхъ штабъ-офицеровъ „выражался о немъ лаконическимъ выраженіемъ: естественнѣйшій скотина!“ Генералъ (Бетрищевъ) говорилъ: „Молодой человѣкъ не глупый, но много забралъ себѣ въ голову...“ „Капитанъ-исправникъ замѣчалъ: да вѣдь чинишка на немъ—дрянь; а вотъ я завтра же къ нему за недоимкой!“ Наконецъ, „мужикъ его деревни, на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничего не отвѣчалъ“.

Тентетниковъ, не хуже Чацкаго, сознаетъ и чувствуетъ пошлость и мракъ окружающей среды, и его одиночество, прежде всего, умственнаго и нравственнаго порядка. Какъ Чацкій, онъ въ своей средѣ—*лишній* и *чужой*. Если Чацкій бѣжитъ „искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ“, то Тентетниковъ запирается у себя дома и живетъ въ полномъ одиночествѣ. Страстный протестъ Чацкаго, столь характерный для эпохи 20-хъ годовъ, низведенъ въ Тентетниковѣ къ вялому отчужденію и грустному одиночеству, типичнымъ для его времени. Времена перемѣнились. И если „протестъ“ Тентетникова, въ противоположность протесту Чацкаго, совершенно пассивенъ, если этотъ „герой безвременья“ вялъ, безстрастенъ, апатиченъ, то за нимъ все-таки остается, однако, та „заслуга“, что онъ уже на-

столько перерос темную среду, что — психологически — не въ состоянiи понимать ее. Она совершенно чужда ему, и этимъ также, кромѣ вялости и апатiи, объясняется пассивность его протеста. „Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!“ думаетъ онъ про себя... и находитъ, что при всемъ томъ Павелъ Ивановичъ—единственный человѣкъ, съ которымъ онъ, Тентетниковъ, можетъ жить подъ одной кровлей. Но относясь такъ мягко и снисходительно къ Чичиковымъ, Тентетниковъ обнаруживаетъ горячность и темпераментъ, когда вспоминаетъ объ обидѣ, нанесенной ему генераломъ Бетрищевымъ. Разсказывая эту исторiю Чичикову, „смирный и кроткiй Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосѣ его послышалось раздраженiе оскорбленнаго чувства“. Это—потому, что въ немъ уже развилась и созрѣла личность, хотя и слабая въ дѣлѣ общественнаго протеста, но сильная сознанiемъ своего человѣческаго достоинства. Въ этомъ отношенiи онъ типиченъ для эпохи, когда общественный протестъ былъ почти невозможенъ, но зато, въ кругахъ мыслящихъ людей, вырабатывалась личность человѣческая, живущая высшими интересами мысли, занятая сложною внутреннею работою чувства, совѣсти, идей и возвышавшаяся до тонкоразвитого и очень чуткаго сознанiя своего человѣческаго достоинства.

Тентетниковъ—не Онѣгинъ. Но читая о хлопотахъ его въ деревнѣ, о его отношенiяхъ къ сосѣдямъ, о его попыткахъ писать, о безуспѣшности этихъ попытокъ, мы невольно вспоминаемъ пушкинскаго героя. При всѣхъ индивидуальныхъ отличiяхъ они сближаются — какъ типы русскихъ интеллигентныхъ неудачниковъ.

Тентетниковъ, въ сущности, вовсе не такъ пассивенъ и безволенъ, какъ Обломовъ,—онъ только „холоденъ“, какъ Онѣгинъ, и, какъ онъ же, не умѣетъ выбрать себѣ дѣла по душѣ и берется за трудъ, къ которому неспособенъ. Его

умъ жаждетъ работы, не хочетъ оставаться празднымъ, но въ результатѣ выходитъ слѣдующее: „За два часа до обѣда Андрей Ивановичъ уходилъ къ себѣ въ кабинетъ, чтобы заняться серьезно, и, дѣйствительно, занятіе было, точно, серьезное. Оно состояло въ обдумываніи сочиненія, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочиненіе это долженствовало обнять всю Россію со всѣхъ точекъ — съ гражданской, политической, религіозной, философической, разрѣшить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временемъ, и опредѣлить ясно ея великую будущность; словомъ, большого объема. Но покуда все оканчивалось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки и потомъ все это отодвигалось въ сторону, бралась, на мѣсто того, въ руки книга и уже не выпускалась до самаго обѣда. Книга эта читалась вмѣстѣ съ супомъ, съ соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ что иныя блюда оттого стыли, а другія принимались вовсе нетронутыми...“

Мѣткое опредѣленіе Онѣгина, сдѣланное Веневитиновымъ, съ нѣкоторыми измѣненіями, вполнѣ примѣнимо къ Тентетникову. Вспомнимъ (см. въ гл. IV): „...опытъ поселилъ въ немъ (Онѣгинѣ) не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду, а скуку, наружное безстрастіе, свойственное русской холодности (мы не говоримъ—русской лѣни)...“ Въ примѣненіи къ Тентетникову это гласило бы такъ: ничтожный опытъ жизни поселилъ въ немъ не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду (какъ это было у Чацкаго), а скуку, апатію, безстрастіе (и не только наружное), свойственное русской холодности и русской лѣни...

Тентетниковъ—это родъ Онѣгина, перенесеннаго въ 40-е годы, и намъ думается, что Гоголь, создавая образы Тентетникова и Улиньки, невольно обращался мыслью къ Онѣгину и Татьянѣ...

Всего менѣе точекъ соприкосновенія у Тентетникова съ Печоринымъ. У добраго Андрея Ивановича нѣтъ ни

кипучихъ страстей, ни сатанинской гордости Печорина,— тѣмъ паче нѣтъ той силы характера, которою такъ ярко отличается лермонтовскій „герой безвременья". Но если мы (въ гл. V-й) могли, при всѣхъ индивидуальныхъ отличіяхъ между Онѣгинымъ и Печоринымъ, занести ихъ, слѣдуя Бѣлинскому, въ одну группу, могли ихъ сблизить — какъ представителей одного и тогоже общественно-психологическаго типа, то не будетъ натяжкою и сближеніе, въ томъ же смыслѣ, Тентетникова съ Печоринымъ. По-своему, Тентетниковъ такой же лишній человѣкъ, какъ и Печоринъ, такъ же неуживчивъ, какъ и онъ, такой же, только совсѣмъ пассивный, отщепенецъ отъ среды. Правда, онъ не „чувствуетъ въ себѣ силы необъятныя" и не кипитъ страстями, какъ Печоринъ, а стынетъ, какъ Онѣгинъ, не прожигаетъ жизни въ приключеніяхъ, романахъ, путешествіяхъ, дуэляхъ и т. д., а сиднемъ сидитъ дома въ халатѣ, какъ Обломовъ,—но психологическая суть отщепенства, неудовлетвореннаго честолюбія и нравственнаго одиночества остается, какъ тутъ, такъ и тамъ, все та же.

Какъ человѣкъ 40-хъ годовъ, Тентетниковъ ближе подходитъ къ Рудину, котораго онъ напоминаетъ „холодностью" натуры, недостаткомъ силы воли, слабою работоспособностью. Рудинъ также пишетъ или „обдумываетъ" большую статью, которую никогда не окончитъ... И, повидимому, какъ у того, такъ и у другого одною изъ причинъ неудачи литературныхъ предпріятій является неопредѣленность идей, расплывчатость міросозерцанія, недостатокъ подготовки къ умственному труду. Къ общей душевной апатіи присоединяется здѣсь еще и вялость мысли, „умственная апатія", если можно такъ выразиться. Мало того: Тентетниковъ, оказывается, владѣетъ своего рода „музыкою краснорѣчія", напоминающею чарующую рѣчь Рудина. Объ этомъ ничего не говорится въ сохранившемся текстѣ второй части „Мертвыхъ душъ". Но въ извѣстной запискѣ Арнольди, гдѣ подробно

изложено содержаніе сожженныхъ главъ, читанныхъ самимъ Гоголемъ въ Калугѣ у Смирновыхъ, находимъ между прочимъ слѣдующее:

„Благодаря посредничеству Чичикова, Тентетниковъ примиряется съ генераломъ Бетрищевымъ и пріѣзжаетъ къ нему. На вопросъ генерала о сочиненіи Тентетникова, послѣдній распространяется (съ цѣлью выгородить Чичикова, соврашаго, будто Тентетниковъ пишетъ исторію генераловъ) о томъ, что будто бы его задачею было—не писать обстоятельное сочиненіе о войнѣ 12-го года съ исторической точки зрѣнія, а только очертить тотъ общій подъемъ духа, то патріотическое возбужденіе и самоотверженіе, которое охватило тогда всѣ классы общества, и представить яркую картину этихъ „невидимыхъ подвиговъ и высокихъ, но тайныхъ жертвъ“. „Тентетниковъ (разсказываетъ Арнольди) говорилъ долго и съ увлеченіемъ, весь проникнулся въ эту минуту чувствомъ любви къ Россіи. Бетрищевъ слушалъ его съ восторгомъ, и въ первый разъ такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, какъ брильянтъ чистѣйшей воды, повисла на сѣдыхъ усахъ. Генералъ былъ прекрасенъ; а Улинька? Она вся впилась глазами въ Тентетникова; она, казалось, ловила съ жадностью каждое его слово; она, какъ музыкой, упивалась его рѣчами; она любила его, она гордилась имъ!.. Когда Тентетниковъ кончилъ, водворилась тишина, всѣ были взволнованы...“ („Сочиненія Н. В. Гоголя“, подъ редакц. Н. С. Тихонравова, томъ III, стр. 558—559).

Точно сцена изъ „Рудина“, и Тентетниковъ обнаруживается тутъ какъ истый „человѣкъ 40-хъ годовъ“—съ восторженною рѣчью, отъ которой кружится голова восторженной барышни, съ культомъ „всего высокаго, прекраснаго, благороднаго“, и мы готовы уже сказать: вотъ въ чемъ настоящее призваніе этого человѣка—благородно мыслить, краснорѣчиво говорить и благотворно влiять на всѣхъ,

имѣющихъ уши, чтобы слышать,—и это „дѣло“ Тентетниковъ могъ бы дѣлать не хуже самого Рудина.

Тентетниковъ представляетъ собою разновидность „человѣка 40-хъ годовъ“, характеризующуюся, въ отличіе отъ Рудина и другихъ, тѣмъ, что на ней нѣтъ того особаго отпечатка, какой налагала „школа“ московскихъ идеалистическихъ кружковъ, и еще тѣмъ, что слабость воли, безхарактерность, „русская холодность“ и безстрастіе доведены въ немъ до того предѣла, гдѣ человѣкъ—умный, образованный, молодой и, казалось бы, полный силъ, къ тому же не чуждый передовыхъ идей и стремленій вѣка—превращается въ „увальня“, „лежебока“, „байбака“.

Кромѣ Рудина, Тентетниковъ заставляетъ насъ вспомнить и о Лаврецкомъ или, лучше сказать, объ одномъ эпизодѣ въ его жизни, когда онъ—въ деревнѣ—почувствовалъ себя „на самомъ днѣ рѣки“. Уединеніе, одиночество, отчужденность отъ окружающей среды, тишина кругомъ и въ душѣ Лаврецкаго, сонныя мысли, дремотныя воспоминанія, убаюканныя грезы, тихое погруженіе въ душевную бездѣйственность—развѣ все это не та же „обломовщина“, хотя и кратковременная, не тотъ же, въ сущности, „журналъ дня“ Тентетникова, не тотъ же сонъ души, отъ котораго пробудилъ Лаврецкаго неугомонный и шумный Михалевичъ, обозвавшій, кстати, пріятеля „байбакомъ“, какъ опредѣляетъ Тентетникова Гоголь?

Лаврецкій не превратился въ „байбака“, не сдѣлался ни Тентетниковымъ, ни Обломовымъ, но читая великолѣпныя страницы, изображающія деревенскую жизнь Лаврецкаго, мы невольно думаемъ: какъ однако пріятно русскому человѣку очутиться „на самомъ днѣ рѣки“, какъ манитъ его тихій сонъ души среди медлительной жизни, лѣниво протекающей вдали отъ шума и суеты, никуда не спѣшащей и какъ бы застывшей въ вѣковыхъ формахъ, являющихъ ложный видъ неподвижности и крѣпости...

3.

Весь рядъ—Чацкій, Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Лаврецкій,—какъ было указано нами въ своемъ мѣстѣ, характеризуется между прочимъ тѣмъ, что всѣ они—„вѣчные странники" въ прямомъ и переносномъ, психологическомъ смыслѣ, вѣчно ищущіе и не находящіе „душевнаго пристанища" одинокіе скитальцы въ юдоли дореформенной русской жизни.

Въ Тентетниковѣ, а за нимъ и въ Обломовѣ, примыкающихъ, въ общественно-психологическомъ смыслѣ, къ тому же ряду типовъ и какъ бы завершающихъ его, эта черта впервые устраняется. На вопросъ:—въ чемъ главное отличіе Тентетникова и Обломова, какъ типовъ общественно-психологическихъ, отъ предшествующихъ имъ образовъ того же порядка?—мы отвѣтимъ такъ: они—не „странники", не „скитальцы", и ихъ отщепенство, ихъ душевное одиночество получило иное выраженіе—„покоя", физической и психической бездѣятельности, застыло въ неподвижности, притаилось и замерло въ однообразіи будней, въ какой-то восточной косности.

Это отличіе и эта особенность Тентетникова и Обломова, какъ типовъ, явились выраженіемъ особыхъ мыслей, наблюденій и выводовъ ихъ авторовъ, Гоголя и Гончарова,—здѣсь ярко обнаруживается основной ихъ замыселъ, какого не было ни у Грибоѣдова, ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни даже у Тургенева (въ „Рудинѣ" и въ „Двор. Гнѣздѣ", мы не говоримъ о „Запискахъ охотника", а равно и о послѣдующихъ его произведеніяхъ, 1860-хъ и 1870-хъ гг.).

Дѣло въ томъ, что эти поэты, создавая широкіе типы, воплощавшіе въ себѣ извѣстные моменты нашего общественнаго развитія, преслѣдовали задачу въ тѣсномъ смыслѣ психологическую: ихъ интересовалъ, по преимуществу, внут-

ренній міръ героя, его характеръ, его настроеніе и т. д., а равно и психологія отношеній героя къ средѣ. Гоголь, какъ позже Гончаровъ, кромѣ этой задачи, ставилъ себѣ и другую: нарисовать картину экономической отсталости Россіи, показать, какъ плохо ведется у насъ помѣщичье хозяйство, какъ не устроены крестьяне, какъ мало заботъ прилагаютъ и какое неумѣніе обнаруживаютъ дворяне-помѣщики въ томъ дѣлѣ, къ которому они призваны по самому положенію своему. Это была задача, аналогичная той, какую впослѣдствіи, въ эпоху пореформенную, неоднократно выдвигала сатира Салтыкова и разрабатывалъ Терпигоревъ (С. Атава) въ своихъ извѣстныхъ очеркахъ „Оскудѣніе".

Что касается собственно Гоголя, то у него постановка и разработка этой важной темы, по необходимости, оказались неудачными и ложно направленными. Ибо для правильной ея постановки и разработки требовалось прежде всего основательное и раціональное политическое образованіе, котораго у Гоголя не было. Великій художникъ подошелъ къ вопросу—какъ моралистъ и, позволю себѣ сказать, какъ неврастеникъ, а не какъ политически образованный умъ, который бы ясно сознавалъ, что корень зла—въ крѣпостномъ правѣ и въ общемъ закрѣпощеніи мысли и совѣсти русскихъ людей.

Я попрошу читателя припомнить здѣсь то, что было сказано въ главѣ VIII-ой о натурѣ, складѣ ума и настроеніяхъ Гоголя. Тамъ я указалъ на присущую великому поэту боязнь отрицанія, на его отвращеніе къ принципіальной критикѣ, къ партійнымъ раздорамъ и спорамъ. Всего этого не выносила его неуравновѣшенная душа, его больная неврастеническая организація. Онъ жаждалъ внутренняго мира, успокоенія, согласія и примиренія партій, всяческаго „порядка". Пуще всего боялся онъ, чтобы не проникли къ намъ западно-европейскія отрицательныя направленія... Самая умѣренная и осторожная критика основного

строя жизни и установившихся порядковъ казалась ему зловѣщимъ предзнаменованіемъ грядущей катастрофы, всеобщаго разгрома и разложенія жизни. Онъ пугался „страшныхъ словъ", даже такихъ, какъ слово „реформа"... Онъ хотѣлъ бы сохранить существующій строй въ его основахъ, и вѣрилъ, что его можно облагородить силою моральной проповѣди и религіи. Художественное изображеніе отрицательныхъ сторонъ жизни, въ особенности же недостатковъ русскаго человѣка, казалось ему однимъ изъ могущественныхъ средствъ благотворнаго воздѣйствія на умы и сердца. Его творчество становилось, въ его глазахъ, дѣломъ моралиста-проповѣдника, который, не трогая основъ жизни, исправляетъ людей. Вторая часть „Мертвыхъ душъ" была яркимъ выраженіемъ этой фантастической идеи.

Оттуда, между прочимъ, и та мечта объ идеальномъ учебномъ заведеніи, руководимомъ необыкновеннымъ наставникомъ, которая выразилась въ извѣстномъ эпизодѣ первой главы. Вернемся на минуту къ этой мечтѣ,—она въ высокой степени характерна для Гоголя. Въ старшемъ классѣ, гдѣ преподавалась „наука жизни" и воспитывался характеръ „гражданина земли своей", Александръ Петровичъ „возвѣщалъ, что доселѣ онъ требовалъ отъ учениковъ простого ума, теперь требуетъ ума высшаго,—не того ума, который умѣетъ подтрунить надъ дуракомъ и посмѣяться, но *умѣющаго вынесть всякое оскорбленіе, спустить дураку и не раздражиться* [1]). Здѣсь-то сталъ онъ требовать того, что другіе требуютъ отъ дѣтей. *Это-то и называлъ онъ высшею степенью ума. Сохранить посреди какихъ бы то ни было огорченій высокій покой, въ которомъ вѣчно долженъ пребывать человѣкъ,—вотъ, что называлъ онъ умомъ"...* [1]) Можно подумать, что это школа философовъ,

---

[1]) Курсивъ мой.

во главѣ которой стоитъ своего рода Спиноза, только не европейскій, а азіатскій, и въ ней воспитываются будущіе индійскіе мудрецы, а не будущіе россійскіе — да еще дореформенные — чиновники и помѣщики...

Самъ ощущая потребность—почти органическую—въ „душевномъ покоѣ“, въ мирѣ и, вмѣстѣ, подъемѣ строя мыслей, чувствъ и страстей, достигаемомъ путемъ религіозной практики и моральныхъ стремленій, Гоголь, при свойственномъ ему эгоцентризмѣ сознанія и субъективности творчества, вообразилъ, будто такую же потребность ощущаютъ или должны ощутить и многіе въ Россіи, въ особенности опустившіеся помѣщики, какъ Тентетниковъ, скучающіе господа, какъ Платоновъ, распущенные и разорившіеся Хлобуевы и т. д., а всего болѣе тѣ „огорченные люди“, которые такъ нескладно и съ такимъ излишествомъ „негодуютъ“ и безъ толку вопіютъ противъ „несправедливостей“. И его больному уму рисовалась чудная картина: просвѣщенные, нравственно облагороженные, достигшіе „высшаго покоя“ чиновники и помѣщики, не трогая „основъ“, не суетясь, не горячась, не вопія, не „огорчаясь“ и слѣдовательно не возбуждая ничьихъ подозрѣній, мирно, тихо, степенно дѣлаютъ „благое дѣло среди царящаго зла“, устраиваютъ бытъ крестьянъ, ведутъ образцовое хозяйство, улучшаютъ нравы, благотворно вліяютъ на взяточниковъ и даже на проходимцевъ-Чичиковыхъ, морально дѣйствуютъ на всѣхъ поприщахъ и созидаютъ матеріальное и нравственное благосостояніе Россіи, которой устои—рабовладѣльческіе, бюрократическіе и авторитарные — остаются незыблемы...

Въ этомъ смыслѣ—и только въ этомъ—онъ и понималъ свое знаменитое „впередъ“! — „это чудное словцо, производящее такія чудеса надъ русскимъ человѣкомъ“, словцо, „котораго жаждетъ повсюду, на всѣхъ ступеняхъ стоящій, всѣхъ сословій, званій и промысловъ, русскій человѣкъ“... („Мертв. души“, ч. II, гл. I).

Второю частью „Мертвыхъ душъ“ и предположенною третьею Гоголь и думалъ „крикнуть“ это магическое слово „душѣ русскаго человѣка“ „живымъ пробуждающимъ голосомъ“ (тамъ же).

Итакъ, вотъ каковъ былъ замыселъ художника, и вотъ постановка вопроса. Передъ художникомъ стояла проблема матеріальнаго и духовнаго прогресса Россіи. Онъ понималъ эту проблему неправильно, ставилъ вопросъ нераціонально и его „впередъ“!, какъ онъ понималъ это „магическое словцо“, въ нашихъ глазахъ либо значитъ „назадъ“, либо, въ лучшемъ случаѣ, ровно ничего не значитъ... Но это не отнимаетъ у Гоголя заслуги самой постановки вопроса. И разъ этотъ вопросъ былъ поставленъ, и на немъ сосредоточились интересы художника,—личность и психологія героя, олицетворяющаго извѣстный моментъ въ нашемъ общественномъ развитіи, должны были получить, въ свою очередь, новую постановку и новое освѣщеніе. Поэтъ подходилъ къ герою уже не съ прежнимъ вопросомъ: какъ и почему ты страдаешь и „душою скитаешься“? а съ новымъ вопросомъ: почему ты ничего не дѣлаешь, не работаешь, не содѣйствуешь, по мѣрѣ силъ и возможности, матеріальному и духовному прогрессу страны? Въ самомъ вопросѣ уже заключалось обвиненіе, которое и выразилось въ изображеніи „ничегонедѣланія“ героя, въ созданіи типа образованнаго и благородно-мыслящаго лежебока. Болѣе или менѣе интересные герои, олицетворявшіе извѣстный моментъ умственнаго развитія нашего общества, превращались, словно по мановенію волшебнаго жезла, въ вялыхъ и скучныхъ Тентетниковыхъ и „Обломовыхъ“. Къ „бѣдности да бѣдности“, изображенной въ первой части поэмы, къ безпросвѣтной темнотѣ міра Чичиковыхъ присоединилась теперь картина духовнаго обнищанія и упадка образованнаго общества, той новой Руси, которая, казалось, такъ далеко ушла отъ міра Чичиковыхъ...

Благодаря исключительной художественной геніальности великаго юмориста, картина вышла изумительная и, несмотря на нераціональную постановку вопроса, глубоко-правдивая. Образы Тентетникова, генерала Бетрищева, Пѣтуха, Кошкарева, Хлобуева, Платоновыхъ такъ ярки, такъ содержательны, такъ много и хорошо говорятъ, что узко-моральная и политически отсталая точка зрѣнія автора какъ бы стушевывается, теряется изъ виду и, можно сказать, обезвреживается, и великое слово „впередъ", брошенное поэтомъ, получаетъ иной, болѣе глубокій, истинно прогрессивный смыслъ.

Оттуда — и тотъ культъ Гоголя, который передовые люди 50-хъ годовъ хранили столь же неизмѣнно, какъ и ихъ предшественники, люди 40-хъ годовъ. Несмотря на отсталость общественной мысли, на мистицизмъ, на выдуманные и фальшиво освѣщенные образы Костанжогло, Муразова и т. п., великій поэтъ оставался, въ глазахъ новаго поколѣнія, все тѣмъ же могучимъ двигателемъ общественнаго и національнаго сознанія, какимъ онъ былъ для Бѣлинскаго, Герцена и другихъ. Ярче всего сказалось это въ знаменитыхъ „Очеркахъ Гоголевскаго періода русской литературы", которыми Н. Г. Чернышевскій подвелъ итогъ критической работѣ 40-хъ годовъ и впервые выяснилъ великое значеніе творчества Гоголя и критики Бѣлинскаго. — Здѣсь не лишнимъ будетъ привести отзывъ знаменитаго публициста о второй части „Мертвыхъ душъ".

„Многіе изъ этихъ отрывковъ" (2-ой части, тогда только что изданной) писалъ Чернышевскій, „рѣшительно такъ же слабы и по выполненію, и особенно по мысли, какъ слабѣйшія мѣста „Переписки съ друзьями"; таковы особенно отрывки, въ которыхъ изображаются идеалы самого автора, напр. дивный воспитатель Тентетникова, многія страницы отрывка о Костанжогло, многія страницы отрывка о Муразовѣ; но это еще ничего не доказываетъ. Изображеніе иде-

аловъ было всегда слабѣйшею стороною въ сочиненіяхъ Гоголя, и, вѣроятно, не столько по односторонности таланта, которой многіе приписываютъ эту неудачность, сколько именно по силѣ его таланта, стоявшей въ необыкновенно тѣсномъ родствѣ съ дѣйствительностью: когда дѣйствительность представляла идеальныя лица, они превосходно выходили у Гоголя, какъ, напр., въ „Тарасѣ Бульбѣ"..." Далѣе критикъ указываетъ на тѣ вліянія, которымъ, по его мнѣнію, подчинялся Гоголь и которыя такъ пагубно отразились на „Перепискѣ съ друзьями" и на второй части „Мертв. душъ". „Сдѣлавъ эти оговорки" (продолжаетъ Чернышевскій), „внушенныя не только глубокимъ уваженіемъ къ великому писателю, но еще болѣе чувствомъ справедливаго снисхожденія къ человѣку, окруженному неблагопріятными для его развитія отношеніями, мы не можемъ, однако же, не сказать прямо, что понятія, внушившія Гоголю многія страницы второго тома „Мертв. душъ", не достойны ни его ума, ни таланта, ни особенно его характера, въ которомъ, несмотря на всѣ противорѣчія, донынѣ остающіяся загадочными, должно признать основу благородную и прекрасную. Мы должны сказать, что на многихъ страницахъ второго тома, въ противорѣчіе съ другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатомъ закоснѣлости; впрочемъ, мы увѣрены, что онъ принималъ эту закоснѣлость за что-то доброе, обольщаясь нѣкоторыми сторонами ея, съ односторонней точки зрѣнія могущими представляться въ поэтическомъ и кроткомъ видѣ и закрывать глубокія язвы, которыя такъ хорошо видѣлъ и добросовѣстно изобличалъ Гоголь въ другихъ сферахъ, болѣе ему извѣстныхъ, и которыхъ не различалъ въ сферѣ дѣйствій Костанжогло, ему не столь хорошо знакомой..." Но все это съ избыткомъ выкупается рядомъ фигуръ и картинъ, проникнутыхъ гоголевскимъ юморомъ, гдѣ Гоголь остается „прежнимъ великимъ Гоголемъ". Перечисливъ эти образы и сцены, Чернышевскій

заключаетъ: „однимъ словомъ, въ этомъ рядѣ черновыхъ отрывковъ, которые намъ остались отъ второго тома „Мертв. душъ", есть слабые, которые, безъ сомнѣнія, были бы передѣланы или уничтожены авторомъ при окончательной отдѣлкѣ романа, но въ большей части отрывковъ, несмотря на ихъ неотдѣланность, великій талантъ Гоголя является съ прежнею своею силою, свѣжестью, съ благородствомъ направленія, врожденнаго его высокой натурѣ"[1]) („Очерки Гоголевскаго періода русской литературы", С.-Петерб., 1892 г., стр. 7—11, примѣчаніе. — Впервые „Очерки" были напечатаны въ „Современникѣ" Некрасова въ 1855—1856 гг.).

Теперь, когда издано обширное, почти полное собраніе писемъ Гоголя, и когда, трудами Тихонравова, Шенрока, Кирпичникова и др., освѣщены многія стороны его натуры, разъяснены обстоятельства его жизни, и т. д., мы имѣемъ возможность внести поправку въ этотъ, по существу вѣрный, отзывъ критика 50-хъ годовъ. Вліяніе „друзей" на Гоголя было незначительно, и то, что Чернышевскій называетъ „закоснѣлостью", было органически свойственно уму великаго поэта и находилось въ ближайшей причинной связи съ укладомъ его нервной организаціи и его психики. Но эта „закоснѣлость", т.-е. отсталость его идеаловъ и невоспитанность его общественной мысли, не исключала „благородства направленія, врожденнаго его высокой натурѣ". Онъ болѣлъ душою, онъ внутренно содрогался и скорбѣлъ при видѣ несовершенствъ нашей жизни, при созерцаніи всей нашей „бѣдности да бѣдности", и напряженно, упорно, много лѣтъ подъ рядъ бился онъ надъ вопросомъ о причинахъ нашихъ язвъ и о средствахъ исцѣлить ихъ. Оттуда — тотъ поворотъ художественныхъ интересовъ и замысловъ, въ силу котораго на первый планъ выдвигалась картина

[1]) Курсивъ мой.

нашей „мерзости запустѣнія“ и изслѣдованіе психологіи русскаго человѣка, изъяны которой были—въ глазахъ поэта—главною причиною нашихъ бѣдъ, нашей матеріальной, экономической отсталости и нашего моральнаго вообще, гражданскаго въ частности извращенія.

И получалась такая картина русской жизни, какой не найдемъ ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Тургенева (въ „Рудинѣ“ и „Двор. гнѣздѣ“); и только Грибоѣдовъ, какъ политическій сатирикъ, отчасти—намеками—предвосхитилъ художественный діагнозъ Гоголя. Но и у Грибоѣдова—на первомъ планѣ „мильонъ терзаній“ Чацкаго, конфликтъ передового человѣка эпохи съ отсталою, закоснѣлою средой, какъ повторяется это у Пушкина, Лермонтова, Тургенева, при чемъ изъ-за страданій, изъ-за личной жизни тоскующаго, скучающаго, „душой скитающагося“ героя мы видимъ дореформенную Россію почти только какъ фонъ и рамку картины. У Гоголя она-то и выступаетъ на первый планъ, и „Мертвыя души“—истинная національная „поэма“, въ которой герой—Россія, и гдѣ показанъ не „мильонъ терзаній“ личности, а мильонъ экономическихъ и общественныхъ язвъ страны. И вышло такъ, что психологія русскаго человѣка, раскрытію которой, въ ея злѣ и—потомъ—въ ея добрѣ, посвятилъ Гоголь свой трудъ, явилась средствомъ изобразить наши общественные непорядки и язвы. И, можно сказать, читателю дѣла нѣтъ до „закоснѣлости“ автора: непорядки показаны и освѣщены такъ, что лучше всякой раціональной критики строя обнаруживаютъ его негодность. Вспомнимъ хотя бы того же Тентетникова, потомъ Хлобуева, потомъ Кошкарева,—и, становясь на точку зрѣнія блага и человѣческаго достоинства крестьянъ, мы невольно начнемъ отрицать самый строй, самый „порядокъ“ вещей, въ силу котораго трудящееся, земледѣльческое населеніе страны является безотвѣтною собственностью помѣщиковъ, все равно какихъ, гуманныхъ ли, какъ

Тентетниковъ, безпутныхъ ли, какъ Хлобуевъ, нелѣпыхъ ли, какъ Кошкаревъ... Дико звучатъ въ нашихъ ушахъ даже исполненныя лучшихъ намѣреній слова Тентетникова: „У меня 300 душъ крестьянъ... Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженіи и улучшеніи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству 300 трезвыхъ, работящихъ подданныхъ,—чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія?..",—точно дѣло идетъ о 300 баранахъ, объ улучшеніи породы скота, о собственности, съ которою можно поступить какъ угодно, можно сберечь и пріумножить, можно и растратить...

4.

Объясняя наши язвы и неустройства психическими особенностями русскаго человѣка, Гоголь въ своихъ поискахъ за „идеальнымъ типомъ", именно идеальнымъ хозяиномъ и помѣщикомъ, пришелъ къ мысли, что нужно искать таковогo среди иностранцевъ, конечно, обрусѣлыхъ. Это долженъ быть по натурѣ, характеру, душевному складу—не „русскій" человѣкъ, который будто бы отъ природы лѣнивъ и склоненъ къ моральной и всякой иной распущенности, и въ то же время это долженъ быть по языку, по національности, по симпатіямъ и т. д. человѣкъ вполнѣ „русскій". Такого и нашелъ поэтъ въ обрусѣломъ грекѣ Костанжогло или Скудронжогло (какъ называется онъ въ первой редакціи текста). Эта мысль—искать „настоящаго" дѣятеля, человѣка съ твердыми правилами, съ энергіей, съ инціативой среди обрусѣвшихъ иностранцевъ—во всякомъ случаѣ любопытна. Вслѣдъ за Гоголемъ пришелъ къ ней и Гончаровъ, выразившій ее въ фигурѣ обрусѣлаго нѣмца Штольца.

Въ III-й главѣ второй части „Мертвыхъ душъ", гдѣ впервые является Скундронжогло, Гоголь говоритъ о немъ слѣдующее:

„Лицо Скудронжогло было очень замѣчательно. Въ немъ было замѣтно южное происхожденіе. Волосы на головѣ и на бровяхъ темны и густы, глаза говорящіе, блеску сильнаго. Умъ сверкалъ во всякомъ выраженіи лица, и *ужъ ничего не было въ немъ сонного*[1]). Но замѣтна однако же была примѣсь чего-то желчнаго и озлобленнаго. *Онъ былъ не совсѣмъ русскаго происхожденія. Есть много на Руси русскихъ не русскаго происхожденія, въ душѣ однако же русскіе*[2]). Скудронжогло не занимался своимъ происхожденіемъ, находя, что это нейдетъ въ дѣло; притомъ не зналъ и другого языка, кромѣ русскаго". Сохранилось извѣстіе, что, такъ сказать, „натурою" для характера Скудронжогло послужилъ Гоголю откупщикъ Бенардаки, съ которымъ Гоголь былъ хорошо знакомъ. (См. В. И. *Шенрокъ*, „Матеріалы для біографіи Н. В. Гоголя", т. III, стр. 429).

Передъ нами любопытное наблюденіе художника, свидѣтельствующее о его внимательномъ отношеніи къ русской жизни. Дѣйствительно, у насъ есть много обрусѣлыхъ иностранцевъ и инородцевъ, которымъ нельзя отказать въ принадлежности къ русской національности (разъ ихъ родной языкъ—русскій); но въ психологическій составъ русскаго національнаго уклада они вносятъ нѣкоторыя черты, какихъ нѣтъ, или какія еще недостаточно отчетливо обозначались у русскихъ „русскаго происхожденія". Въ ряду этихъ чертъ Гоголь отмѣтилъ тѣ, присутствіе которыхъ у Скудронжогло выразилось прежде всего внѣшнимъ образомъ тѣмъ, что „ужъ ничего не было въ немъ соннаго". Гордость, энергія, практическій и живой умъ, сила воли, работоспособность, иниціатива, дѣловитость—вотъ что замѣтилъ и чѣмъ заинтересовался Гоголь, наблюдая обрусѣлыхъ иностранцевъ,

---

1) Въ противность сонному выраженію Платонова. Курсивъ мой.

2) Курсивъ мой.

какихъ случалось ему встрѣчать. Онъ высоко цѣнилъ эти качества и—въ лицѣ Костанжогло—выставилъ ихъ, такъ сказать, въ укоръ и въ поученіе облѣнившимся Тентетниковымъ, скучающимъ Платоновымъ, промотавшимся Хлобуевымъ и т. д.

Въ чемъ собственно выразились положительныя „нерусскія" качества Костанжогло, достаточно извѣстно: онъ—образцовый хозяинъ, искусный „пріобрѣтатель", но онъ хозяйничаетъ и пріумножаетъ свое достояніе не просто какъ человѣкъ наживы, какъ „загребистая лапа", а, такъ сказать, „идейно", слѣдуя нѣкоторой „программѣ", въ которой Гоголь видѣлъ именно то самое, что̀ нужно Россіи въ интересахъ ея экономическаго, моральнаго и гражданскаго развитія. Костанжогло не отдѣляетъ своихъ выгодъ, какъ помѣщика, отъ интересовъ мужика. Онъ строитъ свое благосостояніе на благосостояніи крестьянъ. Онъ заботится о своихъ крѣпостныхъ, помогаетъ имъ, учитъ ихъ уму-разуму. И его деревня являетъ рѣдкое зрѣлище мужицкой зажиточности и довольства. „Все тутъ было богато: торныя улицы, крѣпкія избы; стояла гдѣ телѣга—телѣга была крѣпкая и новешенькая; попадался ли конь—конь былъ откормленный и добрый; рогатый скотъ—какъ на отборъ, даже мужичья свинья глядѣла дворяниномъ. Такъ и видно, что здѣсь именно живутъ мужики, которые, какъ поется въ пѣснѣ, гребутъ серебро лопатой..." (гл. III-я). Однимъ словомъ, это—иллюстрація къ излюбленной идеѣ Гоголя—о призваніи помѣщиковъ радѣть о крестьянахъ, не трогая крѣпостного права, и согласовать свои интересы землевладѣльца съ интересами мужика, служа тѣмъ самымъ и пользѣ государства. Этотъ крѣпостническій идеалъ Гоголь возвѣстилъ міру сперва въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями", а во второй части „Мертвыхъ душъ" онъ попытался дать ему художественное выраженіе, т.-е. создать соотвѣтственные образы и картины, въ основу которыхъ по-

ложены были бы наблюденія надъ самою дѣйствительностью. Нельзя отрицать, что въ ту эпоху могли встрѣчаться умные и добрые помѣщики-хозяева, радѣвшіе о благѣ своихъ крестьянъ и понимавшіе свои обязанности и свои выгоды такъ, какъ совѣтовалъ понимать ихъ Гоголь,—и въ этомъ смыслѣ фигура Костанжогло не представляетъ собою ничего невозможнаго или ложнаго. Невозможно и ложно только возведеніе этой фигуры въ идеалъ, потому что это значитъ—оправдывать, санкціонировать крѣпостное право. Вполнѣ понятно то единодушное осужденіе, съ которымъ лучшая часть публики, не говоря уже о передовыхъ дѣятеляхъ литературы, отнеслась къ „идеальному хозяину и помѣщику" Костанжогло. Даже Писемскій, человѣкъ, въ своемъ политическомъ образованіи недалеко ушедшій отъ Гоголя, писалъ: „До сихъ поръ всѣхъ героевъ „Мертвыхъ душъ" (за исключеніемъ неудавшейся Улиньки) художникъ подчинялъ себѣ и своимъ воззрѣніемъ стоялъ выше ихъ, но въ Костанжогло вы сейчасъ чувствуете, что онъ самъ подчиняется ему, и изъ этого, полагаю, можно заключить, что это лицо—одинъ изъ обѣщанныхъ доблестныхъ мужей, къ которымъ долженъ возгорѣться любовью читатель. И посмотрите, сколько пріемовъ употреблено поэтомъ, чтобы освѣтить своего любимца приличнымъ свѣтомъ!.." („Полное собраніе сочиненій А. Ѳ. Писемскаго", изд. Вольфа, 1895 г., т. VI, стр. 366, статья „По поводу Мертвыхъ душъ"). Въ Костанжогло Писемскій видитъ „резонера, а не живое лицо" и говоритъ, что Костанжогло „рѣшительно неспособенъ поселить вѣру въ то, что онъ хорошій человѣкъ" (тамъ же, стр. 369). „Скажу еще болѣе откровенно,—продолжаетъ Писемскій:—вглядываясь внимательно въ живыя стороны Костанжогло, насколько ихъ авторъ далъ ему, сейчасъ видно въ немъ какого-нибудь, должно быть, греческаго выходца, который, еще служа въ полку и нося эполеты, начиналъ при всякомъ удобномъ случаѣ обзаводиться выгоднымъ хо-

зяйствомъ, а въ настоящее время уже монополистъ и загребистая, какъ прекрасно выразился Чичиковъ, лапа, которому и слѣдовало предоставить опытный, практическій умъ, оборотливость, твердость характера и ко всему этому приличную сухость сердца. Поэтическій взглядъ Костанжогло на хозяйство, доброе дѣло въ отношеніи къ Чичикову, которому онъ, не зная, кто онъ и что онъ за человѣкъ, даетъ 10.000 р. взаймы подъ росписку,—все это звучитъ такимъ фальшемъ, что даже грустно говорить объ этомъ подробно...“ (тамъ же, стр. 369—370).

Несмотря на все это, я думаю однако, что подъ фальшивой идеализаціей Костанжогло и его дѣятельности скрывался у Гоголя мотивъ, которому нельзя отказать въ нѣкоторой — психологической — законности. Какъ и въ наше время, такъ и въ эпоху дореформенную мыслящіе и чувствующіе люди не могли не принимать близко къ сердцу нашей экономической отсталости, вообще бѣдности нашей матеріальной культуры. Въ этомъ отношеніи Россія представляетъ поразительный контрастъ, съ одной стороны, съ Западною Европой, а съ другой — даже со старыми варварскими цивилизаціями Востока. Количество и качество труда, затрачиваемаго Россіей на выработку матеріальныхъ благъ, далеко уступаетъ количеству и качеству труда, затрачиваемаго на это западно-европейскими народами и такими азіатами, какъ китайцы и японцы. Это—фактъ, бьющій въ глаза. Его причины многообразны и сложны, и ужъ, конечно, нельзя сводить ихъ исключительно къ недостаткамъ нашей національной психологіи. Еще несомнѣннѣе то, что ихъ нельзя устранить, что нельзя поправить дѣло моральною проповѣдью, обскурантизмомъ и застоемъ. Нормальный и единственно возможный путь нашего прогресса, матеріальнаго и духовнаго, ясно указанъ днемъ 19-го февраля 1861 года и идетъ

въ направленіи раскрѣпощенія, свободы, развитія личности, упорядоченія и расширенія общественной иниціативы, наконецъ созданія политической самодѣятельности народа.

Тѣ, которые, подобно Гоголю, не могли почему бы то ни было возвыситься до этой простой, ясной и раціональной мысли, приходили при видѣ нашей всяческой „бѣдности да бѣдности“ къ инымъ заключеніямъ и иной программѣ, поражающимъ „бѣдностью да бѣдностью“ общественной мысли. „Программа“ гласила: не надо намъ высшихъ благъ культуры: это для насъ роскошь,—народу едва ли нужна простая грамота, а всего болѣе необходимъ ему „страхъ Божій“, и ежевыя рукавицы; помѣщикамъ не зачѣмъ учиться въ университетахъ и усваивать высшіе умственные интересы, философскія и разныя другія идеи; имъ нуженъ здравый смыслъ, практическія свѣдѣнія, усваиваемыя опытомъ, охота и умѣніе пріобрѣтать и пріумножать свое достояніе, а равно — сознаніе, что должно, для ихъ же блага и для пользы государства, щадить и беречь крестьянъ, какъ должно беречь всякое иное имущество; наконецъ, что они, помѣщики, также должны жить въ „страхѣ Божьемъ“ и избѣгать всякой распущенности и т. д. и т. д. Оттуда — этотъ культъ наживы и пріобрѣтенія, проповѣдуемый вмѣстѣ съ моралью, гражданскимъ долгомъ, религіей, христіанскимъ самоотверженіемъ,—странное совмѣщеніе и смѣшеніе понятій, свидѣтельствующее прежде всего о бѣдности философской и общественной мысли.

5.

Это фантастическое совмѣстительство культа наживы и культа моральнаго и религіознаго идеала яснѣе и беззаконнѣе выразилось въ фигурѣ откупщика Муразова. Онъ энергиченъ, дѣловитъ, оборотливъ, у него десять милліоновъ, и самъ Костанжогло пасуетъ и преклоняется передъ

нимъ. Ко всему положительному, что есть у Костанжогло, присоединяется въ Муразовѣ еще нѣкая высшая мудрость, христіанское смиренномудріе, глубокая религіозность аскетическаго пошиба... Это человѣкъ необыкновенной честности,—свои милліоны онъ нажилъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ... Онъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ; его высоко цѣнитъ самъ генералъ-губернаторъ, представитель идеи просвѣщеннаго и благожелательнаго абсолютизма, снисходительно выслушивающій его совѣты и даже упреки въ излишней горячности и скороспѣлости рѣшеній...

Въ лицѣ Муразова опустившимся и душевно-слабымъ дворянамъ-помѣщикамъ противопоставленъ „истинно-русскій" человѣкъ крестьянскаго происхожденія. Рядомъ съ поисками дѣлового человѣка, положительнаго типа изъ обрусѣлыхъ иностранцевъ, поэтъ обращается къ народу и ищетъ настоящаго человѣка и дѣятеля въ крестьянской средѣ. Какъ ни хорошъ — въ глазахъ Гоголя—Костанжогло, онъ все-таки далекъ отъ идеала, лелѣемаго поэтомъ: онъ желченъ, онъ горячъ, негодуетъ, волнуется, неспокоенъ духомъ, неспособенъ снисходить и прощать... Муразовъ, напротивъ,—воплощенная кротость и смиреніе, высшее спокойствіе духа, та „мудрость", которой училъ воспитатель Тентетникова, Александръ Петровичъ...

Пусть эти поиски оказались неудачными и найденные Гоголемъ „положительные типы" вышли фальшивыми,—общее впечатлѣніе и смыслъ картины, развертывающейся передъ нами во второй части „Мертвыхъ душъ", пострадали отъ этого гораздо меньше, чѣмъ можно было ожидать. Скажу болѣе: фигуры Костанжогло и Муразова еще усиливаютъ это впечатлѣніе и придаютъ картинѣ особое значеніе, какого поэтъ отнюдь не имѣлъ въ виду.

Картина выходитъ такая:

Облѣнившійся и вялый „коптитель неба", „байбакъ" Тентетниковъ,—не глупый, но своенравный генералъ Бе-

трищевъ (одна изъ великолѣпнѣйшихъ генеральскихъ фигуръ въ нашей литературѣ), — обжора Пѣтухъ, томящійся хандрой Платонъ Платоновъ (новое воплощеніе онѣгинской и печоринской тоски),—его братъ Василій, добропорядочный, но чудаковатый помѣщикъ, возлагающій всѣ упованія на русскій національный костюмъ и русскій національный напитокъ—квасъ (очевидная сатира на славянофильство), далѣе—полоумный западникъ Кошкаревъ, возлагающій всѣ упованія на нѣмецкое платье и бюрократическое дѣлопроизводство,—безпутный Хлобуевъ, помѣщикъ изъ чиновниковъ Лѣницынъ, не умѣющій рѣшить вопроса, дозволено или не дозволено продавать мертвыя души,—объѣзжающій всю эту великолѣпную „галлерею типовъ“ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, попадающій наконецъ подъ судъ,—затѣмъ изображеніе слѣдствія надъ нимъ, удивительная фигура „юрисконсульта“, мошенничества чиновниковъ, полное безсиліе власти, которая рѣшительно не въ состояніи справиться съ заварившейся кашей, — генералъ - губернаторъ, одушевленный лучшими намѣреніями, но дѣйствующій сгоряча и опрометчиво, голодъ въ губерніи, волненія раскольниковъ... вотъ она, Русь, наша дореформенная, гоголевская Русь, исправить грѣхи и уврачевать язвы которой оказываются безсильны идеальные помѣщики Костанжогло и премудрые откупщики Муразовы, т.-е. консервативныя и религіозно-нравственныя идеи, проповѣдникомъ которыхъ былъ Гоголь. Такова картина и таковъ ея смыслъ, не предвидѣнный поэтомъ, но самъ собою выступающій изъ обломковъ великой поэмы.

Разставаясь съ нею, упомянемъ еще объ одномъ лицѣ, въ ней выведенномъ. Я говорю объ Улинькѣ, дочери генерала Бетрищева, невѣстѣ Тентетникова. Писемскій, цитируя то мѣсто, гдѣ Гоголь описываетъ ея наружность и ея необыкновенныя душевныя качества, находитъ это опи-

саніе реторичнымъ, фальшивымъ, ставитъ его ниже соотвѣтственныхъ изображеній у Марлинскаго и о самой героинѣ высказываетъ суровое сужденіе, какъ о лицѣ неправдоподобномъ и „сочиненномъ". Я рѣшительно не могу согласиться съ такою оцѣнкою. Правда, изображеніе Улиньки проведено въ приподнятомъ тонѣ; но этотъ тонъ, въ данномъ случаѣ, ничуть не мѣшаетъ художественной правдѣ: такія натуры, какъ Улинька, были и есть. Улинька Гоголя—достойная предшественница героинь Тургенева. Здѣсь, какъ и во многомъ другомъ, Гоголь намѣтилъ путь дальнѣйшихъ художественныхъ изысканій. Натура честная и чистая, пылкая и смѣлая, вся—восторженность и протестъ, Улинька воплощаетъ въ себѣ хорошо знакомыя намъ черты передовой русской женщины, и никакой „фальши" тутъ нѣтъ.

Въ концѣ предшествующей главы VIII мы сказали, что второю частью „Мертвыхъ душъ" Гоголь поставилъ ребромъ вопросъ о „русскомъ человѣкѣ" и что эта постановка явилась отправною точкою нѣкоторыхъ сторонъ въ творчествѣ послѣдующихъ писателей. Теперь, послѣ всего сказаннаго въ этой главѣ, мы можемъ опредѣленнѣе указать эти стороны. Картина провинціальной жизни (помѣщики, чиновники, мужики) и дореформенныхъ порядковъ, начертанная Гоголемъ, получитъ дальнѣйшую разработку въ повѣстяхъ Писемскаго и въ ранней сатирѣ Щедрина („Губернскіе очерки", „Невинные разсказы"). Исканіе въ народѣ „положительнаго типа" (у Гоголя не удавшееся) составитъ излюбленную мысль писателей-народниковъ, которые подойдутъ къ этой задачѣ безъ той предвзятой идеи, какая вдохновляла Гоголя, и безъ неумѣстной идеализаціи откупщиковъ и дѣльцовъ. Тургеневскія женщины оправдываютъ гоголевскую Улиньку. Наконецъ, типъ лежебока Тентетникова получитъ новую, болѣе обстоятельную обработку и

иное освѣщеніе въ знаменитомъ романѣ Гончарова, гдѣ будетъ опять взята тема противопоставленія дѣловитаго обрусѣвшаго иностранца русскому лежебоку.

Типъ Обломова—одинъ изъ самыхъ широкихъ въ нашей художественной литературѣ, картина „Обломовщины", нарисованная Гончаровымъ, доселѣ остается единственною въ своемъ родѣ, какъ единственнымъ остается критическое истолкованіе типа и картины, сдѣланное Добролюбовымъ въ знаменитой статьѣ „Что такое обломовщина?".

Романомъ Гончарова, преимущественно фигурою Ильи Ильича Обломова, и статьей Добролюбова былъ въ свое время подведенъ итогъ цѣлой эпохѣ. Разсмотрѣнію и провѣркѣ этого итога мы посвятимъ слѣдующую главу.

ГЛАВА X.

Илья Ильичъ Обломовъ.

1.

Типъ Обломова, которымъ Гончаровъ обезсмертилъ свое имя, по праву признается однимъ изъ самыхъ глубокихъ по замыслу и удачныхъ по исполненію созданій нашей художественной литературы.—Это одинъ изъ тѣхъ растяжимыхъ, много говорящихъ образовъ, обобщающее дѣйствіе которыхъ простирается далеко за предѣлы того, что непосредственно дано въ нихъ.

Это сказывается, во-первыхъ, тѣмъ, что образъ Обломова подводитъ итогъ цѣлому ряду типовъ, ему предшествовавшихъ, а весь романъ завершаетъ эпоху, подводя итогъ Руси дореформенной, Руси крѣпостнической. Во-вторыхъ, обобщающее дѣйствіе обломовскаго типа, какъ это показалъ Добролюбовъ, простирается на множество натуръ, характеровъ, умовъ, какихъ Гончаровъ не имѣлъ въ виду и для которыхъ лицо Ильи Ильича Обломова, въ его ярко-выраженной индивидуальности, отнюдь не типично. Дѣло въ томъ, что въ этой художественной фигурѣ, кромѣ конкретнаго лица Ильи Ильича Обломова, пріуроченнаго къ опредѣленному времени, къ извѣстному соціальному строю, заключенъ еще и другой, болѣе обобщеный, образъ, другой „Обломовъ", не пріуроченный къ данному времени и данному порядку вещей,—„Обломовъ" уже не историческій,

не бытовой, а, такъ сказать, психологическій,—и этотъ послѣдній и сейчасъ живъ и здравствуетъ, между тѣмъ какъ первый, конкретный Илья Ильичъ, уже отошелъ въ прошлое и является для насъ фигурою исторической.

Знаменитый романъ не только повѣствуетъ объ Обломовѣ и другихъ лицахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ яркую картину „обломовщины", и эта послѣдняя, въ свою очередь, оказывается двоякою: 1) обломовщиною бытовою дореформенною, крѣпостническою, которая для насъ—уже прошлое, и 2) обломовщиною психологическою, не упраздненною вмѣстѣ съ крѣпостнымъ правомъ и продолжающеюся при новыхъ порядкахъ и условіяхъ.

Это растяженіе типа, это распространеніе картины обломовщины за грань эпохи не только заставляетъ насъ думать, что старина живуча, что прошлое оставило послѣ себя свои пережитки, свое наслѣдіе и завѣщаніе, но, кромѣ того, внушаетъ намъ рядъ иныхъ мыслей, относящихся уже не къ смѣнѣ эпохъ, а къ психологіи и психопатологіи русскаго національнаго уклада. Обломовъ—типъ національный, обломовщина—явленіе специфически-русское, и Гончаровъ, создавая эти художественныя „понятія", продолжалъ дѣло Гоголя — изслѣдованіе „порчи" „русскаго человѣка", „искривленія" нашей національной физіономіи.

Все это, вмѣстѣ взятое, придаетъ глубокій неувядающій интересъ классическому произведенію Гончарова.

Обращаясь къ анализу этого „истинно-русскаго" бытового и психологическаго типа, начнемъ съ вопроса объ отношеніи Обломова къ людямъ 40-хъ годовъ.

Что этимъ послѣднимъ были свойственны нѣкоторыя обломовскія черты, это достаточно извѣстно,—благодаря классической статьѣ Добролюбова „Что такое обломовщина?". Но Добролюбовъ открываетъ тѣ же черты и у ихъ предше-

ственниковъ, людей 30-хъ и 20-хъ годовъ, начиная Онѣгинымъ. Онъ говоритъ: „...раскройте, напр. „Онѣгина", „Героя нашего времени", „Кто виноватъ" „Рудина" или „Лишняго человѣка", или „Гамлета Щигровскаго уѣзда",—въ каждомъ изъ нихъ вы найдете черты, почти буквально сходныя съ чертами Обломова („Сочиненія Н. А. Добролюбова", т. II, стр. 486).—Слѣдуетъ рядъ сопоставленій, гдѣ не забытъ и Тентетниковъ.—„Во всей семьѣ та же обломовщина", заключаетъ Добролюбовъ.

Отсылая читателя къ статьѣ знаменитаго критика, мы не будемъ повторять здѣсь его доводовъ и попытаемся пойти дальше. Оставляя въ сторонѣ Онѣгина, Печорина и вообще эпоху 20—30-хъ годовъ и имѣя въ виду только людей 40-хъ годовъ въ тѣсномъ смыслѣ (типы Рудина, Лаврецкаго, Тентетникова и др.—и соотвѣтственные оригиналы), мы не будемъ искать въ нихъ обломовскихъ чертъ, уже указанныхъ Добролюбовымъ, но постараемся оттѣнить присутствіе свойственныхъ имъ и для нихъ характерныхъ чертъ въ Обломовѣ (на что также было указано Добролюбовымъ), а засимъ остановимся дольше на тѣхъ чертахъ, которыми Обломовъ р ѣ з к о о т л и ч а е т с я отъ людей 40-хъ годовъ. Мы увидимъ, что для пониманія Обломова—к а к ъ и т о г а,—необходимо имѣть въ виду не только черты сходства съ людьми 40-хъ гг., но и черты отличія.

Прежде всего—одно замѣчаніе хронологическаго характера. Строго говоря, Обломовъ—человѣкъ не 40-хъ, а 50-хъ годовъ [1]). Это хронологическое различіе имѣетъ свое зна-

---

[1]) Гончаровъ писалъ романъ лѣтъ 10, съ конца 40 годовъ до конца 50-хъ. Въ печати романъ появился въ 1859 г. (въ „Отечественныхъ Запискахъ" Краевскаго).—Дѣйствіе пріурочено, очевидно, къ 50-мъ годамъ. Оно растянуто на нѣсколько лѣтъ, а послѣднія страницы ясно указываютъ на наступленіе новой эпохи и новыхъ вѣяній второй половины 50-хъ годовъ. Только дѣтство, учебные годы и молодость Ильи Ильича относятся къ 40-мъ годамъ.

ченіе,—оно вполнѣ гармонируетъ со всѣми отношеніями Обломова къ „настоящимъ“ людямъ 40-хъ годовъ.

Илья Ильичъ Обломовъ унаслѣдовалъ отъ 40-хъ годовъ извѣстные умственные интересы, вкусъ къ поэзіи, даръ мечты, гуманность и то, что можно назвать душевною воспитанностью. Знакомый обликъ идеалиста-мечтателя встаетъ въ нашемъ воображеніи, когда о „байбакѣ“, лежащемъ цѣлый день на диванѣ, узнаемъ, что „ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ“ и что „онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей“ (часть I, гл. VI).— Не даромъ этотъ человѣкъ воспитывался въ 40-хъ годахъ и учился въ московскомъ университетѣ, этомъ центрѣ и разсадникѣ тогдашняго идеализма.—Какъ всѣ лучшіе люди той эпохи, „онъ горько въ глубинѣ души плакалъ, въ иную пору, надъ бѣдствіями человѣчества, испытывалъ безвѣстныя, безыменныя страданія, и тоску, и стремленіе куда-то въ даль...“ (ч. I, гл. VI).—Все это Гончаровъ опредѣляетъ выраженіемъ „внутренняя волканическая работа пылкой головы, гуманнаго сердца“ (тамъ же),—и это опредѣленіе, на первый взглядъ, какъ-то не вяжется съ нашимъ представленіемъ о вѣчно-заспанномъ лежебокѣ и вяломъ обитателѣ Гороховой улицы.

Тѣмъ не менѣе это несоотвѣтствіе типично и полно глубокаго смысла. Уже у людей 40-хъ годовъ мы замѣчаемъ признаки такого душевнаго противорѣчія—между „волканическою“ работою мысли, пылкостью гуманной мечты съ одной стороны и нѣкоторою пассивностью натуры съ другой. Но въ Обломовѣ это противорѣчіе доведено до крайности, какая для людей 40-хъ годовъ не характерна. У послѣднихъ „волканической работѣ пылкой головы и гуманнаго сердца“ отвѣчала все-таки извѣстная внѣшняя дѣятельность или, по крайней мѣрѣ, стремленіе къ ней. Они стремились выразить такъ или иначе то, что наполняло ихъ душу,—они жаждали обмѣна мысли и старались распространять свои

идеи; они жили кружками, гдѣ было много шуму, споровъ, восторговъ, изліяній. Имѣть аудиторію, вліять на умы, волновать сердца силою мысли и рѣчи было для нихъ насущною душевною потребностью. Они были „ораторы“ и „пропагандисты“. Въ этомъ и состояла ихъ „дѣятельность“. И если они подлежатъ упреку въ вялости дѣйствующей воли, то въ этомъ случаѣ имѣется въ виду практическая дѣятельность, и, кромѣ того, упрекъ отчасти смягчается соображеніемъ о неблагопріятныхъ для нея условіяхъ времени. И нужно все-таки помнить, что стремленіе къ практической дѣятельности обнаруживали не только Рудины и Лаврецкіе, но даже Тентетниковъ, по крайней мѣрѣ, въ первое время его жизни въ деревнѣ. „Настоящіе“, лучшіе люди 40-хъ годовъ подлежатъ упреку только въ недостаткѣ стойкости, настойчивости, выдержкѣ въ трудѣ вообще, въ практической дѣятельности въ особенности. Оставляя въ сторонѣ людей исключительныхъ, какъ Грановскій, Герценъ, Бѣлинскій, мы скажемъ, что нѣкоторая пассивность натуры, нѣкоторый родъ умѣренной „обломовщины“ былъ присущъ большинству идейныхъ или просто хорошихъ людей 40-хъ годовъ. Этотъ родъ „обломовщины“ у иныхъ получалъ болѣе рѣзкое выраженіе и переходилъ въ ту душевную вялость и апатію, отъ которыхъ уже недалеко до полной бездѣятельности и безволія Обломова. Переходная ступень отъ пассивности, отъ умѣренной обломовщины людей 40-хъ годовъ до уже патологической обломовщины Ильи Ильича всего лучше представлена фигурами Тентетникова и Платона Платонова.

Отъ лучшихъ людей 40-хъ годовъ Илья Ильичъ Обломовъ рѣзко отличается тѣмъ, что не только не можетъ и не умѣетъ, но и не хочетъ „дѣйствовать“. Не говоря уже о какой бы то ни было практической дѣятельности, ему тягостна даже и та, которая сводится къ простому обнаруженію его мыслей и чувствъ. На всемъ протяженіи романа

онъ только два или три раза оживился (не считая, разумѣется, разговоровъ съ Ольгой и препирательствомъ съ Захаромъ) и пустился излагать свои „взгляды“, „убѣжденія“ и „идеалы“: въ спорѣ съ литераторомъ Пенкинымъ (ч. I, гл. II) и въ разговорахъ съ Штольцомъ, о которыхъ будетъ у насъ рѣчь ниже. За вычетомъ этихъ случаевъ, Илья Ильичъ такъ усердно скрываетъ свои мысли, чувства, мечты, что мы бы и не подозрѣвали объ ихъ существованіи, если бы Гончаровъ не позаботился засвидѣтельствовать, что Обломову „доступны были наслажденія высокихъ помысловъ“ и т. д. Вообще о „внутренней жизни“ Ильи Ильича мы знаемъ только со словъ Гончарова, который, познакомивъ насъ съ нею, говоритъ (въ концѣ главы VI-й I-й части): „Никто не зналъ и не видалъ этой внутренней жизни Ильи Ильича: всѣ думали, что Обломовъ такъ себѣ, только лежитъ да кушаетъ на здоровье и что больше отъ него нечего ждать; что едва ли у него вяжутся и мысли въ головѣ. Такъ о немъ и толковали вездѣ, гдѣ его знали“.

„Внутреннюю жизнь“ Обломова зналъ только одинъ человѣкъ—Штольцъ.

Если Обломовъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, „человѣкъ 40-хъ годовъ“, то мы скажемъ, что это такой „человѣкъ 40-хъ годовъ“, который облѣнился и опустился до того, что, въ противоположность Тентетникову, даже пересталъ читать книги, и прежде всего долженъ быть, вмѣстѣ съ Тентетниковымъ, причисленъ, говоря словами Гоголя, „къ семейству тѣхъ людей, которыхъ на Руси много, которымъ имена—увальни, лежебоки, байбаки и тому подобныя“.

Не лишено значенія и то, что Обломову лѣнь читать. „Я у тебя и книгъ не вижу“ упрекаетъ его Штольцъ. „Вотъ книга!“ замѣтилъ Обломовъ, указавъ на лежавшую на столѣ книгу. „Что такое?—спросилъ Штольцъ, посмотрѣвъ книгу:—„Путешествіе въ Африку“. И страница, на которой ты остановился, заплѣсневѣла. Ни газеты не видать. Читаешь

ли ты газеты?"—„Нѣтъ, печать мелка, портитъ глаза... и нѣтъ надобности..." (ч. II, гл. III). Въ другомъ мѣстѣ мы узнаемъ, что „неестественно [1]) и тяжело казалось ему... неумѣренное чтеніе..." и что „серьезное чтеніе его утомляло" [1]),—„мыслителямъ не удалось расшевелить въ немъ жажду къ умозрительнымъ истинамъ..." (ч. I, гл. IV).

Этою косностью мысли, этой апатіей ума Обломовъ рѣзко отличается отъ „настоящихъ" людей 40-хъ годовъ. Мы говорили въ своемъ мѣстѣ о философской жаждѣ, которою они были томимы, о ихъ философскихъ дарованіяхъ, о томъ, какъ искали они и умѣли находить, при помощи то Шеллинга, то Гегеля, объединяющія идеи, о томъ, какъ вырабатывали они свое міросозерцаніе и т. д.

Въ противоположность имъ, Илья Ильичъ Обломовъ не только не стремится къ выработкѣ цѣльнаго философскаго міровоззрѣнія, но, повидимому, даже и не способенъ чувствовать необходимость объединяющей идеи. „Голова его представляла сложный архивъ мертвыхъ дѣлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, ничѣмъ не связанныхъ [2]) политико-экономическихъ, математическихъ и другихъ истинъ, задачъ, положеній и т. п. Это была какъ будто библіотека, состоящая изъ однихъ разрозненныхъ томовъ по разнымъ частямъ знаній" (ч. I, гл. VI).

Его образованіе скудно и хаотично. У него нѣтъ „того груза знаній, которыя бы могли дать направленіе вольно гуляющей въ головѣ или праздно дремлющей мысли" (тамъ же).

И опять спросимъ себя: какъ же согласовать съ этимъ „волканическую работу пылкой головы"?

Эта „работа" и „пылкость" выражаются въ необузданной мечтательности Обломова, въ игрѣ его воображенія. Фанта-

---

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Курсивъ мой.

зировать,—это единственное излюбленное занятіе Ильи Ильича, которому онъ предается съ тѣмъ же усердіемъ, съ какимъ лежитъ на диванѣ въ халатѣ и туфляхъ. Главный предметъ его мечты—онъ самъ, его жизнь. Онъ все „чертитъ узоръ своей жизни" (ч, I, гл. VI), находя въ ней цѣлый кладезь „премудрости и поэзіи". „Измѣнивъ службѣ и обществу, онъ началъ иначе рѣшать задачу существованія, вдумывался въ свое назначеніе и, наконецъ, открылъ, что горизонтъ его дѣятельности и житья-бытья кроется въ немъ самомъ" (тамъ же).—Въ этой „работѣ мысли", направленной на задачу самоопредѣленія и начертанія „узора собственной жизни", различаются двѣ стороны: одна, такъ сказать, общественная, другая — чисто личная. Первая выражается въ обдумываніи „новаго, свѣжаго, сообразнаго съ потребностями времени плана устройства имѣнія и управленія крестьянами".—„Онъ нѣсколько лѣтъ неутомимо работаетъ надъ планомъ, думаетъ, размышляетъ и ходя, и лежа; то дополняетъ, то измѣняетъ разныя статьи, то возобновляетъ въ памяти придуманное вчера и забытое ночью; а иногда вдругъ, какъ молнія, сверкнетъ новая, неожиданная мысль и закипитъ въ головѣ—и пойдетъ работа" (тамъ же).

Такая мечтательность была бы не къ лицу „настоящему" человѣку 40-хъ годовъ. Она характерна именно для празднаго лежебока, у котораго еще сохранился нѣкоторый запасъ душевной энергіи, находящей себѣ исходъ въ этой игрѣ „вольно гуляющей въ головѣ или праздно дремлющей мысли". Это—своего рода сны наяву, повидимому, указывающіе не только на праздность, но и на нѣкоторую ненормальность душевной жизни.

Принимая въ соображеніе все это, мы приходимъ ко взгляду на Обломова, какъ на **эпигона или, пожалуй, выродка людей 40-хъ годовъ**. Эти послѣдніе составляли цвѣтъ интеллигенціи своего времени. Обломовъ — не только не „цвѣтъ", но его, строго говоря, даже трудно при-

числить къ настоящей интеллигенціи. Въ сущности, среда, къ которой онъ наиболѣе подходитъ, это—либо патріархальная, полуобразованная среда захолустныхъ помѣщиковъ стараго времени, либо мѣщанство того типа, какой изображенъ въ послѣднихъ главахъ романа. И сама Обломовка, какъ она представлена въ знаменитомъ „Снѣ Обломова", вовсе не пренадлежитъ къ числу тѣхъ „дворянскихъ гнѣздъ", которые въ доброе старое время были истинно-культурными уголками и разсадникми свѣта, мысли, идей, великодушныхъ чувствъ и гуманности. Обломовцы, изъ среды которыхъ вышелъ Илья Ильичъ,—не интеллигенція, и самъ онъ— лишь случайный пришлецъ въ образованномъ и мыслящемъ обществѣ, откуда его такъ и тянетъ, можно сказать, стихійно и инстиктивно тянетъ къ иной средѣ—попроще, гдѣ не ломаютъ головы надъ мудренными вопросами, гдѣ мысль, чувство и воля могутъ мирно дремать на лонѣ непосредственности и привычныхъ, традиціонныхъ формъ вялой и косной жизни.

2.

Но самое рѣзкое отличіе Обломова отъ идеалистовъ 40-хъ годовъ это—то, что онъ крѣпостникъ. Тѣ только выростали на лонѣ крѣпостного права (и то не всѣ) и невольно усваивали себѣ привычки барской избалованности и нѣкоторыя—соотвѣтственныя—замашки. Но они хорошо сознавали и живо чувствовали все зло и безобразіе крѣпостного права, они его отрицали въ принципѣ и зачастую отказывались отъ сопряженныхъ съ нимъ „правъ и преимуществъ". Илья Ильичъ—крѣпостникъ до мозга костей, крѣпостникъ и по привычкамъ, и по убѣжденію. Онъ и Захаръ—величины соотносительныя. Одинъ не можетъ вообразить себя безъ другого.

Ильѣ Ильичу нуженъ не просто слуга, а именно крѣпостной слуга, съ которымъ его связуютъ узы своего рода

„симбіоза"—барина и раба. Этотъ „симбіозъ" разслѣдованъ Гончаровымъ во всѣхъ подробностяхъ, и психологія крѣпостничества разработана имъ съ необыкновеннымъ мастерствомъ. Вспомнимъ, напр., великолѣпную характеристику Захара въ VIII главѣ I части, заканчивающуюся слѣдующимъ выводомъ: „Старинная связь была неистребима между ними [1]). Какъ Илья Ильичъ не умѣлъ ни встать, ни лечь спать, ни быть причесаннымъ и обутымъ, ни отобѣдать безъ помощи Захара, такъ Захаръ не умѣлъ представить себѣ другого барина, кромѣ Ильи Ильича, другого существованія, какъ одѣвать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и въ то же время внутренно благоговѣть передъ нимъ".

Въ пресловутомъ планѣ устройства имѣнія, который Илья Ильичъ „разрабатываетъ", и въ безконечныхъ мечтахъ его о своемъ житьѣ-бытьѣ въ деревнѣ бросается въ глаза между прочимъ слѣдующее: о мужикахъ онъ думаетъ и фантазируетъ совсѣмъ мало, да и то только съ точки зрѣнія интересовъ и удобствъ помѣщика-крѣпостника: „Онъ быстро пробѣжалъ въ умѣ нѣсколько серьезныхъ, коренныхъ статей объ оброкѣ, о запашкѣ, придумалъ новую мѣру, построже, противъ лѣни и бродяжничества крестьянъ [2]) и перешелъ къ устройству собственнаго житья-бытья въ деревнѣ" (ч. I, гл. VIII).—Размышленія на эту послѣднюю тему разыгрываются въ упоительную мечту о томъ, какъ онъ, приведя имѣніе въ порядокъ и женившись, заживетъ въ деревнѣ помѣщикомъ-хлебосоломъ, въ кругу семьи, родныхъ, друзей, и жизнь будетъ нескончаемымъ, неомрачаемымъ праздникомъ,—„будетъ вѣчное веселье, сладкая ѣда да сладкая лѣнь..." (I, VIII). Отъ всѣхъ деталей картины, отъ всѣхъ подробностей идилліи такъ и

---

[1]) Обломовымъ и Захаромъ. Курсивъ мой.

[2]) Курсивъ мой.

разитъ закоренѣлымъ крѣпостничествомъ. Тутъ и „праздная дворня“ у воротъ, и „дѣвки играютъ въ горѣлки“, и „Захарь— произведенный въ мажордомы“...

Закоренѣлое крѣпостничество Обломова ярко обнаружено въ знаменитой сценѣ съ Захаромъ (въ той же главѣ I, VIII). Дѣло, какъ извѣстно, идетъ о переѣздѣ на другую квартиру. Слова Захара, что „другіе, молъ, не хуже насъ, да переѣзжаютъ, такъ и намъ можно“,—задѣли Илью Ильича за живое. Онъ и изумленъ, и возмущенъ, и озадаченъ.—„Другіе не хуже!—съ ужасомъ [1]) повторилъ Илья Ильичъ.— Вотъ ты до чего договорился! Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что „другой“... — „Обломовъ долго не могъ успокоиться; онъ ложился, вставалъ, ходилъ по комнатѣ и опять ложился. Онъ въ низведеніи себя Захаромъ до степени другихъ видѣлъ нарушеніе правъ своихъ на исключительное предпочтеніе Захаромъ особы барина всѣмъ и каждому“.—Послѣ долгихъ размышленій о продерзости Захара Илья Ильичъ опять зоветъ его,—и начинается великолѣпный діалогъ, въ которомъ Илья Ильичъ донимаетъ Захара жалкими словами. Здѣсь оба, каждый по своему, обнаруживаются какъ неисправимые крѣпостники: Обломовъ—какъ баринъ, Захаръ—какъ рабъ. Великолѣпно здѣсь въ особенности, то мѣсто, гдѣ Обломовъ объясняетъ разницу между нимъ, Ильей Ильичемъ, и „другимъ“.—„Что такое другой?“ спрашиваетъ онъ и отвѣчаетъ: „Другой есть такой человѣкъ, который самъ себѣ сапоги чиститъ, одѣвается самъ, *хоть иногда и бариномъ смотритъ, да вретъ, онъ и не знаетъ, что такое прислуга*...“ [1])—„*Я другой! Да развѣ я мечусь, развѣ работаю*... [1]) Кажется, подать, сдѣлать—есть кому! *Я ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу!* [1]) Стану ли я безпокоиться? Изъ-за

[1])Курсивъ мой.



чего мнѣ? И кому я это говорю? Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мною? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно, что я ни холода, ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался [1]). Такъ какъ же это у тебя достало духу равнять меня съ другими?"—Илья Ильичъ, въ заключеніе, упрекаетъ Захара въ неблагодарности, напоминая о благодѣяніяхъ, которыя онъ расточаетъ своимъ крѣпостнымъ: онъ денно и нощно заботится о нихъ, все ломаетъ голову, какъ бы ихъ получше устроить.—„Я (говоритъ онъ) думаю все крѣпкую думу, чтобъ крестьяне не терпѣли ни въ чемъ нужды, чтобъ не позавидовали чужимъ, чтобъ не плакались на меня Господу Богу на страшномъ судѣ, а молились бы да поминали меня добромъ. Неблагодарные!.." Здѣсь Илья Ильичъ, несомнѣнно, приврали: его безконечныя размышленія объ устройствѣ имѣнія, какъ мы видѣли выше, имѣли совсѣмъ другой характеръ и другое направленіе. Но онъ приврадъ, такъ сказать, чистосердечно. Онъ — добрый баринъ, мухи не обидитъ, и, въ данную патетическую минуту, ему кажется, что, когда онъ мечтаетъ о своемъ будущемъ житьѣ-бытьѣ въ деревнѣ и рисуетъ въ воображеніи извѣстную намъ идиллію, онъ будто бы радѣетъ преимущественно о мужикахъ. Тутъ, пожалуй, есть и своего рода „логика": разъ дана „идиллія",—крестьяне, само собой разумѣется, благоденствуютъ, чему, конечно, способствуютъ и проектированныя строгія мѣры противъ лѣни и бродяжничества. Въ невольномъ лганьѣ сказался типичный крѣпостникъ — изъ числа тѣхъ, которые не могли пережить день 19-го февраля 1861 года и либо сходили съ ума отъ изумленія, либо умирали отъ огорченія.

Илья Ильичъ Обломовъ, можно думать, не пережилъ бы

[1]) Курсивъ мой.



„катастрофы“. Онъ — крѣпостникъ не только по унаслѣдованнымъ привычкамъ, по воспитанію, но также и по убѣжденіямъ, и эти его убѣжденія весьма близки къ тѣмъ, которыя возвѣстилъ міру Гоголь въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“. Такъ, наприм., на совѣтъ Штольца завести школу въ деревнѣ онъ отвѣчаетъ: „Не рано ли? Грамотность вредна мужику: выучи его, такъ онъ, пожалуй, и пахать не станетъ“ [1]) (ч. II, гл. III). Ему свойственно и столь характерное для дворянъ-помѣщиковъ крѣпостной эпохи презрѣніе къ труду и къ трудящимся классамъ. Это ярко сказалось въ вышеприведенныхъ „жалкихъ“ словахъ, которыми онъ „донимаетъ“ Захара („да развѣ я мечусь, развѣ работаю...“), а также въ слѣдующемъ мѣстѣ главы IV-ой II части: Штольцъ совѣтуетъ ему жениться, — Обломовъ отвѣчаетъ, что его средства не позволяютъ этого: пойдутъ дѣти и нечѣмъ будетъ обезпечить ихъ. — „Дѣтей воспитаешь, сами достанутъ, умѣй направить ихъ такъ...“, возражаетъ Штольцъ, но Обломовъ „сухо перебиваетъ“ его словами: „Нѣтъ, что изъ дворянъ дѣлать мастеровыхъ!“ [1]) Штольцъ, вызывая Обломова на откровенность, проситъ его нарисовать свой идеалъ жизни, и вотъ Илья Ильичъ опять фантазируетъ и рисуетъ упоительную картину счастливой, благообразной помѣщичьей жизни, съ виду какъ будто напоминающій жизнь въ культурныхъ уголкахъ-помѣстьяхъ идеалистовъ 30—40-хъ годовъ, но въ этой картинѣ то и дѣло проглядываютъ черты крѣпостничества. „Мужики идутъ съ поля, съ косами на плечахъ... Тамъ толпа босоногихъ бабъ, съ серпами, голосятъ... Вдругъ завидѣли господъ, притихли, низко кланяются...“ [1]) И тутъ же такая „подробность“: „Одна изъ нихъ, съ загорѣлой шеей, съ голыми локтями, съ робко опущенными, но лукавыми

---

[1]) Курсивъ мой.

глазами, чуть-чуть, для виду только обороняется отъ барской ласки, а сама счастлива... тс!.. жена чтобъ не увидѣла, Боже сохрани!“

Штольцъ находитъ, что вся эта идиллія отзывается стариной: это то самое, „что бывало у дѣдовъ и отцовъ“. На это замѣчаніе Обломовъ возражаетъ, „почти обидившись“: „Нѣтъ, не то... Развѣ у меня жена сидѣла бы за вареньями да за грибами?.. Развѣ била бы дѣвокъ по щекамъ? Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная мебель?..“ — „Ну, а ты самъ?“ продожаетъ допытываться Штольцъ. — „И самъ я“,—поясняетъ Илья Ильичъ, — „прошлогоднихъ бы газетъ не читалъ, въ колымагѣ бы не ѣздилъ, ѣлъ бы не лапшу и гуся, выучилъ бы повара въ англійскомъ клубѣ или у посланника...“

Итакъ, кто же онъ такой, этотъ добрый, гуманный, безобидный человѣкъ съ нѣжной душой? Этотъ вопросъ задаетъ ему и Штольцъ въ такой формѣ; „Къ какому же разряду общества причисляешь ты себя?“ — Отвѣтъ Ильи Ильича великолѣпенъ: „Спроси Захара“ [1]), говоритъ онъ.

„Соціальное положеніе“ Обломова очень правильно понимаетъ Пшеницына: въ ея представленіи Илья Ильичъ— это человѣкъ, который „можетъ ничего не дѣлать и не дѣлаетъ, ему дѣлаютъ все другіе: у него есть Захаръ и еще 300 Захаровъ...“ Поэтому „онъ баринъ, онъ сіяетъ, блещетъ!“ (ч. IV, гл. I).—И, очевидно, Илья Ильичъ полюбилъ Пшеницыну не только за ея бѣлые локти и другія добродѣтели, но главнымъ образомъ за то, что она видитъ въ немъ барина, взлелѣяннаго крѣпостнымъ правомъ, и благоговѣетъ передъ нимъ, какъ существомъ высшаго порядка, и неустанно, самоотверженно, какъ рыба, работаетъ на него, холитъ его, ухаживаетъ за нимъ — не хуже любой крѣпо-

---

[1]) Курсивъ мой.

стной няньки. Въ Агаѳьѣ Матвѣевнѣ Обломовъ видѣлъ какъ бы воплощеніе идеала „того необозримаго, какъ океанъ, и ненарушимаго покоя жизни, картина котораго неизгладимо легла на его душу въ дѣтствѣ, подъ отеческой кровлей“ (ч. IV, гл. I). — Прочтемъ и непосредственно слѣдущее за этимъ мѣсто, поясняющее этотъ „идеалъ“: „Какъ тамъ отецъ его, дѣдъ, дѣти, внучата и гости сидѣли или лежали въ лѣнивомъ покоѣ, зная, что есть въ домѣ вѣчно ходящее около нихъ и промышляющее око и непокладныя руки, которыя обошьютъ ихъ, накормятъ, напоятъ, одѣнутъ и обуютъ и спать положатъ, а при смерти закроютъ имъ глаза, такъ и тутъ Обломовъ, сидя и не трогаясь съ дивана, видѣлъ, что движется что-то живое и проворное въ его пользу, и что не взойдетъ завтра солнце, застелютъ небо вихри, понесется бурный вѣтеръ изъ концовъ въ концы вселенной, а супъ и жаркое явятся у него на столѣ, а бѣлье его будетъ чисто и свѣжо, а паутина снята со стѣны, и онъ не узнаетъ, какъ это сдѣлается, и не дастъ себѣ труда подумать, чего ему хочется, а оно будетъ угадано и принесено ему подъ носъ, не съ лѣнью, не съ грубостью, не грязными руками Захара, а съ бодрымъ и кроткимъ взглядомъ, съ улыбкой глубокой преданности, чистыми бѣлыми руками и съ голыми локтями“.

Чтобы закончить характеристику Обломова, „как ъ крѣпостника“, необходимо отмѣтить тотъ фактъ, что Илья Ильичъ, будучи несомнѣннымъ крѣпостникомъ по убѣжденію, привычкамъ и по самой натурѣ, однако же отнюдь не можетъ быть причисленъ къ тѣмъ, которые хотѣли и пытались отстаивать крѣпостное право, — къ крѣпостникамъ-политикамъ, составлявшимъ партію. И если бы Обломовъ вообще могъ преодолѣть свою лѣнь и косность и сдѣлаться адептомъ какой-нибудь „партіи“, то онъ примкнулъ бы къ либераламъ, къ людямъ прогресса. За это ручается его дружба съ Штольцемъ, въ особенности тѣ чувства, которыя

питаетъ къ нему Штольцъ, несомнѣнный человѣкъ движенія и прогресса (хотя и съ не вполнѣ ясной программой). Обломовъ—крѣпостникъ, но не злостный, не воинствующій. Крѣпостническія тенденціи, въ смыслѣ опредѣленной политической программы, не согласовались бы съ его кротостью, мягкостью, благодушіемъ, прекраснодушіемъ, въ особенности же—съ его обломовщиною. Эта обломовщина, какъ особый строй души, такъ сильна въ немъ, что онъ охотно бы отдалъ всѣхъ своихъ 300 Захаровъ и всѣ свои права и прерогативы помѣщика и дворянина, лишь бы только спокойно лежать на диванѣ, лишь бы „жизнь его не трогала", лишь бы нашлось какое-нибудь „промышляющее о немъ око". Таковое и нашлось въ лицѣ вдовы Пшеницыной. Живя у нея и съ нею, Обломовъ „рѣшилъ, что ему некуда больше итти, нечего искать, что идеалъ его жизни осуществился, хотя безъ тѣхъ лучей, которыми нѣкогда воображеніе рисовало ему барское, широкое и безпечное теченіе жизни въ родной деревнѣ, среди крестьянъ, дворни [1])" (ч. IV, гл. IX).

Иными словами, въ Обломовѣ, въ его психологіи и его судьбѣ представленъ процессъ, такъ сказать, самопроизвольнаго вымиранія крѣпостнической Руси — процессъ ея „естественной смерти", исключавшій необходимость насильственнаго переворота. Нужно только къ этой картинѣ присоединить поясненіе, что, во-первыхъ, далеко не вся крѣпостническая Русь была обезврежена обломовщиной и, во-вторыхъ, что сама обломовщина, ускоряя естественную смерть старой Руси, была безсильна создать новую Русь. Не Обломовы подготовляли реформу, не они проводили ее въ жизнь. Они даже не были въ числѣ тѣхъ, которые

---

[1]) Курсивъ мой.

искренно обрадовались реформѣ и поддержали дѣло эмансипаціи сочувствіемъ, хотя бы пассивнымъ..

Обломовщина убиваетъ энергію мысли и чувства...

Но прежде всего она парализуетъ волю.

3.

При всемъ томъ, какъ извѣстно, Илья Ильичъ Обломовъ —на рѣдкость хорошій и чрезвычайно симпатичный человѣкъ. Не даромъ такъ любитъ и цѣнитъ его Штольцъ, не даромъ полюбила его Ольга. Вспомнимъ его характеристику, сдѣланную Штольцемъ въ концѣ романа: „Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало къ нему грязи. Не обольститъ его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечетъ на фальшивый путь; пусть волнуется около него цѣлый океанъ дряни, зла, пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ навыворотъ—никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи, въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; такихъ людей мало; они рѣдки; это перлы въ толпѣ!..“ (ч. IV, гл. VIII).

Эту, очевидно, приподнятую характеристику Добролюбовъ призналъ неправильною, несоотвѣтствующею дѣйствительности и опровергаетъ ее такъ: „Онъ не поклонится идолу зла! Да вѣдь почему это? Потому что ему лѣнь встать съ дивана. А стащите его, поставьте на колѣни передъ этимъ идоломъ: онъ не въ силахъ будетъ встать. Не подкупишь его ничѣмъ. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы съ мѣста сдвинулся? Ну, это дѣйствительно трудно. Грязь къ нему не пристанетъ! Да, пока лежитъ одинъ, такъ еще ничего; а какъ придетъ Тарантьевъ, Затертый, Иванъ Матвѣичъ—брр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова...“ („Сочин. Н. А. Добролюбова“, т. II. стр. 503).— Здѣсь приходится возразить знаменитому критику, что всѣ

эти обвиненія опять-таки направлены на обломовщину Обломова, а не на него самого, не на его „я“—и самъ обвинитель принужденъ сказать: „гадость начинается около него“ — значитъ онъ виноватъ лишь въ томъ, что терпитъ эту гадость, самъ же онъ остается незамараннымъ. Такъ же точно отпарируются и другія обвиненія, напр., что, если Обломова поставить на колѣни передъ идоломъ, онъ такъ и останется: „онъ не въ силахъ будетъ встать“, говоритъ Добролюбовъ, и, на нашъ взглядъ, это лишь указываетъ все на ту же лѣнь, безволіе, обломовщину, но это вовсе не предполагаетъ, что Обломовъ призналъ идола и молится ему: его „я“ осталось свободно отъ идолопоклонства.

Обломовъ подлежитъ осужденію за то, что его, дѣйствительно, хорошее, доброе, чистое „я“, его „хрустальная, прозрачная душа“ парализована „обломовщиною“. И поскольку этотъ „параличъ“ простирается не только на волю, но и на мысль, чувства и совѣсть, постольку характеристика, сдѣланная Штольцемъ, представляется не то что ложною, неправильною, а такъ сказать, чрезмѣрною, слишкомъ приподнятою, панегирическою. Въ ней — тотъ родъ неправды, какой свойственъ „похвальнымъ надгробнымъ словамъ“— по пословицѣ: de mortuis aut bene, aut nihil. — Добролюбовъ такъ и называетъ эту идеализацію Обломова—„похвальнымъ надгробнымъ словомъ“, которое, однако же, оказывается обращеннымъ не столько лично къ Ильѣ Ильичу Обломову, сколько къ обломовщинѣ, ко всей „старой Обломовкѣ“. Слова Штольца: „прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ“ (ч. IV, гл. IX) выражаютъ, по мнѣнію Добролюбова, взглядъ самого Гончарова, но критикъ этого взгляда не раздѣляетъ, видя здѣсь заблужденіе и неправду. Онъ говоритъ: „Вся Россія, которая прочитала или прочитаетъ Обломова, не согласится съ этимъ. Нѣтъ, Обломовка есть наша прямая родина [1]), ея владѣльцы — наши

воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова [1]), и еще рано писать намъ надгробное слово". И цитируя вышеприведенную идеализированную характеристику Обломова, сдѣланную Штольцемъ, Добролюбовъ предпосылаетъ цитатѣ такія слова: „Не за что говорить объ насъ съ Ильею Ильичемъ слѣдующія строки". Сочин., II, 502).

Этотъ взглядъ великаго критика-публициста, очевидно, опирался на пессимистическомъ, отрицательномъ отношеніи его къ нашему національному характеру или складу, испорченному всей нашей прошлой исторіей, въ которой крѣпостное право было не единственною, хотя, можетъ быть, и важнѣйшею, причиной этой порчи. Обломовщина, съ этой точки зрѣнія, является уже не только недостаткомъ опредѣленнаго класса, именно дворянъ-помѣщиковъ, деморализованныхъ крѣпостнымъ правомъ, а всей русской націи. „Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова", говоритъ Добролюбовъ, и пишетъ по пунктамъ извѣстный обвинительный актъ, гласящій: — Если я вижу теперь [2]) помѣщика, толкующаго о правахъ человѣчества и о необходимости развитія личности, — я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ. — Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ — Обломовъ... Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего мы давно желали, — я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки. — Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человѣчества и въ теченіе многихъ лѣтъ съ неуменьшающимся жаромъ

[1]) Курсивъ мой.
[2]) 1856—1860 гг.

разсказывающихъ все тѣ же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода,—я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...“ (Сочин., II, 501—502).

Почему же, однако, всѣ эти люди, эти помѣщики, чиновники, офицеры, литераторы, ителлигенты и т. д.—Обломовы, въ чемъ ихъ обломовщина? Они—Обломовы потому, что только говорятъ и ничего не дѣлаютъ, что они даже не знаютъ, какъ приняться за дѣло, и если вы имъ предложите „самое простое средство“, „они скажутъ: да какъ же это такъ вдругъ?“ Наконецъ, на вопросъ—„что же вы намѣрены дѣлать?—„они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: „что дѣлать? Разумѣется, покориться судьбѣ...“ Больше (заключаетъ Добролюбовъ) отъ нихъ. вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ нихъ лежитъ печать обломовщины“ (II, 502).

Это, стало быть, уже обломовщина всероссійская, обломовщина—какъ черта національнаго психическаго склада, которою характеризуются (конечно, въ разной степени) всѣ классы, всѣ „званія и состоянія“ на Руси,—черта, присущая русскому человѣку, какъ таковому,

Вотъ теперь и разсмотримъ, въ какомъ смыслѣ и, главное, въ какомъ видѣ обломовщина можетъ считаться признакомъ русскаго національнаго склада.

4.

Во избѣжаніе недоразумѣній, изложу сперва, по возможности сжато, свой взглядъ на психологію національности. Онъ сводится къ слѣдующимъ пунктамъ:

1) національность есть психологическая форма, а не содержаніе: содержаніе душевной жизни

человѣка мѣняется съ возрастомъ, положительное содержаніе жизни народа (учрежденія, понятія, степень развитія идеалы, вѣрованія и т. д.) измѣняются десятилѣтіями и столѣтіями,—національность же человѣка и народа остается въ своихъ основныхъ чертахъ та же самая (кромѣ, разумѣется, случаевъ денаціонализаціи). Въ одну и ту же національную форму можетъ быть вложено весьма различное содержаніе душевныхъ качествъ, стремленій, понятій, вѣрованій, идеаловъ: русскій по національности можетъ быть умный и добрый или, наоборотъ, глупый и злой,—нѣмецъ по національности не перестаетъ быть нѣмцемъ, если онъ, напр., католикъ, а не протестантъ, или если онъ соціалъ-демократъ, а не прусскій шовинистъ, и т. д., и т. д.

2) Тѣмъ не менѣе психологическая форма, извѣстная подъ именемъ національности, не есть нѣчто неподвижное: какъ все на свѣтѣ, она измѣняется, но только перемѣны, въ ней совершающіяся, въ теченіе долгаго времени остаются незамѣтными,—ихъ результатъ обнаруживается по прошествіи вѣковъ. Гораздо быстрѣе измѣняются классовыя психологическія формы. Крупная перемѣна въ экономическомъ, юридическомъ, политическомъ положеніи класса черезъ какія-нибудь два поколѣнія радикально измѣняетъ психологію класса. Такъ, Обломовъ, какъ типъ классовый, былъ уже немыслимъ въ 70-хъ годахъ.

3) Національный укладъ до безконечности варіируется и разнообразится отъ человѣка къ человѣку: всякій русскій—по-своему русскій, всякій французъ—по-своему французъ. Національность есть принадлежность индивидуума (откуда, между прочимъ, практическій выводъ: національныя права суть права личности). Когда мы говоримъ: „русская національность", „нѣмецкая національность", „французская" и т. д., то это только обобщенія, отвлеченія отъ подлинныхъ, конкретныхъ

психическихъ черть извѣстнаго порядка и характера, принадлежащихъ личностямъ и получающихъ въ каждой изъ нихъ особое индивидуальное выраженіе.—Эта индивидуализація національнаго психологическаго склада усиливается и разнообразится: а) по мѣрѣ развитія классовъ и профессій (классовой и профессіональной психологической дифференціаціи), б) подъ вліяніемъ общенія личности съ представителями другихъ націй, в) въ силу этнографическаго и расоваго смѣшенія, г) наконецъ, силою культурнаго вообще, умственнаго въ частности развитія націи, вызывающаго все бо́льшую индивидуализацію психики человѣческой, все бо́льшее развитіе личности.

Оттуда и выходить, что, напр., русскій человѣкъ, какъ представитель національнаго типа, будетъ весьма различно-русскимъ, смотря по тому, къ какому классу онъ принадлежитъ (дворянству, купечеству, крестьянству и т. д.), какою профессіей занимается (чиновникъ, литераторъ, ремесленникъ и т. д.), какія иностранныя національныя вліянія отразились на немъ, какую этнографическую и расовую смѣсь онъ представляетъ, на какой ступени культурнаго и умственнаго развитія онъ стоитъ.

4) Черты, входящія въ составъ національнаго уклада и отличающія одну націю отъ другой, принадлежатъ преимущественно (если не исключительно) къ умственной и волевой сферамъ психики, при чемъ онѣ, эти черты, характеризуютъ собою не содержаніе мысли и не цѣли волевыхъ актовъ, а типъ организаціи ума и воли.—Національности—это особые, до безконечности разнообразные умственные и волевые типы, на которые дѣлится человѣчество психологически,—и это дѣленіе не слѣдуетъ смѣшивать съ другимъ—антропологическимъ, въ силу котораго человѣчество распадается на расы. Говоря такъ, я отнюдь не отрицаю пси-

хологіи расъ. Но эта послѣдняя въ историческомъ и культурномъ человѣчествѣ заслонена, какъ бы прикрыта, психологіей національностей. Для изученія расовой психологіи нужно обратиться къ тѣмъ племенамъ, которыя еще не имѣютъ національной,—къ такъ называемымъ дикарямъ.

Національныя особенности, сказали мы выше, разнообразятся отъ человѣка къ человѣку. Теперь добавимъ, что эти индивидуальныя различія въ національномъ складѣ получаютъ особенный интересъ для изслѣдователя тогда, когда они выражаются въ степеняхъ яркости проявленія національнаго типа. Присматриваясь къ этимъ степенямъ, мы легко замѣтимъ, что національный типъ ярче проявляется у тѣхъ лицъ, которыя въ умственномъ отношеніи или по своей общественной дѣятельности возвышаются надъ среднимъ уровнемъ. И чѣмъ выше они подымаются надъ уровнемъ, чѣмъ большую энергію мысли и воли развиваютъ они, тѣмъ ярче и полнѣе обнаруживается въ нихъ національный типъ. Давно извѣстно, что самыми яркими, наиболѣе типичными представителями данной націи являются ея великіе люди, т.-е. высшіе таланты и геніи въ сферѣ умственнаго творчества (художественнаго, научнаго, философскаго), и въ области практической дѣятельности (политика, мораль, религія). Англійская національность находитъ свое наиболѣе яркое выраженіе въ Ньютонѣ, Дарвинѣ, Гладстонѣ и т. д. французская—въ В. Гюго, Контѣ и т. д. И гораздо слабѣе выраженною окажется французская, англійская, нѣмецкая и т. д. національность, если мы будемъ наблюдать ее въ среднемъ, заурядномъ французѣ, англичанинѣ, нѣмцѣ и т. д. Если, такимъ образомъ, яркость выраженія національнаго типа увеличивается прямо пропорціонально росту умственной и волевой энергіи лица, то это уже наводитъ насъ на мысль выше формулированную, именно, что національности—это особые типы умственной и волевой дѣятельности. Къ тому же самому приводятъ насъ и другія наблюденія, какъ-то:

а) люди, умственная и волевая энергія которыхъ ничтожна (дураки, идіоты и т. д.), а равно и тѣ, у которыхъ та и другая, не будучи ничтожною, однако заслонена или извращена чувствами, аффектами, страстями, оказываются весьма неяркими, невзрачными представителями національности: въ нихъ все національное выражено такъ слабо, что зачастую представляется равнымъ нулю, и эти субъекты являютъ любопытное зрѣлище какъ бы атрофіи національной психики или денаціонализаціи разныхъ степеней. б) Женщины, поскольку онѣ лишены участія въ умственной, общественной, политической жизни страны и поскольку, въ своей психологіи, онѣ являютъ картину преимущественнаго и односторонняго развитія души чувствующей, не обнаруживаютъ большой яркости національнаго типа,—онѣ, если можно такъ выразиться, представляютъ собою психологическій половой типъ общечеловѣческаго, интернаціональнаго характера... Вопросъ эмансипаціи женщинъ есть въ то же время вопросъ пріобрѣтенія ими большей яркости національной „физіономіи". в) Національный отпечатокъ весьма ярко обнаруживается въ тѣхъ массовыхъ (общественныхъ, народныхъ) движеніяхъ, на организацію и политику которыхъ затрачивается наибольшая доля умственной и волевой энергіи, имѣющейся въ распоряженіи передовой части націи въ данное время. Рѣзкій примѣръ—рабочее движеніе, интернаціональное по существу дѣла, общечеловѣческое по идеаламъ и цѣлямъ и въ то же время отчетливо разнообразящееся со стороны способа дѣйствія, организаціи, тактики, политики, по національностямъ (нѣмецкая соціалъ-демократія, французскій коллективизмъ, англійская рабочая партія и т. д.). Напротивъ, тѣ массовыя движенія, которыя основаны на чувствахъ, аффектахъ, страстяхъ (паника, буйство толпы, патріотическое одушевленіе, бунты и т. д.), не обнаруживаютъ національныхъ отличій, являются почти одинаковыми у разныхъ націй. г) Націо-

нальныя психологическія отличія становятся ярче, отчетливѣе, законченнѣе въ мѣру культурнаго и умственнаго прогресса народовъ: современный французъ, нѣмецъ и т. д., несомнѣнно, обладаетъ болѣе яркою и законченною національною формою психики, чѣмъ та, какою обладалъ французъ или нѣмецъ въ средніе вѣка.

Психологія національностей еще не раскрыта, но можно уже теперь предположить, что она сводится къ особымъ видамъ сохраненія и освобожденія умственной и волевой энергіи. Національности различаются между собою не чувствами, не страстями, не добродѣтелями и пороками, вообще не качествами нравственнаго порядка, а способами мыслить и дѣйствовать.

Національные пути мышленія и дѣйствованія—это тѣ различныя дороги, которыя ведутъ въ одинъ и тотъ же Римъ — общечеловѣческихъ идеаловъ. Поэтому исчезновеніе какой-либо національности это всегда потеря для человѣчества,—это означаетъ, что утрачена одна изъ такихъ дорогъ,—а вѣдь человѣчеству, въ интересахъ его прогрессивнаго развитія, его восхожденія на высшія ступени человѣчности, необходимо имѣть въ своемъ распоряженіи какъ можно больше различныхъ видовъ и путей творческой мысли и творческой дѣятельности.

Ставя вопросъ такъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ приходимъ къ рѣшительному отрицанію всякаго національзма. Всякая національная программа заключаетъ въ себѣ—скрыто или явно—враждебное отношеніе къ другимъ націямъ. Національность, какъ таковая, а равно и ея данное историческое содержаніе не должны быть поставляемы цѣлью и возводимы въ идеалъ. Идеалъ одинъ—человѣчность, и онъ не можетъ быть національнымъ. Къ нему ведутъ національные пути мысли и дѣйствованія, но самъ онъ слагается не изъ этихъ путей, а изъ результатовъ мысли и дѣла, которые, по существу, интернаціональны и

образуютъ общее достояніе, общее благо всего человѣчества.

Къ сказанному остается добавить одно: какъ все психическое, такъ и національность имѣетъ не только свою психологію, но и свою психопатологію. Есть болѣзни и ненормальности въ функціяхъ національнаго мышленія и дѣйствованія. Къ числу этихъ ненормальностей прежде всего принадлежитъ національнзмъ цѣлей, политики, идеаловъ. Другая болѣзнь—это извращеніе національныхъ функцій мысли дѣйствованія подъ вліяніемъ дефектовъ классовой психологіи, въ особенности, если данный классъ находится въ состояніи разложенія, регресса или застоя.

Такой именно случай мы и имѣемъ въ обломовщинѣ. Въ картинѣ обломовщины мы наблюдаемъ „картину болѣзни" русской національной психики. Но, изучая по этой „картинѣ" психопатологію русской національной формы, мы можемъ извлечь оттуда весьма любопытныя и цѣнныя указанія относительно характера русской національной формы въ ея нормальномъ состояніи.

5.

Уже изъ приведенныхъ выше цитатъ изъ романа Гончарова видно, какъ правильно поставилъ художникъ діагнозъ, и какъ хорошо выяснилъ онъ причины и весь ходъ болѣзни.

Передъ нами, такъ сказать, „національный паціентъ". Его жизнь раскрыта передъ нами чуть ли не изо дня въ день; мы хорошо освѣдомлены о его прошломъ, его дѣтствѣ, его воспитаніи. Въ нашемъ распоряженіи всѣ данныя, какихъ только можно пожелать. Остается только сдѣлать правильный выводъ. Этотъ выводъ гласитъ такъ:

Илья Ильичъ Обломовъ прежде всего—лежебокъ, лѣнтяй, но его лѣнь—специфическая, классовая, помѣщичья, дворянская, продуктъ крѣпостного права. И если она—болѣзнь, то *болѣзнь классовая, а не національная*. Мало того: въ самомъ классѣ она ограничена хронологически: послѣ отмѣны крѣпостного права она должна была исчезнуть (сохранились только нѣкоторыя ея послѣдствія). Итакъ, передъ нами явленіе частное и временное. Спрашивается: можно ли обобщать его, можно ли выводить его за предѣлы класса и времени и смотрѣть на него, какъ на одинъ изъ признаковъ русской національной психики вообще? Вопросъ этотъ сложнѣе, чѣмъ кажется, и не будемъ спѣшить отвѣчать на него отрицательно.

Болѣзнь Обломова есть родъ болѣзни воли. Подходя къ паціенту со стороны вышеизложеннаго понятія о національности, какъ объ особомъ психологическомъ укладѣ мысли и воли, мы скажемъ, *что въ Обломовѣ боленъ или поврежденъ именно этотъ національный укладъ*.

Вотъ именно здѣсь-то и возникаетъ коренной вопросъ: какъ понимать эту болѣзнь или это поврежденіе? Можетъ быть, національный укладъ мысли и воли въ Обломовѣ атрофированъ или искаженъ до неузнаваемости? Можетъ быть, Илья Ильичъ—субъектъ денаціонализированный? Или же болѣзнь должна быть понимаема иначе, и никакой атрофіи тутъ нѣтъ, какъ нѣтъ и денаціонализаціи?

Случаи денаціонализаціи намъ хорошо извѣстны—въ высшемъ великосвѣтскомъ кругу (въ XVIII вѣкѣ и частью еще въ XIX), но они, повидимому, ничего общаго съ обломовщиною не имѣютъ. Сомнѣнія нѣтъ: Илья Ильичъ—человѣкъ „истинно-русскій", и о всей картинѣ обломовщины, какъ она изображена Гончаровымъ, можно смѣло сказать: „здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ". И притомъ пахнетъ не только крѣпостной, помѣщичьей Русью „добраго стараго времени", но вообще Русью: „картина"—

растяжима, типъ широкъ, и невольно отъ нихъ наша мысль переносится къ другимъ формамъ русской лѣни, къ другимъ проявленіямъ русской бездѣятельности и апатіи. На этомъ-то растяженіи картины и типа, на этой утилизаціи психологіи Обломова для характеристики психологіи русскаго человѣка вообще и была основана критическая статья Добролюбова.

Сомнѣнія нѣтъ: обломовщина, какъ болѣзнь, не есть атрофія русской національной формы. Съ гораздо большимъ правомъ мы могли бы опредѣлить эту болѣзнь, какъ гипертрофію. Въ ней нормальные русскіе способы мыслить и дѣйствовать получили крайнее, гиперболическое выраженіе. Устраняя изъ психологіи Обломова это крайнее выраженіе, возвращая ея черты къ нормѣ, мы получимъ типичную картину русской національной психики,—и Обломовъ превратится въ типъ національный.

Лѣнь Ильи Ильича, доведенная до крайности и находящаяся въ несомнѣнной причинной связи съ фактомъ существованія при немъ Захара, найдется — въ иной, конечно, формѣ—и въ другихъ классахъ, у русскихъ людей другихъ званій и состояній,—она найдется, напр., въ видѣ косности, отсутствія иниціативы, и почти всегда также въ явно патологическомъ выраженіи уклоняющемся отъ нормы. Чтобы получить норму, т.-е. здоровое выраженіе русскаго національнаго уклада воли, нужно было бы изслѣдовать русское безволіе, нашу косность, лѣнь, вялость и т. д. по всѣмъ классамъ, званіямъ и состояніямъ, устранить все явно-анормальное, патологическое, мысленно „выпрямить“ нашъ „волевой аппаратъ“, и такимъ образомъ отчасти предварить то, что должна сдѣлать сама жизнь. Вотъ именно такую задачу и преслѣдовала какъ наша художественная литература, такъ и наша такъ называемая „публицистическая“ критика, лучшимъ представителемъ которой и былъ Добролюбовъ.

Художественная литература воспроизводила яркую картину нашей бездѣятельности, лѣни, апатіи. Въ ряду такихъ картинъ самою яркою и была картина обломовщины. Лежебоку Обломову художникъ противопоставилъ вѣчнодѣятельнаго, энергичнаго Штольца, полунѣмецкое происхожденіе котораго должно, по мысли Гончарова, оттѣнить и подчеркнуть національное значеніе обломовской апатіи и лѣни. Но, повидимому, Гончаровъ, въ противоположность Добролюбову, думалъ, что, вмѣстѣ съ крѣпостнымъ правомъ и старыми порядками вообще, обломовщина исчезнетъ, по крайней мѣрѣ въ томъ ея крайнемъ и патологическомъ выраженіи, въ какомъ онъ изобразилъ ее. Русскій человѣкъ проснется для труда, для дѣятельности, для проявленія своей мысли и воли въ общественномъ самосознаніи и творчествѣ. И очевидно, Штольцъ выражаетъ мысль Гончарова, когда, простившись навсегда съ окончательно опустившимся другомъ, онъ говоритъ: „Прощай, старая Обломовка! ты отжила свой вѣкъ!"—Достойны вниманія и тѣ строки, которыя передаютъ мысли Штольца, заключившіяся приведенными словами: „Погибъ ты, Илья: нечего тебѣ говорить, что твоя Обломовка не въ глуши больше, что до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца! Не скажу тебѣ, что года черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужики твои пойдутъ работать насыпь, а потомъ по чугунѣ покатится твой хлѣбъ къ пристани... А тамъ... школы, грамота, а дальше... [1]) Нѣтъ, перепугаешься ты зари новаго счастья, больно будетъ непривычнымъ глазамъ..." (ч. IV, гл. IX).

Вся послѣдующая исторія нашей внутренней жизни показала, что не такъ-то легко перейти отъ обломовщины разныхъ видовъ и степеней къ дѣятельности, къ той работѣ мысли и той энергичности воли, въ которыхъ выражается здоровый національный укладъ. Но надо принять въ со-

---

[1]) Мой курсивъ.

ображеніе и то, что національному творчеству предстояли двѣ задачи: отрицательная (ликвидація старыхъ порядковъ) и положительная (созданіе новыхъ). Штольцу не была ясна вторая задача. Онъ отчетливо сознавалъ только первую и наивно полагалъ, что, разъ будетъ отмѣнено крѣпостное право и другіе старые порядки, останется только сбросить съ себя лѣнь и апатію, взяться за дѣло, работать. Дѣйствительность очень скоро обнаружила всю тщету этого оптимизма. Теперь, по истеченіи сорока съ лишнимъ лѣтъ, стало наконецъ болѣе или менѣе ясно, что есть какой-то дефектъ въ волевой функціи нашей національной психологіи, препятствующій намъ выработать опредѣленныя, стойкія, отвѣчающія духу и потребностямъ времени формы общественнаго творчества. Но тотъ же опытъ сорокалѣтняго переустройства и неустройства показалъ, что разные виды обломовщины дѣйствительно пошли на убыль, нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ исчезли,—и мы хотя прерывисто и неровно, но все-таки подвигаемся впередъ къ національному оздоровленію, которое уже достаточно ясно проявилось въ творчествѣ индивидуальномъ и которому предстоитъ теперь обнаружиться въ творчествѣ общественномъ и политическомъ.

Постараемся теперь нѣсколько глубже вникнуть въ психологію „обломовщины“, какъ „гипертрофіи“ русскаго національнаго уклада мысли и воли,—сдѣлаемъ попытку мысленно „выпрямить“ этотъ укладъ, чтобы составить себѣ приблизительное понятіе о томъ, какъ онъ могъ бы функціонировать въ здоровомъ, нормальномъ состояніи. Въ этомъ опытѣ поможетъ намъ сопоставленіе съ Обломовымъ любопытной фигуры Штольца, какъ намъ кажется, недостаточно выясненной въ нашей критической литературѣ.

ГЛАВА XI.

Обломовщина и Штольцъ.

1.

Въ предыдущей главѣ я старался установить воззрѣніе на обломовщину, какъ на родъ болѣзни русскаго національнаго уклада. Изучая эту болѣзнь, мы имѣемъ возможность судить о характерѣ и свойствахъ русской національной психологіи въ ея болѣе или менѣе нормальномъ состояніи. И въ то же время невольно навязывается намъ мысль, что въ самой исторіи Россіи нашъ національный укладъ проявлялся, какъ сила дѣйствующая, не только въ своемъ болѣе или менѣе нормальномъ видѣ, но и въ болѣзненномъ, въ формѣ обломовщины. Добролюбовъ совершенно справедливо утверждалъ, что слово обломовщина „служитъ ключемъ къ разгадкѣ многихъ явленій русской жизни...“— Печать обломовщины дѣйствительно лежитъ на нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, сторонахъ или процессахъ нашего общественнаго развитія. Н. И. Пироговъ (кстати сказать человѣкъ, совершенно чуждый какихъ бы то ни было обломовскихъ чертъ) говорилъ, что освобожденіе крестьянъ запоздало по меньшей мѣрѣ лѣтъ на 50. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что въ этомъ запозданіи значительно виновата именно обломовщина.

При всемъ томъ однако я думаю, что не слѣдуетъ преувеличивать значеніе и размѣры этой національной болѣзни нашей. Добролюбовъ преувеличивалъ ихъ, когда говорилъ, что „въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обло-

мова“ (Сочин., т. II, стр. 502). Вотъ и постараемся точнѣе опредѣлить тотъ кругъ явленій, который можетъ быть подведенъ подъ понятіе „обломовщины“, тѣ симптомы, какими характеризуется эта болѣзнь, и, наконецъ, ея отношеніе къ „нормѣ“, къ русскому національному складу въ его здоровомъ состояніи.

Въ этомъ дѣлѣ большую помощь окажетъ намъ тотъ самый художникъ, который впервые такъ обстоятельно изслѣдовалъ нашу національную болѣзнь. Гончаровъ говоритъ о ней не только въ „Обломовѣ“, но и въ своихъ воспоминаніяхъ, озаглавленныхъ „На родинѣ“. Тѣ данныя, которыя мы здѣсь находимъ, сразу расширяютъ кругъ явленій, подводимыхъ подъ понятіе „обломовщины“. Оказывается, что первыя—дѣтскія и юношескія—впечатлѣнія, впослѣдствіи претворившіяся у Гончарова въ картину и идею обломовщины, были вынесены имъ не изъ деревни, а изъ города,—русскаго провинціальнаго, захолустнаго города, и въ частности изъ среды не исключительно дворянской, а, такъ сказать, смѣшанной—дворянско-купеческой. Самъ Гончаровъ, какъ извѣстно, былъ купеческаго происхожденія,—и „Обломовка“, гдѣ онъ родился и провелъ дѣтство, была не деревня, а городской домъ, правда, походившій на помѣстье. „Домъ у насъ,—читаемъ въ главѣ II-ой „На родинѣ“,—былъ, что называется, полная чаша, какъ впрочемъ было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, не имѣвшихъ поблизости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки—все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня“.—Деревенская „Обломовка“ вторгалась въ городъ, и самъ этотъ городъ былъ своего рода большая, сложная „Обломовка“ съ губернато-

ромъ, чиновниками, купцами, дворянами, проживавшими тамъ или пріѣзжавшими на выборы. Гончаровъ живо помнилъ впечатлѣніе, произведенное на него этимъ городомъ, когда онъ пріѣхалъ туда уже по окончаніи университетскаго курса: „меня обдало,—пишетъ онъ (гл. IV),—той же „обломовщиной“, какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кромѣ картины сна и застоя... Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными шторами и жалюзи, на сонныя физіономіи сидящихъ по домамъ и попадающіяся на улицѣ лица. Намъ нечего дѣлать! зѣвая, думаетъ, кажется, всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ: мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ!“—И Гончаровъ рисуетъ картину этого провинціальнаго сна и застоя. Тутъ и чиновники, и купцы, и дворяне, и весь обиходъ жизни... Это были его юношескія впечатлѣнія. Имъ предшествовали соотвѣтственныя дѣтскія, которыхъ описаніе Гончаровъ завершаетъ такими словами (въ концѣ главы III-ей): „Мнѣ кажется, у меня, очень зоркаго и впечатлительнаго мальчика, уже тогда, при видѣ всѣхъ этихъ фигуръ, этого беззаботнаго житья-бытья, безделья и лежанія, и зародилось неясное представленіе объ обломовщинѣ“.

„Фигуры“, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, это—крестный Гончарова, дворянинъ-помѣщикъ, отставной морякъ Николай Николаевичъ Трегубовъ (названный въ воспоминаніяхъ Якубовымъ [1]), и его пріятели помѣщики-дворяне Козыревъ и Гастуринъ.—О Козыревѣ между прочимъ читаемъ: „Онъ не выходилъ изъ халата и очень рѣдко выѣзжалъ изъ предѣловъ своего имѣнія... У него была въ нѣсколькихъ верстахъ другая деревня, но онъ и въ ту не всякій годъ загля-

---

[1]) О немъ см. въ книгѣ Ев. Ляцкаго „Иванъ Александровичъ Гончаровъ“ (1904), стр. 192 и сл.

дывалъ... Кромѣ сада и библіотеки, онъ ничего знать не хотѣлъ, ни полей, ни лѣсовъ, ни границъ имѣнія, ни доходовъ, ни расходовъ. Когда онъ ѣзжалъ въ другую деревню,— разсказывали мнѣ его же люди,—онъ спрашивалъ: „чьи это лошади?", на которыхъ ѣхалъ" (глава III).—„Точно такъ же,—продолжаетъ Гончаровъ,—не зналъ и не хотѣлъ знать ничего этого и „крестный" мой, и третій близкій ихъ другъ и сверстникъ, А. Г. Гастуринъ..."—Якубовъ на вопросы о его хозяйствѣ, доходахъ и пр. отвѣчалъ („говаривалъ, зѣвая"): „А не знаю,—что привезетъ денегъ мой кривой староста, то и есть..." (гл. III).

Когда Козыревъ и Гастуринъ пріѣзжали въ городъ на выборы, они останавливались у Якубова, жившаго во флигелѣ у Гончаровыхъ,—и въ памяти пѣвца обломовщины сохранились объ этомъ такія воспоминанія: „Съ утра, бывало они всѣ трое лежатъ въ постеляхъ, куда имъ подавали чай или кофе. Въ полдень они завтракали. Послѣ завтрака опять забирались въ постели. Такъ ихъ заставали и гости. Рѣдко только, въ дни выборовъ, они натягивали на себя допотопные фраки или екатерининскихъ временъ мундиры и панталоны, спрятанные въ высокіе сапоги съ кисточками, надѣвали парики, чтобъ ѣхать въ дворянское собраніе на выборы. Какіе смѣшные были всѣ трое! Они хохотали, оглядывая другъ друга, и мы, дѣти, глядя на нихъ" (Гл. III).

Изъ нихъ двое, Якубовъ и Козыревъ, были люди не только образованные, но и въ своемъ родѣ „идейные". Это были запоздалые вольтеріанцы XVIII-го вѣка. У Козырева была большая библіотека—„все французскія книги" (гл. III). Онъ „былъ поклонникъ Вольтера и всей школы энциклопедистовъ, и самъ смотрѣлъ маленькимъ Вольтеромъ, острымъ, саркастическимъ... Духъ скептицизма, отрицанія свѣтился въ его насмѣшливыхъ взглядахъ, улыбкѣ и сверкалъ въ рѣчахъ..." (гл. III).

Передъ нами любопытные образчики Обломовыхъ пер-

вой четверти XIX-го вѣка. Бездѣлье, лежаніе, халатъ, лѣнь заняться даже своими дѣлами, запущенныя имѣнія, благодушіе и та специфическая „прозрачность" или „хрустальность" души, какою характеризуется Илья Ильичъ,—всѣ эти внѣшніе и внутренніе признаки настоящей обломовщины здѣсь налицо. Не отсутствуютъ и другія черты, столь же существенныя: подобно Ильѣ Ильичу, эти добрые господа были крѣпостники, и Гончаровъ, въ главѣ V-ой подробно говоритъ объ этомъ (собственно о крѣпостничествѣ Якубова), стараясь обѣлить ихъ, во-первыхъ, съ исторической точки зрѣнія (они были люди своего вѣка) и, во-вторыхъ, указаніемъ на то, что они не злоупотребляли своими правами рабовладѣльцевъ и обращались съ „подданными" мягко, гуманно. Другая черта иллюстрируется подробностями въ родѣ слѣдующей: Козыревъ и Гастуринъ пріѣзжали въ губернскій городъ въ три года разъ на дворянскіе выборы, но совсѣмъ не затѣмъ, чтобы ихъ выбирали, а, напротивъ, чтобы не выбирали. „Когда мы хотимъ повидаться съ ними,—сказывалъ мнѣ предводитель дворянства, Бравинъ: — стоитъ только написать имъ, что ихъ намѣрены баллотировать: сейчасъ же оба бросятъ свои захолустья и пріѣдутъ просить, чтобъ не выбирали" (гл. III).—Они пуще всего боялись того самаго, чего такъ боится Ильи Ильичъ Обломовъ: чтобы (выражаясь любимой формулой этого послѣдняго) жизнь ихъ не тронула. Когда Ильѣ Ильичу приходится перебираться на другую квартиру или когда онъ получаетъ непріятныя извѣстія изъ деревни, вообще когда ему приходится что-нибудь предпринять, хлопотать,—онъ жалуется, что „жизнь трогаетъ". Якубовъ, Козыревъ и Гастуринъ, подобно Ильѣ Ильичу, удаляются отъ жизни, избѣгаютъ общества, прячутся и—совершенно счастливы въ своемъ одиночествѣ. Имъ чуждо столь свойственное всякому нормальному человѣку стремленіе участвовать въ общественной жизни, вра-

щаться въ обществѣ,—у нихъ нѣтъ честолюбія и нѣтъ даже элементарной потребности осуществить свою „общественную стоимость". Отсутствіе этой потребности указываетъ на коренной изъянъ въ ихъ психикѣ,—тотъ самый, какой мы видимъ у Ильи Ильича Обломова.

Обломовщина—не только лѣнь, апатія, квіетизмъ, но и соединенное съ боязнью жизни отсутствіе самаго чувства общественной стоимости человѣка, т.-е. такое состояніе психики, при которомъ человѣкъ не страдаетъ отъ того, что его общественная стоимость не осуществилась. Замѣною или суррогатомъ общественной стоимости служитъ имъ классовое и сословное самочувствіе: они проникнуты до глубины души сознаніемъ, что они — помѣщики, владѣльцы крѣпостныхъ душъ, дворяне, привилегированное сословіе и могутъ съ спокойною совѣстью ничего не дѣлать. Но это классовое сознаніе и чувство у нихъ больше пассивно, чѣмъ активно,—они плохіе представители своего класса, не способны къ классовой борьбѣ и не сумѣли бы, а можетъ быть и не захотѣли бы въ критическую минуту отстаивать свои права и прерогативы. Этой—помѣщичьей, крѣпостнической, дворянской—разновидности обломовщины отвѣчаетъ соотвѣтственная купеческая, чиновническая и всякая иная сословная или профессіональная. Вездѣ, гдѣ наблюдается усыпленное состояніе мысли и бездѣйствіе воли, гдѣ чувство личной общественной стоимости замѣняется классовымъ самочувствіемъ и въ то же время нѣтъ способности къ классовой борьбѣ,—мы имѣемъ обломовщину. Гдѣ этихъ признаковъ нѣтъ, тамъ нѣтъ и обломовщины. Поэтому, напр., бабушка въ „Обрывѣ" (вопреки мнѣнію г. Ляцкаго) не можетъ быть отнесена къ обломовщинѣ [1]).

---

[1]) Книга г. Ляцкаго представляетъ собою несомнѣнно цѣнный вкладъ въ литературу о Гончаровѣ. По своимъ задачамъ и характеру она относится къ тому роду изслѣдованій, въ которомъ выдвигаются на первый планъ вопросы психологіи и исторіи творчества изучаемаго писателя. Не-

Наблюдая различные виды и ступени обломовщины, мы замѣчаемъ, что эта болѣзнь развивается въ человѣкѣ постепенно и обнаруживается при обстоятельствахъ, ей благопріятствующихъ, въ среднемъ возрастѣ или въ старости. Обломовщина—не дѣтская и не юношеская болѣзнь. Чтобы заболѣть ею, нужно пожить, сложиться, стать зрѣлымъ человѣкомъ. Илья Ильичъ сдѣлался лежебокомъ уже послѣ окончанія курса въ университетѣ и двухлѣтней службы въ Петербургѣ. Въ гл. V-й I-й части, гдѣ изложено curriculum vitae Ильи Ильича, мы слѣдимъ за постепеннымъ, хотя и довольно быстрымъ, развитіемъ его обломовщины. Оставивъ службу, онъ продолжалъ еще бывать въ обществѣ; потомъ сталъ отставать и отъ общества, „простился съ толпой друзей",—„его почти ничто не влекло изъ дома, и онъ съ каждымъ днемъ все крѣпче и постояннѣе водворялся въ своей квартирѣ". „Сначала ему тяжело стало пробыть цѣлый день одѣтымъ, потомъ онъ лѣнился обѣдать въ гостяхъ... Вскорѣ и вечера надоѣли ему..." Наконецъ, узнаемъ, что у него „съ лѣтами возвратилась какая-то ребяческая робость, ожиданіе опасности и зла отъ всего, что не встрѣчалось въ сферѣ его ежедневнаго быта, вслѣдствіе отвычки отъ разнообразныхъ внѣшнихъ явленій".

Такъ и старички, изображенные въ воспоминаніяхъ, превратились въ Обломовыхъ уже въ зрѣломъ возрастѣ, даже подъ старость. Якубовъ въ молодости жилъ дѣятельною жизнью моряка, совершалъ кругосвѣтныя плаванія, участвовалъ въ морскомъ сраженіи, много читалъ, основательно изучилъ географію, астрономію, математику и развилъ въ себѣ незаурядные умственные интересы. Потомъ, выйдя въ

достатки и спорныя положенія труда г. Ляцкаго указаны въ рецензіи г. Грузинскаго („Вѣстникъ Восп.", сент. 1904)—Г. Ляцкій слишкомъ расширяетъ субъективную сторону въ творчествѣ Гончарова. Равнымъ образомъ слишкомъ широко понятіе „обломовщины" въ истолкованіи г. Ляцкаго.

отставку и вернувшись на родину, сблизился съ тогдашнимъ дворянскимъ кругомъ и рѣшительно завоевалъ себѣ общую симпатію и уваженіе... „Онъ былъ вездѣ принятъ съ распростертыми объятіями, его ласкали, не давали быть одному. И у себя онъ давалъ часто обѣды, ужины, на которыхъ нерѣдко присутствовали и дамы...“ [1]) Наконецъ, былъ членомъ масонской ложи. Человѣкъ онъ былъ живой, общительный, умный, интересный... Но потомъ вышло слѣдующее:

„Пріѣзжая послѣ, въ мои университетскія каникулы,— разсказываетъ Гончаровъ,—я сталъ замѣчать, что посѣтители у него становились рѣдки, а самъ онъ не выѣзжалъ никуда, совершая только свои ежедневныя прогулки въ экипажѣ... Я видѣлъ, что онъ и на прогулкахъ сталъ избѣгать встрѣчъ, даже съ близкими его знакомыми. Отъ прочихъ онъ скрывался, сколько могъ“ [1]). Самъ онъ объяснялъ это тѣмъ, что „на старости отвыкъ отъ людей“. Гончарову это объясненіе казалось недостаточнымъ, и въ главѣ IV-й онъ отмѣчаетъ и другое: „вглядываясь и вдумываясь тогда въ его образъ мыслей и жизнь сознательно, я видѣлъ кое-что въ его характерѣ, къ чему прежде у меня не было ключа, что-то постороннее, кромѣ старческой усталости: не то боязнь, не то осторожность“. Онъ „точно остерегался общества, пятился отъ знакомыхъ, а незнакомыхъ вовсе не принималъ“.—Загадка разъяснилась, когда Гончаровъ удостовѣрился, что послѣ событія 14-го декабря 1825 года Якубовымъ, какъ и многими, овладѣлъ несказанный страхъ и трепетъ, изображенный Гончаровымъ въ той же главѣ съ юморомъ, напоминающимъ тотъ, съ какимъ описанъ страхъ, обуявшій Илью Ильича, когда онъ по ошибкѣ направилъ казенную бумагу вмѣсто Астрахани въ Архангельскъ.

---

[1]) „На родинѣ“, гл. III.



Якубовъ перепугался потому, что принадлежалъ къ масонской ложѣ и имѣлъ „образъ мыслей". Но не трудно понять, что психологическимъ основаніемъ этого специфическаго страха послужила у Якубова все та же обломовщина, предрасполагающая къ боязни людей вообще, къ нелюдимости. Это все то же настроеніе, въ силу котораго Илья Ильичъ ожидалъ непредвидѣннаго несчастья, все та же „ребяческая робость" и тотъ „нервическій страхъ", о которыхъ говорится въ главѣ V-й I-й части романа: „онъ пугался окружающей его тишины и просто и самъ не зналъ чего—у него побѣгутъ мурашки по тѣлу..." Обломовщина создаетъ вокругъ себя „атмосферу" тишины, одиночество, безлюдье и внушаетъ безпричинный, нервическій страхъ, и если вдругъ въ самомъ дѣлѣ случиться что-нибудь чрезвычайное, въ родѣ землетрясенія или тѣхъ обысковъ, арестовъ и допросовъ, о которыхъ разсказано въ главѣ IV-й „На родинѣ",—обломовцы больше другихъ подвержены всѣмъ чрезмѣрностямъ трепета, вообще свойственнаго русскому человѣку. Исключенія, какія могли быть, только подтверждаютъ правило. Гончаровъ отмѣчаетъ ихъ: „только старички, въ родѣ Козырева и еще немногихъ, ухомъ не вели и не выползали изъ своихъ норъ. Козыревъ саркастически посмѣивался и надъ крутыми мѣрами властей, и надъ переполохомъ. Громъ въ деревенскія затишья не доходилъ".

Изъ чертъ, здѣсь сгруппированныхъ, мы получаемъ довольно опредѣленную „картину болѣзни", именуемой обломовщиною. Самою характерною чертой нужно признать боязнь жизни и перемѣнъ. Обломовцы это—тѣ, которые, подобно Ильѣ Ильичу Обломову, пуще всего бояться, какъ бы жизнь не тронула ихъ. Всѣ тѣ, которые этого не боятся,—не Обломовы, хотя бы они ничего не дѣлали, были лѣнивы не меньше Ильи Ильича и являлись такими же байбаками и увальнями, какъ Тентетниковъ. Конечно, въ большинствѣ случаевъ такъ и выходитъ, что именно лежебоки и лѣнтяи

оказываются одержимыми боязнью жизни и перемѣнъ, грозящихъ нарушить ихъ покой. Но принципіально и психологически это явленія разнаго порядка. Возможны случаи, когда человѣкъ превращается въ лѣнтяя и лежебока просто потому, что ему нечего дѣлать и не зачѣмъ трудиться,—но онъ былъ бы очень радъ, если бы жизнь его тронула и побудила его стряхнуть съ себя лѣнь и апатію. Съ другой стороны, могутъ оказаться своего рода Обломовыми и люди, ведущіе болѣе или менѣе подвижной и дѣятельный образъ жизни: нужно только, чтобы ихъ умонастроеніе и весь душевный складъ были отмѣчены ясно выраженнымъ психологическимъ консерватизмомъ, чтобы они боялись всего, что грозитъ нарушить строй ихъ жизни, выбить ихъ изъ привычной колеи. Я называю этотъ консерватизмъ психологическимъ въ томъ смыслѣ, что онъ не связанъ съ интересами человѣка и даже можетъ вредить имъ. Это—просто косность воли и мысли, соединенная съ инстинктивною, болѣе или менѣе патологическою боязнью какой бы то ни было перемѣны въ условіяхъ жизни, въ соціальномъ положеніи человѣка, который можетъ при этомъ отчетливо сознавать всю выгоду перемѣны. Психологическій консерватизмъ есть явленіе общечеловѣческое и найдется повсюду. Но у насъ онъ, очевидно, связанъ съ нашимъ національнымъ укладомъ, который въ своемъ нормальномъ—не обломовскомъ—видѣ являетъ черты, аналогичныя или психологически родственныя тому роду консерватизма, о которомъ идетъ рѣчь и который въ своемъ крайнемъ выраженіи даетъ картину обломовщины съ ея халатомъ, туфлями, вѣчнымъ лежаніемъ, лѣнивымъ покоемъ, апатіей, квіетизмомъ и разными „ребяческими“ страхами.

Нашъ національный психическій укладъ въ его нормальномъ видѣ характеризуется между прочимъ нѣкоторою пассивностью волевыхъ процессовъ, замедленнымъ темпомъ дѣйствующей воли, и въ сферѣ

мысли это отражается наклонностью къ фатализму того или другого рода. Эту послѣднюю черту отмѣтилъ г. Ляцкій у Штольца („И. А. Гончаровъ", стр. 183). Но я думаю, нѣтъ основаній смотрѣть на нее, по примѣру г. Ляцкаго, какъ на проявленіе обломовщины у Штольца: послѣдній совершенно свободенъ отъ обломовщины, и если онъ не чуждъ фатализма, то это потому, что онъ по національности—русскій, несмотря на полунѣмецкое происхожденіе.

Во избѣжаніе недоразумѣній необходимо яснѣе и точнѣе опредѣлить это понятіе фатализма, какъ характерной принадлежности русскаго національнаго уклада.

Прежде всего этотъ фатализмъ можетъ и не быть сознательнымъ и теоретическимъ: русскій человѣкъ остается своеобразнымъ фаталистомъ и тогда, когда не вѣритъ въ „судьбу". Нашъ національный фатализмъ — волевого происхожденія, онъ—не теорія, не вѣрованіе, а умонастроеніе, которое можетъ прилаживаться къ какимъ угодно теоріямъ, вѣрованіямъ, воззрѣніямъ. Но, разумѣется, наиболѣе сродни ему тѣ, которыя отмѣчены извѣстнымъ фаталистическимъ пошибомъ. Мы съ большею готовностью, чѣмъ другіе народы, усвояемъ себѣ воззрѣнія, ограничивающія роль личности и значеніе личной инициативы въ исторіи и выдвигающія на первый планъ закономѣрный или фатальный „ходъ вещей". Это отлично гармонируетъ съ нашимъ волевымъ укладомъ. Но, съ другой стороны, съ тѣмъ же укладомъ согласуются и теоріи, приписывающія исключительное значеніе великимъ людямъ, „вождямъ" и „героямъ": нашъ волевой укладъ одинаково приспособленъ какъ къ тому, чтобы мы послушно и понуро шли за „ходомъ вещей", такъ и къ тому, чтобы мы болѣе или менѣе охотно слѣдовали за своимъ „героемъ" или „вождемъ", избавляя себя отъ труда хотѣть и дѣйствовать. Иначе говоря, строй нашей волевой психики отчасти приближается къ психологіи толпы и пока еще не достаточно приспособленъ

къ организованному общественному дѣйствованію, сознательному и цѣлесообразному, предрѣшающему событія, создающему „ходъ вещей". Оттуда между прочимъ и слабость у насъ классовой организаціи.

Французское выраженіе „faire l'histoire" [1]), столь характерное для французскаго національнаго склада, совершенно не примѣнимо у насъ: наша исторія какъ-то сама собою дѣлается... Въ сущности, разумѣется, это мы ее дѣлаемъ, но только пассивно, а не активно,—и для насъ характерны выраженія, въ которыхъ о насъ-то и умалчивается, въ родѣ: „повѣяло весной", „наступила реакція", „времена измѣнились" и т. п. Такъ, Штольцъ говоритъ Обломову: „Ты не знаешь, что закипѣло у насъ теперь..."—Это „закипѣли" „вѣянія" конца 50-хъ годовъ, когда почуялась близость великой реформы, за которою должны были послѣдовать и другія. Для современниковъ, какъ и для послѣдующихъ поколѣній, было не вполнѣ ясно, какія именно общественныя силы и въ какой мѣрѣ участвовали въ этихъ событіяхъ первостепенной важности. Опять приходится вспомнить психологію толпы. Впослѣдствіи понадобились спеціальныя изысканія, чтобы выяснить весь этотъ ходъ „вещей". Равнымъ образомъ долго оставался открытымъ вопросъ о томъ, чему собственно мы обязаны побѣдой надъ Наполеономъ въ 1812 году: морозу или мудрой медлительности Кутузова, столь геніально изображенной Толстымъ—именно какъ нашъ національный способъ дѣйствовать?

Вотъ именно Кутузовъ въ „Войнѣ и мирѣ" и является художественнымъ воплощеніемъ нашего національнаго волевого уклада и фаталистическихъ наклонностей нашей мысли, въ ихъ нормальномъ видѣ и въ историческомъ обнаруженіи [2]). И, можно сказать, мы дѣлали и дѣлаемъ

---

[1]) „Дѣлать исторію".

[2]) Объ этомъ я писалъ подробнѣе въ книгѣ „Л. Н. Толстой какъ художникъ", глава IV и V.

нашу исторію „по-кутузовски“. Къ сожалѣнію, приходится сознаться, что до сихъ поръ мы дѣлали ее и „по-обломовски“. Надо уповать, что этотъ послѣдній „факторъ“ пойдетъ на убыль, что приближается время, когда обломовщина, какая еще есть, будетъ вытѣснена изъ сферы общественной жизни и дѣятельности и перестанетъ опредѣлять собою „ходъ вещей“ у насъ. Симптомы этого оздоровленія нашей національной психики уже намѣчаются. И не трудно видѣть, что ближайшимъ результатомъ этого будетъ также нѣкоторое измѣненіе въ нормальномъ функціонированіи нашихъ волевыхъ актовъ: ихъ темпъ ускорится, нашъ „волевой фатализмъ“ пойдетъ на убыль, яснѣе обозначатся системы силъ, творящія исторію,—и мы будемъ знать, куда идемъ, что и какъ дѣлаемъ...

2.

Важнѣйшіе признаки обломовщины оттѣняются фигурою Штольца. Задуманное и изображенное въ противоположность Обломову, это лицо, какъ художественный образъ, оставляетъ впечатлѣніе нѣкоторой апріорности и, пожалуй, искусственности построенія. При всемъ томъ однако мы не можемъ присоединиться къ мнѣнію, будто Штольцъ не удался Гончарову примѣрно такъ, какъ не удался Гоголю Костанжогло. Штольцъ, во всякомъ случаѣ, не выдуманъ. То, что въ немъ признается неяснымъ, было въ ту эпоху неясно въ самой жизни, и какъ этою, такъ и другими сторонами Штольцъ представляется намъ фигурою, далеко не лишенною типичности для второй половины 50-хъ годовъ и начала 60-хъ.

Другъ и сверстникъ Обломова, Штольцъ—отрицатель и противникъ обломовщины. Онъ отрицаетъ ее во всѣхъ ея видахъ. Идеалъ барской жизни въ деревнѣ, который лелѣ-

етъ Обломовъ, представляется Штольцу совершенно нелѣпымъ. „Это не жизнь!—говоритъ онъ въ отвѣтъ на разглагольствованія замечтавшагося Ильи Ильича (ч. II, гл. IV),—это какая-то... обломовщина".—Когда Обломовъ хочетъ доказать ему, что всѣ люди стремятся къ покою, что это свойственно природѣ человѣческой, Штольцъ отвѣчаетъ: „И утопія-то у тебя обломовская" (тамъ же).—Обломовскому культу покоя и квіетизма онъ противопоставляетъ культъ труда и непрерывнаго стремленія впередъ. Илья Ильичъ готовъ согласиться съ тѣмъ, что можно работать, трудиться, „мучиться", по его опредѣленію, но только съ тою цѣлью, чтобы „обезпечить себя навсегда и удалиться потомъ на покой, отдохнуть".—„Деревенская обломовщина!" восклицаетъ Штольцъ. „Или достигнуть службой значенія и положенія въ обществѣ,—продолжаетъ развивать свою мысль Обломовъ,—и потомъ въ почетномъ бездѣйствіи наслаждаться заслуженнымъ отдыхомъ..."—„Петербургская обломовщина!" восклицаетъ Штольцъ (ч. II, гл. IV). Вотъ именно въ противоположность этому, столь характерному для обломовщины стремленію къ „отдыху", „покою", почетному или непочетному „бездѣйствію", Штольцъ настаиваетъ на необходимости труда—ради труда, безъ всякихъ видовъ на „отдыхъ". На вопросъ Обломова: „для чего же мучиться весь вѣкъ? онъ отвѣчаетъ: „для самого труда, больше ни для чего. Трудъ—образъ, содержаніе, стихія и цѣль жизни, по крайней мѣрѣ, моей" (тамъ же).—Эти слова, конечно, не означаютъ, что для Штольца безразлично, какимъ бы дѣломъ ни заниматься, что его нисколько не интересуетъ вопросъ о цѣли и значеніи его труда. Онъ не будетъ толочь воду въ ступѣ... Мы хорошо знаемъ, чѣмъ онъ занятъ: онъ „пріобрѣтаетъ", составляетъ себѣ состояніе, ведетъ свои дѣла, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ учится, развивается, слѣдитъ за всѣмъ, что творится на бѣломъ свѣтѣ, наконецъ много путешествуетъ, какъ по Россіи, такъ и за грани-

цей [1]). Онъ—просвѣщенный дѣлецъ и „грюндеръ“. И совершенно очевидно, что этому „труду“ онъ, какъ и самъ Гончаровъ, приписываетъ прогрессивное общественное значенiе. Мало того: его проповѣдь „труда“ не лишена и моральнаго оттѣнка. Это было въ духѣ времени. Отживающей обломовщинѣ, какъ порожденiю крѣпостничества, противопоставляли, наканунѣ паденiя крѣпостного права, необходимость предпрiимчивости, дѣловитости, иницiативы, и эти качества представлялись въ видѣ культурной и даже моральной силы, призванной обновить и возродить Россiю. Сама собой устанавливалась „психологическая ассоцiацiя“ представленiй этихъ качествъ съ идеями либерализма, просвѣщенiя, общественнаго развитiя. И это было симптомомъ того поворота, который обозначился въ нашей внутренней жизни около половины 50-хъ годовъ: на смѣну крѣпостническаго строя выступалъ буржуазный, выдвигавшiй вмѣстѣ съ культомъ наживы, духомъ предпрiимчивости, грюндерствомъ новую политическую программу, правда, не вполнѣ ясную, но во всякомъ случаѣ отмѣченную печатью либерализма, общихъ идей просвѣщенiя, прогресса, свободы. Теперь уже нельзя было сочетать дѣловитости, предпрiимчивости и наживы съ обскурантизмомъ и политическою отсталостью, какъ это дѣлалъ Гоголь. Новый Костанжогло являлся либераломъ, „просвѣщеннымъ рацiоналистомъ“ [2]), прогрессистомъ.

Штольцъ при случаѣ заводитъ рѣчь о фабрикахъ, о путяхъ сообщенiя, о пристаняхъ, о сбытѣ. Но онъ заводитъ рѣчь также о школахъ, именно—народныхъ, о просвѣщенiи. Его „программа“—либерально-буржуазная и просвѣтитель-

---

[1]) Онъ говоритъ Обломову: „Я два раза былъ за границей, послѣ нашей премудрости смиренно сидѣлъ на студенческихъ скамьяхъ въ Боннѣ, въ Iенѣ, въ Эрлангенѣ, потомъ выучилъ Европу, какъ свое мнѣнiе... Я видѣлъ Россiю вдоль и поперекъ. Тружусь...“ И увѣрялъ, что никогда не перестанетъ „трудиться“, хотя бы учетверилъ свои капиталы (ч. II, гл. IV).

[2]) Выраженiе г. Ляцкаго о Штольцѣ („Ив. Ал. Гончаровъ“, стр. 183).

ная: раскрѣпощеніе, экономическое развитіе страны, промышленный прогрессъ, просвѣтительная дѣятельность. Онъ восторженно привѣтствуетъ зарю новой жизни, занимавшуюся въ концѣ 50-хъ годовъ; онъ ожидаетъ близкой смѣны крѣпостнической и обломовской эпохи новою, либерально-буржуазною, прогрессивною, когда, вмѣсто обломовскаго сна и застоя, закипитъ работа на всѣхъ поприщахъ и процессъ оздоровленія общественнаго организма быстро пойдетъ впередъ... Вспомнимъ еще разъ тѣ думы, которымъ предается Штольцъ, когда онъ навсегда разстается съ Обломовымъ, сказавшимъ при прощаніи: „Не забудь моего Андрея" (сына Ильи Ильича отъ Пшеницыной).—„Нѣтъ, не забуду я твоего Андрея... Погибъ ты, Илья: нечего тебѣ говорить, что твоя Обломовка не въ глуши больше, что до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца! Не скажу тебѣ, что года черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужики твои пойдутъ работать насыпь, а потомъ по чугункѣ покатится твой хлѣбъ къ пристани... А тамъ... школы, грамота, а дальше... Нѣтъ, перепугаешься ты зари новаго счастья, больно будетъ непривычнымъ глазамъ. Но поведу твоего Андрея, куда ты не могъ итти... и *съ нимъ будемъ приводить въ дѣло наши юношескія мечты*" [1]) (ч. IV, глава IX).

Отсюда между прочимъ видно, что этотъ практическій дѣятель, этотъ грюндеръ и дѣловой человѣкъ лелѣетъ „юношескія мечты" и надѣется проводить ихъ въ жизнь. Несомнѣнно, на личности Штольца лежитъ еще свѣжій отпечатокъ *идеализма* 40-хъ годовъ, къ которымъ относятся его юность, его воспитаніе, его университетскіе годы. Онъ учился въ московскомъ университетѣ, онъ слушалъ Грановскаго, онъ, конечно, зачитывался статьями Бѣлинскаго. Изъ этой „школы" онъ вынесъ широкіе умственные инте-

---

[1]) Курсивъ мой.

ресы, а также и тѣ „юношескія мечты“, которыя, какъ мы видѣли, онъ хранитъ и въ зрѣломъ возрастѣ. Въ чемъ онѣ состояли, мы не знаемъ, но имѣемъ основаніе думать, что онѣ были довольно скромны и едва ли шли дальше тѣхъ освободительныхъ идей, которыя выдвинула эпоха реформъ.— Духу 40-хъ годовъ обязанъ Штольцъ также тѣмъ своеобразнымъ „эпикурействомъ“ или „разумнымъ эгоизмомъ“, которымъ отмѣчена его душевная жизнь, а также и вся его дѣятельность. Вѣдь, въ концѣ концовъ, всѣ усилія его направлены на то, чтобы создать себѣ обезпеченную, счастливую, разумную, изящную жизнь. Нельзя сказать, чтобы это было идеаломъ людей 40-хъ годовъ, но это воспитывалось въ нихъ условіями времени: общественная дѣятельность была тогда невозможна,—приходилось замыкаться въ тѣсномъ кругу,—и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что лучшіе люди невольно впадали въ „эпикурейство“. Личная жизнь съ ея вопросами любви, счастья, умственныхъ интересовъ и т. д. силою вещей выдвигалась на первый планъ. Вспомнимъ, какую выдающуюся роль въ жизни лучшихъ людей той эпохи играли любовь, дружба, эстетика, философскій и научный диллетантизмъ. Эти черты еще обострились въ глухое время первой половины 50-хъ годовъ. И когда, въ эти годы, явились новые, молодые дѣятели, вышедшіе изъ другой, не барской, среды, одушевленные широкими общественными идеями, натуры стоическаго пошиба и высокаго нравственнаго закала, тогда и возникла та рознь между „отцами“ и „дѣтьми“, которая, помимо разногласія въ направленіи, въ идеяхъ и „программахъ“, была, прежде всего, столкновеніемъ противоположныхъ натуръ, психологическимъ конфликтомъ „эпикурейцевъ“ и „стоиковъ“. Въ литературѣ представителями новаго поколѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ новаго психологическаго типа были Чернышевскій, Добролюбовъ, Елисеевъ и др.

Къ которому изъ этихъ двухъ типовъ принадлежитъ

Штольцъ? Ни къ тому, ни къ другому. Штольцъ скорѣе всего—представитель третьяго, тогда нарождавшагося, типа—либерала и практическаго дѣятеля, сохранявшаго еще отпечатокъ идеализма 40-хъ годовъ и унаслѣдовавшаго отъ нихъ „эпикурейскіе" наклонности и вкусы.

Но въ другихъ отношеніяхъ онъ, какъ психологическій типъ, рѣзко отличается отъ людей 40-хъ годовъ. Онъ — человѣкъ положительный, натура уравновѣшенная, чуждая излишествъ рефлексіи, бодрая, дѣятельная, жизнерадостная. По складу ума онъ — позитивистъ. „Мечтѣ, загадочному, таинственному не было мѣста въ его душѣ. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было въ глазахъ его оптическій обманъ... У него не было и того дилентантизма, который любитъ порыскать въ области чудеснаго, или подонкихотствовать въ полѣ догадокъ и открытій за тысячу лѣтъ впередъ..." (ч. II, гл. II).—Это написано Гончаровымъ, очевидно, съ оглядкою на идеалистовъ и дилетантовъ метафизики 40-хъ годовъ и съ цѣлью оттѣнить въ лицѣ Штольца новый психологическій типъ, выступавшій на смѣну прежнему. Новый типъ оказывается болѣе здоровымъ, цѣльнымъ, болѣе жизнеспособнымъ. Въ немъ отмѣчено обыкновенное развитіе задерживающей и регулирующей воли—въ противоположность ея слабости у многихъ представителей старшаго поколѣнія, Мотивировано это — у Штольца—наслѣдственностью (со стороны отца) и спартанскимъ воспитаніемъ. Какъ бы то ни было, оказывается, что весь душевный міръ Штольца постоянно находится подъ контролемъ его воли: „кажется, и печалями, и радостями онъ управлялъ какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ,.." (ч. II, гл. II).—Онъ стремится къ тому, чтобы не было „ничего лишняго" въ его душѣ („въ нравственныхъ отправленіяхъ его жизни"),—„онъ искалъ равновѣсія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа" (тамъ же). Его задачею было — поменьше мудрить и выработать

себѣ „простой, т.-е. прямой, настоящій взглядъ на жизнь“; зная всю трудность этой задачи („мудрено и трудно жить просто!“ говорилъ онъ), онъ „боялся воображенія и всякой мечты“ и зорко слѣдилъ за собою, за каждымъ шагомъ своимъ. Между прочимъ „слѣдилъ онъ и за сердцемъ“: вопросъ любви къ женщинѣ занимаетъ свое мѣсто въ его душевной экономіи: „онъ и среди увлеченія чувствовалъ землю подъ ногой и довольно силы въ себѣ, чтобы, въ случаѣ крайности, рвануться и быть свободнымъ“ (тамъ же). Онъ не вѣрилъ „въ поэзію страстей, не восхищался ихъ бурными проявленіями и разрушительными слѣдами, а все хотѣлъ видѣть идеалъ бытія и стремленій человѣка въ строгомъ пониманіи и отправленіи жизни“ (тамъ же).

Таковъ Штольцъ... Гончаровъ, какъ видно, очень цѣнилъ такія качества ума и характера и думалъ фигурою Штольца отвѣтить на вопросъ, поставленный Гоголемъ: какіе люди нужны Россіи? Ему казалось, что великое слово „впередъ!“, о которомъ мечталъ Гоголь, будетъ сказано сперва Штольцами, русскими по національности, полуиностранцами по крови, и уже вслѣдъ за ними явятся соотвѣтственные дѣятели чисто-русскаго происхожденія. Прочтемъ слѣдующее мѣсто изъ той же главы: „Чтобъ сложиться такому характеру, можетъ быть, нужны были и такіе смѣшанные элементы, изъ какихъ сложился Штольцъ. Дѣятели издавна отливались у насъ въ пять-шесть стереотипныхъ формъ, лѣниво вполглаза глядя вокругъ, прикладывали руку къ общественной машинѣ и сѣ дремотой двигали ее по обычной колеѣ, ставя ногу въ оставленный предшественникомъ слѣдъ. Но вотъ глаза очнулись отъ дремоты, послышались бойкіе, широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими именами!“

Упованія, возлагавшіяся Гончаровымъ на дѣятелей этого

типа, какъ извѣстно, не оправдались. Россіи, конечно нужны были, какъ и теперь нужны, дѣятели съ такимъ запасомъ энергіи, какой мы видимъ у Штольца, но одной энергіи мало,—нужно еще, чтобы она была направлена на выработку общественнаго самосознанія, на общественное дѣло, на проложеніе новыхъ путей внутренняго развитія Россіи. У Штольца она направлена больше на личныя цѣли, на грюндерство и на урегулированіе его собственной душевной жизни. Онъ, пожалуй, окажется отличнымъ работникомъ и умѣлымъ проводникомъ новыхъ началъ въ жизни, но вѣдь онъ — не человѣкъ творческой мысли въ вопросахъ общественнаго развитія. Это видно уже изъ того, что онъ не имѣетъ ясной программы, что его идеологія исчерпывается „юношескими мечтами", вынесенными изъ 40-хъ годовъ, между тѣмъ какъ уже заканчивались 50-е, приближалась эпоха великихъ реформъ и подымался основной и труднѣйшій вопросъ русской жизни—о народѣ, объ устроеніи его экономическаго быта,—вопросъ, для правильной постановки котораго либерализмъ и просвѣщенный раціонализмъ Штольца недостаточны, а его грюндерство могло служить даже препятствіемъ. Требовалась широкая демократическая программа, согласованная съ возможно-широкимъ идеаломъ политическаго развитія Россіи, и для этого нужны были дѣятели и мыслители совсѣмъ иного направленія и иного строя души. Таковые и не замедлили явиться. Одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей этого новаго общественно-психологическаго типа, великій критикъ-публицистъ Н. А. Добролюбовъ, отнесся къ Штольцу отрицательно. Онъ писалъ „...что онъ (Штольцъ) дѣлаетъ и какъ онъ ухитряется дѣлать что-нибудь порядочное тамъ, гдѣ другіе ничего не могутъ сдѣлать,—это для насъ остается тайной. Онъ мигомъ устроилъ Обломовку для Ильи Ильича:— какъ? этого мы не знаемъ. Онъ мигомъ уничтожилъ фальшивый вексель Ильи Ильича; — какъ? это мы знаемъ. По-

ѣхалъ къ начальнику Ивана Матвѣича, которому Обломовъ далъ вексель, поговорилъ съ нимъ дружески,—Ивана Матвѣича призвали въ присутствіе и не только что вексель велѣли возвратить, но даже изъ службы выходить приказали. И подѣломъ ему, разумѣется; но, судя по этому случаю, Штольцъ не доросъ еще до идеала общественнаго русскаго дѣятеля" [1]) (Сочин. Н. А. Добролюбова, т. II, стр. 504—505).

Средство, къ которому Штольцъ прибѣгалъ въ данномъ случаѣ, было глубоко-антипатично Добролюбову. Онъ рѣшительно выступалъ противъ такихъ пріемовъ въ борьбѣ съ темными силами. Въ этомъ отношеніи онъ какъ и Чернышевскій, далеко опередилъ свое время и явилъ образецъ „общественнаго русскаго дѣятеля" въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Оттого и сталъ онъ призваннымъ и признаннымъ учителемъ и воспитателемъ поколѣній. — Напротивъ, Штольцъ, не брезгавшій вышеуказанными пріемами борьбы, былъ, въ этомъ отношеніи, шаблоннымъ человѣкомъ своего времени. Но самъ Добролюбовъ смягчаетъ суровость своего приговора непосредственно слѣдующими за приведеннымъ мѣстомъ словами: „Да и нельзя еще (достичь идеала общественнаго русскаго дѣятеля): рано".—Окончательное заключеніе Добролюбова о Штольцѣ сводится къ тому, что „онъ не тотъ человѣкъ, который сумѣетъ на языкѣ, понятномъ для русской души, сказать намъ это всемогущее слово: впередъ!" [2]) (Сочин., II, 505).

Штольцъ — не вождь, не герой. Онъ не пролагаетъ новыхъ путей. Онъ только идетъ за временемъ и является представителемъ эпохи, когда отживала старая обломовщина и на смѣну крѣпостного строя возникалъ новый порядокъ вещей. Гончаровъ, конечно, идеализируетъ Штольца. Устра-

---

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Извѣстное мѣсто изъ первой главы второй части „Мертвыхъ душъ".

няя эту идеализацію, мы все-таки скажемъ, что въ предразсвѣтную эпоху конца 50-хъ годовъ, когда, по выраженію Добролюбова, нужно было „расчищать лѣсъ, чтобы выйти на большую дорогу и убѣжать отъ обломовщины“, Штольцы свою лепту вносили въ это дѣло, хотя бы уже тѣмъ, что не сидѣли на мѣстѣ, не спали, не кисли, а суетились, просвѣщались, тормошили Обломовыхъ, радовались наступленію новой эры, отрицали крѣпостное право.

Штольцъ, какъ общественный дѣятель и моральная величина, не выдержитъ критики, если судить о немъ съ высоты Добролюбовскаго идеала. Но по сравненію съ окружавшею его тьмою и пустотою (кстати сказать, превосходно изображенной въ романѣ Гончарова второстепенными и вводными фигурами), съ безнадежною спячкою обломовцевъ, съ глубокими залежами обскурантизма, тогда почти не тронутаго, — Штольцъ долженъ быть признанъ явленіемъ, въ свое время прогрессивнымъ.

Отмѣтимъ въ заключеніе еще одну черту, которою Штольцъ рѣзко отличается отъ новыхъ людей Добролюбовскаго типа. Это — болѣе чѣмъ добродушное отношеніе Штольца къ той самой обломовщинѣ, которую онъ такъ послѣдовательно отрицаетъ. Добролюбовъ, какъ извѣстно, не щадитъ ея и произноситъ надъ нею „судъ безпощадный“. Для него она—почти порокъ, во всякомъ случаѣ — уродство, и человѣкъ, зараженный обломовщиной, не заслуживаетъ, по глубокому убѣжденію критика, ни сожалѣнія, ни снисхожденія. Въ его глазахъ обломовцы — народъ никуда не годный, и обломовщина — наше національное несчастье и проклятье. Для Штольца она — только болѣзнь, и онъ относится къ обломовцамъ съ состраданіемъ,— онъ ихъ жалѣетъ, какъ больныхъ, безмощныхъ, слабыхъ духомъ и волею, но, по существу, хорошихъ, чистыхъ и честныхъ людей, достойныхъ лучшей участи. Очевидно, это потому такъ, что онъ самъ выросъ подъ сѣнью обломовщины,

знаетъ обломовцевъ съ дѣтства, принадлежитъ къ ихъ кругу, ихъ средѣ, и еще потому, что онъ выражаетъ отношеніе къ обломовщинѣ самого Гончарова,— послѣдовательно-отрицательное, но спокойное и благодушное, какъ оно выразилось и въ знаменитомъ романѣ, и въ автобіографическихъ очеркахъ „На родинѣ“.

Но Гончаровъ указалъ на возможность и, пожалуй, необходимость и иного — болѣе радикальнаго — отрицанія нашей „національной болѣзни“, близкаго къ Добролюбовскому. Это отрицаніе, въ мягкой, женственной формѣ, не нарушающей его послѣдовательности, его принципіальности, дано въ самомъ романѣ и было въ свое время отмѣчено и превосходно комментировано Добролюбовымъ. Оно представлено героиней романа *Ольгой Ильинской*, о которой великій критикъ писалъ: „въ ней-то болѣе, нежели въ Штольцѣ, можно видѣть намекъ на новую русскую жизнь; отъ нея можно ожидать слова, которое сожжетъ и развѣетъ обломовщину...“ (Сочин., II, 505).

Къ тому, что сказано нашей критикой объ этомъ женскомъ образѣ, занимающемъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ нашей художественой литературѣ, прибавлять нечего. Но я позволю себѣ, прежде чѣмъ разстаться съ обломовщиной и ея противовѣсомъ — Штольцемъ и перейти къ эпохѣ и людямъ 60-хъ годовъ, сказать нѣсколько словъ объ этомъ чудномъ женскомъ образѣ, сохраняющемъ до сихъ поръ свое обаяніе — какъ умъ и характеръ, и свое значеніе — какъ типъ.

3.

(Посвящается П. Е. Майковой).

Незаурядная сила и ясность ума, цѣльность натуры, вѣчное стремленіе впередъ — къ разумной дѣятельности, къ плодотворной общественной работѣ — вотъ тѣ черты, кото-

рыя ставятъ Ольгу выше другихъ, даже лучшихъ, женщинъ ея времени и вмѣстѣ съ тѣмъ являются главнымъ основаніемъ того, что въ лицѣ Ольги обломовщина встрѣтила судью и противника гораздо болѣе послѣдовательнаго и рѣшительнаго, чѣмъ Штольцъ.

Ольга изображена Гончаровымъ такъ, что читателю становятся вполнѣ ясными ея дальнѣйшіе пути въ жизни. Уже Добролюбовъ предсказывалъ, что она когда-нибудь броситъ Штольца, разочаровавшись въ немъ, какъ въ общественномъ дѣятелѣ и величинѣ моральной. Личнымъ и семейнымъ счастьемъ она не удовлетворится. Натура изящно-женственная, она вмѣстѣ съ тѣмъ одарена мужскимъ умомъ и мужскимъ стремленіемъ къ дѣлу, работѣ, борьбѣ. Спокойная, тихая, счастивая жизнь пугаетъ ее, какъ призракъ обломовщины, какъ болотная тина, грозящая затянуть и поглотить человѣка. Всего менѣе могла бы выйти изъ нея самодовольная мать, женщина-насѣдка, „нянька своихъ дѣтей", жена-хозяйка. Это понялъ и оцѣнилъ въ ней Штольцъ [1]). Ничего нѣтъ въ ней *буржуазнаго*,—и, очевидно, это послужитъ когда-нибудь причиной ея разрыва съ Штольцемъ. „Чѣмъ счастье ея полнѣе, тѣмъ она становилась задумчивѣе и даже... боязливѣе. Она стала строго замѣчать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, *ея остановка на минутахъ счастья*..." (ч. IV, гл. VIII). — Не трудно предвидѣть, что когда-нибудь, въ одну изъ такихъ „остановокъ жизни", глаза Ольги откроются, и она вдругъ пойметъ, что ея мужъ, въ сущности, далеко не соотвѣтствуетъ ея идеалу. У такихъ, какъ Штольцъ, оборотная, пошлая сторона души маскируется ихъ „дѣятельностью", подвижностью,

---

[1]) „Вдали ему улыбался новый образъ, не эгоистки Ольги, не страстно любящей жены, не матери-няньки, увядающей потомъ въ безцвѣтной, никому не нужной жизни, а что-то другое, высокое, почти не бывалое... Ему грезилась мать-создательница и участница нравственной и общественной жизни цѣлаго счастливаго поколѣнія..." (ч. IV, гл. VIII).

предпріимчивостью, суетой и шумомъ; зато тѣмъ ярче можетъ выступить она—на досугѣ, въ тѣ счастливыя минуты „тишины" и „остановокъ жизни"... И кажется, Ольга потому и боится этихъ минутъ, что смутно предчувствуетъ разочарованіе, которое онѣ принесутъ ей. Ольга любитъ не слѣпо, а сознательно. Къ ней не приложима поговорка: „не по-хорошу милъ, а по-милу хорошъ".—„Признавъ разъ въ избранномъ человѣкѣ достоинство и права на себя, она вѣрила въ него и потому любила, а переставала вѣрить—переставала и любить, какъ случилось съ Обломовымъ" (ч. IV, гл. VIII). Такъ и Штольца полюбила она „не слѣпо, а съ сознаніемъ", и „чѣмъ сознательнѣе она вѣровала въ него, тѣмъ труднѣе было ему держаться на одной высотѣ, быть героемъ не ума ея и сердца только, но и воображенія" (тамъ же). И, конечно, онъ не удержится „на высотѣ". Онъ могъ бы, пожалуй, остаться „героемъ ея воображенія" въ глухое обломовское время, на безлюдьи; но времена перемѣнились,—явилась возможность нѣкоторой общественной работы, борьба манила, новый идеалъ дѣятеля уже складывался въ сознаніи лучшихъ людей, и эти лучшіе люди уже выступали на арену, разоблачая незначительность „дѣятельности" и буржуазно-либеральной идеологіи Штольцевъ.

И Ольга „готовилась, ждала"... „Она росла все выше и выше" (тамъ же). Предугадывая ея дальнѣйшую жизнь, мы скажемъ, что она, раньше или позже, разочаруется въ Штольцѣ, убѣдится въ ничтожности его „дѣятельности" и въ недостаточности его „программы". Она выступитъ на иной путь, трудный и тернистый, исполненный лишеній и невзгодъ. И куда бы судьба ни забросила ее, въ какомъ бы забытомъ уголкѣ ни пришлось ей жить,—она повсюду сохранитъ на всю жизнь завѣты своей молодости. Пройдутъ года,—она состарится тѣломъ, но не духомъ: если вы ее гдѣ-нибудь встрѣтите, вы будете поражены и очарованы

ясностью ея ума, свѣжестью ея чувства, ея живою отзывчивостью на всѣ вопросы и злобы времени.

Въ противоположность фигурѣ Штольца, въ Ольгѣ нѣтъ ничего искусственнаго, апріорнаго. Это живое лицо, прямо взято изъ жизни. Въ художественномъ отраженіи, въ поэтическомъ обобщеніи—оно явилось психологическимъ типомъ, объединяющимъ лучшія стороны русской образованной женщины, сильной умомъ, волею и внутреннею свободою,—женщины, имѣющей всѣ данныя, чтобы явить тотъ идеалъ общественнаго дѣятеля, о которомъ нѣкогда мечталъ Добролюбовъ...

ГЛАВА XII.

Н. А. Некрасовъ.

1.

Эпоха, о которой мы вели рѣчь въ двухъ предыдущихъ главахъ, вторая половина 50-хъ годовъ, была великимъ поворотнымъ пунктомъ русской исторіи, кануномъ великихъ реформъ, началомъ новой эры. Въ такія эпохи всегда появляются „новые люди", возникаютъ новые общественно-психологическіе типы.

Новые типы, возникавшіе во вторую половину 50-хъ годовъ, окончательно выяснились и достигли наибольшей яркости выраженія въ 60-е годы, когда закладывались устои новой Россіи и наша общественная жизнь являла оживленную картину борьбы различныхъ умственныхъ теченій и идеаловъ.

Въ это время Штольцы уже становились анахронизмомъ. Они быстро сходили со сцены, уступая мѣсто либеральнымъ дѣльцамъ и бюрократамъ-карьеристамъ, въ родѣ, напр., Калиновича, героя романа Писемскаго „Тысяча душъ". Этому типу предстояла дальнѣйшая „эволюція", превосходно воспроизведенная, какъ увидимъ въ своемъ мѣстѣ, въ нѣкоторыхъ романахъ и повѣстяхъ П. Д. Боборыкина. Одновременно обозначился и типъ „разночинца", воодушевленнаго тѣми идеями, которыя вскорѣ кристаллизовались въ доктрину радикальнаго народничества. Выходцы изъ духовенства, мѣщанства и народа, эти „разночинцы", несомнѣнно, представляли собою не только из-

вѣстное направленіе общественной мысли, но и весьма опредѣленный общественно-психологическій типъ, лучшими представителями котораго были въ литературѣ Добролюбовъ и Чернышевскій. Уже въ концѣ 50-хъ годовъ между этими „разночинцами", или „семинаристами", какъ ихъ обзывали, и представителями старшаго поколѣнія, воспитавшагося въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, обнаружился коренной разладъ, который, въ существѣ своемъ, былъ не столько идейнымъ, сколько психологическимъ: это была рознь и даже взаимная антипатія натуръ противоположнаго душевнаго уклада. Объ этой розни намъ придется говорить въ дальнѣйшемъ. Здѣсь я хочу указать только на то, что столкновеніе людей, скажемъ для краткости, „добролюбовскаго" типа съ людьми „тургеневскаго" или „герценовскаго" типа было первымъ по времени и наиболѣе знаменательнымъ появленіемъ неизбѣжной распри между „дѣтьми" и „отцами",—распри, которая, все болѣе осложняясь и обостряясь, затянулась на многіе годы. Наша общественная жизнь и наши литературныя направленія 60-хъ и 70-хъ годовъ ярко окрашены различными выраженіями этой распри. Уже въ самомъ началѣ 60-хъ годовъ она осложнилась появленіемъ особой разновидности „новыхъ людей", именно той, наиболѣе яркимъ и блестящимъ представителемъ которой былъ Д. И. Писаревъ. Что это была—психологически—особая разновидность, весьма отличная отъ „разночинцевъ" добролюбовскаго типа,—это въ настоящее время не подлежитъ сомнѣнію. Въ сутолокѣ того времени, въ горячкѣ литературной полемики, когда нерѣдко выходило, что „своя своихъ не познаша", люди весьма различнаго душевнаго склада смѣшивались и искусственно объединялись подъ однимъ и тѣмъ же названіемъ или кличкою въ родѣ „нигилисты", „мыслящіе реалисты", „мыслящій пролетаріатъ" или просто „новые люди". Но однако, при всей искусственности, это объединеніе оправ-

дывалось тѣмъ, что, дѣйствительно, были нѣкоторыя черты, общія почти всѣмъ разновидностямъ „новыхъ людей" и довольно рѣзко разграничивавшія ихъ отъ ихъ историческихъ предшественниковъ, отъ „отцовъ".

Въ ряду этихъ чертъ на первый планъ нужно выдвинуть ту, которая относится къ сферѣ національной психологіи: это именно отсутствіе обломовщины. Люди 60-хъ годовъ въ общемъ—не обломовцы. Конечно, между ними попадались отдѣльныя лица, отмѣченныя въ той или иной мѣрѣ печатью нашей „національной болѣзни", но эта печать не была характернымъ признакомъ поколѣнія, и „обломовцы" по натурѣ или унаслѣдованнымъ привычкамъ, подчиняясь общему духу бодрости, общему стремленію къ труду и борьбѣ, излѣчивались отъ „національнаго недуга" или не имѣли возможности обнаруживать соотвѣтственныхъ чертъ своего характера или настроенія. Можно сказать, 60-е годы были эпохой, когда, вмѣстѣ съ дореформенными порядками, хоронилась и обломовщина. Статья Добролюбова „Что такое обломовщина?" была, въ этомъ смыслѣ, своего рода „манифестомъ",—и появленіе знаменитаго романа Гончарова въ 1859 году было знаменіемъ времени. Вотъ именно наступало такое время, что всякаго рода „обломовщина" приходилась „не ко двору", на нее не было спроса, нужны были иные люди, обломовцы же становились „лишними". Въ связи съ этимъ на арену общественной жизни должны были выступить представители тѣхъ слоевъ, которые, по всей обстановкѣ жизни, отнюдь не представляли условій, благопріятствующихъ развитію обломовщины. Первое мѣсто принадлежитъ здѣсь духовенству, которое издавна было у насъ наименѣе обломовскимъ классомъ. Борьба съ обломовщиною и велась по преимуществу дѣятелями, вышедшими изъ этого класса. Къ нимъ не замедлили присоединиться и выходцы изъ другихъ слоевъ, между прочимъ и тѣ, которыхъ позже, въ

70-хъ годахъ, Михайловскій назвалъ „кающимися дворянами". Это была особая общественно-психологическая разновидность, сперва не замѣченная, но потомъ обозначившаяся довольно ясно на фонѣ нашей общественной жизни и литературы. Яркимъ ея представителемъ былъ самъ Н. К. Михайловскій, какъ нѣсколько раньше—Д. И. Писаревъ. Люди этого склада, въ большинствѣ, не были обломовцами.

Здѣсь мы отмѣтимъ тотъ важный фактъ, что „кающіеся дворяне", и при томъ не зараженные обломовщиною, появлялись и раньше. Мы найдемъ ихъ въ 40-хъ годахъ. Но въ высокой степени знаменательно то, что они могли выступить на сцену и обнаружиться, какъ сила, только въ концѣ 50-хъ годовъ и въ 60-хъ. По возрасту и по воспитанію люди 40-хъ годовъ, они стали, по своей дѣятельности, истинными людьми 60-хъ годовъ и даже явились вождями передового движенія этой эпохи,—одни изъ нихъ—творцами или проводниками великихъ реформъ, другіе—первенствующими представителями прогрессивныхъ направленій въ литературѣ.

Въ ряду этихъ передовыхъ литературныхъ дѣятелей, воспитавшихся и выступившихъ еще въ 40-е годы, но проявившихъ всю силу своего дарованія въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, особенное вниманіе привлекаютъ къ себѣ, именно какъ представители эпохи и вожди движенія, Н. А. Некрасовъ и М. Е. Салтыковъ.

2.

Обращаясь къ Некрасову, мы постараемся уяснить себѣ преимущественно тѣ черты его натуры и ума, которыми этотъ большой поэтъ, замѣчательный журналистъ и необыкновенный человѣкъ былъ, можно сказать, кровно связанъ съ эпохою 60-хъ годовъ, къ которой относится рас-

цвѣтъ его дѣятельности. По лѣтамъ и воспитанію онъ принадлежитъ 40-мъ годамъ, когда и началъ писать и печатать. Но психологически, по духу, по складу мысли, да и по самой натурѣ своей онъ имѣетъ весьма мало общаго съ эпохою 40-хъ годовъ. Всего меньше онъ—философъ-идеалистъ, метафизикъ, теоретикъ, мечтатель. Онъ—человѣкъ практическаго смысла и живого дѣла. Въ противоположность типичнымъ людямъ 40-хъ годовъ, въ немъ нѣтъ ничего барскаго, диллетантскаго, нѣтъ душевной утонченности и „прекраснодушія". Мы не найдемъ у него никакихъ слѣдовъ унаслѣдованной или благопріобрѣтенной обломовщины. Онъ—не бѣлоручка, онъ—работникъ, труженикъ, не боящійся „черной работы", а равно не уклоняющійся отъ такихъ дѣлъ или положеній, гдѣ можно „замарать руки". Извѣстны тяжелыя условія, среди которыхъ протекла его молодость. Ему пришлось выбиваться изъ нищеты,—и въ трудной борьбѣ за существованіе еще болѣе закалился его характеръ, отъ природы сильный и упорный. Быть можетъ, не совсѣмъ неправы тѣ, которые утверждали, что въ этой борьбѣ его душа не только закалилась, но отчасти и ожесточилась, даже огрубѣла. Но—въ силу сплетенія разныхъ обстоятельствъ—эта „порча" была такъ раздута, такъ чудовищно преувеличена, что, въ концѣ концовъ, въ представленіи современниковъ и потомства, духовный обликъ одного изъ крупнѣйшихъ нашихъ поэтовъ исказился до неузнаваемости. Только теперь этотъ туманъ начинаетъ разсѣиваться, благодаря новымъ работамъ о Некрасовѣ и опубликованію документальныхъ данныхъ, къ нему относящихся. Въ ряду этихъ работъ особливо важна книга покойнаго Пыпина „Н. А. Некрасовъ" (С.-Петерб., 1903 г.), гдѣ между прочимъ, впервые обнародованы письма поэта къ Тургеневу и гдѣ также помѣщены любопытныя замѣтки о личности Некрасова и о нѣкоторыхъ эпизодахъ его жизни и дѣятельности, сообщенныя Пыпину „современникомъ, кото-

рый близко зналъ Некрасова". Этотъ современникъ—не кто иной, какъ Н. Г. Чернышевскій [1]).

Съ половины 50-хъ годовъ журналъ Некрасова „Современникъ" сталъ органомъ передового движенія въ нашей литературѣ, вождями котораго были Чернышевскій и Добролюбовъ. Близкое участіе этихъ писателей въ „Современникѣ" и нѣкоторыя ихъ литературныя отношенія и мнѣнія были одною изъ причинъ извѣстнаго разрыва между Некрасовымъ и его старыми друзьями, между прочимъ—съ Тургеневымъ. Это было первое крупное столкновеніе людей „добролюбовскаго" типа съ людьми „тургеневскаго" типа. Некрасовъ рѣшительно и смѣло сталъ на сторону первыхъ, за что и пришлось ему перенесть не мало нареканій и обидъ, вся несправедливость которыхъ въ настоящее время уже выясняется. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Некрасовъ дорожилъ сотрудничествомъ Чернышевскаго и Добролюбова не потому, что оно было выгодно ему, какъ издателю журнала, а потому, что раздѣлялъ ихъ направленіе и общіе взгляды и находилъ ихъ дѣятельность въ высокой степени плодотворною. Но этимъ дѣло не ограничивалось: были еще болѣе тѣсныя, болѣе интимныя духовныя связи между Некрасовымъ и людьми того общественно-психологическаго типа, лучшими представителями котораго являлись Чернышевскій и Добролюбовъ. На эти-то связи я и хочу указать здѣсь.

Въ то время, какъ Тургеневу (а также и Герцену) Чернышевскій и Добролюбовъ внушали родъ безсознательной, инстинктивной антипатіи, Некрасовъ сразу полюбилъ ихъ и съ рѣдкою прозорливостью ума и чуткостью души понялъ и

---

[1]) Къ книгѣ приложенъ обстоятельный „Библіографическій обзоръ литературы о Некрасовѣ, съ его смерти". Нужно дополнить списокъ указаніемъ на статью В. П. Кранихфельда „Ник. Ал. Некрасовъ" (Опытъ литературной характеристики.) „Міръ Божій", 1902, декабрь.

оцѣнилъ всю душевную силу и красоту этихъ натуръ, съ которыми, казалось бы, у него было такъ мало общаго. Къ Добролюбову онъ питалъ трогательное чувство, близкое къ обожанію. Чернышевскій, опровергая со свойственною ему скромностью мнѣніе, что онъ и Добролюбовъ расширили умственный и нравственный горизонтъ Некрасова, и доказывая, что поэтъ вовсе не нуждался въ этомъ, говоритъ между прочимъ: „Любовь къ Добролюбову могла освѣжать сердце Некрасова; и я полагаю, освѣжала" [1]). Но это совсѣмъ иное дѣло, не расширеніе „умственнаго и нравственнаго горизонта", а чувство отрады [2]). Чувство отрады благотворно. Оно укрѣпляетъ душевныя силы. За десять лѣтъ до знакомства съ Добролюбовымъ подобное благотворное вліяніе имѣло на Некрасова знакомство съ тою женщиной, которая была предметомъ многихъ его лирическихъ пьесъ" (А. Н. Пыпинъ, „Н. А. Некрасовъ", стр. 251). Нельзя лучше опредѣлить характеръ „вліянія" на Некрасова „юноши-генія", какъ назвалъ онъ Добролюбова въ одномъ позднѣйшемъ стихотвореніи [2]). Вспомнимъ здѣсь и другіе стихи—„20 ноября 1861 года" (день похоронъ Добролюбова). Ихъ задушевный тонъ отразилъ настоящія отношенія поэта къ безвременно умершему другу, любовь къ которому „освѣжала" его сердце и внушала ему „чувство отрады":

Я покинулъ кладбище унылое,
Но я мысль мою тамъ позабылъ,—
Подъ землею въ гробу пріютилася
И глядитъ на тебя, мертвый другъ!
Ты схороненъ въ морозы трескучіе,
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо, черезъ щели гробовыя,

---

1) Курсивъ мой.

2) „Недавнее время" (1871 г.).

Проступить не успѣла вода;
Ты лежишь, какъ сейчасъ похороненный,
Только словно длиннѣй и бѣлѣй
Пальцы рукъ, на груди твоей сложенныхъ,
Да сквозь землю проникнувшимъ инеемъ
Убѣлилъ твои кудри морозъ,
Да слѣды наложили чуть видные
Поцѣлуи суровой зимы,
На уста твои плотно сомкнутыя
И на впалыя очи твои...

Въ Добролюбовѣ Некрасовъ чтилъ огромную умственную величину и исключительную нравственную силу. Это хорошо иллюстрируется между прочимъ отзывами поэта, приводимыми Головачевой-Панаевой. Тургеневу, удивлявшемуся познаніямъ Добролюбова въ иностранныхъ литературахъ, Некрасовъ говорилъ: „...у него замѣчательная голова! Можно подумать, что лучшіе профессора руководили его умственнымъ развитіемъ и образованіемъ! Это, братъ, русскій самородокъ... Черезъ 10 лѣтъ литературной своей дѣятельности Добролюбовъ будетъ имѣть такое же значеніе въ русской литературѣ, какъ Бѣлинскій". („Воспоминанія А. Я. Головачевой-Панаевой. Русскіе писатели и артисты", Спб., 1890 г., стр. 310). Автору воспоминаній поэтъ говорилъ: „Добролюбовъ—эта такая свѣтлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься къ нему глубокимъ уваженіемъ. Этотъ человѣкъ не то, что мы; онъ такъ строго самъ слѣдитъ за собой, что мы всѣ передъ нимъ должны краснѣть за свои слабости, которыми заражены..." (тамъ же, стр. 322).

Эти моральныя отношенія Некрасова къ Добролюбову (и, разумѣется, также къ Чернышевскому, а равно и вообще къ новымъ людямъ „добролюбовскаго" типа), представляя высокій психологическій интересъ, въ то же время являются фактомъ первостепенной важности въ исторіи нашей литературы и въ развитіи нашего общественнаго сознанія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ они проливаютъ свѣтъ на тѣ стороны сложной натуры Некрасова, которыя такъ долго казались темными и загадочными. Человѣкъ большихъ душевныхъ противорѣчій и сильныхъ страстей, Некрасовъ періодически переживалъ тяжкій гнетъ угрызеній совѣсти, настроеній, близкихъ къ отчаянію,—и тогда цѣлебное „чувство отрады", о которомъ говоритъ Чернышевскій, являлось для него настоятельною душевною потребностью. Здѣсь также и ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ—значительнѣйшихъ — мотивовъ его поэзіи.

Душевная драма Некрасова заслуживаетъ внимательнаго изученія.

3.

Шелъ 1857 годъ. Это было начало „новыхъ вѣяній". Русское общество вздохнуло свободнѣе. Россія пробуждалась къ новой жизни. Чуялась близость великой реформы. Настроеніе передовой части общества было приподнятое. Каково было настроеніе Некрасова?

Вернувшись изъ заграничной поѣздки въ іюнѣ 1857 г., Некрасовъ въ письмѣ къ Тургеневу (отъ 30 іюня) говоритъ между прочимъ: „Теперь тоже нехорошо, надо работать, а руки опускаются, точитъ меня червь, точитъ. Въ день двадцать разъ приходитъ мнѣ на умъ пистолетъ, и тотчасъ дѣлается при этой мысли легче. Я сообщаю тебѣ это потому, что это фактъ, а не потому, чтобъ я имѣлъ намѣреніе это сдѣлать,—надѣюсь, никогда этого не сдѣлаю. Но нехорошо, когда человѣку съ отрадной точки зрѣнія поминутно представляется это орудіе. Правда, оно все примиритъ и разрѣшитъ, да не хочу я этого разрѣшенія" (Пыпинъ, „Н. А. Некрасовъ", стр. 172). Судя по тому, что въ непосредственно предшествующемъ письмѣ (Пыпинъ, стр. 170) говорится о неудачной попыткѣ уладить извѣстное

(или, точнѣе, доселѣ не вполнѣ извѣстное) „огаревское" дѣло и оправдаться передъ Герценомъ, можно подумать, что главною причиной настроенія, близкаго къ отчаянію, было именно это обстоятельство, т.-е. эти отношенія къ Огареву и Герцену [1]. Но кажется, суть дѣла была не въ этомъ. Недоразумѣніе съ Герценомъ и „огаревское дѣло", думается мнѣ, только осложнили и безъ того мрачное и унылое настроеніе Некрасова. Это былъ, такъ сказать, очередной припадокъ острой душевной боли, подъ гнетомъ которой все представлялось Некрасову въ самомъ мрачномъ видѣ, все становилось постылымъ, и самъ онъ былъ противенъ себѣ. О такихъ припадкахъ упоминаетъ Головачева-Панаева, разсказывая, какъ поэтъ „по двое сутокъ лежалъ у себя въ кабинетѣ въ страшной хандрѣ, твердя въ нервномъ раздраженіи, что ему все опротивѣло въ жизни, а главное—онъ самъ себѣ противенъ..." („Воспоминанія", стр. 224).

Припадки были только обостреніемъ общаго душевнаго тона: по основному укладу своей натуры, Некрасовъ былъ предрасположенъ къ хандрѣ, къ чернымъ мыслямъ, къ душевной угнетенности. Онъ самъ говорилъ объ этой чертѣ напр., въ письмѣ отъ 3-го октября 1856 г. (изъ Рима): „Девятый валъ меня немного подшибъ, но въ этомъ, *кромѣ моей хандрящей натуры* [2], никто не виноватъ" (Пыпинъ, стр. 144—145); въ письмѣ (оттуда же) отъ 21 окт.

---

[1] Въ примѣчаніи къ письму Некрасова Пыпинъ говоритъ, что оно „не лишено важности для объясненія „огаревскаго дѣла". „Въ чемъ именно состояло это дѣло, не знаю,—продолжаетъ Пыпинъ,—но противъ Некрасова выставлено было тяжелое обвиненіе въ присвоеніи и растратѣ чужихъ денегъ". Здѣсь же указано на то, что Головачева-Панаева съ негодованіемъ опровергаетъ это обвиненіе, и отмѣчена ссылка Некрасова (въ этомъ письмѣ) на самого Тургенева. Ссылка гласитъ: „Ты лучше другихъ можешь знать, что я тутъ столько же виноватъ и причастенъ, какъ ты, напримѣръ".

[2] Курсивъ мой.

1856 г.: „Совѣтъ твой жить со дня на день очень хорошъ, но я какъ-то лишенъ способности наладиться на такую жизнь; день, два идетъ хорошо, а тамъ смотришь— тоска, хандра, недовольство, злость... Всему этому и есть причины, и, пожалуй, нѣтъ...“ (стр. 147).—Въ этомъ же письмѣ онъ говоритъ о своей „наклонности къ хандрѣ и къ романтизму“, въ силу которой историческія впечатлѣнія Рима вызываютъ въ немъ только раздраженіе. Его осаждаютъ мрачныя мысли на тему о „тысячѣ тысячъ разъ поруганной, распятой добродѣтели и тысячѣ тысячъ разъ увѣнчанномъ злѣ“. „Подъ этимъ впечатлѣніемъ,—говоритъ онъ,—забрался я третьяго дня на куполъ св. Петра и плюнулъ оттуда на свѣтъ Божій...“ (стр. 148). Любопытно и дальнѣйшее: „Во мнѣ мало здоровой крови. Жить для себя не всякій день хочется и стоитъ...—и тогда приходитъ вопросъ: зачѣмъ же жить?“ На этотъ вопросъ „какой-то очень самолюбивый голосъ“ отвѣчаетъ, что нужно жить для другихъ. „Но когда онъ молчитъ, когда нѣтъ этой вѣры, тогда и плюешь на все, начиная съ самого себя...“ (стр. 148).

Имѣя въ своемъ распоряженіи эти признанія поэта, мы легко поймемъ, какое значеніе имѣли для него натуры въ родѣ Чернышевскаго и Добролюбова. Ихъ расположеніе, ихъ привязанность, ихъ сотрудничество нужны были Некрасову, не только какъ издателю журнала, но еще болѣе какъ человѣку и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ поэту. Въ общеніи съ ними онъ черпалъ душевное освѣженіе, онъ преодолѣвалъ свою хандру, пессимизмъ и мизантропію и обрѣталъ ту „вѣру“, о которой онъ говоритъ въ только что приведенной выдержкѣ изъ письма къ Тургеневу.

Теперь прочтемъ и постараемся всесторонне уяснить себѣ другое—въ высокой степени любопытное—признаніе Некрасова въ письмѣ къ Тургеневу отъ 27 іюня 1857 г., гдѣ

указаны, такъ сказать, психологическія основы того народничества, пѣвцомъ котораго былъ Некрасовъ. Мы увидимъ, что и въ этомъ отношеніи моральное и умственное вліяніе Чернышевскаго и Добролюбова (и вообще людей „добролюбовскаго“ типа) являлось для поэта настоятельною душевною потребностью.—„А надо правду сказать,—пишетъ Некрасовъ,—какое бы унылое впечатлѣніе ни производила Европа, стоитъ воротиться, чтобы начать думать о ней съ уваженіемъ и отрадой. Сѣро, сѣро! Глупо, дико, глухо — и почти безнадежно! И все-таки я долженъ сознаться, что сердце у меня билось какъ-то особенно при видѣ „родныхъ полей“ и русскаго мужика. Вотъ тебѣ стихи, которые я сложилъ вскорѣ по пріѣздѣ:

Въ столицѣ шумъ—гремятъ витіи,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А тамъ, во глубинѣ Россіи,
Что тамъ? Богъ знаетъ... не поймешь!
Надъ всей равниной безпредѣльной
Стоитъ такая тишина,
Какъ будто впала въ сонъ смертельный
Давно дремавшая страна.
Лишь вѣтеръ не даетъ покою
Вершинамъ придорожныхъ ивъ,
И выгибаются дугою,
Цѣлуясь съ матерью-землею,
Колосья безконечныхъ нивъ...

Что до меня, я доволенъ своимъ возвращеніемъ. Русская жизнь имѣетъ счастливую особенность сводить человѣка съ идеальныхъ вершинъ, поминутно напоминая ему, какая онъ дрянь,— дрянью кажется и все прочее, и самая жизнь,— дрянью, о которой не стоитъ много думать [1]), (стр. 179).

---

[1]) Курсивъ мой.

Эти строки, вмѣстѣ съ варіантомъ извѣстнаго стихотворенія, какъ нельзя лучше опредѣляютъ тотъ родъ **соціальнаго самочувствія**, который былъ присущъ Некрасову и такъ ярко выразился въ его поэзіи. Самъ поэтъ называлъ свою „музу"—музою **мести** и печали". Названіе—не точное: это была „муза" печали и **смиренія**, внушеннаго сознаніемъ отчужденности передовыхъ, мыслящихъ людей отъ народа, ихъ численной ничтожности, чувствомъ безсилія мысли и идеала среди „вѣковой тишины", царящей „во глубинѣ Россіи" [1]). Оттуда—грустно-сиротливое или, порою, горько-безотрадное чувство соціальнаго и умственнаго одиночества,—чувство, которое, усиливаясь и осложняясь другими элементами, могло развиваться въ различныхъ направленіяхъ, напримѣръ, въ направленіи ожесточенно-пессимистическомъ, внушившемъ Некрасову вышеприведенныя горькія слова о „счастливой особенности" русской жизни „сводить человѣка съ идеальныхъ вершинъ", или же въ направленіи своеобразнаго умиленія и смиренія, вылившагося, напримѣръ, въ извѣстныхъ стихахъ:

Родина-мать! Я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился... („Саша").

Передъ нами общественно-психологическое явленіе первостепенной важности. Имъ опредѣлилась цѣлая полоса въ умственномъ, идейномъ и моральномъ развитіи передового русскаго общества, полоса, тянущаяся отъ половины 50-хъ годовъ до глухого безвременья 80-хъ включительно. На этихъ-то психологическихъ отношеніяхъ мыслящей части общества къ народу и къ „вѣковой тишинѣ", царящей „во

---

[1]) Въ печатномъ текстѣ приведеннаго въ письмѣ стихотворенія читаемъ:

Въ столицахъ шумъ, гремятъ витіи,
Кипитъ словесная война,
А тамъ, во глубинѣ Россіи,
Тамъ вѣковая тишина...

глубинѣ Россіи“, и воздвиглось зданіе русскаго народничества всѣхъ его видовъ и оттѣнковъ.

Любопытно было бы прослѣдить постепенное развитіе указанныхъ психологическихъ отношеній. Но это требуетъ обстоятельныхъ изысканій, которыя отвлекли бы насъ далеко въ сторону отъ нашей непосредственной задачи. Въ интересахъ этой послѣдней достаточно будетъ намѣтить слѣдующіе пункты.

Люди 20-хъ годовъ, за немногими исключеніями, повидимому, не знали „народнической скорби“,—и вопросъ объ отчужденности образованнаго общества отъ народной массы не стоялъ тогда на очереди. Онъ возникалъ—спорадически—въ сознаніи весьма немногихъ, исключительныхъ натуръ, какъ, напримѣръ, у Грибоѣдова, о чемъ мы говорили въ первой главѣ этого труда. Одна изъ главныхъ психологическихъ основъ народничества—это уваженіе къ народу. Грибоѣдовъ, безъ сомнѣнія, зналъ это чувство. Но огромному большинству передовыхъ людей той эпохи оно было чуждо [1]). Свойственное многимъ изъ нихъ филантропическое отношеніе къ народу отнюдь не могло быть источникомъ народническаго умонастроенія. Ни жалость, ни состраданіе, ни самая мысль о необходимости освобожденія отъ крѣпостного права, ни даже прямая работа на пользу народа не могутъ сами по себѣ породить народническихъ чувствъ и идей. Для таковыхъ необходимъ прежде всего живой интересъ къ народу, къ его быту, его психологіи, его міровоззрѣнію, а потомъ—уваженіе къ нему и сознаніе, что онъ не безформенная, стадная, сѣрая масса, а историческая сила, съ которою нужно

---

[1]) Вспомнимъ хотя бы Онѣгина.—У декабристовъ оно также почти не замѣтно. Декабристъ Горбачевскій въ позднѣйшемъ письмѣ къ кн. Е. П. Оболенскому (1862 г.), вспоминаетъ, какъ, получивъ въ наслѣдство имѣніе, онъ, тогда молодой артиллерійскій офицеръ, упорно отказывался съѣздить туда и на всѣ убѣжденія родственника-чиновника от-

считаться. Вотъ почему настоящими предшественниками народничества приходится признать не идеологовъ 20-хъ годовъ, не декабристовъ, а съ одной стороны **этнографовъ и собирателей народныхъ пѣсенъ, сказокъ и другихъ произведенiй народнаго творчества**, съ другой—**славянофиловъ**. Это переноситъ насъ въ 30-е и 40-е годы. У однихъ это было народничество наивное и чуждое идейныхъ элементовъ, у другихъ оно было болѣе сознательнымъ, болѣе идейнымъ. Народническое умонастроенiе, въ смыслѣ интереса и уваженiя къ народу и какъ бы тяготѣнiя къ нему, достигало наибольшей силы и яркости у Кирѣевскихъ, К. Аксакова и Герцена. У западниковъ, не исключая Бѣлинскаго, оно было весьма слабо или—у нѣкоторыхъ—совсѣмъ отсутствовало. Въ общемъ, можно сказать, что эпоха 30—40-хъ годовъ далеко не благопрiятствовала развитiю и распространенiю народническихъ настроенiй и идей. Намъ приходилось говорить о томъ, что въ то время на очереди стоялъ вопросъ **нацiональнаго самосознанiя** и что образованiе и

вѣчалъ, что всякая помѣщичья деревня для него отвратительна. Но наконецъ поѣхалъ—во исполненiе одной просьбы отца (валѣзть на яблоню, на которую нѣкогда лазилъ отецъ). Исполнивъ это, Горбачевскiй сказалъ собравшимся крестьянамъ: „Я васъ не зналъ и знать не хочу, вы меня не знали и не знайте, убирайтесь къ чорту!"—и уѣхалъ. Узнавъ потомъ отъ сестры, что крестьяне „поставили въ своей церкви образа Iоанна Богослова и Николая Чудотворца", въ благодарность за доставшуюся имъ землю (Горбачевскiй поясняетъ: „имя мое и брата моего", который также отказался отъ имѣнiя), онъ написалъ сестрѣ: „всегда я малороссiянъ считалъ глупцами и всегда буду ихъ таковыми почитать, и объ нихъ такъ думать..." („Русская старина" 1903, октябрь, стр. 223). — Здѣсь нельзя усматривать нацiональной антипатiи: Горбачевскiй былъ малороссъ,—и въ другомъ письмѣ („Русская старина" 1903, сентябрь, стр. 713) онъ говоритъ: „я иногда мечтаю о своей Малороссiи и тоскую по ней". Въ исторiи съ наслѣдствомъ видно только отвращенiе къ рабовладѣльческой роли помѣщика и родъ презрѣнiя къ мужику, которому, однако, какъ это видно изъ писемъ, Горбачевскiй желаетъ всѣхъ благъ.

борьба двухъ „партій“, славянофильской и западнической, знаменовали собою именно этотъ процессъ пробужденія національнаго самосознанія,—обѣ партіи одинаково являлись органами его выраженія. Не трудно видѣть, что для народническихъ настроеній и идей это служило тормазомъ, ибо народничество всѣхъ направленій и оттѣнковъ (кромѣ развѣ наивнаго и археологическаго) есть явленіе не національнаго, а общественнаго самосознанія. Народничество—это демократизмъ всѣхъ тѣхъ, кто не принадлежитъ къ народу, но уже думаетъ о немъ. Этотъ демократизмъ можетъ быть различнаго характера и достоинства,—онъ можетъ быть консервативнымъ и прогрессивнымъ, умѣреннымъ и радикальнымъ, романтическимъ и реалистическимъ и т. д., но, во всякомъ случаѣ, онъ—фактъ или симптомъ общественнаго развитія и принадлежитъ къ сферѣ междуклассовыхъ отношеній. И если въ 30—40-хъ годахъ народническія чувства и настроенія все-таки возникали и пробивались наружу, то это было не слѣдствіемъ постановки національнаго вопроса, а только однимъ изъ симптомовъ той почти стихійной демократизаціи мыслящаго общества, которая является характернымъ признакомъ нашей внутренней исторіи, нашего умственнаго развитія.

Чередъ народничества насталъ вмѣстѣ съ пробужденіемъ общественнаго сознанія во второй половинѣ 50-хъ годовъ, а его расцвѣтъ, его, такъ сказать, героическій періодъ совпалъ съ эпохою реформъ 60-хъ годовъ. Великій актъ 19-го февраля 1861 года былъ въ значительной степени продуктомъ народническихъ идей и движеній, охватившихъ въ концѣ 50-хъ годовъ передовое славянофильство и передовое радикально-демократическое западничество.

Теперь мы можемъ вернуться къ Некрасову.

Онъ былъ призваннымъ поэтомъ народническихъ чувствъ и идей. Онъ, въ противоположность, напр., Тургеневу, не

только зналъ и любилъ народъ, но и тяготѣлъ къ нему и болѣлъ душою отъ сознанія своей оторванности отъ него. Тургеневъ зналъ народъ и любилъ его—по-барски и художнически, Некрасовъ — „по человѣчеству". Тургеневъ—гуманный наблюдатель народной жизни и мужицкой психологіи, Некрасовъ—народный печальникъ. У него нѣтъ и тѣни того скептическаго и полупрезрительнаго отношенія къ мужику, какое было свойственно Тургеневу. На больную, столь подверженную хандрѣ, унынію, мизантропіи и самобичеванію, душу Некрасова чувство къ мужику, мысль о крестьянской Россіи, о народномъ горѣ дѣйствовали оздоровляющимъ образомъ и извлекали изъ нея живые поэтическіе звуки. Вспомнимъ вышеприведенное мѣсто изъ его письма къ Тургеневу (27 іюня, 1857 г,): „...сердце у меня билось какъ-то особенно при видѣ родныхъ полей и русскаго мужика..." Этотъ мотивъ разработанъ въ большомъ стихотвореніи „Тишина", относящимся къ тому же 1857 году. Поэтъ смиряется передъ народомъ, онъ готовъ раздѣлить его наивную вѣру, онъ „дѣтски умилился", и убогая деревенская церковь говоритъ его душѣ гораздо больше великолѣпнаго историческаго храма св. Петра въ Римѣ. Поэзія великихъ историческихъ воспоминаній была чужда Некрасову,—въ Римѣ онъ хандрилъ; а когда приходило вдохновеніе — онъ „пѣсни родинѣ слагалъ". Сопоставляя письмо и стихотвореніе, мы ясно различаемъ главнѣйшія психологическія основы русскаго народничества: 1) *тяготѣніе къ народу и живое чувство родины, взятой исключительно со стороны крестьянской*; 2) *смиреніе и умиленіе*; 3) наконецъ-то особое, невѣдомое Зап. Европѣ, „восточное", азіатское и русское *соціальное самочувствіе*, которое выразилось такъ энергично въ подчеркнутыхъ мною строкахъ письма, гласящихъ, что русская жизнь имѣетъ счастливую особенность сводить человѣка съ идеальныхъ вершинъ и поминутно напоминаетъ ему, какая

онъ дрянь, и т. д. Это--какое-то самозакланіе личности, смѣсь отчаянія и наслажденія отреченіемъ отъ себя, отъ личной жизни, отъ личнаго счастья, жажда утонуть въ народной стихіи, полное равнодушіе къ паденію цѣнности жизни человѣческой. Въ стихахъ поэтъ выражаетъ это мягче. Онъ указываетъ на мужика-пахаря:

Его ли горе не скребетъ?—
Онъ бодръ, онъ за сохой шагаетъ.
Безъ наслажденья онъ живетъ,
Безъ наслажденья умираетъ.
Его примѣромъ укрѣпись,
Сломившійся подъ игомъ горя!
За личнымъ счастьемъ не гонись
И Богу уступай—не споря...

Вотъ настроеніе, которое при благопріятствующихъ ему условіяхъ времени и предполагая наличность соотвѣтственныхъ элементовъ въ самой натурѣ Некрасова (къ счастью, ихъ не было), могло бы привести его прямою дорогою къ одной изъ безнадежнѣйшихъ формъ народничества или славянофильства. Русскій человѣкъ, даже не будучи ни народникомъ, ни славянофиломъ, чрезвычайно доступенъ чувствамъ и мыслямъ, которыя кратко можно выразить такъ: народъ страдаетъ — слѣдов. и я долженъ страдать; народъ безропотно переноситъ свою тяжкую долю — слѣдов. и мнѣ не подобаетъ роптать; народъ имѣетъ такія-то и такія-то вѣрованія и понятія — слѣдов. и я долженъ раздѣлять ихъ и т. д. Это смиреніе и самоотреченіе становятся еще опаснѣе, когда человѣкъ находитъ въ нихъ своеобразную радость,—родъ душевнаго успокоенія. Казалось бы, онъ уже близокъ къ отчаянію, когда подъ впечатлѣніями русской жизни, „сводящей съ идеальныхъ вершинъ“, онъ говоритъ: „сѣро, сѣро, глупо, дико, глухо и почти безнадежно“. Но въ выводѣ изъ этого, гласящемъ, что самъ онъ и все про-

чее и самая жизнь кажется „дрянью“, о которой не стоитъ много думать“, уже чуется близость нѣкотораго успокоенія или „примиренія съ дѣйствительностью“, откуда уже недалеко до „народническаго умиленія“, напр., въ такой формѣ:

Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ
И дѣтски-чистымъ чувствомъ вѣры
Внезапно на душу пахнулъ.
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья,
И шепчетъ голосъ неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди съ открытой головой!
Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!.. („Тишина“).

Въ глубокой искренности такихъ чувствъ и мыслей Некрасова сомнѣваться нельзя, хотя бы уже потому, что онъ извлекалъ изъ нихъ истинно-поэтическіе звуки. Нужно быть очень ужъ предубѣжденнымъ противъ Некрасова, чтобы не чувствовать высокой поэзіи соотвѣтственныхъ мѣстъ въ „Тишинѣ“, въ отступленіи къ поэмѣ „Саша“, въ стихотвореніи „Въ столицѣ шумъ, гремятъ витіи“ и др. Безъ всякаго сомнѣнія, эти вещи принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ русской поэтической литературы.

Любопытно отмѣтить, что указанное—„умиленное и примиренное“ — настроеніе сказывалось въ его творчествѣ гораздо ярче въ 50-хъ годахъ, чѣмъ въ послѣдующее время. Повидимому, съ начала 60-хъ годовъ оно пошло на убыль: Некрасовъ уже не находилъ въ немъ душевнаго успокоенія, и оно не вызывало въ немъ того подъема души, изъ котораго возникаетъ поэтическое творчество. Въ этомъ отношеніи знаменательно стихотвореніе „Литература съ трескучими фразами“, относящееся къ 1862 году. „Поэтъ простился съ столицами“ и „мирно живетъ средь полей“.

Но и крестьяне съ унылыми лицами
Не услаждають очей;
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное
Только досаду родитъ...

Вскорѣ эта „досада“ расширится, опредѣлится точнѣе и наконецъ претворится въ ту „гражданскую скорбь“, которою по преимуществу и прославился Некрасовъ въ эпоху 60—70-хъ годовъ. Прецедентами этой, съ общественной точки зрѣнія, важнѣйшей стороны въ поэзіи Некрасова были въ 50-хъ годахъ такія вещи, какъ „Поэтъ и гражданинъ“, „Размышленія у параднаго подъѣзда (1858), отрывокъ „Ночь. Успѣли мы всѣмъ насладиться“ и нѣк. друг.

Поэтическое достоинство „гражданскихъ“ произведеній Некрасова не одинаково. Особливо значительно оно тамъ, гдѣ поэтъ рисуетъ картины народной жизни, крестьянскаго быта и воспроизводитъ черты мужицкой психологіи, какъ напр., въ „Коробейникахъ“, въ „Морозъ-Красный носъ“, „Кому на Руси жить хорошо“. Мы не найдемъ здѣсь ясно выраженныхъ мотивовъ того „примиренія“ или „смиренія“, которыя мы отмѣтили выше, но родъ „умиленія“ все-таки замѣтенъ. Попрежнему живое чувство родины, взятой, какъ и раньше, съ ея народной, крестьянской стороны, успокаиваетъ мятущуюся душу поэта, вызывая въ ней то умиленное настроеніе, которое было у Некрасова надежнѣйшимъ источникомъ поэтическихъ вдохновеній. Въ пьесѣ „Возвращеніе“ онъ говоритъ:

И пѣсню я услышалъ въ отдаленьи.
Знакомая, она была горька:
Звучало въ ней безсильное томленье,
Безсильная и вялая тоска.
Съ той пѣсней вновь въ душѣ зашевелилось,
О чемъ давно я позабылъ мечтать... (1865).

Въ отрывкѣ „Начало поэмы“, очевидно непосредственно связанномъ съ „Возвращеніемъ“, онъ прямо указываетъ на

то, что только родныя, русскія впечатлѣнія — природы и крестьянской жизни — способны пробудить въ немъ поэтическое творчество:

Опять она, родная сторона,
Съ ея зеленымъ, благодатнымъ лѣтомъ,
И вновь душа поэзіей полна...
Да, только здѣсь могу я быть поэтомъ!

Упомянувъ затѣмъ, въ двухъ четверостишьяхъ, о томъ, что на Западѣ и въ Петербургѣ вдохновеніе не посѣщаетъ его, онъ говоритъ, что „запахъ дегтя съ сѣномъ пополамъ" „свѣжитъ и направляетъ" его мысль:

Куда бъ мечтой я ни былъ увлеченъ,
Онъ вмигъ ее къ народу возвращаетъ...
Чу! возъ скрипитъ! и т. д.

Возстановимъ въ памяти картины Некрасова изъ народной жизни, силуэты мужиковъ, бабъ, дѣтей, прочувствуемъ лиризмъ и любовь, которыми проникнуты эти произведенія,— и у насъ сама собою сложится мысль (конечно, при игнорированіи другихъ данныхъ его поэзіи), что „отрицаніе" и „гражданская скорбь" Некрасова питались только зрѣлищемъ матеріальной нужды, бѣдности народа и его умственной темноты и невѣжества. Откуда возможно было бы заключить, что при извѣстныхъ улучшеніяхъ экономическаго быта и распространеніи элементарнаго образованія въ народѣ, „муза" поэта перестала бы отрицать и скорбѣть, и самъ поэтъ съ легкимъ сердцемъ спустился бы съ „идеальныхъ вершинъ" и при этомъ уже не размышлялъ бы на тему, что онъ—дрянь и самая жизнь—дрянь и т. д., а, напротивъ, пришелъ бы къ душевному успокоенію и признанію цѣнности жизни человѣческой—при отсутствіи умственнаго и нравственнаго разлада между личностью и народною крестьяскою массой. Это была бы та самая идиллія и утопія крайнихъ народниковъ, яркіе образцы которой мы встрѣтимъ въ

нашей беллетристикѣ и публицистикѣ позже, въ 70-хъ и особенно въ 80-хъ годахъ.

Какъ извѣстно, Некрасовъ до этихъ предѣловъ не доходилъ. И тѣ стороны его поэзіи, въ которыхъ чувствуется возможность этой народнической идилліи и утопіи, уравновѣшиваются и исправляются другими сторонами, другими элементами его міросозерцанія и творчества. Въ слѣдующей главѣ мы разсмотримъ ихъ обстоятельнѣе и постараемся выяснить тѣ особенности ума и натуры Некрасова, на которыхъ они основывались, а ровно и условія, благопріятствовавшія ихъ развитію. Здѣсь укажу только, что въ этомъ случаѣ дѣло идетъ о Некрасовѣ—какъ индивидуальности и поэтѣ общечеловѣческаго идеала,—и съ тѣмъ вмѣстѣ выдвигается вопросъ объ освободительныхъ стремленіяхъ эпохи реформъ, о передовыхъ направленіяхъ 60-хъ годовъ и, въ частности, о вліяніи на Некрасова людей „добролюбовскаго“ типа вообще и прежде всего—самого Добролюбова.

ГЛАВА XIII.

Передовыя направленія 60-хъ годовъ и значеніе дѣятельности Некрасова.

I.

Передовая литература 60-хъ годовъ, публицистическая и критическая, отнюдь не была проникнута тѣмъ духомъ народническаго „смиренія“ и „умиленія“, который мы въ предыдущей главѣ отмѣтили въ поэзіи Некрасова 50-хъ годовъ.—Народолюбіе людей 60-хъ годовъ, даже въ его наиболѣе яркомъ выраженіи (напр. у Чернышевскаго и Елисеева), не доходило до слѣпого преклоненія передъ народомъ, до культа мужика, до самозакланія и жертвоприношенія личности на алтарѣ народныхъ идеаловъ. Передовые дѣятели того времени защищали интересы народа, но не раздѣляли его мнѣній, его міросозерцанія. Въ этомъ смыслѣ народолюбіе Чернышевскаго, Добролюбова и Елисеева и другихъ было не народничествомъ въ тѣсномъ значеніи этого слова, а только русскою формою общеевропейскаго, общечеловѣческаго демократизма, приспособленною къ потребностямъ и духу времени, къ особымъ условіямъ русской жизни и задачамъ внутренней политики.

Но это приспособленіе по необходимости порождало нѣкоторыя разногласія—больше по второстепеннымъ пунктамъ, чѣмъ по основному принципу—между представителями различныхъ группъ и фракцій тогдашней передовой интеллигенціи,—и вскорѣ довольно явственно выдѣлились два теченія: одно было болѣе „народническимъ“, т.-е. выдвигало

впередъ интересы, преимущественно экономическіе, народной массы, какъ земледѣльческаго класса, и не доходя до „смиренія“ и „умиленія“, основывалось на уваженіи къ народу и на нѣкоторой идеализаціи его;—другое, не склонное къ такой идеализаціи, преслѣдовало общія задачи просвѣтительнаго и освободительнаго характера и, будучи также демократическимъ, выдвигало однако на первый планъ интересы личности и идеалы интеллигенціи. Органомъ перваго направленія былъ „Современникъ“, руководимый Чернышевскимъ и хранившій завѣты Добролюбова, органами второго явились журналы Благосвѣтлова „Русское Слово“ и „Дѣло“, и во главѣ его стоялъ даровитый, блестящій Писаревъ. Раздѣленіе этихъ двухъ направленій и взаимныя отношенія ихъ представляютъ любопытный моментъ въ умственномъ и политическомъ развитіи нашего общества. Обращаясь къ ихъ посильной и бѣглой характеристикѣ, я оговорюсь сперва, что считаю ошибочнымъ опредѣлять и критиковать ихъ съ точки зрѣнія западно-европейскихъ партійныхъ дѣленій (къ тому же установившихся и выяснившихся позже), напр., усматривать въ направленіи и программѣ „Современника“ признаки „экономическаго романтизма“, и проповѣдь Писарева подводить подъ понятіе мелко-буржуазнаго радикализма и т. п. Это не были партіи въ западно-европейскомъ смыслѣ, это были только „теченія“ и „развѣтвленія“ общественной мысли, въ которыхъ отражались не интересы тѣхъ или другихъ группъ, а просто точки зрѣнія на вещи отдѣльныхъ лицъ, ихъ міросозерцаніе, ихъ умственные вкусы, симпатіи и нравственные запросы, не рѣдко являвшіеся лишь симптомами принадлежности этихъ лицъ къ извѣстному психологическому типу. Повидимому, такъ смотритъ на дѣло авторитетный въ данномъ вопросѣ писатель—г. Богучарскій, когда, съ обычною отчетливостью и ясностью формулировки, характеризуетъ эти два передовыя направленія

60-хъ годовъ такъ: „Современникъ“ вѣрилъ въ глубокія творческія силы народа, „Русское Слово“ рѣшительно въ нихъ не вѣрило и всѣ свои упованія возлагало на накопленіе въ обществѣ воспитанныхъ на естествознаніи, критически мыслящихъ личностей, которыя своимъ вліяніемъ и примѣромъ пересоздадутъ мало-по-малу всю общественную среду“. („Изъ прошлаго русскаго общества“. С.-Петерб. 1904 г.; статья „Очерки изъ исторіи русской журналистики XIX в.“, стр. 353).—Далѣе г. Богучарскій говоритъ (нѣсколько, утрируя) о „мистической вѣрѣ“ „Современника“ въ народъ и (вполнѣ правильно) о „чуждой всякой мистики молодой, свѣжей, жизнерадостной, но односторонней проповѣди Писарева (стр. 354).—Различіе двухъ направленій наглядно иллюстрируется г. Богучарскимъ указаніями на разногласія по отдѣльнымъ вопросамъ между Добролюбовымъ и Чернышевскимъ съ одной стороны и Писаревымъ съ другой. Такъ, Чернышевскій протягивалъ руку передовымъ славянофиламъ, находя у нихъ „элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія“, между тѣмъ какъ въ глазахъ Писарева „славянофилы были только сплошными донъ-кихотами“ (стр. 353). Писаревъ „прямо писалъ, что если бы онъ и Добролюбовъ поговорили полчаса наединѣ, то они навѣрно не сошлись бы ни на одномъ пунктѣ“ (тамъ же). Въ то время какъ „народники“ или, вѣрнѣе, демократы „Современника“ уважали и частью идеализировали народъ, въ особенности же вѣрили въ его творческія силы, отстаивая народныя „начала“ въ родѣ общины, Писаревъ утверждалъ, что, „проанализировавъ глубину глубинъ русской жизни,—читай: укладъ народнаго быта, его общину и т. д.,—онъ не нашелъ тамъ ничего достойнаго уваженія...“ (тамъ же).—Передъ нами—картина нѣкотораго раскола въ рядахъ передовой интеллигенціи 60-хъ годовъ. Важнѣйшія разногласія опредѣлены г. Богучарскимъ, въ существѣ дѣла, правильно, но, я думаю, необходимо нѣсколько смягчить рѣз-

кость того разграниченія, которое проводитъ даровитый публицистъ. Во-первыхъ, едва ли возможно говорить о мистической вѣрѣ „Современника“ въ народъ. Ни у Добролюбова, ни у Чернышевскаго, ни у Елисеева этой „мистики“ не было,—у нихъ было только несомнѣнное чувство уваженія къ народу, и замѣтна нѣкоторая его идеализація, а равно и нѣсколько повышенная оцѣнка такихъ устоевъ народнаго быта, какъ община и артель. Можно спорить, можно не соглашаться съ ними, напр., по вопросу о творческихъ силахъ, заключенныхъ въ „устояхъ“ народнаго быта, но нѣтъ основаній усматривать здѣсь тотъ народническій „мистицизмъ“, которымъ характеризуются заправскіе, крайніе народники славянофильской окраски, или то колѣнопреклоненіе и самоотреченіе передъ народомъ, какимъ отличались позднѣйшіе народники—радикалы. Съ послѣдними неоднократно полемизировалъ Н. К. Михайловскій, прямой преемникъ и наслѣдникъ основныхъ идей „Современника“, выяснявшій попутно истинное отношеніе къ народу своихъ предшественниковъ, чуждое какого бы то ни было идолопоклонства и „мистицизма“ [1]).

Добролюбовъ въ одной изъ тѣхъ статей, которыя упрочили за нимъ репутацію „народника“ („Черты для характеристики русскаго простонародья“, по поводу разсказовъ Марка Вовчка), отвергаетъ два противоположныхъ мнѣнія о русскомъ народѣ: одно, гласящее, что русскій человѣкъ ни на что самъ по себѣ не годится и представляетъ не болѣе, какъ нуль...“, другое, совпадающее съ тѣмъ понятіямъ, „какое имѣютъ насчетъ обезьянъ нѣкоторые простолюдины, увѣряющіе, что обезьяна все понимаетъ и говорить умѣетъ, только изъ хитрости скрываетъ свои дарованія. У насъ,

---

[1]) „Литературныя воспоминанія и современная смута“, т. II, стр. 140 и сл. (объ „Основахъ народничества“ Юзова), также стр. 163 и сл. („О народничествѣ г. В. В.“).

видите ли, что ни мужикъ, то геній; мы не учены, да намъ и науки никакой не нужно,—русскій мужикъ топоромъ больше сдѣлаетъ, чѣмъ англичане со всѣми ихъ машинами; все онъ умѣетъ и на все способенъ, да, только,—не знаю ужъ почему,—не показываетъ своихъ способностей...“ („Сочиненія Н. А. Добролюбова“, изданіе 5-е, С.-Петербургъ, 1896 г., т. III, стр. 348).—Высмѣивая оба эти взгляда, Добролюбовъ предлагаетъ читателю отбросить лежащее въ ихъ основѣ „крѣпостное воззрѣніе“ и взглянуть на мужика—какъ на такого же человѣка, какъ всѣ люди;—представить его себѣ „какъ обыкновеннаго независимаго человѣка, какъ гражданина, пользующагося всѣми правами и преимуществами свободнаго государства“.—„Если (продолжаетъ Добролюбовъ) у васъ достанетъ на это воображенія и если вы хоть немножко знаете основаніе характера и быта русскаго простонародья, то въ вашемъ воображеніи тотчасъ явится картина людей, очень хорошо и умно умѣющихъ располагать своими поступками“ (тамъ же, стр. 352).—Разбирая подробно разсказы Марка Вовчка (изъ великорусской народной жизни), Добролюбовъ отмѣчаетъ тѣ черты народнаго характера и нравовъ, которыя свидѣтельствуютъ о томъ, что мужикъ—не звѣрь, не дикарь, не уродъ, а обыкновенный человѣкъ съ хорошими задатками, и что онъ вполнѣ способенъ къ гражданскому развитію „на началахъ живыхъ и справедливыхъ“ (стр. 395).—Во всемъ этомъ еще нѣтъ ничего не только „мистическаго“, но и спеціально-народническаго. Только въ самомъ концѣ статьи находимъ, такъ сказать, выходку въ народническомъ духѣ: это именно—рѣзкое противопоставленіе „пошлаго общества“, „грошовой образованности“ правящихъ классовъ и „здоровыхъ ростковъ народной жизни. Изъ контекста однако явствуетъ, что подъ пошлымъ обществомъ съ его грошовою образованностью разумѣются здѣсь тѣ слои, которымъ чужды какіе бы то ни было идеалы и которые погрязли въ тинѣ

мелкихъ интересовъ, страстишекъ и рутины, а вовсе не передовая и мыслящая часть общества, не интеллигенція въ собственномъ смыслѣ [1]). „Не пора ли уже намъ,—заключаетъ критикъ,—отъ этихъ тощихъ и чахлыхъ выводковъ неудавшейся цивилизаціи [2]) обратиться къ свѣжимъ, здоровымъ росткамъ народной жизни [2]), помочь ихъ правильному успѣшному росту и цвѣту, предохранить отъ порчи ихъ прекрасные и обильные плоды?...“ (стр 411).

Другая „народническая“ статья Добролюбова это—„О степени участія народности въ развитіи русской литературы“, написанная по поводу „Очерковъ исторіи русской поэзіи“ А. Милюкова („Сочиненія“, изд. 5-е, т. I, стр. 463 и сл.).— Здѣсь Добролюбовъ указываетъ на численную ограниченность въ Россіи образованнаго общества, читающей публики, на которую простирается просвѣтительное дѣйствіе литературы, и напоминаетъ о народной массѣ, куда литература не проникаетъ (стр. 471—473). Оттуда—выводъ, что даже лучшіе наши писатели не могутъ похвалиться названіемъ народныхъ: „народу, къ сожалѣнію, вовсе нѣтъ дѣла до художественности Пушкина, до плѣнительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высокихъ пареній Державина и т. д. Скажемъ больше, даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа...“ (стр. 472).—Пушкинъ овладѣлъ только формой народности, содержаніе же ея осталось ему недоступно (стр. 504). Одинъ только Гоголь, въ лучшихъ своихъ созданіяхъ, „очень близко подошелъ къ народной точкѣ зрѣнія, но подошелъ безсознательно

---

[1]) „Неужели только эта грошовая „образованность“, дѣлающая изъ человѣка ученаго попугая и подставляющая ему, вмѣсто живыхъ требованій природы, рутинныя сентенціи отжившихъ авторитетовъ всякаго рода,— неужели она только будетъ всегда красоваться передъ нами въ лучшихъ произведеніяхъ нашей литературы?..“ (стр. 410).

[2]) Курсивъ мой.

просто художнической ощупью“ (стр. 514). — Вникая въ аргументацію Добролюбова, мы убѣждаемся, что подъ „народною точкою зрѣнія, подъ „содержаніемъ народности“ онъ понималъ не что иное, какъ демократическое направленіе, выдвигающее впередъ матеріальные, умственные и нравственные интересы народа и ратующее за то, чтобы народъ могъ выбиться изъ нужды и тьмы и подняться до уровня передовой части общества. Это яснѣе всего сквозитъ въ словахъ, непосредственно слѣдующихъ за только-что приведеннымъ мѣстомъ (о Гоголѣ): „Когда же ему (Гоголю) растолковали, что теперь ему надо итти дальше и уже всѣ вопросы жизни пересмотрѣть съ той же народной точки зрѣнія, оставивши всякую абстракцію и всякіе предразсудки, съ дѣтства привитые къ нему ложнымъ образованіемъ, тогда Гоголь испугался: народность представилась ему бездною, отъ которой надобно отбѣжать поскорѣе, и онъ отбѣжалъ отъ нея и предался отвлеченнѣйшему изъ занятій—идеальному самоусовершенствованію“ (стр. 514).

Не трудно видѣть, что это—вовсе не „мистическое“ или иное народничество, а обыкновенная форма нашего традиціоннаго демократизма, которая, въ 60-хъ годахъ и позже, была общею основой всѣхъ передовыхъ направленій у насъ, въ томъ числѣ и Писаревскаго,—почвою, въ которой всѣ они коренились,—одни крѣпче, другія слабѣе. Расходились же они не корнями, а вѣтвями. Это было развѣтвленіе интеллигенціи и ея освободительнаго демократическаго движенія, отразившее на себѣ не столько различія идеаловъ и программъ, сколько различія общественно-психологическихъ типовъ, натуръ, умственныхъ вкусовъ, моральныхъ запросовъ.—Что же касается народничества въ собственномъ, тѣсномъ смыслѣ, то, конечно, оно также было движеніемъ демократическимъ, но едва ли его можно назвать освободительнымъ.

2.

Писаревъ былъ апостоломъ идеи личности, ея эмансипаціи, ея моральной автономіи и гражданскаго развитія. Но эта самая идея была одною изъ основныхъ, излюбленныхъ, завѣтныхъ мыслей Добролюбова, и въ его литературномъ наслѣдіи ея развитіе занимаетъ первенствующее мѣсто. Ее проводитъ онъ въ статьяхъ о „Темномъ царствѣ", о „Забитыхъ людяхъ", о воспитаніи, о Станкевичѣ. Она, можно сказать, составляла „паѳосъ" его идеологіи и была центральною мыслью его публицистики. Мало того: тѣсно связанная съ его личною жизнью, она была имъ выстрадана, а не вычитана [1]). Различіе между Добролюбовымъ и Писаревымъ, въ отношеніи къ постановкѣ идеи личности, сводилось къ тому, что первый стремился подчинять ее требованіямъ общаго блага и служенія демократическому идеалу, и вмѣстѣ съ тѣмъ она получала у него, такъ сказать, „стоическую" окраску, между тѣмъ какъ второй не обнаруживалъ особыхъ заботъ о такомъ подчиненіи, и „окраска" идеи личности была у него „эпикурейская".—Здѣсь наглядно обнаруживалось различіе между Добролюбовымъ и Писаревымъ—какъ представителями извѣстныхъ общественно-психологическихъ типовъ. Добролюбовъ былъ „разночинецъ" духовнаго происхожденія, Писаревъ—дворянинъ изъ помѣщичьей среды.

Д. И. Писаревъ, по укладу своей натуры, представляетъ, рядомъ съ „добролюбовскимъ" типомъ, высокій интересъ, какъ общественный, такъ и психологическій. Я уже указалъ на то, что въ его лицѣ мы встрѣчаемся съ особой

---

[1]) Я старался показать это въ этюдѣ о Добролюбовѣ, печатающемся въ „Южныхъ Запискахъ" (Одесса). См. въ особенности главу V („Юж. Зап." 1905 г., № 11).

разновидностью, которой Н. К. Михайловскій, самъ принадлежавшій къ ней, далъ названіе „кающихся дворянъ“ [1].

„Кающіеся дворяне“ не составляли особой группы или „партіи“ и не выработали своей „программы“. Они входили въ составъ различныхъ группъ, примыкали къ существовавшимъ передовымъ направленіямъ общественной мысли — либеральному, радикальному, народническому, только внося сюда свою душевную складку, свои умственные вкусы и предпочтенія, а также особую, свойственную имъ постановку моральнаго вопроса объ отвѣтственности передъ народомъ, объ „уплатѣ“ народу вѣками накопившагося „долга“. Дѣятели, вышедшіе изъ народной массы или изъ слоевъ, близкихъ къ ней (духовенства, мѣщанства), конечно, не могли всецѣло раздѣлять и переживать этихъ — спеціально дворянскихъ, помѣщичьихъ — „благородныхъ чувствъ“, и ихъ народолюбіе не осложнялось „покаяніемъ“. Объ одномъ изъ наиболѣе яркихъ представителей этого типа, Г. З. Елисеевѣ, Михайловскій писалъ, что „ему не было надобности такъ или иначе опредѣлять свои отношенія къ толпѣ, къ народу,—онъ былъ самъ народъ...“ („Литер. восп. и соврем. смута“, т. I, стр. 504).

Смотря по индивидуальнымъ особенностямъ человѣка, это „дворянское покаяніе“ у разныхъ лицъ выражалось различно: у однихъ оно принимало болѣе или менѣе „трагическую“ форму, у другихъ проявлялось иначе. Писаревъ, по основному укладу своей натуры, былъ человѣкъ всего менѣе „трагическій“ и, несмотря на нѣкоторую, кажется, наслѣдственную невропатію, являлъ, со стороны психологической, картину рѣдкой уравновѣшенности натуры, цѣльности и завидной жизнерадостности. Оттуда у него,—столь рѣдкая у насъ, — способность ставить и рѣшать вопросы

[1]) См. извѣстные полубеллетристическіе очерки „Въ перемежку“, а также „Литературныя воспоминанія и современная смута“, т. I, стр. 139 и сл.

личнаго моральнаго сознанія, — не мудрствуя, не растравляя душевныхъ ранъ — просто ясно, спокойно и весело. Такъ рѣшалъ онъ и вопросъ о „покаяніи“ и „долгѣ народу“. Ни душевныхъ мукъ, ни тяжелаго раздумья, ни сомнѣній, ни обольщеній, — ничего, чѣмъ мучились, надъ чѣмъ бились другіе „кающіеся дворяне“, мы не видимъ у него. Зато видимъ болѣе или менѣе ясные слѣды несознаннаго, непроизвольнаго дворянскаго отношенія къ народу, въ первые годы его литературной дѣятельности проявлявшагося наивнѣе, позже затушеваннаго идеологіей „мыслящаго реализма“. Въ одной изъ раннихъ статей (1861 г.) онъ подымаетъ вопросъ о народѣ, о народномъ образованіи, объ обязанностяхъ общества заняться воспитаніемъ массъ („Народныя книжки“. „Сочиненія Д. И. Писарева“, С.-Петерб., 1894, т. I).—Въ противоположность взгляду Добролюбова, что мужикъ — такой же человѣкъ, какъ и мы, онъ рѣзко отмѣчаетъ глубокую пропасть, отдѣляющую образованное общество отъ народа, говоритъ, что „исторія разлучила насъ съ нимъ гораздо ранѣе Петра“ (стр. 242), что народъ не любитъ насъ и не вѣритъ намъ, а мы скорѣе только воображаемъ, что любимъ его, и т. д. (242). Тѣмъ не менѣе общество „начинаетъ сознавать, что на немъ лежитъ обязанность—дѣлиться съ народомъ знаніями и идеями“ (237), — и „великой задачей нашего времени становится умственная эмансипація массъ, черезъ которую предвидится имъ исходъ къ лучшему положенію не только ихъ самихъ, но и всего общества“ (237). Слѣдовательно, само общество заинтересовано въ этомъ дѣлѣ,—это значитъ, что вопросъ изъ сферы моральной переносится на почву общественную, политическую.—Отмѣтимъ кстати любопытное совпаденіе: ту же мысль, только нѣсколько иначе, высказывалъ Салтыковъ, также представитель типа „кающихся дворянъ“, — совпаденіе, тѣмъ болѣе знаменательное, что, какъ извѣстно, Салтыковъ и Писаревъ расходились во многомъ и даже

питали другъ къ другу родъ антипатіи [1]). Моральная же сторона дѣла сказалась въ слѣдующихъ строкахъ Писарева: „Доселѣ мы искали только однихъ правъ и расширенія произвола въ отношеніи массы, но не хотѣли знать, что, кромѣ правъ, есть и обязанности съ нашей стороны" (стр. 243).— Дворянская, помѣщичья окраска этого „покаянія" — ясна. Она же обнаруживается и въ томъ, что говоритъ Писаревъ о призваніи образованнаго меньшинства — воспитывать народъ, который трактуется, какъ объектъ воспитанія. Тутъ между прочимъ читаемъ: „есть такія народныя вѣрованія и предразсудки, которые невозможно затрогивать грубо и неосторожно; ихъ надо разрушать исподволь, надо вести народное развитіе, не касаясь ихъ прямо и представляя ихъ устраненіе времени и здравому смыслу... Стало быть, надо дѣйствовать педагогически, т.-е. приноравливать свое изложеніе къ понятіямъ слушателя и не сходить съ его точки зрѣнія..." (243).—Въ совершенномъ согласіи съ такой постановкой вопроса находится та черта, что въ статьѣ остались нераздѣльными двѣ задачи, по существу различныя: 1) обученіе крестьянскихъ дѣтей и 2) образованіе взрослыхъ крестьянъ. Повидимому, Писаревъ имѣетъ въ виду преимущественно послѣднихъ и трактуетъ ихъ, какъ младенцевъ и недорослей. Отмѣтимъ еще то предпочтеніе, которое отдаетъ Писаревъ выраженію „воспитаніе", вмѣсто „образованія". Что интеллигенція должна, по мѣрѣ силъ и воз-

[1]) Соотвѣтственное мѣсто у Салтыкова приведено Михайловскимъ (въ противовѣсъ точкѣ зрѣнія Елисеева) и гласитъ такъ: „... только тѣ политическіе и общественные акты получили дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу. Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгоистическій расчетъ, ибо, какъ бы мы ни были развиты и обезпечены, мы все-таки до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что насъ окружаетъ, не придетъ хоть въ нѣкоторое равновѣсіе съ нами относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія". — См. Михайловскаго „Литер. восп. и соврем. смута", т. I, стр. 505.

можности, содѣйствовать образованію народа, это не подлежитъ спору. Но утверждать, что она должна „воспитывать“ народъ,—это значитъ стоять не на демократической, а на барской точкѣ зрѣнія.

Къ тому же вопросу—о воспитательномъ воздѣйствіи общества на народъ—обращается Писаревъ и въ статьѣ „Схоластика XIX вѣка“ (т. I, стр. 331 и сл.), гдѣ, между прочимъ, проводится такая мысль: наша передовая литература, въ особенности журналистика, не можетъ дѣйствовать на народъ непосредственно, потому что послѣдній не подготовленъ къ тому. Но очень важно и желательно было бы, чтобы народъ по крайней мѣрѣ почувствовалъ, что въ отношеніяхъ къ нему общества произошла перемѣна къ лучшему и „съ ними обращаются господа [1]) какъ-то не попрежнему, а какъ-то серьезнѣе и мягче, любовнѣе и ровнѣе“ (стр. 337). А для этого нужно, чтобы „наше провинціальное дворянство и мелкое чиновничество перестало быть тѣмъ, что оно теперь. Гуманизировать это сословіе—дѣло литературы и преимущественно журналистики“ (337).—Это „среднее сословіе“ и призвано явиться проводникомъ знаній и гуманныхъ идей въ массу,—оно „можетъ сдѣлаться посредникомъ между передовыми дѣятелями русской мысли и нашими младшими братьями—мужиками...“ (337). — Ничего страннаго или нераціональнаго въ этой мысли нѣтъ, и можно, съ нѣкоторыми лишь оговорками, сказать, что послѣдующая исторія ее оправдала. Но насъ интересуетъ здѣсь, для характеристики точки зрѣнія Писарева, та опять-таки „педагогическая замашка“ (если можно такъ выразиться), которая проглядываетъ во всемъ разсужденіи и ярче обнаружилась въ слѣдующемъ: перемѣна въ отношеніяхъ общества къ народу и обращеніи съ нимъ „не укрылась бы отъ его вниманія и измѣнила бы его нечувствительно для него

---

[1]) Курсивъ Писарева.

самого. Чѣмъ болѣе вы будете обращаться съ мальчикомъ, какъ съ джентльменомъ, тѣмъ скорѣе онъ дѣйствительно превратится въ джентльмена—это основное положеніе американской педагогики, и это положеніе можетъ быть примѣнено къ дѣлу вездѣ, гдѣ эмансипація идетъ не снизу вверхъ, а сверху внизъ" (337).—Опять сопоставленіе мужика съ ребенкомъ, опять „педагогія"...

Е. А. Соловьевъ въ біографіи Писарева, живо и талантливо написанной, справедливо говоритъ, что „народомъ Писаревъ занимался сравнительно мало" („Д. И. Писаревъ, его жизнь и литературная дѣятельность", С.-Петерб., 1893 г. стр. 119).—Этотъ фактъ выступитъ въ особомъ освѣщеніи, если сравнить его съ противоположною чертою литературной дѣятельности Чернышевскаго и Елисеева. Вспомнимъ статьи Чернышевскаго по вопросамъ общиннаго землевладѣнія и другимъ, подымавшимся крестьянскою реформою, наконецъ, его политико-экономическіе труды. Что касается Елисеева, то, кромѣ его статей, напомню здѣсь то, что говоритъ о немъ Михайловскій въ очеркѣ, ему посвященномъ: „Я не знаю писателя, который имѣлъ бы большее право на титулъ настоящаго, кровнаго демократа, чѣмъ Елисеевъ. Онъ отнюдь не былъ народникомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ у насъ потомъ утвердилось это слово, хотя народники и многому у него научились. Онъ не питалъ народническихъ иллюзій, и демократизмъ былъ въ немъ не дѣломъ только принциповъ и убѣжденій, а самымъ инстинктомъ. Онъ былъ... какъ бы самъ народъ, собственными усиліями пробившійся къ свѣту и достигшій верховъ самосознанія" („Литер. воспом. и соврем. смуты", т. I, стр. 504). Какъ характерную особенность публицистической работы Елисеева, Михайловскій отмѣчаетъ то, что въ ней центральнымъ пунктомъ былъ мужикъ,—и, разбирая то или иное явленіе жизни, Елисеевъ ставилъ прежде всего вопросъ: какъ отразится оно на мужикѣ? (тамъ же).

3.

Выше я указалъ на то, что Писаревъ, какъ психологическій типъ, былъ, въ противоположность „стоику“ Добролюбову, „эпикуреецъ. Нижеслѣдующее покажетъ, въ какомъ смыслѣ нужно понимать этотъ терминъ: дѣло идетъ отнюдь не объ эпикурействѣ житейскомъ (въ этомъ отношеніи Писаревъ скорѣе былъ „стоикъ“), а объ эпикурействѣ интеллектуальномъ, о наслажденіи развитіемъ“, о тѣхъ радостяхъ мысли, которыя даются освобожденіемъ ума отъ стараго міровоззрѣнія и пріобрѣтеніемъ новаго, широкаго и прогрессивнаго, наконецъ—самимъ процессомъ умственнаго труда.

Общее впечатлѣніе, которое мы выносимъ, читая Писарева, осѣдаетъ въ насъ въ видѣ чего-то свѣтлаго, искрящагося, бодраго, радостнаго и счастливаго. Передъ нами человѣкъ, чуждый скорбей и мрачныхъ мыслей и явно наслаждающійся своей работой,—тѣми „радостями мысли и воли“, о которыхъ говоритъ Добролюбовъ въ одномъ изъ своихъ писемъ [1]). Но у суроваго, сосредоточеннаго, сдержаннаго Добролюбова эти умственныя и моральныя радости не прорываются наружу, не выдаютъ себя; у Писарева онѣ такъ и брызжутъ, сказываясь въ самомъ стилѣ, въ манерѣ письма. Любая мысль у него окрашена тѣмъ наслажденіемъ, съ которымъ онъ ее мыслилъ и излагалъ. Это не столько „радости творчества“, сколько просто мозговое наслажденіе, испытываемое здоровою головою при нормальномъ ходѣ умственной работы. По всему видно, что ему пріятно и весело думать свои думы, развивать свою мысль и излагать ее такъ, чтобы другимъ было столь же пріятно и весело читать и усваивать его писанія. Самое „производство“

[1]) Къ Лаврскому (отъ 3 авг. 1856 г.). См. „Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова“, стр. 323.

мысли, выработка идей достается ему легко и обходится дешево. Онъ—не Бѣлинскій, у котораго выработка міросозерцанія была сопряжена съ цѣлой трагедіей умственныхъ и нравственныхъ томленій, сомнѣній, душевныхъ кризисовъ. Онъ—не Добролюбовъ, который къ „радостямъ мысли и воли" шелъ тернистымъ путемъ внутренней борьбы и ломки, яркую картину которой мы находимъ въ его письмахъ. Писаревъ не выстрадалъ свое міросозерцаніе,—оно, такъ сказать, само пришло къ нему и озарило его умъ и душу, подобно тому какъ лучъ солнца, упавъ въ широко раскрытые, наивно-любопытные глаза ребенка, озаряетъ милое личико свѣтомъ и радостью жизни.

Писаревъ не столько „творилъ", сколько усваивалъ, воспринималъ. Отъ стараго міросозерцанія къ новому онъ перешелъ быстро и легко. Этому способствовали, съ одной стороны, качества его ума, необыкновенно воспріимчиваго, но не глубокаго, а съ другой—особенности самой натуры его. На эти особенности указываетъ онъ самъ въ одномъ изъ писемъ къ матери (изъ тюрьмы), гдѣ онъ опредѣляетъ различіе между нимъ и Добролюбовымъ: „Разница между мной и Добролюбовымъ объясняется въ двухъ словахъ. Добролюбовъ былъ энтузіастъ и считалъ нѣкоторую долю энтузіазма необходимой для каждаго честнаго человѣка, а я *глубоко ненавижу и презираю всякій энтузіазмъ; онъ противенъ всей моей природѣ, и я считаю его всегда вредною нелѣпостью*"... [1]). Повидимому, здѣсь подъ „энтузіазмомъ" нужно понимать, если не фанатизмъ, то излишнюю страстность гражданскихъ чувствъ вообще и протеста въ частности. Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что фанатизмъ былъ органически чуждъ натурѣ Писарева и долженъ былъ казаться ему нелѣпостью. Но не только фанатизмъ, а даже обыкновенныя, свойствен-

[1]) Курсивъ мой.

ныя не однимъ фанатикамъ, партiйныя и идейныя страсти (напр., политическiя, религiозныя) претили ему, потому что онѣ суживаютъ горизонтъ человѣка, затемняютъ ясность его ума и ограничиваютъ его внутреннюю свободу. Мало того: Писаревъ протестуетъ не только противъ психологическаго гнета страстей, но и противъ власти или порывовъ чувствъ: „Добролюбовъ"—продолжаетъ онъ—думалъ, что жизнь можетъ обновиться порывами чувствъ, а я убѣжденъ, что она обновляется только работою мысли" [1]). Здѣсь, во-первыхъ, нельзя не видѣть столь характерной для „эпикурейцевъ ума" склонности преувеличивать значенiе работы мысли, какъ освободительной и движущей силы, въ ряду другихъ силъ, творящихъ прогрессъ, обновляющихъ жизнь. А кромѣ того, въ этихъ строкахъ сквозитъ родъ психологической реакцiи, свойственной натурамъ, которыя очень и очень доступны порывамъ чувствъ. Къ такой реакцiи приводитъ людей несознанное, непроизвольное стремленiе къ психическому самосохраненiю. Человѣкъ инстинктивно обороняется (если можно такъ выразиться) отъ наплыва чувствъ вообще или опредѣленнаго чувства въ частности, потому что какой-то внутреннiй голосъ говоритъ ему, что—дай онъ волю имъ—его душевный миръ нарушится, а пожалуй и весь строй души будетъ потрясенъ. Писаревъ на личномъ опытѣ убѣдился, что для него порывы чувствъ опасны. Я имѣю въ виду его трагическую любовь къ кузинѣ, приведшую его къ психозу. Онъ зналъ, какъ чувства порабощаютъ и разъѣдаютъ душу, и ополчился противъ нихъ, все равно, каковы бы они ни были, любовныя или гражданскiя... Извѣстно, что Спиноза отрицалъ чувство жалости—какъ разслабляющее душу, подкашивающее ея энергiю. Я думаю, что главнымъ, вѣроятно, безсознательнымъ, основанiемъ этого отрицанiя была у него

[1]) Курсивъ мой

именно психическая реакція противъ чувства, власти котораго онъ былъ слишкомъ доступенъ. Можно наблюдать, какъ люди, у которыхъ очень чутко и болѣзненно-живо чувство негодованія, инстинктивно избѣгаютъ лишнихъ поводовъ—негодовать. Писаревъ, несомнѣнно, былъ тонко и сложно организованная натура, съ богато развитою чувствующею сферою,—и онъ инстинктивно избѣгалъ порывовъ чувства, боялся ихъ капризной власти и отдавалъ рѣшительное предпочтеніе власти мысли: онъ зналъ по опыту, какъ оздоровляетъ, какъ „собираетъ" душу работа ума и какъ привольно и свободно душѣ подъ властью мысли... Приведемъ и еще одну цитату изъ того же письма: „Добролюбовъ почти не имѣлъ понятія объ естественныхъ наукахъ, а я считаю ихъ краеугольнымъ камнемъ здороваго умственнаго развитія и всякаго человѣческаго прогресса" [1]). Помимо увлеченія естествознаніемъ, въ ту эпоху широко распространеннаго и въ Зап. Европѣ, и у насъ, я вижу здѣсь прямое логическое слѣдствіе того культа мысли, которому былъ преданъ Писаревъ: если придавать работѣ мысли первенствующее значеніе въ прогрессѣ человѣчества, то, конечно, нужно отдать рѣшительное предпочтеніе мысли научной, а эта послѣдняя достигла своего совершеннѣйшаго выраженія и дала свои наилучшіе плоды въ естествознаніи.

Не лишнимъ будетъ отмѣтить здѣсь мимоходомъ, что характеристика Добролюбова, сдѣланная Писаревымъ, не можетъ считаться правильною. Она скорѣе подходила бы къ Бѣлинскому, который дѣйствительно былъ энтузіастомъ какъ въ обычномъ значеніи этого слова, такъ и въ томъ спеціальномъ смыслѣ, въ какомъ, повидимому, разумѣетъ его Писаревъ. Бѣлинскій былъ далеко не чуждъ

---

[1]) Письмо это приведено Е. А. Соловьевымъ на стр. 111 біограф. очерка „Д. И. Писаревъ", откуда я и взялъ вои цитаты.

политическихъ страстей, страстнаго негодованія и, частью, фанатизма. Нельзя также утверждать, что Добролюбовъ приписывалъ „порывамъ чувства" то значеніе, на которое указываетъ Писаревъ. Добролюбовъ только шире смотрѣлъ на жизнь и хорошо понималъ, что она обновляется не одною лишь работою мысли, но и другими силами, въ ряду которыхъ имѣютъ свое мѣсто и „порывы чувства". Самъ же Добролюбовъ, какъ умъ и натура, былъ именно человѣкъ мысли по преимуществу. Такимъ онъ былъ и въ личной жизни, и въ литературной дѣятельности, являя въ этомъ отношеніи прямую противоположность энтузіасту Бѣлинскому, „неистовому Виссаріону", и отчасти сходясь съ Писаревымъ. Но Добролюбовъ былъ натура гораздо болѣе глубокая, чѣмъ Писаревъ, и, кромѣ того, принадлежалъ къ другому общественно-психологическому укладу. Радости мысли были доступны ему не меньше, чѣмъ Писареву, и онъ цѣнилъ ихъ столь же высоко, но переживалъ онъ ихъ не какъ „эпикуреецъ", а какъ „стоикъ".

4.

Умственное „эпикурейство" Писарева, безъ сомнѣнія имѣло свои устои въ его классовой психологіи. Онъ родился, выросъ и воспитался въ одномъ изъ культурныхъ дворянскихъ гнѣздъ, гдѣ издавна прививались умственные вкусы и интересы. Его дѣтство протекло въ 40-хъ годахъ (онъ родился въ 1840-мъ), въ дворянской усадьбѣ, въ старинномъ барскомъ домѣ, въ тѣнистыхъ аллеяхъ стараго сада,—въ той обстановкѣ, которую такъ умѣлъ поэтизировать Тургеневъ.—Не будетъ парадоксомъ сказать, что Писаревъ, этотъ типичный человѣкъ 60-хъ годовъ, „разрушитель" эстетики, „развѣнчавшій" Пушкина и Бѣлинскаго, позитивистъ и матеріалистъ, былъ, въ сущности, истымъ воспитанникомъ и эпигономъ людей 40-хъ годовъ, на-

слѣдникомъ ихъ философскаго и научнаго диллетантизма, ихъ эстетическихъ наклонностей, ихъ „эпикурейства“. Замѣна Гегеля Огюстомъ Контомъ большого значенія въ данномъ случаѣ не имѣетъ: книги мѣнялись, направленія чередовались, а психологическій типъ, въ его основныхъ чертахъ, сохранялся, видоизмѣняясь въ подробностяхъ, сообразно духу времени, новымъ условіямъ и задачамъ жизни, перемѣнѣ въ соціальномъ положеніи класса. Писаревъ, конечно, не человѣкъ 40-хъ годовъ, но онъ—прямой наслѣдникъ той умственной и вообще психической складки, которая выработалась въ культурныхъ дворянскихъ гнѣздахъ 40-хъ годовъ,—и поэтому, при всемъ его антагонизмѣ въ отношеніи къ „отцамъ“, у него нѣтъ и слѣда той почти органической антипатіи къ нимъ, какая замѣтна у Добролюбова. Разладъ Писарева съ людьми 40-хъ годовъ это—ссора между своими, между дѣтьми и отцами, и онъ въ этомъ смыслѣ скорѣе напоминаетъ Аркадія Кирсанова, чѣмъ Базарова. Къ послѣднему гораздо ближе стоитъ Добролюбовъ, котораго, какъ можно думать, отчасти и имѣлъ въ виду Тургеневъ, когда писалъ грандіозную фигуру героя „Отцовъ и дѣтей“.—На примѣрѣ Писарева и другихъ представителей того же общественно-психологическаго типа, выступившихъ въ 60-хъ годахъ, можно прослѣдить ту нить, которая „кающихся дворянъ“ 50-хъ и 60-хъ годовъ соединяла съ людьми 40-хъ. Различія въ міросозерцаніи, противорѣчія лозунговъ, формулъ и словъ не нарушаютъ единства типа въ его основныхъ чертахъ.

Это единство типа или стойкость его основныхъ чертъ обнаруживается въ извѣстныхъ предрасположеніяхъ, вкусахъ, умственныхъ наклонностяхъ. Сюда, между прочимъ, нужно отнести прирожденный эстетизмъ Писарева. „Разрушитель“ эстетики самъ былъ натурою эстетическою. Протестъ противъ эстетики (кстати сказать, за вычетомъ крайностей и явныхъ недоразумѣній, весьма раціональный) и

пресловутое „развѣнчаніе“ Пушкина были, такъ сказать возстаніемъ противъ себя самого, родомъ самоотреченія. Въ началѣ своей литературной дѣятельности Писаревъ, мало интересуясь общественными вопросами, выступалъ скорѣе, какъ поборникъ „чистаго искусства“ и „красоты“. Да и всею своею личностью, между прочимъ и съ внѣшней стороны, онъ являлъ видъ „джентльмена“, барича и эстета, и ничего общаго у него не было съ тѣми „нигилистами“, которые потомъ зачитывались его статьями. Изящную внѣшность и соотвѣтственныя манеры и привычки онъ сохранялъ до конца жизни. Внѣшность отвѣчала внутреннему строю его души: Писаревъ былъ несомнѣнно человѣкъ душевно-изящный. Въ немъ привлекаютъ и очаровываютъ насъ не столько высокія качества души, которыя могутъ сочетаться съ извѣстною рѣзкостью и суровостью, даже своего рода грубоватостью (вспомнимъ Салтыкова), сколько именно изящество ума, блестящаго, но не глубокаго, и красота души, чистой и ясной, чуждой какой бы то ни было грубости и жесткости,—души открытой, правдивой и, можно сказать, дѣтски наивной. Такимъ отражается онъ, словно въ зеркалѣ, въ своихъ сочиненіяхъ и письмахъ. Е. А. Соловьевъ мѣтко и вѣрно характеризуетъ его такъ: „Въ дѣтствѣ Писарева звали „хрустальной коробочкой“. Онъ не умѣлъ скрывать ничего, что было у него на душѣ, не умѣлъ утаивать ни мысли, ни чувства. Такимъ остался онъ на всю жизнь, такимъ является онъ намъ въ своихъ статьяхъ. Это правдивый, въ высшемъ смыслѣ этого слова, писатель, который даже ради благородныхъ цѣлей не согласился бы покривить душой“ („Д. И. Писаревъ“, стр. 57).—Его ошибки, въ ряду которыхъ важнѣйшая—„критика“ Пушкина, были заблужденія правдиваго ума, ищущаго истины, были увлеченіемъ, вызваннымъ духомъ времени, и имѣли въ нашей литературѣ свои прецеденты. Есть указаніе, что позже онъ понялъ и созналъ свою ошиб-

ку. И можно утверждать съ полною увѣренностью, что проживи онъ дольше, онъ взялъ бы назадъ свои сужденія, о Пушкинѣ и открыто призналъ былъ всю ихъ несостоятельность.

Если спросить, въ чемъ состояла главная, излюбленная мысль Писарева, отъ которой онъ не могъ бы отказаться никогда (кромѣ, разумѣется, крайностей, утрировокъ), то придется отвѣтить такъ: это была мысль объ интеллектуальномъ прогрессѣ человѣчества и, въ тѣсной связи съ нею, о необходимости популяризаціи знанія, демократизаціи науки. Е. А. Соловьевъ совершенно правильно называетъ эту идею „задушевною мыслью" Писарева („Д. И. Писаревъ", стр. 82) и говоритъ, что „если есть умственный аристократизмъ, то міросозерцаніе Писарева... можетъ быть названо умственнымъ демократизмомъ" (стр. 83).—Писаревъ былъ прирожденный популяризаторъ и въ своихъ научно-популярныхъ статьяхъ далъ блестящіе образцы этого рода литературы. Если о чемъ-либо писалъ онъ съ „энтузіазмомъ", то это именно на тему о необходимости популяризаціи науки, о томъ, что наука—не монополія ученой касты и диллетантовъ мысли, что она, въ хорошемъ изложеніи, можетъ быть доступна всѣмъ,—и сюда-то и должны быть направлены усилія друзей прогресса и человѣчества.—Развивая эту мысль, онъ, какъ извѣстно, доходилъ до крайностей, когда, наприм., предлагалъ Салтыкову бросить „цвѣты невиннаго юмора" и заняться составленіемъ популярныхъ книжекъ по естествознанію. Оставляя въ сторонѣ такія преувеличенія, противъ самой идеи, разумѣется, ничего возразить нельзя. Но для насъ важно отмѣтить другое: какъ проповѣдникъ „умственнаго демократизма" и необходимости популяризаціи знанія, Писаревъ былъ не только типичнымъ представителемъ своей эпохи, но и законнымъ наслѣдникомъ умственнаго движенія 40—50-хъ годовъ.

Вспомнимъ, что передовые писатели 40-хъ годовъ были также популяризаторами: они умудрились сдѣлать доступною читающей публикѣ даже такую головоломную вещь, какъ философія Гегеля. Лучшіе журналы того времени изобиловали популярными статьями по различнымъ отдѣламъ знанія. Правда, люди 40-хъ годовъ всего болѣе интересовались и увлекались вопросами философіи, религіи, эстетики. Но эти увлеченія (въ особенности системою Гегеля) были, хотя и въ высокой степени характернымъ для нихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и преходящимъ моментомъ. Уже въ концѣ 40-хъ годовъ философскія увлеченія начинаютъ ослабѣвать, и впослѣдствіи Герценъ, Тургеневъ и др. съ ироническою улыбкою вспоминали въ своихъ былыхъ „прегрѣшеніяхъ“ по части гегеліанской гимнастики ума. Переходъ отъ идеалистической метафизики къ матеріализму и позитивизму былъ неизбѣженъ и—вовсе не такъ труденъ. Мы должны были сдѣлать этотъ шагъ, какъ сдѣлала его, въ свое время, мыслящая Европа. Лѣвое гегеліанство и Фейербахъ, потомъ Фохтъ и Молешотъ, нѣсколько позже Ог. Контъ,—какъ „властители думъ“ мыслящихъ поколѣній у насъ—овладѣвали нами съ историческою и, пожалуй, даже съ логическою необходимостью. Въ этомъ смыслѣ отнюдь не было пропасти между людьми 40-хъ годовъ и людьми 60-хъ, а было преемство философскихъ увлеченій и научныхъ интересовъ, наглядно проявлявшееся въ такихъ фактахъ, какъ, напр., гегеліанство Чернышевскаго, еще ярче въ замѣчательной философской работѣ П. Л. Лаврова, начавшаго идеалистическою матафизикою и затѣмъ послѣдовательно перешедшаго къ матеріализму и позитивизму.

Движеніе философской мысли въ этомъ направленіи было, разумѣется, тѣсно связано съ растущимъ интересомъ къ положительной наукѣ вообще, къ естествознанію въ частности. И вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ въ свое время несо-

мнѣнно шагъ впередъ въ дѣлѣ демократизаціи научной и философской мысли. Проповѣдь Писарева явилась только однимъ изъ яркихъ выраженій этого процесса.

Въ природѣ высшей познавательной мысли, философской и научной, заключено нѣкоторое противорѣчіе, впрочемъ, больше кажущееся, чѣмъ дѣйствительное. Съ одной стороны, сложный и трудный процессъ познанія, требующій спеціальной подготовки и особыхъ дарованій, представляется чѣмъ-то недоступнымъ большинству, какою-то монополіей „избранниковъ", людей особенныхъ, которые тѣмъ успѣшнѣе исполняютъ свою миссію, чѣмъ болѣе они „не отъ міра сего". Съ другой стороны, исторія мысли ясно показываетъ намъ, что съ ея развитіемъ и общимъ прогрессомъ человѣчества, пропасть, отдѣлявшая нѣкогда „жрецовъ" науки и философіи отъ прочихъ смертныхъ, отъ „профановъ", все суживалась и наконецъ совсѣмъ исчезла. Наука и философія перестали быть кастовою монополіей и сдѣлались общимъ достояніемъ, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что ихъ результаты доступны всякому, кто только получилъ извѣстное общее образованіе и способенъ заинтересоваться тѣмъ, что дѣлается въ мірѣ высшей мысли. Школа, популярная литература, публичныя чтенія, журналы, энциклопедическія изданія демократизировали науку и философію или, говоря точнѣе, явились только органами, дѣятельностью которыхъ обнаружился и сталъ осуществляться присущій самой природѣ науки и философіи демократизмъ высшаго порядка. И оказалось, что „аристократизмъ" или кастовый характеръ высшей мысли вовсе не былъ ея прирожденнымъ свойствомъ, а явился только временнымъ порожденіемъ общаго аристократическаго строя жизни. Демократизація этого строя обнаружила и прирожденный демократизмъ мысли. Величайшій демократъ—это разумъ человѣческій, какъ онъ же и величайшій „революціонеръ", только „мирный". Внутреннее психо-

логическое родство между демократизмомъ и познавательною дѣятельностью мысли, часто не сознаваемое, сказывается въ различныхъ проявленіяхъ и фактахъ, разсматривать которые было бы здѣсь затруднительно и отвлекло бы насъ въ сторону отъ нашей темы. Ограничусь по этому указаніемъ только на слѣдующее: 1) Прирожденные враги разума и его прогресса — тѣ же, что препятствуютъ и прогрессу демократіи: разумъ и демократія одинаково нуждаются прежде всего въ свободѣ мысли, совѣсти, слова; привиллегіи и особое покровительство сильныхъ міра сего, конечно, нерѣдко содѣйствовали успѣхамъ науки, но всегда — въ концѣ-концовъ — убивали въ ней „духъ живъ", и она вырождалась въ схоластику; 2) Высшая научная и философская мысль, какъ и искусство, обнаруживаетъ несомнѣнную тенденцію пробуждать въ людяхъ любовь человѣческую, альтруизмъ, который служитъ важнѣйшимъ моральнымъ основаніемъ демократизма. Это можно было бы подтвердить многими фактами изъ исторіи науки и философіи, изъ біографій ученыхъ и мыслителей; это явствуетъ также изъ того, что мы знаемъ о просвѣщающемъ и гуманномъ воздѣйствіи высшей мысли на тѣхъ, кто воспринимаетъ ее, кто подчиняется ея власти.

Въ отношеніи къ этому послѣднему пункту примѣръ Писарева представляется типичнымъ. Какъ видно изъ его біографіи, онъ пришелъ къ альтруизму и демократизму именно черезъ любовь къ знанію. Въ его письмахъ (извлеченія приведены Е. А. Соловьевымъ на стр. 91—92 біографическаго очерка) мы находимъ прямыя указанія въ этомъ смыслѣ. Такъ, въ одномъ письмѣ къ матери онъ говоритъ, что для него все болѣе выясняется „планъ", по которому онъ хочетъ „построить" свою „жизнь и дѣятельность". Этотъ планъ сводится къ тому, чтобы, постоянно учась, популяризировать пріобрѣтенныя знанія и такимъ образомъ быть полезнымъ возможно широкому кругу читателей, —

вообще ближнему, котораго онъ полюбилъ теперь, послѣ того, какъ въ немъ самомъ пробудилась любовь къ знанію. „Нашему обществу, говоритъ онъ, недостаетъ самыхъ простыхъ и элементарныхъ знаній". „Поэтому обществу надо давать эти необходимыя знанія, т.-е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по душѣ и по силамъ. Во-первыхъ, я пишу, какъ тебѣ извѣстно, чрезвычайно быстро; во-вторыхъ, я пишу весело и занимательно; въ третьихъ, я усваиваю себѣ очень легко чужія мысли, такъ что могу передавать ихъ совершенно понятнымъ образомъ; и, наконецъ, въ четвертыхъ, я одержимъ страстною охотою читать..." (стр. 91).—И вотъ, вслѣдъ за этою жаждою читать, учиться, пріобрѣтать знанія и столь же сильнымъ стремленіемъ передавать ихъ другимъ, учить (черта, по существу, альтруистическая), развилась въ немъ и другая черта, о которой онъ говоритъ въ письмѣ отъ 17 января 1865 года: „Теперь къ моему характеру присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла..." (Е. А. Соловьевъ, стр. 97).—Вотъ именно эта любовь къ людямъ вообще, развившаяся на почвѣ любви къ знанію, и подсказывала ему тѣ мысли о демократичности истинной науки, которыя въ свое время „ударяли по сердцамъ съ невѣдомою силой", напр., слѣдующія: „Отгонять непросвѣщенную чернь (profanum vulgus) отъ храма науки—не въ духѣ нашей эпохи..." „Умственный аристократизмъ—явленіе опасное... Монополія знаній и гуманнаго развитія представляетъ, конечно, одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ?.." (изъ статьи „Схоластика XIX-го вѣка", относящейся еще къ 1861-му году. „Сочин. Д. И. Писарева", 1894, стр. 365, 366).—Какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ слу-

чаяхъ, такъ и здѣсь Писаревъ увлекался и доходилъ до крайностей. Такъ, онъ возстаетъ (въ той же статьѣ) противъ „отвлеченностей" въ наукѣ, къ которымъ относитъ и психологическій вопросъ о томъ, что такое „я" человѣческое, и зло „критикуетъ" Лаврова, вдававшагося въ эти „отвлеченности" въ своихъ извѣстныхъ „Трехъ бесѣдахъ о современномъ значеніи философіи", напечатанныхъ въ „Отечеств. Запискахъ" (Краевскаго, 1861 г.). — „Критика" Писарева очень ужъ поверхностна и свидѣльствуетъ о его неосвѣдомленности въ психологіи и въ философскихъ вопросахъ. Его утвержденія, что всѣ эти „отвлеченности"—одна схоластика и пора бросить ихъ, что истины науки должны быть „осязательны" и, въ качествѣ таковыхъ, доступны и 10-лѣтнему ребенку, и простому мужику и т. д., — совершенно несостоятельны и даже наивны. Но такія ошибки и наивности не ослабляютъ значенія основной мысли, по существу вѣрной, — о демократизмѣ науки, о необходимости распространять и популяризировать ее, о томъ, что она является лучшимъ другомъ и надежнѣйшимъ союзникомъ освобождающагося человѣчества въ его стремленіяхъ къ свѣту и счастію, къ созданію лучшаго будущаго.

5.

Въ ряду писателей, воспитавшихся и выступившихъ на литературное поприще еще въ 40-хъ годахъ, **Некрасовъ** и **Салтыковъ**, по собенностямъ ума и дарованія, явились призванными дѣятелями 60-хъ годовъ. Движеніе умовъ, которое я старался охарактеризовать на предыдущихъ страницахъ, всецѣло захватило ихъ,—они шли впередъ вмѣстѣ съ новымъ поколѣніемъ и даже впереди его. Въ ихъ дѣятельности мы не найдемъ и слѣда того разлада между двумя поколѣніями, который, въ той или иной формѣ, обнаружился у другихъ „отцовъ", напр. у Достоевскаго, Гончарова, Тур-

генева, Герцена. У этихъ послѣднихъ, помимо разногласій съ новыми дѣятелями въ общемъ міросозерцаніи, въ нѣкорыхъ понятіяхъ, замѣтна извѣстная антипатія къ той общественно-психологической складкѣ, которою характеризовались представители молодого поколѣнія, пришедшаго имъ на смѣну. Объ этой антипатіи и ея послѣдствіяхъ, о ея проявленіяхъ въ литературѣ у насъ еще будетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ. Здѣсь укажу только на то, что она рѣзко выразилась уже въ концѣ 50-хъ годовъ, когда въ „Современникѣ" возобладало направленіе, представлявшееся Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Противъ этого направленія, ровно какъ и лично противъ Чернышевскаго и Добролюбова, стали раздаваться протесты со стороны „стараго кружка", къ которому принадлежали Тургеневъ, В. Боткинъ, Григоровичъ и др. Къ этому же „старому кружку", нѣкогда группировавшемуся вокругъ Бѣлинскаго, принадлежалъ и Некрасовъ, но онъ рѣшительно и смѣло сталъ на сторону новыхъ дѣятелей и предоставилъ руководящую роль въ своемъ журналѣ Чернышевскому и Добролюбову. Это и было главною причиною его разрыва съ старыми друзьями. — „Новое литературное поколѣніе, — говоритъ Пыпинъ, — съ своей стороны платило Некрасову своими симпатіями... потому что въ его поэзіи находило сродные ему мотивы общественнаго чувства... Такимъ образомъ, здѣсь естественнымъ образомъ возникало взаимное пониманіе,—когда у старыхъ друзей „Современика" относительно новаго поколѣнія была только нетерпимость, нѣсколько высокомѣрная, потомъ крайне враждебная" („Н. А. Некрасовъ", С.-Петерб., 1905, стр. 29—30).—Изъ данныхъ, сообщаемыхъ Пыпинымъ, и изъ самыхъ писемъ Некрасова (къ Тургеневу) видно, что поэтъ прилагалъ всѣ старанія къ тому, чтобы дѣло не дошло до разрыва съ старыми друзьями; но всѣ усилилія его остались тщетными,—разорвать же, въ угоду имъ, съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ онъ не могъ; онъ понималъ, что правда

на нихъ сторонѣ и что направленіе, ими представляемое, призвано сыграть въ литературѣ и общественной жизни крупную и въ высокой степени плодотворную роль. Не раздѣляя всѣхъ мнѣній и, можетъ быть, не одобряя нѣкоторыхъ полемическихъ пріемовъ своихъ молодыхъ сотрудниковъ, онъ однако предоставлялъ имъ полную свободу дѣйствія. Нельзя не отдать должнаго—въ этомъ отношеніи—необыкновенному уму и рѣдкому такту Некрасова. Въ одномъ письмѣ онъ говоритъ (Тургеневу): „...поставь себя на мое мѣсто, ты увидишь, что съ такими людьми, какъ Черн(ышевскій) и Добр (олюбовъ) (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думалъ и какъ бы сами они иногда ни промахивались),—самъ бы ты такъ же дѣйствовалъ, т.-е. давалъ бы имъ свободу высказываться на ихъ собственный страхъ...“ (А. Н. Пыпинъ, „Н. А. Некрасовъ“, стр. 198).

Пыпинъ (свидѣтель безпристрастный и въ данномъ случаѣ особливо авторитетный) опредѣленно утверждаетъ, что Некрасовъ прежде всего цѣнилъ общественное направленіе Чернышевскаго и Добролюбова, видя въ немъ прямое и послѣдовательное продолженіе идей Бѣлинскаго, какъ сложились онѣ въ послѣдніе годы жизни великаго критика,—между тѣмъ какъ „друзья стараго кружка... этого не понимали“ (Пыпинъ, стр. 37). Тутъ же Пыпинъ указываетъ на то, что этимъ „старымъ друзьямъ“ „новая критика была непріятна“, политика „неинтересна“, а экономическіе вопросы, поднятые въ виду освобожденія крестьянъ, „просто невразумительны“.—„Но то, что было чуждо или нелюбопытно старымъ друзьмъ,—продолжаетъ Пыпинъ,—было Некрасову вполнѣ понятно...“ [1]) (стр. 37). „Некрасовъ сумѣлъ понять

---

[1]) Само собой разумѣется, что, напр., на Тургенева и Анненкова эта характеристика „старыхъ друзей“ не распространяется. Тургеневу Чернышевскій казался сухимъ, черствымъ, лишеннымъ художественнаго чутья, но онъ признавалъ его литературную работу (именно по общественнымъ и экономическимъ вопросамъ) дѣльною и плодотворною.

идеалистическое настроеніе, представителями котораго были два новые сотрудника журнала... Онъ видѣлъ, что въ общественномъ настроеніи начинается переломъ... и что литература, чтобы сохранить свой давній историческій смыслъ, должна удовлетворить нравственнымъ требованіямъ общества" (тамъ же, стр. 37—38).

Важно отмѣтить здѣсь то, что Некрасовъ не только понялъ смыслъ и значеніе новаго литературнаго направленія и, на этомъ основаніи, предоставилъ его вождямъ первенствующую роль въ журналѣ, но и самъ принималъ участіе въ ихъ работѣ. Пыпинъ свидѣтельствуетъ, что Некрасовъ вмѣстѣ съ Чернышевскимъ велъ (хотя и не долго) отдѣлъ „Замѣтокъ о журналахъ" („есть страницы, начатыя однимъ и продолженныя другимъ"). Извѣстно также участіе поэта въ „Свисткѣ" Добролюбова.—Сотрудничество и общеніе съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ не могло не оказать извѣстнаго вліянія на образъ мыслей Некрасова, не могло такъ или иначе не отразиться на характерѣ и направленіи его поэзіи, Но размѣры этого вліянія преувеличивались біографами поэта. Противъ такихъ преувеличеній возстаетъ Чернышевскій въ „замѣткахъ", приведенныхъ въ книгѣ Пыпина (стр. 243—258); онъ утвержаетъ, что Некрасову нечего было заимствовать у „новыхъ людей": у этихъ послѣднихъ (т.-е. у самого автора „замѣтокъ", у Добролюбова, у Елисеева и др.) „по нѣкоторымъ отдѣламъ знанія было больше свѣдѣній; по многимъ вопросамъ были мысли болѣе опредѣленныя, чѣмъ у него; но это были свѣдѣнія и мысли болѣе спеціальныя, чѣмъ какія нужны для поэта; а то, что нужно было ему знать какъ поэту, онъ зналъ отчасти хуже, отчасти не хуже новыхъ людей..." (стр. 251).—И основной характеръ его поэзіи опредѣлился, по мнѣнію Чернышевскаго, независимо отъ направленія этихъ людей и вообще отъ вѣяній времени. Какъ поэтъ-народникъ, какъ печальникъ народнаго горя, Некрасовъ былъ вполнѣ самостояте-

ленъ и оригиналенъ.—Наконецъ, указывается и на то, что понятія Некрасова сложились еще въ 40-хъ годахъ, и его общественные взгляды установились раньше его знакомства съ новыми людьми (стр. 249).—Все это такъ, но тѣмъ не менѣе извѣстное вліяніе на поэта общаго движенія умовъ въ 60-е годы и въ частности идей Чернышевскаго и Добролюбова не подлежитъ сомнѣнію. Нужно только точнѣе опредѣлить, въ чемъ и какъ оно выразилось.

Некрасовъ стоялъ въ самомъ центрѣ передового движенія 60-хъ годовъ. Въ его лицѣ человѣкъ 40-хъ годовъ сталъ истымъ человѣкомъ 60-хъ. Онъ дѣйствовалъ въ духѣ времени и какъ поэтъ-лирикъ, и какъ сатирикъ, и какъ журналистъ. Совершенно немыслимо, чтобы широкое освободительное движеніе эпохи и его передовыя направленія не отразились на общемъ міросозерцаніи Некрасова и на его поэтическомъ творчествѣ.

Въ предыдущей главѣ я отмѣтилъ въ поэзіи Некрасова 50-хъ годовъ ту сторону, которая отзывалась „смиреніемъ" и „умиленіемъ" сантиментальнаго народничества. Вотъ именно эта сторона плохо ладила съ передовымъ движеніемъ умовъ въ 60-е годы, въ особенности съ направленіемъ, представителями котораго были Чернышевскій и Добролюбовъ, а еще болѣе, конечно, съ тѣмъ, крайнимъ выразителемъ котораго былъ Писаревъ. Не „смиреніе" передъ мужикомъ, а защита интересовъ народа—таковъ былъ лозунгъ эпохи. Не „умиленіе", а протестъ противъ эксплоатаціи и безправія одушевлялъ истинныхъ друзей народа. Ихъ программа сводилась къ двумъ—важнѣйшимъ—пунктамъ: 1) упроченіе экономическаго благосостоянія земледѣльческаго класса и 2) просвѣщеніе народа.

Съ конца 50-хъ годовъ поэзія Некрасова проникается этими идеями и даетъ имъ своеобразное выраженіе въ лирикѣ и въ сатирѣ. Однимъ изъ самыхъ яркихъ произведеній въ этомъ родѣ была знаменитая „Пѣсня Еремушкѣ",

которая привела въ восторгъ Добролюбова. Въ 1859 году (20 сент.) критикъ въ письмѣ къ своему пріятелю И. И. Бордюгову говоритъ: „выучи наизусть и вели всѣмъ, кого знаешь, выучить пѣсню Еремушкѣ Некрасова, напечатанную въ сентябрьскомъ „Современникѣ"... Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идутъ прямо къ молодому сердцу, не совсѣмъ еще погрязшему въ тинѣ пошлости. Боже мой, сколько великолѣпныхъ вещей могъ бы написать Некрасовъ, если бы его не давила цензура!" („Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова", М., 1890, т. I, стр. 534).—Здѣсь же Добролюбовъ исправилъ „опечатки": въ куплетѣ 14-мъ слово „истиной" надо замѣнить словомъ „равенствомъ", а въ куплетѣ 17-мъ вмѣсто „лютой подлости" нужно читать „угнетателямъ". Сдѣлавъ эти поправки, прочтемъ сильнѣйшія мѣста „Пѣсни":

...Жизни вольнымъ впечатлѣньямъ
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленьямъ
Въ ней проснуться не мѣшай.
Съ ними ты рожденъ природою—
Возлелѣй ихъ, сохрани!
Братствомъ, Равенствомъ, Свободою
Называются они.
Возлюби ихъ! На служеніе
Имъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.

———

Будешь рѣдкое явленіе,
Чудо родины своей;
Не холопское терпѣніе
Принесешь ты въ жертву ей:
Необузданную, дикую
Къ угнетателямъ вражду
И довѣренность великую
Къ безкорыстному труду.

Съ этой ненавистью правою,
Съ этой вѣрою святой,
Надъ неправдою лукавою
Грянешь божьею грозой...

Безъ сомнѣнія, основы этихъ идей и идеаловъ Некрасовъ вынесъ изъ 40-хъ годовъ,—его учителемъ былъ Бѣлинскій, память о которомъ онъ свято чтилъ [1]). Но подобно тому какъ направленіе, завѣщанное великимъ критикомъ, впервые получило точное и ясное выраженіе въ трудахъ Чернышевскаго и Добролюбова, такъ и міросозерцаніе и настроеніе Некрасова,—завѣтъ того же Бѣлинскаго,—опредѣлились и получили ясное поэтическое выраженіе—благодаря нравственному и умственному вліянію Чернышевскаго и Добролюбова. Вліяніе ихъ чувствуется между прочимъ въ томъ, какъ изображалъ Некрасовъ либераловъ-идеалистовъ 40-хъ годовъ, напр., въ „Медвѣжьей охотѣ":

Діалектикъ обаятельный,
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ!
Помню я твой взоръ мечтательный,
Либералъ-идеалистъ!
Созерцающій, читающій,
Съ неотступною хандрой
По Европѣ разъѣзжающій,
Здѣсь и тамъ—всему чужой... и т. д.

Вся характеристика вышла гораздо мягче, чѣмъ какою вышла бы она, напр., у Добролюбова. Но въ ней чувствует-

1) Ему, какъ извѣстно, поэтъ посвятилъ прекрасные и трогательные стихи „Наивная и страстная душа...". Вспомнимъ еще строфы, посвященныя великому критику въ „Медвѣжьей охотѣ":

Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель! передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни... и т. д.

Головачева-Панаева передаетъ задушевныя воспоминанія Некрасова о Бѣлинскомъ, въ разговорахъ поэта съ Добролюбовымъ („Русскіе писатели и артисты", стр. 339).

ся, что поэтъ какъ бы считается съ мнѣніемъ этого послѣдняго, и въ дальнѣйшемъ возражаетъ ему, говоря:

...теперь клеймитъ ихъ [1]) иногда
Предателями племя молодое;
Но я ему сказалъ бы: не забудь,
Кто выдержалъ то время роковое,
Есть отъ чего тому и отдохнуть.
Богъ на-помочь! бросайся прямо въ пламя
 И погибай!
Но, кто твое держалъ когда-то знамя,
 Тѣхъ не пятнай!..

„Молодому племени“ Некрасовъ возражаетъ здѣсь—какъ другъ, какъ старшій собратъ, защищающій своихъ сверстниковъ и въ то же время вполнѣ понимающій точку зрѣнія, на которой стояли представители молодого поколѣнія. Не такъ отвѣтилъ Герценъ на критику Добролюбова, направленную противъ „либераловъ-идеалистовъ“ Рудинскаго типа,—и здѣсь-то и разыгрался одинъ изъ наиболѣе яркихъ эпизодовъ розни двухъ поколѣній [2]).

Некрасовъ этой розни избѣжалъ, чему всего болѣе способствовали извѣстныя стороны его ума, дарованія и характера, а также и обстоятельства его личной жизни. По единогласному свидѣтельству всѣхъ, знавшихъ его, Некрасовъ былъ необыкновенно уменъ. Но это былъ умъ дѣловой, практическій,—умъ общественнаго и политическаго дѣятеля. Реализмъ и трезвость мысли—вотъ тѣ черты, благодаря которымъ Некрасовъ такъ хорошо понималъ ходъ вещей,

---

[1]) Либераловъ, пережившихъ свое время и успокоившихся на старости лѣтъ.

[2]) Этотъ эпизодъ изложенъ и освѣщенъ г. Богучарскимъ въ статьѣ „Столкновеніе двухъ теченій общественной мысли“ (памяти Н. А. Добролюбова). См. книгу „Изъ прошлаго русскаго общества“, стр. 228 и слѣдующ.

духъ времени и умѣлъ такъ легко и скоро разбираться среди сутолоки текущей жизни и борющихся направленій. Отъ своихъ сверстниковъ, которымъ (какъ, наприм., Герцену, Тургеневу и друг.) онъ уступалъ въ глубинѣ мысли и въ культурѣ ума, онъ выгодно отличался тѣмъ, что не былъ „бѣлоручкою", диллетантомъ, „созерцателемъ": онъ былъ работникъ, боецъ, практическій дѣятель. Говорю: „выгодно" потому что именно *такой* человѣкъ и былъ нуженъ въ данное время. Мало того: онъ былъ полезенъ даже нѣкоторыми отрицательными сторонами своего характера. Это разъяснено въ блестящей характеристикѣ его, сдѣланной Михайловскимъ („Литер. восп. и соврем. смута", т. I, стр. 59 и сл.).— Изъ этой характеристики отмѣтимъ слѣдующее. „Для меня,—писалъ Михайловскій,—нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что на любомъ поприщѣ, которое онъ избралъ бы для себя, онъ былъ бы однимъ изъ первыхъ людей, уже въ силу своего ума. Онъ былъ бы, если бы захотѣлъ, блестящимъ генераломъ, выдающимся ученымъ, богатѣйшимъ купцомъ. Это мое личное мнѣніе, которое, я думаю, однако не удивитъ никого изъ знавшихъ Некрасова..." (стр. 66.) — Это опредѣляетъ, я думаю, и самый характеръ или типъ ума Некрасова: въ его умѣ не было той *односторонности*, которою опредѣляется *исключительное призваніе* человѣка къ извѣстной *творческой дѣятельности*. Человѣкъ необыкновенно умный и богато одаренный, Некрасовъ ни на какомъ поприщѣ не могъ быть *творцомъ*: онъ не былъ геній. Обладая выдающимся поэтическимъ даромъ, преимущественно какъ лирикъ и сатирикъ, онъ создалъ произведенія замѣчательныя имѣвшія огромное общественное значеніе, но въ нихъ, какъ самъ онъ сознавалъ, не было „творящаго искусства". Обладая несомнѣннымъ художественнымъ чутьемъ и критическимъ смысломъ (въ искусствѣ и вопросахъ литературныхъ, онъ, какъ критикъ, высказывалъ сужденія вѣрныя и мѣткія, но ничего значительнаго и оригинальнаго въ этой обла-

сти не произвелъ [1]).—Какъ редакторъ-издатель, онъ обнаружилъ большой здравый смыслъ, тактъ и рѣдкое чутье дѣйствительности, но творческой мысли мы и здѣсь не видимъ. Его заслуга сводилась тутъ главнымъ образомъ къ тому, что онъ умѣлъ воздерживаться отъ излишняго вмѣшательства и предоставлялъ другимъ свободу „высказываться" и вести журналъ. Творческая мысль въ этомъ дѣлѣ принадлежала не ему, а Чернышевскому, Добролюбову, Елисееву, Салтыкову, Михайловскому.

Вотъ именно этими чертами и объясняется исключительная роль Некрасова въ журналистикѣ 50-хъ и 60-хъ годовъ. Но ими нельзя объяснить того огромнаго вліянія, которое принадлежало ему, какъ „поэту-гражданину", какъ пѣвцу народнаго горя и проповѣднику извѣстныхъ идей. Здѣсь на первый планъ выдвигается другая сторона его натуры—*моральная*.

Что Некрасовъ былъ, по своему психическому укладу, *натура моральная*, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія послѣ всего, что мы знаемъ о немъ, въ особенности послѣ блестящаго и глубокаго діагноза, поставленнаго Михайловскимъ. Изъ этого діагноза мы ясно видимъ, что Некрасовъ принадлежалъ къ типу тѣхъ „кающихся грѣшниковъ", которые „творятъ мораль". И если какое-либо „творчество было ему присуще, то только въ области морали.

Не слѣдуетъ преувеличивать „грѣховъ" Некрасова, какъ это дѣлала въ теченіе многихъ лѣтъ—клевета и сплетня. Чернышевскій отзывается о немъ такъ: „онъ былъ хорошій человѣкъ съ нѣкоторыми слабостями, очень обыкновенными..." (*Пыпинъ*, стр. 244.)—Михайловскій изображаетъ эти

---

[1]) Его критическія статьи, относящіяся преимущественно къ 50-мъ годамъ, разсмотрѣны Пыпинымъ въ книгѣ „Н. А. Некрасовъ" (въ главѣ „Обзоръ литературной дѣятельности"). Одна изъ критическихъ заслугъ Некрасова—оцѣнка Тютчева.

„слабости“ въ иномъ, болѣе яркомъ свѣтѣ; онъ говоритъ о страстяхъ, о проявленіяхъ жестокости, о паденіяхъ, о компромиссахъ, о „грязи“, „прилипавшей“, къ душѣ Некрасова, о покаяніяхъ и нравственныхъ мукахъ. Будь Некрасовъ человѣкъ въ моральномъ отношеніи обыкновенный, онъ не испытывалъ бы тѣхъ ужасныхъ терзаній совѣсти, о которыхъ свидѣтельствуетъ Михайловскій. Мало того: въ его поэтическомъ наслѣдіи недоставало бы тогда какъ разъ самаго главнаго—его „покаянной поэзіи“, т.-е. его лучшихъ созданій („Рыцарь на часъ“ и друг.), которыя навсегда останутся въ нашей литературѣ. Но и это еще не все: не будь Некрасовъ натурою моральною и человѣкомъ великихъ мученій совѣсти и великаго покаянія,—онъ не былъ бы поэтомъ народничества, народнаго горя, и онъ, этотъ „моральный грѣшникъ“, не посвятилъ бы своихъ силъ и дарованій служенію высокимъ идеаламъ, которымъ беззавѣтно отдали жизнь свою Бѣлинскій, Чернышевскій, Добролюбовъ, эти праведники, творившіе мораль, донынѣ насъ животворящую.

Отдѣлъ I. Политическая библіотека.

В. Вильсонъ. Государство. Прошлое и настоящее конституціонныхъ учрежденій. М. 1906 г. Цѣна 3 р. 75 к.

Предисловіе Максима Ковалевскаго. Переводъ подъ редакціей А. С. Ященко съ приложеніемъ текста конституціонныхъ актовъ.

Ольстонъ. Краткій очеркъ современныхъ конституцій съ приложеніемъ очерка конституціи Англіи. М. 1905 г. Цѣна 15 к.

Георгъ Мейеръ. Избирательное право. Въ 2-хъ част. Историческая и общая части. Съ предисловіемъ Георга Іеллинека. М. 1905 г. Цѣна 3 р.

Собраніе конституцій. 19 конституціонныхъ актовъ. М. 1906 г. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Собраніе конституцій. Выпускъ I. Конституціи Франціи, Германіи, Пруссіи, Швейцаріи. Декларація правъ. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ II. Конституціи Австро-Венгерской имперіи, Австріи, Венгріи и Соединенныхъ Штатовъ. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ III. Конституціи Швеціи, Норвегіи. Актъ Уніи. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ IV. Конституціи Болгаріи, Греціи, Румыніи и Сербіи. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ V. Конституціи Австраліи, Японіи и Бельгіи. М. 1906 г. Цѣна 30 к.

Г. Брандесъ. Великій человѣкъ (Начало и цѣль цивилизаціи). Лекція, читанная въ Высшей Русской школѣ въ Парижѣ. Переводъ Н. Эфроса. М. 1905 г. Цѣна 40 коп.

Тардъ. Отрывки изъ исторіи будущаго. Переводъ Н. Н. Полянскаго. М. 1906 г. Цѣна 40 к.

І. Іеллинекъ. Право меньшинства. Докладъ, читанный въ юридическомъ Обществѣ въ Вѣнѣ. М. 1906 г. Изданіе 2-е. Цѣна 20 к.

А. А. Титовъ. Изъ воспоминаній о студенческомъ движеніи 1901 года. М. 1907 г. Цѣна 30 к.

Декабристы и тайныя общества въ Россіи въ началѣ XIX вѣка. Слѣдствіе. Судъ. Приговоръ. Амнистія. Оффиціальные документы. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

М. Ковалевскій. Ученіе о личныхъ правахъ. М. 1906 г. Изданіе 2-е. Цѣна 40 к.

Н. Полянскій. Свобода стачекъ. Исторія завоеванія коалиціонной свободы во Франціи. М. 1906 г. Цѣна 40 к.

Мильо. Тактика соціализма въ рѣшеніяхъ международныхъ конгрессовъ. М. 1906 г. Цѣна 75 к.

Рѣчь Робеспьера о свободѣ печати, произнесенная въ якобинскомъ клубѣ 11-го мая 1791 г. и повторенная въ Національномъ Собраніи 22-го августа того же года. М. 1906 г. Цѣна 10 к.

А. И. Герценъ. Къ развитію революціонныхъ идей въ Россіи. М. 1906 г. Цѣна 50 к.

Бебель. Женщина и соціализмъ. Полный переводъ съ послѣдняго нѣмецкаго изданія. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Процессъ 193-хъ. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Процессъ 50-ти. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Симагинъ. Отвѣтственность министровъ. М. 1906 г. Ц. 10 к.

Хроника соціалистическаго движенія. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Тунъ. Исторія революціонныхъ движеній въ Россіи. М. 1906 года. Цѣна 35 к.

Ольшевскій. Бюрократія. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Науманъ. Демократія и императорская власть. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

К. Диль. Соціализмъ, коммунизмъ и анархизмъ. Полный пер. съ нѣмецкаго изданія. М. 1907 г. Цѣна 75 к.

Дамашке. Земельная реформа. М. 1907 г. Цѣна 75 к.

Рѣчи и біографіи участниковъ процесса 193-хъ и 50-ти. Цѣна 1 р.

П. Луи. Рабочій и государство. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 75 к.

М. Штирнеръ. Единственный и его достояніе. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 25 к.

Орландо. Принципы конституціоннаго государства. М 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Отдѣлъ II. Научная библіотека.

А. Риги. Современная теорія физическихъ явленій (радіоактивность, іоны, электроны). М. 1906 г. Цѣна 80 коп.

Э. Жаваль. Среди слѣпыхъ. Практическіе совѣты для лицъ, потерявшихъ зрѣніе. Переводъ Г. Г. Оршанскаго. М. 1905 г. Цѣна 60 к.

В. Оствальдъ. Школа химіи, общая часть, переводъ Евг. Раковскаго. М. 1904 г. Цѣна 1 р.

В. Оствальдъ. Школа химіи. Вторая часть. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Печатается и на дняхъ поступитъ въ продажу:

Сельско-хозяйственный анализъ. Составили: Пр. Сельскохозяйственнаго Института Демьяновъ, ассистенты Виноградовъ и Егоровъ.

Отдѣлъ III. Библіотека художественной литературы.

А. Н. Радищевъ. Полное собраніе сочиненій. Томъ первый. М. 1907 г. Цѣна 2 р.

Проф. Д. Овсянико-Куликовскій. Исторія русской интеллигенціи (Итоги художественной литературы въ XIX вѣкѣ). М. 1907 г. 2-ое изданіе. Цѣна 1 р. 50 к.

С. Люблинскій. Итоги современнаго искусства и литературы. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, томъ I, съ портретомъ автора и критической статьей Г. Брандеса. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Сказка, драма. — Смерть, новелла. — Мгновенія жизни, драма.—Женщина съ кинжаломъ, драма. Послѣднія маски. драма.—Литература, комедія.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-ое изд. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Завѣщаніе, драма.—Поручикъ Густль, новелла.— Анатоль, діалоги. — Роковой вопросъ. Рождественскій подарокъ Эпизодъ. Сувениръ. Прощальный ужинъ. Агонія. Утро Анатоля передъ свадьбой.– Жена философа. Послѣднее свиданіе. Бенефисъ. Цвѣты. Мертвые молчатъ.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. III. М. 1907 г. 2-ое изданіе. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Трилогія: Парацельсъ. Подруга. Зеленый попугай.—Покрывало Беатриче.—Одинокой тропой.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. IV. М. 1907 г. 2-ое изданіе. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Берта Гарланъ. Храбрый Касьянъ. Канунъ новаго года. Общая добыча.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. V. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Забава, драма. Интермеццо, драма. Разсказы.

Артуръ Шницлеръ. М. 1899 г. Цѣна 50 к.

Содержаніе: Забава, драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, переводъ В. М. Саблина.

Артуръ Шницлеръ. М. 1904 г. Цѣна 50 к.

Общая добыча (Пощечина), драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, переводъ Н. Е. Эфроса.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ I. Драмы, съ портретомъ и предисловіемъ автора. М. 1907 г. 2-ое изданіе. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Принцесса Маленъ. Вторженіе смерти. Аглавена и Селизета. Слѣпые. Аріана и Синяя Борода. Intérieur.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-ое изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Драмы: Пеллеасъ и Мелизанда. Смерть Тентажиля. Алладина и Паломидъ. Семь принцессъ. Сестра Беатриса. Монна Ванна. Жуазель.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ III. М. 1905 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Сокровище смиренныхъ. Мудрость и Судьба.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ IV. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сокровенный храмъ. Правосудіе. Эволюція тайны. Царство матеріи. Прошлое. Счастье. Будущее. Жизнь пчелъ.

Морисъ Метерлинкъ. Слѣпые, драма. Переводъ В. М. Саблина. Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. М. 1905 г. Цѣна 75 к.

Морисъ Метерлинкъ. Вторженіе, драма. Переводъ В. М. Саблина. М. 1905 г. Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. Цѣна 75 к.

Морисъ Метерлинкъ. Внутри, драма. Переводъ В. М. Саблина. М. 1905 г. Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. Цѣна 50 к.

Морисъ Метерлинкъ. Двѣнадцать пѣсенъ. Переводъ Г. Чулкова. Обложка, рисунки, заставки работы Дудлэ. Нумерованные экземпляры 5 р., ненумерованные—3 р.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, томъ I. Съ предисловіемъ автора и его портретомъ. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 75 к.

Содержаніе: Поэмы (Аметисты. Въ долинѣ слезъ. Въ часъ труда. Городъ смерти). Introibo. Рапсодія I. Epipsychidion. Рапсодія 2. Свѣтлыя ночи. Рапсодія 3. У моря. Cupio Dissolvi.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, томъ II. Съ предисловіемъ автора. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сыны земли (Малярія. Сумерки. Ultima Thule).

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. III. Съ портретомъ автора. М. 1905 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Homo Sapiens.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. IV. Съ критической статьей автора „О драмѣ и сценѣ". М. 1905 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Драмы (Пляски любви и смерти. Золотое руно. Счастье. Мать. Гости. Снѣгъ).

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. V. Съ портретомъ автора. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 75 к.

Содержаніе: Критика (Къ психологіи индивидуума: Шопенъ и Ницше. Ола Гансонъ. Путями души: Вступленіе. Афоризмы и Прелюдіи. Эдвардъ Мунхъ. Густавъ Вигеландъ. Шопенъ. Пламенный. Памяти Юлія Словацкаго. Съ куявскихъ полей).

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. VI. М. 1906 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Дѣти сатаны. De profundis.

Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. VII. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Заупокойная месса. Стихотворенія въ прозѣ. Вѣчная сказка.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ I. Повѣсти и разсказы. М. 1905 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Рабы любви. Сынъ солнца. Закхей. По ту сторону океана. Отъявленный плутъ. Отецъ и сынъ. Царица Савская. Дама изъ Тиволи. Тайное горе Кольцо. На улицѣ. Енъ Тру. Почтовая лошадь. Рождественская пирушка. Сочельникъ въ горной хижинѣ. Шкиперъ Рейерсенъ. На отмели близъ Нью-Фаундленда. Парижскіе этюды.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. М. 1905 г. Цѣна 1 р.

Редакторъ Линге, романъ.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ III. Повѣсти и разсказы М. 1907 г. 2-ое изданіе. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Голосъ жизни. Маленькія приключенія: 1. Страхъ смерти. 2. Уличная революція. 3. Въ преріи. 4. Привидѣніе. 5. Гастроль. Завоеватель. Викторія.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ IV. Повѣсти и разсказы. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Голодъ. У царскихъ вратъ, драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, т. V. Повѣсти и разсказы. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Панъ, романъ. Вечерняя заря, драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ.

К. Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, т. VI. М. 1907 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Въ сказочной странѣ.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, томъ I. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сказки и разсказы.

Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

Исторія русской интеллигенціи.

Итоги русской художественной литературы XIX вѣка.

Часть II.

(Отъ 50-хъ до 80-хъ годовъ.)

Изданіе В. М. Саблина.

Типографія В. М. Саблина.
Петровка, домъ Обидиной. Телефонъ 131-34.
Москва. — 1907.

ВВЕДЕНІЕ.

Первая часть этой книги оканчивается главами (XII и XIII), посвященными поэзіи Некрасова во второй половинѣ 50-хъ г.г. и въ началѣ 60-хъ и очерку передовыхъ направленій 60-хъ г.г. („добролюбовскому“ и „писаревскому“) въ ихъ отношеніяхъ къ дѣятельности Некрасова.

Продолжая нашъ трудъ, мы эту вторую часть начинаемъ очеркомъ ранней (50-хъ г.г.) сатиры Салтыкова, въ которой мы останавливаемся преимущественно на ея демократическихъ и народническихъ элементахъ, по существу совпадающихъ съ направленіемъ поэзіи Некрасова (той-же эпохи). Это совпаденіе было однимъ изъ знаменій времени. Русская литература (т.-е. ея лучшая часть, выражавшая настроеніе и идеи передовой части мыслящаго общества) совершила тогда тотъ поворотъ, начало которому было положено еще въ 40-хъ годахъ — сперва передовыми славянофилами, а потомъ и западниками. Это былъ поворотъ въ сторону народа, крестьянства, — въ сторону защиты его интересовъ, подготовки умовъ къ мысли о необходимости упраздненія крѣпостного права, пропаганды гуманнаго отношенія къ „мужику“, сопровождавшейся его идеализаціей, болѣе или менѣе послѣдовательной.

Наиболѣе значительными литературными фактами этого рода (и при томъ болѣе ранними) были, въ западническомъ лагерѣ, извѣстныя произведенія Д. В. Григоровича „Деревня“ (1846 г., въ „Отеч. Зап.“) и „Антонъ Горемыка“ (1847 г., въ „Современникѣ“). Авторъ задавался цѣлью не только изобразить жизнь крѣпостного крестьянина, но вызвать въ читателѣ сочувствіе къ нему и рядъ „грустныхъ и важныхъ мыслей“ (о его безправіи, его тягостной долѣ), какъ выразился тогда-же Бѣлинскій въ критической статьѣ, посвященной этимъ произведеніямъ Григоровича. Эти повѣсти, въ особенности „Антонъ Горемыка“, были по тому времени явленіемъ и новымъ, и смѣлымъ. Григоровичъ рисовалъ ужасы крѣпостного права и, безъ всякаго сомнѣнія, внесъ большой вкладъ въ очередное тогда дѣло — пробужденія въ обществѣ чувствъ состраданія и симпатіи къ народу и — сознанія гражданскаго долга, лежащаго на каждомъ мыслящемъ человѣкѣ, — протестовать не только противъ ужасовъ крѣпостного права, но и противъ самаго его принципа. Но — по необычайной строгости цензуры того времени — протестовать открыто нельзя было: приходилось замаскировывать протестъ, напримѣръ, въ беллетристической формѣ или дѣлать намеки въ такихъ статьяхъ, которыя, по содержанію, никакого отношенія къ крѣпостному праву не имѣли. Намеки прятались въ „литературную критику“, въ „смѣсь“, въ библіографію. Такъ, Салтыковъ, тогда еще совсѣмъ молодой, начинающій писатель, въ рецензіи на „Логику“ профессора семинаріи Зубовскаго, говоря о безплодности или софистикѣ силлогизмовъ, поясняетъ свою мысль такимъ примѣромъ: „Намъ случилось слышать, какъ одинъ господинъ весьма серьезно увѣрялъ другого, весьма почтенной наружности, но посмирнѣе, что тотъ долженъ ему повиноваться, дѣлая слѣдующій силлогизмъ: я человѣкъ, ты человѣкъ; слѣдовательно, ты рабъ мой. И смирный господинъ повѣрилъ (такова ошело-

мляющая сила силлогизма!) и отдалъ тому господину все, что у него было: жену и дѣтей, и самого себя, и вдобавокъ остался даже очень доволенъ собою". — „Эти слова, — замѣчаетъ К. К. Арсеньевъ, — направлены, очевидно, не противъ „Логики" Зубовскаго, а противъ модной, по тогдашнему времени, крѣпостнической логики". (К. К. Арсеньевъ. „Салтыковъ-Щедринъ". С.-Петерб. 1906, изд. „Свѣточа", стр. 7).

Другимъ литературнымъ фактомъ того-же рода, что и „Антонъ Горемыка", но произведшимъ въ свое время впечатлѣніе, хотя не столь сильное, зато гораздо болѣе глубокое и прочное, были первые очерки изъ „Записокъ Охотника" Тургенева. Они появились въ „смѣси" „Современника" 1847 — 1848 г.г. („Хорь и Калинычъ", „Ермолай и Мельничиха" и др.). Огромное художественное достоинство, а равно и соотвѣтственное общественное значеніе этихъ очерковъ не сразу были замѣчены. Но вскорѣ критика и публика почувствовали ихъ силу. Въ нихъ впервые въ русской литературѣ были выведены психологическіе типы крестьянъ, и было показано, что эти типы, по своему внутреннему достоинству, отнюдь не уступятъ типамъ верхнихъ слоевъ, что „мужикъ" — прежде всего человѣкъ, и при томъ — вовсе не обиженный природой и часто проявляющій незаурядныя качества ума и сердца. При этомъ эти типы отнюдь не идеализированы, — они дышатъ глубокой психологической и жизненной правдой. „Записки Охотника" вызывали въ читателяхъ не только чувство состраданія и жалости къ мужику, но главнымъ образомъ — что, пожалуй, было еще важнѣе — чувство уваженія къ нему, какъ человѣку. И самъ собою напрашивался выводъ: если мужикъ — такой же человѣкъ, какъ и „мы", а не какая-нибудь низшая порода, если нельзя не уважать его, то крѣпостное состояніе, безправіе крестьянъ, торгъ ими — это величайшее беззаконіе и безобразіе, не только общественное и юридиче-

ское, но и моральное, — и оно должно быть упразднено. — „Записки Охотника“ вызвали въ свое время сочувственный отзывъ Бѣлинскаго (въ „Современникѣ“) и К. Аксакова (въ „Московскомъ Сборникѣ“ 1847 года).

Ободренный успѣхомъ, Тургеневъ продолжалъ писать эти очерки, стараясь, насколько это было возможно, оттѣнить безобразіе крѣпостничества. Въ 1852 г. они вышли отдѣльной книгой, въ исправленномъ видѣ и съ восполненіемъ того, что было выброшено или искажено цензурой въ журналѣ. Книга имѣла огромный успѣхъ, и ея вліяніе на широкіе круги читающей публики было въ высокой степени плодотворно. Въ выработкѣ и установленіи общественнаго мнѣнія по вопросу о крѣпостномъ правѣ „Записки Охотника“ сыграли выдающуюся роль. Когда, въ 1879 г., оксфордскій университетъ почтилъ Тургенева дипломомъ доктора „обычнаго права“, — онъ имѣлъ въ виду именно заслуги Тургенева, какъ писателя, содѣйствовавшаго „Записками Охотника“ упраздненію крѣпостного права въ Россіи [1]).

Послѣ смерти Императора Николая Павловича и окончанія Крымской кампаніи наступилъ, наконецъ, поворотъ во внутренней политикѣ. Прекращалась тяжелая реакція, сковавшая русскую жизнь на цѣлые 7 лѣтъ (1848—1855), зачинались либеральныя вѣянія первыхъ лѣтъ царствованія Александра II, подготовлялась великая реформа, упразднившая крѣпостное право. Цензура, конечно, не была отмѣнена, но она стала гораздо снисходительнѣе. Литература оживилась.

---

[1]) О „Зап. Охот.“ см. прекрасный трудъ г. Грузинскаго (въ „Научномъ Словѣ“, 1903 г., кн. VII).

Вскорѣ явилась возможность писать и о крѣпостномъ правѣ и обсуждать въ печати проекты реформы. Возникла „обличительная“ литература, направленная противъ старыхъ порядковъ, жестокихъ нравовъ, лихоимства и всѣхъ насилій и пережитковъ прошлаго.

Подъ перомъ Щедрина это направленіе превратилось въ художественную, глубоко-захватывающую сатиру.

Въ поэзіи Некрасова зазвучали мощные аккорды „гражданской скорби“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ усиливались и тѣ настроенія, изъ которыхъ позже выдались народничество и радикальный демократизмъ разныхъ оттѣнковъ.

Въ XII-ой и XIII-ой главахъ первой части нашего труда мы отмѣтили выраженіе этихъ настроеній въ поэзіи Некрасова. Теперь прослѣдимъ ихъ въ ранней сатирѣ Салтыкова.

ГЛАВА I.

М. Е. Салтыковъ (Щедринъ) въ 50—60-хъ г.г.

1.

Обращаясь къ разсмотрѣнію перваго періода дѣятельности нашего великаго сатирика, мы въ этой главѣ остановимся преимущественно на его отношеніяхъ къ народу. Подобно Некрасову, и Салтыковъ въ 50-хъ годахъ отдавалъ дань народничеству, не чуждому нѣкотораго сентиментализма и отправлявшемуся отъ извѣстной идеализаціи мужика. Ноты умиленія и смиренія, которыя мы находимъ въ поэзіи Некрасова 50-хъ годовъ [1]), звучатъ и въ ранней сатирѣ Щедрина—въ „Губернскихъ очеркахъ", появленіе которыхъ было крупнымъ событіемъ въ развитіи нашей общественной мысли. Однимъ изъ наиболѣе яркихъ выраженій народническихъ идей сатирика справедливо признается очеркъ „Богомольцы, спутники и проѣзжіе" („Полное собраніе сочиненій М. Е. Салтыкова", С.-Петерб., 1900, т. I, стр. 238 и сл.). — Сатирическія стрѣлы направлены здѣсь не на народъ, а на другіе классы. Напротивъ, изображеніе народныхъ типовъ согрѣто горячею любовью къ простому человѣку и проникнуто чувствомъ уваженія къ крестьянской массѣ, въ которой сатирикъ открыто признаетъ наличность

1) См. ч. I, гл. XII.

положительныхъ качествъ, не достающихъ другимъ — верхнимъ—слоямъ. Онъ говоритъ: „Я вообще чрезвычайно люблю нашъ прекрасный народъ и съ уваженіемъ смотрю на свѣжіе и благодушные типы, которыми **к и ш и т ъ**[1]) народная масса“ (стр. 243). Услышавъ, какъ одинъ мужичекъ сказалъ другому, что взяли въ солдаты его Матюшу, который „былъ добрый парень, робилъ непрекословно, да и въ некруты непрекословно пошелъ“, — Щедринъ рисуетъ картину, живо напоминающую — по настроенію и точкѣ зрѣнія — соотвѣтственныя мѣста у Некрасова: „Воображенію моему вдругъ представляется этотъ славный, смирный парень Матюша, не то чтобъ веселый, а скорѣй боязный, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодраго и сильнаго... вижу его дома, безропотно исполняющаго всякую домашнюю нужду; вижу въ церкви Божьей, стоящаго скромно и истово знаменующагося крестнымъ знаменіемъ...“ (стр. 245).— Вникая во внутренній міръ мужика, Щедринъ, подобно Некрасову, умиляется передъ его наивною и глубокою вѣрою, передъ чистотою его религіознаго чувства. Онъ говоритъ: „И вся эта толпа пришла сюда (на богомолье) съ чистымъ сердцемъ, храня, во всей ея непорочности, душевную лепту, которую она обѣщала повергнуть къ пречестному и достохвальному образу Божьяго угодника. Прислушиваясь къ ея говору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимаго стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всѣми жизненными обстоятельствами, оцѣпляющими незатѣйливое существованіе простого человѣка. На меня вѣетъ невѣдомою свѣжестью и благоуханіемъ, когда до слуха моего долетаетъ все то же тоскливое голошеніе убогихъ нищихъ...“ (246). Очерки „Отставной солдатъ Пименовъ“ (тамъ же, стр. 255—267) и „Пахомовна“ (267—273) рисуютъ духовный складъ крестьянина

[1]) Курсивъ мой.

въ архаическомъ, но въ высокой степени привлекательномъ видѣ. Михайловскій въ извѣстной статьѣ „Щедринъ", цитируя нѣкоторыя мѣста изъ этихъ очерковъ, отмѣчаетъ между прочимъ то, что они написаны въ народномъ стилѣ, эпическимъ складомъ. Щедринъ здѣсь не говоритъ о народѣ отъ своего имени, а заставляетъ самый народъ говоритъ о себѣ и за себя. — Самое отношеніе Салтыкова къ народу въ то время Михайловскій склоненъ назвать „безсознательнымъ", поясняя это такъ: „Чиновничество и помѣщики сразу отдѣлились для него въ особую отъ собственно народа группу. И немудрено: онъ видѣлъ крѣпостное право и крымскую войну. Но затѣмъ онъ безхитростно и правдиво разсказывалъ видѣнное и слышанное имъ въ народной средѣ, не теоретизировалъ ни въ какомъ направленіи, не пытался анализировать ни свои чувства, ни предметъ, ихъ возбуждавшій. Онъ просто любовался поэтическою цѣльностью вѣры какого-нибудь отставного солдата Пименова и другихъ богомольцевъ и странниковъ, или отчаянною и опять-таки поэтическою удалью героя „Развеселаго житья" [1]). Это любованіе осложнялось лишь скорбью о томъ гнетѣ, подъ тяжестью котораго изнываетъ народъ..." („Соч. Н. К. Михайловскаго", С.-Пет., 1897, т. V, стр. 174). — Можетъ быть, отношеніе Салтыкова къ народу въ то время лучше было бы назвать не „безсознательнымъ", а только „непосредственнымъ"; сознательное сочувствіе народнымъ массамъ, вообще демократическое направленіе мысли установилось у Салтыкова еще въ 40-хъ годахъ, подъ разнообразными вліяніями умственныхъ теченій эпохи, въ ряду которыхъ видная роль принадлежала идеямъ такъ называемыхъ утопистовъ, глав. обр.— Фурье [2]). Но независимо отъ этого у Салтыкова живо про-

---

[1]) Изъ „Невинныхъ разсказовъ", относится къ 1859 г.

[2]) Вліяніе утопистовъ на Салтыкова прекрасно выяснено В. П. Кранихфельдомъ въ его, къ сожалѣнію, неоконченномъ изслѣдованіи „М. Е. Салтыковъ (Н. Щедринъ)" („Міръ Божій", 1904 г.). См.

являлась, такъ сказать, стихійная, прирожденная любовь къ русскому (точнѣе великорусскому) народу, — такая же, какъ у Некрасова. Обоимъ писателямъ былъ по сердцу русскій мужикъ, въ отношеніи къ которому у нихъ не было никакихъ классовыхъ предубѣжденій. Салтыковъ, конечно, желалъ всѣхъ благъ всѣмъ народамъ, но къ русскому народу у него было, по выраженію Михайловскаго, „безотчетное тяготѣніе", сила котораго простиралась на весь бытъ и духовный складъ крестьянина, на „всю его, можетъ быть, очень убогую физическую и нравственную обстановку, весь тотъ хотя бы очень унылый пейзажъ, среди котораго онъ проводитъ свою жизнь" („Соч. Н. К. Михайловскаго", т. V, стр. 170). — И Михайловскій цитируетъ одно мѣсто изъ „Губернскихъ очерковъ", гдѣ Щедринъ говоритъ, что любитъ нашу „бѣдную природу, можетъ быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежитъ мнѣ..." и т. д. Михайловскій указываетъ также на то, что это живое чувство къ родному, къ русской природѣ и русскому народу осталось у Щедрина на всю жизнь, и, подтверждая это ссылками на позднѣйшія произведенія сатирика („За рубежомъ"), заключаетъ такъ: „это — совершенно непосредственная любовь, не поддающаяся логическому анализу, потому что Салтыковъ былъ настоящій, коренной русскій человѣкъ, не происхожденіемъ только, а всѣмъ складомъ, и просто естествомъ тянулся туда, гдѣ русскій духъ, гдѣ Русью пахнетъ" („Соч.", т. V, стр. 171). Въ другомъ мѣстѣ статьи Михайлов-

главы IX и X („М. Б." 1904, іюнь, стр. 60 и сл.), гдѣ указано значеніе и размѣры движенія въ концѣ 40-хъ годовъ, извѣстнаго подъ именемъ „заговора идей" и выражавшагося всего ярче въ стремленіяхъ и настроеніи кружка Петрашевскаго. Салтыковъ былъ знакомъ лично съ Петрашевскимъ, посѣщалъ собранія кружка и усердно изучалъ литературу утопистовъ. Характеристикѣ „утопизма" Салтыкова посвящены главы XI и XII изслѣдованія г. Кранихфельда, къ которымъ, какъ и къ соотвѣтственнымъ страницамъ Михайловскаго, я и попрошу обратиться читателей, интересующихся этою стороною идеологіи великаго сатирика.

скій говоритъ, что „Салтыковъ былъ истинный патріотъ въ томъ высокомъ смыслѣ, который онъ самъ придавалъ этому слову“, что „онъ любилъ Россію въ качествѣ просто русскаго человѣка, съ молокомъ матери всосавшаго стихійную привязанность къ русскому облику и говору, къ русской пѣснѣ и сказкѣ, къ русскому нраву и обычаю“ (стр. 211—212).

Это и служило психологическимъ основаніемъ той народнической окраски, которою, несомнѣнно, отличался демократизмъ Салтыкова во второй половинѣ 50-хъ годовъ и еще въ началѣ 60-хъ. Сатирикъ, по самой натурѣ своей, сказался воспріимчивымъ къ народническому настроенію эпохи, сближаясь въ этомъ отношеніи не только съ направленіемъ Некрасова, но также и съ передовымъ славянофильствомъ, къ которому позже онъ относился такъ рѣзко-отрицательно. Могло быть и прямое вліяніе славянофильскихъ идей на него, на что указалъ В. П. Кранихфельдъ, цитируя слѣдующее мѣсто изъ письма Салтыкова къ И. В. Павлову: „Признаюсь, я сильно гну въ сторону славянофиловъ и нахожу, что въ наши дни трудно держаться иного направленія. Въ немъ одномъ есть нѣчто похожее на твердую почву, въ немъ одномъ есть залогъ здороваго развитія...“ и т. д. (В. П. Кранихфельдъ, „М. Е. Салтыковъ“, „Міръ Божій“, 1904, № 7, стр. 218). Письмо къ Павлову относится къ 1857 году, т.-е. къ одному изъ тѣхъ годовъ, когда славянофильство, по выраженію В. П. Кранихфельда, „привлекало къ себѣ всѣ симпатіи лучшихъ прогрессивнѣйшихъ элементовъ русскаго общества“. Вспомнимъ, что къ этому времени относятся сближеніе и оживленная переписка Тургенева съ Аксаковыми, работа Тургенева надъ „Дворянскимъ гнѣздомъ“ (о чемъ у насъ была рѣчь въ VII-ой главѣ I-ой части), сочувственные отзывы Чернышевскаго о славянофилахъ и др. признаки, указывавшіе на возможное соглашеніе между представителями двухъ партій, столь рѣзко расходившихся въ 40-хъ годахъ.

Впрочемъ, въ самой литературной дѣятельности Салтыкова это увлеченіе славянофильствомъ не получило сколько-нибудь яснаго выраженія. Народничество сатирика въ ту эпоху гораздо ближе подходило къ настроенію Некрасова, чѣмъ къ чистому славянофильству. Поэтъ и сатирикъ, можно сказать, шли рядомъ и въ ногу. Это совпаденіе тѣмъ знаменательнѣе, что оно отнюдь не основывалось на личныхъ связяхъ, которыя завязались позже. Салтыковъ печаталъ „Губернскіе очерки" въ „Русскомъ Вѣстникѣ" Каткова, тогда либеральномъ, и большею частью жилъ въ провинціи. Сближеніе съ Некрасовымъ началось, повидимому, съ начала 60-хъ годовъ, когда Салтыковъ принялъ непосредственное участіе въ „Современникѣ", гдѣ онъ, впрочемъ, печаталъ свои вещи (напр., изъ серіи „Невинныхъ разсказовъ") и раньше. Любопытно отмѣтить и тотъ фактъ, что на первыхъ порахъ „Губернскіе очерки" не понравились Некрасову. Въ письмѣ къ Тургеневу отъ 27 іюля 1857 г. поэтъ говоритъ, между прочимъ: „Въ литературѣ движеніе слабое... Геній эпохи—Щедринъ... Публика въ немъ видитъ нѣчто повыше Гоголя!" (А Н. Пыпинъ, „Н. А. Некрасовъ", стр. 179). Извѣстенъ также отрицательный отзывъ Тургенева о ранней сатирѣ Салтыкова (въ письмѣ къ Колбасину отъ 8 марта 1857 года) [1]).

Тѣмъ не менѣе уже въ 6-ой книгѣ „Современника" того же 1857 года появилась хвалебная статья Чернышевскаго о „Губ. очеркахъ". Любопытно отмѣтить, что самъ Некрасовъ, цѣнившій тогда Салтыкова такъ низко, въ письмѣ къ Тургеневу отъ 30 іюня 1857 г. говоритъ: „Въ № 6 „Совр." Чернышевскій написалъ отличную статью по поводу Щедрина..." (Пып., „Н. А. Некрасовъ", стр. 173).

Отзывъ же Чернышевскаго гласитъ: „Губернскіе очерки"

---

[1]) О томъ, какъ оба, и Некрасовъ и Тургеневъ, вскорѣ перемѣнили свой взглядъ и оцѣнили талантъ Салтыкова по заслугамъ, см. у В. П. Кранихфельда („Міръ Б.", № 4, стр. 9).

мы считаемъ не только прекраснымъ литературнымъ явленіемъ, — эта благородная и превосходная книга принадлежитъ къ числу историческихъ фактовъ русской жизни" („Критическія статьи", изд. М. Н. Чернышевскаго, С.-Пет., 1895 г. стр. 357). — Критикъ говоритъ еще, что русская литература гордится и долго будетъ гордиться „Очерками" Щедрина, и указываетъ на огромный успѣхъ книги въ средѣ всѣхъ порядочныхъ людей. Имя Щедрина „честно между лучшими, и полезнѣйшими, и даровитѣйшими дѣтьми нашей родины" (тамъ же), а книга его выше всѣхъ похвалъ [1]).

Въ концѣ того же 1857 года, въ 12-й книгѣ „Современника" появилась и другая, также очень сочувственная, статья о „Губ. очеркахъ", написанная Добролюбовымъ, который, между прочимъ, отмѣчаетъ и отношеніе Щедрина къ народу, совпадавшее съ воззрѣніемъ „Современника". — „Сочувствіе къ неиспорченному, простому классу народа", писалъ Добролюбовъ, „какъ и ко всему свѣжему, здоровому въ Россіи, выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо" („Сочин. Н. А. Добролюбова", 1896 г., т. I, стр. 430). — Добролюбовъ указываетъ и на ту параллель, которую проводитъ сатирикъ между типами изъ общества съ одной стороны и типами народными съ другой, отдавая рѣшительное предпочтеніе послѣднимъ. Приведя большую выдержку изъ

[1]) Этотъ восторженный отзывъ о Щедринѣ въ журналѣ Некрасова, а также и аттестація статьи Чернышевскаго, какъ „отличной", выраженная поэтомъ въ письмѣ къ Тургеневу отъ 30 іюня 1857 г., такъ рѣзко противорѣча отзыву Некрасова о Щедринѣ въ письмѣ отъ 27 іюня того же года (фраза, которую я привелъ выше съ пропускомъ, какъ у Пыпина, въ полномъ видѣ гласитъ: „Геній эпохи—Щедринъ,—туповатый, грубый и страшно зазнавшійся господинъ..." (!), — см. у Кранихфельда, „М. Б." 1904, № 4, стр. 8), лишній разъ показываютъ, какую свободу и самостоятельность представлялъ Некрасовъ въ „Современникѣ" Чернышевскому, какъ и Добролюбову, не навязывая имъ своихъ личныхъ мнѣній. Очень вѣроятно, что перемѣна взгляда Некрасова на Щедрина произошла именно подъ прямымъ вліяніемъ Чернышевскаго и Добролюбова.

очерка „Богомольцы, спутники и проѣзжіе“, критикъ обращаетъ вниманіе читателя на глубину и правдивость религіознаго чувства у простыхъ людей, на простоту его выраженія и на то, что у нихъ слова не расходятся съ дѣломъ. Не то—въ такъ называемомъ образованномъ обществѣ, гдѣ „либералы“ и вообще люди „идейные“ пробавляются однѣми фразами, между тѣмъ какъ „внутри существа ихъ господствуетъ лѣнь и апатія“. — „Не такова эта живая, свѣжая масса...“, „этотъ міръ, толковый и дѣльный“ — его слово крѣпко, и „сдѣлаетъ онъ, что обѣщалъ. На него можно надѣяться“ (стр. 431). Итакъ, надлежащая оцѣнка ранней сатиры Щедрина „Современникомъ“ была заслугою Чернышевскаго и Добролюбова, которые такимъ образомъ и подготовили почву для сближенія Некрасова съ Салтыковымъ, для многолѣтняго ихъ сотрудничества въ веденіи двухъ передовыхъ журналовъ („Современникъ“ по 1866 годъ и „Отечеств. Записки“ съ 1868 года), сыгравшихъ такую крупную роль въ передовомъ движеніи русской общественной мысли.

2.

Въ 60-хъ годахъ въ демократизмѣ Салтыкова произошла перемѣна, совершенно аналогичная той, которую мы отмѣтили въ поэзіи Некрасова [1]). Народническая окраска пошла на убыль, чувство умиленія передъ глубиною, правдивостью, простотою народной вѣры и здоровыми задатками народной психологіи не получаетъ уже прежняго — приподнятаго и лирическаго — выраженія; зато растетъ и все ярче проявляется другое, болѣе раціональное и въ высокой степени плодотворное, отношеніе къ народу, основанное на чувствѣ справедливости. Въ своихъ публицистическихъ статьяхъ, печатавшихся въ „Современникѣ“ (въ первой половинѣ 60-хъ

[1]) См. ч. I, гл. XII.

годовъ, Салыковъ неоднократно возвращался къ вопросу объ отношеніяхъ правящихъ классовъ къ народу, о матеріальномъ положеніи и нуждахъ крестьянской массы, о ея интересахъ и т. д. Здѣсь онъ рѣшительно возстаетъ противъ той идеализаціи мужика и того слащаваго, фальшиваго народничества, которыя наиболѣе ярко выражались въ публицистикѣ и беллетристикѣ славянофиловъ и такъ называемыхъ „почвенниковъ". Онъ прямо заявляетъ, что „когда говоришь о мужичкахъ, то нѣтъ никакой надобности ни умиляться, ни присѣдать, ни впадать въ меланхолію [1]) (А. Н. Пыпинъ, „М. Е. Салтыковъ", стр. 145).— Описывая въ яркихъ чертахъ суровую, скудную, тѣсную жизнь крестьянина, протекающую въ постоянномъ и неблагодарномъ трудѣ, подъ гнетомъ вѣчныхъ заботъ о кускѣ хлѣба, вѣчной неувѣренности въ завтрашнемъ днѣ, Салтыковъ рѣзко и рѣшительно отвергаетъ всякую надобность „рисовать картинки на розовомъ маслѣ и вообще идеальничать и поэтизировать". Нужно смотрѣть на дѣло проще и „знать доподлинно", „что дѣлаетъ русскій мужикъ и во что ему это дѣло обходится". Такое отношеніе къ народному вопросу „положитъ начало чувству болѣе прочному и плодотворному, чувству справедливости" *). Это разсужденіе завершается слѣдующею бутадою: „Если идеализація, всегда основанная на поверхностномъ и неполномъ знаніи вещей, помогаетъ намъ распускаться въ умиленіяхъ и мечтахъ о сближеніяхъ, то не надо забывать, что нерѣдко та же самая идеализація ведетъ насъ и къ мордобитію. Напротивъ того, знаніе вещи необходимо отразится и на отношеніяхъ человѣка къ ней, и эти отношенія будутъ именно такими, какими они быть должны. Не будетъ поцѣлуевъ, но не будетъ и оплеухъ, не будетъ любви всепрощающей, но не будетъ и поученій тѣлесныхъ. Будетъ справедливость,

*) Курсивъ мой.

а покамѣстъ она только и требуется“ (Пыпинъ, „М. Е. Салтыковъ“, стр. 145—146).

Эта точка зрѣнія, основанная на чувствѣ справедливости и исключающая сантиментальное отношеніе къ народу, установилась у Салтыкова, очевидно, подъ вліяніемъ руководителей „Современника“—Чернышевскаго и Елисеева. —Бѣлоголовый, въ воспоминаніяхъ о Салтыковѣ, говоритъ: „Салтыковъ не отрицалъ, что и онъ многимъ обязанъ въ своемъ развитіи Чернышевскому“ (Н. А. Бѣлоголовый, „Воспоминанія и другія статьи“, Москва, 1897, стр. 236, см. также стр. 257).—Публицистическую дѣятельность Елисеева Салтыковъ высоко цѣнилъ. Когда, послѣ закрытія „Современника“, Некрасовъ задумалъ (въ 1867 г.) взять въ аренду у Краевскаго „Отечеств. Записки“ и пригласилъ Салтыкова въ соредакторы, послѣдній настаивалъ на привлеченіи, на равныхъ правахъ, и Елисеева (Бѣлоголовый, стр. 237).

Переходъ Салтыкова отъ прежней—народнической—точки зрѣнія къ новой, которую можно назвать „раціонально-демократической“, отразился въ „Сатирахъ въ прозѣ“, печатавшихся въ „Современникѣ“ съ начала 60-хъ годовъ. Здѣсь прежде всего мы отмѣтимъ, такъ сказать, пересмотръ вопроса объ инстинктивномъ тяготѣніи къ всему родному, о невольномъ пристрастіи къ своей національной стихіи, которое, какъ мы знаемъ, было у Салтыкова довольно сильно выражено.— Теперь сатирикъ, признавая это тяготѣніе и пристрастіе, какъ фактъ, имѣющій свое психологическое оправданіе, уже не умиляется передъ нимъ, не поэтизируетъ его, а вышучиваетъ. Прочтемъ слѣдующее мѣсто: „Глуповъ, милый Глуповъ! Отчего надрывается сердце, отчего болитъ душа при одномъ упоминовеніи твоего имени? Или есть невидимое, но крѣпкое нѣкоторое звено, приковывающее мою судьбу къ твоей, или ты подбросилъ въ питье мое зелья, которое безвозвратно приворожило меня къ тебѣ? Кажется, и не пригожъ ты, и не слишкомъ уменъ; нѣтъ въ тебѣ ни при-

роды могучей, ни воздуха вольнаго; нищета, да убожество, да дикость, да насиліе... плюнулъ бы и пошелъ прочь! Анъ нѣтъ..."—Выходитъ такая „странная штука": „подойдешь къ тебѣ поближе, вкусишь отъ винограда твоего — тошнитъ: чувствуешь, какъ въявѣ дуракомъ дѣлаешься; уйдешь отъ тебя — плачешь..." — Сатирикъ объясняетъ эту странность тѣмъ, что „мы всѣ, сколько насъ ни есть, мы всѣ плоть отъ плоти... кость отъ костей" Глупова. И продолжаетъ: „Это нужды нѣтъ, что иногда словно тошнитъ: тошнота-то милый человѣкъ, вѣдь своя, родная, прирожденная, такъ сказать, тошнота! Ну, потошнитъ — потошнитъ, да и пройдетъ! Это нужды нѣтъ, что временемъ, словно обухомъ по головѣ, тебя треснетъ: обухъ-то вѣдь свой, глуповскій обухъ, тотъ самый обухъ, который дѣйствуетъ по пословицѣ: кого люблю, того и бью, — бери же его благоговѣйно въ руки и поцѣлуй!.." („Полн. собр. сочин. М. Е. Салтыкова", 1900, т. II, стр. 413).

Сатирическія стрѣлы Щедрина, раньше направлявшіяся почти исключительно на верхніе слои, на чиновниковъ, помѣщиковъ и т. д., теперь мѣтятъ вообще въ „глуповцевъ, какъ таковыхъ, безъ различія званій и состояній, и не щадятъ, гдѣ нужно, и мужика. Въ отношеніи послѣдняго знаменательна одна страница „Сатиръ въ прозѣ", которую приводитъ и поясняетъ Михайловскій (Сочин., т. V, стр. 186—187) [1]). Это—„глуповскій анекдотъ", въ которомъ разсказывается, какъ авторъ, подъѣзжая однажды къ Глупову, былъ свидѣтелемъ мудрой распорядительности начальства, запрещавшаго баркамъ и лодкамъ переѣзжать рѣку Большую Глуповицу, пока нагружается паромъ. Одна лодочка не вытерпѣла и поплыла. Начальство тотчасъ отрядило „дантиста" „для преслѣдованія и наказанія ослушника". Дантистъ расправился на славу и „воздухъ огласился воплями раздирающими..." Но чтó всего ужаснѣе,—„толпа была весела, толпа

1) См. также у Кранихфельда („Міръ Божій", 1904 г., № 7, стр. 220—221).

развратно и подло хохотала. „Хорошéнь его, хорошéнь его!" неистово гудѣла тысячеустая. „Накладывай ему, накладывай! Вотъ такъ, вотъ такъ!" вторила она мѣрному хлопанью кулаковъ..." — Запротестовалъ только одинъ какой-то ста́рикъ, прошептавшій: „разбойники!" да и тотъ сейчасъ же испугался и поспѣшилъ уйти съ парома. Описавъ сцену, Щедринъ предлагаетъ разобрать ее „логически". Изъ этого разбора приведу только то, что относится къ поведенію толпы. Сатирикъ спрашиваетъ: „отчего ее не прорвало при видѣ этой гнусной расправы съ однимъ изъ своей среды?" — И отвѣчаетъ: потому что она, эта толпа, не доросла еще до понятія о безобразіи всяческаго насилія, — о томъ, „что нельзя же наказывать не только смертнымъ, но и никакимъ боемъ, и не только преступленіе, какъ, наприм., нарушеніе безсмысленнаго приказанія паромнаго унтеръ-офицера, но и всякое другое преступленіе, хотя бы отданное приказаніе было не безсмысленно и отдалъ его не унтеръ-офицеръ, а самъ Ударъ-Ерыгинъ..." — Такое сознаніе уже есть у насъ въ средѣ людей европейски-образованныхъ и мыслящихъ, но его нѣтъ въ народѣ, оно „недоступно грубой толпѣ, которая изъ-за куска насущнаго хлѣба потѣла и выбивалась изъ силъ, вскидывая вилами навозъ на телѣги и потомъ разбрасывая его по полямъ..." — Въ послѣднихъ строкахъ эта дикость толпы какъ бы оправдывается, т.-е. объясняется, — между тѣмъ какъ развитое гуманное сознаніе людей образованныхъ не вмѣняется имъ въ особую заслугу (они имѣли возможность дорости до него, ибо „занимались самоусовершенствованіемъ въ тиши кабинета, въ сообществѣ книжекъ" и т. д.). — Къ этому Щедринъ добавляетъ еще указаніе на то, что толпа имѣетъ „непреклонную вѣру въ роковую неизбѣжность силы". И въ этомъ она не виновата, потому что „живетъ не подъ вліяніемъ умозрѣній, а подъ вліяніемъ дѣйствія эмпириковъ и шарлатановъ, которые научили ее горькому житейскому опыту" („Полное собр. соч. М. С. Сал-

тыкова", т. II, стр. 408—409). При всемъ томъ, идеализація народа, къ которой еще недавно так склоненъ былъ Салтыковъ, по необходимости отпадаетъ теперь. Пусть народъ не виноватъ въ своей рабьей темнотѣ, въ своей дикости и приниженности, но эта тьма, дикость и раболѣпіе—остаются фактомъ. Его можно объяснить, но обѣлить его и примириться съ нимъ нельзя. На мѣсто еще недавняго „умиленія" выступаетъ негодованіе и — еще больше — презрѣніе, умѣряемое однако жалостью. Жалость и симпатія къ народной массѣ, томящейся въ непосильномъ трудѣ, въ темнотѣ, въ невѣжествѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ — презрѣніе къ тому же народу, какъ исторической „силѣ", вынесшей на своихъ плечахъ безобразный порядокъ вещей, его же угнетающій,— вотъ та руководящая точка зрѣнія писателя-гражданина, которая ляжетъ отнынѣ въ основу грозной и гнѣвной сатиры Щедрина. Это руководящее воззрѣніе онъ самъ выразилъ весьма опредѣленно въ извѣстномъ письмѣ, опубликованномъ Пыпинымъ („М. Е. Салтыковъ", стр. 11—13), которое онъ написалъ (въ 1871 г.) въ отвѣтъ на упреки одного критика, усмотрѣвшаго въ „Исторіи одного города" сатиру на историческое прошлое и презрѣніе къ русскому народу. Намъ придется позже остановиться на этомъ любопытномъ документѣ дальше, здѣсь приведемъ только то, что́ отвѣчаетъ Салтыковъ на упрекъ въ презрѣніи къ народу: „... что касается моего отношенія къ народу, то мнѣ кажется, что въ словѣ „народъ" надо отличать два понятія: народъ историческій и народъ, представляющій собою извѣстную идею... Первому, выносящему на своихъ плечахъ Бородавкиныхъ, Бурчеевыхъ и т. п., я, дѣйствительно, сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовалъ, и всѣ мои сочиненія полны этимъ сочувствіемъ" (Пыпинъ, стр. 13). — „Исторія одного города", которою мы займемся въ дальнѣйшемъ, безспорно занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ сатирическомъ наслѣдіи Щедрина. Здѣсь его негодующая мысль и возму-

щенное чувство обращаются не на отдѣльныя стороны или явленія современной русской жизни, а на цѣлое, на исторически сложившееся государственное цѣлое Россіи. Это въ тѣсномъ смыслѣ сатира политическая. Она создалась въ концѣ 60-хъ годовъ („Отеч. Зап.", 1869 г.), но была задумана или, такъ сказать, подготовлялась раньше. Этою подготовкою и явился тотъ пересмотръ вопроса о національномъ тяготѣніи, о стихійной любви къ Глупову, пересмотръ, которому посвящена не одна страница „Сатиръ въ прозѣ", гдѣ Глуповъ уже занимаетъ довольно видное мѣсто. Сатирикъ даетъ злую и яркую картину жизни, нравовъ и всей дикости, отсталости и спячки глуповцевъ, разрабатываетъ психологію глуповца, заглядываетъ мелькомъ и въ доисторическія времена Глупова, „исторію" котораго онъ напишетъ впослѣдствіи...

Надо отмѣтить, что въ этихъ первоначальныхъ очеркахъ Глупова сатирикъ не является безусловнымъ пессимистомъ. Онъ даже свидѣтельствуетъ, что нѣкогда Глуповъ назывался Умновымъ. Но уже во времена отдаленныя былъ переименованъ въ Глуповъ по приказанію Юпитера — за то собственно, что страдалъ болѣзненною спячкою, которой чуть былъ не подвергся и самъ Юпитеръ, однажды посѣтившій Глуповъ. Переименованіемъ глуповцы не обидѣлись и даже преподнесли Юпитеру хлѣбъ-соль. Очевидно, выходитъ такъ, что хорошіе задатки у глуповцевъ были, былъ даже умъ; но они осовѣли отъ спячки и съ теченіемъ времени потеряли способность ворочать мозгами. Когда однажды явилась въ Глуповъ Минерва, желая узнать, „какую это думу мудреную думаетъ Глуповъ, что все словно молчитъ да на усъ себѣ мотаетъ", — то глуповцы только кланялись и потѣли.—„Скажите, что жъ вы желали бы?" продолжаетъ вопрошать Минерва. А глуповцы все только кланяются да потѣютъ. „Тогда Богъ вѣсть откуда раздался голосъ, который во всеуслышаніе произнесъ: „лихо бы теперь соснуть

было!“ — Это обезоружило и смягчило богиню, которая отъ нетерпѣнія начала было уже сердиться и топать ножкой. Теперь она „милостиво улыбнулась“. А глуповцы засмѣялись тѣмъ „нутряннымъ смѣхомъ, которымъ долженъ смѣяться Иванушка-дурачекъ, когда ему кукишъ показываютъ“ (т. II, стр. 646).

Отъ этой-то фатальной сонливости и произошло то, что, собственно говоря, настоящей исторической жизни у глуповцевъ не было. Они проспали свою исторію, какъ проспали и умъ, и другіе хорошіе задатки, какіе у нихъ были нѣкогда (вѣдь когда-то они назывались „умновцами“). Такой взглядъ несомнѣнно отзывается тѣмъ историческимъ романтизмомъ, который былъ отличительною чертою славянофильства и также извѣстныхъ теченій народничества, идеализировавшихъ архаическія формы народнаго быта.

Итакъ, „у Глупова нѣтъ исторіи“ (645). Впрочемъ, по разсказамъ старожиловъ, какая-то исторія у нихъ хранилась на колокольнѣ, но ее крысы съѣли. Очевидно, въ тѣсной связи съ отсутствіемъ исторіи находится и тотъ курьезный фактъ, что „истинное глуповское міросозерцаніе состоитъ въ отсутствіи міросозерцанія“. Сатирикъ не считаетъ нужнымъ подтверждать это историческими изысканіями, потому что эти послѣднія уже произведены М. П. Погодинымъ. Но тутъ выходитъ недоразумѣніе, которое сатирикъ отмѣчаетъ мимоходомъ: „труды ли Михаила Петровича сдѣлали то, что Глуповъ кажется Глуповымъ, или Глуповъ сдѣлалъ то, что труды Михаила Петровича кажутся глуповскими? Петръ Великій создалъ Россію, или Россія создала Петра Великаго?“ (677—678).

Вообще сатирикъ не отчаивается въ будущемъ Глупова. Онъ даже думаетъ, что если система нажиманія и постукиванія по головамъ будетъ постепенно упраздняться, то изъ глуповцевъ еще можетъ выйти толкъ. Онъ полемизируетъ съ тѣми, которые утверждаютъ, будто „съ Глуповымъ относи-

тельно міросозерцанія безъ понудительныхъ мѣръ ничего не подѣлаешь“ (675). Къ прискорбію, оказывается, что сами глуповцы убѣждены въ этомъ. Они даже „дурѣютъ отъ любви къ тому, кто стучитъ имъ въ головы“, и становятся скучны и унылы, „если стучаніе почему-либо временно прекращается“ (677). Но сатирикъ видитъ здѣсь только недоразумѣніе и сожалѣетъ, что „никто еще не пробовалъ“ примѣнить къ глуповцамъ „систему поглаживанія по головкѣ“ (647). Обращаясь къ нимъ, онъ говоритъ: „Поймите, что отъ васъ совсѣмъ даже не такъ много требуется, какъ вы думаете; что никто не ожидаетъ, чтобъ вы непремѣнно, не сходя съ мѣста, сдѣлались умновцами, немедленно сказали новое слово и изобрѣли порохъ! Отъ васъ требуется только, чтобъ вы оказали охоту и прилежаніе—и ничего больше!“ (677).

Въ другомъ мѣстѣ сатирикъ разсказываетъ, какъ глуповцы воздвигли гоненіе на нѣкоего мосьё Шаликова, который скорбитъ о нихъ и „думаетъ о томъ, какими бы средствами можно бы сдѣлать изъ нихъ умновцевъ...“ (631). Глуповцы возненавидѣли Шаликова, потому что онъ — „принципъ, который подрываетъ“ глуповскія „основы жизни“ и нарушаетъ сонъ Глупова. Насталъ часъ пробужденія и критики. Нельзя сказать, чтобъ у глуповцевъ не было дотолѣ никакого нравственнаго принципа, не было никакихъ вѣрованій и мыслей. Они были. „Ты вѣровалъ, ты мыслилъ“, обращается сатирикъ къ глуповцу. „Это несомнѣнно, хотя вѣрованія твои были нелѣпы, хотя мысли твои были поганы“ (633). Теперь настала пора убѣдиться въ этомъ, — и глуповецъ, до сихъ поръ привыкшій страдать только физически („что плюха? съѣлъ плюху, съѣлъ двѣ — встряхнулся и пошелъ щеголять постарому...“), впервые восчувствовалъ страданія нравственныя: онъ „въ первый разъ понялъ, что значитъ настоятельное прикосновеніе къ нравственнымъ основамъ жизни, и какую страшную боль причиняетъ это прикосновеніе...“ (634). Оттуда — остервенѣлая ненависть къ Шаликовымъ, по край-

ней мѣрѣ со стороны закоренѣлыхъ глуповцевъ. Что же касается другихъ, не закоренѣлыхъ, то, повидимому, они и общественное мнѣніе, ими представляемое, мало симпатизируютъ Шаликову, а масса остается къ нему равнодушною (634). Во всякомъ случаѣ утѣшительно и то, что съ этой стороны нѣтъ вражды, а есть только равнодушіе. Это все-таки залогъ лучшаго будущаго. Сатирикъ все еще вѣритъ, что въ массахъ осталось нѣкое благое наслѣдіе отъ тѣхъ миѳическихъ временъ, когда Глуповъ назывался Умновымъ... Отъ баснословнаго Умнова доносятся вѣтры, освѣжающіе воздухъ Глупова... Выходитъ какъ-то такъ, что хотя глуповцы и поражены проказой, но „воздухъ Глупова чистъ"— и „благодаря этой чистотѣ" въ немъ „ощущается та струя честности, которая полагаетъ непереступаемыя границы распущенности глуповцевъ" (634—635). И сатирикъ, ободренный этой струею честности, обращается къ глуповцу съ такимъ увѣщаніемъ: „Сойди въ трущобы своего собственнаго сердца, о глуповецъ, и очисти ихъ отъ наслоившагося вѣками навоза! И тамъ ты отыщешь зачатки нѣкоторой застѣнчивости, и тамъ ты доскребешься до чего-то похожаго на робкое признаніе силы добра!" (635). Большихъ упованій на это очищеніе сатирикъ не возлагаетъ, но все-таки думаетъ, что такимъ путемъ глуповецъ можетъ добраться до „спасительнаго трепета", „который не дозволяетъ надругаться надъ тѣмъ, что, по общему, вселенскому сознанію, признается за добро". И затѣмъ, рядомъ житейскихъ примѣровъ, Щедринъ показываетъ, въ чемъ состоитъ и какъ проявляется вліяніе „честной струи".

3.

Характеръ и основной смыслъ сатиры Щедрина 50-хъ и въ значительной мѣрѣ также и 60-хъ годовъ находились въ самой тѣсной зявисимости отъ народнической и демократи-

ческой точки зрѣнія или программы, которую Салтыковъ раздѣлялъ вмѣстѣ съ другими передовыми дѣятелями эпохи. Если въ 60-хъ годахъ у него и у Некрасова ноты умиленія и смиренія, звучавшія въ 50-хъ, пошли на убыль и вскорѣ совсѣмъ исчезли, то это еще не значило, чтобы исчезла у нихъ и народническая точка зрѣнія въ вопросахъ общественной жизни и внутренней политики. Сущность передового демократическаго движенія 60-хъ годовъ сводилась къ тому, что на первый планъ выдвигались интересы народа, какими они представлялись въ данный моментъ, идеалы же интеллигенціи отступали на второй планъ, а, главное, игнорировался и порою совсѣмъ отрицался чисто-политическій вопросъ, постановка котораго представлялась (да такъ оно и было на самомъ дѣлѣ) несвоевременною и идущею въ разрѣзъ съ настоятельными интересами и вопіющими нуждами крестьянской массы. Политическій вопросъ подымался тогда лишь въ нѣкоторыхъ слояхъ будирующаго дворянства, далеко еще не освободившагося отъ крѣпостническихъ традицій. Передовая интеллигенція поэтому открыто выступала противъ „конституціонныхъ“ поползновеній этого класса. Оттуда и столь извѣстное вышучиваніе „конституцій“ въ сатирѣ Щедрина. Всѣ упованія возлагались друзьями народа на правительство или, вѣрнѣе, на прогрессивные элементы въ немъ. Это придало какъ бы нѣкоторый „бюрократическій“ оттѣнокъ прогрессивнымъ стремленіямъ демократовъ-радикаловъ, которые въ этомъ направленіи иногда заходили дальше, чѣмъ слѣдовало бы, хотя бы, напр., въ отношеніи къ земской реформѣ, не оцѣненной ими по достоинству. Салтыковъ не переставалъ вышучивать земство и иронизировать надъ „сѣятелями и дѣятелями“ въ теченіе всей второй половины 60-хъ годовъ и еще въ началѣ 70-хъ, къ великому негодованію нѣкоторыхъ либераловъ-земцевъ того времени и къ нескрываемому удовольствію „бюрократовъ“.

Вообще движенiе, оживленiе и всѣ „вѣянiя" эпохи реформъ имѣли весьма мало общаго не только по размѣрамъ, но по характеру своему, съ тѣмъ движенiемъ, которое охватило всю Россiю въ наши дни. Эпоха конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ была, конечно, великимъ поворотнымъ пунктомъ русской исторiи, но, въ силу самой исторической „логики" вещей, этотъ поворотъ не былъ и не могъ быть освобожденiемъ, а былъ только раскрѣпощенiемъ. За отсутствiемъ организованныхъ общественныхъ силъ, это раскрѣпощенiе могло осуществиться только путемъ реформъ сверху, проводимыхъ „бюрократически", причемъ тщательно вытравлялись тѣ „пункты" въ реформахъ, которые такъ или иначе отзывались уже не только раскрѣпощенiемъ, а нѣкоторымъ освобожденiемъ. Передовая публицистика, конечно, отстаивала эти „пункты", какъ могла и умѣла, но за всѣмъ тѣмъ преобладающее значенiе и рѣдкую популярность имѣла мысль, что освобожденiе есть нѣкоторая роскошь, нужная собственно для „господъ" и для интеллигенцiи, а народу, послѣ раскрѣпощенiя, нужна пока только земля, сохраненiе общины и элементарное образованiе. Въ общемъ и Салтыковъ раздѣлялъ эту мысль, хотя (надо отдать ему справедливость) своею мѣткою сатирою онъ, можетъ быть, больше, чѣмъ кто-либо, содѣйствовалъ росту освободительныхъ идей и критическому отношенiю къ бюрократическимъ основамъ жизни.

Сатирическое творчество Салтыкова поражаетъ насъ своею разносторонностью. Нѣтъ такой темной силы, которая укрылась бы отъ его проницательнаго взора и не вызвала бы его гнѣвнаго негодованiя. Онъ нападалъ на всѣ ретроградные элементы въ правительствѣ и въ обществѣ, на сословныя претензiи дворянъ, на крѣпостничество помѣщиковъ, на кулаковъ-мiроѣдовъ, на новую „буржуазiю", на биржевиковъ и дѣльцовъ, на пустословiе и поверхностный либерализмъ въ земствѣ, на лицемѣровъ, ханжей, „пѣнкоснимателей" и

2*

т. д., и т. д. Изъ этого огромнаго репертуара мы остановимся здѣсь только на бюрократіи, какъ на объектѣ сатиры Щедрина въ эпоху 50—60-хъ годовъ.

„Губернскіе очерки" были направлены не противъ бюрократіи, какъ таковой, а противъ дореформенныхъ порядковъ, противъ отживающихъ нормъ бюрократическаго произвола и еще болѣе противъ крѣпостничества. И самъ сатирикъ въ то время былъ „бюрократомъ"—чиновникомъ особыхъ порученій при вятскомъ губернаторѣ, потомъ при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, потомъ вице-губернаторомъ и т. д. Какъ извѣстно, онъ былъ въ этой роли чиновника, ревизора, слѣдователя, начальника — строгъ, взыскателенъ, неподкупенъ, нелицепріятенъ, вообще являлся вѣрнымъ представителемъ нарождавшагося тогда типа либеральнаго, просвѣщеннаго и демократически-настроеннаго дѣятеля-бюрократа. Этотъ „бюрократъ" однако хорошо понималъ необходимость ограниченія бюрократическаго произвола и въ офиціальной запискѣ „Объ устройствѣ градскихъ и земскихъ полицій" (1857 г.) настаивалъ на „возвышеніи земскаго начала насчетъ бюрократическаго" и на необходимости децентрализаціи, утверждая, что излишняя централизація вредитъ мѣстнымъ интересамъ и порождаетъ массу чиновниковъ, „чуждыхъ населенію и по духу, и по стремленіямъ, не связанныхъ съ ними никакими общими интересами, безсильныхъ на добро, но въ области зла являющихся страшной, разъѣдающей силой" („Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова", статья К. Арсеньева, „Полное собр. соч. М. Е. Салтыкова", С.-Петерб., 1900 г., т. I, стр. 66) [1]). Мало того: въ той же запискѣ Салтыковъ, задолго до введенія земскихъ учрежденій, ратуетъ за расширеніе земской самодѣятельности, указывая на вредъ излишней регламентаціи частныхъ интересовъ и правитель-

[1]) См. также: К. К. Арсеньевъ. „Салтыковъ—Щедринъ" (въ библіотекѣ „Свѣточа", С.-Петерб. 1906), стр. 19—21.

ственнаго вмѣшательства „въ мелочныя отправленія народной жизни“ (тамъ же, 66). „Правительство не имѣетъ надобности навязывать земству такіе-то и такіе-то интересы, а не тѣ, которые стоятъ на первомъ планѣ у самого земства. Задача правительства ограничивается соглашеніемъ мѣстныхъ интересовъ съ общегосударственными“ (тамъ же, стр. 64). Тѣмъ не менѣе, какъ только возникла опасность сословныхъ притязаній, напр., дворянскихъ, въ ущербъ интересамъ крестьянства, Салтыковъ не колебался рекомендовать правительственное вмѣшательство и усиленіе бюрократическаго элемента. Такъ, въ 1861 году въ статьѣ „Объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ“ онъ ополчается противъ тенденцій дворянско-консервативной партіи, выразившихся въ статьѣ Ржевскаго („Нѣсколько словъ о дворянствѣ“), который доказывалъ, что выбранные дворянствомъ мировые посредники будутъ на высотѣ своего призванія и въ особомъ контролѣ не нуждаются. Салтыковъ, напротивъ, настаиваетъ на необходимости контроля, проектируя устройство ежегодныхъ губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ и настаивая на участіи въ этихъ съѣздахъ представителей отъ правительства въ лицѣ членовъ губернскаго крестьянскаго присутствія и правительственныхъ членовъ уѣздныхъ мировыхъ съѣздовъ (Арсеньевъ, стр. 82). Главнымъ мотивомъ такого проекта послужило Салтыкову убѣжденіе, что „слишкомъ мало распространена въ средѣ дворянства подготовка къ серьезному труду, къ пониманію крестьянскихъ интересовъ [1]) (тамъ же, стр. 81). Когда же, въ жару этой полемики, Ржевскій обозвалъ Салтыкова бюрократомъ, то сатирикъ открыто заявилъ, что это слово его не пугаетъ, что оно вовсе не оскорбительно и только „выражаетъ собою принципъ, котораго участіе въ жизненныхъ отправленіяхъ государства столь же необходимо, какъ и участіе земства“

[1]) Курсивъ мой.

(тамъ же, стр. 85). Въ свою очередь, въ жару полемики, Салтыковъ зашелъ слишкомъ далеко: онъ сталъ доказывать, будто у насъ бюрократіи въ собственномъ смыслѣ нѣтъ, потому что нѣтъ еще самоуправляющагося земства... „Называя меня бюрократомъ, — говоритъ онъ, — г. Ржевскій, очевидно, не сознавалъ, что употребляетъ выраженіе, которому въ русской жизни нѣтъ соотвѣтственнаго понятія...“ (тамъ же) [1]. К. К. Арсеньевъ замѣчаетъ, что слово „бюрократъ“, въ порицательномъ смыслѣ, пускалось въ ходъ въ тѣ времена преимущественно сторонниками помѣщичьихъ интересовъ и сословно-реакціонныхъ стремленій. „Бюрократами слыли тогда въ извѣстныхъ сферахъ Николай Милютинъ, Яковъ Соловьевъ и другіе дѣятели редакціонныхъ комиссій; неудивительно, что къ тому же сонму оказался сопричисленнымъ и Салтыковъ, и столь же понятно, что онъ отнесся довольно хладнокровно къ этому сопричисленію“ (тамъ же, стр. 90—91).

„Бюрократизмъ“ Салтыкова состоялъ въ томъ, что, какъ только дѣло шло о защитѣ народныхъ интересовъ, и если можно было надѣяться найти эту защиту во вмѣшательствѣ правительственной власти, онъ не колеблясь предпочиталъ бюрократическое воздѣйствіе или контроль общественной иниціативѣ, ибо плохо вѣрилъ въ безкорыстіе и достоинство этой послѣдней.

Но это нисколько не мѣшало сатирику сознавать и обличать темныя стороны бюрократіи, въ особенности высшей, въ которой онъ усматривалъ только замаскированную форму сословной (дворянской) опеки, съ удивительной мѣткостью разоблачая реакціонныя и сословно-эгоистическія тенденціи въ „политикѣ“ „помпадуровъ“. Уже въ отвѣтѣ Ржевскому онъ, между прочимъ, говоритъ: „Гдѣ взяли, откуда вывели

[1]) Этотъ эпизодъ прекрасно комментированъ В. П. Кранихфельдомъ, гдѣ читатель найдетъ освѣщеніе вопроса о „бюрократизмѣ“ Салтыкова („Міръ Божій“, 1904 г., № 7, стр. 239 и сл.).

эти господа русскую бюрократію, отдѣльную отъ русскаго дворянства — это тайна, разгадки которой слѣдуетъ искать въ трущобахъ сердецъ ноздревскихъ..." (тамъ же, стр. 85). И затѣмъ въ рядѣ блестящихъ очерковъ, озаглавленныхъ „Помпадуры и помпадурши", начатыхъ въ 60-хъ годахъ и продолженныхъ въ 70-хъ, потомъ въ знаменитыхъ „Ташкентцахъ" (70-хъ гг.), сатирикъ — съ этой именно точки зрѣнія — освѣщаетъ „внутреннюю политику" администраторовъ въ родѣ Ударъ-Ерыгина, Митеньки Козелкова и т. д., и т. д. Передъ нами великолѣпная галлерея типовъ, изображенныхъ рѣзко-сатирически и зачастую каррикатурно, но въ то же время поражающихъ глубокою жизненностію и зловѣщею правдою художественнаго воспроизведенія. Изъ этой жизненности и правды сама собою выдѣляется рѣзкая политика всего строя нашей государственной жизни, придающая сатирѣ Щедрина значеніе и смыслъ сатиры политической. Такой высоты она достигла въ 70-хъ годахъ, но начало этого подъема было сдѣлано въ концѣ 60-хъ годовъ — въ знаменитой „Исторіи одного города" („Отеч. Зап." 1869 г.), о которой мы поведемъ рѣчь въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА II.

Политическая сатира Салтыкова.—„Исторія одного города".

1.

Въ предыдущей главѣ я привелъ одно мѣсто изъ письма Салтыкова къ Пыпину, гдѣ сатирикъ возражаетъ на упреки одной критической статьи объ „Исторіи одного города". Теперь намъ необходимо ближе познакомиться съ этимъ любопытнымъ документомъ.

Полагая, что въ „Исторіи одного города" Салтыковъ направилъ свои сатирическія стрѣлы на историческое прошлое Россіи, критикъ указывалъ на всю несообразность такой „исторической" сатиры. Какой смыслъ—высмѣивать исторію?—Вотъ именно въ отвѣтъ на этотъ упрекъ Салтыковъ писалъ: „Взглядъ на мое сочиненіе, какъ на опытъ исторической сатиры, совершенно невѣренъ: мнѣ нѣтъ никакого дѣла до исторіи, и я имѣю въ виду лишь настоящее" [1]) (Пыпинъ, „М. Е. Салтыковъ", стр. 11).—Намъ теперь кажется почти непонятнымъ, какъ можно было принять „Исторію одного города" за сатиру на прошлое,—да и какъ можно было приписывать столь пустую затѣю писателю съ такимъ огромнымъ умомъ и талантомъ, какъ Салтыковъ. Неужели такъ трудно было догадаться, что подъ

[1]) Курсивъ мой.

историческою личиною, подъ маскою прошлаго въ этомъ произведенiи скрывалась злая сатира на настоящее, на Россiю XIX вѣка?—Сатирику пришлось—въ томъ же письмѣ—пояснять: „Историческая форма разсказа была для меня удобна потому, что позволяла мнѣ свободнѣе обращаться къ извѣстнымъ явленiямъ жизни".—Итакъ, это была маска. И, надо сказать правду, она была выбрана чрезвычайно удачно. Какъ извѣстно, за исключенiемъ нѣсколькихъ страницъ въ началѣ, трактующихъ о „временахъ доисторическихъ" („О корени происхожденiя глуповцевъ"), все содержанiе сатиры облечено, такъ сказать, въ костюмъ XVIII вѣка и начала XIX. Оправдывая этотъ прiемъ, Салтыковъ говоритъ: „Можетъ быть, я и ошибаюсь, но во всякомъ случаѣ ошибаюсь совершенно искренно, что т ѣ ж е с а м ы я о с н о в ы ж и з н и, к о т о р ы я с у щ е с т в о в а л и в ъ XVIII в ѣ к ѣ, с у щ е с т в у ю т ъ и т е п е р ь [1]. Слѣдовательно, „историческая" сатира вовсе не была для меня цѣлью, а только формою" (П ы п и н ъ, стр. 11—12).—Здѣсь характерна лукавая осторожность выраженiя: „можетъ быть, я и ошибаюсь..."—Дѣло въ томъ, что послѣ перiода реформъ и возрожденiя (первой половины 60-хъ годовъ) у многихъ слагалось ложное представленiе, будто между дореформенною Россiею, а тѣмъ паче Россiей XVIII вѣка, и современною залегла цѣлая пропасть, будто коренным образомъ измѣнились самыя основы жизни. Это была невольная иллюзiя людей, лишенныхъ политическаго воспитанiя. Вообще мы, русскiе, склонны къ иллюзiямъ исторической перспективы, къ страннымъ ошибкамъ чувства историческаго времени, неизвѣстнымъ западной Европѣ. Въ 30-хъ годахъ мыслящимъ людямъ казалось, что отъ эпохи Екатерины II и даже Александра I Россiя ушла очень, очень далеко, что порядки, бытъ, нравы, понятiя съ тѣхъ поръ измѣнились до неузнаваемости. Чац-

[1]) Курсивъ мой.

кій еще въ первой половинѣ 20-хъ годовъ говорилъ о „временахъ очаковскихъ и покоренья Крыма“, какъ о чемъ-то давнымъ-давно пережитомъ и сданномъ въ архивъ исторіи. Бѣлинскому Фамусовы и Скалозубы казались тѣнями прошлаго, выходцами съ того свѣта. Для людей 60-хъ годовъ эпоха 40-хъ представлялась далекимъ прошлымъ, хотя ея представители были тогда во цвѣтѣ силъ и дарованій и являлись ея живыми свидѣтелями.—Мыслящее общество въ Россіи—со временъ Радищева и Новикова и доселѣ—жило ускоренною жизнью, догоняя, а иногда даже опережая мыслящую Европу,—и быстрая смѣна направленій, умственныхъ интересовъ и идей, быстрый ростъ національнаго самосознанія, спѣшность моральнаго и общественнаго развитія заслоняли отъ глазъ современниковъ относительную неподвижность государственнаго „организма“ Россіи. А когда насталъ чередъ реформъ, то и почудилось, будто этой неподвижности уже и нѣтъ, что все измѣнилось, все тронулось, все движется...

Салтыковъ былъ совершенно свободенъ отъ такихъ иллюзій. И этою свободою онъ былъ, думается мнѣ, обязанъ не только проницательности и трезвости своего ума и особенностямъ дарованія, но также и тому обстоятельству, что самъ онъ прошелъ карьеру и искусъ чиновника, бюрократа. Онъ былъ однимъ изъ винтовъ той машины, которой основы и духъ, при всѣхъ „улучшеніяхъ“ и измѣненіяхъ внѣшнихъ формъ, нравовъ и т. д., оставались неизмѣнными. Изъ него вышелъ настоящій поэтъ россійскаго произвола во всѣхъ его видахъ, во всѣхъ формахъ его проявленія, и мы знаемъ, до какихъ художественныхъ высотъ, до какого паѳоса и лиризма подымался онъ въ своей гнѣвной сатирѣ.

Продолжая выяснять свои намѣренія и смыслъ сатиры, Салтыковъ говоритъ: „Конечно, для простого читателя не трудно ошибиться и принять историческій пріемъ за чистую монету, но критикъ долженъ быть прозорливъ и не

только самъ угадать, но и другимъ внушить, что Парамоша совсѣмъ не Магницкій только, но вмѣстѣ съ тѣмъ и NN. И даже не NN, а всѣ вообще люди извѣстной партіи, и нынѣ не утратившей своей силы“ (Пыпинъ, стр. 12).

Поистинѣ приходится удивляться, какъ недогадливы были тогда нѣкоторые (а, можетъ быть, и многіе) читатели и какъ мало прозорливости было у нѣкоторыхъ критиковъ. И тѣхъ, и другихъ ввели въ заблужденіе рѣзкія черты сатиры, столь живо воспроизводящія дикость административныхъ порядковъ и нравовъ нашего сравнительно недавняго прошлаго (XVIII вѣка и половины XIX). Нравы съ тѣхъ поръ смягчились, формы административнаго произвола измѣнились, и сатира Салтыкова казалась запоздалою, несвоевременною, какъ будто исчезъ самый принципъ, на который она была направлена, самый фактъ произвола. Можно подумать, что тѣ, которые такъ превратно поняли сатиру, недостаточно живо реагировали на политическій гнетъ, на административный произволъ, на сгущавшіяся тучи реакціи. Тутъ дѣйствовала уже другаи иллюзія, кромѣ той, на которую я указалъ выше: когда вмѣстѣ съ дореформенными порядками былъ устраненъ гнетъ николаевскаго режима, тогда общество испытало то чувство облегченія, въ силу котораго казалось, будто никакого гнета уже нѣтъ. Такъ человѣку, сбросившему четверть тяжелой ноши, кажется на первыхъ порахъ, что онъ сбросилъ всю тяжесть.

Смягченіе формъ произвола не значитъ его устраненіе. Но мы, русскіе, привыкли довольствоваться смягченіемъ формъ и до послѣдняго времени очень туго поддавались мысли о необходимости устраненія самаго принципа произвола. Мы охотно оставляли принципъ въ неприкосновенности, забывая или не додумываясь, что, напр., аракчеевщина, которая всѣхъ возмущала даже заднимъ числомъ, была только крайнимъ выраженіемъ все того же принципа. Сатирикъ

думалъ, что для развѣнчанія принципа нужно именно взять его наиболѣе яркія и крайнія выраженія.

Отвѣчая далѣе на упрекъ (съ легкой руки Писарева повторявшійся много разъ) въ „смѣхѣ ради смѣха", Салтыковъ говоритъ: „Я, благодаря моему Создателю, могу каждое мое сочиненіе объяснить, противъ чего они направлены, и доказать, что они именно направлены противъ тѣхъ проявленій произвола и дикости [1]), которыя каждому честному человѣку претятъ. Такъ, напр., градоначальникъ съ фаршированной головой означаетъ не только человѣка съ фаршированной головой, но именно градоначальника, распоряжающагося судьбами многихъ тысячъ людей [1]). Это даже не смѣхъ, а трагическое положеніе..." (Пыпинъ, стр. 12—13).—Къ сожалѣнію, трагизмъ этого „положенія" долго не сознавали многіе, слишкомъ многіе...

„Изображая жизнь, находящуюся подъ игомъ безумія,—читаемъ дальше,—я разсчитывалъ на возбужденіе въ читателѣ горькаго чувства, а отнюдь не веселонравія..."

Въ заключеніе сатирикъ возражаетъ на упрекъ въ глумленіи надъ народомъ. Здѣсь онъ говоритъ, что надо различать „народъ историческій" и „народъ, представляющій собою извѣстную идею", и что „первому, выносящему на своихъ плечахъ" тотъ произволъ и ту дикость, которые бичуетъ сатирикъ, онъ, „дѣйствительно, сочувствовать не можетъ". Но въ предыдущей главѣ мы видѣли, какъ сочувствовалъ Салтыковъ русскому народу въ его данномъ состояніи, исторически сложившемся подъ сѣнью все того же произвола. Мы знаемъ также, что это чувство къ народу не чуждо было нѣкоторыхъ „народническихъ" и даже націоналистическихъ примѣсей, которыя, правда, потомъ отпали; но, какъ извѣстно, сочувствіе народу осталось у Салтыкова

[1]) Курсивъ мой.

до конца жизни. Такъ вотъ можетъ показаться, какъ будто вышеприведенныя признанія находятся въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ этою любовью Салтыкова къ народу. Но не трудно видѣть, что въ существѣ дѣла никакого противорѣчія тутъ нѣтъ: можно любить народъ и національность и въ то же время не мириться съ тѣми сторонами народной и національной психологіи, которыя являются опорою и, такъ сказать, историческимъ оправданіемъ „произвола" и „дикости". Лучшимъ русскимъ людямъ хорошо знакомо это раздвоеніе демократическаго и національнаго чувства. Извѣстныя слова Потугина (въ „Дымѣ"), которыми онъ характеризуетъ свое чувство къ Россіи („я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу... я и люблю и ненавижу свою Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину..."), всецѣло могутъ быть взяты и для характеристики того двойственнаго чувства къ народу, о которомъ мы говоримъ. Но только оно еще сложнѣе: оно осложняется жалостью, состраданіемъ, снисхожденіемъ къ многострадальной народной массѣ, выносящей произволъ и дикость, такъ сказать, поневолѣ, въ силу особливо-тяжелыхъ условій историческаго прошлаго, въ силу темноты и скудости ея жизни въ настоящемъ. Это осложненіе отмѣчено Пыпинымъ въ слѣдующихъ словахъ, которыми онъ поясняетъ признанія Салтыкова: „Нужны ли дальнѣйшія объясненія послѣ „Пошехонской старины"? Если Салтыкову были антипатичны, столько же въ народной массѣ, сколько и въ самомъ обществѣ, ихъ вопіющіе и не подлежащіе никакому сомнѣнію недостатки — умственная лѣнь, тупая вражда къ просвѣщенію, непониманіе общественныхъ интересовъ, огрубѣніе, доходящее до дикости, то какимъ глубокимъ чувствомъ соболѣзнованія проникнуто это послѣднее произведеніе Салтыкова, которое останется, вѣроятно, навсегда самой вѣрной, глубокой и потрясающей картиной эпохи крѣпостного права!" (стр. 14).

2.

Нѣкоторымъ извиненіемъ тѣмъ читателямъ и критикамъ, которые усмотрѣли въ „Исторіи одного города“ „историческую“ сатиру и „смѣхъ ради смѣха“, можетъ однако послужить то обстоятельство, что, дѣйствительно, это произведеніе слишкомъ щедро уснащено чертами XVIII вѣка и начала XIX, а также изобилуетъ смѣхотворными эпизодами и замысловатыми подробностями, могущими заслонять истинный смыслъ, главную идею сатиры. Перечитывая, напримѣръ, главу IV („Сказаніе о шести градоначальницахъ“), мы невольно поддаемся мысли, что сатирикъ увлекся избранною формою и, незамѣтно для самого себя, написалъ пародію на извѣстныя событія изъ исторіи XVIII вѣка. Кромѣ того, обиліе смѣхотворныхъ эпизодовъ и деталей придавало произведенію болѣе невинное обличіе — сатиры бытовой, „сатиры нравовъ“. Минуя эти заслоняющія подробности и останавливаясь на существенномъ, вдумчивый читатель легко уяснитъ себѣ и смыслъ сатиры, и ея широкій размахъ, и ея глубокій захватъ...

Возстановимъ въ памяти важнѣйшіе эпизоды.

Въ главѣ V („Органчикъ“) разсказывается о градоначальникѣ съ „органчикомъ“ въ головѣ. Когда машинка дѣйствовала, градоначальникъ свирѣпо вращалъ глазами, кричалъ „раззорю“ и „не потерплю“ и поступалъ соотвѣтственно. Онъ былъ назначенъ „впопыхахъ“ и произвелъ на глуповцевъ удручающее впечатлѣніе. Это впечатлѣніе однако готово было изгладиться на одномъ изъ пріемовъ „именитѣйшихъ представителей глуповской интеллигенціи“, принесшихъ положенные дары: градоначальникъ, пріявъ дары, благосклонно улыбался и уже хотѣлъ сказать нѣсколько словъ, вѣроятно, столь же благосклонныхъ. Но тутъ произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное и страшное: „внутри у него зашипѣло и зажужжало, и чѣмъ болѣе длилось это

таинственное шипѣніе, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе вертѣлись и сверкали его глаза“. „П... п... плю!“ наконецъ вырвалось у него изъ устъ, и онъ убѣжалъ. Глуповцы остолбенѣли. „Но въ томъ-то и заключалась доброкачественность нашихъ предковъ,—говоритъ сатирикъ,—что, какъ ни потрясло ихъ описанное выше зрѣлище, они не увлеклись ни модными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархіей, но остались вѣрными начальстволюбію и только слегка позволили себѣ пособолѣзновать и попѣнять на своего болѣе чѣмъ страннаго градоначальника“ („Полн. собр. соч. М. Е. Салтыкова“, 1900 г., т. VII, стр. 34—35).—Дѣло разъяснилось, когда обыватели узнали, что въ головѣ градоначальника находился „органчикъ“, и что въ данное время машинка испортилась. Это открытіе произвело сенсацію, и глуповцы, собравшись въ клубѣ, вызвали въ качествѣ эксперта смотрителя народнаго училища, которому предложили такой вопросъ: „бывали ли въ исторіи примѣры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имѣя на плечахъ порожній сосудъ?“—„Смотритель подумалъ съ минуту и отвѣчалъ, что въ исторіи многое покрыто мракомъ; но что былъ однако же нѣкто Карлъ Простодушный, который имѣлъ на плечахъ хотя и не порожній, но все равно какъ бы порожній сосудъ, а войны велъ и трактаты заключалъ“ (тамъ же, стр. 38).

Глава X („Войны за просвѣщеніе“) рисуетъ картину борьбы глуповцевъ съ реформаторскими стремленіями градоначальника Бородавкина, хотѣвшаго во что бы то ни стало ввести въ употребленіе горчицу и лавровый листъ. Глуповцы оказываютъ упорное, но совершенно пассивное сопротивленіе: „энергіи дѣйствія они съ большою находчивостью противупоставили энергію бездѣйствія“ (стр. 108).

Описывая разныя перипетіи этой борьбы, Щедринъ рисуетъ обѣ „энергіи“—дѣйствія и бездѣйствія—въ чертахъ столь рѣзкихъ и карикатурныхъ, что иностранецъ, не знаю-

щій Россіи, принялъ бы сатиру Щедрина за грубый шаржъ. Но мы, русскіе, хорошо знаемъ, какъ близка она къ дѣйствительности, изобилующей своими „шаржами“, не уступающими замысловатымъ разсказамъ сатирика. И на эти „шаржи“ самой дѣйствительности нельзя смотрѣть какъ на уклоненіе отъ нормы, какъ на злоупотребленіе: они—по существу дѣла—были всегда въ полномъ согласіи съ основными началами нашего строя. Беззаконіе, произволъ, съ одной стороны, трепетъ и растерянность—съ другой, „энергія дѣйствія“ („раззорю“ и „не потерплю“) власть имущихъ и „энергія бездѣйствія“ обывателей, живо чувствующихъ давящій ихъ гнетъ, но относящихся къ нему пассивно, какъ къ слѣпой стихійной силѣ, и не умѣющихъ возвыситься до критики принципа, на которомъ онъ основанъ,—вотъ правдивая картина нашихъ внутреннихъ отношеній, нарисованная Салтыковымъ.

Въ главѣ XI („Эпоха увольненія отъ войнъ“) обращаетъ на себя вниманіе эпизодъ о градоначальникѣ Беневоленскомъ, гдѣ на первый взглядъ, при бѣгломъ чтеніи, можно усмотрѣть просто невинную шутку и пародію на дѣятельность Сперанскаго. Но при большей вдумчивости читатель извлечетъ изъ этихъ страницъ Салтыкова одну очень серьезную и очень горькую мысль, ту самую, которая властно навязывается намъ, когда мы читаемъ историческія изслѣдованія о либеральныхъ начинаніяхъ при Александрѣ I. Это именно мысль, что эти начинанія, не исключая и „конституціи“ Сперанскаго, были какою-то злою шуткою, какою-то пародіею на либерализмъ, игрою въ законодательство. Не даромъ передовые люди эпохи, какъ, напримѣръ, Н. И. Тургеневъ, относились къ дѣятельности Сперанскаго съ полнымъ равнодушіемъ, Правда, отрицательное отношеніе сатирика къ либеральнымъ начинаніямъ Сперанскаго имѣло и другую основу. Въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, когда были проведены въ жизнь реформы, хотя и урѣзанныя реакціею, политическій

либерализмъ и конституціонныя идеи, какія тогда кое-гдѣ возникали, казались „политиканствомъ“. Тѣмъ не менѣе была очень распространена мысль, что въ будущемъ предстоитъ какая-то „конституція“, и что едва ли она будетъ отвѣчать потребностямъ народа. Выраженіе „буржуазная конституція“ считалось плеоназмомъ: подразумѣвалась, что „конституція“ не можетъ быть иною, какъ только „буржуазною“. Таково было отношеніе къ этому вопросу въ радикальныхъ кругахъ, въ передовой публицистикѣ, въ средѣ дѣятелей, посвящавшихъ свою жизнь служенію народу. Сатира Щедрина отражала это настроеніе, заблаговременно высмѣивая идею бюрократической, дворянской и буржуазной „конституціи“. Въ лучшихъ даже умахъ того времени какъ-то не укоренялась мысль освобожденія, главнымъ образомъ потому, что тогда не былъ еще ясенъ весь демократизмъ этой мысли. Конечно, теоретически и тогда можно было показать истинно народное значеніе освободительной идеи — и являлись уже публицисты, которые это утверждали. Но ихъ голосъ остался гласомъ вопіющаго въ глуповской пустынѣ. Нужны были не теоретическія, а пратическія доказательства, — уроки исторіи, бьющіе въ глаза факты жизни, непосредственно воздѣйствуюшіе на сознаніе обывателя, воспитывающіе коллективную мысль.

3.

Въ заключительной главѣ (XIII) сатира становится особливо мрачною, и ея основная идея, опредѣляемая выраженіемъ: „жизнь подъ игомъ безумія“, выступаетъ во всемъ своемъ грозномъ и зловѣщемъ значеніи.

Извлечемъ мысленно изъ самой дѣйствительности всю ту сумму гнета, произвола и мракобѣсія, какая въ ней была и есть, соберемъ эту сумму въ одномъ фокусѣ, — и мы получимъ картину какой-то темной, слѣпорожденной силы, которая недоступна никакому просвѣтительному воздѣйствію и

готова на все, чтобы только задушить всякій проблескъ мысли, всякое дыханіе новой жизни. Поставимъ эту слѣпую силу лицомъ къ лицу съ тѣмъ, что называется „ходомъ вещей“, требованіями времени, прогрессомъ, развитіемъ и т. д.,—и мы увидимъ, что эта сила захочетъ — остановить время, задержать ходъ вещей, прекратить развитіе жизни. Поскольку „ходъ вещей“, осложненіе и развитіе жизни, ростъ сознанія, прогрессъ и т. д. являются своего рода движеніемъ стихійнымъ, исторически законнымъ и неизбѣжнымъ, постольку попытка остановить его уподобится нелѣпой борьбѣ со стихіями и обнаружитъ очевидные признаки настоящаго безумія въ психіатрическомъ смыслѣ слова. И тогда зрѣлище жизни, томящейся подъ игомъ этого безумія, явится въ томъ ужасающемъ, зловѣщемъ видѣ, въ какомъ она изображена въ послѣдней главѣ „Исторіи одного города“.

Геніальное воплощеніе слѣпорожденной силы Салтыковъ далъ въ лицѣ Угрюмъ-Бурчеева, въ которомъ слѣдуетъ видѣть сумму и квинтъ-эссенцію всяческаго гнета, произвола и мракобѣсія, собранную и сгущенную такъ, что подлинная природа или существо этой „силы“ и ея роль въ исторіи человѣчества выступаютъ передъ нами въ своемъ настоящемъ свѣтѣ...

Вспомнимъ: „Онъ былъ ужасенъ...“—„Совершенно беззвучнымъ голосомъ выражалъ онъ свои требованія и неизбѣжность ихъ выполненія подтверждалъ устремленіемъ пристальнаго взора, въ которомъ выражалась какая-то неизреченная безстыжесть...“ Онъ былъ маніакъ „всеобщей нивеллировки“. Его идеаломъ были: „прямая линія, отсутствіе пестроты“, гладь и тишь, омертвѣніе жизни, полный застой.— „Разума онъ не признавалъ вовсе и даже считалъ его злѣйшимъ врагомъ, окутывающимъ человѣка сѣтью обольщеній и опасныхъ привередничествъ“. Когда онъ встрѣчалъ что-нибудь нарушающее мертвенный покой жизни и однообразіе ландшафта, онъ только спрашивалъ: „зачѣмъ?“ и спѣшилъ

принять мѣры къ устраненію объекта, противорѣчащаго идеалу прямыхъ линій и безнадежной плоскости. На портретѣ онъ изображался такъ: „Одѣтъ онъ въ военнаго покроя сюртукъ, застегнутый на всѣ пуговицы, и держитъ въ правой рукѣ сочиненный Бородавкинымъ „Уставъ о неуклонномъ сѣченіи“, но, повидимому, не читаетъ, а какъ бы удивляется, что могутъ существовать на свѣтѣ люди, которые даже эту неуклонность считаютъ нужнымъ обезпечивать какими-то уставами. Кругомъ — пейзажъ, изображающій пустыню, посреди которой стоитъ острогъ; сверху вмѣсто неба нависла сѣрая солдатская шинель“ (стр. 193). Впечатлѣніе, производимое этимъ портретомъ, опредѣляется такъ: „Передъ глазами зрителя возстаетъ чистѣйшій типъ идіота, принявшаго какое-то мрачное рѣшеніе и давшаго себѣ клятву привести его въ исполненіе“ (стр. 193).

Одержимый маніей нивеллировки, обуянный безумною мечтою превратить жизнь въ пустыню съ острогомъ посрединѣ и солдатской шинелью вмѣсто неба, онъ на другой же день по пріѣздѣ обошелъ весь городъ, — и въ его головѣ уже слагался планъ, какъ передѣлать улицы и добиться того, чтобы повсюду были прямыя линіи и плоскости. Потомъ онъ вышелъ за городъ, увидѣлъ лѣсъ и также сообразилъ, какъ надлежитъ поступить съ нимъ...

Но тутъ передъ его взоромъ вдругъ предстало нѣчто совсѣмъ неожиданное: онъ увидѣлъ рѣку... Она текла себѣ по своимъ законамъ, не обращая никакого вниманія на мрачнаго идіота, даже какъ будто издѣваясь надъ всѣми „идеалами“ и предначертаніями его... „Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему въ глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла подъ взглядомъ этого административнаго василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какіе-то особенные, но несомнѣнно живые звуки. Она жила...“ — „Кто тутъ?“ спросилъ онъ въ ужасѣ. Но рѣка продолжала свой говоръ, и въ этомъ говорѣ слыша-

лось что-то искушающее, почти зловѣщее. Казалось, эти звуки говорили: хитеръ, прохвостъ, твой бредъ, но есть и другой бредъ, который, пожалуй, похитрѣе твоего будетъ...“ (стр. 204—205).

И началась безумная борьба. Угрюмъ-Бурчеевъ порѣшилъ перестроить городъ и уничтожить рѣку. „Уйму я ее, уйму!“ говорилъ онъ... Первое ему, конечно, удалось бы легко. Но сколько онъ ни бился надъ второй задачей, рѣка все текла и текла, и все шире разливалась и затопляла берега...

Однажды, когда онъ думалъ, что его усилія увѣнчались успѣхомъ, онъ пошелъ „полюбоваться на произведеніе своего генія“ — и остолбенѣлъ: „Луга обнажились: остатки монументальной плотины въ безпорядкѣ уплывали внизъ по теченію, а рѣка журчала и двигалась въ своихъ берегахъ, точь въ точь какъ за день тому назадъ“ (214).

Тогда онъ вдругъ скомандовалъ: „Направо кругомъ!“ и рѣшилъ самому уйти отъ рѣки, разъ она не хочетъ уйти отъ него. Ему опостылѣло мѣсто, гдѣ стоялъ Глуповъ,—онъ перенесетъ городъ на другое мѣсто... „Здѣсь! — крикнулъ онъ ровнымъ, беззвучнымъ голосомъ“. Это была „ровная низина, на поверхности которой не замѣчалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры, вездѣ гладь, вездѣ ровная скатерть. Это былъ тоже бредъ, но бредъ, точь въ точь совпадающій съ тѣмъ бредомъ, который гнѣздился въ его головѣ...“ (стр. 215).

Но вотъ, когда новый городъ былъ воздвигнутъ (и переименованъ изъ Глупова въ Непреклонскъ) и обыватели должны были по цѣлымъ днямъ маршировать, не замедлилъ обнаружиться ропотъ, а вслѣдъ за нимъ появились и „либеральныя мысли“. Началось съ того, что, когда Угрюмъ-Бурчеевъ, утомленный трудами и непрерывной маршировкой, вдругъ повалился и заснулъ, обыватели стали всматриваться въ его лицо и — прозрѣли: въ этомъ человѣкѣ, наводившемъ на нихъ ужасъ, они теперь увидѣли подлиннаго идіота „и

ничего больше“. Это послужило не малымъ подспорьемъ „для преуспѣянія неблагонадежныхъ элементовъ“. „Прохвостъ проснулся, но взоръ его уже не произвелъ прежняго впечатлѣнія“ (стр. 225). Тутъ глуповцы припомнили все, что претерпѣли они, и — воспылали стыдомъ и негодованіемъ... Прохвостъ вскорѣ сталъ замѣчать, что творится нѣчто неладное... Глуповцы притаились, — наступила какая-то зловѣщая тишина. Тогда появился „приказъ, возвѣщавшій о назначеніи шпіоновъ. Это была капля, переполнившая чашу...“ (стр. 226).

Но тутъ сатирикъ говоритъ, что тетрадки лѣтописи, излагавшія подробности дѣла, пропали. Сохранился только листокъ, на которомъ разсказана развязка,—стихійная катастрофа: налетѣлъ ураганъ, грозившій смести все съ лица земли... „Глуповцы пали ницъ...“, а „бывшій прохвостъ моментально исчезъ, словно растаялъ въ воздухѣ... Исторія прекратила теченіе свое...“ (стр. 227).

4.

На этомъ и оканчивается „Исторія одного города“. Но къ ней присоединены еще „оправдательные документы“, изъ которыхъ мы остановимся здѣсь только на первомъ. Это — сочиненіе глуповскаго градоначальника Бородавкина подъ заглавіемъ: „Мысли о градоначальническомъ единомысліи, а также о градоначальническомъ единовластіи и о прочемъ“. Мысли эти сводятся къ слѣдующему: „Права“ градоначальника состоятъ въ томъ, „чтобы злодѣи трепетали, а прочіе чтобы повиновались“. Злодѣи раздѣляются на три разряда: воры, убійцы и вольнодумцы. Первымъ полагается трепетать меньше другихъ, вольнодумцамъ же больше всего. Вольномысліе — самое ужасное изъ преступленій. И вотъ ежели по этому вопросу окажется разномысліе между градоначальниками и у иного изъ нихъ вольнодумцамъ будетъ предоста-

влено трепетать меньше, чѣмъ убійцамъ и ворамъ, то „упразднится здравая административная стройность“ (стр. 228).

Далѣе Бородавкинъ поясняетъ, кто такіе тѣ „прочіе“, которые должны повиноваться. Это, во-первыхъ, дворянство; во-вторыхъ, купечество, въ-третьихъ, „крестьянство и прочій подлый народъ“. Ихъ повиновеніе выражается, соотвѣтственно этимъ сословнымъ градаціямъ, различно, а именно: „дворянинъ повинуется благородно и вскользь предъявляетъ резоны; купецъ повинуется съ готовностью и проситъ прощенія.—Что будетъ (вопрошаетъ Бородавкинъ), ежели градоначальникъ въ сіи оттѣнки не вникаетъ, а особливо ежели онъ подлому народу предоставитъ предъявлять резоны?“ (стр. 229).

Все это — отнюдь не шаржъ.

„Исторія одного города“ занимаетъ въ творчествѣ Салтыкова видное мѣсто. Этимъ произведеніемъ сатирикъ возвысился до настоящей политической сатиры. Позже, въ 70-хъ годахъ, онъ вернется къ сатирѣ общественной и моральной, но точка зрѣнія, установленная въ „Исторіи одного города“, останется основою его „паѳоса“, сатирикъ уже не сойдетъ съ той высоты, на которую онъ поднялся въ этомъ произведеніи.

ГЛАВА III.

Духъ времени и направленія 60-хъ годовъ.—„Дымъ" Тургенева.

1.

Въ 60-е годы повторилось то, что имѣло мѣсто въ 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ: духъ времени, движеніе общественной мысли и типы передовыхъ дѣятелей получили непосредственное выраженіе въ художественной литературѣ. Мы видѣли, что въ 40-хъ годахъ это было иначе: обобщающіе образы передовыхъ дѣятелей того времени были созданы (Тургеневымъ) позже, итоги умственному движенію 40-хъ годовъ были подведены заднимъ числомъ, въ 50-хъ годахъ. И это понятно: 40-е годы, суровое николаевское время, затянувшееся до половины 50-хъ, были въ общественномъ смыслѣ эпохою застоя; тогдашнее движеніе было чисто-умственное, и совершалось оно въ интимныхъ кружкахъ, не захватывая широкихъ слоевъ общества. На добрую половину оно было секретомъ, тайною, достояніемъ немногихъ. Художественная мысль не могла ни оріентироваться въ этомъ движеніи умовъ, ни уловить, характерныхъ чертъ новыхъ общественно-психологическихъ типовъ, которые тогда только начинали опредѣляться.—Наступившее съ конца 50-хъ годовъ оживленіе сказалось въ художественной литературѣ подведеніемъ итоговъ недавнему прошлому,—и типы, идеи, на-

правленія, скорби, негодованія людей 40-хъ годовъ воскресли въ художественныхъ картинахъ Тургенева. Мы находимъ ихъ не только въ „Рудинѣ“ и „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ (и нѣкоторыхъ повѣстяхъ 50-хъ годовъ), но и въ послѣдующихъ произведеніяхъ его, напр., въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, гдѣ все это наслѣдіе прошлаго представлено отживающимъ и гдѣ изображенъ конфликтъ идеалистовъ-отцовъ съ реалистами или „нигилистами“-дѣтьми. Въ этомъ романѣ, принадлежащемъ къ числу величайшихъ произведеній нашей художественной литературы, былъ сдѣланъ смѣлый починъ въ дѣлѣ художественнаго изображенія не только прошлаго, но и (главнымъ образомъ) настоящаго, именно тѣхъ новыхъ движеній мысли и „новыхъ людей“, появленіемъ которыхъ ознаменовался великій поворотъ нашей исторіи, совершившійся въ началѣ 60-хъ годовъ.

О представителяхъ молодого поколѣнія въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, равно какъ и вообще объ отраженіи духа времени въ этомъ романѣ мы поведемъ рѣчь въ слѣдующей главѣ, а сейчасъ обратимся къ другому роману Тургенева, воспроизводящему ту же эпоху, но написанному нѣсколько позже (въ 1866 г.). Это — „Дымъ“, гдѣ дана болѣе полная, чѣмъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, картина броженія, столкновенія противуположныхъ направленій и общественныхъ типовъ и гдѣ вообще оживленная, тревожная, шумная, исполненная противорѣчій эпоха нашего раскрѣпощенія отразилась въ своихъ наиболѣе яркихъ и рѣзкихъ чертахъ. Тутъ уже дѣло идетъ не о распрѣ между „отцами“ и „дѣтьми“, т.-е. между передовыми представителями двухъ поколѣній, и вопросъ, поставленный здѣсь, не есть только вопросъ перемѣны идеологіи, смѣны идеализма и „эстетизма“ реализмомъ, „нигилистическимъ“ отрицаніемъ искусства, культомъ естественныхъ наукъ, какъ это мы видимъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Въ „Дымѣ“ выведены, съ одной стороны, реакціонеры и карьеристы, представители „правящихъ сферъ“, съ другой — ра-

дикалы, революціонеры того времени, эмигранты, — и на этомъ фонѣ, между тѣми и другими, поставленъ „герой“ романа, Литвиновъ, равно чуждый, какъ средѣ реакціонеровъ и карьеристовъ, такъ и эмигрантскому революціонному кипѣнію. Передъ нами — любопытный типъ, выступавшій въ началѣ 60-хъ годовъ: прогрессистъ, либералъ, демократъ, ищущій живого дѣла, полезнаго странѣ и народу, предтеча будущихъ идейныхъ общественныхъ дѣятелей. А рядомъ — крайній западникъ Потугинъ, фигура, интересная не столько сама по себѣ, сколько своими рѣчами и взглядами, воспроизводящими, какъ извѣстно, воззрѣнія самого Тургенева, — а эти воззрѣнія были однимъ изъ яркихъ выраженій духа времени.

Общественная основа этого духа времени мѣтко схвачена въ слѣдующихъ немногихъ строкахъ въ главѣ XXVII, гдѣ разсказывается о тѣхъ впечатлѣніяхъ, какія ожидали Литвинова въ Россіи, въ деревнѣ, гдѣ онъ хочетъ приложить свои силы къ живому, плодотворному дѣлу: „Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумѣлый сталкивался съ недобросовѣстнымъ; весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, и только одно великое слово: — „свобода“ — носилось какъ Божій духъ надъ водами“.—Падали крѣпостныя цѣпи. Земледѣльческія и экономическія основы огромной страны перестраивались заново,— и по быстротѣ, спѣшности, напряженности перелома эта реформа сверху походила на „мирную революцію“.—Надо было спѣшить, ибо реформа запоздала лѣтъ на 50 по меньшей мѣрѣ, — какъ вообще запаздываетъ вся наша исторія, всякій прогрессъ у насъ, если только онъ болѣе или менѣе чувствительно касается такъ называемыхъ „коренныхъ основъ“ строя, а крѣпостное право и было самою коренною изъ нихъ.— Въ предшествующую эпоху, протекшую подъ суровою ферулою императора, который самъ понималъ все зло крѣпостного права и лелѣялъ мысль о его упраздненіи, всѣ

усилія торжествующей реакціи были направлены къ тому, чтобы не допустить никакой критики крѣпостныхъ порядковъ и не дать ни обществу, ни народу возможности подготовиться къ будущей реформѣ. Въ печати нельзя было и заикнуться о крѣпостномъ правѣ: оно оффиціально признавалось основою нашего государственнаго быта, и формула „самодержавіе, православіе и народность“ въ первоначальной редакціи гласила: „самодержавіе, православіе и крѣпостное право“. Послѣ севастопольской катастрофы и смерти императора Николая I поворотъ былъ неизбѣженъ. И когда къ началу 60-хъ годовъ онъ уже обозначился съ достаточною опредѣленностью, масса общества оказалась неподготовленною, невоспитанною въ духѣ новыхъ требованій и понятій,— и по необходимости „новое принималось плохо“, несмотря на то, что „старое всякую силу потеряло“; неизбѣжно было и то, что одни оказались „неумѣлыми“, другіе „недобросовѣстными“, — и пошла сутолока и всяческій разбродъ идей и стремленій, столкновеніе плохо понятыхъ интересовъ, оппозиція, темныхъ силъ, крайнее ожесточеніе крѣпостниковъ, вскорѣ отомстившихъ Россіи затяжною и злостною реакціею, спѣшность работы, несовершенство реформы... „Весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ...“ Кризисъ ближайшимъ образомъ затрогивалъ положеніе и бытъ помѣщиковъ и той части крестьянства, которая находилась въ крѣпостной зависимости. Для крѣпостного народа слово „свобода“ говорило тогда много. Для Россіи вообще оно, кромѣ устраненія крѣпостного права, тормозившаго всякій прогрессъ, означало нѣкоторый просторъ для мысли и печати, реформу суда, введеніе гласности, начатки земскаго самоуправленія.

Не будемъ судить о той эпохѣ по кризису, нынѣ переживаемому Россіей, — чтобы не потерять изъ виду исторической перспективы и не сдѣлать ошибки при оцѣнкѣ тогдашнихъ идей, настроеній, направленій, въ которыхъ многое можетъ показаться намъ, на разстояніи 40 съ лишнимъ лѣтъ,

страннымъ, противорѣчивымъ, даже несоотвѣтствующимъ дѣйствительнымъ потребностямъ жизни. Безъ соблюденія этой перспективы мы не поймемъ ни Базарова, какъ представителя извѣстнаго передового направленія, въ то время столь яркаго, ни значенія рѣчей Потугина, ни того полемическаго задора, съ какимъ онъ ихъ произноситъ. Да и вообще разбродъ мнѣній и направленій, горячіе споры и молодыя увлеченія того времени, если разсматривать ихъ безъ надлежащаго освѣщенія, могутъ представиться намъ какимъ-то сумбуромъ, безтолковою сутолокою идей и страстей, — почти такъ, какъ это казалось тогда нѣкоторымъ старшимъ современникамъ, которые не могли имѣть въ своемъ распоряженіи достаточно широкой исторической перспективы. Въ смыслѣ таковой они могли ретроспективно пользоваться опытомъ прошлаго, которое они пережили, и тѣмъ неяснымъ будущимъ, какое смутно рисовалось имъ въ дали временъ, подернутое туманомъ ихъ идеологіи, вынесенной изъ прошлаго, или туманомъ ихъ скептицизма, внушеннаго разочарованіями настоящаго. Въ такомъ положеніи наблюдателя безъ раціональной исторической перспективы находился тогда между прочимъ Герценъ. И другимъ наблюдателямъ иного склада ума, болѣе объективнаго, болѣе реалистическаго, идейная сутолока эпохи могла представляться—какъ плодъ недомыслія, недостатка общественнаго и политическаго воспитанія, какъ пустая игра въ направленія, — и всѣ эти направленія, передовыя, радикальныя, народническія, съ одной стороны, консервативныя и реакціонныя съ другой, казались такому наблюдателю-позитивисту несоотвѣтствующими дѣйствительнымъ потребностямъ страны и времени, не то, чтобы сумбурными, а исторически-неправильными, нераціональными какимъ-то чадомъ и угаромъ мысли, — „дымомъ", подымающимся надъ „поколебленнымъ бытомъ", который „ходилъ ходуномъ" и не представлялъ устойчивой опоры для трезвой общественной мысли, для здравой идеологіи, для разумной

политики. „Дымъ... дымъ... дымъ...“, повторялъ такой наблюдатель, созерцая всю эту сутолоку... Онъ понималъ ея историческую неизбѣжность, но онъ сильно упрощалъ вопросъ, когда единственною причиною разброда мысли и безпорядка жизни нашей считалъ то, что мы еще—новички цивилизаціи и недостаточно европейцы. И онъ не уставалъ твердить, что намъ рано и не къ лицу „творить“; а нужно еще учиться у западно-еврепейскихъ народовъ уму-разуму и цивилизаціи. Такимъ образомъ, „дымъ“ нашихъ стремленій, направленій, идей получалъ свое, хотя и недостаточное объясненіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ указывалось и лѣкарство противъ этой „болѣзни“: послѣдовательное западничество, усвоеніе всего общепризнаннаго, всего лучшаго, что выработала въ различныхъ областяхъ жизни и мысли европейская цивилизація, и рѣшительное отрицаніе всего славянофильскаго, народническаго, специфически-русскаго, всякихъ претензій на самостоятельность въ сферѣ мысли и въ общественно-политическомъ творчествѣ. При этомъ подразумѣвалось или прямо утверждалось, что самобытность явится потомъ сама собою, и въ подтвержденіе ссылались на исторію русскаго языка и литературы, которые послѣ реформы Петра, казалось, были готовы совсѣмъ обезличиться, а потомъ выправились, переварили чуждые элементы и стали самобытными. Вотъ именно на этой то точкѣ зрѣнія крайне-западническаго, рѣзкаго отрицанія всякихъ преждевременныхъ попытокъ самобытнаго, національнаго творчества и стоялъ И. С. Тургеневъ, великій художникъ-реалистъ и человѣкъ огромнаго, трезваго и положительнаго ума, „постепеновецъ“ въ политикѣ, проницательный и тонкій наблюдатель жизни, чуждый всякой романтики, отчетливо прозрѣвшій въ ближайшее будущее, въ историческое „завтра“, но неспособный къ созерцанію болѣе далекихъ историческихъ перспективъ, ибо взоръ его былъ затуманенъ скептицизмомъ и пессимизмомъ.

Мы находимся въ лучшемъ положеніи, имѣя въ своемъ распоряженіи опытъ 40 лѣтъ исторіи, съ тѣхъ поръ протекшихъ. И историческіе горизонты съ тѣхъ поръ настолько расширились въ Западной Европѣ и у насъ, что позволяютъ намъ хорошо видѣть, откуда, какъ и куда идетъ всемірный прогрессъ, — и въ этомъ свѣтѣ многое пережитое, въ томъ числѣ и кажущійся сумбуръ или „дымъ" 60-хъ годовъ, не только получаетъ достаточное историческое оправданіе, но и становится осмысленнымъ и раціональнымъ.

2.

Противорѣчія идей и направленій 60-хъ годовъ оказываются вовсе не чѣмъ-то искусственнымъ и случайнымъ, не „плѣнной мысли раздраженіемъ", а вполнѣ законосообразнымъ отраженіемъ противорѣчій самой дѣйствительности, отголоскомъ особенностей даннаго историческаго момента.

Въ ряду этихъ противорѣчій самой жизни видное мѣсто принадлежало тому, въ силу котораго фатально долженъ былъ возобновиться, вступивъ только въ новую фазу, старый, казалось, давно исчерпанный споръ между западниками и славянофилами.—Россія пробуждалась къ новой исторической жизни; экономическія основы строя, а вмѣстѣ съ ними и многія общественныя, моральныя и частью политическія понятія подлежали коренному измѣненію. Понятно, что этимъ реформаціоннымъ процессомъ, похожимъ на революцію, съ психологической необходимостью порождалось особое національное самочувствіе, неизвѣстное или непроявляющееся въ эпохи застоя. Въ 60-е годы, какъ и въ наше время, всякій сколько-нибудь мыслящій и прогрессивно-настроенный человѣкъ чувствовалъ, что вокругъ него творится исторія, созидается новая жизнь, пробуждаются творческія силы націи и что онъ самъ волею-неволею такъ или иначе участвуетъ въ этомъ коллек-

тивномъ творчествѣ. А такъ какъ Россія была уже связана съ зап. Европой неразрывными узами и вліяніе западноевропейской мысли и цивилизаціи на нашу жизнь становилось съ каждымъ годомъ сильнѣе, интенсивнѣе, то и возникалъ, силою вещей, вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ, въ чемъ и какъ должны мы, перестраивая нашу общественность и наши понятія, слѣдовать западнымъ образцамъ,—и не насталъ ли часъ самобытнаго творчества, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ областяхъ жизни, напр., въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ и устройства ихъ экономическаго быта. Въ связи съ этимъ неизбѣжно долженъ былъ вновь подняться старый споръ объ отношеніяхъ Россіи къ зап. Европѣ, затѣмъ объ особомъ историческомъ призваніи русскаго народа и всего славянства, противупоставляемомъ историческому призванію романо-германскихъ народовъ. Съ психологической необходимостью должно было возродиться,—конечно, въ новомъ видѣ—и западничество и славянофильство.

Старое догматическое славянофильство 40-хъ годовъ отжило свой вѣкъ и вмѣстѣ со старымъ западничествомъ было сдано въ архивъ, но зато на смѣну ему явились новыя славянофильствующія и националистическія направленія, начиная болѣе „правовѣрнымъ“ славянофильствомъ И. С. Аксакова и кончая „почвенниками“, народниками и наконецъ идеями и мечтами Герцена, который сочеталъ славянофильскую мысль о великолѣпномъ будущемъ Россіи и о „гніеніи“ европейской цивилизаціи съ идеями европейскаго соціализма, какъ онѣ сложились къ концу 40-хъ годовъ. Представителями разныхъ оттѣнковъ славянофильства и русскаго національзма, большею частью въ сочетаніи съ прогрессивными и либеральными стремленіями эпохи, явились такіе видные дѣятели, какъ Ап. Григорьевъ, Н. Н. Страховъ, В. И. Ламанскій, Н. Я. Данилевскій, Гильфердингъ, Орестъ Ѳ. Миллеръ, проф. Градов-

скій и другіе. Необходимо при этомъ имѣть въ виду, что тогдашній націонализмъ разныхъ оттѣнковъ далеко не походилъ на современный: онъ не былъ реакціоннымъ и въ существѣ дѣла сводился къ тому, что въ силу приподнятаго, живого чувства національности различные вопросы—общественные, политическіе, литературные, моральные, даже научные—осложнялись излишнимъ обращеніемъ къ національности. Такъ, напр., отстаивая крестьянскую общину, націоналисты опирались на (совершенно ошибочное) положеніе, что община является одною изъ исконныхъ и отличительныхъ принадлежностей славянства вообще и русской націи въ частности. Европейскія освободительныя идеи, поскольку онѣ уже являлись общечеловѣческимъ достояніемъ, принимались ими съ большею или меньшею послѣдовательностью, но ихъ приподнятое національное чувство было всегда настороже, и они иногда съ легкимъ сердцемъ отрекались отъ того или иного общечеловѣческаго „блага“ потому только, что оно казалось имъ противорѣчащимъ нашему національному укладу.

60-е годы были не только эпохою демократическаго радикализма, народничества и „нигилизма“, но и оживленія русскаго націонализма, который въ большинствѣ своихъ фракцій являлся тогда направленіемъ прогрессивнымъ. Не даромъ въ „Дымѣ“ радикалъ Губаревъ представленъ славянофиломъ.

Но та же причина, которая вызвала оживленіе націонализма, съ такою же психологическою необходимостью порождала—въ другихъ натурахъ и умахъ—настроеніе противуположное націонализму. Смотря по человѣку, призывъ времени къ творческой общественной работѣ можетъ либо оживить національное чувство, либо, напротивъ, нейтрализовать его. Когда мысль и чувство человѣка заняты, напр., вопросами общественнаго развитія, моральными, политическими и т. д., то для живого, яркаго проявленія національ-

наго чувства нѣтъ мѣста, если, конечно, при этомъ человѣкъ не видитъ какого-либо посягательства на свою національность. Онъ сочувствуетъ и содѣйствуетъ заимствованію иностранныхъ понятій и учрежденій, не безпокоясь насчетъ неприкосновенности своей національности, въ увѣренности, что она отъ этого заимствованія не пострадаетъ, а скорѣе обогатится. Люди такого склада вовсе не лишены національнаго чувства, но оно у нихъ не подозрительно, не ревниво, не обидчиво. Такое національное чувство мы считаемъ нормальнымъ, здоровымъ и отдаемъ ему рѣшительное предпочтеніе передъ тѣмъ приподнятымъ, разгоряченнымъ и пугливымъ національнымъ чувствомъ, которое приводитъ къ націонализму идей, политическаго направленія, общественной программы.—Вотъ именно такимъ здоровымъ національнымъ самочувствіемъ отличались въ 60-хъ годахъ всѣ дѣятели, не раздѣлявшіе славянофильскихъ и националистическихъ идей. Одни изъ нихъ открыто признавали себя западниками, какъ Тургеневъ, какъ Пыпинъ, вступившіе въ полемику съ славянофилами. Другіе, какъ Чернышевскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Елисеевъ, позже Михайловскій, относившіеся критически и отрицательно ко многому въ культурѣ и порядкахъ Запада, не называли себя „западниками“, но были чужды всякихъ національныхъ предпочтеній, націоналистической точки зрѣнія на вещи. И какъ тѣ, такъ и другіе были „чистокровными“ и даже типичными русскими людьми, съ характернымъ складомъ русскаго ума, русской психики.

Крайности націоналистовъ, слишкомъ живое проявленіе у нихъ національнаго чувства естественно вызывали въ жару спора у послѣдовательныхъ западниковъ, какъ Тургеневъ, реакцію въ противуположную сторону: Тургеневъ, напр., находилъ особенное удовольствіе подвергать злой критикѣ самую національность нашу, ея психологію, ея отличительныя черты, а также тѣ историческія формы и

учрежденія, которыя—правильно или неправильно—признавались ея порожденіемъ и выраженіемъ. Извѣстны рѣзко-отрицательные отзывы Тургенева объ артели, общинѣ, а также объ идеализаціи мужика, да и вообще русскаго человѣка. Наиболѣе яркое выраженіе этихъ взглядовъ великаго художника мы находимъ въ его письмахъ къ Герцену и въ рѣчахъ Потугина въ „Дымѣ".

Если вдуматься въ суть дѣла, то это отношеніе Тургенева къ русской національности, не всегда справедливое, придется опредѣлить какъ особаго рода націонализмъ, именно—отрицательный. Онъ противуположенъ настоящему—положительному—націонализму въ своихъ выводахъ, въ идеяхъ, въ практической программѣ, но роднится съ нимъ психологически: вѣдь онъ также основанъ на самомъ чувствѣ національности. Критикуя свою національность и порицая тѣ или другія черты ея, человѣкъ показываетъ тѣмъ самымъ, что онъ ее чувствуетъ и относится къ ней далеко не индифферентно. Этотъ отрицательный и критическій „націонализмъ" относится къ положительному, какъ критика—къ догмѣ. И поскольку критика живительнѣе догмы, постольку мы отдаемъ преимущество націонализму отрицательному передъ положительнымъ,—Тургеневу передъ Герценомъ.

Противорѣчіе этихъ двухъ направленій было противорѣчіемъ самой жизни, властно требовавшей пробужденія національнаго творчества.

Положительный націонализмъ соотвѣтствовалъ, хотя и не вполнѣ точно, той сторонѣ жизни, которая требовала отклоненія отъ европейскихъ образцовъ. „Націонализмъ" отрицательный, открыто проповѣдуя заимствованіе и подражаніе, отражалъ другую сторону, именно тотъ крупный фактъ, что въ общемъ реформы 60-хъ годовъ, и въ томъ числѣ и крестьянская, проведенная „самобытно", не по западнымъ образцамъ, были дальнѣйшимъ и уже рѣшитель-

нымъ шагомъ къ сближенію Россіи съ Европою, къ упроченію вліянія послѣдней; онѣ широко раскрывали „окна“ въ Европу, откуда и хлынули къ намъ волны идей, направленій, научныхъ, философскихъ и художественныхъ интересовъ,—и въ этомъ потокѣ должны были вскорѣ потонуть націоналистическіе противорѣчія, взамѣнъ которыхъ не замедлили выступить иные контрасты жизни, противорѣчія мысли.

3.

Обратимся теперь къ роману „Дымъ“, какъ документу эпохи, и прежде всего прислушаемся къ рѣчамъ Потугина.

Потугинъ говоритъ: „Я вотъ сейчасъ вычиталъ въ газетѣ проектъ о судебныхъ преобразованіяхъ въ Россіи и съ истиннымъ удовольствіемъ вижу, что у насъ хватились, наконецъ, ума-разума и не намѣрены болѣе подъ предлогомъ самостоятельности тамъ, народности или оригинальности, къ чистой и ясной европейской логикѣ прицѣплять доморощенный хвостикъ; а напротивъ беруть хорошее чужое цѣликомъ. Довольно одной уступки въ крестьянскомъ дѣлѣ... Подите-ка, развяжитесь съ общимъ владѣніемъ!..“ („Дымъ“, гл. XIV).

Потугинъ, стало быть, противъ общиннаго крестьянскаго землевладѣнія; онъ не видитъ въ немъ цѣннаго національнаго блага, которымъ слѣдовало бы дорожить, какъ дорожили имъ славянофилы, народники и демократы-радикалы. Здѣсь, какъ и въ остальномъ, Потугинъ является вѣрнымъ выразителемъ мнѣній самого Тургенева. Такъ, въ письмѣ къ Герцену отъ 13 декабря 1867 г. романистъ говоритъ между прочимъ: „...ты—романтикъ и художникъ... вѣришь въ народъ, въ особую породу людей, въ извѣстную расу... И все это по милости придуманныхъ господами и навязанныхъ этому народу совершенно чуждыхъ ему демократическихъ соціальныхъ тенденцій въ родѣ „общины“ и „арте-

ли". Отъ общины Россія не знаетъ какъ отчураться..." (В. П. Батуринскій. „А. И. Герценъ, его друзья и знакомые". С.-Петербургъ. 1904 г. Гл. I, стр. 271).

Потугинъ зло вышучиваетъ нашихъ самобытниковъ, т.-е. націоналистовъ, имѣя въ виду не только славянофиловъ въ собственномъ смыслѣ, но и другіе „толки": русскій мессіанизмъ и народолюбіе Герцена, почвенниковъ, народниковъ. Его стрѣлы направляются во всѣ стороны, гдѣ только онъ усматриваетъ національное самомнѣніе, претензію на самобытность, идеализацію и культъ народа, противупоставленіе „гніющей" Европы „свѣжему", „здоровому" русскому народу, призванному обновить дряхляющую цивилизацію. Съ особенною желчностью обрушивается онъ на нашихъ „самородковъ", на которыхъ часто ссылались славянофилы и другіе націоналисты.—„Ужъ эти мнѣ самородки!—восклицаетъ онъ.—Да кто же не знаетъ, что щеголяютъ ими только тамъ, гдѣ нѣтъ ни настоящей, въ кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящаго искусства. Неужели же не пора сдать въ архивъ это щеголяніе, этотъ пошлый хламъ вмѣстѣ съ извѣстными фразами о томъ, что у насъ на Руси никто съ голоду не умираетъ и ѣзда по дорогамъ самая скорая, и что мы шапками всѣхъ закидать можемъ? Лѣзутъ мнѣ въ глаза съ даровитостью русской натуры, съ геніальнымъ инстинктомъ, съ Кулибинымъ... Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетаніе спросонья, а не то полузвѣриная смѣтка..."—Потугинъ, можно сказать, ничего не щадитъ, указывая на экономическую и промышленную отсталость Россіи, на первобытность земледѣльческихъ орудій, на отсутствіе самостоятельнаго творчества въ техникѣ, въ искусствѣ (именно въ живописи и въ музыкѣ, гдѣ онъ выдѣляетъ только Глинку; о литературѣ онъ не распространяется [1]).

---

[1]) **Какъ извѣстно, въ отношеніи къ русскому искусству мнѣнія Потугина, какъ и самого Тургенева, оказались несостоятельными,**

4*

Уже въ 60-хъ годахъ можно было упрекнуть Потугина и Тургенева въ крайности, въ излишествѣ отрицанія. Самостоятельное національное творчество въ ту эпоху достаточно ясно выразилось у насъ, во-первыхъ, въ художественной литературѣ и въ другихъ искусствахъ, во-вторыхъ, въ нѣкоторыхъ областяхъ науки. Скудость же матеріальной культуры, промышленности, техники имѣла слишкомъ много историческихъ оправданій, чтобы ставить ее въ вину самому народу и самой націи—какъ таковой. И слѣдующую тираду Потугина приходится признать болѣе остроумной, чѣмъ справедливой: „Старыя наши выдумки къ намъ приползли съ Востока, новыя мы съ грѣхомъ пополамъ съ Запада перетащили, а мы все продолжаемъ толковать о русскомъ самостоятельномъ искусствѣ! Иные молодцы даже русскую науку открыли: у насъ, молъ дважды два тоже четыре, да выходитъ оно какъ-то бойчѣе...“ (тамъ же).

О столь распространенномъ въ 60-хъ годахъ народолюбіи, одинаково свойственномъ и славянофиламъ, и почвенникамъ, и народникамъ-радикаламъ, Потугинъ отзывается такъ: „...если бы я былъ живописцемъ, вотъ бы я какую картину написалъ: образованный человѣкъ стоитъ передъ мужикомъ и кланяется ему низко: вылѣчи, молъ, меня, батюшка-мужичокъ, я пропадаю отъ болѣсти; а мужикъ въ свою очередь, низко кланяется образованному человѣку: научи, молъ, меня, батюшка-баринъ, я пропадаю отъ темноты. Ну, и разумѣется, оба ни съ мѣста“... (глава V).—Въ связи съ этимъ онъ обрушивается и на привычку русскихъ передовыхъ людей возлагать всѣ упованія на будущее, которое будетъ создано все тѣмъ же народомъ, таящимъ въ себѣ великія творческія силы.—„Все, молъ, будетъ. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала ни въ управленіи, ни въ судѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, ни даже въ ремеслѣ... Но постойте, потерпите: все будетъ. А почему будетъ, позвольте полюбопытствовать? А

потому, что мы, молъ, образованные люди,—дрянь; но народъ... о, это великій народъ! Видите этотъ армякъ? вотъ откуда все пойдетъ. Всѣ другіе идолы разрушены; будемъ же вѣрить въ армякъ...“ (гл. V).

Нѣсколько выше онъ говоритъ, что когда сойдутся 10 англичанъ, „они тотчасъ заговорятъ о подводномъ телеграфѣ, о налогѣ на бумагу“ и т. д., „сойдутся 10 нѣмцевъ,—ну, тутъ, разумѣется, Шлезвигъ-Гольштейнъ и единство Германіи явится на сцену; десять французовъ сойдутся,—бесѣда неизбѣжно коснется „клубнички“, какъ они тамъ ни виляй; а сойдутся 10 русскихъ—мгновенно возникаетъ вопросъ... о значеніи, о будущности Россіи...“—Разговоры на эту тему представляются Потугину, какъ и самому Тургеневу, непростительнымъ пустословіемъ. Но мы скажемъ: въ эпоху, когда приходилось намъ рѣшительно отрекаться отъ прошлаго и всѣ упованія возлагались на будущее, разговоры о будущности Россіи были самымъ естественнымъ дѣломъ и представляли живой интересъ. Будущее тогда, какъ и теперь, становилось злобою дня. Можно было отрицать только ту или иную постановку вопроса и тотъ или иной отвѣтъ на него, находя ихъ неправильными, но нельзя было отрицать законность и раціональность самого вопроса.

Сцены въ „Дымѣ“, изображающія русскихъ передовыхъ людей того времени за границей, написаны въ сатирическомъ тонѣ; выдвинуты впередъ черты комическія. Лица, разговоры, споры — все оставляетъ впечатлѣніе сумбура, „дыма“ и „чада“ пустыхъ мыслей и ненужныхъ страстей.—Потугинъ называетъ это „вавилонскимъ столпотвореніемъ“, съ чѣмъ соглашается и Литвиновъ.

Тѣмъ не менѣе оказывается, по свидѣтельству того же Потугина, что почти всѣ эти „дѣятели“—прекрасные люди: за многими изъ нихъ числятся несомнѣнныя положительныя качества, добрыя дѣла, безкорыстные поступки, даже подвиги самоотреченія. Но они представлены какъ слабыя

головы, безъ надлежащаго воспитанія мысли; это большею частью люди неумные, безтолковые, глуповосторженные, пустые... Несомнѣнно, таковые были, и, быть можетъ, въ 60-хъ годахъ они выдавались впередъ и шумѣли больше, чѣмъ въ другое время. Но столь же несомнѣнно, что передовые круги того времени не состояли сплошь изъ такихъ дѣятелей, близкихъ къ слабоумію, что, кромѣ нихъ, были и главную роль играли люди, хотя и не чуждые увлеченій и крайностей, но безспорно умные, хорошо образованные, съ сильнымъ характеромъ, съ незаурядною натурою. Въ задачу Тургенева не входило ихъ изображеніе: „Дымъ"—сатира. И мы въ этомъ случаѣ не въ правѣ обвинять романиста за то, что онъ ихъ не вывелъ.

Въ центрѣ „столпотворенія" поставленъ Губаревъ, отличающійся отъ другихъ силою воли, настойчивостью, умѣніемъ властвовать [1]). Онъ какъ бы „глава партіи" авторитетъ, „знаменитость". Что̀ онъ сказалъ, то свято. Потугинъ характеризуетъ его такъ: „онъ и славянофилъ, и демократъ, и соціалистъ, и все, что угодно, а имѣніемъ его управлялъ и теперь еще управляетъ братъ, хозяинъ въ старомъ вкусѣ, изъ тѣхъ, что дантистами величали..." Заслугъ за нимъ не числится: „...только за нимъ и есть, что онъ умныя книжки читаетъ, да все въ глубину устремляется..."—Власть Губарева надъ умами основана только на томъ, что у него „много воли", а у его поклонниковъ и поклонницъ еще живы застарѣлыя привычки къ рабству. Потугинъ говоритъ: „Господинъ Губаревъ захотѣлъ быть начальникомъ, и всѣ

[1]) Было мнѣніе, будто въ лицѣ Губарева Тургеневъ вывелъ Н. П. Огарева. Это невѣрно. Натура грубая, чуждая поэзіи и мечтательности, Губаревъ отнюдь не напоминаетъ поэта-эмигранта. По замѣчанію г. Батуринскаго, въ Губаревѣ могли быть воспроизведены лишь нѣкоторыя черты внѣшности и манеры Огарева (и также „упорное преслѣдованіе разъ намѣченной цѣли"), но ихъ натуры и ихъ жизнь совершенно различны. См. В. П. Батуринскій, „А. И. Герценъ", I, 256.

его начальникомъ признали... Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; бариномъ этимъ бываетъ большею частью живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ называемое направленіе надъ нами власть возымѣетъ... теперь, напр., мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... Вотъ такимъ-то образомъ и г-нъ Губаревъ попалъ въ барья; долбилъ—долбилъ въ одну точку и продолбился. Видятъ люди: большого мнѣнія о себѣ человѣкъ, вѣритъ въ себя, приказываетъ—главное, приказываетъ; стало-быть, онъ правъ, и слушаться его надо. Всѣ наши расколы, наши онуфріевщины да акулиновщины именно такъ и основались. Кто палку взялъ, тотъ и капралъ" (глава V).

Все это очень зло и остроумно и, пожалуй даже, въ нѣкоторой мѣрѣ справедливо и характерно какъ для 60-хъ годовъ, такъ и для послѣдующаго времени. Но нельзя не видѣть всей недостаточности такого объясненія. „Сила" Губарева и ему подобныхъ основывалась прежде всего на томъ, что они выступали съ проповѣдью идей, подсказанныхъ самою жизнью, выдвинутыхъ впередъ общимъ духомъ времени,—направленій исторически-очередныхъ. И если бы Губаревъ, при всей „силѣ воли" и при всемъ желаніи быть капраломъ, не былъ „славянофиломъ, демократомъ и соціалистомъ", а выступилъ бы съ какими-нибудь другими, непопулярными тогда идеями,—онъ, навѣрное, никакого успѣха не имѣлъ бы. Вожака, главаря выдвигаютъ очередныя идеи. Безъ нихъ безсильна не только „сила воли", но и геніальный умъ, колоссальный талантъ, огромныя знанія.—Выше я указалъ на популярность и на психологическую обоснованность націонализма (въ томъ числѣ и славянофильства) 60-хъ годовъ. Демократическія идеи и стремленія въ свою очередь согласовались съ очередной исторической задачею времени, требовавшаго раскрѣпощенія и демократизаціи учрежденій и культурныхъ благъ, что и выразилось въ

рядѣ реформъ, начиная крестьянской. Наконецъ, демократизмъ и соціализмъ, какъ общеевропейское движеніе, являлись передовымъ лозунгомъ эпохи,—тѣми великими словами, которыя выдвигаются историческою силою вещей и отъ которыхъ поэтому и кружатся молодыя головы, не только слабыя, но и сильныя. Не удивительно, что сочетаніе „славянофильства (конечно, прогрессивнаго), демократизма и соціализма“ само по себѣ должно было въ то время дать человѣку, хотя бы и не очень умному, не даровитому, не краснорѣчивому, а только убѣжденному (или казавшемуся таковымъ) и настойчивому, много шансовъ для пріобрѣтенія власти надъ умами. Вотъ если бы тотъ же Губаревъ выступилъ съ идеями политическаго либерализма, буржуазной конституціи и т. п., то навѣрно онъ никакого успѣха не имѣлъ бы, будь онъ хоть семи пядей во лбу.

Крупнѣйшимъ историческимъ противорѣчіемъ времени было то, что величайшая очередная реформа—упраздненіе крѣпостного права, явившееся по существу дѣла актомъ освободительнымъ и починомъ дальнѣйшаго освободительнаго движенія,—могла быть проведена только силою верховной власти, которая, кромѣ того, одна только и способна была дать реформѣ направленіе, выгодное для крестьянъ въ матеріальномъ отношеніи, т.-е. освободить ихъ съ землею. Оттуда—вольный или невольный, сознательный или безсознательный союзъ передовыхъ элементовъ общества, друзей народа, съ правительствомъ или извѣстною частью правительства. Оттуда также—непопулярность въ то время чистаго либерализма и реакціонный характеръ политическихъ стремленій нѣкоторой части дворянства. Политическій либерализмъ и конституціонализмъ оказывались въ подозрительной близости съ крѣпостничествомъ. Такъ, когда Герценъ и Огаревъ проектировали составить адресъ, подъ которымъ подписались бы наиболѣе видные и вліятельные представители дворянства, то въ этотъ адресъ, указывавшій на не-

обходимость представительныхъ учрежденій („земскаго собора“), пришлось внести кое-что такое, что другимъ показалось почти реакціоннымъ. И Тургеневъ, отказавшійся его подписать, разоблачилъ эту сторону дѣла въ письмѣ къ неизвѣстному лицу, гдѣ онъ, между прочимъ, говоритъ: „Редакція адреса составлена явно съ цѣлью пріобрѣсти нѣсколько сотенъ или тысячъ подписей отъ крѣпостниковъ, которые, обрадовавшись случаю высказать свою вражду къ эмансипаціи и Положенію [1]), зажмурятъ глаза на послѣдствія земскаго собора. Но, во-первыхъ, это недобросовѣстно,—и не нашей партіи заключать какія бы то ни было коалиціи... Если этотъ адресъ дойдетъ до крестьянъ,—а это несомнѣнно,—то они по справедливости увидятъ въ немъ новое нападеніе дворянства на освобожденіе. Въ одной фразѣ даже выражается какъ бы сожалѣніе о невозможности барщины... Вообще весь адресъ какъ бы написанъ заднимъ числомъ: онъ опоздалъ на цѣлый годъ и едва ли найдетъ гдѣ-нибудь дѣйствительный отголосокъ, кромѣ партій крѣпостниковъ: а этимъ, я полагаю, сами составители адреса не останутся довольными...“ [2]).

Мысль о представительномъ правленіи, о созывѣ земскаго собора возникала тогда въ нѣкоторыхъ дворянскихъ кругахъ, при чемъ далеко не всѣ представители этихъ круговъ были крѣпостниками и реакціонерами. Составлялись и подавались соотвѣтственные адресы, и это требовало извѣстнаго гражданскаго мужества, ибо адресы эти принимались весьма неблагосклонно, и ихъ составители подвергались болѣе или менѣе чувствительнымъ карамъ.—Въ массѣ общества это движеніе не пользовалось популярностью, а передовые круги его и радикальная молодежь оставались совер-

---

[1]) Акту 19 февраля 1861 г.

[2]) Этотъ эпизодъ разсказанъ г. Батуринскимъ на стр. 184—187 его книги „А. И. Герценъ“ (т. I).

шенно чуждыми этимъ стремленіямъ. О народѣ и говорить нечего.

Всего скорѣе, казалось бы, могли думать о „гарантіяхъ" и представительствѣ такіе люди, какъ, напр., Литвиновъ,— люди практическаго дѣла, либерально и демократически настроенные и одушевленные стремленіемъ принести посильную пользу странѣ. Но, какъ мы видимъ, Литвиновъ ни о какихъ „конституціяхъ" не мечтаетъ, а хочетъ только вести раціональное хозяйство и быть культурнымъ дѣятелемъ въ тѣсномъ смыслѣ. Онъ, повидимому, совсѣмъ и не останавливается на мысли о необходимости свободы и ея гарантій—для этой же самой „культурной" дѣятельности, какъ бы скромна она ни была. Онъ пойметъ это позже, въ 70-хъ и еще лучше въ 80-хъ годахъ, если, предположимъ, изъ него выработается сознательный общественный дѣятель... Но пока онъ дальше агрономіи и техники не идетъ. Радикалы, народники, „нигилисты" того времени шли, правда, гораздо дальше чисто-культурныхъ задачъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они шли какъ-то мимо принципа политической свободы и также ни о какихъ „гарантіяхъ" и „конституціяхъ" не помышляли.

Политическая свобода, конечно, есть великое благо, и всякому историческому народу она всегда нужна, но не всегда она является очередною историческою задачею. Таковою она стала у насъ только въ настоящее время, когда она является необходимою предпосылкою всякаго прогресса, всякаго дальнѣйшаго шага впередъ и вмѣстѣ съ тѣмъ единственною гарантіею порядка и безопасности, какъ внутренней, такъ и внѣшней. Теперь она—насущная потребность всѣхъ классовъ населенія и самого государства. Въ 60-хъ годахъ она представлялась какъ бы роскошью, прерогативою, которою воспользуются только высшіе классы. Политически-свободная Россія, казалось тогда, будетъ либо дворянско-олигархическою, либо буржуазною. И передовые

люди предпочитали мириться—пока—съ абсолютизмомъ, съ полновластною бюрократіею. Наиболѣе радикальные изъ нихъ, восторженные поклонники народа, романтики будущаго, лелѣяли благородную мечту—подготовить, минуя всякія „конституціи“, почву для грядущаго „народовластія“, для идеальнаго строя на соціалистическихъ началахъ. Возникали тайныя общества, практиковалось и „хожденіе въ народъ“. Этому движенію предстояло широкое поприще въ слѣдующемъ десятилѣтіи, въ 70-хъ годахъ.

4.

Хотя въ 60-хъ годахъ это движеніе еще не получило большихъ размѣровъ, но эти годы по праву могутъ быть названы классическою эпохою нашего радикальнаго, соціалистическаго народничества, ибо тогда именно и были созданы его психологическія и идейныя основы. Онѣ создавались идеализаціею и культомъ народа, чувствомъ отвѣтственности передъ нимъ, сознаніемъ неоплаченнаго „долга“ народу, о чемъ такъ дружно, словно сговорившись, твердили тогда почти всѣ передовыя фракціи общества. Культъ народа питался и поэзіею Некрасова, и проповѣдью Герцена, и новою народническою литературою (Рѣшетниковъ, Левитовъ, Глѣбъ Успенскій), и идеями славянофиловъ и почвенниковъ, и публицистикою передовыхъ журналовъ. Для всѣхъ, кто былъ затронутъ этою—въ существѣ моральною и „покаянною“ идеею (а такихъ было много), народъ былъ „святыней“. Эти люди допускали какія угодно отрицанія и сомнѣнія, кромѣ только сомнѣнія въ высокихъ душевныхъ качествахъ мужика, не испорченнаго цивилизаціею,—въ высокомъ достоинствѣ его „трудовой“ морали, въ его затаенныхъ, мощныхъ силахъ. Но, какъ мы знаемъ, 60-е годы были эпохою противорѣчій. Одно изъ нихъ состояло въ томъ, что рядомъ съ этимъ культомъ народа замѣчалось и крити-

ческое къ нему отношеніе. Бывало даже такъ, что „культъ" народа совмѣщался съ критическимъ отношеніемъ къ мужику въ одной и той же головѣ. Наконецъ, были рѣшительные противники идеализаціи народа (я говорю, конечно, не о тѣхъ, которые принадлежали къ лагерю реакціонеровъ или консерваторовъ). — Тургеневъ, какъ извѣстно, при всѣхъ своихъ симпатіяхъ къ народу, не раздѣлялъ народническихъ увлеченій, въ которыхъ дѣйствительно было много преувеличеннаго и фантастическаго.—Потугинъ въ „Дымѣ" отзывается о мужикѣ далеко не почтительно. Еще непочтительнѣе говоритъ о немъ самъ Тургеневъ въ письмахъ къ Герцену, напр., въ слѣдующихъ строкахъ: „...народъ, предъ которымъ вы преклоняетесь,—консерваторъ par excellence и даже носитъ въ себѣ зародыши такой буржуазіи въ дубленомъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, съ вѣчно-набитымъ до изжоги брюхомъ и отвращеніемъ ко всякой гражданской ответственности и самодѣятельности, что далеко оставитъ за собою всѣ мѣтко-вѣрныя черты, которыми ты изобразилъ западную буржуазію въ своихъ письмахъ..." (В. П. Батуринскій, „А. И. Герценъ", I, 188).—Это въ свою очередь была крайность, въ которую впалъ Тургеневъ въ жару спора. Въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ онъ не далъ подтвержденія такому безотрадному взгляду на мужика. Мужики въ повѣстяхъ и романахъ Тургенева не идеализированы, но они очень далеки отъ приведенной—явно-несправедливой—характеристики. И если мы захотимъ найти въ нашей художественной литературѣ образы, которые бы ее подтверждали, то придется искать ихъ не у Тургенева, а у Глѣба Успенскаго—въ его позднѣйшихъ очеркахъ, относящихся къ 70-мъ и 80-мъ годамъ.

Идеализація народа, въ связи съ другими соображеніями, являлась чуть ли не важнѣйшимъ основаніемъ весьма распространеннаго тогда и позже убѣжденія, что Россія должна идти къ лучшему будущему по своей особой дорогѣ, минуя

тѣ буржуазные пути, по которымъ шла и идетъ Западная Европа. Мы создадимъ новый порядокъ вещей, основанный на равенствѣ, справедливости и общемъ владѣніи землею и орудіями труда,—не проходя черезъ стадію капиталистическаго хозяйства, буржуазнаго либерализма и парламентаризма... Въ Россіи не разовьется крупная промышленность, не будетъ обезземеленія крестьянъ, не будетъ пролетаріата... Въ 70-хъ и 80-хъ годахъ это воззрѣніе вылилось въ законченную систему экономическаго и моральнаго ученія народниковъ, въ ряду которыхъ наиболѣе видное мѣсто въ литературѣ принадлежало извѣстному экономисту и публицисту г. В. В. [1]) и покойному Юзову-Каблицу. Въ 60-хъ же годахъ это ученіе еще не было системою и слѣдовательно не имѣло ни преимуществъ, ни недостатковъ таковой,—и не подлежитъ поэтому послѣдовательной и суровой критикѣ по существу, какой съ разныхъ сторонъ подверглось позднѣйшее, уже систематизированное, народничество. Въ числѣ его критиковъ мы находимъ и писателей, общественныя и политическія воззрѣнія которыхъ сложились въ 60-хъ годахъ,—Н. К. Михайловскаго, А. Н. Пыпина и друг. Этотъ фактъ указываетъ на то, что вышеуказанная народническая идея 60-хъ годовъ, при всемъ своемъ сходствѣ съ ученіемъ позднѣйшихъ народниковъ, должна была отличаться отъ него какими-нибудь особенностями, въ силу которыхъ для его адептовъ впослѣдствіи оказалось логически и психологически отнюдь не обязательнымъ исповѣдывать позднѣйшую доктрину идеологовъ народничества.

Народничество 60-хъ годовъ не было „ученіемъ", доктриною, оно было идейнымъ и еще болѣе моральнымъ настроеніемъ, въ которомъ отразилось одно изъ противорѣчій эпохи. Дѣло въ томъ, что именно въ 60-хъ годахъ и совершался переходъ отъ „патріархальныхъ" формъ эконо-

---

1) Воронцову.

мическаго быта къ новымъ,—это была „весна“ и „медовый періодъ“ нашего капитализма съ его банками, концессіями, акціонерными предпріятіями и т. д. Сѣть желѣзныхъ дорогъ, тогда впервые пролагавшихся, властно открывала новую экономическую, промышленную и торговую эру,—и отсталая страна, послѣ долгаго экономическаго застоя, словно нехотя и спросонья, вылѣзала на новую историческую дорогу; на этой дорогѣ ей—съ непривычки—трудно было двигаться на первыхъ порахъ, и здѣсь всецѣло примѣнимы слова Тургенева, что „новое принималось плохо“, хотя „старое всякую силу потеряло“, что „неумѣлый сталкивался съ недобросовѣстнымъ“, и „весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ“. Достаточно вспомнить желѣзнодорожную горячку, концессіи, наплывъ „дѣльцовъ“, аферистовъ, крахи, разореніе помѣщиковъ, соблазнявшихся разными предпріятіями и промышленными экспериментами и т. д. И немудрено, что нашей, еще не окрѣпшей тогда, молодой экономической и политической мысли вся эта сутолока и горячка могла казаться какимъ-то недоразумѣніемъ, сумбуромъ, „дымомъ“—„буржуазныхъ“, капиталистическихъ затѣй, не соотвѣтствующихъ истиннымъ потребностямъ страны и противорѣчащихъ ея „естественному“ историческому пути. Утопія народничества 60-хъ годовъ явилась какъ бы протестомъ противъ „насажденія“ у насъ капитализма и плутократіи. Въ глазахъ друзей народа все, что такъ или иначе связывалось съ призракомъ капитализма, было заподозрѣно. Передовыя партіи видѣли злѣйшихъ враговъ своихъ и народа именно здѣсь, въ этой новой, вербующейся арміи биржевиковъ, желѣзнодорожниковъ, заводчиковъ, банкировъ и т. д. Слово „дѣлецъ“ получило оттѣнокъ порицательности. Заподозрѣна была тогда и тѣсно связанная съ міромъ дѣльцовъ профессія адвокатовъ. Въ нисходящемъ порядкѣ отверженными являлись и мелкіе гешефтмахеры, деревенскіе кулаки, міроѣды.—Общество расколол ось какъ бы на двѣ фракціи: народныхъ печальниковъ

и заступниковъ разныхъ направленій и оттѣнковъ, съ одной стороны, и „буржуевъ"—отъ деревенскаго кулака до желѣзнодорожныхъ и биржевыхъ королей,—съ другой.

Со стороны идей и идеаловъ это былъ процессъ раздѣленія двухъ теченій: соціализма и либерализма. Но оно окончательно установилось только въ 70-хъ годахъ, когда въ кругахъ передовой молодежи слово „либералъ" нерѣдко получало оттѣнокъ порицательный, уничижительный, почти такъ, какъ и выраженіе „буржуй".

Имѣя въ виду это раздѣленіе двухъ теченій и то противорѣчіе самой жизни, на которомъ оно основывалось, мы легко поймемъ, почему идеи Потугина-Тургенева, оставаясь однимъ изъ характерныхъ признаковъ эпохи, не могли тогда (и тѣмъ болѣе позже) вызывать сочувствіе въ передовыхъ радикальныхъ кругахъ общества и среди волнующейся идейной молодежи.

Потугинъ проповѣдуетъ западно-европейскую цивилизацію, какъ таковую. Онъ говоритъ: „...я западникъ, я преданъ Европѣ, т.-е., говоря точнѣе, я преданъ образованности, той самой образованности, надъ которою такъ мило у насъ теперь потѣшаются, — цивилизаціи — да, да, это слово еще лучше—и я люблю ее всѣмъ сердцемъ, и вѣрю въ нее, и другой вѣры у меня нѣтъ и не будетъ. Это слово ци...ви...-ли...зація и понятно, и чисто, и свято, а другія всѣ, народность тамъ, что ли, слава, кровью пахнутъ... Богъ съ ними!" (глава V).—Это отлично комментируется тѣми мѣстами въ письмахъ Тургенева, гдѣ онъ говоритъ, что надо учить русскій народъ цивилизаціи, напр., въ письмѣ къ Герцену (отъ 8 октября 1862 г.): „Роль образованнаго класса въ Россіи быть преподавателемъ цивилизаціи народу съ тѣмъ, чтобы онъ самъ уже рѣшилъ, что ему отвергать или принимать. Это въ сущности скромная роль, хотя въ ней подвизались Петръ Великій и Ломоносовъ. Эта роль, помоему, еще не кончена..." (Батуринскій, „А. И. Герценъ",

I, 188).—Многимъ могло казаться, что Потугинъ и Тургеневъ идеализируютъ западно-европейскую цивилизацію, не различая въ ней темныхъ и свѣтлыхъ сторонъ. Если взять ее въ цѣломъ, какъ она есть, то окажется, что она „пахнетъ" кровью не меньше, чѣмъ „народность" или „слава". Еще больше „пахнетъ" она эксплуатаціей. Поскольку она являлась къ намъ въ формѣ буржуазности и капитализма, постольку, въ глазахъ многихъ, ея проповѣдь была проповѣдью эксплуатаціи.—Но примемъ, что Потугинъ и Тургеневъ подъ „цивилизаціей" разумѣли собственно „образованность" и все то, что подводится подъ понятіе „культурнаго блага". И тутъ, какъ извѣстно, мнѣнія расходились: радикалы и народники считали „образованность", основанную на „буржуазныхъ" началахъ, вредною и отвергали многое, что, съ точки зрѣнія Тургенева, являлось несомнѣннымъ культурнымъ благомъ. Соглашеніе получилось бы только въ томъ случаѣ, если бы взять понятіе „образованности" въ смыслѣ просвѣщенія вообще, т.-е. распространенія грамотности и элементарныхъ знаній въ народѣ, популяризаціи знанія въ массѣ общества. На этомъ сходились всѣ сколько-нибудь прогрессивныя фракціи. Но здѣсь Потугинъ ломился бы въ открытую дверь: 60-е годы были именно эпохою воскресныхъ школъ, популяризаціи научнаго знанія, просвѣтительныхъ стремленій.

Несомнѣнно однако, что Потугинъ подъ „цивилизаціей" или „образованностью" разумѣлъ понятіе болѣе сложное. Онъ заявляетъ себя принципіальнымъ, послѣдовательнымъ западникомъ. И его „цивилизація" есть именно цивилизація западно-европейская, а не какая-либо иная, и не только въ видѣ созданныхъ Западною Европою учрежденій и порядковъ, а также (и, кажется, въ особенности) въ смыслѣ той выучки, дисциплины нравовъ и культуры мысли, которыми, по его мнѣнію, такъ выгодно отличаются отъ насъ западно-европейскіе народы. Вспомнимъ его сарка-

стическія выходки противъ нашей некультурности, нашей манеры мыслить и дѣйствовать, противъ „широкой русской натуры“ и т. д. Во всѣхъ этихъ обличеніяхъ виденъ именно убѣжденный западникъ, почитатель европейской культурности и выдержки въ трудѣ.

Вотъ именно эта сторона „проповѣди“ Потугина не могла вызвать къ себѣ вниманія и сочувствія въ то время. Она шла въ разрѣзъ, во-первыхъ, съ симпатіями и идеями всѣхъ націоналистическихъ группъ: въ славянофилахъ, почвенникахъ, народникахъ рѣчи Потугина могли вызвать только негодованіе. Что касается „радикаловъ“, то они хотя и не кичились разными національными доблестями въ родѣ широты натуры и т. д., но въ принципѣ ничего не имѣли противъ нихъ, и критика національныхъ чертъ не входила въ кругъ ихъ идейныхъ интересовъ. И многимъ изъ нихъ казалось, что отсутствіе у русскаго человѣка работоспособности и культурности въ западно-европейскомъ смыслѣ не является большимъ порокомъ и что вопросъ объ этомъ не принадлежитъ къ числу очередныхъ...

Съ тѣхъ поръ много воды утекло и много горькаго опыта было пережито. Мы познали теперь, что дѣйствительно культурность и работоспособность европейскихъ передовыхъ народовъ есть нѣчто въ высокой степени цѣнное и завидное. Къ рѣчамъ Потугина мы склонны теперь прислушиваться съ большимъ вниманіемъ. Въ 60-е годы и позже они прозвучали одиноко, безъ отклика и даже едва ли были поняты надлежащимъ образомъ.

Но, однако, при всей своей непопулярности, точка зрѣнія Потугина должна быть признана ярко-типичною для 60-хъ годовъ. Не будетъ ошибкою сказать, что только въ 60-хъ годахъ и можно было говорить такія рѣчи, какія говорилъ Потугинъ, и писать такія письма, какъ тѣ, въ которыхъ Тургеневъ излагалъ свой отрицательный и пессимистическій взглядъ на русскій народъ, на Россію. Въ другое время это

національное самоотрицаніе не подходило бы къ преобладающему направленію и настроенію умовъ. Наши 60-е годы были эпохою „отрицанія и сомнѣнія“, смѣлаго ниспроверженія „авторитетовъ“, исканія трезвой, хотя бы и горькой правды, борьбы съ предразсудками, со старыми понятіями. Въ этомъ-то именно и усматривали тогда люди консервативнаго склада и болѣе робкаго ума то, что, съ легкой руки Тургенева, получило кличку „нигилизма“. Если же „нигилизмъ“ есть отрицаніе того, что общепринято, освящено традиціей и что всѣмъ или большинству дорого, то придется назвать Потугина настоящимъ нигилистомъ, въ своемъ родѣ не меньше Базарова: онъ посягалъ на то, что чтили, предъ чѣмъ преклонялись многіе, даже крайніе изъ крайнихъ,—онъ не уважалъ мужика, не вѣрилъ въ народъ, скептически относился къ построенію „будущности Россіи“. И въ самомъ тонѣ его рѣчей, въ смѣломъ, бойкомъ задорѣ его критики слышится именно духъ 60-хъ годовъ.

И весь романъ, изображающій все, что волновало эпоху, чѣмъ жила она, какъ „дымъ... дымъ... дымъ“,—отражаетъ въ себѣ этотъ духъ смѣлаго, здороваго отрицанія... Литвинову, измученному пережитою имъ драмою, все представляется „дымомъ“—и „горячіе споры, толки и крики у Губарева“, и „сужденія и рѣчи“ „государственныхъ людей“,—тѣхъ представителей высшаго круга, съ которыми онъ столкнулся за-границей, наконецъ „даже все то, что проповѣдывалъ Потугинъ“ (гл. XXVI). Постороннему наблюдателю, въ особенности иностранцу, это должно показаться какимъ-то страннымъ „отрицаніемъ отрицанія“, не дающимъ въ результатѣ никакого плюса, ничего положительнаго,—истиннымъ „нигилизмомъ“, какъ психологическою чертою русскаго національнаго склада ума.

Вотъ именно эта черта, этотъ нашъ прирожденный, психологическій „нигилизмъ“ и получилъ въ 60-е годы особливо

яркое выраженіе и явился въ это оживленное, бойкое время одною изъ освободительныхъ — скажемъ прямо: творческихъ силъ, работою которыхъ созидалась новая Россія.

Геніальнымъ художественнымъ воплощеніемъ этой силы явилась созданная тѣмъ же великимъ художникомъ грандіозная фигура Базарова, разсмотрѣнію которой мы посвятимъ слѣдующую главу.

ГЛАВА IV.

Базаровъ, какъ отрицатель и какъ общественно-психологическій и національный типъ.

1.

Въ „Этюдахъ о творчествѣ И. С. Тургенева“, разбирая фигуру Базарова, я высказалъ, между прочимъ, мысль, что этотъ образъ не можетъ считаться вполнѣ вѣрнымъ отраженіемъ того типа „нигилиста“, который процвѣталъ въ 60-хъ годахъ [1]. Правда, Базаровъ держится „нигилистическихъ взглядовъ“: отрицаетъ искусство и эстетику, ниспровергаетъ всѣ старыя понятія и предразсудки, не признаетъ авторитетовъ; онъ — убѣжденный матеріалистъ (въ философіи и психологіи), и занимается естественными науками, въ чемъ и полагаетъ главнѣйшее занятіе, достойное мыслящаго человѣка, — совершенно такъ, какъ училъ Писаревъ. Но все это только *сближаетъ* Базарова съ „нигилистами“; это — черты времени, отразившіяся на немъ, какъ отражались онѣ на многихъ, не только на „нигилистахъ“ или „мыслящихъ реалистахъ“ писаревскаго толка. Базаровъ, какъ умъ, характеръ, натура, гораздо значительнѣе и содержательнѣе тѣхъ умовъ и натуръ, которымъ въ то время присвоилась кличка „нигилистъ“. Какъ общественно-психологическій типъ, онъ

---

[1]) „Этюды о творч. И. С. Тургенева“, изданіе 2-ое, стр. 55—56.

гораздо шире и устойчивѣе такого временнаго, скоро сошедшаго со сцены явленія, какимъ былъ нашъ „нигилизмъ" 60-хъ годовъ. „Базаровщина" выступила на аренѣ нашей умственной и общественной жизни раньше движенія, связаннаго съ именемъ Писарева, и своими важнѣйшими сторонами пережила это движеніе... Наконецъ, въ Базаровѣ и „базаровщинѣ" мы видимъ, вслѣдъ за Страховымъ [1]), также отраженіе извѣстныхъ чертъ великорусской національной психологіи, которыя, конечно, являются еще болѣе стойкими и общими, чѣмъ признаки общественно-психологическіе. — Все это мы постараемся разобрать и обосновать съ возможною обстоятельностью, какъ заслуживаетъ того монументальная фигура Базарова, которой въ галлереѣ нашихъ художественныхъ типовъ принадлежитъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ.

Самъ Тургеневъ, какъ извѣстно, утверждалъ (въ письмѣ къ Случевскому, 1862 г.), что въ лицѣ Базарова онъ хотѣлъ изобразить не „нигилиста", а „революціонера". Онъ говоритъ: „мнѣ мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-таки стоитъ въ преддверіи будущаго, — мнѣ мечтался какой-то странный pendant съ Пугачевымъ". — Разбирая (въ „Этюдахъ о творч. И. С. Тургенева", стр. 52 и слѣд.; стр. 56) это показаніе автора и другія данныя, сюда относящіеся, я пришелъ къ выводу, что, хотя и задуманный въ этомъ направленіи, Базаровъ, однако, не вышелъ типичнымъ революціонеромъ. У него есть только задатки для революціонной дѣятельности; онъ могъ бы сыграть роль, имѣющую революціонное значеніе. Но, по всему складу своей натуры и по преобладающимъ чертамъ ума, онъ — отнюдь не рево-

---

1) См. Н. Страховъ, „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ", С.-Петербургъ, изд. 2-ое, стр. 29.

люціонеръ по призванію: для такого призванія онъ слишкомъ скептикъ и мизантропъ, слишкомъ отрицатель; онъ не способенъ увѣровать въ принципъ, въ идею; онъ человѣкъ разлагающей критики и широкой внутренней свободы, — и отнюдь не принадлежитъ къ тому психологичему типу „вѣрующихъ и исповѣдующихъ", къ которому относятся истинные революціонеры вмѣстѣ съ религіозными подвижниками.— Нельзя представить себѣ Базарова фанатикомъ идеи. Мало того: у него нѣтъ вкуса къ пропагандѣ и къ партійной дѣятельности. Во всякой партіи ему будетъ тѣсно и скучно. Какой же онъ „революціонеръ"?

Что же такое Базаровъ?

Прежде всего, онъ — отрицатель, и при томъ — русскій отрицатель, не похожій на западно-европейскихъ. Во вторыхъ, онъ — „демократъ до конца ногтей", какъ характеризуетъ его самъ Тургеневъ въ томъ же письмѣ къ Случевскому. Этими двумя основными чертами намѣчается тотъ общественно-психологическій типъ, который воплощенъ въ Базаровѣ. Но чтобы раскрыть содержаніе и психологію этого типа и установить его историческое значеніе, нужно выяснить его отношенія къ старшимъ общественно-психологическимъ типамъ, предшествовавшимъ ему на аренѣ нашей общественной жизни. На нихъ-то по преимуществу и направлено то отрицаніе, представителемъ котораго является Базаровъ. Чтобы понять Базарова исторически и психологически, нужно уяснить себѣ, что, кого и почему онъ отрицаетъ. Постараемся сдѣлать это.

2.

Прежде всего, Базаровъ отрицаетъ все то, что въ романѣ представлено фигурами Николая Петровича и Павла Петровича Кирсановыхъ. Къ первому онъ относится еще съ нѣкоторымъ снисхожденіемъ и цѣнитъ его душевныя каче-

ства — его доброту, простоту, отсутстіе претензій. Николай Петровичъ не становится, какъ это дѣлаетъ его братъ, въ оппозицію молодому поколѣнію, — онъ идетъ навстрѣчу новымъ идеямъ, старается понять ихъ. Базаровъ, не придавая этому большого значенія, все-таки цѣнитъ эту терпимость и благожелательность и, со своей стороны, столь же терпимо относится къ антипатичнымъ ему дворянскимъ, барскимъ чертамъ въ душевномъ складѣ Николая Петровича и къ его „устарѣлымъ" понятіямъ. — „Отецъ у тебя славный малый", говоритъ онъ Аркадію. „Стихи онъ напрасно читаетъ, и въ хозяйствѣ врядъ ли смыслитъ, но онъ добрякъ". — Тутъ же, съ свойственной ему наблюдательностью и мѣткостью сужденія, Базаровъ отмѣчаетъ, что Николай Петровичъ „робѣетъ" и говоритъ по этому поводу: "Удивительное дѣло — эти старенькіе романтики! Разовьютъ въ себѣ нервную систему до раздраженія... ну, равновѣсіе и нарушено" (гл. IV). — Едва ли Базаровъ сознавалъ самъ, какъ глубоковѣрно и мѣтко это замѣчаніе, и какъ блистательно оправдывается оно всѣмъ, что мы знаемъ о психологіи того поколѣнія, котораго представителями въ романѣ являются „старики" Кирсановы. Обратимъ вниманіе на то, что не только въ глазахъ Базарова они — „старики", но и они сами склонны смотрѣть на себя какъ на людей, преждевременно состарившихся и отживающихъ (хотя Павелъ Петровичъ и скрываетъ это). Такъ же смотритъ на нихъ и самъ Тургеневъ; они и выведены какъ представители отживающаго типа. А между тѣмъ, Николаю Петровичу всего 40 съ небольшимъ лѣтъ (гл. I), Павлу Петровичу — 45 лѣтъ (гл. IV). Они, можно сказать, въ томъ зрѣломъ возрастѣ, когда человѣкъ и является настоящимъ дѣятелемъ, съ опредѣлившимся міровоззрѣніемъ, съ устойчивымъ душевнымъ укладомъ, и долженъ бы чувствовать себя на своей дорогѣ — идущимъ впередъ, а не назадъ, живущимъ, а не отживающимъ. Кирсановы, несомнѣнно, состарились душою и отживаютъ. Они привя-

заны къ прошлому и впередъ не могутъ идти. Такъ это было и въ дѣйствительности: къ концу 50-хъ годовъ (дѣйствіе романа отнесено въ 1859 году) типъ передового, мыслящаго человѣка 40-хъ годовъ, „либерала-идеалиста", уже отживалъ свой вѣкъ, и его представители преждевременно старѣли, — ихъ мысль тускнѣла, ихъ психика изнашивалась. Это объясняется прежде всего тѣмъ, что эти люди вынесли на своихъ плечахъ 40-е годы и глухое время первой половины 50-хъ. Но была и другая, болѣе отдаленная причина, которую нужно искать въ условіяхъ быта, жизни и образованности ихъ класса въ началѣ XIX вѣка и въ концѣ XVIII-го: поколѣніе людей 40-хъ годовъ въ юности уже было отмѣчено расшатанностью нервной системы и являло нерѣдко признаки душевной неуравновѣшенности; это проявлялось, между прочимъ, излишнею чувствительностью, мечтательностью, восторженностью, иногда вспышками религіознаго чувства, близкаго къ мистицизму. Въ своемъ мѣстѣ [1]) мы говорили уже объ этихъ признакахъ психической неустойчивости молодого поколѣнія 30-хъ годовъ. Почти всѣ дѣятели той эпохи пережили въ юности кризисъ экзальтаціи и сентиментальности. Съ годами и благодаря умственному труду, ихъ душевный міръ оздоровлялся, въ особенности у тѣхъ изъ нихъ, которые, какъ Герценъ, были одарены исключительными качествами ума и натуры. Но у многихъ слѣды душевной дезорганизаціи такъ или иначе сказывались, — чаще всего тѣмъ, что̀ можно назвать психическою усталостью, изношенностью. И къ концу 50-хъ годовъ они превращались въ „старенькихъ романтиковъ", въ людей „отставныхъ", которыхъ „пѣсенка спѣта", какъ выражается Базаровъ о Николаѣ Петровичѣ, или въ такихъ позирующихъ чудаковъ, какъ изображенъ Павелъ Петровичъ.

Если къ Николаю Петровичу Базаровъ относится снисхо-

---

[1]) См. ч. I, гл. II, 2 и гл. IV, 4.

дительно и даже, пожалуй, съ нѣкоторой симпатіей, то Павла Петровича онъ едва выноситъ, какъ и тотъ его. У нихъ взаимная и инстинктивная, непреоборимая антипатія. — „Архаическое явленіе!“ — такъ на первыхъ же порахъ охарактеризовалъ Базаровъ Павла Петровича — „Чудаковатъ у тебя дядя“, говоритъ онъ Аркадію, „щегольство какое въ деревнѣ, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай...“ (гл. IV). — Ему претятъ и накрахмаленные воротнички Павла Петровича, и его гладко выбритый подбородокъ, и вся его щегольская, барская фигура, и его манеры, всѣ его позы и претензіи. Когда Аркадій разсказалъ ему исторію дяди, его романтическую любовь, приведшую его къ разочарованности и деревенскому уединенію, Базаровъ вынесъ такой приговоръ: „А я все-таки скажу, что человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакій человѣкъ — не мужчина, а самецъ. Ты говоришь, что онъ несчастливъ: тебѣ лучше знать; но дурь изъ него не вся вышла...“ — Въ оправданіе дяди, Аркадій ссылается на его воспитаніе и на время, когда онъ жилъ, — какъ и мы дѣлаемъ это, объясняя психологію людей 40-хъ годовъ. На это Базаровъ и Аркадію, и отчасти намъ отвѣчаетъ такъ: „Воспитаніе? Всякій человѣкъ самъ себя воспитать долженъ, ну, хоть какъ я, напримѣръ... А что касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня. Нѣтъ, братъ, все это распущенность, пустота! И что за таинственныя отношенія между мужчиной и женщиной? Мы, физіологи, знаемъ, какія это отношенія. Ты проштудируй-ка анатомію глаза: откуда тутъ взяться, какъ ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизмъ, чепуха, гниль, художество...“ (VII).

Здѣсь, кромѣ ригоризма, свойственнаго Базарову, отмѣтимъ два пункта: 1) у Базарова нѣтъ того снисхожденія къ людямъ, которое обусловливается историче-

скою точкою зрѣнія; 2) отрицаніе Базарова направлено не столько на идеи, понятія, направленіе и т. д., сколько на общественно-психологическія и личныя черты человѣка: въ Павлѣ Петровичѣ онъ отрицаетъ прежде всего не либерала, не идеалиста, а барина, испорченнаго воспитаніемъ, избалованнаго жизнью, ничего не дѣлающаго, убившаго лучшіе годы на любовь къ женщинѣ.

Павелъ Петровичъ возмущаетъ Базарова, какъ разночинца, какъ демократа по натурѣ, какъ человѣка труда и трудовой этики. Это — вражда двухъ противоположныхъ общественно-психологическихъ типовъ, двухъ различныхъ душевныхъ организацій, двухъ моральныхъ началъ. Если бы даже — предположимъ — Павелъ Петровичъ усвоилъ себѣ тѣ матеріалистическія идеи, какихъ держится Базаровъ, сталъ бы читать Бюхнера и т. д., оставаясь во всемъ остальномъ тѣмъ же „бариномъ" и „джентльменомъ", — все равно это не подкупило бы Базарова въ его пользу. Даже больше: теперь онъ только чувствуетъ къ Павлу Петровичу неодолимую антипатію, — тогда онъ презиралъ бы его, какъ презираетъ Кукшину, Ситникова и имъ подобныхъ. — Сдѣлаемъ и другое предположеніе: перенесемъ Базарова въ 40-е годы, — вѣдь и тогда появлялись, хотя сравнительно рѣдко, — разночинцы въ рядахъ интеллигенціи, и такая натура и такой складъ ума, какими характеризуется Базаровъ, возможны во всѣ времена. Базаровъ въ 40-е годы не былъ бы матеріалистомъ, отрицателемъ всѣхъ авторитетовъ, „нигилистомъ", но онъ неизмѣнно былъ бы все тѣмъ же человѣкомъ труда, дѣла, положительнаго знанія, — и не могъ бы сойтись съ кругами протестующихъ идеалистовъ того времени, не могъ бы примириться съ ихъ барскими привычками, ихъ прекраснодушіемъ, ихъ безконечными спорами и разговорами, ихъ красивой разочарованностью, „романтизмомъ" и т. д. И онъ, конечно, очутился бы далеко въ сторонѣ отъ движенія умовъ того времени, и, вѣроятно, ушелъ бы съ головой въ какую-

либо спеціальную дѣятельность, ученую или прикладную (напр., врачебную), тая про себя свое отрицательное отношеніе къ передовому тогда общественно-психологическому типу.—Разночинцы, выступившіе во второй половинѣ 50-хъ годовъ, не съ неба свалились. Они втихомолку росли и развивались въ предшествующую эпоху, воспитывая сами себя, какъ воспиталъ себя Базаровъ. По большей части это были люди духовнаго происхожденія, выходцы изъ семинарій и духовныхъ академій. И когда, съ наступленіемъ новой эпохи, они могли выступить въ жизни и въ литературѣ, то сейчасъ же обнаружилась рознь между нимъ и баричами-идеалистами, пережившими 40-е годы. Эта рознь была не столько идейная, сколько психологическая, бытовая и моральная. Вотъ именно появленіе на аренѣ нашей умственной и общественной жизни этого типа „семинаристовъ" и „разночинцевъ", какъ представителей новой интеллигенціи, и было первымъ обнаруженіемъ важнѣйшихъ сторонъ „базаровщины". Въ жизни и дѣятельности Чернышевскаго, Добролюбова, Елисеева и др. мы найдемъ ея характерныя черты.

3.

Отрицательное отношеніе къ идеалистамъ 40-хъ годовъ, очень близкое къ базаровскому, мы находимъ у Добролюбова (въ особенности въ статьѣ „Что такое обломовщина?"). Страстное и—съ исторической точки зрѣнія—не вполнѣ справедливое осужденіе людей „рудинскаго" типа, произнесенное Добролюбовымъ, было однимъ изъ первыхъ по времени и однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ проявленій у насъ „базаровскаго" умонастроенія. Раньше Добролюбова, но далеко не такъ рѣзко высказался въ томъ же духѣ Чернышевскій въ статьѣ „Русскій человѣкъ на rendez-vous" (въ „Атенеѣ" 1858 г.,—по поводу повѣсти Тургенева „Ася"). Разбирая извѣстныя черты героя „Аси", Чернышевскій вспоминаетъ

и Рудина, и Бельтова. Герой „Аси", оказавшійся столь слабымъ, столь ничтожнымъ, представляется критику фигурою типичною для всего поколѣнія 40-хъ годовъ и характеризуется слѣдующими чертами: „...пока о дѣлѣ нѣтъ рѣчи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову и праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боекъ; подходитъ дѣло къ тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желанія,—большая часть героевъ начинаетъ уже колебаться и чувствовать неповоротливость въ языкѣ... Вздумай кто-нибудь схватиться за ихъ желанія, сказать: вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же дѣйствовать, а мы васъ поддержимъ,—при такой репликѣ одна половина храбрѣйшихъ героевъ падаетъ въ обморокъ, другіе начинаютъ очень грубо упрекать васъ за то, что вы поставили ихъ въ неловкое положеніе, начинаютъ говорить, что они не ожидали отъ васъ такихъ предложеній, что совершенно теряютъ голову, не могутъ ничего сообразить..." и т. д.—„Таковы-то наши лучшіе люди—всѣ они похожи на нашего Ромео" (героя „Аси"), заключаетъ Чернышевскій („Критическія статьи", С.-Петербургъ, 1895 г., изд. 2-е, стр. 250).—Любопытно отмѣтить еще слѣдующее мѣсто, гдѣ, во-первыхъ, весьма прозрачно указана классовая отчужденность новаго типа разночинцевъ въ отношеніи къ старшему, „барскому", типу, и гдѣ, во-вторыхъ, сказалась присущая Чернышевскому склонность (въ противоположность Добролюбову и Базарову) къ исторической точкѣ зрѣнія и къ вытекающей оттуда снисходительности въ оцѣнкѣ дѣятелей прошлаго: „Но хотя и со стыдомъ, должны мы признаться, что принимаемъ участіе въ судьбѣ нашего героя. Мы не имѣемъ чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всѣхъ намъ близкихъ[1]). Но мы не мо-

*) Курсивъ мой.

жемъ еще оторваться отъ предубѣжденій, набившихся въ нашу голову изъ ложныхъ книгъ и уроковъ, которыми воспитана и загублена наша молодость... намъ все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для насъ мечта), будто онъ оказалъ какія-то услуги нашему обществу, будто онъ представитель нашего просвѣщенія, будто онъ лучшій между нами, будто бы безъ него было бы намъ еще хуже. Все сильнѣй и сильнѣй развивается въ насъ мысль, что это мнѣніе о немъ—пустая мечта, мы чувствуемъ, что не долго уже остается намъ находиться подъ ея вліяніемъ; что есть люди лучше его, именно тѣ, которыхъ онъ обижаетъ; что безъ него намъ было бы лучше жить,—но въ настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись съ этою мыслью, не совсѣмъ оторвались отъ мечты, на которой воспитаны; потому мы все еще желаемъ добра нашему герою и его собратамъ" (тамъ же, стр. 264—265).—Это была перчатка, брошенная представителемъ молодого поколѣнія и новаго общественно-психологическаго типа старшему поколѣнію. Статья задѣла за живое нѣкоторыхъ „собратовъ" героя „Аси", въ томъ числѣ и А. И. Герцена. Вскорѣ послѣ того (въ 1859 г.) Чернышевскій посѣтилъ Герцена въ Лондонѣ, и споръ, возгорѣвшійся между ними, отразилъ въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, это столкновеніе двухъ поколѣній, двухъ типовъ. Въ передачѣ спора, сдѣланной Герценомъ въ статьѣ „Лишніе люди и желчевики", Чернышевскій говоритъ Герцену: „Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ, дармоѣдовъ, трутней, тунеядцевъ à la Oneghine?.. И извольте видѣть, они образовались иначе, міръ, ихъ окружающій, имъ слишкомъ грязенъ, недовольно натертъ воскомъ, замараютъ руки, замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и при томъ спокойно ѣсть да пить".—„Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что эти люди по доброй волѣ ничего не дѣлали, или дѣлали вздоръ?" вопрошаетъ Герценъ.—„Безъ всякаго сомнѣнія", отвѣчаетъ Чернышевскій, „они были романтики

и аристократы, они ненавидѣли работу, себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило; да и того, правда, они не умѣли" („Сочиненія А. И. Герцена", С.-Петербургъ, 1905 г., томъ V, стр. 346) [1]).—Спорщики разстались, не поладивъ другъ съ другомъ. Характерны ихъ отзывы другъ о другѣ, приведенные въ воспоминаніяхъ Павлова („Изъ пережитого"): „Удивительно умный человѣкъ", сказалъ Герценъ о Чернышевскомъ, „и тѣмъ болѣе при такомъ умѣ поразительно его самомнѣніе... Насъ грѣшныхъ они совсѣмъ похоронили. Ну, только кажется, ужъ очень они торопятся съ нашей отходной,—мы еще поживемъ!"—„Какой умница! какой умница!" восклицалъ въ свою очередь Чернышевскій. „И какъ отсталъ... Вѣдь, онъ до сихъ поръ думаетъ, что продолжаетъ остроумничать въ московскихъ салонахъ и препирается съ Хомяковымъ. А время теперь идетъ съ страшной быстротой: одинъ мѣсяцъ стóитъ прежнихъ десяти лѣтъ! Присмотришься,—у него все еще въ нутрѣ московскій баринъ сидитъ!" [2]). Въ томъ же 1859 году отозвался Герценъ въ „Колоколѣ" и на знаменитую статью Добролюбова „Что такое обломовщина?" статьею „Very dangerous", гдѣ обнаружилъ странное и печальное непониманіе новаго типа вообще и дѣятельности Добролюбова въ частности. И здѣсь имя Добролюбова не названо, но все содержаніе статьи и нѣкоторые намеки (напр. на „Свистокъ") не оставляютъ сомнѣнія, что тутъ разумѣется именно онъ. Защищая „Онѣгиныхъ, Печориныхъ" и людей 40-хъ годовъ отъ нападокъ Добролюбова, Герценъ заподозрѣваетъ его и всю редакцію

---

[1]) Въ статьѣ Герцена Чернышевскій не названъ. Но что здѣсь выведенъ именно онъ и что весь діалогъ воспроизводитъ споръ Герцена съ Чернышевскимъ въ 1859 г., это установлено на основаніи различныхъ свидѣтельствъ, о чемъ см. въ книгѣ В. П. Батуринскаго („А. И. Герценъ, его друзья и знакомые", т. I, стр. 103).

[2]) В. П. Батуринскій, „А. И. Герценъ", стр. 103, откуда я и взялъ эту цитату.

„Современника“ въ низменности побужденій, въ мелкомъ завистничествѣ, приравниваетъ „Свистокъ“ къ балагурству Сенковскаго и кончаетъ статью очень ужъ опрометчивыми словами: „Истощая свой смѣхъ на обличительную литературу, милые паяцы наши забываютъ, что по этой скользкой дорогѣ можно досвистаться [1]) не только до Булгарина и Греча, но (чего Боже сохрани) и до Станислава на шею! [1]). Можетъ, они объ этомъ и не думали,—пусть подумаютъ теперь“ („Сочиненія А. И. Герцена“, С.-Петербургъ, 1905, т. VI, стр. 246).—Въ отвѣтъ на это Добролюбовъ и Чернышевскій могли бы съ полнымъ правомъ сказать Герцену то, что говоритъ Базаровъ Павлу Петровичу Кирсанову: „Вотъ и измѣнило вамъ хваленое чувство собственнаго достоинства“ („Отцы и дѣти“, гл. X).—Есть указанія о свиданіи Герцена съ Добролюбовымъ и объ уничтожающемъ письмѣ послѣдняго къ Герцену, напоминавшемъ по силѣ негодованія и страстности тона знаменитое письмо Бѣлинскаго къ Гоголю... Это письмо Добролюбова доселѣ не найдено...

Что Герценъ смотрѣлъ на представителей новаго типа съ какимъ-то предубѣжденіемъ и что ихъ душевный укладъ, ихъ настроеніе и направленіе представлялись ему въ превратномъ видѣ, это явствуетъ, между прочимъ, изъ той же характеристики, которую онъ далъ въ статьѣ „Лишніе люди и желчевики“, гдѣ Чернышевскій, Добролюбовъ и ихъ единомышленники рисуются „желчевиками“, какими-то мрачными, озлобленными неудачниками, какими-то педантами радикализма. Онъ называетъ ихъ „невскими Даніилами“ и видитъ въ ихъ проповѣди, въ ихъ отрицаніи что-то болѣзненное и безжизненное. Кромѣ того, замѣтно, что Герценъ личныя черты нѣкоторыхъ эмигрантовъ, съ которыми у него были недоразумѣнія и столкновенія, переносилъ на весь типъ. Съ такимъ предвзятымъ мнѣніемъ подошелъ Герценъ и къ фигурѣ Базарова, о чемъ у насъ будетъ рѣчь ниже.

---

[1]) Курсивъ Герцена.

Весь этотъ эпизодъ столкновенія Герцена съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ наглядно поясняетъ ту рознь между „отцами“ и „дѣтьми“, которая воспроизведена въ знаменитомъ романѣ Тургенева. Мы отмѣтили „базаровскія“ черты въ воззрѣніяхъ Чернышевскаго и Добролюбова. Но первый, какъ человѣкъ, какъ натура, всего менѣе напоминаетъ Базарова. Гуманный, кроткій, всепрощающій, онъ бывалъ рѣзокъ лишь на словахъ, въ жару спора; въ его натурѣ не было базаровской суровости, жесткости и силы. Другое дѣло—Добролюбовъ, у котораго явственно сказывались нѣкоторые черты базаровскаго уклада, кромѣ, разумѣется, грубости и эгоизма Базарова[1]). И, повидимому, справедливо мнѣніе Пыпина, что именно сильное впечатлѣніе, произведенное Добролюбовымъ на Тургенева, и внушило поэту первую мысль о характерѣ Базарова. „Едва ли сомнительно“, говоритъ Пыпинъ, „что, изображая, впослѣдствіи, Базарова, Тургеневъ (хотя и имѣлъ въ виду другой живой оригиналъ, какъ говорятъ) вложилъ въ это изображеніе нѣкоторыя черты Добролюбова: Базаровъ, въ собственномъ представленіи Тургенева, былъ натура почти героическая, суровая, честная и непреклонная...“ (А. Н. Пыпинъ, „Н. А. Некрасовъ“, 1905, стр. 40—41).

Изъ всего вышесказаннаго, между прочимъ, видно, что, такъ сказать, „идея Базарова“ зародилась у Тургенева и частью была выполнена почти независимо отъ того движенія, самымъ яркимъ представителемъ котораго былъ Писаревъ. Съ самимъ Писаревымъ Тургеневъ познакомился гораздо позже (въ 1867 г.). Да и натура Писарева, равно какъ и его классовыя черты,—не базаровскаго уклада,—вѣдь онъ—не „разночинецъ“, а „кающійся дворянинъ“, т.-е. представитель другой разновидности молодого поколѣнія того времени.

---

[1]) Отношеніе Добролюбова къ отцу и матери (въ особенности къ послѣдней) было діаметрально-противоположно отношенію Базарова къ его родителямъ.

4.

Всматриваясь въ идеи и умонастроеніе Базарова и въ его отношеніе къ различнымъ вопросамъ жизни, мы прежде всего отмѣтимъ то рѣзкое и суровое отрицаніе, съ какимъ онъ относится къ русской дѣйствительности вообще, къ народу и формамъ народнаго быта въ частности. Базаровъ всего менѣе народникъ, и съ этой стороны онъ уже не можетъ служить представителемъ того направленія, во главѣ котораго стояли Чернышевскій, Добролюбовъ и Елисеевъ.— Базаровъ, напр., говоритъ П. П. Кирсанову: „...я тогда готовъ буду согласиться съ вами, когда вы представите мнѣ хоть одно постановленіе въ современномъ нашемъ быту, въ семейномъ или общественномъ, которое не вызывало бы полнаго и безпощаднаго отрицанія". Тутъ Павелъ Петровичъ, защищая русскую дѣйствительность, прежде всего вспомнилъ о томъ учрежденіи, которое тогда было предметомъ нападокъ со стороны буржуазныхъ экономистовъ и на защиту котораго дружно ополчились демократы-радикалы, народники и славянофилы: Павелъ Петровичъ указалъ Базарову на общину. Но это слово не смутило „нигилиста".—„Холодная усмѣшка скривила губы Базарова". „Ну, насчетъ общины", промолвилъ онъ, „поговорите лучше съ вашимъ братцемъ. Онъ теперь, кажется, извѣдалъ на дѣлѣ, что̀ такое община, круговая порука, трезвость и тому подобныя штучки" (гл. X).—Нѣтъ сомнѣнія, на этомъ пунктѣ Чернышевскій и его единомышленники рѣшительно стали бы на сторону Павла Петровича. „Община", „артель", „круговая порука" были тогда для большинства друзей народа тѣми великими словами, въ которыя вѣрили, передъ которыми останавливалось самое смѣлое, самое послѣдовательное отрицаніе. Вспомнимъ: дѣйствіе романа происходитъ въ 1859 году, и Базарову, конечно, была извѣстна знаменитая статья Черны-

шевскаго „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго землевладѣнія", напечатанная въ 12-ой книгѣ „Современника" 1858 года. Безъ всякаго сомнѣнія, Базаровъ, какъ вся мыслящая Россія, усердно читалъ „Колоколъ", гдѣ Герценъ также выступалъ на защиту крестьянской общины. Это движеніе не захватило Базарова. По вопросу о крестьянскомъ общинномъ землевладѣніи и вообще въ своихъ взглядахъ на бытъ и психологію народа онъ, очевидно, не примыкалъ къ передовому тогда демократическому направленію, литературнымъ органомъ котораго былъ „Современникъ". Но это, разумѣется, не значитъ, что Базаровъ принадлежалъ къ дворянскому, помѣщичьему, „буржуазному" лагерю и что онъ раздѣлялъ мнѣнія либеральныхъ экономистовъ, желавшихъ уничтоженія общины. Очевидно только, что Базаровъ не идеализируетъ общину и не возлагаетъ на нее тѣхъ надеждъ, какія питали демократы-радикалы, народники и славянофилы. Базаровъ, этотъ, по выраженію Тургенева, „демократъ до конца ногтей", который гордо заявляетъ, что его дѣдъ землю пахалъ, совершенно чуждъ всякаго „романтизма" и „сентиментализма" въ отношеніи къ народу, къ его исконнымъ бытовымъ учрежденіямъ, къ его міровоззрѣнію и морали. Онъ не измѣняетъ и здѣсь послѣдовательности своего отрицанія. Въ томъ же спорѣ съ Павломъ Петровичемъ, когда послѣдній указалъ на семью, „такъ какъ она существуетъ у нашихъ крестьянъ", онъ говоритъ: „И этотъ вопросъ, я полагаю, лучше для васъ же самихъ не разбирать въ подробности. Вы, чай, слыхали о снохачахъ?" (гл. X).—Но мало сказать, что Базаровъ не идеализируетъ мужика: онъ отзывается о немъ болѣе, чѣмъ неуважительно. Осмотрѣвъ имѣніе Николая Петровича, онъ говоритъ Аркадію: „Видѣлъ я всѣ заведенія твоего отца... работники смотрятъ отъявленными лѣнтяями... и добрые мужички надуютъ твоего отца всенепремѣнно. Знаешь поговорку: русскій мужикъ Бога слопаетъ..." (гл. IX).—Въ спорѣ съ Павломъ Петровичемъ,

на замѣчаніе послѣдняго: „стало-быть, вы идете противъ народа?“—онъ прямо заявляетъ: „А хоть бы и такъ? Народъ полагаетъ, что когда громъ гремитъ, это Илья пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что же? Мнѣ соглашаться съ нимъ?..“—Павелъ Петровичъ упрекаетъ, далѣе, Базарова въ томъ, что онъ презираетъ мужика. На это Базаровъ говоритъ: „Что же, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія?“—Ниже онъ утверждаетъ, что „мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакѣ“ (гл. X).

Можно сказать такъ: рѣзко-отрицательное и свободное отношеніе Базарова къ народу, къ его этикѣ, къ народнымъ учрежденіямъ въ родѣ общины, расходясь со взглядами и настроеніемъ большинства передовой интеллигенціи того времени, было лишь крайнимъ выраженіемъ общаго отрицательнаго, критическаго и реалистическаго направленія эпохи. Почти всѣ выдающіеся дѣятели ея отдали свою дань этому „духу отрицанія и сомнѣнія“. Одинъ направлялъ свою критику на такія-то стороны жизни и мысли, другой—на другія. Одинъ былъ болѣе послѣдователенъ, другой—менѣе. Въ Базаровѣ соединились всѣ отрицанія,—и въ нихъ онъ послѣдовательнѣе всѣхъ. Къ числу весьма послѣдовательныхъ отрицателей—по извѣстнымъ вопросамъ—принадлежалъ и самъ И. С. Тургеневъ: онъ отрицалъ идеализацію мужика, культъ общины, артели и т. д. Въ предыдущей главѣ я указалъ на эти взгляды Тургенева, выраженные имъ очень опредѣленно въ письмахъ къ Герцену. Вотъ именно ихъ-то, эти взгляды, и это отношеніе къ народу Тургеневъ и приписалъ Базарову. Имѣлъ ли онъ право поступить такъ? Если эти взгляды были понятны и психологически возможны у Тургенева, какъ представителя „барскаго“ типа, то приличествуютъ ли они разночинцу Базарову, „демократу до конца ногтей?“

Въ принципѣ нѣтъ противорѣчія между демократизмомъ настроенія и стремленій и критическимъ, рѣзко-отрицатель-

нымъ, скептическимъ отношеніемъ къ народу, его быту, его понятіямъ въ ихъ данномъ, исторически-сложившемся состояніи. Съ другой стороны, разъ данъ такой сильный, здравый, трезвый критическій умъ, какой былъ у Тургенева и какой увѣковѣченъ въ Базаровѣ, то, при господствѣ въ то время реализма, критики и отрицанія, этотъ умъ легко придетъ къ устраненію всякаго общественнаго романтизма, всякой идеализаціи, всякаго сентиментальнаго отношенія къ чему бы то ни было, не исключая и народа. Базаровъ ниспровергаетъ всѣ „святыни", въ томъ числѣ и „культъ" мужика, сходясь на этомъ послѣднемъ пунктѣ, какъ и на нѣкоторыхъ другихъ, съ Тургеневымъ, который, въ общемъ, не шелъ такъ далеко въ своемъ отрицаніи, какъ Базаровъ.—И оба желали всѣхъ благъ народу,—Тургеневъ въ качествѣ добраго барина и гуманнаго человѣка, Базаровъ—въ качествѣ демократа по натурѣ и убѣжденіямъ.

5.

Теперь разсмотримъ ту сторону въ воззрѣніяхъ и умонастроеніи Базарова, которою онъ сближается съ „мыслящими реалистами" писаревскаго толка. Это именно: 1) отрицаніе эстетики и 2) „культъ" естественныхъ наукъ.

Ни у Чернышевскаго, ни у Добролюбова, ни вообще въ направленіи „Современника" мы не найдемъ принципіальнаго отрицанія эстетики, какъ таковой. Но несомнѣнно, что передовое тогда теченіе нашей общественной мысли, органомъ котораго былъ „Современникъ", выдвигая впередъ требованія общественной пользы и народнаго блага, относилось враждебно къ тому излишнему эстетизму, къ тому романтическому культу „красоты", какимъ характеризовались идеалисты 40-хъ годовъ. „Современникъ" открыто выступалъ противъ такъ называемаго „чистаго искусства", которому онъ проти-

вопоставлялъ искусство, служащее потребностямъ времени, прогрессу, общему благу. Отдавая должное великимъ историческимъ заслугамъ Пушкина, Чернышевскій и, вслѣдъ за нимъ, Добролюбовъ считали его поэзію какъ бы отрѣшенною отъ жизни, не отвѣчающею запросамъ передовой части общества [1]). Они признавали его великимъ поэтомъ и привѣтствовали появленіе перваго критическаго изданія его сочиненій (подъ редакціей П. В. Анненкова), но онъ не былъ властителемъ ихъ думъ, не былъ ихъ поэтомъ. — Властителемъ ихъ думъ, ихъ поэтомъ былъ Гоголь, къ которому Чернышевскій относился съ такою же восторженною любовью, какую питали къ нему люди 40-хъ годовъ. Другимъ поэтомъ, отвѣчавшимъ ихъ запросамъ, былъ Некрасовъ.

Все это еще очень далеко отъ воззрѣній Писарева и еще дальше отъ той точки зрѣнія, на которой стоитъ Базаровъ, отрицающій огульно и всякую эстетику, и всякую поэзію.— „Порядочный химикъ въ 20 разъ полезнѣе всякаго поэта" (гл. VI), „Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ" (гл. X)—таковы извѣстные афоризмы Базарова, за которые не одобрилъ его даже Писаревъ [2]).

---

[1]) Нерѣдко высказывалась мысль, что рѣзко-отрицательный взглядъ Писарева на Пушкина (изложенный въ статьѣ „Пушкинъ и Бѣлинскій") былъ только крайнимъ выраженіемъ мнѣній Добролюбова о великомъ поэтѣ. Это совершенно невѣрно. Между взглядами Добролюбова (и тѣмъ болѣе Чернышевскаго) и Писарева на Пушкина—цѣлая пропасть. Охлажденіе къ Пушкину, какъ извѣстно, началось еще при его жизни. Въ 40-е годы его поэзія вновь овладѣла вниманіемъ общества. Во второй половинѣ 50-хъ годовъ и въ 60-хъ и 70-хъ Пушкинъ былъ, такъ сказать, „въ загонѣ"; его поэзію перестали понимать, иные умаляли даже его историческія заслуги. Только съ 80-хъ годовъ, когда началось болѣе основательное изученіе Пушкина въ его творчествѣ и прежнія предубѣжденія потеряли острый характеръ, было положено основаніе реабилитаціи Пушкина, какъ великаго поэта, который неизмѣнно остается нашимъ поэтомъ. Затѣмъ опубликованіе новыхъ матеріаловъ открыло намъ настоящаго Пушкина.

[2]) „Базаровъ завирается—это, къ сожалѣнію, справедливо. Онъ съ плеча отрицаетъ вещи, которыхъ не знаетъ или не понимаетъ; поэзія, по его

Базаровъ въ своемъ отрицаніи эстетики и искусства впадаетъ въ крайности, до которыхъ Писаревъ не доходилъ. Тѣмъ не менѣе, въ существенномъ, антиэстетическое направленіе Базарова совпадаетъ съ такимъ же направленіемъ Писарева. Въ статьѣ „Реалисты“ Писаревъ говоритъ, что „эстетика—его кошмаръ“, что эстетика и реализмъ находятся въ непримиримой враждѣ между собой“, и „реализмъ долженъ радикально истребить эстетику“, которая, по его мнѣнію, всюду,—и въ наукѣ, и въ поэзіи, и въ жизни, въ особенности же въ отношеніяхъ между мужчиной и женщиной,—приноситъ огромный вредъ. Критикъ утверждаетъ, что „эстетика есть самый прочный элементъ умственнаго застоя и самый надежный врагъ разумнаго прогресса“ („Сочиненія Д. И. Писарева“, С.-Петербургъ, 1900 г.; т. IV, статья „Реалисты“), гл. XIV, стр. 58).—Доказательству (замѣтимъ,—не вполнѣ удачному) этого положенія посвящена глава XV-я статьи „Реалисты“. Мы не будемъ входить здѣсь въ разборъ этого разсужденія по существу и только укажемъ на историческое происхожденіе и значеніе этого антиэстетическаго направленія, возникшаго у насъ раньше Писарева и только получившаго въ его статьяхъ („Реалисты“, „Разрушеніе эстетики“) наиболѣе яркое и крайнее выраженіе.

Передъ нами одна изъ любопытнѣйшихъ сторонъ того вполнѣ понятнаго, разумнаго и исторически необходимаго протеста, съ которымъ поколѣніе „разночинцевъ“ выступило противъ старшаго поколѣнія, противъ людей 40-хъ годовъ. Послѣдніе были, несомнѣнно, „эстетики“—по воспитанію, по вкусамъ, по натурѣ—и удѣляли эстетической сторонѣ жизни и мысли слишкомъ много мѣста. Пусть такъ называемыя „эстетическія наслажденія“ принадлежатъ къ числу высшихъ и „благороднѣйшихъ“ отправленій нашей психики, но когда

мнѣнію, ерунда; читать Пушкина—потерянное время; заниматься музыкой—смѣшно; наслаждаться природой—нелѣпо“ („Сочиненія Д. И. Писарева“, 1900 г., томъ II, статья „Базаровъ“, стр. 393).

человѣкъ—въ своей жизни, въ своемъ трудѣ, въ наукѣ, въ искусствѣ, наконецъ въ любви—прежде всего и по преимуществу ищетъ „эстетическихъ наслажденій", отодвигая все остальное на второй планъ, то мы въ правѣ сказать, что онъ находится на ложномъ пути, и въ его душевной организаціи есть нѣчто нездоровое, есть какое-то извращеніе. Весьма многое имѣетъ или можетъ имѣть—для человѣка—свою „эстетическую сторону", но эта послѣдняя не должна заслонять другихъ, болѣе важныхъ сторонъ. Природа, наука, искусство, любовь и т. д., имѣя свою эстетическую сторону, существуютъ однако не для того только, чтобы человѣкъ ими наслаждался. Можно установить такое положеніе: такъ называемое „эстетическое наслажденіе" является какъ бы наградою человѣку за разумное, цѣлесообразное, благотворное отношеніе къ данному дѣлу, къ другому человѣку, къ наукѣ, искусству и т. д. „Эстетическое наслажденіе" нужно заслужить. Люди 40-хъ годовъ зачастую прегрѣшали (одни больше, другіе меньше) противъ этого принципа и, преслѣдуя эстетическія наслажденія безъ достаточныхъ правъ на нихъ, доходили до сибаритства, предосудительнаго вообще и совсѣмъ ужъ непростительнаго у насъ, въ Россіи, да еще въ дореформенное время, когда кругомъ была тьма кромѣшная и всяческая „бѣдность да бѣдность". Вотъ почему исторически и психологически былъ вполнѣ умѣстенъ и благотворенъ протестъ противъ эстетизма этого поколѣнія, предъявленный Чернышевскимъ, Добролюбовымъ и Писаревымъ. Отрицаніе „чистаго искусства" было, въ существѣ дѣла, только протестомъ противъ сибаритства въ искусствѣ. И всѣ наши сочувствія въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ,—на сторонѣ протестовавшихъ. Ихъ протестъ имѣлъ, несомнѣнно, оздоровляюще-моральное и общественное значеніе, ради котораго можно отпустить, напр., Писареву его крайности и ошибки, его непониманіе Пушкина и т. д. Мы не согласимся съ Базаровымъ, что „Рафаэль гроша мѣднаго не

стоитъ", но всецѣло присоединяемся къ его мысли, что „природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ", и предложимъ расширить формулу такъ: природа, культура, жизнь, наука, искусство, все это — мастерскія, въ которыхъ человѣкъ — работникъ, и если онъ работаетъ въ нихъ хорошо, раціонально и плодотворно, согласно закону экономіи умственныхъ силъ, то и получитъ, какъ награду, соотвѣтственное „эстетическое наслажденіе".

Поскольку Писаревъ и его послѣдователи рѣшительнѣе и радикальнѣе Чернышевскаго и Добролюбова возставали противъ „эстетизма" во всѣхъ его видахъ, постольку Базаровъ для писаревскаго направленія общественной мысли является болѣе типичнымъ, чѣмъ для направленія радикально-демократическаго. Органомъ, выражавшимъ „базаровщину" въ 60-хъ годахъ, былъ не „Современникъ", гдѣ Антоновичъ напечаталъ крайне несправедливую и совсѣмъ неумѣстную статью объ „Отцахъ и дѣтяхъ", а „Русское Слово", гдѣ Писаревъ, въ статьѣ „Базаровъ", провозгласилъ это лицо вѣрнымъ и лучшимъ выразителемъ направленія и идеологіи молодого поколѣнія.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ любопытно отмѣтить, что съ психологической стороны Базаровъ, именно какъ отрицатель эстетизма, гораздо ближе стоитъ, напр., къ Добролюбову, чѣмъ къ Писареву. Дѣло въ томъ, что Писаревъ пришелъ къ отрицанію эстетики не тѣмъ путемъ, какимъ пришелъ къ тому же Базаровъ. Это различіе находится въ непосредственной связи съ тѣмъ фактомъ, что Писаревъ по рожденію, воспитанію и по классовой психологіи былъ дворянинъ, баричъ, между тѣмъ какъ Базаровъ—яркій типъ разночинца, куда мы относимъ и лицъ духовнаго происхожденія, какъ Чернышевскій, Добролюбовъ, Елисеевъ и друг. Послѣдніе, подобно Базарову, выросли не на даровыхъ хлѣбахъ, не на крѣпостномъ правѣ, и выбились въ люди личнымъ трудомъ,

энергіей, умомъ, дарованіями. Писаревъ, какъ извѣстно, росъ и развивался въ той же средѣ и въ той же обстановкѣ, которая воспитала эстетиковъ и идеалистовъ 40-хъ годовъ. Мало того: по самой натурѣ своей онъ былъ „эстетикъ", т.-е. человѣкъ очень чуткій къ изящной сторонѣ жизни и идей. Въ началѣ своей литературной дѣятельности онъ и выступалъ поборникомъ „чистаго искусства". Обращеніемъ своимъ къ реализму, утилитаризму и трудовой морали онъ обязанъ былъ другимъ сторонамъ своего ума и натуры, въ особенности же—духу времени. Воспріимчивый и отзывчивый, Писаревъ со всѣмъ жаромъ неофита воспринялъ новыя идеи, новое отрицаніе, потому что онѣ выдвигались всѣмъ ходомъ вещей, и уже явились ихъ проповѣдники и адепты, которые были, такъ сказать, призваны къ отрицанію эстетики по своей классовой психологіи, по своей натурѣ, по складу ума. Базаровы предварили Писарева, разночинцы увлекли кающихся дворянъ и „навязали" имъ свою—демократическую—идеологію и этику. Какъ всѣ отрекшіеся отъ старыхъ „заблужденій" и увѣровавшіе въ новую „истину", Писаревъ въ борьбѣ за эту „истину" обнаружилъ энергію, горячность и задоръ, какихъ мы не видимъ у разночинцевъ, въ томъ числѣ и у Базарова.

Въ связи съ этимъ любопытно отмѣтить одно рѣзкое различіе между Писаревымъ и Базаровымъ,—въ ихъ отношеніяхъ къ своимъ излюбленнымъ идеямъ. Писаревъ многорѣчивъ, Базаровъ лаконичевъ. Писаревъ пишетъ длинныя, въ свое время увлекательныя, статьи, Базаровъ вскользь, словно нехотя, бросаетъ свои афоризмы. Писаревъ—горячій, ревностный проповѣдникъ, Базаровъ—совсѣмъ не пропагандистъ. Онъ говоритъ Павлу Петровичу: „мы ничего не проповѣдуемъ,—это не въ нашихъ привычкахъ..." (гл. X). На вопросъ-упрекъ Павла Петровича: „не такъ же ли вы болтаете, какъ и всѣ?"—онъ совершенно справедливо отвѣчаетъ: „чѣмъ другимъ, а этимъ грѣхомъ не грѣшны" (X). Этотъ лаконизмъ,

эта несловоохотливость Базарова вполнѣ гармонируютъ съ его дѣловитостью, съ его ригоризмомъ и съ самимъ его умомъ, исключительно большимъ и сильнымъ... И я представляю себѣ, что, если бы Базаровъ остался живъ и прочиталъ статьи Писарева, онѣ произвели бы на него впечатлѣніе невыгодное; ничего новаго онѣ бы ему не сказали, и, пожалуй, ему показалось бы, что это пишетъ его другъ Аркадій Николаевичъ Кирсановъ, котораго такъ не любитъ Писаревъ и съ которымъ однако, со стороны классовой психологіи, воспитанія и нѣкоторыхъ чертъ натуры, у него есть кое-что общее...

6.

Базаровъ раздѣляетъ тотъ культъ естественныхъ наукъ, самымъ яркимъ представителемъ котораго былъ въ 60-хъ годахъ Писаревъ. Чтобы понять этотъ исключительный интересъ къ естествознанію, нужно вспомнить, что онъ связывался тогда и у насъ, и въ Западной Европѣ съ поворотомъ философскихъ направленій отъ метафизики, отъ идеалистической философіи (въ частности отъ Гегеля) къ философіи матеріалистической, основанной на естествознаніи. Это умонастроеніе, обозначившееся—въ Германіи—сперва въ тѣсныхъ кругахъ ученыхъ и мыслителей, вскорѣ распространилось въ массѣ образованнаго общества, породило обширную популярную литературу и превратилось въ такое же просвѣтительрое и освободительное движеніе, какимъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ было гегеліанство. „Лѣвая“ фракція этого послѣдняго уже въ 40-хъ годахъ становилась матеріалистическою (Фейербахъ). Огромные успѣхи, сдѣланные естествознаніемъ въ теченіе первой половины XIX-го вѣка, дали матеріализму солидную опору. Матеріалистическое міровоззрѣніе подкупало своею простотою и кажущеюся ясностью и распространялось въ читающей публикѣ тѣмъ

легче, что, подобно французскому матеріализму XVIII-го вѣка, оно являлось въ одной изъ своихъ наиболѣе наивныхъ и наименѣе философскихъ формъ. Это былъ тотъ общедоступный, вульгарный матеріализмъ, который даже и не подозрѣваетъ, что онъ—также „метафизика“, а не „положительная“ научная философія. Таковымъ и былъ наивный матеріализмъ Бюхнера, Карла Фохта и другихъ, сочиненія которыхъ („Сила и матерія“ перваго, „Физіологическія картины“ второго) имѣли огромный успѣхъ въ Германіи и у насъ.

Въ Россіи уже въ 50-хъ годахъ явственно обозначился особливый интересъ къ естествознанію. Къ концу десятилѣтія это движеніе уже оформилось. Молодежь стремилась на физико-математическіе и медицинскіе факультеты. Въ особенномъ почетѣ были химія и физіологія. Имена выдающихся естествоиспытателей, иностранныхъ и русскихъ, пользовались великимъ уваженіемъ, при чемъ молодежь вовсе не интересовалась знать, какихъ политическихъ убѣжденій придерживается тотъ или другой ученый. Отрицаніе авторитетовъ не мѣшало цѣнить научныя заслуги и чтить такія имена, какъ Либихъ, Бэръ, Дарвинъ. И былъ моментъ, когда отъ этихъ именъ и научныхъ идей, съ ними связанныхъ, молодыя головы кружились не меньше, если не больше, чѣмъ отъ такихъ головокружительныхъ словъ, какъ „народъ“, „свобода“, „равенство“, „братство“, „справедливость“. Казалось, передовая молодежь готова была уйти въ науку и въ матеріалистическую философію и отодвинуть на второй планъ помыслы о народномъ благѣ, о служеніи народу, равно какъ и о тѣхъ формахъ общественнаго протеста, какія тогда были возможны. Занятіе естественными науками и распространеніе матеріалистической философіи представлялись если не единственнымъ, то важнѣйшимъ дѣломъ, могущимъ принести существенную пользу и сыграть роль прогрессивнаго и освободительнаго движенія. На

этой-то точкѣ зрѣнія и стоитъ Базаровъ. Вотъ какъ представляетъ онъ ходъ вещей въ передовой части общества: „Прежде, въ недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильнаго суда... [1]) А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, такъ называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда грубѣйшее суевѣріе насъ душитъ, когда всѣ наши акціонерныя общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство [2]), едва ли пойдетъ впрокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакѣ...".— Такимъ образомъ, для Базарова толки, напр., о парламентаризмѣ и адвокатурѣ (чѣмъ особенно усердно занимался—тогда либеральный и англоманскій—„Русскій Вѣстникъ" Каткова)—такой же вздоръ, какъ и разсужденія объ искусствѣ и безсознательномъ творчествѣ... Базаровъ болѣе чѣмъ скептически относится ко всему движенію идей въ передовой части общества и въ литературѣ, находя его нецѣлесообразнымъ, безпочвеннымъ, поверхностнымъ. Онъ сторонится отъ всякой „политики" и „публицистики" и уходитъ въ **отрицаніе** и въ **положительную науку**. И надо сказать правду: **отрицаніе** и **наука** въ самомъ дѣлѣ являются всегда и вездѣ живымъ источникомъ оздоровленія умственныхъ и нравственныхъ силъ общества, а въ 50—60-хъ го-

[1]) Обличительная литература, процвѣтавшая во второй половинѣ 50-хъ годовъ и осмѣянная Добролюбовымъ.

[2]) Эмансипація крестьянъ.

дахъ нарождавшаяся „молодая Россія“ въ особенности нуждалась въ такомъ оздоровленіи, въ воспитаніи сознательной и самостоятельной критической мысли, которое безъ отрицанія и безъ науки невозможно.—Пусть въ то время это отрицаніе было слишкомъ неосмотрительно и часто направлялось не туда, куда нужно, — пусть область науки искусственно и произвольно суживалась предѣлами естествознанія,—пусть матеріалистическая философія была поверхностна и недолговѣчна (вскорѣ на смѣну ей явился позитивизмъ),—въ основѣ своей и по результатамъ это движеніе умовъ было здоровое и благотворное. Оно воспитывало умы въ научныхъ интересахъ и серьезныхъ занятіяхъ, оно увлекало молодежь въ лабораторіи, оно создавало дисциплину мысли. Упреки (исходившіе тогда изъ весьма различныхъ круговъ общества, консервативныхъ и передовыхъ), будто молодежь только читаетъ поверхностныя популярныя книжки да статьи Писарева и его сподвижниковъ, а настоящею наукою не занимается, были несправедливы въ своей огульности: именно поколѣніе 60-хъ годовъ и выдвинуло цѣлый рядъ ученыхъ-естествоиспытателей, которые потомъ на университетскихъ каѳедрахъ явились воспитателями послѣдующихъ поколѣній. Нѣкоторые изъ нихъ обогатили науку крупными открытіями и пріобрѣли всемірную извѣстность. Вспомнимъ, напр., славныя имена А. О. Ковалевскаго, Ценковскаго, Сѣченова... Нельзя учесть и взвѣсить сумму благъ, принесенныхъ этими и другими дѣятелями науки и каѳедры, воспитавшимися въ 60-хъ годахъ, конечно, не безъ замѣтнаго вліянія того движенія умовъ, о которомъ идетъ рѣчь. Но тотъ, кто цѣнитъ науку и понимаетъ ея воспитательное значеніе, кто въ умственной дисциплинѣ, основанной на систематической работѣ въ области научнаго знанія, видитъ важнѣйшую оздоровляющую и освободительную силу, тотъ добромъ помянетъ 60-е годы съ ихъ культомъ естествознанія и съ ихъ—хотя бы и односторонней—„базаровщиной“.

7.

Въ началѣ этой главы я указалъ на мнѣніе покойнаго Н. Н. Страхова, что Базаровъ—типъ не только общественный, но и національный. Всецѣло присоединяясь къ этому взгляду, я однако нахожу неподходящимъ указаніе Страхова на то, что будто бы свойственное Базарову непониманіе поэзіи, искусства и отрицательное отношеніе ко всякой эстетикѣ, а равно и дѣловое, практическое, утилитарное направленіе его мысли являются чертами національными, т.-е. характерными для русской (точнѣе, великорусской) національности, какъ таковой. Не трудно видѣть, что рядомъ съ такими чертами въ великорусской національной психологіи найдутся и другія, даже прямо противоположныя. Мечтательность, поэтичность, склонность къ созерцательности, къ мистицизму и т. д. не менѣе часто встрѣчаются въ психологіи русскаго человѣка, какъ таковаго,—и можно было бы привести убѣдительныя подтвержденія этому наблюденію,—и при томъ изъ всѣхъ классовъ и слоевъ народа и общества. Романтики, мечтатели, идеалисты 30—40-хъ годовъ были люди столь же русскіе по національности, по духу, какъ и реалисты и матеріалисты Базаровы. Сектантское движеніе въ народѣ достаточно ясно обнаруживаетъ соотвѣтственныя черты и въ народной массѣ. Но самымъ убѣдительнымъ подтвержденіемъ моего взгляда я считаю фактъ появленія у насъ первостепенныхъ талантовъ и геніевъ искусства вообще, поэзіи въ частности: характерныя черты національной психологіи ярче всего обнаруживаются въ художественномъ творчествѣ крупныхъ дарованій и геніевъ. Отправляясь отсюда, мы скажемъ, что не отсутствіе поэтичности, не недостатокъ способности къ мечтѣ, къ игрѣ воображенія и т. д. является характерною чертою русской національной психики, а только—реализмъ художе-

ственной мысли и самой мечты. Это даетъ намъ вѣрное указаніе для опредѣленія національнаго элемента въ психологіи Базарова: Базаровъ по складу своей мысли— реалистъ по преимуществу, какимъ былъ и самъ Тургеневъ. Въ своихъ взглядахъ, мнѣніяхъ, стремленіяхъ и самыхъ ошибкахъ онъ отправляется отъ дѣйствительности, а не отъ идеи, какъ дѣлали это и Пушкинъ, и Тургеневъ, и Гончаровъ, и Некрасовъ, и самъ „романтикъ“ Герценъ.—Далѣе, Страховъ указываетъ на будто бы особливо свойственное русскому человѣку, какъ таковому, пристрастіе ко всему „положительному“, техническому, прикладному, утилитарному,—и, связывая съ этимъ успѣхи русской науки въ области естествознанія, видитъ отраженіе этой черты въ базаровскомъ „культѣ“ естественныхъ наукъ. Это соображеніе не выдерживаетъ критики. Ибо этотъ „культъ“ достаточно объясняется общимъ— въ Западной Европѣ и у насъ—движеніемъ умовъ въ этомъ направленіи въ ту эпоху, на что указываетъ и самъ Страховъ. Съ другой стороны, болѣе чѣмъ странно говорить объ исключительной склонности русскаго человѣка ко всему прикладному и техническому: именно въ этой-то области прикладнаго знанія мы и отстали отъ другихъ культурныхъ народовъ, именно въ этой-то сферѣ мы и безпомощны. Что же касается Базарова, то чистая наука (естествознаніе) занимаетъ его мысль не меньше прикладной (медицины). Изъ него могъ бы выйти первостепенный ученый физіологъ, біологъ, и въ самой медицинѣ онъ явился бы не только практическимъ врачомъ, но и ученымъ. Отвлеченные, чисто-научные интересы составляютъ весьма существенный элементъ въ его умственной жизни. Онъ—отличный наблюдатель природы. И не случайно то обстоятельство, что онъ—физіологъ, химикъ, зоологъ, а не техникъ, не инженеръ, не агрономъ...

На мой взглядъ, отпечатокъ національности лежитъ на

самой яркой чертѣ душевнаго уклада Базарова: на его пристрастіи къ отрицанію. Духъ времени только обострилъ эту національную черту и далъ ей опредѣленныя формы выраженія.—Давно замѣчено, что мы, русскіе, далеко не такъ связаны традиціей культуры, какъ связанъ ею западно-европейскій человѣкъ. Зависитъ это, конечо, прежде всего отъ нашей культурной отсталости, отъ недостаточной интенсивности труда, положеннаго нами на созданіе нашей цивилизаціи. Вѣками „воспитывались" мы въ духѣ этой неинтенсивности труда, въ духѣ обломовщины, культурной безпечности и, въ концѣ-концовъ, усвоили себѣ обломовщину—какъ черту національную. Вмѣстѣ съ тѣмъ сложилась у насъ, на той же почвѣ, и другая черта: склонность и, такъ сказать, вкусъ къ самоотрицанію, къ насмѣшкѣ надъ своею жизнью, своими нравами, формами быта, понятіями,—къ критическому и отрицательному отношенію къ себѣ самимъ, какъ исторически сложившейся національности. Русскій человѣкъ, какъ только онъ достигаетъ самосознанія и начинаетъ критически мыслить,—прежде всего принимается отрицать исторически и психологически данныя формы нашего національнаго уклада. Въ этомъ—чисто-психологическомъ—смыслѣ мы не консервативны, какъ консервативенъ европеецъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ это еще не обязываетъ насъ къ раціональному отрицанію въ культурѣ, морали, политикѣ и т. д.: это только приводитъ къ тому психологическому, ирраціональному отрицанію, которое легко обходится безъ положительныхъ идеаловъ и носитъ названіе нигилизма. Въ предыдущей главѣ я указалъ на этотъ русскій нигилизмъ, какъ онъ выразился въ „Дымѣ" Тургенева—въ рѣчахъ Потугина и въ общей концепціи романа, при чемъ мы заподозрѣли въ этомъ природномъ русскомъ нигилизмѣ и самого Тургенева. На „нигилизмъ" Тургенева указывали

неоднократно. Онъ самъ разсказываетъ: „Ни отцы, ни дѣти",—сказала мнѣ одна остроумная дама, по прочтенiи моей книги:—„вотъ настоящее заглавiе вашей повѣсти—и вы сами нигилистъ" (По поводу „Отцовъ и дѣтей").—Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что и у Базарова, подъ особыми формами отрицанiя, обусловленными духомъ времени, скрывается, какъ его психологическая основа, именно указанный природный русскiй нигилизмъ. Вспомнимъ: на замѣчанiе Аркадiя, что Базаровъ „рѣшительно дурного мнѣнiя о русскихъ", онъ отвѣчаетъ: „Эка важность! Русскiй человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что онъ самъ о себѣ пресквернаго мнѣнiя" (гл. IX).—Базаровъ и самъ, повидимому, сознаетъ, что этотъ нигилизмъ его есть черта русская—нацiональная: „...а развѣ самъ я не русскiй?" говоритъ онъ Павлу Петровичу въ отвѣтъ на слова послѣдняго; „стало быть, вы идете противъ своего народа?" — Еще знаменательнѣе слѣдующее мѣсто. Павелъ Петровичъ бросаетъ ему упрекъ въ томъ, что онъ презираетъ мужика. На это Базаровъ отвѣчаетъ такъ:— „Что-жъ, коли онъ заслуживаетъ презрѣнiя? Вы порицаете мое направленiе, а кто вамъ сказалъ, что оно во мнѣ случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?" (гл. X).

Итакъ, сдѣлавъ вышеуказанныя поправки въ аргументацiи Страхова, мы можемъ повторить его выводъ, что „Базаровъ представляетъ живое воплощенiе одной изъ сторонъ русскаго духа..."—„Весьма замѣчательно (говоритъ далѣе Страховъ), что онъ (Базаровъ)—такъ сказать, болѣе русскiй, чѣмъ всѣ остальныя лица романа. Его рѣчь отличается простотою, мѣткостью, насмѣшливостью и совершенно русскимъ складомъ..." („Крит. статьи", стр. 29).

8.

Теперь постараемся разобраться въ генеалогіи Базарова, какъ типа. Этотъ вопросъ живо интересовалъ и Писарева, всѣ симпатіи котораго на сторонѣ Базарова, и Герцена, отнесшагося къ нему съ нескрываемой антипатіей. Оба писателя, какъ и Страховъ, сразу поняли жизненность и правду этого типа, въ противоположность близорукой или пристрастной оцѣнкѣ его, сдѣланной Антоновичемъ и потомъ Скабичевскимъ [1]).—Не только идеи, мнѣнія, направленіе Базарова, но и черты его психологіи, какъ общественнаго типа, были взяты Тургеневымъ изъ дѣйствительности: такой типъ въ самомъ дѣлѣ намѣчался въ самой жизни и вскорѣ оформился и выступилъ на сцену. Писаревъ свидѣтельствуетъ, что „явленія", изображенныя въ романѣ, „очень близки къ намъ [2]), такъ близки, что все наше молодое поколѣніе со своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа..." („Сочиненія", т. II, статья „Базаровъ", стр. 373).—Базаровъ—„представитель нашего молодого поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ..." (тамъ же, стр. 375).

Если образъ художественно-типиченъ, т.-е. правдиво и мѣтко обобщаетъ явленія жизни, то критику самъ собою на-

---

[1]) По этому поводу г. Батуринскій говоритъ: „Безпристрастнымъ, историческимъ изображеніемъ нигилиста 60-хъ годовъ остается романъ Тургенева, и, право, надо бы перестать повторять старыя глупости на ту тему, что Базаровъ „клевета на молодое поколѣніе"; въ особенности непріятно встрѣчать подобныя партійныя утвержденія въ такихъ книгахъ, какъ „Исторія новѣйшей литературы" г. Скабичевскаго. Авторъ приводитъ ниже авторитетное свидѣтельство кн. Крапоткина, который говорилъ Тургеневу: „Базаровъ—удивительно вѣрное изображеніе нигилиста..." (В. П. Батуринскій, „А. И. Герценъ", т. I, стр. 175).

[2]) Т.-е. къ молодому поколѣнію той эпохи.

вязывается вопросъ о происхожденіи, значеніи, смыслѣ явленій, воспроизведенныхъ въ данномъ типѣ. Этотъ вопросъ прежде всего приводитъ къ выясненію генеалогіи типа, къ раскрытію его историческихъ и общественно-психологическихъ отношеній къ другимъ типамъ, предшествовавшимъ ему въ жизни и въ литературѣ. И вотъ Писаревъ и обращается къ разсмотрѣнію того, „въ какихъ отношеніяхъ находится Базаровъ къ разнымъ Онѣгинымъ, Печоринымъ, Рудинымъ, Бельтовымъ и другимъ литературнымъ типамъ, въ которыхъ, въ прошлыя десятилѣтія, молодое поколѣніе узнавало черты своей умственной физіономіи (тамъ же, стр. 382).—Писаревъ приходитъ къ выводу, что Базаровъ есть новый типъ передового человѣка, выдѣлившагося изъ массы и ставшаго какъ бы отщепенцемъ, подобно тому, какъ въ свое время выдѣлялись изъ общества и становились отщепенцами Печорины, Рудины и другіе. Слѣдовательно, положеніе и отношенія къ массѣ у Базарова оказываются такими же, какъ и у его предшественниковъ, начиная (скажемъ мы, вслѣдъ за Герценомъ) не Онѣгинымъ, а Чацкимъ, котораго Писаревъ пропустилъ. Итакъ, Базаровъ—въ своемъ родѣ „лишній человѣкъ“ или, по крайней мѣрѣ, можетъ стать таковымъ, если обнаружится разладъ между нимъ и обществомъ. Различіе между Базаровымъ, съ одной стороны, и его литературными предшественниками, съ другой, Писаревъ усматриваетъ въ томъ, какъ реагируютъ они на свое душевное одиночество. Одни изъ его предшественниковъ томились, скучали, но не умѣли отнестись критически къ дѣйствительности и къ себѣ самимъ (Печорины); другіе „боязливо спрашивали другъ друга: а пойдетъ ли за нами общество? а не не останемся ли мы одни съ нашими стремленіями?“ и т. д. Оттуда—внутренній разладъ, неумѣніе согласовать свою жизнь съ новыми понятіями, съ высшими запросами, которые эти люди развили въ себѣ (Рудины). Наконецъ, третьи „сознаютъ свое несходство съ массой и смѣло отдаляются отъ

нея поступками, привычками, всѣмъ образомъ жизни. Пойдетъ ли за ними общество, до этого имъ нѣтъ дѣла. Они полны собою... Здѣсь личность достигаетъ полнаго самоосвобожденія полной особности и самостоятельности“ (тамъ же, стр. 388—389). Это—Базаровы. Итогъ этому разсужденію Писаревъ подводитъ въ формулѣ: „у Печориныхъ есть воля безъ знанія, у Рудиныхъ—знаніе безъ воли, у Базаровыхъ есть и знаніе, и воля. Мысль и дѣло сливаются въ одно твердое цѣлое“ (стр. 389).—Отсюда видно, что Писаревъ видѣлъ въ Базаровѣ какъ бы идеальный типъ тѣхъ „новыхъ людей“, которые появились въ концѣ 50-хъ годовъ на смѣну Рудинымъ, людямъ 40-хъ годовъ, но не пріурочивалъ его непремѣнно къ разряду разночинцевъ. Выше онъ подробно говоритъ, что хотя Тургеневъ и взялъ своего героя изъ среды разночинцевъ, изъ трудящейся массы, но это для пониманія Базарова несущественно: можно легко представить себѣ Базарова вышедшимъ изъ другой среды и воспитавшимся не въ нуждѣ и трудѣ изъ-за куска хлѣба, человѣкомъ съ хорошими манерами, „совершеннымъ джентльменомъ“. „Онъ (Базаровъ) дѣйствительно mal élevé и mauvais ton, но это нисколько не относится къ сущности типа“, говоритъ Писаревъ (стр. 380).—Съ этимъ взглядомъ нельзя согласиться. Правда, Базаровъ могъ бы и не быть mal élevé и mauvais ton, но то, что онъ—не дворянинъ, не баричъ, а разночинецъ, что онъ воспитался въ суровой обстановкѣ трудовой жизни и вынесъ оттуда презрѣніе и ненависть къ барству, изнѣженности, „романтизму“ и т. д.,—это въ высокой степени характерно для него, и именно на этомъ и обоснованъ его протестъ противъ дворянскаго, барскаго типа. Вспомнимъ то, что на прощаніе говоритъ Базаровъ Аркадію: „...для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не созданъ. Въ тебѣ нѣтъ ни дерзости, ни злости, а есть молодая смѣлость да молодой задоръ; для нашего дѣла это не годится. Вашъ братъ, дворянинъ, дальше благороднаго смиренія или благород-

наго кипѣнія дойти не можетъ, а это пустяки. Вы, напримѣръ, не деретесь—и ужъ воображаете себя молодцами,—а мы драться хотимъ. Да что! Наша пыль тебѣ глаза выѣстъ, наша грязь тебя замараетъ, да ты и не доросъ до насъ, ты невольно любуешься собою, тебѣ пріятно самого себя бранить; а намъ это скучно—намъ другихъ подавай! намъ другихъ ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенькій, либеральный баричъ...“ (гл. XXVI).—Самъ Тургеневъ указывалъ (въ письмахъ) на то, что Базаровъ былъ задуманъ, какъ демократъ не по убѣжденіямъ только, но преимущественно по натурѣ, и противопоставленъ дворянскому, барскому психологическому укладу. „Вся моя повѣсть“, писалъ Тургеневъ Случевскому (1862 г.), „направлена противъ дворянства, какъ передового класса... Базаровъ въ одномъ мѣстѣ у меня говоритъ (я это выкинулъ для цензуры) Аркадію: твой отецъ честный малый, но будь онъ расперевзяточникъ, ты все-таки дальше благороднаго смиренія или кипѣнія не дошелъ бы, потому что ты дворянинъ...“

Этотъ прирожденный, натуральный, классовый демократизмъ Базарова есть фактъ первостепенной важности, отъ котораго и слѣдуетъ отправляться для правильной постановки вопроса объ отношеніяхъ базаровскаго типа къ предшествующимъ ему. Базаровъ, какъ типъ, отнюдь не произошелъ отъ Рудиныхъ и Бельтовыхъ и не унаслѣдовалъ духовныхъ благъ, ими накопленныхъ. Онъ—не преемникъ ихъ, онъ—имъ не сынъ, хотя бы и блудный (какъ понималъ и опредѣлялъ его Герценъ). Онъ пришелъ имъ на смѣну, какъ ихъ отрицаніе, и никакихъ узъ духовнаго сродства мы не найдемъ между нимъ и всей серіей типовъ отъ Чацкаго до Рудина, связанныхъ между собою единствомъ классовой психологіи.

Съ этой точки зрѣнія я оспариваю и мысль Писарева о психологическомъ сродствѣ натуръ Печорина и Базарова,

которую онъ развиваетъ въ статьѣ „Реалисты". Онъ говоритъ: „Печорины и Базаровы совершенно не похожи другъ на друга по характеру своей дѣятельности; но они совершенно сходны (?) между собой по типическимъ особенностямъ натуры" („Сочиненія Д. И. Писарева, т. IV, стр. 26).—„Печорины и Базаровы выдѣлываются изъ одного и того же матеріала" (стр. 25). Сходство между ними Писаревъ усматриваетъ въ слѣдующемъ: „и тѣ, и другіе—очень умные и послѣдовательные эгоисты; и тѣ, и другіе выбираютъ себѣ изъ жизни все, что въ данную минуту можно выбрать самаго лучшаго, и, набравши себѣ столько наслажденій, сколько возможно добыть (?), оба остаются неудовлетворенными, потому что жадность ихъ непомѣрна (?), а также и потому, что современная жизнь не очень богата наслажденіями" (стр. 26).—Если это, съ грѣхомъ пополамъ, примѣнимо къ Печорину, то совершенно не подходитъ къ Базарову, какъ бы мы ни понимали приписываемый ему „эгоизмъ" и „непомѣрную жадность" къ „наслажденіямъ". Нужно помнить, во избѣжаніе недоразумѣній, что, въ отношеніи къ Базарову, Писаревъ имѣетъ здѣсь въ виду наслажденія высшаго порядка—умственнаго труда, науки, общественной дѣятельности и т. д. Въ другомъ мѣстѣ статьи Писаревъ подробно развиваетъ эту—очень популярную въ то время—теорію высшаго и разумнаго эгоизма, доказывая, что правильно понятые интересы личности совпадаютъ съ интересами общества, народа и всего человѣчества. Если этого рода „эгоизмъ" свойственъ Базарову, то онъ не свойственъ Печорину—и не потому, что у послѣдняго нѣтъ „знанія", нѣтъ истиннаго развитія, а просто потому, что, по самой натурѣ своей, Печоринъ не можетъ быть „эгоистомъ" въ этомъ смыслѣ, и „наслажденія", которыя онъ преслѣдуетъ, во всякомъ случаѣ не высшаго порядка. Писаревъ забываетъ, что Печоринъ прежде всего—человѣкъ страстей, чего отнюдь нельзя сказать о Базаровѣ. Базаровъ слишкомъ свободенъ внутренно,

чтобы быть игралищемъ страстей... Единственное, на что можно указать, сравнивая натуры Печорина и Базарова, это—сила воли и стремленіе подчинять другихъ своей волѣ. Но этого слишкомъ мало, чтобы отождествлять эти двѣ натуры, столь различныя во всемъ остальномъ.—Какимъ бы эгоистомъ ни казался Базаровъ, онъ отнюдь не человѣкъ, который жаждетъ наслажденій, хотя бы и высшаго порядка. Онъ—человѣкъ труда и трудовой этики. Самый терминъ „наслажденіе" какъ-то странно звучитъ и, такъ сказать, рѣжетъ ухо въ примѣненіи къ Базарову. Мы предпочтемъ другой терминъ: „умственное и нравственное удовлетвореніе", и скажемъ, что Базаровъ легко и непроизвольно его находитъ—въ своемъ трудѣ и въ отрицаніи.—Но послушаемъ дальше: по воззрѣнію Писарева, Печорины и Базаровы никакъ не могутъ ужиться („существовать вмѣстѣ") въ одномъ обществѣ (именно потому, что они „выдѣлываются изъ одного матеріала"), „стало быть, чѣмъ больше Печориныхъ, тѣмъ меньше Базаровыхъ, и наоборотъ. Вторая четверть XIX столѣтія особенно благопріятствовала производству Печориныхъ..." (стр. 25). Нынѣ ихъ время прошло, но ихъ запоздалые эпигоны упорно не хотятъ сойти со сцены и продолжаютъ разыгрывать или пародировать ихъ роль. Такого эпигона Писаревъ и видитъ въ Павлѣ Петровичѣ Кирсановѣ, котораго онъ называетъ „отживающею тѣнью печоринскаго типа" (стр. 25).

Такимъ образомъ, Базаровы, враждуя съ людьми печоринскаго типа и отрицая ихъ, оказываются въ психологическомъ родствѣ съ ними. Евгеній Базаровъ, слѣдовательно, по натурѣ, по духу—родственникъ Павла Петровича Кирсанова, съ которымъ онъ только расходится въ міросозерцаніи, въ умственныхъ вкусахъ, да и во всемъ! Нѣтъ нужды опровергать это. Для насъ интересно отмѣтить только, что, по воззрѣнію Писарева, базаровскій типъ не составляетъ безусловно новаго явленія жизни и находится въ нѣкоторой преемствен-

ной связи съ передовыми типами прошлаго, ближайшимъ образомъ роднясь съ типомъ Печорина [1]).

Изъ всего этого я вывожу, между прочимъ, то, что въ представленіи Писарева тургеневскій Базаровъ отразился не вполнѣ правильно. Писаревъ приписалъ Базарову кое-какія черты своего душевнаго склада и еще болѣе—черты своихъ духовныхъ и классовыхъ предковъ. Базаровъ Писарева, это—Базаровъ, переиначенный на дворянскій ладъ: черты классовой психологіи разночинца отодвинуты на второй планъ, представлены (и совершенно ошибочно) несущественными, а на первый планъ поставлены тѣ особенности натуры Базарова, которыя можно, съ нѣкоторыми натяжками, сопоставить и даже отождествлять съ аналогичными чертами такого ультра-барскаго типа, какъ Печоринъ, къ которому писаревъ, очевидно, питаетъ особое расположеніе.—Итакъ, Писаревъ понимаетъ и цѣнитъ Базарова подъ особымъ угломъ зрѣнія, — скажемъ, — подъ угломъ зрѣнія умственныхъ вкусовъ, моральныхъ понятій, идей, симпатій и антипатій „кающихся дворянъ“ 60-хъ годовъ. Это—

---

[1]) Любопытно отмѣтить, что Писаревъ приписываетъ Базарову своеобразный романтизмъ: „И страшно, и мучительно волнуются и борются въ широкой груди Базарова ненависть и любовь, безпощадный, стальной и холодный, судорожно улыбающійся, демоническій скептицизмъ и горячее, тоскливое, порою радостное и ликующее романтическое стремленіе въ даль, въ даль, но не прочь отъ земли, а впередъ, въ манящую, ласкающую, глубокую синеву необозримаго лучезарнаго будущаго“ (стр. 19).—Въ другомъ мѣстѣ Писаревъ отмѣчаетъ душевное одиночество Базарова, который, такимъ образомъ, сопричисляется къ сонму „лишнихъ людей“ (что, конечно, еще больше сближаетъ его—въ глазахъ Писарева—съ Печоринымъ): „Базаровъ“, говоритъ Писаревъ, „съ первой минуты своего появленія приковалъ къ себѣ всѣ мои симпатіи... Я долго не могъ объяснить себѣ причину этой исключительной привязанности, но теперь я ее вполнѣ понимаю. Ни одинъ изъ подобныхъ ему героевъ не находится въ такомъ трагическомъ положеніи, въ какомъ мы видимъ Базарова. Трагизмъ базаровскаго положенія заключается въ его полномъ уединеніи среди всѣхъ живыхъ людей, которые его окружаютъ“ (стр. 17).

пониманіе не полное, не безъ изъяновъ, но это—наименьшая и самая простительная изъ всѣхъ ошибокъ, какія тогда были сдѣланы критиками и судьями тургеневскаго Базарова. Одинъ только Страховъ взглянулъ на Базарова въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ шире и глубже Писарева. Какъ бы то ни было, для того времени взглядъ Писарева, за вычетомъ указанныхъ выше неточностей, можетъ считаться правильнымъ. Мало того: онъ, такъ сказать, душевно-правдивъ,—совершенно такъ, какъ душевно-правдиво личное отношеніе Тургенева къ Базарову, этому „любимому дѣтищу" великаго художника, этому „умницѣ и герою" *).

Иное приходится сказать о взглядѣ Герцена на Базарова.

Герценъ правильно понимаетъ классовыя черты въ психологіи Базарова, правильно указываетъ на жизненность типа, ссылаясь, между прочимъ, на личныя впечатлѣнія, но его отношеніе къ типу и лицу Базарова нельзя назвать не только „душевно-правдивымъ", но и безпристрастнымъ. Вся статья Герцена („Еще разъ Базаровъ" въ VIII томѣ „Полярной Звѣзды", перепечатана въ V-мъ томѣ „Сочиненій А. И. Герцена", стр. 426 и сл.) написана въ защиту „Рудиныхъ и Бельтовыхъ", вообще дѣятелей прошлаго, отъ нападокъ Базарова, Писарева и другихъ представителей молодого поколѣнія. Базаровъ, какъ натура и какъ типъ, антипатиченъ Герцену. Великій писатель, одинъ изъ типичнѣйшихъ людей 40-хъ годовъ, не можетъ простить Базарову его рѣзкости, грубости, цинизма. Его міросозерцаніе, его отрицанія кажутся Герцену узкими, односторонними, аляповатыми. Базаровщина—явленіе болѣзненное, плодъ недомыслія. Базаровскій типъ представляется Герцену „натянутымъ, школьнымъ, взвинченнымъ" (стр. 430). Однимъ словомъ, Герценъ отнесся къ Базарову и къ базаровщинѣ какъ разъ такъ, какъ относится

*) Объ этомъ я говорилъ подробно въ „Этюдахъ о творчествѣ И. С. Тургенева".

къ нимъ Павелъ Петровичъ Кирсановъ.—Герценъ въ претензіи и на Тургенева за то, что онъ унизилъ „отцовъ", представилъ Кирсановыхъ „стертыми и пошлыми" представитетелями ихъ поколѣнія (стр. 430). Но онъ ошибается, говоря, что это не входило въ задачу Тургенева и вышло какъ-то нечаянно. Мы знаемъ, что таково и было намѣреніе художника, какъ это и засвидѣтельствовано имъ самимъ. По мнѣнію Герцена, „крутой Базаровъ увлекъ Тургенева, и вмѣсто того, чтобъ посѣчь сына, онъ выпоролъ отцовъ" (стр. 429).—Герценъ почувствовалъ обиду за свое поколѣніе, чуть ли не за себя лично: „...часть молодого поколѣнія узнала себя въ Базаровѣ. Но мы вовсе не узнаемъ себя въ Кирсановыхъ..." (419).

Явленіе „нигилизма" составляло предметъ долгихъ и скорбныхъ думъ Герцена. Къ нему онъ возвращался неоднократно и приходилъ къ выводу, что это—родъ умственной и, пожалуй, моральной болѣзни, которою русское общество занемогло въ тяжелый періодъ реакціи 1848—1855 гг.—„Темная, семилѣтняя ночь пала на Россію и въ ней-то сложился, развился и окрѣпъ въ русскомъ умѣ тотъ складъ мыслей, тотъ пріемъ мышленія, который назвали нигилизмомъ" (стр. 437).—Но непосредственно за этими строками, изображающими нигилизмъ какъ исчадіе тьмы, онъ даетъ ему слѣдующее опредѣленіе, которое, полагаю, всякому безпристрастному человѣку покажется не осужденіемъ, а оправданіемъ „нигилизма", какъ вполнѣ здраваго и въ высокой степени плодотворнаго „склада мысли": „Нигилизмъ это—логика безъ структуры, это наука безъ догматовъ, это—безусловная покорность опыту и безропотное принятіе всѣхъ послѣдствій, какія бы они ни были, если они вытекаютъ изъ наблюденія, требуются разумомъ. Нигилизмъ не превращаетъ что-нибудь въ ничего, а раскрываетъ, что ничего, принимаемое за что-нибудь, оптическій обманъ, и что всякая истина, какъ бы она ни перечила фантастическимъ

представленіямъ, здоровѣе ихъ и во всякомъ случаѣ обязательна".

Это и есть точка зрѣнія и „складъ мыслей" Базарова,— и этотъ „нигилизмъ" давно извѣстенъ во всемъ образованномъ мірѣ подъ именемъ эмпирическаго и критическаго отношенія къ дѣйствительности. Это—приматъ разума надъ чувствомъ, перевѣсъ наблюденія и опыта надъ фантазіями и иллюзіями, предпочтеніе „низкихъ истинъ" „насъ возвышающему обману", господство реализма и критики. Излишне пояснять, что это—явленіе общечеловѣческое, а не специфически-русское, и что оно ничего общаго не имѣетъ съ реакціей 1848—1855 годовъ.—Этотъ „нигилизмъ" совпадаетъ съ наукой, научнымъ міросозерцаніемъ, критической философіей. Герценъ тутъ же оговаривается, что подъ данное имъ опредѣленіе наши русскіе „нигилисты" не подойдутъ (вѣдь и у нихъ была своя „догма" и свои иллюзіи), но зато подойдетъ И. С. Тургеневъ, „бросившій въ нихъ первый камень, и, пожалуй, его любимый философъ Шопенгауеръ" (стр. 437).—Но вслѣдъ за симъ Герценъ, нѣсколько неожиданно, указываетъ на признаки того, что онъ называетъ „нигилизмомъ", у Бѣлинскаго и Бакунина (очевидно, это только случайно подвернувшіеся подъ руку примѣры, изъ коихъ второй—о Бакунинѣ—представляется мнѣ неидущимъ къ дѣлу). Значитъ, тутъ уже имѣется въ виду русскій нигилизмъ въ одной изъ его первоначальныхъ формъ, что явствуетъ и изъ слѣдующихъ за симъ строкъ: „Нигилизмъ съ тѣхъ поръ расширился, яснѣе созналъ себя, далѣе сталъ доктриною, принялъ въ себя много изъ науки и вызвалъ дѣятелей съ огромными силами, съ огромными талантами... Все это неоспоримо". Такимъ образомъ, Герценъ отдаетъ ему дань справедливости, готовъ признать его заслуги и право на существованіе. Но примириться съ нимъ романтикъ Герценъ не можетъ: прежде всего, ему такъ жаль тѣхъ „насъ возвышающихъ обмановъ", которыхъ не щадитъ

„нигилизмъ". Этого мотива Герценъ однако не приводитъ, выдвигая другое, столь же характерное для романтика-идеалиста, основаніе: „новыхъ началъ, принциповъ, онъ не внесъ", говоритъ Герценъ...

Представитель общечеловѣческаго „нигилизма", т.-е. эмпирической науки и критической мысли, отвѣтилъ бы Герцену, что изобрѣтать „новыя начала, принципы"—дѣло не науки, которая только изслѣдуетъ природу явленій,—пусть сама жизнь выдвигаетъ какіе ей угодно принципы, хоть старые, хоть новые... Русскій же „нигилистъ" Базаровъ сказалъ бы тутъ то, что сказалъ онъ Павлу Петровичу, когда послѣдній, начавъ съ указанія на англійскую аристократію, которая „дала свободу Англіи", закончилъ свою тираду изреченіемъ, что „безъ принциповъ жить въ наше время могутъ одни безнравственные или пустые люди":—„Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы", сказалъ Базаровъ, „подумаешь, сколько иностранныхъ... и безполезныхъ словъ! Русскому человѣку они даромъ не нужны" (гл. X).

На вопросъ: что же именно нужно русскому человѣку (т.-е. Россіи)?—Базаровъ, какъ извѣстно, отвѣчаетъ, что всего нужнѣе отрицаніе. „Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе—мы отрицаемъ", говоритъ онъ Павлу Петровичу Кирсанову (гл. X). Выше я старался выяснить происхожденіе и смыслъ базаровскаго отрицанія. Къ сказанному добавлю здѣсь слѣдующее.

Въ томъ же 1859 году, къ которому пріурочено дѣйствіе романа, появилось художественное произведеніе, въ которомъ большая и существенная часть того, что отрицаетъ Базаровъ, была подвергнута иному — чисто-художественному—отрицацію: Гончаровъ старую, отживающую, спящую, лѣниво мечтающую Россію свелъ къ обломовщинѣ. Добролюбовъ показалъ, какъ рудинскій типъ перешелъ въ обломовскій.

Мы имѣемъ право взять это—столь широкое и столь

глубокое—художественное обобщеніе и, пользуясь также діагнозомъ Добролюбова,—сказать, что въ сущности Базаровъ, всѣмъ существомъ своимъ, отрицаетъ не что иное, какъ всероссійскую обломовщину—во всѣхъ ея видахъ и проявленіяхъ.

Это даетъ намъ возможность уловить и положительную, идейную сторону базаровскаго отрицанія. Оно оказывается вовсе не столь безпринципнымъ, какъ это представлялось, напр., Герцену.

Базаровъ утверждаетъ, что „русскому человѣку даромъ не нужны" разныя хорошія иностранныя слова, въ томъ числѣ даже такія, какъ „либерализмъ" и „прогрессъ". Онъ называетъ ихъ „безполезными". Очевидно, онъ возстаетъ не противъ идей, а противъ пустыхъ словъ, а пустыми дѣлаетъ ихъ всероссійская обломовщина. „Идея" базаровскаго „нигилизма", кажущагося безпринципнымъ, такова: „русскому человѣку" прежде всего нужны трудъ, знаніе, энергія, критика и отрицаніе всѣхъ старыхъ предразсудковъ, шаблонныхъ понятій,—ему нужно подавить апатію, лѣнь, безволіе,—вылѣчиться отъ обломовщины. Это—очередная задача („въ теперешнее время", говоритъ онъ, „полезнѣе всего отрицаніе"). Базаровъ вовсе не проповѣдуетъ отрицаніе для отрицанія. Онъ руководится критеріемъ пользы,—именно пользы для „русскаго человѣка".—Разъ это такъ, то само собой падаетъ утвержденіе Герцена, что „нигилизмъ" (Базаровъ) не внесъ новыхъ началъ, принциповъ. Развѣ базаровскій „культъ" труда, положительной науки, критики не есть новое начало въ классической странѣ обломовщины? Развѣ демократизмъ и трудовая этика Базарова—не принципъ, который былъ и новымъ и настоятельно-нужнымъ въ аристократической, крѣпостнической Россіи наканунѣ великой реформы? Развѣ ригоризмъ, трудоспособность и внутренняя свобода Базарова не были тогда и

не остаются донынѣ оздоровляющими и движущими началами?

Базаровщина явилась, безъ всякаго сомнѣнія, новымъ и въ высокой степени благотворнымъ началомъ въ странѣ, которая еще до недавняго времени, почти до нашихъ дней, казалась неизлѣчимо-больной застарѣлою болѣзнью—обломовщины.

ГЛАВА V.

„Кающіеся дворяне“ и „разночинцы“ 60-хъ годовъ.

1.

Терминъ „кающіеся дворяне“ введенъ Михайловскимъ, который въ извѣстныхъ полубеллетристическихъ очеркахъ „Въ перемежку“ (1876—1877 гг.) впервые очертилъ этотъ общественно-психологическій типъ и указалъ на его значеніе. Гораздо позже (1891 г.), въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“, Михайловскій писалъ: „кающіеся дворяне“ спорадически появлялись очень давно, но en masse обнаружились лишь въ сороковыхъ годахъ, а замѣтнымъ историческимъ факторомъ стали лишь въ эпоху реформъ, когда смѣшались съ „разночинцами“, т.-е. съ разнаго званія и сословія людьми, вызванными къ дѣятельности эпохою реформъ изъ низшихъ слоевъ. Въ семидесятыхъ годахъ теченіе это лишь ярче и рѣзче обозначилось“ („Литерат. воспом. и соврем. смута“, изд. 1900 г., томъ I, стр. 140—141).

Было бы весьма любопытно прослѣдить въ прошломъ, начиная съ XVIII-го вѣка, спорадическое появленіе въ рядахъ интеллигенціи представителей этихъ двухъ общественно-психологическихъ типовъ. Не вдаваясь здѣсь въ такого рода изысканія, укажу только на Посошкова, Ломоносова, Никитина, Кольцова, какъ на разночинцевъ не только по происхожденію, а и по психологическому типу, за-

тѣмъ—на Радищева, Новикова, нѣкоторыхъ декабристовъ (напримѣръ, на Н. И. Тургенева, Якушкина), на Герцена, Огарева, И. С. Тургенева, какъ на дѣятелей, у которыхъ черты „дворянскаго покаянія“ выступали съ большею или меньшею отчетливостью. Издавна въ составъ русской интеллигенціи входили и разночинцы, и кающіеся дворяне, и въ разное время наблюдается какъ бы стихійное стремленіе ихъ къ смѣшенію, къ объединенію. Въ 40-хъ годахъ этотъ процессъ обнаружился весьма явственно,—и въ рядахъ интеллигенціи того времени мы уже встрѣчаемъ лицъ, въ душевномъ складѣ которыхъ совмѣщались черты того и другого типа. Таковъ былъ, прежде всего, Бѣлинскій, разночинецъ по происхожденію и по нѣкоторымъ чертамъ натуры и въ то же время человѣкъ, въ душѣ котораго были собраны всѣ „покаянія“ эпохи, въ томъ числѣ и дворянское.

Во второй половинѣ 50-хъ годовъ и въ началѣ 60-хъ совершилось, такъ сказать, обновленіе состава русской интеллигенціи. Въ большомъ количествѣ выступили на сцену разночинцы (большею частью, духовнаго происхожденія), ставшіе во главѣ новаго движенія, которое, благодаря имъ, и получило рѣзкій отпечатокъ демократизма и, частью, народничества. Объ руку съ разночинцами шли и новые „кающіеся дворяне“, также появившіеся въ большомъ количествѣ и внесшіе свой, весьма замѣтный, вкладъ въ развитіе передовой идеологіи. Къ ихъ числу принадлежалъ и самъ Н. К. Михайловскій, впервые очертившій психологію этого типа. Присмотримся къ ней нѣсколько ближе, пользуясь очерками „Въ перемежку“, которые имѣютъ силу настоящаго „документа“.

Разсказъ ведется отъ лица героя—Темкина. Темкинъ—дворянинъ стариннаго, но захудалаго рода Темкиныхъ-Ростовскихъ, происходящаго будто бы отъ одного изъ сыновей Владиміра Св. Нѣкогда Темкины были очень богаты и про-

цвѣтали на лонѣ крѣпостного права, но ихъ имѣнія давно уже перешли въ другія руки, и у отца разсказчика осталось всего какихъ-нибудь „10—12 (считая малолѣтокъ) крѣпостныхъ и небольшой деревянный домъ въ губернскомъ городѣ“ (Сочин. Н. К. Михайловскаго, изд. 1897 г., т. IV, стр. 222). Темкинъ-отецъ всю жизнь провелъ на службѣ, между прочимъ по откупамъ. Это уже не помѣщикъ-дворянинъ, это просто—чиновникъ, но только дворянскаго происхожденія и сохранившій нѣкоторыя черты барскаго типа. Онъ не принадлежитъ къ разряду „кающихся“, но, какъ человѣкъ очень умный, онъ вполнѣ свободенъ отъ предразсудковъ своего сословія, не кичится знатностью рода и даже доступенъ нравственной тревогѣ, укорамъ совѣсти за дѣянія, обычно не считавшіяся въ тѣ времена предосудительными или грѣшными.—„Почемъ знать“,—пишетъ его сынъ,— „можетъ быть—я такъ хотѣлъ бы этому вѣрить—можетъ быть, и отецъ ужъ каялся, только не хватило у него силъ каяться на чистоту...“ (стр. 233—234). Признаки того, что Темкинъ-отецъ былъ доступенъ, если не покаянію, то, по крайней мѣрѣ, укорамъ совѣсти, замѣтны въ его отношеніяхъ къ крѣпостному Якову, которому онъ прощаетъ всѣ его выходки и даже покушеніе на кражу и бѣгство. Яковъ состоитъ при немъ въ качествѣ камердинера, и баринъ относится къ нему съ какою-то особою жалостливостью, въ которой видно какъ бы сознаніе своей вины передъ этимъ крѣпостнымъ слугой. Впослѣдствіи Темкинъ-сынъ узнаетъ или догадывается, что Яковъ—его братъ, незаконный сынъ его отца, и это послужило толчкомъ къ его глубоко-искреннему и страстному покаянію.

Задатки „дворянскаго покаянія“, какіе мы увидимъ у отца, развились у сына и превратились въ яркій психологическій процессъ, опредѣлившій направленіе его дальнѣйшаго умственнаго и моральнаго развитія.

Въ этомъ процессѣ, думается мнѣ, замѣтная, но не со-

знаваемая роль должна быть отведена факту „захудалости дворянскаго рода". Правда, кающіеся дворяне выходили не только изъ захудалыхъ, обѣднѣвшихъ дворянскихъ семей, но также изъ незахудалыхъ. Извѣстны случаи, когда богатые дворяне раздавали мужикамъ свои земли и деньги, а сами „шли въ народъ", или вообще обращались къ трудовой жизни разночинца. Одинъ такой случай, относящійся къ 60-мъ годамъ, приведенъ въ тѣхъ же очеркахъ „Въ перемежку" [1]). Въ эпоху „хожденія въ народъ" подобные акты самоотверженія были явленіемъ нерѣдкимъ.—Кстати укажу на то, что именно этою чертою кающіеся дворяне 60—70-хъ годовъ выгодно отличаются отъ своихъ предшественниковъ, кающихся дворянъ 40-хъ годовъ, которые такого самоотверженія не обнаруживали...

Но какъ бы ни были часты эти подвиги отреченія отъ всѣхъ благъ міра въ средѣ кающихся дворянъ 60-хъ и, еще чаще, 70-хъ годовъ, я все-таки думаю, что матеріальная захудалость, конечно, при сохраненіи умственной и моральной силы, была условіемъ особливо благопріятнымъ для возникновенія дворянскаго покаянія, а еще болѣе для сближенія и смѣшенія съ разночинцами. Когда происходитъ массовое отреченіе отъ преимуществъ даннаго класса, когда цѣлыя поколѣнія уходятъ изъ привиллегированнаго сословія, стремясь смѣшаться съ разночинцами, и усвоиваютъ идеологію и мораль послѣднихъ, то—передъ нами явленіе слишкомъ значительное и сложное, чтобы возможно было

---

[1]) Это—исторія Н. Д. Долматова, который, получивъ въ 1859 году наслѣдство въ 1000 десятинъ, цѣликомъ отдалъ ихъ крестьянамъ, отпустивъ ихъ на волю (1859 г.), „за что и получилъ высочайшую благодарность". Самъ же Долматовъ сталъ жить собственнымъ трудомъ, а потомъ увлекся освободительнымъ движеніемъ у славянъ (сперва, въ концѣ 60-хъ годовъ, у болгаръ, подготовлявшихъ возстаніе). Потомъ онъ работалъ на разныхъ заводахъ въ Сербіи и въ Россіи, въ качествѣ простого рабочаго. Наконецъ, принялъ участіе въ герцеговинскомъ возстаніи и погибъ въ сраженіи подъ Карагуевацомъ (8 янв. 1875 г.).

объяснить его дѣйствіемъ одного лишь нравственнаго фактора. Подъ этимъ нравственнымъ факторомъ скрывается, такъ сказать, „подсознательный“ экономическій и—шире—соціальный факторъ, состоящій въ матеріальной захудалости и въ соціальномъ разложеніи класса. Покойный Михайловскій обращалъ особенное вниманіе на дѣйствіе производнаго—моральнаго—фактора, на вопросъ совѣсти, и усматривалъ въ типѣ „кающагося дворянина“ особливую душевную красоту. Я не отрицаю ни выдающейся роли моральнаго начала, ни душевной красоты типа, но вижу въ нихъ явленіе вторичное, производное,—въ тѣхъ случаяхъ, когда „дворянское покаяніе“ получаетъ характеръ движенія массового и когда сторона моральная проявляется не въ видѣ порыва, увлеченія, страсти, а только—какъ боль совѣсти и отвращеніе къ традиціонной морали класса и его бытовымъ формамъ. Матеріально-захудалый дворянинъ, если только онъ умный и морально-здоровый человѣкъ, легко освобождается отъ предразсудковъ и специфической идеологіи своего класса,—и ему уже не трудно отнестись критически къ его традиціямъ, уразумѣть и восчувствовать безнравственную сторону жизни, основанной на крѣпостномъ правѣ, на сословныхъ прерогативахъ, и—начать „каяться“. Боль совѣсти въ этомъ процессѣ есть фактъ, не подлежащій сомнѣнію, какъ не подлежитъ сомнѣнію и его высокое моральное достоинство, его „красота“. Но этотъ фактъ связанъ причинною связью съ другимъ фактомъ—экономическаго и соціальнаго упадка класса, чему, въ свою очередь, онъ сильно способствуетъ, ибо „кающіеся“ и отрекающіеся, т.-е. лучшіе представители класса, уходятъ прочь, и въ немъ остаются средніе и худшіе. Классъ вырождается...

Вотъ именно этотъ выходъ изъ класса (а не только „покаяніе“), выходъ, мотивированный моральными побужденіями (и также тѣмъ, что новому поколѣнію стало тошно и скучно въ данной классовой средѣ), и долженъ быть при-

знанъ главнымъ характернымъ признакомъ, которымъ кающіеся дворяне конца 50-хъ годовъ и послѣдующаго времени рѣзко отличались отъ своихъ предшественниковъ, отъ кающихся дворянъ 40-хъ годовъ. Это было явленіе новое и почти не отмѣченное съ нашей художественной литературѣ, на что указываетъ и Михайловскій, говоря (не совсѣмъ точно): „...чувство личной [1]) отвѣтственности за свое общественное [1]) положеніе—есть тема новая и почти нетронутая“ (тамъ же, стр. 279). Точнѣе было бы сказать такъ: выходъ изъ класса, отказъ отъ принадлежности къ нему, мотивированный обострившимся чувствомъ личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, есть явленіе новое, оставшееся почти незатронутымъ художественною литературою. Вѣдь въ свое время и Тургеневъ, и Огаревъ, и Герценъ, а въ художественной литературѣ, напр., уже Чацкій, потомъ Лаврецкій и другіе чувствовали личную отвѣтственность за свое общественное положеніе, но только это чувство не было у нихъ настолько сильно, чтобы побудить ихъ къ отказу отъ своего общественнаго положенія, да и вся совокупность условій времени не благопріятствовала этому.

2.

Очерки „Въ перемежку“ воспроизводятъ съ большою точностью психологію „кающихся дворянъ“ и „разночинцевъ“ 60-хъ и 70-хъ годовъ. Передъ нами рядъ фигуръ, которымъ нельзя отказать въ типичности.

Не лишены интереса поясненія, сообщенныя въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“: въ основу очерковъ были положены нѣкоторые эпизоды изъ ранняго, почти юношескаго произведенія Михайловскаго, неоконченнаго и неопубликованнаго романа „Борьба“.—„Я рѣшилъ,—говоритъ онъ,—ими

[1]) Курсивъ Михайловскаго.

воспользоваться, какъ введеніемъ въ рядъ образовъ и картинъ изъ жизни одной группы „кающихся дворянъ“ и „разночинцевъ“, при чемъ разрѣшилъ себѣ всякія отступленія, комментаріи, перерывы. Такимъ образомъ и вышли очерки „Въ перемежку“, печатавшіеся въ „Отеч. Запискахъ“ въ 1876—1877 годахъ“.—Далѣе указывается на то, что хотя въ исторію Григорія Темкина вошли нѣкоторыя черты изъ личной жизни автора, но въ общемъ это—не автобіографія, и самъ разсказчикъ, Темкинъ,—не портретъ автора. Многіе эпизоды сочинены, такъ же какъ и всѣ дѣйствующія лица, кромѣ Бухарцева, въ которомъ выведенъ молодой, рано умершій ученый біологъ Ножинъ, близкій пріятель Михайловскаго въ рачалѣ 60-хъ годовъ [1]). „Соня, Апостоловъ, Сицкій, Нибушъ, Башкинъ—все это чистая Dichtung, но Dichtung, основанная на пристальныхъ наблюденіяхъ подлинной жизни, и въ этомъ смыслѣ Wahrheit“ („Литерат. восп. и совр. смута“, т. I, стр. 142). Такимъ образомъ, здѣсь, хотя и отрывочно, эпизодически, но тѣмъ не менѣе вѣрно и ярко очерчено занимающее насъ явленіе, т.-е. новые типы кающихся дворянъ и разночинцевъ въ ихъ генезисѣ и дальнѣйшемъ развитіи. Явленіе живьемъ взято изъ дѣйствительности, и самый недостатокъ художественной обработки, и даже вторженіе публицистики, нарушающее послѣдовательность разсказа, только усиливаютъ впечатлѣніе жизненной правды очерковъ.

„Кающіеся дворяне“, уходя изъ своего класса, встрѣча-

---

[1]) Николай Дмитріевичъ Ножинъ, рано умершій (въ 1866 г.), подавалъ блестящія надежды—какъ первостепенная ученая сила. Повидимому, онъ имѣлъ большое вліяніе на развитіе Михайловскаго, направивъ его интересы въ сторону біологіи въ ея отношеніяхъ къ соціологіи. Въ „Литерат. воспомин.“ Михайловскій говоритъ о немъ, какъ о геніальномъ умѣ „съ сверкающей фантазіей“.—Такъ же изображенъ и Бухарцевъ. Но въ этомъ образѣ подчеркнуты черты „дворянскаго покаянія“ и „разночинства“, очевидно, совмѣщавшіяся въ характерѣ Ножина.

лись съ „разночинцами“, выходцами изъ другихъ слоевъ, и обѣ группы, сливаясь, образовали междуклассовую интеллигенцію съ ея особымъ настроеніемъ, съ ея идеологіей, въ которую тѣ и другіе вносили свой вкладъ.

Очерки даютъ возможность съ точностью указать, что́ именно внесли сюда „кающіеся дворяне“. Они внесли моральный фактъ покаянія со всѣми его послѣдствіями, въ ряду которыхъ выдѣляется специфическое тяготѣніе къ народу, откуда—особая, такъ сказать, „дворянская“ форма народничества, психологически замѣтно отличающаяся отъ другихъ его формъ. Въ связи съ этимъ, у „кающихся дворянъ“ обнаруживалось стремленіе перестроить свою личную жизнь на новыхъ нравственныхъ началахъ. „Кающіеся дворяне“ были моралистами и „сектантами“ гораздо въ большей мѣрѣ, чѣмъ разночинцы, и пропаганда Писарева въ средѣ первыхъ находила больше откликовъ и сочувствія, чѣмъ въ средѣ вторыхъ. Это различіе указано въ слѣдующихъ строкахъ: „Въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ это самое время, всѣ эти Помяловскіе, Рѣшетниковы, Щаповы, Нибуши [1]) и проч. знать не хотѣли никакихъ епитимій и знакомились съ бѣлой горячкой... Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, ихъ могла душить только злоба за искалѣченную жизнь...“ (Сочин., т. IV, 322).

Впрочемъ, эту послѣднюю черту („злоба за искалѣченную жизнь“ и запой) нельзя считать постоянною и типичною принадлежностью разночинцевъ, и самъ Михайловскій выводитъ

[1]) Нибушъ (одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ фабулѣ очерковъ, гдѣ оно играетъ видную роль), незаконный сынъ помѣщика-дворянина Шубина и крѣпостной бабы, отнесенъ къ разряду „разночинцевъ“.

на сцену яркихъ представителей типа, у которыхъ этой черты нѣтъ, но зато есть другая, въ самомъ дѣлѣ очень характерная для нихъ, именно—то, что этихъ людей не мучило „сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе"; кромѣ того, у нихъ отмѣчены другія черты нравственнаго характера, которыя, вмѣстѣ съ чертами своеобразнаго умственнаго склада, представляютъ высокій общественно-психологическій интересъ. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ фигура Апостолова. Это—разновидность базаровскаго типа. Человѣкъ большого ума, по преимуществу критическаго и аналитическаго, рѣдкой независимости мысли и внутренней свободы, незаурядной душевной силы,—онъ въ то же время убѣжденный человѣкъ протеста и идеи. Его личность и жизнь окружены нѣкоторою таинственностью. Очевидно, онъ ведетъ пропаганду и имѣетъ успѣхъ, благодаря своему нравственному авторитету, уваженію, какимъ онъ пользуется въ кругахъ молодежи, солиднымъ знаніямъ и выдающимся діалектическимъ способностямъ. По складу ума, онъ отчасти напоминаетъ Чернышевскаго, аналитика и раціоналиста, обнаруживая при томъ и свойственное Чернышевскому стремленіе къ якобы холодному безпристрастію въ моральной оцѣнкѣ людей. Прочтемъ слѣдующее: „На первый взглядъ онъ представлялъ собою воплощенное безпристрастіе. Любую цѣльную, живую форму бытія, какъ создалась она природой и исторіей, онъ всегда готовъ былъ разложить на логическіе моменты. Онъ могъ сдѣлать это и съ самымъ близкимъ человѣкомъ, съ своимъ единомышленникомъ (хотя вполнѣ единомышленныхъ у него не было), и съ человѣкомъ завѣдомо враждебнымъ. И тутъ, и тамъ онъ находилъ добро и зло, только въ различныхъ пропорціяхъ"... (ib., 354).—Далѣе Темкинъ говоритъ, что безпристрастіе Апостолова „сбивало съ толку" и „казалось намъ слишкомъ утонченнымъ, ненужнымъ и непріятнымъ". Но, при ближайшемъ ознакомленіи

съ идеями Апостолова и его отношенiемъ къ вещамъ и людямъ выяснялось, что это безпристрастiе отнюдь не переходило въ безстрастность, въ безпринципный „объективизмъ", исключающiй моральную или вообще субъективную оцѣнку.— „Ивана, Сидора, правыхъ, лѣвыхъ Апостоловъ судилъ съ какой-то высшей точки зрѣнiя, постоянно съ одной и той же, которая отнюдь не оправдывала безобразiй на томъ основанiи, что они фактически существуютъ" (стр. 354). Это была какая-то смѣсь „личнаго безпристрастiя съ систематическимъ пристрастiемъ", живо напоминающая Чернышевскаго и—частью—Базарова. Апостоловъ, несомнѣнно, человѣкъ протеста и послѣдовательнаго отрицанiя, но въ то же время онъ обладаетъ рѣдкою терпимостью, исключающею всякое сектантское отношенiе къ вещамъ, людямъ и понятiямъ. Это, между прочимъ, обнаруживается въ эпизодѣ, гдѣ разсказано, какъ въ квартирѣ Апостолова Темкинъ встрѣтилъ медiума изъ мужиковъ, въ которомъ узналъ своего друга дѣтства—Якова. Эта встрѣча, говорилъ Темкинъ, „меня порядочно встряхнула. Апостоловъ это оцѣнилъ, очень сочувственно выслушалъ мои излiянiя, говорилъ со мной задушевно и, наконецъ, далъ прочитать" свое сочиненiе подъ заглавiемъ: „Кто мой братъ" (стр. 356).—Темкину въ этомъ трактатѣ кое-что показалось неяснымъ, но его „поразилъ общiй, безотрадный тонъ статьи: брата у Апостолова не оказывалось нигдѣ" (ib.).—Нѣсколько выше изложено содержанiе этой рукописи по главамъ. Въ первой главѣ идетъ рѣчь о братѣ по крови, о семейныхъ отношенiяхъ, которыя подвергнуты здѣсь рѣзкой критикѣ, отзывающейся—базаровщиной. Во второй, озаглавленной „братъ-кутейникъ", разбирается сословная среда, изъ которой вышелъ авторъ (духовенство), и эта глава „завершается историческимъ очеркомъ духовнаго сословiя въ Россiи и потомъ трактатомъ о кастахъ и сословiяхъ вообще". Глава третья („братъ-славянинъ") подымаетъ нацiональный вопросъ, критикуетъ славянофильскую

доктрину и отвергаетъ всякій націонализмъ. Наконецъ, глава четвертая посвящена „меньшему брату", народу. Она произвела на Темкина сильное впечатлѣніе. Здѣсь Апостоловъ подвергаетъ народную жизнь, бытъ и психику все той же разлагающей критикѣ. Онъ, очевидно, не народникъ. Въ немъ, какъ и слѣдовало ожидать, нѣтъ также ничего похожаго на дворянское покаяніе.—Ближе всего подходитъ его точка зрѣнія къ базаровской: „Меньшая братія оказывается невѣжественнымъ стадомъ барановъ, которое уже по одному этому не можетъ быть его, Апостолова, братьей" (стр. 356—357).—Но, разумѣется, это—отнюдь не то отношеніе къ народу, какое свойственно тѣмъ, которые судятъ о народѣ съ высокомѣрной точки зрѣнія привиллегированныхъ классовъ. Апостоловъ принадлежитъ къ „внѣклассовой" интеллигенціи и судитъ о народѣ—какъ демократъ. Въ его статьѣ „достается на орѣхи" и „старшему брату", и при томъ не только такому, который, пользуясь выгодами привиллегированнаго положенія, образованія и т. д., не сознаетъ всей несправедливости этихъ порядковъ, но и такому, который это сознаетъ. „Достается на орѣхи" и самому автору статьи: „Онъ не находитъ брата среди меньшей братьи не только потому, что тамъ мракъ, невѣжество, косность, не только потому, что онъ выше ихъ, а и потому, что онъ ниже ихъ. А ниже ихъ онъ уже по одному тому, что стоитъ надъ ними" (стр. 357).—Апостоловъ—соціалистъ, которому претитъ соціальное неравенство, эксплуатація чужого труда, экономическое порабощеніе массъ.—Рукопись оканчивается безотраднымъ, безысходнымъ заключеніемъ: „Старшимъ братомъ не хочу (быть), ровней не могу" (стр. 357).

Все это живо напоминаетъ Базарова. Разница лишь въ томъ, что Базаровъ, презирая мужика въ его нынѣшнемъ состояніи, не особенно опечаленъ своею отчужденностью отъ народа и находитъ (или думаетъ найти) удовлетвореніе, такъ сказать, въ „чистомъ отрицаніи" и въ своихъ занятіяхъ

естествознаніемъ и медициной, между тѣмъ какъ Апостолова точитъ червь отщепенства, и нѣтъ у него бодрой, рѣшительной самоувѣренности Базарова („много дѣлъ обломаю"). Присмотрѣвшись къ Апостолову ближе, Темкинъ выноситъ такое впечатлѣніе: „нѣтъ, это... не холодное, почти бездушное существо, преданное діалектикѣ... Онъ—страдалецъ..." (стр. 357).

Въ другомъ мѣстѣ (стр. 353—354) указано на то, что Апостоловъ не имѣлъ личныхъ привязанностей, и отъ него „вѣяло холодомъ". Это—натура замкнутая, неэкспансивная. Его не вызовешь на изліянія, на откровенныя признанія, что̀ такъ любятъ русскіе мыслящіе люди вообще, молодежь въ особенности. Это опять-таки напоминаетъ Базарова. Но у Апостолова нѣтъ и тѣни базаровской суровости, грубости, эгоизма; въ немъ много благодушія, привѣтливости и доброты. Писаревъ узналъ бы въ немъ того воспитаннаго, „приличнаго" Базарова,—Базарова-„джентльмена, о которомъ онъ говоритъ въ своей статьѣ, цитированной мною въ предыдущей главѣ.

3.

Присмотримся ближе къ тому, какъ относится Апостоловъ къ народу. У него, повидимому, нѣтъ настоящей любви къ мужику и склонности идеализировать его; соотвѣтственно этому, въ его идеяхъ нѣтъ народничества даже въ обширномъ смыслѣ этого слова, но, при всемъ томъ, его мысли прикованы къ вопросу о тяжкой долѣ трудящихся массъ, о несправедливости или безобразіи строя, основаннаго на ихъ эксплуатаціи, наконецъ—о возможномъ пути, ведущемъ къ устраненію этого зла. Вмѣстѣ съ другими разночинцами и вмѣстѣ съ кающимися дворянами онъ ратуетъ или собирается ратовать за интересы народа. Во всякомъ случаѣ, онъ, при всей своей внутренней свободѣ, далеко не свободенъ отъ власти навязчивой русской идеи, которую Темкинъ, излагая содержаніе сочиненія Апостолова,

воспроизводитъ такъ: „Тамъ“, т.-е въ народной жизни, „при всемъ невѣжествѣ, есть разумный трудъ, польза котораго очевидна и трудящемуся, и другимъ. Здѣсь[1]), даже при переполненной знаніемъ головѣ, цѣль труда едва мерцаетъ вдали, да и то это можетъ быть не маякъ, а блудящій огонекъ. Тамъ среди мрака сіяетъ чистая совѣсть. Здѣсь, чѣмъ свѣтлѣе кругомъ, тѣмъ больнѣе совѣсть. Тамъ косность, но тамъ и сила. Здѣсь движеніе, но здѣсь и безсиліе“ (357).

Это все тотъ же роковой, доселѣ не упраздненный, вопросъ объ отношеніяхъ между интеллигенціей и народомъ. Онъ ставится или, лучше сказать, онъ фатально возникаетъ въ сознаніи лучшихъ людей уже очень давно, чуть-ли не со временъ Радищева. Но только въ концѣ 50-хъ годовъ и въ началѣ 60-хъ, въ виду великихъ реформъ, онъ сдѣлался, если можно такъ выразиться, обязательнымъ для всякаго мыслящаго, чувствующаго и гуманнаго человѣка въ Россіи. Онъ превратился тогда въ общее достояніе нашей передовой интеллигенціи, между тѣмъ какъ раньше его подымали, имъ занимались отдѣльные кружки и отдѣльныя лица. Измѣнилась и самая постановка его въ сознаніи мыслящаго человѣка,—она углубилась и расширилась; вопросъ получилъ характеръ моральный, ставъ вопросомъ совѣсти,— и съ тѣхъ поръ онъ стоитъ передъ нашимъ сознаніемъ— какъ своего рода „memento“, какъ вѣчное напоминаніе, предостереженіе, укоръ и, въ этомъ смыслѣ, фатально ограничиваетъ нашу внутреннюю свободу, вольную работу нашей мысли, наше творчество, нашу дѣятельность. Ко множеству внѣшнихъ ограниченій, цензурныхъ, полицейскихъ, административныхъ, присоединилось еще внутреннее, добровольное самоограниченіе, въ силу котораго любое движеніе мысли, всякій творческій актъ, всѣ высшіе интересы духовной жизни

---

[1]) Т.-е. въ жизни привиллегированныхъ классовъ, а равно и междуклассовой интеллигенціи.

всегда рискуютъ быть отравленными вопросомъ и сомнѣніемъ на тему: къ чему? зачѣмъ? Какой смыслъ—мыслить, работать, творить, когда народъ томится въ нуждѣ, въ невѣжествѣ, подъ властью тьмы, и все равно не воспользуется плодами нашего умственнаго труда? Для кого работаемъ мы? Пропасть, залегшая между народомъ и интеллигенціей, не обрекаетъ ли насъ на то, что мы фатально работаемъ для себя, для самоуслажденія, для „общества", которое образуетъ крошечный островокъ въ необозримомъ океанѣ народной, крестьянской Россіи? И вся высшая культура съ ея высокими интересами науки, философіи, искусства—не является ли въ Россіи роскошью?

Мысль о томъ, что вѣдь можно жить и работать „вообще" для „идеи", для „прогресса", для будущаго, для человѣчества, не имѣла у насъ широкаго распространенія и сколько-нибудь прочной власти надъ умами. Русскій мыслящій и гуманно-чувствующій человѣкъ хочетъ ясно видѣть благую и достижимую цѣль своего труда,—а въ Россіи, когда говорятъ о міровомъ прогрессѣ, о благѣ человѣчества и т. д., какъ о цѣли труда,—Апостоловы совершенно справедливо возражаютъ, что эта цѣль „едва мерцаетъ вдали, да и то это, можетъ быть, не маякъ, а блудящій огонекъ...". Ужъ на что внутренне свободенъ Базаровъ, а и тотъ говоритъ: „...либерализмъ, прогрессъ, принципы... подумаешь, сколько иностранныхъ... и безполезныхъ словъ! Русскому человѣку они даромъ не нужны...".—А вѣдь Базаровъ—не славянофилъ и даже не народникъ...

Трагедія русской интеллигенціи—въ томъ, что, по условіямъ нашей жизни, по трудно-искоренимымъ наслѣдіямъ прошлаго, демократизація высшей культуры доселѣ встрѣчала у насъ непреодолимыя препятствія. Сколько бы ни доказывали, что высшія блага культуры самоцѣнны, и что можно служить имъ, не помышляя обо всемъ прочемъ,—никакая интеллигенція не можетъ безпечально пре-

даться этому служенію, разъ она не имѣетъ увѣренности въ полезности своего труда для страны, для родины, для большинства населенія, для народной массы. Это вытекаетъ изъ психологіи интеллигенціи, не только русской, но и всякой, а также изъ природы тѣхъ же „самоцѣнныхъ благъ". Примириться съ умственнымъ, моральнымъ, культурнымъ одиночествомъ, съ участью „лишнихъ", „отщепенцевъ" могутъ отдѣльныя лица, но отнюдь не вся интеллигенція, какъ цѣлое, какъ армія культурныхъ тружениковъ, работниковъ просвѣщенія, представителей мысли, творчества и совѣсти страны. Отрѣзанная отъ широкихъ круговъ населенія, интеллигенція фатально превращается въ узкій, тѣсный, душный мірокъ, въ которомъ всѣ высшія „самоцѣнныя" блага умственной культуры по необходимости обезцѣниваются безплодными словопреніями и превращаются въ игрушку, въ забаву или въ „плѣнной мысли раздраженіе". Такъ это и было въ 40-хъ годахъ, отчего и распадались преждевременно интеллигентные кружки той эпохи,—а вѣдь они вербовались изъ лучшихъ людей, въ нихъ были первостепенные умы и дарованія... Интеллигентный трудъ, какъ и всякій другой, нуждается прежде всего въ спросѣ. Работать надъ высшими самоцѣнными благами тамъ, гдѣ нѣтъ спроса на нихъ, психологически невозможно для всѣхъ, кто только не имѣетъ права, даваемаго геніемъ, говорить: я и человѣчество. Интеллигенція говоритъ сперва (пока она немногочисленна): я и окружающее общество, и—работаетъ плодотворно и осмысленно въ интересахъ окружающей, ближайшей среды, поскольку въ этой послѣдней есть спросъ на „продукты" интеллигентнаго труда. Когда же интеллигенція разростается и въ ея составъ уже входитъ почти вся окружающая среда, тогда интеллигенція становится лицомъ къ лицу съ народной массой и говоритъ: я и народъ. И, разумѣется, прежде всего ждетъ со стороны народа спроса на свой трудъ, сочувствія, пониманія, отклика. И когда оказывается, что нѣтъ

оттуда ни спроса, ни сочувствія, ни отклика,—вотъ тогда-то и начинается та трагедія, которая выпала на долю русской интеллигенціи.

Однимъ изъ ближайшихъ порожденій этой трагедіи является созданіе иллюзіи недостающаго спроса и сочувствія,—иллюзіи, съ которою тѣсно связана другая—идеализація мужика и, вмѣстѣ съ тѣмъ, повышенная, романтическая оцѣнка „устоевъ" народной жизни, крестьянскаго труда, крестьянской „трудовой этики". Такъ, Апостоловъ называетъ трудъ мужика „разумнымъ трудомъ", „польза котораго очевидна и трудящемуся, и другимъ". Въ противоположность этому, трудъ интеллигентнаго человѣка представлялся „непроизводительнымъ", его польза—сомнительной, кромѣ, конечно, тѣхъ рѣдкихъ случаевъ, когда онъ непосредственно направленъ на удовлетвореніе тѣхъ или другихъ нуждъ народа или на защиту его интересовъ. Служеніе народу по необходимости стало верховнымъ критеріемъ, которымъ опредѣлялось достоинство и даже, такъ сказать, моральная законность различныхъ интеллигентныхъ профессій. Многія изъ послѣднихъ были забракованы или, по крайней мѣрѣ, оставлены подъ сомнѣніемъ, въ томъ числѣ и такія, какъ профессіи художника, поэта, ученаго, писателя. Эти занятія получали свое оправданіе въ томъ лишь случаѣ, если писатель, ученый, художникъ подымалъ и разрабатывалъ вопросы, такъ или иначе относящіеся къ жизни народа, если, при этомъ, онъ былъ воодушевленъ идеей служенія народному благу и т. д. Соотвѣтственно этому, классифицировались и идеи, направленія, идеалы, тенденціи: одни одобрялись, какъ полезные или могущіе быть полезными народу, другіе отвергались, какъ безполезные или вредные... Это былъ какой-то грозный и безапелляціонный судъ, тяготѣвшій надъ русскою мыслью, совѣстью и творчествомъ. Правда, не всѣ подчинялись ему, не всѣ признавали его моральный авторитетъ; было много дѣятелей, которые не поклонялись

этому идолу „народной пользы“. Но „идолъ“ былъ налицо, его „культъ“ распространялся и пріобрѣталъ все больше и больше адептовъ въ лучшей части молодого поколѣнія. Въ началѣ 70-хъ годовъ это движеніе приняло, можно сказать, характеръ эпидеміи: сотни лицъ, составлявшихъ цвѣтъ интеллигенціи, шли въ народъ, отрекаясь отъ всѣхъ выгодъ своего положенія, отъ всѣхъ радостей жизни, отъ высшихъ запросовъ мысли и высшихъ благъ культуры, принося въ жертву Молоху „народной идеи“ свои личные интересы, свое счастье, свободу и жизнь.

Въ началѣ 60-хъ годовъ дѣло такъ далеко не шло. Когда Тургеневъ отнесъ фабулу „Нови“ къ 60-годамъ,—онъ допустилъ анахронизмъ. Люди 60-хъ годовъ, даже тѣ изъ нихъ, которые стояли на болѣе или менѣе узкой народнической точкѣ зрѣнія, все-таки проявляли живое стремленіе къ независимости мысли, къ утвержденію моральныхъ правъ личности на развитіе и самоопредѣленіе. Это мы видимъ уже у Добролюбова; въ дѣятельности Писарева эта тенденція выразилась съ особливою яркостью. Весьма опредѣленно сказалась она и у Михайловскаго, въ его раннихъ статьяхъ, а потомъ она явилась отправною точкою его соціологической теоріи „борьбы за индивидуальность“. Темкинъ, выражая въ данномъ случаѣ мысль Михайловскаго, говоритъ (по поводу разсужденій Апостолова о „старшемъ“ и „меньшемъ братѣ“): „...мнѣ казалось, что можно быть „ровней“, что можно быть даже „старшимъ братомъ“, не будучи лицемѣромъ, что можно наконецъ, быть просто братомъ, не считаясь старшинствомъ и меньшинствомъ. Этой вѣры Апостоловъ во мнѣ и не разбилъ...“ (стр. 357).

Нельзя не видѣть здѣсь протеста, хотя и очень осторожнаго, противъ жертвоприношенія личности на алтарѣ служенія народу. Этотъ протестъ, какъ мы знаемъ, былъ заявленъ Темкинымъ (т.-е. въ данномъ случаѣ Михайловскимъ), такъ сказать, заднимъ числомъ, въ половинѣ 70-хъ годовъ, въ

самый разгаръ „хожденія въ народъ" и другихъ формъ самозакланія интеллигенціи, столь живо воспроизведеннаго въ „Нови" Тургенева. Въ 60-е годы въ этого рода протестахъ не было надобности, ибо еще не было и самозакланія, и отношенія интеллигенціи къ народу были гораздо болѣе свободными, чѣмъ позже. Это было время пущаго успѣха писаревскаго направленія, расцвѣта „базаровщины", и молодежь стремилась не „въ народъ", а въ аудиторіи и лабораторіи физико-математическихъ факультетовъ, въ медицинскія клиники. Отношеніе къ народу было, такъ сказать, „платоническое". Преобладающее—критическое и отрицательное—направленіе времени не благопріятствовало развитію сентиментальнаго, романтическаго народничества и не давало большого хода „культу" народа. Интеллигенція еще не отрекалась отъ своихъ правъ на развитіе и самоопредѣленіе.

Тѣмъ не менѣе, въ сознаніи и настроеніи интеллигенціи уже происходила борьба этихъ двухъ тенденцій, этихъ двухъ тягъ — къ индивидуалистическому утвержденію права личности и къ ея жертвоприношенію на алтарѣ „культа" народа. И уже можно было предвидѣть, что вторая тяга возьметъ верхъ надъ первой. Къ этому велъ весь ходъ вещей, и прежде всего—тотъ процессъ образованія междуклассовой интеллигенціи изъ разночинцевъ и кающихся дворянъ, который мы разсмотрѣли въ этой главѣ. Эта новая интеллигенція уже не была отдѣлена отъ народа тѣми классовыми и сословными преградами, которыя всегда мѣшаютъ ясной постановкѣ вопроса объ отношеніяхъ образованнаго общества къ народной массѣ. Новая интеллигенція, въ качествѣ „мыслящаго пролетаріата", имѣла всѣ права—говорить: „Я и народъ", и съ психологическою необходимостью должна была стремиться къ уясненію своихъ отношеній къ народу, своихъ обязанностей, своей общественной роли. Въ это дѣло—развитія самосознанія и идеологіи новой интеллигенціи—разночинцы внесли свой

прирожденный демократизмъ, дворяне—свое покаяніе; и то, и другое влекло интеллигенцію къ народу, къ мужику, навстрѣчу интересамъ крестьянской массы. А тѣмъ временемъ, усилившаяся къ концу 60-хъ годовъ реакція, въ свою очередь, оказала свое содѣйствіе этой тягѣ къ народу, заграждая другіе пути и поприща для дѣятельности передовой интеллигенціи, которая все болѣе и болѣе убѣждалась въ томъ, что общественная жизнь, въ томъ числѣ даже и земское дѣло, становится, такъ сказать, добычею дѣльцовъ, карьеристовъ, хищниковъ, а людямъ идеи, друзьямъ народа, ничего другого не остается, какъ—итти въ народъ и посвятить свои силы защитѣ его интересовъ, его просвѣщенію, наконецъ—пропагандѣ тѣхъ идей и идеаловъ, которые тогда слагались въ сознаніи интеллигенціи. Соотвѣтственно этому, повышалась идеализація мужика, могущественнѣе, навязчивѣе становились иллюзіи,—движеніе принимало явно-утопическій характеръ... Это былъ прологъ будущей трагедіи, разыгравшейся въ 70-хъ и 80-хъ годахъ, психологическую сущность которой мы постараемся раскрыть въ дальнѣйшемъ.

4.

Междуклассовая интеллигенція 60-хъ годовъ, происхожденіе которой мы очертили выше, нашла себѣ выраженіе въ беллетристикѣ, критикѣ и публицистикѣ того времени, ярче всего—въ романѣ Чернышевскаго „Что дѣлать?", въ статьяхъ Писарева, Шелгунова и другихъ.

Нѣсколько словъ о романѣ „Что дѣлать?" будутъ здѣсь нелишними. Это—не художественное произведеніе, и не слѣдуетъ искать въ немъ тѣхъ обобщеній и того истолкованія дѣйствительности, которыя даетъ искусство. Это—какъ бы публицистическій трактатъ, изложенный въ беллетристической формѣ. Дѣйствующія лица романа—не типы, не харак-

теры,—они, поэтому, и не подлежатъ психологическому анализу. Но они любопытны, какъ представители міросозерцанія и идеологіи передовой интеллигенціи эпохи. Вѣра Павловна „представляетъ“ женское движеніе 60-хъ годовъ,—въ ея стремленіяхъ и предпріятіяхъ отразилась тогдашняя постановка вопроса эмансипаціи женщины. Лопуховъ и Кирсановъ выражаютъ направленіе, умственные и общественные интересы разночинной интеллигенціи и ту форму протеста, которая въ 60-хъ годахъ была наиболѣе распространена. Это именно—протестъ, такъ сказать, бытовой и моральный: Лопуховы и Кирсановы возстаютъ противъ устарѣлыхъ формъ быта, семейнаго и общественнаго, противъ традиціонной морали, противопоставляя ей новыя нравственныя понятія. Они—пропагандисты новыхъ идей, во многомъ совпадающихъ съ тѣми, которыя развивалъ Писаревъ, посвятившій роману Чернышевскаго одну изъ самыхъ яркихъ своихъ статей („Мыслящій пролетаріатъ“). Протестъ политическій, повидимому, не входилъ въ кругъ интересовъ и, такъ сказать, въ программу этихъ „новыхъ людей“; равнымъ образомъ не видать у нихъ и народничества,—они далеки отъ идеализаціи мужика, „устоевъ“ народнаго быта, крестьянскаго міросозерцанія. Зато въ романѣ ярко выразилась присущая Чернышевскому и нѣкоторымъ другимъ дѣятелямъ эпохи склонность къ соціальному утопизму, правда, представленному—какъ сонъ, какъ мечта; но, однако, эта мечта не отвергается, какъ нѣчто неосуществимое, а, напротивъ, рисуется въ заманчивомъ видѣ, какъ положительный идеалъ, хотя и далекій, но вполнѣ возможный, для осуществленія котораго требуется только рядъ предварительныхъ реформъ и, въ особенности, преобразованіе нравовъ и понятій, которое сравнительно легко можетъ осуществиться силою просвѣтительной дѣятельности „новыхъ людей“, отличающихся, подобно Лопухову и Кирсанову, „хладнокровною практичностью“, „ровною и расчетливою дѣятельностью“ и „дѣятель-

ною разсудительностью",—качествами, какихъ не имѣло предыдущее поколѣніе („Что дѣлать?", изд. 1905 г., стр. 194).— Рядомъ съ этимъ „типомъ" выведенъ и представитель иного душевнаго уклада, Рахметовъ,—человѣкъ необыкновенный, исключительный, потомокъ стариннаго аристократическаго рода, кое въ чемъ напоминающій „кающихся дворянъ", но изображенный такъ причудливо и неясно, что ничего положительнаго для характеристики передовыхъ направленій 60-хъ годовъ изъ этой фигуры извлечь нельзя...

„Что дѣлать?" принадлежитъ къ числу тѣхъ документовъ эпохи, которые можно назвать чисто-литературными; 60-е годы характеризуются этимъ романомъ примѣрно такъ, какъ 30-е—романами и повѣстями Марлинскаго. Въ произведеніяхъ этого рода мы имѣемъ дѣло не съ психологіей общественныхъ типовъ, отраженною и проясненною искусствомъ, а только съ литературнымъ сочинительствомъ, въ которомъ выразилось извѣстное теченіе общественной мысли или извѣстное настроеніе общества. Историкъ литературы не вправѣ обойти ихъ. Но мы, изучающіе здѣсь не исторію литературы, а исторію общественно-психологическихъ типовъ, преимущественно по даннымъ художественной литературы, въ своемъ мѣстѣ опустили произведенія Марлинскаго, какъ не относящіяся къ нашей задачѣ, и могли бы обойти также и романъ Чернышевскаго. И только въ виду огромнаго значенія знаменитаго писателя въ развитіи русской общественной мысли мы сочли нужнымъ посвятить эти страницы роману „Что дѣлать?", воспроизводящему извѣстныя черты идеологіи и умонастроенія 60-хъ годовъ.

ГЛАВА VI.

Глѣбъ Успенскій въ концѣ 60-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ.

I.

Въ исторіи нашей передовой интеллигенціи и, особенно, въ развитіи демократической идеологіи одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ принадлежитъ Глѣбу Ивановичу Успенскому, художнику огромной силы, своеобразному публицисту и человѣку, исключительно чуткому къ очередной „злобѣ" времени и къ затяжной скорби эпохи...

Намъ необходимо разсмотрѣть важнѣйшіе моменты его литературной дѣятельности и вникнуть въ ихъ общественно-психологическій смыслъ. Но еще большій интересъ представляетъ для насъ сама личность этого писателя. Дѣло въ томъ, что наша художественная литература, такъ удачно воспроизводившая, начиная съ 20-хъ годовъ, общественно-психологическіе типы, оставила однако одинъ существенный пробѣлъ: типъ передового народолюбца и демократа 70-хъ годовъ, одушевленнаго идеей народнаго блага, посвятившаго всѣ силы свои служенію ей и потомъ пришедшаго къ роковому сознанію тѣхъ иллюзій, которыя фатально вытекали изъ идеализаціи народа, изъ ошибочной оцѣнки архаиче-

скихъ формъ народнаго быта, изъ романтическаго отношенія къ народному міровоззрѣнію и идеалу,—этотъ типъ не нашелъ себѣ исчерпывающаго выраженія въ нашей художественной литературѣ [1]). Но о томъ, чего не сдѣлала литература, позаботилась сама жизнь: въ лицѣ Глѣба Ивановича Успенскаго мы имѣемъ законченный типъ русскаго народника-соціалиста 70-хъ—80-хъ годовъ,—и, вникая въ душевный міръ этого замѣчательнаго человѣка, мы можемъ прослѣдить всю драму народническихъ очарованій и разочарованій эпохи, всю психологію сложныхъ отношеній интеллигенціи къ народу, все то, что покойный Н. К. Михайловскій назвалъ „работою и болѣзнью совѣсти".

Въ блестящей характеристикѣ Гл. Успенскаго, какъ человѣка, сдѣланной В. Г. Короленко [2]), отмѣчена прежде всего та черта, что это былъ человѣкъ исключительно-своеобразный, не похожій на другихъ. Не трудно показать, что это своеобразіе нисколько не противорѣчитъ значенію Успенскаго, какъ типа. Базаровъ также въ высокой степени своеобразенъ, но онъ, несомнѣнно,—типъ. Въ свое время не только Печоринъ, но и самъ Лермонтовъ, его оригиналъ, былъ, при всемъ столь ярко выраженномъ своеобразіи, какъ личности, весьма типиченъ для извѣстныхъ сторонъ индивидуальной, классовой и бытовой психологіи данной эпохи. Такъ и Успенскій: человѣкъ въ своемъ родѣ единственный, онъ воплощалъ въ себѣ, и при томъ въ особ-

---

[1]) „Новь" Тургенева, при всемъ своемъ высокомъ художественномъ значеніи, не дала точной и полной картины движенія 70-хъ годовъ. Драма „народническихъ разочарованій" представлена тамъ лицомъ Нежданова, которое наименѣе типично для эпохи. Къ тому же эта „драма" фактически и психологически разыгралась значительно позже—въ концѣ 70-хъ годовъ и въ 80-хъ, къ которымъ относятся кризисъ народничества и переломъ въ настроеніи нашей интеллигенціи. О герояхъ „Нови" см. въ моихъ „Этюдахъ о творчествѣ И. С. Тургенева".

[2]) „Русское Богатство" 1902 г.

ливо яркомъ выраженіи, тѣ черты, которыя составляли характерную, типическую принадлежность передовой интеллигенціи 70-хъ—80-хъ годовъ. Скажемъ такъ: Гл. Успенскій былъ рѣзко-своеобразенъ въ своей глубокой, почти всесторонней типичности. Въ такомъ соединеніи ярко выраженной индивидуальности съ типичностью и состоитъ, какъ извѣстно, главная отличительная черта художественности образа. Въ данномъ случаѣ, какъ это нерѣдко, сама жизнь явилась въ роли художника, создавъ яркое индивидуальное воплощеніе типичныхъ чертъ психологіи цѣлаго поколѣнія.

Гл. Ив. Успенскій выступилъ на литературное поприще въ половинѣ 60-хъ годовъ, т.-е. въ эпоху, когда новая интеллигенція, образовавшаяся изъ сліянія разночинцевъ и „кающихся дворянъ", уже сложилась и заняла свое мѣсто въ жизни и въ литературѣ. Тяга къ народу, подготовленная предшествующею эпохою (и выразившаяся въ поэзіи Некрасова, въ публицистикѣ Добролюбова, Чернышевскаго, Елисеева съ одной стороны, Герцена—съ другой, въ беллетристикѣ 50-хъ и начала 60-хъ годовъ), замѣтно усилилась,—и даже реалисты Писаревскаго направленія стали выдвигать впередъ интересы народа. Исключительный культъ естествознанія и вообще умственныхъ интересовъ интеллигенціи уже былъ тогда на ущербѣ,—на смѣну ему шелъ культъ мужика. Возникъ большой спросъ на литературу о народѣ. Читающая—идейная—публика, молодежь, начинавшая мыслить, хотѣла знать, что такое мужикъ, какъ онъ живетъ, трудится, страдаетъ, каковы его понятія и идеалы, что такое община, артель, „міръ" и другіе „устои" народной жизни, о которыхъ въ свое время писали и Герценъ, и Чернышевскій. Не простое любопытство, а глубокая душевная потребность сказывалась въ этомъ стремленіи подойти къ народу, заглянуть въ его душу. „Подлиповцы" Рѣшетникова были своего рода „открытіемъ". Разсказы и очерки Левитова, Наумова,

даже юмористика Николая Успенскаго вызывали живой интересъ [1]).

Это еще не была та народническая въ тѣсномъ смыслѣ литература, которая, идеализируя мужика, рисовала его—какъ особый соціальный и моральный типъ высшаго порядка, противополагаемый типамъ другихъ классовъ общества. Такъ далеко идеализація мужика, народныхъ „устоевъ" и крестьянской „трудовой этики" еще не шла тогда (около половины 60-хъ годовъ). Но уже были начатки или прецеденты этого направленія. Къ числу таковыхъ нужно отнести, между прочимъ, и слѣдующую черту: народъ, еще не идеализированный, уже противопоставлялся другимъ классамъ—не какъ нѣчто высшее, но какъ особый, замкнутый міръ, покоящійся на своихъ вѣковыхъ устояхъ,—и было какъ бы заранѣе предрѣшено, что эти „устои" способны къ прогрессивному развитію, могутъ и должны совершенствоваться; предрѣшено было и то, что между этими „устоями" и вѣковыми предразсудками, суевѣріемъ, темнотою народа нѣтъ внутренней связи: съ распространеніемъ образованія исчезнутъ суевѣрія и предразсудки, измѣнятся понятія народа, расширится его кругозоръ,—„устои" же должны остаться, въ своей сущности, все тѣми же, т.-е. „общинными", „мірскими", и ихъ сродство съ идеями европейскаго соціализма представлялось очевиднымъ. Въ связи съ этимъ воззрѣніемъ казались „не народными", какъ бы наносными всѣ тѣ явленія той же народной жизни, которыя не согласовались съ предполагаемымъ идеаломъ крестьянства, каковы, напр.: частная собственность на землю, подворное владѣніе, кула-

[1]) Въ беллетристикѣ 60-хъ годовъ выдѣляется рядъ произведеній, имѣвшихъ въ свое время значеніе аналогичное тому, какое имѣли еще въ 50-хъ годахъ комедіи Островскаго и „Записки охотника" Тургенева: писатель, хорошо знакомый съ извѣстною средою, впервые воспроизводилъ ее въ яркихъ картинахъ и типичныхъ образахъ. Таковы были, между прочимъ, „Очерки бурсы" Помяловскаго, нѣкоторыя вещи Левитова, Писемскаго, Рѣшетникова и др.

чество, отливъ деревенскаго населенія въ города и мн. др.— Во второй половинѣ 60-хъ годовъ и еще больше въ 70-хъ этотъ взглядъ развился, упрочился и достигъ значенія своего рода „догмы“, противъ которой пришлось потомъ бороться представителямъ нарождавшагося у насъ рабочаго социализма, „русскимъ ученикамъ“ Карла Маркса, которые, какъ я думаю, доказали, что между „устоями“ народной жизни и темнотою народной мысли существуетъ тѣсная связь, что на почвѣ „устоевъ“ естественно и необходимо вырастаютъ народныя формы угнетенія личности и кулачества и что, наконецъ, между этими вѣковыми „устоями“ и новымъ европейскимъ соціализмомъ—цѣлая пропасть. Въ литературной критикѣ это новое воззрѣніе было представлено превосходною статьею Бельтова (Г. В. Плеханова) „Наши беллетристы народники“, на которую намъ придется ссылаться неоднократно [1]).

Другая отличительная черта ранняго народничества (первой половины 60-хъ годовъ), какъ оно отражалось въ беллетристикѣ, состояла въ томъ, что на ряду съ возраставшимъ интересомъ къ крестьянству, т.-е. къ народу въ тѣсномъ смыслѣ, обнаруживался также большой интересъ вообще ко всей массѣ „сѣраго люда“, включая сюда мѣщанство, сельское духовенство, мелкое чиновничество. Повѣсти, разсказы, очерки, рисующіе жизнь обывателей глухихъ городовъ и мѣстечекъ, а также бѣдныхъ кварталовъ столицъ, ночлежныхъ домовъ и т. д., появлялись въ большомъ количествѣ. Читатель хотѣлъ знать бытъ, нравы, психологію всѣхъ этихъ „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Писатели, изображавшіе

---

[1]) Бельтовъ. „За двадцать лѣтъ“. Изд. 2-ое. С.-Петерб., 1906. Въ указанной статьѣ разсмотрѣны не всѣ важнѣйшія произведенія народнической беллетристики 70-хъ годовъ, а только произведенія Наумова, Глѣба Успенскаго и Каронина. Авторъ обошелъ Златовратскаго и Засодимскаго, которые были наиболѣе яркими выразителями, такъ сказать, „правовѣрнаго“ народничества того времени.

этотъ обширный слой, столь отличный, съ одной стороны, отъ интеллигенціи, съ другой—отъ крестьянской массы, продолжали дѣло, начатое еще Гоголемъ и потомъ возобновленное Достоевскимъ, Писемскимъ и др. (въ 40-хъ и 50-хъ гг.). Теперь этотъ міръ привлекалъ особенное вниманіе уже потому, что оттуда стали выходить разночинцы-интеллигенты, которымъ эта среда была близко знакома по личному опыту. Но помимо того было вполнѣ естественно, что демократическая мысль, на своемъ пути въ направленіи къ мужику, встрѣчала сперва мѣщанъ, лавочниковъ, мастеровыхъ, сельское духовенство, мелкое чиновничество, вербовавшееся изъ семинаристовъ, и останавливалась надъ этимъ міромъ съ интересомъ, съ вниманіемъ, съ соболѣзнованіемъ.

Съ этого именно и началъ свою литературную дѣятельность и Глѣбъ Успенскій [1]). Его ранніе очерки („Нравы Растеряевой улицы"), появившіеся въ 1866 г. въ „Современникѣ", рисуютъ не крестьянъ, а городскихъ обывателей-разночинцевъ. Передъ нами проходитъ рядъ мастерски написанныхъ фигуръ, сценъ, картинъ, оставляющихъ въ душѣ читателя крайне тяжелое, безотрадное впечатлѣніе умственной тьмы, нравственнаго убожества, грубыхъ нравовъ, пьянства, распутства и дикости. Картина выходитъ тѣмъ болѣе потрясающая, что читатель не склоненъ видѣть здѣсь сатиру, намѣренное сгущеніе красокъ. Художникъ просто рисуетъ данную среду такъ, какъ она ему представляется. И если онъ и выступаетъ здѣсь обличителемъ, то объектомъ

---

[1]) Бельтовъ въ вышеуказанной статьѣ, говоря о началѣ дѣятельности Гл. Успенскаго, допустилъ неточность. По его словамъ, „въ раннихъ своихъ произведеніяхъ Гл. Успенскій является главнымъ образомъ бытописателемъ народной и отчасти мелкочиновничьей жизни. Онъ рисуетъ жизнь низшихъ классовъ общества..." („За двадцать лѣтъ", изд. 2-ое, стр. 34. Курсивъ автора). Слѣдовало бы сказать такъ: въ своихъ раннихъ произведеніяхъ Гл. Успенскій описывалъ преимущественно мѣщанскую и мелкочиновническую среду и только отчасти народную.

его обличеній являются не люди, а порядки, условія жизни, историческое прошлое. Испорченные люди оказываются не виновниками, а жертвою. При этомъ подразумѣвается, что съ перемѣною условій измѣнятся и люди. Эта точка зрѣнія была общепринята въ 60-хъ годахъ. Ее обстоятельно развивалъ еще Чернышевскій. Но какъ бы порядки и условія ни представлялись всемогущими, а все-таки про скверныхъ людей нельзя не сказать, что они скверны... И Гл. Успенскій не скрываетъ своего отвращенія къ этой темной средѣ. На первый планъ картины выступаютъ у него худшіе представители ея—выжиги, кулаки, эксплуататоры, вышедшіе изъ той же среды бѣдняковъ. Такова первая же фигура, выведенная въ „Нравахъ Растеряевой улицы“,—Прохоръ Порфирычъ. За нимъ идетъ рядъ другихъ—аналогичныхъ фигуръ, нравственное безобразіе которыхъ рѣзко выступаетъ на фонѣ общей темноты, бѣдности и распущенности. На „свѣжаго человѣка“, привыкшаго хотя бы къ элементарной добропорядочности и самому скромному благоустройству жизни, многія страницы этихъ очерковъ производятъ впечатлѣніе весьма близкое къ тому, какое оставляютъ описанія ночлежныхъ домовъ и притоновъ, гдѣ ютится всякій сбродъ, спившійся съ круга и потерявшій обликъ человѣческій. И для читателя, который не вѣруетъ во всемогущество „условій“ и „порядковъ“ и склоненъ думать, что люди сами же и создаютъ условія и порядки своей жизни, картины, рисуемыя Успенскимъ, могутъ явиться источникомъ крайне пессимистическаго воззрѣнія на изображенную среду, на будущее этого люда, такъ безобразно, такъ безпутно и нелѣпо проживающаго на окраинахъ городовъ и во всевозможныхъ захолустьяхъ огромной темной и отсталой страны... Читателя хватаетъ за сердце щемящее, унылое чувство, очень похожее на то, какое въ свое время вызывалъ Гоголь, и также на то, какое позже будетъ вызывать Чеховъ изображеніемъ жестокихъ нравовъ и нравственной темноты про-

стонародья и мѣщанства, напр., въ знаменитой повѣсти „Въ оврагѣ“.

2.

Достаточно извѣстно, какою болью души, какими муками оскорбленнаго нравственнаго чувства отзывался Глѣбъ Успенскій на отрицательныя стороны русской дѣйствительности. Это былъ тотъ особый родъ чуткости, который слѣдуетъ отличать отъ чуткости умственно и морально развитой личности, предъявляющей опредѣленныя требованія обществу и государству,—требованія, основанныя на сознательно усвоенныхъ понятіяхъ о правахъ и обязанностяхъ человѣка и гражданина, объ отношеніяхъ личности къ обществу и т. д. Эти понятія могутъ и должны быть усвоены всякимъ нормальнымъ человѣкомъ; всякій здравомыслящій человѣкъ, при добромъ желаніи и благопріятныхъ условіяхъ, можетъ достичь извѣстной высоты умственнаго, моральнаго и политическаго развитія, въ силу котораго онъ и пріобрѣтетъ способность отзываться на отрицательныя стороны дѣйствительности болью души, муками оскорбленнаго нравственнаго чувства, негодованіемъ гражданина. Это, такъ сказать, отзывчивость воспитанная, благопріобрѣтенная. Она была и у Глѣба Успенскаго, который, въ этомъ отношеніи, несомнѣнно былъ многимъ обязанъ вліянію идей и самой личности Н. К. Михайловскаго. Но подъ этою благопріобрѣтенною отзывчивостью у Глѣба Успенскаго скрывалась другая, ему лично принадлежавшая, натуральная, чисто-психологическая, зависящая не отъ степени развитія, не отъ усвоенныхъ идей, а отъ особенностей унаслѣдованной нервной и психической организаціи. Михайловскій говоритъ объ „обнаженныхъ нервахъ“ Успенскаго. Жизнь и въ особенности впечатлѣнія дѣтства и юности, разумѣется, много содѣйствовали этой „обнаженности“, но они не могли создать ея. Въ автобіографической запискѣ Успенскій гово-

ритъ между прочимъ: „Вся моя личная жизнь, вся обстановка моей личной жизни, лѣтъ до 20-ти, обрекала меня на полное затменіе ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и вообще отдѣляла отъ жизни бѣлаго свѣта на неизмѣримое разстояніе. Я помню, что я п л а к а л ъ б е з п р е с т а н н о, н о н е з н а л ъ, о т ч е г о э т о п р о и с х о д и т ъ. Н е п о м н ю, ч т о б ы д о 20 л ѣ т ъ с е р д ц е у м е н я б ы л о к о г д а-н и б у д ь н а м ѣ с т ѣ“ [1]) (приведено въ „Послѣднихъ сочиненіяхъ“ Н. К. Михайловскаго, т. II, стр. 205).—Очевидно, этотъ человѣкъ родился съ „обнаженными нервами“, съ душою, открытою для мучительныхъ впечатлѣній жизни, съ особо чувствительною нервно-психическою организаціей. На гнетущія впечатлѣнія дѣйствительности, на жестокіе нравы, на дикость понятій и отношеній онъ, еще ребенокъ, потомъ юноша, не имѣвшій даже элементарнаго умственнаго развитія, уже реагировалъ слезами и болью сердца. Такая „обнаженность“ нервовъ и природная чуткость души—превосходное средство сопротивленія гнету среды. Сколько дѣтей выростаетъ въ той же средѣ и только калѣчится морально, ожесточается, грубѣетъ! У нихъ нѣтъ той силы сопротивленія, которая обусловливается тонкостью и сложностью нервно-психической организаціи и прирожденнымъ изяществомъ души, не нуждающейся въ высшемъ развитіи, чтобы болѣть и страдать муками нравственнаго порядка. Къ Глѣбу Успенскому вполнѣ примѣнимо то, что говорилъ С. Аксаковъ о Гоголѣ: „вѣроятно, весь организмъ его устроенъ какъ-нибудь иначе, чѣмъ у насъ... нервы его, можетъ быть, во сто разъ тоньше нашихъ: слышатъ то, чего мы не слышимъ, и содрогаются отъ причинъ, намъ неизвѣстныхъ...“

Въ „Нравахъ Растеряевой улицы“ изображена именно та темная среда, гдѣ родился и выросъ Успенскій. Среда эта,

---

[1]) Курсивъ мой.

говоритъ Михайловскій, „была типичною средою дореформеннаго канцелярско-семинарскаго быта“ (тамъ же, стр. 211). — Перечитывая это раннее произведеніе Успенскаго, основанное на личныхъ воспоминаніяхъ, на субъективныхъ данныхъ, мы убѣждаемся въ томъ, что здѣсь художнику пришлось вновь пережить и перечувствовать то, что, по его признанію, онъ хотѣлъ забыть,—впечатлѣнія дѣтства и юности. Онъ говоритъ (въ той же автобіографической запискѣ): „начало моей жизни началось только послѣ забвенія моей собственной біографіи“ [1]) (тамъ же, 206). Если это вѣрно относительно его „жизни“, то невѣрно относительно творчества: оно на первыхъ же порахъ обратилось (да и не могло не обратиться) къ воспоминаніямъ и впечатлѣніямъ того времени, когда будущій поэтъ народной идеи постоянно плакалъ, когда сердце было у него не на мѣстѣ. Авторитетный свидѣтель, Н. К. Михайловскій, говоритъ: „Сопоставляя автобіографическую записку Успенскаго съ отдѣльными мѣстами „Нравовъ Растеряевой улицы“ и пр., имѣющими характеръ художественной обработки подлинныхъ фактовъ, мы можемъ видѣть, въ чемъ состоялъ тотъ ужасъ существованія въ дѣтствѣ и ранней молодости, о которомъ онъ самъ говоритъ“ (тамъ же, 211).—Итакъ, передъ нами не просто наблюденія писателя надъ бытомъ и нравами извѣстной среды. Передъ нами—художественные итоги личнаго, выстраданнаго опыта жизни, въ которомъ незамѣтно, безсознательно росла нравственная личность Успенскаго. На матеріалѣ гнетущихъ впечатлѣній жизни упражнялось его моральное чутье,—въ эти годы дѣтства и юности онъ пріобрѣталъ психическіе навыки, оставшіеся у него на всю жизнь,—навыки скорбнаго юмора, душевной боли, нравственныхъ мукъ. Все это развивалось безсознательно или, лучше сказать, безъ рефлексіи, безъ раздумья, безъ

---

1) Курсивъ Успенскаго.

критическаго отношенія къ окружающему. Когда, вмѣстѣ съ умственнымъ развитіемъ, установится у него критическое отношеніе къ жизни, къ людямъ, къ себѣ самому, тогда при этомъ свѣтѣ сознанія, который всегда на первыхъ порахъ кажется ослѣпительно яркимъ, прежняя жизнь его представится ему окутанною глубокимъ мракомъ, откуда понятная иллюзія, будто въ то время онъ „былъ обреченъ на полную погибель, на полное затменіе ума", между тѣмъ какъ въ дѣйствительности онъ тогда уже росъ морально и вообще психически, но только еще не настал̇ъ часъ для него проснуться умственно.

Когда онъ пробудился отъ этого сна мысли, тогда ему стала ясна главная причина зла, господствующаго въ той средѣ, откуда онъ самъ вышелъ. Это именно—безправіе, забитость всего этого „мелкаго люда". Въ „Нравахъ Растеряевой улицы" и очеркахъ, къ нимъ примыкающихъ, эта основная причина только чувствуется, подразумѣвается. Она выступитъ наружу въ другомъ очеркѣ—„Парамонъ юродивый", написанномъ, какъ гласитъ примѣчаніе автора („Сочиненія", т. I, 174), „гораздо ниже", но помѣщенномъ въ собраніи сочиненій вслѣдъ за „Нравами Растерянной улицы" (съ ихъ продолженіемъ)—„потому что въ немъ" авторъ „попытался изобразить самыя существенныя свойства „растеряевщины", съ которыми она и вступила въ новую жизнь". Подъ этой „новой жизнью" разумѣется эпоха реформъ и новыхъ вѣяній и ожиданій начала 60-хъ годовъ. Слѣдовательно, „Нравы Растеряевой улицы" и пр., а затѣмъ и „Парамонъ юродивый" рисуютъ намъ жизнь разночинцевъ въ эпоху дореформенную, именно въ послѣднемъ ея періодѣ. Это было время пущей реакціи 1848—1855 годовъ, время всеобщаго трепета, когда русскій человѣкъ всѣхъ званій и состояній, издавна выдрессированный въ школѣ безправія и гнета, дошелъ до послѣднихъ предѣловъ обезличенія и приниженности. Состояніе испуга, это—хроническая болѣзнь

русскаго человѣка, отъ которой онъ сталъ понемногу излѣчиваться только съ конца 50-хъ годовъ и совсѣмъ выздоравливаетъ лишь въ наше время. Выздоравливая, мы съ трудомъ можемъ теперь представить себѣ тотъ, можно сказать, паническій страхъ, который обуялъ всю Россію въ періодъ 1848—1855 гг. Было что-то заразительное, что-то безумное въ этомъ всеобщемъ страхѣ. Обыватель трепеталъ передъ ближайшимъ начальствомъ, низшее начальство трепетало передъ высшимъ, высшее—передъ наивысшимъ. Наивысшее, въ свою очередь, приходило въ ужасъ, когда усматривало гдѣ-либо малѣйшее проявленіе нерабской мысли, когда вдругъ среди всеобщей тишины раздавалось неосторожное, громкое слово. Начальственный ужасъ переходилъ въ изступленную ярость репрессій. Жизнь огромной страны, наканунѣ реформъ, томилась, по выраженію Салтыкова, „подъ игомъ безумія", созданнаго перекрестнымъ дѣйствіемъ всѣхъ видовъ страха,—отъ страха передъ квартальнымъ до „страха Божія", отъ страха доноса до суевѣрной мыслебоязни, господствовавшей какъ въ темныхъ низахъ общества, такъ и на мрачныхъ верхахъ.

Въ очеркѣ о Парамонѣ юродивомъ Успенскій въ яркихъ чертахъ изображаетъ психологію этого повальнаго страха и его деморализующее дѣйствіе на обывателя, на разночинца, на ту среду, которой посвящены его раннія произведенія.— „Вы, читатель, не пугаетесь, когда звонятъ къ вамъ? А мы пугались... Почему? Такіе ужъ мы испуганные люди... Или тоска, или испугъ, или злорадство,—другой школы для насъ не было" (I, 183). Успенскій говоритъ о „страхѣ дѣйствительности" (182), подъ властью котораго пребывалъ обыватель, въ особенности если онъ былъ „мелкая сошка". Безправіе и произволъ не казались тогда чѣмъ-то ненормальнымъ, злоупотребленіемъ, вообще зломъ, какъ это стало казаться потомъ, съ конца 50-хъ годовъ. Тогда это была норма, правило, „законъ". Выросшій и воспитанный въ безпра-

віи, въ непоколебимомъ убѣжденіи, что произволъ есть законъ, дореформенный обыватель пребывалъ въ состояніи хроническаго „страха дѣйствительности“. — „Всѣ простые, обыкновенные люди не жили—„мыкались“ или просто „кормились“, но не жили. Какъ только начинаю себя помнить, чувство какой-то виновности [1]), какого-то тяжелаго преступленія уже тяготѣло надо мной...“ (176). „Въ церкви я былъ виноватъ передъ всѣми этими угодниками, образами, паникадилами. Въ школѣ я былъ виновенъ передъ всѣми, начиная со сторожа... Словомъ, атмосфера, въ которой я росъ, была полна страховъ...“ (176).

„Пугаютъ не вещи сами по себѣ, а наши мнѣнія о вещахъ“, сказалъ древній мудрецъ, выросшій въ рабствѣ [2]). Для русскаго дореформеннаго обывателя неоскудѣвающимъ источникомъ хроническаго испуга было мнѣніе, что онъ, обыватель,—ничтожество, отъ природы существо безсильное, безправное, безличное, обреченное быть игралищемъ всяческаго произвола: въ дѣтствѣ, дома — произвола родителей, старшихъ, въ школѣ—учителя, надзирателя, инспектора, въ гражданской жизни—всѣхъ властей предержащихъ, въ частной жизни—всѣхъ случайностей, всѣхъ пугающихъ возможностей, въ морали и религіи — собственныхъ прегрѣшеній, пороковъ, страстей, паденій и вытекающихъ оттуда возмездій земныхъ и загробныхъ. Религія русскаго человѣка—религія страха...

Въ такомъ „мнѣніи“, въ такой „догмѣ“ русскій человѣкъ воспитывался искони, и вытекающій оттуда страхъ давно сталъ инстинктомъ. Русскій человѣкъ пугливъ, какъ травленный заяцъ, и боится „вообще“, безъ видимой причины, безъ наличной опасности... „Не шевелиться, хоть и мечтать; не показать виду, что думаешь; не показать виду,

---

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Эпиктетъ.

что не боишься; показывать, напротивъ, что боишься, трепещешь,—тогда какъ для этого и основаній-то никакихъ нѣтъ: вотъ что выработали эти годы въ русской толпѣ. Надо постоянно бояться,—это корень жизненной правды...“ (175).— „Эти годы — періодъ 1848—1855 гг.—только вызвали обостреніе искони укоренившагося страха, превратили хроническую болѣзнь въ острую, пробудили дремлющій инстинктъ къ сознательному обнаруженію.“

Вотъ именно въ такомъ состояніи пробужденной, чуткой пугливости и пребывала семья разсказчика, изображенная въ очеркѣ. „Вѣчное, безпрерывное безпокойство о „виновности“ самаго существованія на свѣтѣ пропитало всѣ взаимныя отношенія, всѣ общественныя связи, всѣ мысли, всѣ дни и ночи... Какъ будто кто-то предсказалъ всѣмъ членамъ этой семьи (а такихъ семей было много, если не вся тогдашняя русская толпа), что въ концѣ-концовъ ей предстоитъ гибель, и какъ-будто камень этого сознанія лежалъ у всѣхъ на душѣ...“ (176).

И вотъ вдругъ въ этой средѣ, больной недугомъ страха, появляется нѣкое оздоровляющее начало—въ лицѣ юродиваго Парамона. Онъ не былъ и не могъ быть созданъ тою же мѣщанскою и мелкочиновническою средой: онъ явился извнѣ, изъ другой среды, также забитой, приниженной, запуганной, но въ глубокихъ нѣдрахъ которой, какъ вѣрилось многимъ тогда и потомъ, еще сохраняются здоровыя, жизнеспособныя, идеальныя начала. Юродивый Парамонъ былъ крестьяниномъ, — „*самый настоящій крестьянскій, мужицкій святой человѣкъ*“ [1]) (174). Онъ оставался совершенно нетронутымъ никакими посторонними вліяніями,—никакая „цивилизація“ не коснулась его. Онъ былъ невѣжественъ и безграмотенъ—и сохранилъ въ чистотѣ и неприкосновенности свою крестьянскую душу. „Повину-

---

[1]) Курсивъ мой.

ясь гласу и видѣнію, онъ оставилъ домъ, жену, двухъ дѣтей и ушелъ спасать свою душу...“ (174). Подвигъ спасенія состоялъ въ жестокихъ физическихъ самоистязаніяхъ: Парамонъ носилъ вериги на тѣлѣ, отъ которыхъ образовывались язвы; на головѣ у него была чугунная шапка въ полтора пуда вѣсомъ; онъ жегъ на огнѣ пальцы и т. д. Стоически переносилъ онъ жестокія мученія, вѣруя, что этимъ онъ достигнетъ „будущаго блаженства“. Такъ сильна была эта вѣра и такъ настойчиво стремленіе къ „блаженству“, что всѣ интересы, приманки, соблазны и страхи жизни для него не существовали. Юродивый никого и ничего не боялся. Въ запуганной средѣ, которая всего боялась, появленіе этого человѣка, совершенно свободнаго отъ власти страха, произвело потрясающее впечатлѣніе. Это было живое, наглядное доказательство того, что вотъ есть же возможность не бояться. Это была олицетворенная проповѣдь на религіозную и моральную тему, что есть нѣчто высшее, святое, во имя чего можно освободиться отъ гнета всѣхъ мелочей жизни, отъ пошлаго прозябанія, отъ нравственной тьмы. Среди прозы пошлаго существованія появилось нѣчто идеалистическое, нѣчто не отъ міра сего: „всѣ чувствовали хоть на мгновеніе пробужденіе чего-то дѣтски-радостнаго, чего-то легкаго, свѣтлаго и безконечнаго...“ (175). Авторъ говоритъ, что на всю жизнь сохранилъ это впечатлѣніе своего дѣтства и что „этотъ простякъ святой припоминается ему, какъ одно изъ самыхъ свѣтлыхъ явленій, самыхъ дорогихъ воспоминаній“ (175).

Описаніе впечатлѣнія, произведеннаго юродивымъ, грѣшитъ, какъ нерѣдко у Гл. Успенскаго, нѣкоторою растянутостью, излишними комментаріями, но этотъ художественный недостатокъ въ данномъ случаѣ только помогаетъ намъ яснѣе понять основную мысль художника-моралиста. Весь разсказъ является лишь пространнымъ развитіемъ мотива, выраженнаго въ слѣдующихъ словахъ: „Нѣчто совсѣмъ

постороннее[1]), чуждое нашему несчастному, холодному, боязливому влаченію жизни, пришло къ намъ, осчастливило насъ, оторвало наши мысли отъ земли, по которой мы ползали ползкомъ, подняло нашу уныло согнувшуюся голову къ небу и звѣздамъ...“ (177). „Боже мой, сколько открылось новыхъ, небывалыхъ и немыслимыхъ до сихъ поръ перспективъ! Рай, адъ, правда, совѣсть, подвиги—все это цѣлымъ роемъ понятій новыхъ, небывалыхъ осаждало наши головы!“ (179). „Толчокъ былъ силенъ необыкновенно, и благодаря ему *мы неожиданно стали на дорогѣ, по которой можно было дойти до сознанія правъ живого человѣка на землѣ*“[2]) (180).

Въ 70-хъ годахъ (когда былъ написанъ очеркъ) весьма многіе изъ передовыхъ, мыслящихъ и просвѣщенныхъ людей, въ томъ числѣ и Гл. Успенскій, находились всецѣло подъ властью или подъ обаяніемъ иллюзіи, продиктовавшей приведенныя строки. Моральному или, точнѣе, религіозно-моральному (религіозность разумѣлась, конечно, не въ вѣроисповѣдномъ смыслѣ) „фактору“ приписывалось рѣшающее значеніе въ поступательномъ движеніи человѣчества, въ дѣлѣ „сознанія правъ живого человѣка на землѣ“ и осуществленія этихъ правъ. Увы! юродивые вродѣ Парамона и даже цѣлыя секты такихъ „святыхъ“ появлялись у насъ въ теченіе долгихъ вѣковъ,—и ничего, кромѣ пущаго затменія всякаго „сознанія“, отъ этого не воспослѣдовало. „Фактору“ морально-религіозному лучшіе люди 70-хъ годовъ приписывали ту роль, которая въ дѣйствительности всегда принадлежала вовсе не ему, а совсѣмъ другимъ „факторамъ“: экономическому, техническому, политическому... То, что изображено въ лицѣ Парамона, всегда было порожденіемъ все той же темноты народной, и, если здѣсь и можно усматривать своеобразный протестъ противъ гнета,

[1]) Курсивъ Успенскаго. [2]) Курсивъ мой.

реакцію противъ страха, стремленіе сбросить съ души его тяготу, то вмѣстѣ съ тѣмъ является очевиднымъ полное безсиліе такой формы религіознаго протеста. Чѣмъ-то стародавнимъ, чѣмъ-то восточнымъ и давно осужденнымъ всей исторіей прогресса вѣетъ отъ фигуры юродиваго. Религіозная исторія человѣчества неоднократно выдвигала этотъ типъ „подвижника", и всегда онъ оказывался безсильнымъ въ борьбѣ съ соціальнымъ зломъ и никогда не былъ орудіемъ освобожденія человѣчества...

Самый фактъ существованія юродивыхъ Парамоновъ плохо аттестуетъ ту народную среду, которая ихъ выдвигаетъ, и, пожалуй, еще хуже ту, для которой они являются лучомъ свѣта въ темномъ царствѣ.

Разсказъ о Парамонѣ юродивомъ въ высокой степени характеренъ для всей дѣятельности и всей душевной драмы Гл. Успенскаго. Въ отличіе отъ большинства народниковъ-беллетристовъ Успенскій былъ художникъ-искатель, который, изучая народъ и среду разночинцевъ, упорно и настойчиво преслѣдовалъ задачу—открыть въ этихъ пластахъ населенія чистое золото совѣсти, любви, идеальныхъ началъ. Подмѣтить въ любой средѣ хорошія стороны, симпатическія черты—нетрудно. Столь же легко ихъ идеализировать и нарисовать картину, способную внушить читателю высокое представленіе о добрыхъ качествахъ данной среды, что и дѣлали съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ многіе беллетристы-народники. Могъ бы дѣлать это и Гл. Успенскій. Но онъ былъ исключительная натура, въ сознаніи которой дѣйствительность отражалась прежде всего своими темными сторонами и причиняла ѣдкую душевную боль. Эта моральная чуткость не позволяла Успенскому успокоиться на созерцаніи хорошихъ качествъ мужика и положительныхъ сторонъ народной жизни, существованіе которыхъ несомнѣнно и которыя сами по себѣ ничего не доказываютъ, ничего не предрѣшаютъ. Успенскій искалъ большаго

и лучшаго,—онъ искалъ доказательствъ жизнеспособности исконныхъ началъ народной жизни и стремился убѣдить самого себя въ высокомъ достоинствѣ народнаго идеала. Дѣйствительность являлась ему не въ видѣ равнины, на которой среди господствующаго мрака тамъ и сямъ разбросаны свѣтлыя точки, сразу же бросающіяся въ глаза именно благодаря окружающему мраку. Она являлась ему въ видѣ массивныхъ пластовъ, въ глубокихъ нѣдрахъ которыхъ скрываются живые источники человѣчности. До этихъ источниковъ нужно еще добраться; нужно производить изысканія, раскапывая и сверля толщу соціальныхъ пластовъ и историческихъ отложеній. Эти морально - художественныя изысканія не могли привести ни къ чему иному, какъ именно къ тому, что представляютъ собою сочиненія Глѣба Успенскаго: рядъ безотрадныхъ картинъ—„Растеряевщины", „Разоренія", „Новыхъ временъ" и т. д., наконецъ, крестьянской жизни, написанныхъ то въ темныхъ, то въ сѣрыхъ, то мрачныхъ тонахъ, среди которыхъ тамъ и сямъ пробиваются „свѣтлые лучи", вродѣ Парамона юродиваго и нѣкоторыхъ „положительныхъ" типовъ разночинцевъ и крестьянъ, которые въ концѣ концовъ заставляютъ вспомнить слова Гёте:

...nach Schätzen gräbt
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet... [1])

Упреку къ идеализаціи народной и разночинской жизни Гл. Успенскій ни въ какомъ случаѣ не подлежитъ... Не идеализируетъ онъ и Парамона юродиваго. Онъ только цѣнитъ въ немъ отсутствіе страха, внутреннюю свободу отъ гнета условій, мелочей и приманокъ жизни и отмѣчаетъ то впечатлѣніе, какое эти рѣдкія качества, въ немъ воплощенныя, произвели въ мѣщанской средѣ, всецѣло погруженной

---

1) „Роетъ землю, ища сокровищъ, и радъ, когда находитъ дождевыхъ червей".

въ тину житейскихъ мелочей и изнывавшей подъ гнетомъ вѣчныхъ страховъ. Но, рисуя, можетъ быть, въ нѣсколько преувеличенномъ видѣ оздоровляющее моральное вліяніе Парамона на эту среду, онъ въ то же время представляетъ это вліяніе крайне непрочнымъ. Стоило только появиться квартальному, чтобы прежніе страхи и душевная подлость воскресли съ новой силой. Послѣднія страницы разсказа съ большимъ мастерствомъ воспроизводятъ этотъ рецидивъ малодушія и того душевнаго мошенничества, въ силу котораго человѣкъ думаетъ обмануть свою совѣсть. Обитатели дома, гдѣ такъ чтили Парамона, теперь стараются увѣрить себя самихъ, что юродивый — просто безпаспортный бродяга и „надуватель",—оставаясь однако въ глубинѣ души убѣжденными въ противномъ. Это душевное вранье всего болѣе возбуждалось страхомъ передъ начальствомъ—черта глубоко-русская. „*Сами себѣ врали, чтобы только жить...*" [1]) (192).

Итакъ, Парамонъ безсиленъ оздоровить среду. Позволительно думать, что это безсиліе обусловлено не только тѣмъ, что среда не имѣетъ мужества, да и возможности защитить своего „святого" отъ квартальнаго, но также и тѣмъ, что сама „святость" Парамона есть нѣчто слишкомъ ужъ архаическое и уродливое и способна поднять духъ обывателей лишь на самое короткое время. Позволительно думать, что и безъ вмѣшательства квартальнаго благое вліяніе Парамона вскорѣ разсѣялось бы, какъ дымъ...

Обыватели, подобно Успенскому, высоко цѣнятъ въ Парамонѣ *цѣльность* натуры, безстрашіе подвижника, полное равнодушіе къ благамъ жизни и угрозамъ начальства. Но какъ только явился квартальный и въ упоръ поставилъ вопросъ о паспортѣ, это сразу отрезвило поклонниковъ юродиваго. „Объ адѣ да объ раѣ толковали... а паспортъ? Гдѣ

---

1) Курсивъ мой.

у него паспортъ, у Парамона? Безъ паспорта—такъ и святой?.. Какъ мы, глупые, могли забыть этотъ паспортъ! Развѣ это ничего не значитъ? Паспортъ-то забыть! Безпаспортный, а ангелы являются! Ангелы! Паспортъ-то гдѣ? И намъ казалось, что и ангелы-то, заслышавъ этотъ вопросъ: „а гдѣ паспортъ?", разлетятся отъ Парамона кто куда, точно испугавшись и одумавшись. А это, дѣйствительно, отлеталъ отъ насъ ангелъ пробужденнаго сознанія!.." (184).

Разсказъ кончается такъ: „Одно и выходитъ—ври и живи! Вотъ какія феи стояли у нашей колыбели!.. Не мудрено, что и дѣти наши пришли въ ужасъ отъ нашего унизительнаго положенія, что они ушли отъ насъ, разорвали съ нами, отцами, всякую связь!" (192).

Если дѣти „пришли въ ужасъ", значитъ—это было морально-здоровое и чуткое къ добру и человѣческому достоинству поколѣніе. Откуда явилось „оздоровленіе"? Кто „выпрямилъ" (говоря любимымъ выраженіемъ Успенскаго) „дѣтей"? Ужъ не Парамонъ ли юродивый? Все, что мы знаемъ о развитіи русскаго общества вообще и о появленіи массы лучшихъ людей изъ темной среды разночинцевъ въ частности, удостовѣряетъ насъ, что Парамоны юродивые и иныя родственныя имъ по архаичности явленія народной жизни тутъ ровно не при чемъ. А когда Успенскій говоритъ намъ, что впечатлѣніе, произведенное на него Парамономъ, осталось у него на всю жизнь, то мы объясняемъ это какъ иллюзію, какъ одно изъ яркихъ выраженій той навязчивой идеи о сродствѣ передовыхъ идеаловъ мыслящаго общества съ существомъ народнаго идеала, подъ властью которой жило, дѣйствовало, боролось и страдало поколѣніе 70-хъ годовъ. Въ примѣненіи къ данному случаю эта идея гласила, что, пусть Парамонъ невѣжественъ и теменъ, пусть онъ—явленіе архаическое, но его чистая совѣсть, его могучая вѣра, его героизмъ—огромная сила. Просвѣтите его, и эта сила получитъ иное—не юродивое—выраженіе, станетъ ра-

зумною, раціональною, прогрессивною, революціонною. Просвѣщеніе—дѣло наживное, совѣсти же не наживешь, если ея нѣтъ. Народъ, еще не испорченный „буржуазною цивилизаціей“, хранитъ остатки нравственнаго чувства, спасеннаго отъ временъ стародавнихъ, и въ этомъ—единственный вѣрный залогъ лучшаго будущаго. Это романтическое воззрѣніе было чрезвычайно распространено въ 70-хъ годахъ...

Въ поискахъ за спасенной народной совѣстью протекла вся жизнь и дѣятельность Глѣба Успенскаго, который самъ былъ воплощенная совѣсть, болѣющая за чужіе грѣхи, за общественную неправду, за искалѣченіе личности человѣческой. И по пословицѣ: что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ,—о чемъ бы ни шла рѣчь въ сочиненіяхъ Успенскаго, о нравахъ ли „Растеряевой улицы“, о „столичной ли бѣднотѣ“, о „разореніи“, о деревенскихъ порядкахъ и непорядкахъ, о „прижимкѣ“, о „купонѣ“, о „политикѣ“ и т. д.,—все это выходило не только изображеніемъ того, что есть, но также, и даже по преимуществу, исповѣданіемъ сложныхъ чувствъ и настроеній и скорбныхъ думъ художника, среди которыхъ громче другихъ звучала нота оскорбленнаго, возмущеннаго и тоскующаго нравственнаго чувства...

3.

Съ этимъ-то чувствомъ и встрѣтилъ Гл. Успенскій, какъ и многіе его современники, нарожденіе на Руси „новыхъ порядковъ“ вслѣдъ за реформами 60-хъ годовъ.

Земство, новые суды, адвокатура, банки, желѣзныя дороги, разложеніе старыхъ патріархальныхъ формъ, переходъ отъ натуральнаго хозяйства къ капиталистическому, все это сопровождалось у насъ, какъ и вездѣ, гдѣ совершался болѣе и менѣе быстро переходъ отъ старыхъ порядковъ къ новымъ, цѣлымъ рядомъ отрицательныхъ чертъ, способныхъ

обезкуражить моралиста, въ особенности такого, который не чуждъ соціальнаго романтизма.—Политикъ или экономистъ хорошо знаетъ, что при зарожденіи новаго порядка вещей по необходимости выступаютъ впередъ его несовершенства, его слабыя стороны, и не смущается зрѣлищемъ временнаго соціальнаго и нравственнаго распада. Не такъ реагируетъ на это зрѣлище моралистъ...

Ѳчерки „Разореніе" (печатавшіеся, съ конца 60-хъ годовъ, подъ заглавіями: „Наблюденія Михаила Ивановича", „Тише воды, ниже травы", „Наблюденія одного лѣнтяя") рисуютъ картину того соціальнаго и моральнаго распада, который слѣдовалъ за раскрѣпощеніемъ Руси, произведеннымъ реформами 60-хъ годовъ. Передъ нами—провинціальная, захолустная жизнь той эпохи, передъ нами—мелкіе чиновники, лавочники, мѣщане, мастеровые, захудалые помѣщики, мужики,—и весь этотъ міръ представленъ застигнутымъ врасплохъ новыми порядками и вѣяніями, взбудораженнымъ и сбитымъ съ толку. Этотъ людъ не умѣетъ оріентироваться среди новыхъ условій и то и дѣло жалуется на то, что жить стало труднѣе, что (для однихъ) прежніе способы наживы упразднились, что (для другихъ) прежняя тягота только замѣнилась новою. Въ процессѣ распада прежде всего обозначились новыя формы эксплуатаціи, къ которымъ прежніе хищники еще не успѣли приспособиться, но въ которыхъ люди, страдавшіе отъ старой „прижимки", уже провидятъ бѣдствіе хуже прежняго. Много было людей, такъ или иначе обиженныхъ новыми порядками,—и авторъ на первыхъ же страницахъ „Разоренія" вводитъ насъ въ ихъ кругъ, въ центрѣ котораго стоитъ лавочникъ Трифоновъ, изъ крѣпостныхъ. Все это люди, „потревоженные отставками, нотаріусами, адвокатами и прочими знаменіями времени" (I, 236). Тутъ и „обнищавшій отъ современности купецъ", который говоритъ „одно": „иди и ложись въ гробъ. Нонѣшнее время не по насъ. Потому нонѣшній порядокъ требуетъ

контракту, а контрактъ тянетъ къ нотаріусу, а нотаріусъ призываетъ къ штрафу!.. Намъ этого нельзя...“ (237)—Тутъ и чиновникъ Печкинъ, который говоритъ: „Ну что такое желѣзная дорога? Дорога, дорога... А что такое? Въ чемъ? Почему? Въ какомъ смыслѣ?“

Въ этомъ обществѣ одинъ только Михаилъ Ивановичъ, рабочій, у котораго произошло „просіяніе ума“ и который поэтому былъ удаленъ съ завода, составляетъ оппозицію, защищая новые порядки. „Ага! Не любишь!.. А тебѣ хочется по старинному, съ кулечкомъ къ приказному черезъ задній ходъ? Заткнулъ ему въ глотку голову сахару—и грабь?“ говоритъ онъ огорченному купцу. Михаилъ Ивановичъ не устаетъ обличать старые порядки и ихъ защитниковъ и возлагаетъ большія надежды на новые, на Питеръ и на нѣкоего Максима Петровича, живущаго въ Питерѣ.—„Пора простому человѣку дать дыханіе!“ вопитъ онъ. „Дай въ Питеръ смахать,—я покажу!“—И „чугунка“, которую проводятъ, представляется Михаилу Ивановичу какъ бы преддверіемъ новой эры: „Нѣтъ, братъ, не то время! Дай, чугунку обладятъ!“ (247)—Чугунка—его idée fixe. У него „на умѣ одна мысль, что съ открытіемъ чугунки ему совершенно необходимо съѣздить въ Петербургъ...“ (249). Тревожному ожиданію этого открытія посвящена особая глава („Въ ожиданіи чугунки“).—Михаилъ Ивановичъ—предтеча будущихъ „сознательныхъ“ рабочихъ. И въ настоящее время, когда рабочій классъ въ Россіи уже выступилъ на путь организованной классовой борьбы, когда въ немъ возникаетъ уже своя—рабочая—интеллигенція по западно-европейскому образцу,—любопытно оглянуться назадъ и ближе присмотрѣться къ „сознательному“ рабочему 60-хъ годовъ, когда положеніе рабочаго класса въ Россіи было особенно тяжело.—„Михаилъ Ивановичъ былъ человѣкъ, потерпѣвшій отъ отечественной прижимки въ тысячу разъ болѣе другихъ вслѣдствіе того несчастья, которое онъ опредѣлилъ словомъ „просіяніе ума“...“ (248)—Пре-

жде всего отмѣтимъ, что это просіяніе произошло не на фабрикѣ и не подъ вліяніемъ идейной интеллигенціи, которая бы стремилась вести пропаганду среди фабричныхъ рабочихъ. Да въ то время этой пропаганды и не было. Просвѣтилъ Михаила Ивановича кружокъ пьянствующихъ семинаристовъ, одинъ изъ которыхъ (Максимъ Петровичъ), племянникъ чиновника Черемухина (у котораго пріютился на кухнѣ безпріютный сирота Михаилъ Ивановичъ), однажды побилъ его за нѣкоторыя мошенническія продѣлки и этимъ „урокомъ" впервые пробудилъ въ немъ „нравственное чувство" и „сознаніе". Потомъ семинаристы обучили сироту грамотѣ и растолковали ему кое-что насчетъ „прижимки". Семинаристы, хотя и вели безпутный образъ жизни, но не были чужды духа протеста и освободительныхъ идей времени. Неглупый отъ природы, Михаилъ Ивановичъ, разъ получивъ „направленіе", уже самъ пошелъ дальше и, видя повсюду все ту же прижимку, знакомясь съ нею на собственномъ горькомъ опытѣ, между прочимъ—въ качествѣ фабричнаго рабочаго, превратился въ „строптиваго и непокорнаго человѣка" (246), для котораго обличеніе прижимки и выраженіе протеста стало органическою потребностью. И вотъ какъ онъ разсказываетъ о своей работѣ на заводѣ: „Въ лѣсу страшно, когда ежели громъ да молонья, а тутъ въ заводѣ еще страшнѣй. Потому въ лѣсу—дѣло Божье, непонятное, тамъ страхъ беретъ, а тутъ злость—потому видишь, изъ-за чего громъ-то идетъ, изъ-за чего молота молотятъ, ножницы раззѣваются, и нашъ простой человѣкъ не доѣстъ, не допьетъ, а въ огнѣ горитъ... Пить бы надо—слабъ! не могъ, а все больше злился, потому которыя я получилъ отъ Максима Петровича мысли, то никакимъ родомъ онѣ у меня изъ головы не выходили. Злился-злился, бѣсился-бѣсился, да однова подгулялъ и махнулъ въ арендателя камнемъ..." (246). Просидѣвъ по этому дѣлу шесть мѣсяцевъ въ тюрьмѣ, Михаилъ Ивановичъ очутился въ положеніи отверженнаго,

нигдѣ нѣтъ ему ходу, ни на какую работу его не берутъ. „Остался я одинъ“, разсказываетъ онъ. „На кого надежда? Окромѣ Максима Петровича кто жъ мнѣ защитникъ? Дай обладятъ чугунку...“—Въ ожиданіи чугунки ему удалось найти пріютъ въ помѣщичьей усадьбѣ, у скучающаго и нелѣпаго барчука Уткина.

Въ высокой степени характерна для эпохи та черта, что Михаилъ Ивановичъ оказывается въ полномъ одиночествѣ. Его горячій протестъ и проповѣдь (а онъ любитъ это дѣло) нигдѣ, ни въ комъ не встрѣчаютъ отклика и сочувствія. Ему приходится вопіять въ пустомъ пространствѣ и больше—для облегченія души. Это отмѣчено Успенскимъ съ обычнымъ юморомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ воспроизведены колоритныя рѣчи Михаила Ивановича, обращенныя въ лавкѣ Трифонова къ мѣшку съ капустой или въ кабакѣ—къ затылку спящаго цѣловальника. И чѣмъ меньше встрѣчаетъ онъ вниманія къ своимъ рѣчамъ, тѣмъ горячѣе становятся эти рѣчи, переходя въ вопль наболѣвшей души, въ проклятья всему порядку вещей, основанному на всеобщей прижимкѣ.—„Съ этого съ голоду-то и родители наши помирали, и сиротами мы оставались“, вопитъ онъ въ кабакѣ передъ спящимъ кабатчикомъ, „вотъ оно что, другъ ты мой, купидонъ, дубина стоеросовая, рыжій чортъ!“—„Безмолвствующій затылокъ не слышитъ этихъ ругательствъ, и Михаилъ Ивановичъ можетъ безпрекословно срывать на немъ свой гнѣвъ и дѣлиться своими обидами съ мертвой тишиной пустыннаго кабака“ (241). Надо думать, въ тѣ годы такихъ Михаиловъ Ивановичей не могло быть много, но исподоволь они появлялись въ разныхъ мѣстахъ. Во всякомъ случаѣ, сколько бы ихъ ни было, они вездѣ и всегда были одиноки. Одиночество входило, какъ черта, въ содержаніе типа. Объединить этихъ протестантовъ была еще безсильна тогдашняя фабрика. Извѣстно, что организація рабочаго класса становится возможною только на извѣстномъ уровнѣ разви-

тія капиталистическаго производства и что, при его низкомъ уровнѣ, даже заранѣе готовыя организаціи архаическаго типа, въ родѣ нашихъ артелей, ничуть не способствуютъ пробужденію классоваго сознанія и умственному развитію рабочихъ, безъ чего невозможно ихъ объединеніе [1]).

Крайне ничтожный откликъ встрѣчаютъ проповѣди Михаила Ивановича и въ рабочей средѣ, какъ это видно изъ великолѣпной сцены (въ кабакѣ), гдѣ нѣсколько человѣкъ фабричныхъ рабочихъ ведутъ бесѣду о томъ, что хозяинъ (изъ новыхъ, „просвѣщенныхъ") обѣщалъ имъ надбавку и подарилъ имъ какіе-то календари. Кромѣ того, онъ пилъ съ ними чай и упрекалъ ихъ въ томъ, что они потеряли образъ человѣческій, что у нихъ стыда нѣтъ. Михаилъ Ивановичъ говоритъ имъ по этому поводу: „Теперича у тебя стыда нѣту, и то ты котлы въ кабакъ таскаешь; а какъ стыдъ у тебя будетъ—ты и совсѣмъ пропьешься. Теперь и безъ стыда ты пужливъ... А со стыдомъ ты еще пужливѣе будешь..." и т. д. И разъясняетъ имъ, что ихъ молодой хозяинъ по части прижимки нисколько не уступитъ старому. Эти объясненія, на первый взглядъ, какъ будто встрѣчаютъ пониманіе и сочувствіе со стороны рабочихъ („это, братъ, ты вѣрно!"), но только ничего изъ этого не выходитъ,—и Михаилъ Ивановичъ, убѣдившись, что и тутъ онъ вопіетъ понапрасну, „ушелъ изъ кабака, не сказавъ никому ни сло-

[1]) Говоря такъ, я имѣю въ виду тотъ родъ артелей, о которомъ въ свое время говорилъ Тургеневъ (въ письмѣ къ Герцену отъ 13 декабря 1867 г.) слѣдующее: „...что до артели—я никогда не забуду выраженіе лица, съ которымъ мнѣ сказалъ въ нынѣшнемъ году одинъ мѣщанинъ: „кто артели не знавалъ, не знаетъ петли". Не дай Богъ, чтобы безчеловѣчно эксплуататорскія начала, на которыхъ дѣйствуютъ наши артели, когда-нибудь примѣнялись въ болѣе широкихъ размѣрахъ: „Намъ въ артель его не надыть: человѣкъ онъ хоша не воръ,—безденежный и поручителевъ за себя не имѣетъ, да и здоровьемъ не надеженъ—на какой его намъ лядъ!"— Эти слова можно услышать сплошь да рядомъ: далеко, какъ изволишь видать, до fraternité или хоть до Шульце-Деличевской ассоціаціи".

ва“. „Такія сцены наполняли безнадежностью душу Михаила Ивановича...“ (254, курсивъ мой).

Единственнымъ утѣшеніемъ для него осталось—злорадствовать при видѣ обнищанія тѣхъ, отъ которыхъ еще недавно шла прижимка „простому человѣку“. Онъ отводитъ душу у старухи Арины, бывшей крѣпостной, а теперь занимающейся ростовщичествомъ въ городѣ. Арину Михаилъ Ивановичъ за это не жалуетъ, но приходитъ къ ней—потѣшиться „созерцаніемъ обнищавшаго благородства“ (258).

Что это за „благородство“, видно изъ главы III („Разоренные“), гдѣ описано прошлое и настоящее рода Черемухиныхъ и Птицыныхъ. Передъ нами—рядъ ярко-типичныхъ картинъ переходного времени, когда реформы 60-хъ годовъ произвели цѣлую революцію въ бытовыхъ отношеніяхъ провинціи, положивъ конецъ грубому хищничеству и взяточничеству разныхъ Черемухиныхъ, Птицыныхъ и ихъ многочисленной родни, руководившихся завѣтомъ глухой бабушки, „умѣвшей говорить только одну фразу: въ карманъ-то, въ карманъ-то норови поболѣ“ (258). Передъ нами вовсе не тотъ слой помѣстнаго дворянства, изъ среды котораго въ 30—40 годахъ выходилъ цвѣтъ тогдашней интеллигенціи. Передъ нами какіе-то совсѣмъ другіе люди, можетъ быть, того же дворянскаго происхожденія, но, по своей некультурности, по отсутствію какихъ бы то ни было просвѣтительныхъ началъ, по дикимъ нравамъ, стоящіе на уровнѣ невѣжественнаго чиновничества, темнаго купечества и мѣщанства дореформеннаго времени. Умственный и моральный обиходъ этой среды въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ уступаетъ даже соотвѣтственному обиходу гоголевскихъ типовъ первой части „Мертвыхъ душъ“ (не говоря уже о типахъ второй части) или героевъ Писемскаго, напр., въ „Тюфякѣ“ и другихъ повѣстяхъ, рисующихъ бытъ и нравы дореформенной провинціи. Черемухины, Птицыны и прочіе, въ изображеніи Успенскаго,—не просто темные, невѣжественные, нравственно-огрубѣлые

люди, это—нравственные и умственные банкроты, это—представители физически и психически выродившагося поколѣнія, которое при первыхъ же лучахъ свѣта сразу захирѣло и оказалось безсильнымъ въ борьбѣ за существованіе при новыхъ условіяхъ. Въ цвѣтущее время, когда эти семьи составляли „одно лихоимное гнѣздо", одинъ „полипъ" и благоденствовали, внѣшній обиходъ ихъ жизни являлъ картину „идиллическихъ нравовъ": о грабежѣ не говорили такъ громко, какъ говорила глухая бабушка, ибо грабежъ шелъ своимъ порядкомъ („всѣ представители гнѣзда понимали на этотъ счетъ втрое болѣе бабушки"), за то „толковали объ отвлеченныхъ предметахъ, о душѣ, о царствіи небесномъ; ходили къ обѣднѣ, пили, спали, цѣловали другъ у друга ручки, дѣлились добычей поровну, пьянствовали, родили, крестили и среди этой нечеловѣческой атмосферы растили дѣтей..." (259). Въ сущности это—такая же среда, какая изображена въ „Нравахъ Растеряевой улицы", съ тою лишь разницей, что тамъ—мелкота и бѣднота, а здѣсь—воротилы, хищники, чиновники-взяточники, выбившіеся въ люди грабежомъ и пролазничествомъ. Все благополучіе „гнѣзда" основывалось на успѣхахъ по службѣ. Его родоначальникъ (Птицынъ) былъ переведенъ изъ другой губерніи на теплое мѣсто и отличенъ за „рвеніе и энергію". Это—фигура не гоголевская, а щедринская.

Итакъ, передъ нами среда выслужившихся и разжившихся чиновниковъ. Ко времени, къ которому относится разсказъ, отъ ихъ богатства и силы остались одни воспоминанія. Все пошло прахомъ. Старикъ Птицынъ лежитъ въ параличѣ. Послѣ войны и „обличеній" „гнѣздо" распалось и угасаетъ въ безсильной злобѣ, взаимныхъ попрекахъ, безплодныхъ жалобахъ. „Идиллія" кончилась... Рядъ подробностей о загубленной жизни младшихъ представителей разореннаго гнѣзда довершаетъ удручающую картину психическаго убожества этой среды...

Въ главѣ X („Человѣкъ, на котораго нельзя положиться. Разсказъ Черемухина“) мы ближе знакомимся съ однимъ изъ младшихъ отпрысковъ захудалаго рода Черемухиныхъ—Василіемъ Андреевичемъ, проживающимъ въ Петербургѣ. Это—добрый и неглупый малый, нечуждый отзывчивости на все хорошее, въ томъ числѣ на новыя идеи времени. Но это—человѣкъ пропащій, безвольный, безпутный, „на котораго нельзя положиться“.—Вотъ что въ своемъ длинномъ разсказѣ-исповѣди говорилъ онъ Михаилу Ивановичу (который, наконецъ, попалъ-таки въ Питеръ, гдѣ и отыскалъ Черемухина, того Васю, которому онъ нѣкогда разсказывалъ сказки, проживая на кухнѣ у его родителей): „...ни мой отецъ, ни моя мать не могли ни однимъ словомъ, ни однимъ поступкомъ заронить въ мою душу первыя сѣмена того, чего теперь у меня такъ безконечно мало! И именно потому, что жили припѣваючи... Твой отецъ, общипанный купцомъ, ограбленный кабатчикомъ, возвратясь домой, чтобы вмѣстѣ съ тобой глодать, какъ ты говоришь, собачью кость, растилъ въ тебѣ эти добрыя сѣмена своимъ разсказомъ. Ты учился уважать трудъ, учился любить ограбленнаго отца, и—посмотри—сколько ты накопилъ въ своемъ сердцѣ и любви, и справедливой ненависти, и прочнаго убѣжденія... Ты—настоящій человѣкъ. У меня, братъ, ничего этого не было...“ (318). Василій Андреевичъ говоритъ далѣе, что нужно еще удивляться, какъ онъ не вышелъ „прямо разбойникомъ“. По его признанію, если онъ не сдѣлался негодяемъ, а только вышелъ слабовольнымъ. душевно-хилымъ человѣкомъ, то такимъ сравнительно благопріятнымъ исходомъ онъ обязанъ добрымъ сѣменамъ, зароненнымъ въ его душу простыми людьми,—нянькой, солдатомъ-сапожникомъ, тѣмъ же Михаиломъ Ивановичемъ. Они одни сумѣли пробудить въ ребенкѣ хорошія чувства сказкой, добрымъ словомъ, добрымъ человѣческимъ отношеніемъ. Если въ немъ есть что-нибудь хорошее, то оно идетъ отъ народа, оно—моральный даръ про-

стыхъ людей. Но этотъ даръ оказался недостаточнымъ, чтобы исправить наслѣдственную порчу. Время же предъявляло большія требованія. Чтобы итти имъ навстрѣчу, человѣку нужно было обладать большой выдержкой, нравственнымъ закаломъ, силой убѣжденія, трудоспособностью. Ничего этого Черемухинъ въ себѣ не находитъ. Онъ признаетъ свою душевную нищету, свое психическое банкротство. Сравнительно съ величиною душевнаго капитала, какой требуется условіями времени, моральный даръ народа, до извѣстной степени оздоровившій больную душу Черемухина, представляется ему „заржавленнымъ грошомъ". И, кромѣ этого народнаго гроша, ничего за душой нѣтъ у него. Добрыя намѣренія, порывъ къ дѣлу у него есть, но онъ чувствуетъ, что у него „не за что внутри держаться хорошему намѣренію, нѣтъ правды, нѣтъ любви, нѣтъ силы убѣжденія!" (321).

И, понятно, всѣ упованія, какія въ своей наивности возлагалъ на хлопоты Черемухина Михаилъ Ивановичъ, пріѣхавшій въ Питеръ искать правды и защиты отъ „прижимки", оказались тщетными. Михаилъ Ивановичъ глубоко разочаровался въ Черемухинѣ, а тотъ Максимъ Петровичъ, отъ котораго Михаилъ Ивановичъ нѣкогда впервые получилъ „просіяніе своего ума", оказался лицомъ совершенно „фантастическимъ". О немъ авторъ не сообщаетъ никакихъ свѣдѣній, кромѣ того, что Михаилу Ивановичу не удалось напасть на его слѣдъ. Этотъ человѣкъ, повидимому, не чета безпутному и слабому Василію Андреевичу, былъ да сплылъ, исчезъ, какъ тѣнь, какъ сонъ, и быльемъ поросъ. И остался Михаилъ Ивановичъ попрежнему одинокимъ, безъ поддержки, безъ руководительства... И въ то время всѣ такіе Михаилы Ивановичи, живо и скорбно чувствуя свое сиротство, конечно, не разъ задавали себѣ недоумѣнный вопросъ: долго ли еще продлится на Руси это одиночество, эта безпомощность простого человѣка, случайно получившаго „просіяніе ума", но рѣшительно не знающаго, куда толкнуться, въ ка-

кія двери стучать, гдѣ найти поддержку и вообще „что дѣлать“?

4.

Вопросъ „что дѣлать?“ въ тѣ годы задавала себѣ и передовая интеллигенція. Напряженно искала она отвѣта на него и, наконецъ, нашла. Отвѣтъ гласилъ: идти въ народъ, чтобы произвести тамъ „просіяніе народнаго ума“, и въ надеждѣ встрѣтить тамъ не мало Михаиловъ Ивановичей, которые откликнутся на проповѣдь самоотверженныхъ дѣятелей на нивѣ народной, новыхъ апостоловъ идеала соціальной справедливости и свободы.

Въ дальнѣйшемъ мы коснемся нѣкоторыхъ чертъ въ развитіи этой народнически-соціалистической идеологіи передовыхъ людей 70-хъ годовъ. А теперь посмотримъ, какъ отразились въ сочиненіяхъ Успенскаго попытки болѣе широкаго круга интеллигенціи сближаться съ народомъ, наблюдать его жизнь, изучить его міросозерцаніе и по мѣрѣ силъ и умѣнія содѣйствовать подъему его благосостоянія, его просвѣщенію и, наконецъ, сливаться съ нимъ, дабы найти для самихъ себя духовное пристанище и успокоеніе тревогъ и укоровъ совѣсти. Здѣсь передъ нами —не боевой авангардъ интеллигенціи, не подвижники революціи, не апостолы соціализма, а та болѣе широкая среда интеллигенціи, состоявшая большею частью изъ кающихся дворянъ и разночинцевъ, которая, стихійно тяготѣя къ народу, къ народному идеалу, искала на этомъ пути рѣшенія не столько „соціальной проблемы“, сколько своей личной моральной задачи, той самой, въ которой Н. К. Михайловскій видѣлъ „работу совѣсти“ въ отличіе отъ „работы чести“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснится намъ и роль самого Глѣба Успенскаго въ постановкѣ и разработкѣ этого общественно-психологическаго вопроса, занимающаго столь видное мѣсто въ исторіи русской интеллигенціи за послѣднюю четверть XIX вѣка.

ГЛАВА VII.

Глѣбъ Успенскій въ 70-хъ годахъ. Интеллигенція и народъ.

1.

Народническое движеніе, зачинавшееся въ 60-хъ годахъ, обострилось въ 70-хъ и перешло, такъ сказать, отъ словъ къ дѣлу. Передовая интеллигенція стремилась найти себѣ живую, осмысленную и плодотворную дѣятельность среди народа. Для этого считалось необходимымъ порвать связи съ высшими классами, съ городомъ, съ „искусственною цивилизаціей", со всѣми привычками и со всѣмъ обиходомъ жизни образованнаго общества, „опроститься". Опыты въ этомъ родѣ вскорѣ показали, что это дѣло, трудное, почти невыполнимое для однихъ, было очень простымъ и легкимъ для другихъ, но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ оказалось въ концѣ концовъ безплоднымъ и излишнимъ самопожертвованіемъ.

Тѣ, которые „шли въ народъ", движимые глубокою, всепоглощающею вѣрою во всемогущество соціалистическаго идеала, отрекались „отъ міра" съ тою легкостью, съ какою нѣкогда дѣлали это первые христіане. Это были натуры исключительныя, хотя въ то время (около половины 70-хъ годовъ) ихъ было не мало, натуры психологически-

религіозныя, несмотря на индифферентизмъ въ области внѣшней, обрядовой и традиціонно-догматической религіи. У нихъ была своя догма, своя вѣра, силою которой эти люди легко и быстро отрекались отъ всѣхъ благъ и приманокъ жизни, жертвовали всѣмъ и шли къ высокой цѣли съ прямолинейностью фанатиковъ. Другое дѣло—всѣ тѣ, которые не могли религіозно воспринять „новое евангеліе" народническаго соціализма и шли въ народъ движимые иными, не столь „религіозными", побужденіями. Для такихъ друзей народа и дѣятелей прогресса отреченіе отъ цивилизованной среды было дѣломъ очень труднымъ, „бременемъ неудобоносимымъ". Они были мучениками и жертвами своей идеи, и, какъ ни старались они „опроститься" и „порвать всѣ связи" съ привиллегированной средой, связи все-таки оказывались непорванными,—и въ глазахъ народа такой опростившійся интеллигентъ являлся все тѣмъ же „бариномъ", въ лучшемъ случаѣ „добрымъ бариномъ" или „бариномъ-чудакомъ".

Этой-то темѣ и посвятилъ Успенскій очерки „Непорванныя связи", гдѣ глава II, озаглавленная „Чудакъ-баринъ", рисуетъ намъ картину печальныхъ недоразумѣній, фатально возникавшихъ между крестьянами и идейными народниками этого типа.

„Добрый баринъ" Михаилъ Михайловичъ явился въ деревенскую глушь (Новгородской губерніи) „въ увѣренности, что онъ порвалъ связи какъ съ своимъ семействомъ, такъ и съ городскимъ обиходомъ жизни, съ своекорыстнымъ употребленіемъ своего капитала, знанія и т. д." (Соч. т. II, стр. 189). Имъ руководило чисто-идеалистическое стремленіе устроить свою жизнь на новыхъ началахъ—такъ, „чтобы каждый кусокъ хлѣба, который попадаетъ ему въ ротъ, не пахнулъ чужимъ трудомъ, чужимъ потомъ" (189). Онъ хочетъ жить по-мужицки, работать надъ землею собственными руками. Онъ не утопистъ, не революціонеръ. Его программа

далека отъ идей народническаго—революціоннаго—соціализма и исчерпывается задачами культурной и просвѣтительной дѣятельности: онъ „былъ совершенно увѣренъ", что среди крестьянъ найдутся люди, „которые всецѣло не только поймутъ, но и разовьютъ его мысли", и что онъ, совмѣстно съ другими, его единомышленниками, положитъ начало возрожденію края, научитъ крестьянъ вести раціональное хозяйство и устроить жизнь на новыхъ началахъ. Въ немъ крѣпко сидитъ убѣжденіе (къ которому Успенскій относится съ явною ироніей), что самъ крестьянинъ „непремѣнно долженъ питать ненасытную жажду устроить жизнь по-новому" (тамъ же). Нужно только осмыслить эту жажду, прояснить народный идеалъ и помочь народу своими знаніями и матеріальными средствами. Михаилъ Михайловичъ уповалъ, что крестьяне встрѣтятъ его съ распростертыми объятіями, поймутъ и оцѣнятъ по достоинству его самоотверженность... Но онъ ошибся: „увы!—народъ никоимъ образомъ не могъ простить Михаилу Михайловичу ни капли изъ прошлаго, потому что прошлое было крѣпостное, какъ не могъ забыть и своего крѣпостного прошлаго. Этотъ крѣпостной опытъ крестьянъ съ одной стороны, и съ другой—то, что Михаилъ Михайловичъ былъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ баринъ, и сокрушило и планы, и деньги Михаила Михайловича безъ остатка" (189).

Затѣя Михаила Михайловича не была, какъ сказано выше, утопическою. Но она была, что еще хуже, фантастическою и свидѣтельствовала о совершенной непрактичности, о неумѣніи взяться за дѣло. Эта практическая неумѣлость Михаила Михайловича выразилась, во первыхъ, въ неспособности считаться съ природными условіями края и наличностью средствъ и силъ и, во-вторыхъ, въ легкомысленномъ отношеніи къ исторически сложившейся народной психологіи. Выбралъ онъ мѣстность болотистую (новгородскія „лядины") и затѣялъ основать на пустырѣ

идеальную ферму. Среди захудалаго населенія, деморализованнаго недавнимъ крѣпостничествомъ и экономически безсильнаго, онъ задумалъ создать народно-интеллигентную общину „на новыхъ началахъ". Дѣло требовало большой затраты матеріальныхъ и нравственныхъ силъ. Ни тѣхъ, ни другихъ у него не было въ той мѣрѣ, какая была бы нужна для того, чтобы превратить дикую болотную заросль въ культурное хозяйство и на исторической русской трясинѣ основать американскую общину. Мѣстные крестьяне хорошо понимали, что изъ этой затѣи ничего не выйдетъ, но, по давнишней привычкѣ, поддакивали барину и, слушая однимъ ухомъ его разсужденія, неизмѣнно отвѣчали: „само собой", „одно слово", „чего лучше" и т. д., благо баринъ дѣйствительно былъ добрый и сорилъ деньгами. Михаилъ Михайловичъ, который вовсе не хотѣлъ быть бариномъ и воображалъ, что уже опростился и сталъ „піонеромъ", даже не замѣчалъ, что ведетъ себя по-барски и что мужики такъ и смотрятъ на него, какъ на барина, къ тому же чудаковатаго. „Если бы Михаилъ Михайловичъ въ это время не былъ помѣшанъ на своихъ фантазіяхъ, то онъ и теперь же могъ услышать изъ устъ своихъ крестьянъ-сотоварищей (такъ онъ думалъ) нѣчто, потрясающее всѣ его иллюзіи. Такъ, одобряя и соглашаясь, нѣкоторые изъ крестьянъ проговаривались весьма неосторожно, вставляя что-нибудь въ родѣ: „мы завсегда хорошимъ господамъ съ охотой готовы... Что нашихъ силъ... Для господъ..." Но Михаилъ Михайловичъ въ эту пору никого и ничего не слыхалъ, занятый новымъ дѣломъ, какъ и мужики не слышали, что онъ толкуетъ, занятые своимъ старымъ"[1] (II, 191).

Дѣло кончилось тѣмъ, что Михаилъ Михайловичъ, наконецъ, замѣтилъ, что въ немъ невольно и все явственнѣе

[1]) Курсивъ мой.

проступаетъ „неприкрашенный баринъ“, который „приказываетъ“ и „командуетъ“, и что, соотвѣтственно этому, и въ мужикѣ „сталъ навстрѣчу барину выступать неприкрашенный рабъ“. Онъ замѣтилъ и то, что мужики его обманываютъ и беззастѣнчиво эксплоатируютъ, не придавая никакой вѣры его словамъ, никакого значенія его предпріятію. Михаилъ Михайловичъ разочаровался, опустился, запилъ, ожесточился на мужиковъ, просадилъ всѣ деньги и— исчезъ, оставивъ по себѣ память добраго и щедраго баринa-чудака.

2.

Я не знаю, придумана ли фабула очерка или прямо взята изъ дѣйствительности. Послѣднее представляется мнѣ болѣе вѣроятнымъ. Но и въ такомъ случаѣ нельзя смотрѣть на очеркъ, какъ на воспроизведеніе частнаго случая, не представляющаго ничего типичнаго. Затѣя Михаила Михайловича въ своихъ существенныхъ чертахъ и въ особенности со стороны психологіи героя должна быть признана весьма характерною для того времени и для большинства, если не для всѣхъ предпріятій этого рода. Другой „піонеръ“ могъ выбрать мѣстность болѣе удобную, могъ оказаться практичнѣе, но суть дѣла и его исходъ были бы все тѣ же. Успенскій прямо говоритъ, что „въ то далекое время попытокъ въ подобномъ родѣ, какъ извѣстно, было великое множество...“ (195). Выраженіе „въ то далекое время“ не должно вводить насъ въ заблужденіе: это, такъ сказать, гипербола, указывающая только на быстроту, съ которою прогорѣли и отошли въ прошлое всѣ такіе опыты, оставивъ послѣ себя впечатлѣніе чего-то пережитаго, что было и быльемъ поросло.

Здѣсь же Успенскій, въ оправданіе Михайловъ Михайловичей, говоритъ, что „во всякомъ случаѣ источникъ, изъ котораго шли фантазіи, былъ чистъ“, а неудача затѣй была

неизбѣжна, потому что не могли же Михайлы Михайловичи „такъ скоро порвать узъ и путь прошлаго", именно—барскаго и крѣпостническаго прошлаго. Эта мысль, выраженная въ самомъ заглавіи („Непорванныя связи"), и составляетъ основную идею очерка.

Отъ барина Успенскій переходитъ къ мужику (глава III, „Подгородный мужикъ") и, указавъ на „непорванныя связи", мѣшавшія первому стать культурнымъ піонеромъ на американскій ладъ, говоритъ, что тѣмъ болѣе сильна власть прошлаго надъ мужикомъ. Надъ нимъ тяготѣетъ тяжесть всѣхъ 26-ти томовъ исторіи Соловьева, какъ образно выражается Успенскій (въ двухъ предшествующихъ главахъ). „Сколько наросло на немъ и вокругъ него, и подъ ногами, и сверху, и снизу,—словомъ, и въ немъ, и внѣ его—всякой дичи, паутины! Сколько валяется по пути его развитія всякаго гнилья, гнилья столѣтняго, обомшѣлаго, которое путаетъ, сбиваетъ съ толку и пути!" (195).

Это иллюстрируется рядомъ чертъ, сгруппированныхъ въ этой главѣ и рисующихъ глубокую порчу народнаго быта, характера и міровоззрѣнія,—порчу, произведенную тяжелымъ прошлымъ и являющуюся въ настоящемъ непреодолимымъ препятствіемъ для успѣха всякихъ опытовъ въ родѣ описаннаго выше.

Но сперва Успенскій высказываетъ еще одно соображеніе, клонящееся къ тому, чтобы заранѣе отпарировать возраженіе, что въ данномъ случаѣ „порча" можетъ объясняться близостью столицы, что „испорченъ" собственно „пригородный мужикъ", между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ, „во глубинѣ Россіи", живетъ народъ, сохраняющій въ чистотѣ стародавнія понятія и нравы, не искаженные вліяніемъ наносной, чуждой народному духу цивилизаціи. Принято думать (говоритъ Успенскій), что пригородный мужикъ —не настоящій крестьянинъ. Это ошибка. Вездѣ есть города, откуда идутъ аналогичныя вліянія на народную жизнь.

Разница только въ степени этихъ вліяній. Суть дѣла—все та же, и „подгородный мужикъ“ и есть самый настоящій, типичный мужикъ, который гораздо полнѣе и ярче представляетъ собою многовѣковую судьбу крестьянства, чѣмъ мужикъ, живущій въ медвѣжьихъ углахъ, еще мало доступныхъ вліянію городскихъ центровъ. Именно здѣсь, въ Новгородской губерніи, гдѣ производилъ свои наблюденія Успенскій, и слѣдуетъ, по его мнѣнію, искать „настоящаго русскаго мужика“, который бы „въ самомъ дѣлѣ олицетворялъ собою всѣ 26 томовъ Соловьева“ (тамъ же). „Для всесторонняго наблюденія и изученія“ народнаго быта и прихологіи, какъ они сложились вѣками исторической жизни Россіи, нѣтъ лучшаго мѣста, ибо именно здѣсь мужикъ „жилъ такъ, какъ обозначено въ 26 томахъ“, „здѣсь онъ гнѣздился на лядинахъ..., видѣлъ и аракчеевщину, и холеру, и крѣпостное право“, здѣсь же онъ „понатерся въ той цивилизаціи, которая идетъ и ѣдетъ на деревню...“ (195).

И слѣдующія за симъ страницы, написанныя съ обычнымъ мастерствомъ діалога и анализа, устанавливаютъ глубоко-печальный выводъ, что въ народной психикѣ остался трудно истребимый слѣдъ крѣпостныхъ навыковъ, что мужику, вѣками жившему въ кабалѣ и крѣпостной зависимости отъ природы, отъ своего же общества, отъ государства, отъ помѣщиковъ, чужда идея свободы и самоцѣнности личности человѣческой, что его понятія насквозь проникнуты рабскими и крѣпостными инстинктами. Безчеловѣчность этихъ крестьянскихъ понятій еще ярче оттѣняется мастерскимъ воспроизведеніемъ той наивности, съ какою они высказываются.

Къ зажиточному крестьянину Демьяну Ильичу приходитъ бѣдный мужикъ, отставной солдатъ, въ сопровожденіи мальчика. Онъ продаетъ яйца и курицу, а кстати предлагаетъ „купить“ и мальчика, потомъ дѣвочку, оставшуюся дома, наконецъ — самого себя. Договоръ найма сбивается здѣсь на

родъ купли-продажи. Нѣтъ сомнѣнія, дѣвочка, которую Демьянъ Ильичъ „купилъ“ за куль муки, будетъ у него въ настоящей кабалѣ. Приведемъ отрывокъ изъ „дѣлового“ разговора. Продавъ яйца и курицу, солдатъ спрашиваетъ: „А вотъ что, Демьянъ Ильичъ, не возьмешь ли у меня мальчонку? — Какого? — А вотъ! — проговорилъ солдатъ, кивнувъ на мальчика. — Не подойдетъ ли онъ тебѣ въ пастухи? — Демьянъ Ильичъ поглядѣлъ на мальчика и сказалъ: — Мнѣ твой мальчикъ дорогъ будетъ...— Чѣмъ же? Полтора куля всего-то...— Дорогонько...— Дорого? — переспросилъ солдатъ и, подумавъ, сказалъ: — Ну, а дѣвчонка не подойдетъ ли? Есть у меня постарше этого мальчонки на годъ — ничего, дѣвчонка проворная. Она не подойдетъ ли насчетъ скотины? — Куль! — сказалъ Демьянъ Ильичъ, — такъ и быть... Ты знаешь, не изъ чего мнѣ расходствовать. — Это намъ извѣстно. Куль, говоришь? Что жъ, я согласенъ, только ужъ дай мнѣ записку сейчасъ къ Завинтилову. Хлѣбомъ-то больно бьемся...— Это можно,— сказалъ Демьянъ Ильичъ. — Ну, а ужъ насчетъ мальчонки, видно, придется мнѣ рядиться съ Завинтиловымъ...“

Этотъ Завинтиловъ („изъ третьяго сословія“, рекомендуетъ его Успенскій), очевидно,— мужикъ прижимистый, настоящій деревенскій кулакъ. Не то — Демьянъ Ильичъ: онъ — добрый крестьянинъ, съ которымъ всегда можно поладить. Это — благородный типъ, какъ въ свою очередь и солдатъ — мужикъ хорошій, вовсе не „испорченный“ солдатчиною и „цивилизаціей“. Оба — типичные русскіе крестьяне. Нанявшись, т. е. въ сущности продавшись, колоть дрова, солдатъ разговорился о себѣ, о своихъ дѣлахъ. Онъ не жалуется на судьбу, — только одна бѣда у него: старуха захворала. Солдатъ очень огорченъ, ибо — „изъ рукъ дѣло одно ушло задарма... Стирка у господъ... Рубля два, глядишь, и нѣтъ. А то у меня все слава Богу!—говоритъ онъ.—Не гуляемъ. У меня всѣ при добывкѣ. И самъ, и старуха, и ребята— всѣ дѣйствуютъ...“

Упоминаніе о захворавшей старухѣ наводитъ Успенскаго на размышленія о томъ, какъ вообще относится народъ къ старикамъ, неспособнымъ работать и являющимся обузою въ трудовой семьѣ. Эти отношенія отчасти напоминаютъ то, что намъ извѣстно о дикаряхъ, убивающихъ стариковъ или бросающихъ ихъ на произволъ судьбы. То, что говоритъ здѣсь Успенскій, ярко оттѣняетъ точку зрѣнія, на которой онъ стоялъ, въ противоположность другимъ — правовѣрнымъ — народникамъ. Въ одной газетѣ ему попалась статья, гдѣ былъ приведенъ „цѣлый рядъ наблюденій", показывающихъ крѣпость и живучесть общинныхъ порядковъ. Въ числѣ доказательствъ приводилось тамъ и то, что крестьяне, выкупая свои надѣлы, охотно оставляютъ ихъ въ общемъ владѣніи. Въ числѣ фактовъ этого рода оказался и такой, въ которомъ зоркій глазъ Успенскаго сразу усмотрѣлъ нѣчто огорчительное, чего не разглядѣлъ авторъ газетной статьи, — этотъ фактъ произвелъ на Успенскаго „вовсе не то впечатлѣніе, на которое разсчитывалъ авторъ" (200). Дѣло въ томъ, что участокъ былъ выкупленъ „сыномъ для престарѣлаго отца". По діагнозу Успенскаго, это хорошо рекомендуетъ сына, но очень плохо аттестуетъ общину. Ибо весь секретъ въ томъ, что, если бы сынъ (не жившій въ деревнѣ) не выкупилъ участка, то 60-тилѣтній отецъ его, уже неспособный нести мірскія повинности, былъ бы лишенъ земли и остался бы нищимъ. Сынъ же, „уже противъ воли мірскихъ порядковъ, поставилъ его въ невозможность умереть съ голоду". Успенскій кончаетъ такъ: „И что же это за порядки, когда человѣкъ проработалъ почти 60 лѣтъ, при чемъ чисто мірской работы было передѣлано его руками многое множество, выбившись изъ силъ, можетъ разсчитывать только на то, что міряне придутъ къ его одру и скажутъ: — Ну, старичекъ господній, силовъ у тебя нѣту, платить въ казну тебѣ не въ моготу, приходится тебѣ, старичку пріятному, пожалуй что и слѣзать съ земли-то...

Сколько разъ намъ приходилось слышать выраженія, обращенныя къ старику, къ старухѣ:

— А ужъ пора тебѣ, старичекъ или старушка, помирать... Право! — Пора, пора, родной!.. — Да право! Ну что тебѣ за жизнь? Пожила, вѣдь, на свѣтѣ — ну... и перестань... Чего ворчать-то попусту? — Охъ, перестану, перестану скоро!.. — Право такъ! Перестала бы, вотъ бы и было все честь честью, по-пріятному... А то чего застишь? (201).

Эта черта народной психологіи такъ занимаетъ Успенскаго, что онъ, не довольствуясь вышеприведеннымъ, разсказываетъ и комментируетъ еще одинъ эпизодъ въ томъ же родѣ. Пріѣхавъ однажды зимою въ глухой монастырь (въ тѣхъ же краяхъ), Успенскій зашелъ въ избушку — родъ пріюта для больныхъ и нищихъ. Тамъ онъ увидѣлъ глубокаго старика, который видимо находился уже при послѣднемъ издыханіи. Завѣдующая пріютомъ женщина объяснила, что этому старику 130 лѣтъ и что дѣти и внуки (тѣ и другіе — также глубокіе старики) выгнали его изъ дому и даже изъ села — за дряхлостью и неработоспособностью. И Глѣбъ Успенскій пишетъ: „Картина, нарисованная старухою, была поистинѣ грандіозна. Представьте себѣ деревенскую улицу, по которой цѣлая толпа столѣтнихъ и восьмидесятилѣтнихъ старцевъ гонитъ также старца, родоначальника всей фамиліи, гонитъ жердью, гонитъ за то, что человѣкъ „объѣлъ", что неизвѣстно, когда же прекратится, наконецъ, эта праздная ѣда?..." (202). Ниже „грандіозная картина" какъ будто смягчается поясненіями одного стараго крестьянина, который говоритъ, что краски тутъ сильно сгущены и что 130-тилѣтній старецъ, выгнанный изъ дому, самъ виноватъ: не умѣлъ ужиться. Въ противовѣсъ этому, старый крестьянинъ приводитъ въ примѣръ себя: онъ уже на покоѣ и добровольно передалъ все хозяйство сыну; послѣдній его не обижаетъ, кормитъ, поитъ и выдаетъ по праздникамъ по 15 коп. на вино; самъ онъ зато исполняетъ

кое-какія мелкія работы. Такимъ образомъ, въ семьѣ миръ и согласіе, и никто не помышляетъ о томъ, чтобы выгнать старика. „А коли начнешь (говоритъ онъ) мутить да чваниться, да привередничать, да чужое дѣло портить, такъ и впрямь тебя вонъ надо гнать...“ Слѣдовательно, фактъ и, такъ сказать, принципъ изгнанія стариковъ не опровергаются. И это внушаетъ Успенскому слѣдующія строки: „Возможность существованія легенды о томъ, какъ сынъ прогналъ отца, возможность даже помощью ея распускать о себѣ хорошую молву невольно говорила о томъ, что въ деревенскихъ порядкахъ не все хорошо и благополучно“ (205).

Этотъ печальный выводъ тутъ же находитъ новое подтвержденіе — изъ устъ все того же старика, уступившаго хозяйство сыну. А именно, старикъ разсказалъ одинъ эпизодъ, изъ котораго Успенскій съ изумленіемъ узналъ, что покупка людей, столь беззастѣнчиво практиковавшаяся помѣщиками при крѣпостномъ правѣ, практиковалась иногда и крестьянами и казалась имъ дѣломъ нормальнымъ, въ порядкѣ вещей. — „И господа мужиковъ продавали и покупали“, повѣствуетъ старикъ, „*да и мужики тоже народъ покупывали...*“ [1]).

И здѣсь Успенскій, воспроизведя разсказъ старика, пишетъ одну изъ тѣхъ страницъ, которыя навсегда останутся въ русской литературѣ.

Дѣло было давно, при крѣпостномъ правѣ. Сыну разсказчика грозила рекрутчина. Отецъ, мужикъ зажиточный, купилъ охотника за 3000 руб. Какъ водится, пришлось возить по трактирамъ, угощать, поить. — „Чего стоило — страшно и вымолвить! Только какъ окончилось все это, стало быть настало время идти въ присутствіе, думаю я: вотъ сдамъ, успокоюсь; вдругъ, братецъ ты мой, охотникъ-то мой — а стоя-

[1]) Курсивъ Успенскаго.

ли мы на постояломъ дворѣ — сталъ задумываться да передъ самымъ присутствіемъ, т. е. въ ночь подъ утро, какъ везти его, — хвать себя по горлу ножемъ. Женeнка его прибѣгла ко мнѣ — на дворѣ я былъ, около лошадей: глянько-сь, говоритъ, что Микитка-то сдѣлалъ! — Прибѣгъ я, а онъ сидитъ на стулѣ да ножемъ-то себя по горлу смурыжитъ, а кровища такъ и свищетъ. Такъ я и ахнулъ: — Варваръ ты этакой, разоритель, разбойникъ! Что ты дѣлаешь? Отнялъ у него ножикъ, думаю: не примутъ зарѣзаннаго-то! Что буду дѣлать? Всего рѣшился, остался не при чемъ, да еще и сына придется отдать...“—Докторъ, къ которому обратился онъ съ женою охотника, помогъ бѣдѣ: принялъ охотника, хотя и нашелъ, что отъ него казнѣ только убытокъ („и полгода не проживетъ“). Дѣйствительно, охотникъ черезъ полгода умеръ въ лазаретѣ. — „Ужъ натерпѣлся я въ то время“, кончаетъ разсказъ старикъ, „изъ-за Ванятки, чего и весь-то онъ не стоитъ... Покупывали, батюшка, и мы народъ-отъ!“ (206).

3.

Интеллигентный русскій человѣкъ, воодушевленный идеей служенія народу и заранѣе склонный его идеализировать, и русскій крестьянинъ, психологія котораго сложилась подъ вліяніемъ историческихъ условій („26 томовъ Соловьева“), это — два различные типы, смотрящіе въ различныя стороны, не могущіе понять другъ друга, неспособные сблизиться, — пока, разумѣется, одинъ не „опростился“ или другой не развился, не сталъ человѣкомъ въ извѣстной мѣрѣ интеллигентнымъ. Конечно, сближеніе и взаимное пониманіе между отдѣльными представителями того и другого класса всегда были возможны. Но на исторической очереди стоялъ вопросъ не о сближеніи отдѣльныхъ лицъ, а объ установленіи культурно-психологическихъ связей между массою народа и всею средою передовой интеллигенціи. Это было

исторически необходимо, и возникновенiе различныхъ формъ народничества было явленiемъ вполнѣ законосообразнымъ. Народническiя направленiя 70-хъ годовъ, всѣ опыты сближенiя, всѣ „фантазiи“ и „утопiи“, возникавшiя на почвѣ народническихъ идей и стремленiй, — все это отнюдь не было „блажью“ или плодомъ прекраснодушiя „сытыхъ господъ“. На смѣну идеологiи этихъ послѣднихъ давно уже выступила идеологiя разночинцевъ и „кающихся дворянъ“, огромное большинство которыхъ состояло изъ „мыслящаго пролетарiата“. И стихiйное тяготѣнiе „мыслящаго пролетарiата“ къ народу было несравненно сильнѣе того, какое обнаруживали нѣкогда „сытые господа“, западники и славянофилы 40-хъ годовъ.

Путь развитiя русской передовой интеллигенцiи шелъ въ направленiи къ народу. Интеллигенцiя, можно сказать, инстинктивно шла по этому пути, и въ 70-хъ годахъ совсѣмъ близко подошла къ народу. Казалось, она уже достигала исторически-намѣченной цѣли. И вотъ тутъ-то и обнаружилось, что слiянiе съ народомъ невозможно. Лишь только интеллигентный народолюбецъ совсѣмъ близко подходилъ къ мужику, — тотчасъ же возникалъ рядъ прискорбныхъ недоразумѣнiй, обнаруживалось глубокое противорѣчiе между „двумя типами“, и, послѣ разныхъ разочарованiй, трагическихъ и комическихъ, русскаго народолюбца начинали одолѣвать сомнѣнiя въ правильности избраннаго пути, въ вѣрности тѣхъ понятiй о народѣ, съ которыми онъ подходилъ къ нему. Народолюбцу поневолѣ приходилось задавать себѣ недоумѣнный вопросъ: способенъ ли народъ понять стремленiя интеллигенцiи и откликнуться на ея призывъ? Задача, казавшаяся столь простою и легкою, запутывалась, затемнялась и незамѣтно превращалась въ новую загадку, въ хитро-сплетенный клубокъ недоумѣнiй, недоразумѣнiй и всяческихъ неожиданностей. Сама собою напрашивалась мысль о необходимости пересмотра всего вопроса

объ отношеніяхъ интеллигенціи къ народу. Вся литературная дѣятельность Гл. Успенскаго и была опытомъ такого пересмотра и вмѣстѣ съ тѣмъ исканіемъ выхода изъ роковой путаницы противорѣчій и недоразумѣній, которыхъ народническая—правовѣрная—идеологія даже и не подозрѣвала.

Такой именно смыслъ—пересмотра вопроса—и имѣлъ въ свое время вышеразсмотрѣнный очеркъ „Непорванныя связи". Въ эпоху пущей идеализаціи народа и въ самый разгаръ стремленій къ сближенію съ нимъ Успенскій этимъ очеркомъ говорилъ, что, съ одной стороны, интеллигенція еще не порвала связей съ привиллегированной средой и психологически неспособна „опроститься" и „слиться съ народомъ", а съ другой стороны, народъ сохраняетъ такъ много печальныхъ наслѣдій прошлаго, что предвзятое идеализированное представленіе о немъ разбивается при первыхъ же попыткахъ сближенія, и фатально возникаютъ горькія сомнѣнія, въ самой возможности этого сближенія, по крайней мѣрѣ, въ данное время, при данныхъ условіяхъ.

Любопытную попытку дальнѣйшей и болѣе глубокой разработки этой темы представляетъ очеркъ „Овца безъ стада".

Въ роли Михаила Михайловича, которому „непорванныя связи" такъ повредили въ его стремленіи сблизиться съ народомъ и служить ему, выступаетъ здѣсь нѣкій „балашовскій баринъ", пережившій тѣ же разочарованія. Онъ рѣзко порицаетъ нравы и поведеніе мѣстныхъ крестьянъ, съ глубокою горечью указываетъ на то, что они не понимаютъ собственныхъ интересовъ,—какою неблагодарностью отплачиваютъ они за оказанную имъ услугу, какъ много у нихъ рабскихъ чувствъ и какъ мало солидарности и т. д.— „Вотъ что я вамъ скажу—обидѣли вы меня", говоритъ онъ мужикамъ. „Ѣхалъ я къ вамъ: думаю, буду жить съ вами,

помогать — денегъ мнѣ отъ васъ не нужно — хлопотать за васъ, за вашу крестьянскую семью. Я думалъ, что деревня — это простая семья, въ которой только и можно жить... А у нихъ тутъ не только никакой семьи не оказывается — какое! Лѣзутъ другъ отъ друга въ разныя стороны..." (II, 217). И онъ сообщаетъ автору рядъ дѣйствительно удручающихъ фактовъ, рисующихъ крестьянское общество въ самомъ неприглядномъ свѣтѣ. Такъ, напр., нѣкій Евсей былъ высѣченъ по приговору волостного суда „за то, что занимался упорствомъ и лѣностью" (такъ гласилъ приговоръ), а между тѣмъ, этотъ Евсей, правда, плохой хозяинъ, но отличный охотникъ и вполнѣ порядочный человѣкъ, не только ничего дурного не сдѣлалъ, но даже оказалъ обществу огромную услугу: благодаря своимъ связямъ — по охотѣ — съ нѣкоторыми вліятельными петербуржцами, онъ выигралъ тяжбу, которую вели его односельчане съ помѣщикомъ, и крестьяне получили „20 десятинъ мелколѣсья съ отличными сѣнами и отличные луга". Эту услугу Евсей оказалъ обществу совершенно безкорыстно и безвозмездно. И вотъ его выпороли за невзносъ 12 р. 50 к. податей. Одинъ изъ крестьянъ, присутствовавшій при этомъ разговорѣ, „остановилъ барина": „Постой, Ликсанъ Ликсанычъ. Слышалъ ты звонъ, да не знаешь, гдѣ онъ... Которую землю Евсей отбилъ, той земли владѣтель — стало быть, нашъ бывшій баринъ — и посейчасъ въ присутствіи служитъ, въ крестьянскомъ... Судьи-то, братецъ ты мой, изъ всей волости выборные... Кабы изъ нашей одной деревни они выбирались, небось бы..." — Плохо, разумѣется, рекомендуетъ это крестьянскую солидарность, но дальше выходитъ еще хуже. — „Почему вы не заплатили за него этихъ несчастныхъ двѣнадцати съ полтиной?" допытывается баринъ, „вѣдь онъ вамъ сдѣлалъ добра на тысячи..." Тутъ вступился другой крестьянинъ: „Въ случаѣ ежели что, и Евсей твой тоже бы нашего брата не помиловалъ... Прикажутъ наказать да

пруть въ руки дадуть, такъ и Евсей твой...“—„Ну, вотъ!— стукнувъ кулакомъ, возопилъ баринъ.—Вотъ и сливайся съ ними... Сегодня я сольюсь, а они меня завтра въ волости выдерутъ, либо самого заставятъ драть...“

Нельзя сомнѣваться какъ въ подлинности такихъ позорныхъ фактовъ, такъ и въ ихъ типичности. Повидимому, все фактическое, что приводится изъ народной жизни въ сочиненіяхъ Успенскаго, не „сочинено“, а прямо взято изъ дѣйствительности и отнюдь не можетъ быть разсматриваемо, какъ случайность, какъ отдѣльные казусы, которые „ничего не доказываютъ“. Напротивъ, эти факты съ психологическою необходимостью вытекаютъ изъ всѣхъ условій народной жизни какъ прошлой, такъ и настоящей, а потому и даютъ, въ своей совокупности, правильную характеристику быта, нравовъ, понятій и классовой психологіи крестьянства. Въ этой картинѣ найдутся черты и хорошія, и безразличныя, но далеко не малая часть ихъ свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ упадкѣ, о деморализаціи, объ искаженіи человѣческой души, объ ея извращеніи.

Въ свое время кое-кто изъ народниковъ обвинялъ Успенскаго въ „клеветѣ“ на народъ. Это обвиненіе уже тогда было признано ложнымъ. Съ болью сердца, съ тою же горечью, съ какою произноситъ свои филиппики „балашовскій баринъ“, писалъ Успенскій свои очерки, и почти все, что говоритъ этотъ „баринъ“ о своихъ отношеніяхъ къ народу, было выраженіемъ чувствъ и мыслей самого Успенскаго. А говоритъ „балашовскій баринъ“ слѣдующее.

Онъ—овца, отбившаяся отъ стада, а это стадо—народъ. Въ противоположность Михайлѣ Михайловичу, у котораго связи съ привилегированной средой не порваны, у него уже нѣтъ съ нею никакихъ связей. Его прежняя жизнь и дѣятельность—какъ помѣщика, мирового посредника, земскаго дѣятеля представляется ему исполненною всякой лжи, фальши, условныхъ понятій, сдѣлокъ съ совѣстью,—онъ отрекся

отъ нея навсегда. Возврата для него нѣтъ. И пусть всѣ его надежды—найти успокоеніе и удовлетворяющую дѣятельность въ народѣ или около него—оказались призрачными и смѣнились горькимъ разочарованіемъ, онъ все-таки останется здѣсь, въ деревнѣ, куда его прибили волны его прошлой жизни и куда его тянетъ уже не только „идея", но и какой-то слѣпой инстинктъ, тотъ самый, который заставляетъ отбившуюся овцу искать свое стадо. Стараясь объяснить это чувство, этотъ инстинктъ, онъ пространно развиваетъ популярную въ тѣ времена, но по существу невѣрную мысль, будто у насъ не было и нѣтъ „настоящей"—въ европейскомъ смыслѣ—аристократіи и другихъ „правящихъ классовъ", вѣками оторванныхъ отъ народа и выработавшихъ свою культуру, психологію, идеологію. Вспоминаетъ онъ по этому поводу „случайное" происхожденіе крупныхъ владѣній помѣщиковъ, жалованныя земли, демократическое происхожденіе многихъ громкихъ фамилій, откуда уже недалеко до утѣшительнаго вывода, что разложеніе высшихъ классовъ у насъ—дѣло легкое, выходъ оттуда не такъ ужъ труденъ, и тяготѣніе къ народу является не только внушеніемъ совѣсти или идеи, но и стихійнымъ влеченіемъ демократическаго инстинкта. Высшіе классы вышли изъ народа и, не успѣвъ отлиться въ законченныя и стойкія формы, уже разлагаются и выдѣляютъ изъ своей среды піонеровъ, инстинктивно тяготѣющихъ къ народу и стремящихся слиться съ нимъ.

Далеко не идеализируя народа, относясь къ нему рѣзко-критически и иронизируя надъ тѣми „иллюстраціями", которыми народники „расписывали" мужика, видя въ немъ „идеальный типъ", балашовскій баринъ однако дѣлаетъ уступку властной идеѣ времени, когда говоритъ: „Онъ (мужикъ) такъ же изуродованъ, какъ и нашъ братъ съ краснымъ околышемъ; но знаете что?.. То тамъ, то сямъ изрѣдка мелькаютъ какія-то черты въ обиходѣ мужицкой жизни, которыя почти приравниваютъ

его къ мужику иллюстрированному... Что изуродованъ онъ—это вѣрно; но въ немъ еще живетъ много самыхъ образцовыхъ, въ смыслѣ приведенной иллюстраціи, свойствъ“ [1]. (229—230). А „приведенная иллюстрація“, вложенная нѣсколько выше въ уста одного молодого энтузіаста, сводится къ тому, что мужикъ, въ качествѣ исконнаго земледѣльца, является типомъ чрезвычайно гармоничнымъ и разностороннимъ. Онъ самъ удовлетворяетъ всѣмъ своимъ потребностямъ и работаетъ физически и головой въ самыхъ различныхъ направленіяхъ. По своему онъ и агрономъ, и ботаникъ, и зоологъ, и метеорологъ, и медикъ, и механикъ, и инженеръ, и все, что угодно. Необыкновенная разносторонность мысли и творчества! Читая остроумную страницу, гдѣ все это изложено (227—228), неосвѣдомленный въ исторіи нашихъ идей и направленій читатель, пожалуй, усмотрѣлъ бы здѣсь злую иронію, пародію... Но не подлежитъ сомнѣнію, что Успенскій, воспринявшій извѣстную „формулу прогресса“ Михайловскаго, писалъ эту остроумную страницу съ глубокою вѣрою въ справедливость формулы и, вслѣдъ за Михайловскимъ, видѣлъ въ крестьянинѣ-земледѣльцѣ представителя „высшаго типа личности“, оставшейся только на „низшей ступени“ ея развитія (съ прибавленіемъ различныхъ ущербовъ, вытекающихъ изъ неблагопріятныхъ условій, какими обставлена вся жизнь крестьянина). Формула Михайловскаго въ тѣ годы почти безраздѣльно господствовала надъ умами передовой части общества. Успенскій не могъ отнестись къ ней критически, но когда онъ подводилъ подъ нее результаты своихъ наблюденій надъ народною жизнью, то ему приходилось сдерживать силу своего необыкновеннаго юмора, чтобы не вышло своего рода пародіи на формулу. Читая вышеуказанную страницу, такъ и чувствуешь, что, дай Успенскій

[1]) Курсивъ мой.

еще немного воли юмору,—и формула не выдержитъ этого искуса.

И дѣйствительно, Успенскій своей дальнѣйшей литературной дѣятельностью, самъ того не желая, содѣйствовалъ паденію формулы Михайловскаго. Изслѣдуя „власть земли“ и земледѣльческаго труда надъ бытомъ, понятіями и психикою крестьянина, онъ показалъ, какъ не оправдывается русской крестьянской дѣйствительностью ученіе Михайловскаго о гармоническомъ, всестороннемъ развитіи личности путемъ раздѣленія труда между органами (а не между особями) и о необходимости различать ступени и типы развитія. „Типъ“, представляемый разносторонностью и „гармоничностью“ крестьянской психики, оказывается отнюдь не высшимъ, а низшимъ...

Но объ этомъ у насъ будетъ рѣчь впереди. Вернемся къ балашовскому барину. Свои признанія онъ оканчиваетъ такъ: „Что же я такое? Я просто овца безъ стада [1])... Я отбился, или меня отогнали, не знаю хорошенько, отъ моего стада, отъ народа, съ которымъ у меня нѣтъ никакой внутренней разницы [2]), и я въ тоскѣ шатаюсь по россійскому интеллигентному пустырю... Куда же пойти, гдѣ жить? Тутъ-то вотъ и подвернулись иллюстраціи къ русскому мужику... Ну, разумѣется, больше мнѣ некуда итти, какъ къ нему!.. Я вотъ буду—тутъ!“ На вопросъ, что же будетъ онъ дѣлать здѣсь, въ деревнѣ, онъ отвѣчаетъ: „Почемъ я знаю!.. Знаю, что мнѣ надо жить тутъ, и больше ничего... Понадоблюсь я имъ—отлично, не понадоблюсь—буду сидѣть и пить славянскую...“ (240).—Онъ все еще не теряетъ надежды, что со временемъ „понадобится“ мужикамъ... „Кой-что я знаю больше ихъ“, говоритъ онъ: „стало-быть—жить тутъ и ждать... Вотъ и все!“.

Но изъ послѣднихъ строкъ очерка мы узнаемъ, что бала-

---

[1]) Курсивъ Успенскаго. [2]) Курсивъ мой.

шовскій баринъ скоро уѣхалъ изъ деревни. Неизвѣстно, уѣхалъ ли онъ по доброй волѣ или по „независящимъ обстоятельствамъ“. Успенскій ограничивается сообщеніемъ, что „разсказывали о пріѣздѣ какой-то дамы“ и что „въ исторіи барина вообще оказывалась какая-то невысказанная и необъясненная имъ сторона“. Во всякомъ случаѣ „овца“ такъ и осталась „безъ стада“.

4.

Гл. Успенскому приходилось сдерживать силу своего разлагающаго юмора всякій разъ, когда рѣчь шла объ отношеніи передовой интеллигенціи къ народу. Въ особенности щадилъ писатель самоотверженныхъ борцовъ, шедшихъ въ народъ съ проповѣдью утопическаго соціализма, съ глубокою, но совершенно наивною вѣрою въ близость „соціальнаго переворота“. Политическіе процессы того времени (въ особенности „процессъ 50-ти“ 1877 г.) показали изумленному обществу, что въ рядахъ молодого поколѣнія есть исключительно-высокія, идеалистическія натуры, готовыя на всѣ жертвы ради идеи, воспринятой ими со всѣмъ жаромъ глубокой психологической религіозности. Это были такъ называемые „мирные пропагандисты“, которые ставили себѣ задачей подготовить народъ къ грядущей „революціи“, прояснить его понятія, просвѣтить его разумъ, и полагали, что исконное народное міросозерцаніе, народный взглядъ на землю—какъ на Божью, общинное землевладѣніе и т. д. могутъ служить благопріятною почвою для соціалистической пропаганды. Предполагалось, что мужикъ, такъ сказать,—прирожденный соціалистъ, которому не достаетъ только просвѣщенія, и что начало обновленію Россіи, а вслѣдъ за ней, пожалуй, и всего міра, должно быть положено именно въ деревнѣ,—въ той русской деревнѣ, къ которой такъ пристально присматривался Глѣбъ Успенскій, открывая въ ней все пущую „мерзость запустѣнія“.

„Пропагандистское“ движеніе 70-хъ годовъ, при всемъ его европеизмѣ и „космополитизмѣ“, было специфически-русское, народническое. Идеологія молодыхъ пропагандистовъ основывалась на все такой же идеализаціи мужика и деревенскихъ „устоевъ“, какая составляла отличительную черту и базисъ ученія народниковъ, утверждавшихъ, что всѣ отрицательныя стороны народной жизни должны быть признаны явленіемъ наноснымъ и не захватываютъ ея глубинъ, что, напр., деревенское кулачество есть нѣчто почти случайное, созданіе внѣшнихъ условій, постороннихъ деревнѣ, что если разлагаются „устои“ народнаго быта, то это происходитъ въ силу пагубныхъ вліяній города, цивилизаціи и т. д., и т. д.

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на все это, Глѣбъ Успенскій писалъ:

„Мы охотно вѣримъ въ дурное вліяніе на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но никоимъ образомъ не можемъ только ими объяснять деревенскаго кулачества, то-есть выдѣленія среди деревенской массы личностей, эксплоатирующихъ эту самую массу. Бѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество—явленіе не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органическій недугъ“ („Малыя ребята“, т. II, 280).

Изучая деревню, Успенскій приходилъ къ безотрадному заключенію, что весь умъ, талантъ, вся духовная сила мужика пошли на кулачество, на созданіе самобытныхъ формъ хищничества, и ничего другого, равносильнаго ему „по разработкѣ и техникѣ“, „деревенская жизнь за послѣднее время не представляетъ“ (тамъ же). Деревня ничего не противопоставила кулачеству, не выработала никакихъ формъ солидарности, самопомощи, которыя могли бы соперничать съ нимъ. Успенскій утверждаетъ, что ничего подобнаго въ деревнѣ нѣтъ, между тѣмъ какъ „до кулачества, до холоднаго, обезчеловѣченнаго взгляда на людскія отношенія деревенскій человѣкъ дошелъ именно, и къ несчастью, собственнымъ

умомъ, и при томъ умомъ сильнымъ, наблюдательнымъ, безстрашнымъ“ (281).

Такихъ глубоко-пессимистическихъ отзывовъ о деревнѣ, о мужикѣ можно привести не мало изъ сочиненій Успенскаго, въ томъ числѣ и изъ очерковъ, относящихся ко второй половинѣ 70-хъ годовъ, т.-е. ко времени пущаго разгара нашего народническо-соціалистическаго движенія. И любопытно отмѣтить, что эти отзывы ничуть не мѣшали популярности Успенскаго въ средѣ передовой молодежи. Дѣло представляется такъ, какъ будто на эти отзывы не обращали вниманія, пропускали ихъ мимо ушей. Успенскаго усердно читали, но брали изъ его сочиненій только то, что казалось подходящимъ къ господствующему направленію. Подходящимъ оказывался, напр., его протестъ противъ капитализма, противъ всѣхъ видовъ хищничества, противъ безправія, „прижимки“, противъ отрицательныхъ сторонъ „буржуазной“ цивилизаціи и т. д. Все это принималось, а все прочее, что не подходило къ направленію властныхъ идей времени, либо оставалось просто незамѣченнымъ, либо получало иное истолкованіе.—Въ общемъ, можно сказать, Успенскій въ 70-хъ и частью еще въ 80-хъ годахъ оставался непонятымъ.

Это достаточно хорошо объясняется гипнотизирующею властью идей. Вѣдь адепты этихъ идей столь же усердно изучали Лассаля и Маркса. Послѣдній былъ особенно популяренъ, и его имя было для народниковъ-соціалистовъ 70-хъ годовъ непререкаемымъ авторитетомъ. И однако трудно найти болѣе вопіющее противорѣчіе, какъ то, которое обнаруживается между ученіемъ Маркса съ одной стороны и идеологіей русскихъ пропагандистовъ и другихъ фракцій нашего революціоннаго движенія 70-хъ годовъ—съ другой.

Въ 90-хъ годахъ это противорѣчіе, наконецъ, было отмѣчено и разъяснено „русскими учениками Маркса“ [1]),—и воз-

---

[1]) Бельтовымъ (Плехановымъ), П. Б. Струве, М. И. Туганъ-Барановскимъ и др.—Въ 70-хъ годахъ на точкѣ зрѣнія

горѣлась ожесточенная распря между „народниками“ и „марксистами“. Тогда-то эти послѣдніе вспомнили и Гл. Успенскаго. Въ его сочиненіяхъ они открыли многое, на чемъ они могли опереться въ спорѣ съ противниками. Блестящая статья Бельтова (Г. В. Плеханова) впервые разъяснила истинный смыслъ и значеніе тѣхъ сторонъ литературной дѣятельности Успенскаго, которыя дотолѣ оставались невыясненными.

Итакъ, Успенскій въ 70-хъ годахъ былъ не вполнѣ понятъ по той же причинѣ, по которой былъ не понятъ, какъ слѣдуетъ, и самъ Марксъ. Но въ отношеніи къ первому приходится сдѣлать одну оговорку: къ числу не вполнѣ понимавшихъ Глѣба Успенскаго принадлежалъ и самъ Глѣбъ Ив. Успенскій... Не только другіе, но и онъ самъ не отдавалъ себѣ вполнѣ яснаго отчета въ смыслѣ и значеніи своихъ наблюденій надъ народною жизнью и своей критики крестьянскаго міросозерцанія. Онъ оставался адептомъ идеи, которую самъ разрушалъ. Выше я указалъ на нѣкоторое внутреннее противорѣчіе, проскользнувшее въ признаніяхъ „балашовскаго барина“, который, послѣ уничтожающей критики крестьянскихъ нравовъ, понятій и даже этики, утверждаетъ, что въ мужикѣ все-таки сохраняются черты, приближающія его къ тому идеалу „иллюстрированнаго“ крестьянина, о которомъ твердили народники и утописты. Это противорѣчіе красною нитью проходитъ по сочиненіямъ Гл. Успенскаго. Плодомъ усиленной работы мысли надъ вопросами, вытекавшими изъ этого противорѣчія, явились прежде всего такія значительныя произведенія Успенскаго, какъ „Власть земли“ и очерки „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ“, къ разсмотрѣнію которыхъ намъ теперь и предстоитъ обратиться.

послѣдовательнаго марксизма стоялъ Н. И. Зиберъ, рѣшительный противникъ народничества. Но—по мотивамъ этическаго и политическаго порядка—онъ уклонялся отъ гласной полемики съ народниками.

ГЛАВА VIII.

Глѣбъ Успенскій. — Власть земли. — Классовая психологія крестьянства.

1.

„Власть земли“—это родъ трактата, написаннаго въ полубеллетристической формѣ (какъ написаны многіе позднѣйшіе очерки Успенскаго), при чемъ факты взяты прямо изъ жизни, изъ непосредственныхъ наблюденій и лишь отчасти получили художественную обработку. Выводы изъ этого матеріала сдѣланы въ прозаической формѣ разсужденія. Это разсужденіе имѣетъ цѣлью показать, что народная крестьянская психологія вообще и мораль въ частности—это совсѣмъ особый міръ, намъ чуждый, и что онъ станетъ понятенъ намъ только тогда, когда мы раскроемъ его связь съ трудомъ крестьянина, съ условіями его земледѣльческаго быта, съ требованіями крестьянскаго хозяйства, однимъ словомъ,—съ „властью земли“, обрабатываемой земледѣльцемъ и кормящей его.

Это пояснено на конкретномъ примѣрѣ, на исторіи крестьянина Ивана Босыхъ, который отбился отъ крестьянскаго труда, вышелъ изъ-подъ власти земли, а потому и „ослабъ“, какъ говорятъ о немъ мужики, и какъ онъ самъ о себѣ выражается. „Ослабъ“ значитъ—опустился морально и въ хо-

зяйственномъ отношеніи. Иванъ Босыхъ запустилъ свое хозяйство, найдя случайно заработокъ на сторонѣ (на желѣзной дорогѣ), избаловался, пьянствуетъ, безобразничаетъ и даже сталъ обманывать и воровать. Онъ самъ въ длинномъ разсказѣ (написанномъ съ обычнымъ мастерствомъ, съ которымъ Успенскій неподражаемо воспроизводилъ народную рѣчь и складъ мысли) излагаетъ исторію своего паденія и самъ же указываетъ на его причину. Земля потеряла свою власть надъ нимъ, а это—власть не только хозяйственная, экономическая, но и моральная. Иванъ Босыхъ, служа на желѣзной дорогѣ, утратилъ „трудовую“ крестьянскую этику и превратился въ человѣка безъ этики, безъ моральнаго удержу, въ субъекта нравственно-слабаго. Другой нравственной догмы, кромѣ крестьянской, земледѣльческой, у него нѣтъ въ запасѣ, а потому, потерявъ ее, онъ и оказался своего рода „человѣкомъ безъ догмата“. Это обстоятельство внушаетъ намъ далеко не выгодное представленіе о классовой психологіи мужика, такъ плохо вооружающей его душу, неспособной дать ему твердыхъ—не классовыхъ, а общечеловѣческихъ—моральныхъ устоевъ. Но Успенскій воздерживается отъ такой оцѣнки... О всякой другой классовой психологіи, въ аналогичномъ случаѣ, онъ, по всей вѣроятности, сказалъ бы, что не велика ея цѣна, если ея носители остаются порядочными людьми лишь до тѣхъ поръ, пока они не перемѣнили рода занятій. Но о крестьянствѣ онъ такъ не скажетъ, потому что у него заранѣе, a priori упрочилось догматическое воззрѣніе на крестьянскую психологію, какъ на самую „нормальную“, „здоровую“, и на мужика-земледѣльца, какъ на лучшій типъ въ родѣ человѣческомъ... Перемѣна занятій равносильна въ этомъ случаѣ отказу отъ принадлежности къ высшему типу, а такой отказъ не остается безъ возмездія: за „измѣну“ землѣ крестьянинъ отплачивается нравственнымъ паденіемъ... Такова, повидимому, мысль Успенскаго.

Самый процессъ опустошенія мужицкой души, возника-

ющій отъ того только, что человѣкъ нашелъ хорошій заработокъ на сторонѣ и пересталъ пахать и сѣять, представляется Успенскому загадочнымъ. И художникъ-публицистъ испытующе всматривается въ душу Ивана Босыхъ, стараясь найти въ ней указанія для объясненія непонятной метаморфозы. Въ главѣ IV-ой онъ говоритъ объ этой „тайнѣ" въ приподнятомъ тонѣ: „А тайна эта по истинѣ огромная и, думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ и терпѣлива, и могуча въ несчастьяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно-сильна и дѣтски-кротка, словомъ народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ власть земли, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ невозможность ослушанія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ все его существованіе... Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобы онъ забылъ „крестьянство",—и нѣтъ этого народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустого человѣческаго организма..." (Соч., т. II, 665). Уже этотъ приподнятый тонъ и слѣдующія за этимъ мѣстомъ слова: „я чувствую, до какой степени топорно и грубо высказано мною то, что я хотѣлъ сказать"—показываютъ, что Успенскому, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь мерещится какая-то великая тайна, что-то почти мистическое, и вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ, какъ мнѣ кажется, сквозитъ несознанное опасеніе,—не пострадаетъ ли апріорная идеализація мужика отъ раскрытія „тайны" его психологической зависимости отъ власти земли...

Приступая къ изображенію и истолкованію этой таин-

ственной власти, Успенскій сперва вспоминаетъ былину о Святогорѣ, который не могъ поднять сумочки прохожаго мужичка, ибо „тяга въ сумочкѣ отъ матери-сырой земли". Богатырь, которому нѣтъ равнаго, не въ силахъ поднять эту сумочку, а мужичекъ несетъ ее легко. Этотъ мужичекъ— Микула Селяниновичъ, котораго „любитъ мать-сыра земля".— Этотъ старинный миѳъ, настоящій смыслъ и значеніе котораго, можетъ быть, и не таковы, какъ истолковываетъ ихъ Успенскій, еще пуще запутываетъ поднятый вопросъ. Онъ выступаетъ теперь въ неясныхъ очертаніяхъ нашей эпической поэзіи, нашихъ „былинъ", въ которыхъ народное, крестьянское „міросозерцаніе" проявилось какъ-то обманчиво, двусмысленно и загадочно. Къ тому же Успенскій взялъ какъ-разъ одну изъ самыхъ темныхъ былинъ (о Святогорѣ),— изъ числа тѣхъ, которыя легко поддаются символическому толкованію, особливо рискованному именно тамъ, гдѣ оно наиболѣе правдоподобно.—Что это за „сумочка", что такое, въ сущности, „мать-сыра земля", съ ея таинственною „тягою", все это—вопросы историко-сравнительнаго изученія эпической поэзіи, и спеціалисты въ этой области знанія затруднятся категорически утверждать, вслѣдъ за Успенскимъ, что здѣсь дѣло идетъ не о миѳической „матери-сырой землѣ", а о настоящей, реальной землѣ,—„той самой, которая у васъ въ цвѣточныхъ горшкахъ" (606—607) [1]).

Выводъ, къ которому приводятъ Успенскаго эти соображенія о таинственной власти земли надъ крестьяниномъ,

---

[1]) Въ настоящее время можно считать установленнымъ положеніе, что героическій эпосъ (въ томъ числѣ и такой, какъ поэмы Гомера)—не народнаго, не крестьянскаго происхожденія, а „господскаго". Онъ возникалъ всегда въ средѣ привилегированныхъ классовъ, при дворахъ князей и феодаловъ, въ кругу дружинниковъ и т. д. Наши „былины" не составляютъ исключенія изъ этого правила: это былъ нѣкогда эпосъ „господскій", а не мужицкій, и для характеристики народнаго міросозерцанія онъ не представляетъ надежнаго матеріала.

надъ всей его психикой и міросозерцаніемъ, гласитъ такъ: огромный, здоровенный мужикъ зависитъ отъ урожая, отъ „тоненькой травинки“ (607),—„онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой“ (608).

Выходитъ картина какого-то рабства. Крестьянинъ, освобожденный отъ крѣпостной зависимости, отъ власти помѣщиковъ, остался попрежнему въ „природной“ крѣпостной зависимости отъ земли, въ кабалѣ у своего собственнаго труда. На нѣсколькихъ яркихъ и остроумныхъ страницахъ Успенскій иллюстрируетъ этотъ выводъ рядомъ наблюденій надъ жизнью и трудомъ крестьянина и все еще не замѣчаетъ, какъ при этомъ „тайна“ постепенно перестаетъ быть тайной, какъ дѣло оказывается довольно простымъ и незамысловатымъ, сводясь къ тому нынѣ общеизвѣстному положенію, что на низкихъ ступеняхъ экономическаго развитія, при натуральномъ и полунатуральномъ хозяйствѣ, при отсталой техникѣ труда, человѣкъ, будь онъ земледѣлецъ, или ремесленникъ, или заводской рабочій (но земледѣлецъ—въ особенности), находится въ кабальной зависимости не только отъ другихъ людей, но и отъ условій своего же труда, отъ сырого матеріала, надъ которымъ онъ работаетъ, отъ природы вообще, отъ земли въ частности. Этимъ экономическимъ рабствомъ порождается и особая психологія класса, вырабатываются своеобразныя черты бытовыхъ отношеній, моральныхъ понятій, психологическихъ навыковъ и того, что называется классовымъ „міросозерцаніемъ“ отсталаго земледѣльческаго населенія. Во всемъ этомъ могутъ найтись черты, съ общечеловѣческой точки зрѣнія, положительныя, но по необходимости берутъ перевѣсъ черты отрицательныя, ибо рабскія отношенія, все равно—къ другому ли классу, къ государству ли, къ „міру“ ли, или къ самой природѣ, къ землѣ,—не могутъ создать человѣческаго типа большой цѣнности.

„Таинственность“ въ этомъ вопросѣ появляется главнымъ образомъ въ силу апріорнаго убѣжденія, въ сущности ни на

чемъ не основаннаго, предразсудочнаго, будто „земледѣльческій типъ“ имѣетъ какія-то преимущества передъ другими классовыми типами. Успенскій раздѣлялъ это предвзятое мнѣніе и вѣрилъ въ чудодѣйственную силу и спасительность крестьянской этики и „народнаго міросозерцанія“, обусловленнаго властью земли. Онъ даже думаетъ, что только благодаря этому „міросозерцанію“ народъ и могъ вынести „200-лѣтнюю татарщину и 300-лѣтнее крѣпостничество“ (610).—Можно поставить вопросъ иначе: не сложилось ли само, столь прославляемое, народное міросозерцаніе съ его этикою подъ вліяніемъ той же татарщины (и послѣдующаго московскаго абсолютизма) и того же крѣпостничества? Исторически дѣло, какъ извѣстно, представляется въ такомъ видѣ: земледѣльческое населеніе, вслѣдствіе слабости техники и всей матеріальной культуры, было искони не только подъ властью земли, но вообще въ рабской зависимости отъ природы, и на этой почвѣ воспиталась рабская психологія, способная претерпѣть и татарщину, и крѣпостничество, и что угодно; крѣпостное право, постепенно установлявшееся съ начала XVII-го вѣка, было подготовлено давнишними кабальными отношеніями, въ какія вольно и невольно становились крестьяне къ владѣльцамъ жалованныхъ или захваченныхъ земель. При чемъ тутъ „святость“ труда, „мужественная сила“, „дѣтская кротость“ и прочія добродѣтели, которыя при болѣе близкомъ наблюденіи оказываются болѣе или менѣе проблематическими?

Успенскій, производя свои наблюденія, все болѣе убѣждался въ сомнительности этихъ высшихъ качествъ крестьянской массы. Съ болью сердца онъ долженъ былъ признать, что они — не подлинный фактъ, а только, такъ сказать, теоретическая возможность, плодъ идеализаціи крестьянства.

Въ главѣ VI („Земледѣльческій календарь“) Успенскій останавливается на народныхъ „примѣтахъ“, составляющихъ

какъ бы традиціонную народную „метеорологію“ и „климатологію“ („на Трифона звѣздно — весна поздняя“, „коли на Юрья березовый листъ въ полушку, на Успеніе клади хлѣбъ въ кадушку“ и т. д.), и видитъ здѣсь доказательство неустанной работы мысли, направленной на наблюденіе природы въ интересахъ земледѣльческаго труда. Умъ крестьянина какъ будто бы работаетъ въ этомъ направленіи съ необыкновенной энергіей, проявляя и проницательность, и разносторонность... „Едва ли банкиръ и капиталистъ въ такой степени тщательно изучаютъ всѣ случайности, которымъ могутъ подвергнуться его бумаги, какъ тщательно изучаетъ крестьянинъ мельчайшія подробности случайностей природы, обусловливающія успѣхъ его труда и всего благосостоянія“ (616). Тутъ Успенскій, несомнѣнно, ошибается. Затрата умственнаго труда, вниманія, наблюдательности и т. д., о которой онъ говоритъ, въ данномъ случаѣ совершенно фиктивна. Если на всѣ эти „примѣты“ и наблюденія и былъ затраченъ умственный трудъ, то это относится ко временамъ болѣе или менѣе отдаленнымъ, — и давно уже вся эта „народная мудрость“ превратилась въ мертвую букву, въ неподвижную традицію, которая не столько возбуждаетъ пытливость и работу мысли, сколько сковываетъ ихъ. Иныя изъ „примѣтъ“ даже потеряли тотъ смыслъ, который нѣкогда имѣли, и превратились въ наборъ словъ. Это просто — „народная словесность“ или, точнѣе, „народная схоластика“.

Положительную сторону этой словесности Успенскій видитъ въ томъ, что здѣсь выступаютъ впередъ интересы земледѣльческаго труда, который „святъ“, „чистъ“, „безгрѣшенъ“ и т. д. — Тоже самое отразилось и на религіи: „святые и чудотворцы также переведены на крестьянское положеніе: св. апостолъ Онисимъ переименованъ въ Онисима-Овчарника, Іовъ многострадальный — въ Іова горошника...“ и т. д. (615). Въ текстахъ писанія крестьяне-грамотеи вычитываютъ все тотъ же русскій земледѣльческій идеалъ и

приводятъ цитаты изъ Апокалипсиса въ доказательство того, что нѣкогда произойдетъ всеобщій передѣлъ земли и крестьяне получатъ по 15 десятинъ на душу (617). Успенскій съ глубокимъ сочувствіемъ говоритъ объ этомъ крестьянскомъ „идеалѣ", утверждая, что въ народномъ представленіи земля нужна „не только какъ хлѣбъ, но какъ основа всего рисующагося въ народномъ воображеніи свѣтлаго будущаго, какъ основаніе единственно безгрѣшнаго труда..." (617—618).

Сочувствуя этому идеалу, Успенскій съ горечью отмѣчаетъ тотъ ужасающій контрастъ, который представляетъ печальная дѣйствительность не только въ отношеніи къ указанному „идеалу", но даже къ недавнему крѣпостническому прошлому. Въ главѣ VII („Теперь и прежде") рѣчь идетъ о томъ, что при крѣпостномъ правѣ мужику жилось значительно лучше, чѣмъ теперь, потому что земли у него было тогда вдвое больше, а тягота крѣпостного безправія отчасти умѣрялась тѣмъ хозяйственнымъ взглядомъ помѣщика на мужика, въ силу котораго всякій мало-мальски разсудительный душевладѣлецъ, ради собственной выгоды, заботился о здравіи и благоденствіи своихъ рабовъ... Матеріально крестьянинъ былъ тогда лучше обезпеченъ, чѣмъ теперь... А что касается „хозяйственнаго воззрѣнія" на мужика, какъ на рабочую силу, то этотъ помѣщичій взглядъ совпадалъ съ соотвѣтственнымъ крестьянскимъ. Настоящій „хозяйственный" крестьянинъ смотритъ на себя и на своихъ близкихъ, какъ на рабочую силу въ хозяйствѣ, и на этомъ взглядѣ и зиждется его этика. При крѣпостномъ правѣ она стояла нерушимо и до сихъ поръ еще держится, проявляясь въ формахъ, способныхъ озадачить интеллигентнаго наблюдателя. Успенскій пишетъ: „До сихъ поръ оцѣнка человѣка только по его успѣху или неуспѣху въ работѣ не только играетъ большую роль въ крестьянскомъ мнѣніи вообще, но служитъ даже для достиженія цѣлей деревенскихъ эксплоататоровъ новѣйшаго типа" (618). И на слѣ-

другихъ очеркахъ Успенскій вырисовываетъ рядъ во-піющихъ сценъ деревенскаго „права“. Повсемѣстно при-[illegible], по приговору [illegible] стариковъ — за [illegible], за упущенія въ хозяйствѣ, за лѣность и т. д. и т. д., [illegible] за дѣла, наиболѣе предосудительныя съ точки зрѣнія „трудовой“ земледѣльческой этики. Успенскій выдвигаетъ, такъ сказать, этико-хозяйственныя основы [illegible] крестьянской морали (621—622). Выдвигаетъ — и умолкаетъ, а читатель остается въ нѣкоторомъ недоумѣніи, что именно слѣдуетъ здѣсь видѣть, печальное ли наслѣдіе крѣпостного права, поддерживаемое грубостью нравовъ и темнотою деревни, или „нормальное“ явленіе, вытекающее изъ самой сути „крестьянскаго трудового міросозерцанія“, въ силу котораго личность человѣческая сама по себѣ ничего не стоитъ и оцѣнивается только какъ рабочая сила, какъ хозяйственная полезность. Вопросъ еще болѣе запутывается въ слѣдующей главѣ VIII („Жадность“), гдѣ наглядно изображено возникновеніе кулачества, какъ явленія не нанесеннаго, а идущаго изнутри деревенскихъ порядковъ и въ свою очередь выдвигающаго и, такъ сказать, разрабатывающаго все ту же идею хозяйственной цѣнности человѣка. И еще пуще затемняется дѣло, когда Успенскій въ дальнѣйшемъ указываетъ на „земельные непорядки“ деревни (640—641), въ силу которыхъ крестьяне бѣдствуютъ при наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ, при обиліи земли и прочихъ угодій, не умѣя распорядиться толково и по справедливости. „Глядя на все это, — говоритъ Успенскій, — не понимаешь, какъ можно какимъ-нибудь эпитетомъ опредѣлять такое запутанное землевладѣніе, тѣмъ паче такимъ, какъ „община“. Тутъ самая грубая неряшливость. Богъ знаетъ, что, но только не община“ (641).

И невольно закрадывается въ насъ сомнѣніе въ правильности исходной точки, на которой, вмѣстѣ съ другими народниками, стоялъ Успенскій. И думается, что пока земле-

дѣлецъ въ рабствѣ у природы, у земли и основанныхъ на этомъ же рабствѣ порядковъ въ родѣ нашего „міра“, „общины“, круговой поруки и пр.,—земледѣльческій трудъ вовсе не „святъ“, не „безгрѣшенъ“, и отличительными чертами земледѣльца фатально являются узость кругозора, эгоизмъ (мірской или личный,—рѣшительно все равно), невѣжество, жестокіе нравы и упорный и злой консерватизмъ.—Такъ это было и есть вездѣ при указанныхъ условіяхъ, такъ это и у насъ.

Для человѣка, свободнаго отъ власти предвзятой народнической идеи, отъ культа земледѣльческаго труда, все, что говоритъ Успенскій въ защиту этой идеи и этого культа въ главѣ XI („Школа и строгость“), получаетъ другое истолкованіе и освѣщеніе. Здѣсь Успенскій, между прочимъ, цитируетъ слѣдующія слова Герцена: „Мнѣ кажется, что есть нѣчто въ русской жизни, что выше общины и государственнаго могущества; это нѣчто трудно уловить словами и еще труднѣе указать пальцемъ. Я говорю о той внутренней, не вполнѣ сознательной силѣ, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ игомъ монгольскихъ ордъ и нѣмецкой бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и западными капральскими палками, о той внутренней силѣ, которая сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина подъ унизительнымъ гнетомъ крѣпостного состоянія...“ и т. д. Это воззрѣніе имѣло, какъ извѣстно, у Герцена нѣкоторый славянофильскій оттѣнокъ. Успенскій, устраняя этотъ оттѣнокъ, берется „уловить словами“ и даже „указать пальцемъ“ эту таинственную „силу“, справедливо не видя въ ней ничего специфически славянскаго или русскаго и находя ее повсюду. Это именно все та же спасительная „власть земли“: „сила“ эта „получается... непосредственно отъ указаній и велѣній природы, съ которою человѣкъ имѣетъ дѣло непрестанно, благодаря тому, что

живетъ особеннымъ, разностороннимъ, умнымъ и благороднымъ трудомъ земледѣльческимъ“ (645).

Власть земли представляется Успенскому въ высокой степени благодѣтельною. Ею объясняетъ онъ ту правдивость высшаго порядка, которою будто бы характеризуется русскій народъ. Въ народной жизни нѣтъ „лжи“ въ смыслѣ выдумки, хитрости, ибо „не перехитришь ни земли, ни вѣтра, ни солнца, ни дождя, а стало быть нѣтъ ея и во всемъ жизненномъ обиходѣ. Въ этомъ отсутствіи лжи, проникающемъ собою всѣ, даже, повидимому, жестокія явленія народной жизни, и есть то наше русское счастье и есть основаніе той вѣры въ себя, о которой говоритъ Герценъ“ (647).

Замѣтимъ мимоходомъ, что чѣмъ ниже будемъ опускаться по ступенямъ культурнаго развитія человѣчества, тѣмъ этой „правды“ отношеній и жизни будетъ больше, — и какой-нибудь дикарь-каннибалъ въ этомъ смыслѣ „правдивѣе“ даже русскаго мужика...

Успенскій здѣсь упускаетъ изъ виду, что умственное и нравственное развитіе, порождаемое прогрессомъ техники (въ обширномъ смыслѣ) и культуры, растущее вмѣстѣ съ властью человѣка надъ природою, сказывается на первыхъ же порахъ явнымъ стремленіемъ бороться съ „зоологическою“ „правдою“ отношеній. А между тѣмъ онъ самъ же указываетъ на моральную проповѣдь старинной „народной интеллигенціи“, къ которой онъ относится съ видимою симпатіей. Но онъ не отмѣчаетъ того обстоятельства, что эта „интеллигенція“ (однимъ изъ лучшихъ представителей которой былъ, напр., Тихонъ Задонскій, стр. 649) кончала тѣмъ, что уходила въ пустыни и монастыри, отрекалась отъ міра и этимъ обнаруживала, во-первыхъ, свою несостоятельность въ борьбѣ съ жестокими нравами и дикими понятіями и, во во-вторыхъ, свою, такъ сказать, ненародность, поскольку ея проповѣдь шла въ разрѣзъ съ натуральною

„правдою“ земледѣльческой культуры архаическаго типа. Успенскій безусловно увлекается и ошибается, когда утверждаетъ, что „интеллигенція“ угодниковъ Божіихъ „внесла въ народную русскую массу бездну всевозможной нравственной и физической опрятности (посты, браки въ извѣстное время года и т. д.)“ [1]). Ошибается онъ также, утверждая, будто стремленіе „угодниковъ“ „развить эгоистическое сердце въ сердце всескорбящее“ и легло въ основаніе старой школы, которая была будто бы преимущественно „моральною“ и проповѣдывала „строгость къ самому себѣ“, т.-е. нравственное самообладаніе. Этимъ Успенскій и объясняетъ непопулярность (въ его время,—теперь времена измѣнились) новой школы, которая „строгости“ не внушаетъ, а вмѣсто того обучаетъ ребятишекъ ненужному крестьянамъ выразительному чтенію и грамматическому разбору. Новая земская школа могла быть на первыхъ порахъ непопулярна, но спрашивается: что болѣе народно—„Родное слово“ Ушинскаго (по крайней мѣрѣ, для великорусскихъ крестьянъ, которыхъ исключительно и имѣетъ въ виду Успенскій), или же церковно-славянскій букварь съ часословомъ и псалтирью?

2.

„Власть земли“ изображаетъ крестьянскую жизнь въ ея разложеніи и вызываетъ у насъ рядъ недоумѣнныхъ вопросовъ, въ томъ числѣ и такой: скорбѣть ли намъ о ея разложеніи или же смотрѣть на него, какъ на неизбѣжное зло, которому приходится, пожалуй, даже радоваться въ убѣжденіи, что оно временное, и въ упованіи, что оно должно при-

---

[1]) Нравственное значеніе постовъ очень сомнительно.—Ограниченіе браковъ извѣстнымъ временемъ года, какъ показалъ тотъ же Успенскій, обусловлено экономическими причинами, и „угодники“ тутъ не при чемъ.— И можно ли серьезно говорить о „безднѣ физической опрятности русской народной массы“?

вести къ лучшему порядку вещей. Все зависитъ отъ того, какъ будемъ мы смотрѣть на власть земли. Для Успенскаго она—въ принципѣ—великое благо. Но съ другой, болѣе раціональной и научной точки зрѣнія, она, если и можетъ называться относительнымъ благомъ, то только на низшихъ ступеняхъ культурнаго развитія, гдѣ она неизбѣжна. Но она безусловно подлежитъ отрицанію и упраздненію на высшихъ, когда въ распоряженіи цивилизованныхъ народовъ уже имѣются вѣками добытыя техническія, культурныя и политическія средства для того, чтобы превратить власть природы надъ человѣкомъ во власть человѣка надъ природою. Какъ принижаетъ и обезличиваетъ людей власть земли, какъ она ограничиваетъ ихъ кругозоръ и мѣшаетъ имъ выйти изъ узкой сферы классовыхъ и профессіональныхъ интересовъ, мы это увидимъ сейчасъ на матеріалѣ очерковъ „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ". Но сперва намъ необходимо установить, такъ сказать, историческую перспективу и перенестись лѣтъ за 25 назадъ, чтобы отвлечься отъ современнаго положенія вещей.

За эти 25 лѣтъ рядъ крупныхъ событій, имѣвшихъ общенародное и государственное значеніе, потрясъ всѣ основы, на которыхъ зиждилась власть земли надъ русскимъ крестьяниномъ. Уже Успенскій отмѣтилъ все увеличивающееся разложеніе стародавнихъ устоевъ народной жизни, ростъ городовъ и фабрикъ, отливъ деревенскаго населенія въ города, оскудѣніе деревни и т. д. Реакція 80-хъ годовъ могущественно содѣйствовала этому процессу тѣмъ, что парализовала всѣ усилія лучшихъ людей и земствъ оздоровить деревню, поднять крестьянское хозяйство, помочь крестьянину въ его борьбѣ съ природой, создать сносныя условія земледѣльческаго труда. Земство въ своей дѣятельности, направленной именно ко благу народныхъ массъ (школы, земская статистика и медицина и т. д.), встрѣчало множество препятствій, часто непреодолимыхъ. Институтъ земскихъ на-

чальниковъ, одинаково ненавистный какъ передовой части общества, такъ и крестьянамъ, наложилъ новыя оковы на мужика, въ силу чего онъ оказался еще безпомощнѣе въ борьбѣ съ природою,—и власть земли придавила его тяжестью стихійныхъ бѣдствій, довершившихъ его матеріальное и духовное оскудѣніе. Недороды, неурожаи, рядъ голодныхъ годовъ, холера, хроническое недоѣданіе обнаружили всю силу власти стихій и все безсиліе русской земледѣльческой и общей матеріальной культуры, а равно и культуры умственной. А реакція, сковывшая всѣ живыя силы Россіи, росла и ширилась, вмѣстѣ съ разорительной экономической и финансовой политикой, пока, наконецъ, не достигла того предѣла, на которомъ она перестаетъ пугать и только раздражаетъ и возмущаетъ всѣхъ и каждаго. Въ 90-хъ годахъ вдругъ обнаружилось, что русскіе обыватели перестали бояться начальства. Оппозиціонное настроеніе выразилось въ небывалыхъ дотолѣ размѣрахъ. Революціонное движеніе, казалось, заглохшее въ 80-хъ годахъ, пріобрѣло невиданную силу и быстро пошло и вширь и вглубь. Тѣмъ временемъ и фабрика свое дѣло дѣлала. Рабочій пролетаріатъ организуется по западно-европейскому образцу, достигаетъ извѣстной высоты классоваго самосознанія, пріучается къ планомѣрной защитѣ своихъ интересовъ путемъ стачекъ и забастовокъ и, наконецъ, выдѣляетъ изъ себя соціалъ-демократическую партію, революціонно настроенную. Безумная затѣя правительства Плеве—овладѣть этимъ движеніемъ въ интересахъ реакціи („зубатовщина")—только подлила масла въ огонь. Роковая для всей реакціонной Россіи война съ Японіей довершила остальное. За войной послѣдовало усиленное освободительное движеніе, захватившее не только широкіе круги общества, но и глубокіе слои народныхъ массъ. Россія вступила въ періодъ тяжелой ломки всѣхъ основъ политическаго строя и теперь переживаетъ трудные роды конституціонныхъ формъ...

Рядъ намѣченныхъ реформъ, ставшихъ неотложною потребностью историческаго момента, благотворно отразится (предполагая, что онѣ будутъ осуществлены) прежде всего на крестьянствѣ. Онѣ призваны освободить народъ не только отъ власти земскихъ и иныхъ начальниковъ въ томъ же родѣ, но и отъ власти земли, ибо предстоящее надѣленіе крестьянъ землею (на тѣхъ или иныхъ основаніяхъ, но во всякомъ случаѣ настоятельно необходимое) приведетъ. благодаря свободѣ и просвѣщенію, къ той высотѣ культурнаго развитія, на которой земледѣлецъ перестаетъ быть „мужикомъ" и становится гражданиномъ, достаточно вооруженнымъ всѣми средствами, какія даетъ цивилизація, для разумной и планомѣрной хозяйственной и культурной дѣятельности.

Таково положеніе вещей и таковы возможныя перспективы...

Вотъ именно намъ и нужно теперь отвлечься отъ этой картины, отъ этихъ перспективъ и перенестись за 25 лѣтъ —въ ту эпоху, когда, послѣ трагической смерти императора Александра II, наступило какое-то оцѣпенѣніе и водворилась на нашихъ необъятныхъ пространствахъ удручающая „тишина", близкая къ летаргіи. Среди этой тишины, въ числѣ немногихъ голосовъ, звучавшихъ искренне и правдиво, раздавался и голосъ Глѣба Успенскаго, все вниманіе котораго сосредоточивалось тогда на „крестьянинѣ", на его житьѣ-бытьѣ, на его „крестьянскомъ трудѣ".

Успенскій искалъ „настоящаго" крестьянина, живущаго исключительно земледѣльческимъ трудомъ и чуждающагося всякихъ иныхъ заработковъ, по крайней мѣрѣ, такихъ, которые наносятъ ущербъ земледѣлію и противорѣчатъ „трудовой этикѣ" и исконному „міросозерцанію" крестьянина. Такой „идеальный" крестьянинъ нашелся въ лицѣ Ивана Ермолаевича, при первомъ же знакомствѣ съ которымъ Успенскій отмѣтилъ трудность и даже невозможность добиться

взаимнаго пониманія: точно эти два русскихъ человѣка, мужикъ Иванъ Ермолаевичъ и писатель Глѣбъ Ивановичъ Успенскій,—люди разныхъ міровъ, разныхъ эпохъ, и между ними не можетъ быть ничего общаго. Это иллюстрируется детально рядомъ мелкихъ фактовъ. „Ни малѣйшаго, мало-мальски общаго интереса между нами не образовалось; все, что интересно мнѣ, ни капельки не интересно для Ивана Ермолаевича" (II, 521). Идеальному хозяйственному мужичку совершенно чуждо рѣшительно все, что выходитъ за предѣлы его ближайшихъ крестьянскихъ интересовъ, его хозяйства, его традиціонныхъ понятій,—и пропасть между нимъ и, напримѣръ, Успенскимъ, какъ представителемъ русской передовой, демократической интеллигенціи, гораздо больше той, какая отдѣляетъ этого послѣдняго, напримѣръ, отъ нѣмецкаго бюргера, отъ французскаго буржуа, отъ англійскаго лорда. Иванъ Ермолаевичъ—законченный классовый типъ, а извѣстно, какъ раздѣляетъ людей классовая психологія, если она вылилась въ стойкія формы и выработала черты, ставшія инстинктами. Классовая психологія выростаетъ на экономической основѣ и всегда заключаетъ въ себѣ элементы еще другой психологіи—профессіональной. Если весь или почти весь личный составъ класса занимается преимущественно однимъ и тѣмъ же трудомъ (какъ наше крестьянство—земледѣліемъ), то происходитъ какъ бы сращеніе классовой психологіи съ профессіональной, и въ результатѣ получается душевный укладъ, отличающійся особливою замкнутостью, одноидейностью и неподвижностью. Иванъ Ермолаевичъ психологически отгороженъ отъ всего міра, за исключеніемъ такихъ же Ивановъ Ермолаевичей какъ русскихъ, такъ и иноплеменныхъ (этотъ архаическій типъ всего менѣе націоналенъ), и отгороженъ онъ не тѣмъ, что необразованъ, теменъ (образованіе—дѣло наживное), а всѣмъ складомъ своей жизни, условіями своего труда, крайне неблагопріятными для развитія личности и властно замыкающими ее въ узкія

рамки класса и профессіи. Хваленая разносторонность земледѣльческаго труда оказывается условіемъ, вовсе не благопріятствующимъ разностороннему развитію личности. Успенскій подробно говоритъ о массѣ мелочей хозяйственнаго обихода, поглощающихъ вниманіе Ивана Ермолаевича. И выходитъ, что психика Ивана Ермолаевича всецѣло завалена этими мелочами, не дающими ему возможности заинтересоваться чѣмъ бы то ни было посторонниимъ и притупляющими его мысль. И очевидно, что, при сохраненіи все той же власти земли, эта замкнутость и отчужденность крестьянина будутъ только усиливаться вмѣстѣ съ упроченіемъ его хозяйственнаго положенія. Хорошо обезпеченные и хозяйственно-процвѣтающіе Иваны Ермолаевичи застынутъ въ неподвижныхъ формахъ земледѣльческой касты, упорно хранящей завѣты предковъ, традицію архаическаго міросозерцанія и старозавѣтныхъ нравовъ, въ которыхъ, конечно, есть свои хорошія черты, есть свое „благообразіе", но которые, въ своей совокупности, приводятъ къ классовому эгоизму, къ замкнутости и къ упорному консерватизму. Мало того: Иваны Ермолаевичи, при извѣстныхъ условіяхъ, легко выдѣляются изъ крестьянской массы и создаютъ другую классовую среду — мелкобуржуазную земледѣльческую среду, обычно отличающуюся узкостью кругозора, политическимъ индифферентизмомъ и отсутствіемъ высшихъ интересовъ.

Въ главѣ II („Общій взглядъ на крестьянскую жизнь") Успенскій съ изумленіемъ отмѣчаетъ равнодушіе Ивана Ермолаевича къ общимъ интересамъ деревни, его отрицательное отношеніе къ мысли о дружномъ, совмѣстномъ трудѣ на общую пользу. Вѣками хозяйничали Иваны Ермолаевичи и не создали ничего въ интересахъ крестьянства. „Не осталось отъ прародителей ни путей сообщенія, ни мостовъ, ни малѣйшихъ улучшеній, облегчающихъ трудъ. Мостъ, который вы увидите, построенъ потомками и еле держится. Всѣ орудія труда первобытны, тяжелы, неудобны и т. д. Праро-

дители оставили Ивану Ермолаевичу непроѣздное болото... и, какъ мнѣ кажется, Иванъ Ермолаевичъ оставитъ своему мальчишкѣ болото въ томъ же самомъ видѣ..." (531). Но Успенскій идетъ еще дальше. Онъ указываетъ на изумительное „равнодушіе" Ивановъ Ермолаевичей „къ собственной выгодѣ", и на стр. 531—532 подробно говоритъ о томъ, какъ мѣстные крестьяне предоставляютъ кулакамъ выгоднѣйшее дѣло (сбытъ сѣна), вмѣсто того, чтобы самимъ—общими силами, „міромъ"—взяться за это дѣло, которое сразу подняло бы ихъ общее благосостояніе. „Ежегодно деревня накашиваетъ до 40.000 пудовъ сѣна и ежегодно кулачишко кладетъ въ карманъ болѣе 5.000 руб. сер. крестьянскихъ денегъ у всѣхъ на глазахъ, не шевеля пальцемъ".— „Много и долго", говоритъ Успенскій, „распространялся я въ бесѣдахъ съ Иваномъ Ермолаевичемъ иногда на тему о непониманіи собственной пользы, о грабительствѣ, которому служатъ Иваны Ермолаевичи своими трудами и руками, и т. д. И все—какъ къ стѣнѣ горохъ! О всякихъ коллективныхъ оборонахъ противъ всевозможныхъ современныхъ золъ, идущихъ на деревню, не могло быть и рѣчи..." Здѣсь же Успенскій отмѣчаетъ поразительную неосвѣдомленность Ивана Ермолаевича о томъ, куда, кому и зачѣмъ онъ платитъ, о земствѣ, о выборахъ въ гласные и т. д.—„Онъ твердо былъ увѣренъ, что все это до него ни капли не касается" (534).

Иванъ Ермолаевичъ—положительный крестьянскій типъ. Онъ—человѣкъ, весь проникнутый идеалами земледѣльческаго труда и его „поэзіей", раскрытію которой Успенскій посвящаетъ особую главу (III). Иванъ Ермолаевичъ—не кулакъ, не эксплоататоръ деревни и не захудалый, „ослабѣвшій" мужикъ (какъ Иванъ Босыхъ). И вотъ оказывается, что этотъ положительный типъ крестьянина рѣшительно не приспособленъ къ борьбѣ за существованіе и не обнаруживаетъ никакой жизнеспособности. Это—типъ исчезающій. Иваны Ермолаевичи не въ силахъ оздоровить деревню и не

спасутъ себя отъ обнищанія, отъ обезземеленія. На нихъ съ одной стороны будутъ все сильнѣе напирать кулаки, а съ другой — противъ нихъ же выступитъ и деревенскій пролетаріатъ, „4-ое сословіе“ деревни, на которое Успенскій смотритъ, какъ на элементъ чрезвычайно опасный. Въ результатѣ писатель-народникъ предвидитъ большія бѣдствія на почвѣ аграрной неурядицы и крушеніе земледѣльческой идеологіи крестьянства...

Этотъ процессъ—разложенія „устоевъ“ деревни и измѣненія крестьянской психологіи въ какомъ-то, тогда еще не ясномъ, направленіи—быстро пошелъ впередъ въ 90-хъ годахъ. Это не была ускоренная эволюція типа,—это былъ процессъ его радикальнаго преобразованія подъ ударами событій, подъ вліяніемъ духа времени и всѣхъ условій нашей внутренней политики. Земледѣльческій типъ, представителемъ котораго является Иванъ Ермолаевичъ, при нормальномъ ходѣ вещей могъ бы либо совсѣмъ окоченѣть въ своемъ архаическомъ видѣ, либо превратиться въ типъ мелкобуржуазный—земледѣльческій. При ненормальномъ ходѣ вещей, какъ это и было у насъ, онъ быстро теряетъ одну за другой свои старыя черты, хорошія и дурныя, и попадаетъ въ чуждую ему колею, по которой онъ и идетъ въ направленіи психологической эмансипаціи отъ вѣковыхъ традицій, въ томъ числѣ и отъ узкихъ „земледѣльческихъ идеаловъ“ и односторонней классовой этики крестьянства. Мало-по-малу въ этой, дотолѣ неподвижной, средѣ возникаютъ новые интересы и стремленія. Уже въ 90-хъ годахъ былъ отмѣченъ несомнѣнный успѣхъ народной земской школы; грамотность распространялась вопреки всѣмъ стараніямъ реакціи противодѣйствовать ей. Въ народную среду стала проникать газета и популярная книжка,—и появились признаки возникновенія новой народной „интеллигенціи“. Еще недавно крайне рѣдкій, типъ крестьянина грамотея, который хорошо знаетъ, что такое земство, и куда, кому и зачѣмъ

онъ платитъ, сталъ распространяться съ неожиданною быстротою...

Не трудно понять, какъ все это должно было отразиться на „стройномъ міросозерцаніи“ Ивановъ Ермолаевичей. Въ этомъ міросозерцаніи нужно различать сторону классовую и профессіональную (о чемъ мы говорили выше) и сторону, такъ сказать, политическую. Основы первой пошатнулись, и это произвело если не крушеніе второй, то, по крайней мѣрѣ, огромную пертурбацію въ ней.

Ошибка нашихъ народниковъ состояла, между прочимъ, въ томъ, что они, не исключая и Успенскаго, всегда отдѣляли эти двѣ стороны и думали, что крестьянство можетъ просвѣтиться и доработаться до болѣе прогрессивныхъ политическихъ идей, сохраняя въ неприкосновенности свое исконное земледѣльческое міросозерцаніе. На эту ошибку указалъ Г. В. Плехановъ (Бельтовъ). Въ статьѣ о народникахъ-беллетристахъ онъ, между прочимъ, приводитъ отзывъ покойнаго И. С. Аксакова, который (въ одномъ частномъ письмѣ) утверждалъ, что „народничество есть не болѣе какъ искаженное славянофильство“, что „народники присвоили себѣ всѣ основы славянофильства, отбросивъ всѣ вытекающіе изъ нихъ выводы“. Но Аксаковъ предвидитъ, что „жизнь рано или поздно научитъ ихъ уму-разуму“.—Это предсказаніе не оправдалось: народники не восприняли „выводовъ“ славянофильства, которые въ это время уже стали совсѣмъ реакціонными. Народники-разночинцы, какъ справедливо говоритъ Бельтовъ, были люди слишкомъ образованные, чтобы принять эти „выводы“. Но они не могли отказаться отъ идеализаціи „земледѣльческаго міросозерцанія“, отъ культа мужика въ его архаическомъ видѣ, и попрежнему не видѣли, что „девизъ старой офиціальной народности—вотъ тотъ девизъ, котораго должны были бы держаться всѣ, восхищающіеся „стройностью“ міросозерцанія Ивана Ермолаевича“ (Бельтовъ, „За 20 лѣтъ“, 55). Правовѣрные народники

думали, что крушеніе идей „офиціальной народности“ есть только вопросъ времени и просвѣщенія и что послѣ ихъ паденія земледѣльческіе идеалы крестьянства, освободившись отъ этого налета, расцвѣтутъ еще пышнѣе, и „міросозерцаніе“ Ивановъ Ермолаевичей станетъ еще „стройнѣе“ и и чище... Глѣбъ Успенскій не раздѣлялъ этихъ иллюзій. Онъ, повидимому, склоненъ былъ думать, что разложеніе крестьянской жизни и „земледѣльческихъ идеаловъ“ пойдетъ еще быстрѣе послѣ реформы политической. Будущая „конституція“ рисовалась ему въ чертахъ далеко не демократическихъ, а демократическій идеалъ онъ—по общей всѣмъ народникамъ ошибкѣ—отожествлялъ съ народничествомъ, съ культомъ мужика и признаніемъ „святости“ земледѣльческой идеологіи, основанной на власти земли.

3.

Успенскій сошелъ со сцены, не успѣвъ разобраться въ своихъ противорѣчіяхъ и недоумѣніяхъ. Вскорѣ послѣ того они были разъяснены Бельтовымъ, который, между прочимъ, указывалъ на неосвѣдомленность Успенскаго въ экономическихъ и соціологическихъ вопросахъ, откуда у него—смѣшеніе явленій разнаго порядка и теорій весьма различнаго достоинства. Оттуда же и наивность его проектовъ. На стр. 59—61 своей статьи Бельтовъ проводитъ остроумную параллель между идеализированной Успенскимъ психологіей крестьянина въ родѣ Ивана Ермолаевича и психологіей дикарей, и рядомъ указаній изъ соціологической и этнографической литературы разрушаетъ всѣ иллюзіи Успенскаго насчетъ „разносторонности“ труда и мысли мужика, „полноты“ его жизни, стройности его міросозерцанія. Столь же уничтожающей критикѣ подвергаетъ Бельтовъ и экономическіе взгляды Успенскаго на раздѣленіе труда, его сѣтованія о томъ, что крестьяне перестаютъ заниматься кустар-

нымъ промысломъ, не выдерживая конкуренціи съ фабрикой, наконецъ—его мысли по поводу факта, кажущагося ему отраднымъ, что нѣмцы-колонисты (Саратовской губ.) „стали брать фабричную работу на домъ“ и выдѣлывать сарпинку, „которая оказалась и лучше, и прочнѣе, и дешевле какъ заграничной, такъ и московской...“ Бельтовъ по этому поводу напоминаетъ читателямъ, что это явленіе, извѣстное подъ именемъ „домашней промышленности“ (Hausindustrie), существуетъ и въ Зап. Европѣ, и тамъ спеціальныя изслѣдованія давно уже доказали пагубность и ужасающій эксплоататорскій характеръ этой формы производства.

Въ другомъ мѣстѣ (стр. 46—48) Бельтовъ приводитъ одно поразительное по глубинѣ мысли и скорбнаго чувства мѣсто изъ „Мелочей путевыхъ воспоминаній“, отмѣчая нѣкоторыя неточности въ немъ, но въ то же время поясняя глубокій смыслъ того настроенія, которое въ немъ выразилось. Путешествуя по Каспійскому морю, Успенскій видѣлъ уловъ рыбы. На его вопросъ: „какая это рыба?“ ему отвѣтили: „Теперича пошла вобла... Теперича она сплошь пошла...“ Этотъ отвѣтъ, въ особенности же словечко „сплошь“ вызвали въ умѣ Успенскаго иной образъ и рядъ скорбныхъ мыслей, для которыхъ вобла послужила образомъ—стимуломъ, метафорой: „Да, вотъ отчего мнѣ и тоскливо“, подумалъ онъ. „Теперь пойдетъ „все сплошь“. И сомъ сплошь претъ, цѣлыми тысячами, цѣлыми полчищами... и вобла тоже сплошь идетъ, милліонами существъ „одна въ одну“, и народъ пойдетъ тоже „одинъ въ одинъ“ и до Архангельска, и отъ Архангельска до „Адесты“, и отъ „Адесты“ до Камчатки, и отъ Камчатки до Владикавказа и дальше, до персидской, до турецкой границы... До Камчатки, до „Адесты“, до Петербурга, до Ленкорана,—все пойдетъ сплошное, одинаковое, точно чеканное: и поля, и колосья, и земля, и небо, и мужики, и бабы, все одно въ одно, одинъ въ одинъ, съ одними сплошными красками, мыслями, костюмами, съ однѣми пѣснями...

Все сплошное,—и сплошная природа, и сплошной обыватель, сплошная нравственность, сплошная правда, сплошная поэзія, словомъ однородное стомилліонное племя, живущее какой-то сплошной жизнью, какой-то коллективной мыслью и только въ сплошномъ видѣ доступное пониманію. Отдѣлить изъ этой милліонной массы единицу, положимъ, хоть нашего деревенскаго старосту Семена Никитича, и попробовать понять его—дѣло невозможное... Семена Никитича можно понимать только въ кучѣ другихъ Семеновъ Никитичей. Вобла сама по себѣ стоитъ грошъ, а милліонъ воблы—капиталъ, а милліонъ Семеновъ Никитичей составляютъ тоже полное интереса существо, организмъ, а одинъ онъ, со своими мыслями, непостижимъ и неизучимъ... Сейчасъ вотъ онъ сказалъ пословицу: кто чѣмъ не торгуетъ, тотъ тѣмъ и не воруетъ. Что же, это онъ самъ выдумалъ? Нѣтъ, это выдумалъ океанъ людской, въ которомъ онъ живетъ, точь въ точь какъ Каспійское море выдумало воблу, а Черное—камбалу. Самъ Семенъ Никитичъ не запомнитъ за собой никакой выдумки. „Мы этимъ не занимаемся,—нешто мы учены", говоритъ онъ, когда спросишь его о чемъ-нибудь самого. Но онъ, опять-таки этотъ Семенъ Никитичъ, исполненный всевозможной чепухи по части личнаго мнѣнія, дѣлается необыкновенно умнымъ, когда начнетъ предъявлять мнѣнія, пословицы, цѣлыя нравоучительныя повѣсти, созданныя невѣдомо кѣмъ, океаномъ Семеновъ Никитичей, сплошнымъ умомъ милліоновъ. Тутъ и быль, и поэзія, и юморъ, и умъ... *Да, жутковато и страшно жить въ этомъ людскомъ океанѣ...*" [1]).

Это одна изъ яркихъ страницъ Успенскаго... Отдѣльныя мысли, въ ней выраженныя, могутъ быть опровергнуты, одна за другою, и все-таки цѣлое останется неопровергнутымъ... Плехановъ справедливо возражаетъ, что населеніе Россіи

---

1) Курсивъ мой.

вовсе не составляетъ однороднаго стомилліоннаго племени. Легко указать и другія „ошибки“. Кромѣ большого рассоваго и этнографическаго разнообразія, племена, населяющія Россію, отличаются еще по мѣстностямъ—особыми формами быта, нравовъ, понятій, наконецъ, различаются даже въ отношеніяхъ сельскохозяйственномъ и экономическомъ. Можно еще указать на ошибочность мнѣнія, будто народъ „сплошнымъ“ творчествомъ создалъ быль, сказку, пѣсню, пословицу, нравоучительную повѣсть и т. д. Все это — продукты личнаго (а не коллективнаго) творчества, и, какъ теперь установлено, значительнѣйшая часть произведеній нашей „народной“ словесности—прямо книжнаго происхожденія. Этого Успенскій могъ не знать, но другія „ошибки“ онъ, безъ всякаго сомнѣнія, самъ исправилъ бы, какъ, напр., то, что отъ Каспійскаго моря до Петербурга „пойдетъ“ все „сплошное“, одинаковое—и народъ, и даже природа. Но если бы онъ все это „исправилъ“—онъ испортилъ бы всю страницу.

Онъ, разумѣется, хорошо зналъ, какъ разнообразны во всѣхъ отношеніяхъ племена, населяющія Россійскую имперію, но въ его созерцаніи народныхъ массъ, въ его скорбной мысли о нихъ это разнообразіе, какъ бы велико оно ни было, стушевывалось,—различія отпадали, и выступало наружу то общее, что дѣйствительно объединяетъ въ сплошную массу великоросса, украинца, бѣлорусса, олонецкаго мужика-рыболова и землепашца центральныхъ и южныхъ губерній и т. д. Это именно—отсутствіе или слабое развитіе личности, личной мысли и иниціативы, поглощеніе человѣка средою, массою. При этомъ рѣшительно все равно, обезличивается ли человѣкъ въ своей ближайшей соціальной средѣ, какъ, напр., великорусскій крестьянинъ въ своемъ „мірѣ“, или же тонетъ въ болѣе широкой племенной. Въ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ этнографическія различія между племенами, но индивидуальность человѣческая, при

слабости умственнаго развитія и отсталыхъ формахъ общественности, подавляется и обезцвѣчивается въ этнографической группѣ, дѣйствительно, такъ, какъ отдѣльная вобла исчезаетъ въ милліонной массѣ „сплошь идущей“ воблы. И вотъ, когда мы созерцаемъ, такъ сказать, съ высоты птичьяго полета эти народныя массы, то краски, звуки рѣчи, костюмы и всѣ этнографическія и бытовыя различія сливаются и исчезаютъ, и ничего не видно, кромѣ того, что эта масса—сплошная и живетъ, движется, мыслитъ коллективно, оптомъ, а не силами человѣческой индивидуальности. Спускаясь съ облаковъ на землю, въ эту самую массу, наблюдатель убѣждается въ томъ, что съ высоты птичьяго полета онъ лучше увидалъ то, чѣмъ эта масса по преимуществу характеризуется, именно — поглощеніе личности средою, обезличеніе человѣка. А это и есть то самое, что пугаетъ интеллигентнаго человѣка, отъ чего ему становится „жутковато“ и „страшно“. — Успенскій говоритъ дальше: „Милліоны живутъ, „какъ прочіе“, при чемъ каждый отдѣльно изъ этихъ прочихъ чувствуетъ и сознаетъ, что „во всѣхъ смыслахъ“ цѣна ему грошъ, какъ воблѣ, и что онъ что-нибудь значитъ только въ кучѣ... Жутковато было сознавать это“...

Интеллигентный человѣкъ, будь онъ самый упорный народникъ, не можетъ не ужаснуться при мысли, что человѣку цѣна грошъ, да еще „во всѣхъ смыслахъ“...

Стихійное тяготѣніе къ народу, стремленіе потонуть въ океанѣ народной жизни, столь живое у лучшихъ людей 70-хъ годовъ, здѣсь превращается въ страхъ передъ этой стихіей, гдѣ личность человѣческая обезцѣнивается и исчезаетъ, и гдѣ вступаютъ въ силу законы массовой психологіи. „Сліяніе съ народомъ“ моментально теряетъ всю свою поэзію. Оно превращается въ обезличеніе, въ самозакланіе личности, не искупаемое никакой надеждой на возможность вліять, просвѣщать, „дѣйствовать“ въ народной средѣ. Какъ можетъ капля „дѣйствовать“ въ океанѣ?

Это скорбное сознаніе, этотъ ужасъ передъ сплошной стихіей народныхъ массъ были послѣднимъ итогомъ, къ которому привело развитіе народническаго идеализма. Это былъ психологическій симптомъ начавшагося поворота въ чувствахъ, настроеніяхъ и идеологіи передовой интеллигенціи и предвѣстникъ наступленія новаго фазиса въ развитіи демократическихъ идей въ Россіи.

И вскорѣ на этомъ поворотѣ обозначились новыя мысли и новыя перспективы. Нельзя лучше выразить ихъ, какъ слѣдующими словами Бельтова: „Русскій народъ дѣйствительно живетъ „сплошною" жизнью, созданною не чѣмъ инымъ, какъ условіями земледѣльческаго труда. Но „сплошной бытъ" не есть еще человѣческій бытъ въ настоящемъ смыслѣ слова этого. Онъ характеризуетъ собою ребяческій возрастъ человѣчества; черезъ него должны были пройти всѣ народы, съ тою только разницей, что счастливое стеченіе обстоятельствъ помогло нѣкоторымъ изъ нихъ отдѣлаться отъ него. И только тѣ народы, которымъ это удавалось, становились дѣйствительно цивилизованными народами. Тамъ, гдѣ нѣтъ внутренней выработки личности, тамъ, гдѣ умъ и нравственность еще не утратили своего „сплошного характера",—тамъ, собственно говоря, нѣтъ еще ни ума, ни нравственности, ни науки, ни искусства, ни сколько-нибудь сознательной общественной жизни [1]). Мысль человѣка спитъ тамъ глубокимъ сномъ, а вмѣсто нея работаетъ объективная логика фактовъ и самою природою навязанныхъ человѣку отношеній производства, земледѣльческаго или иного труда"... („За 20 лѣтъ", 48).

Не трудно видѣть, что этотъ порядокъ мыслей, выдвигая впередъ идею примата экономическихъ отношеній, въ то же время приводитъ и къ идеѣ самоопредѣляющейся

[1]) Курсивъ мой.

нравственно-автономной личности. Достоинство и прогрессивность тѣхъ или другихъ укладовъ соціальныхъ отношеній оцѣнивается здѣсь, въ концѣ концовъ, съ точки зрѣнія интересовъ развитія личности. Та культура выше, которая даетъ больше простора этому развитію. Прогрессъ сводится къ созданію такихъ условій труда и формъ быта, при которыхъ всѣмъ и каждому безъ различія „званія и состоянія", происхожденія и пола, рассы и національности открывалось бы широкое поприще для личнаго совершенствованія, для всесторонней разработки своей человѣческой индивидуальности, для освобожденія личности ото всего „сплошного", что нивеллируетъ и опошливаетъ людей, подводя ихъ подъ одну мѣрку.

Это дѣйствительно,—коренной вопросъ и исторіи человѣчества, и соціологіи, и психологіи, и соціальной политики. Демократическія требованія, всюду предъявляемыя съ большею или меньшею настойчивостью (какъ, напр., всеобщее, для всѣхъ равное избирательное право), должны быть разсматриваемы какъ симптомъ роста личности,—процесса, уже не ограничивающагося предѣлами высшихъ и образованныхъ классовъ, но, такъ сказать, эпидемически распространяющагося во всѣхъ слояхъ, не исключая мелкобуржуазныхъ и земледѣльческихъ.

И вотъ, если мы возьмемъ на себя трудъ присмотрѣться нѣсколько ближе къ этимъ процессамъ человѣческой индивидуализаціи въ разныя времена и у разныхъ народовъ, то убѣдимся, что это—явленіе очень древнее, что личность обособлялась (индивидуализировалась) такъ или иначе при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ и формахъ общественности. Мы найдемъ болѣе или менѣе ясные признаки развитія личности уже въ старыхъ цивилизаціяхъ востока,—въ Египтѣ, въ Индіи, въ Месопотаміи, въ Палестинѣ. Мы найдемъ уже настоящій расцвѣтъ личности у древнихъ грековъ и римлянъ. Но въ древности и въ средніе вѣка этотъ процессъ

индивидуализаціи человѣка подвигался впередъ и распространялся медленно и туго. Прозябая на почвѣ классовой и профессіональной дифференціаціи, ростки личной психологіи скоро подавлялись наплывомъ новыхъ волнъ „сплошной“, массовой психологіи. Вынырнувъ на короткое время изъ нѣдръ племенной группы, личность опять опускалась въ глубь и тонула въ однообразной этнической психикѣ народа. Повсюду, гдѣ, вслѣдствіе слабаго развитія техники, человѣкъ подпадалъ подъ власть природы, равно какъ и на тѣхъ ступеняхъ экономическаго развитія, на которыхъ человѣкъ оказывался порабощеннымъ не прямо природѣ, а орудіямъ и условіямъ своего труда (не машина при человѣкѣ, а человѣкъ при машинѣ), воздвигались трудно преодолимыя препятствія распространенію высшей умственной культуры и тѣсно связанному съ нею развитію личности. Личность одинаково подавляется, обезличивается и обезцѣнивается какъ при слабости труда и отсталости техники (крайній примѣръ—дикари), такъ и при чрезмѣрности труда, вооруженнаго болѣе совершенной техникой (примѣромъ можетъ служить рабочій классъ въ странахъ, гдѣ капиталистическое производство находится еще въ начальномъ фазисѣ развитія).—Въ исторіи человѣчества извѣстны эпохи, когда различные классы, какъ высшіе, такъ и низшіе, въ силу различныхъ соціальныхъ причинъ, представляли собою сплошную—въ предѣлахъ отдѣльныхъ классовъ—психологію, сквозь которую личность пробивалась лишь изрѣдка, при исключительно-благопріятныхъ обстоятельствахъ. Но, съ другой стороны, извѣстны эпохи, когда въ различныхъ слояхъ населенія, не исключая и низшихъ, личность обособлялась съ большею легкостью. Такъ было въ античной древности, въ особенности на ея склонѣ, въ послѣднія времена Римской имперіи, затѣмъ еще въ большихъ размѣрахъ—въ эпоху Возрожденія. Въ XVII-мъ и XVIII-мъ вѣкахъ развитіе психологическаго индивидуализма пошло быстро впередъ.

XIX-ый вѣкъ въ этомъ отношеніи рѣзко выдѣляется изъ ряда другихъ эпохъ: индивидуализація личности проникла во всѣ слои населенія, по крайней мѣрѣ въ передовыхъ странахъ Европы.

Можно сказать, что если, съ одной стороны, тенденція къ „сплошной" психологіи, къ одноидейности, къ соціальному шаблону является коренною чертою человѣка, какъ существа общественнаго, то, съ другой стороны, и стремленіе къ индивидуализаціи должно быть признано свойствомъ не менѣе основнымъ, обусловленнымъ дѣйствіемъ біо-психическихъ силъ. Общество состоитъ изъ особей. Человѣкъ, даже совсѣмъ лишенный психологической индивидуальности и цѣликомъ потонувшій въ соціальной средѣ, человѣкъ—„вобла", которому цѣна грошъ, тѣмъ не менѣе представляетъ собою физіологическую и психо-физическую индивидуальность. Если, какъ говорятъ, нѣтъ двухъ листковъ на деревѣ, которые были бы вполнѣ тожественны, не представляя никакихъ индивидуальныхъ уклоненій, то тѣмъ болѣе не можетъ быть двухъ человѣческихъ существъ, даже двухъ дикарей, безусловно тожественныхъ. Психо-физическая индивидуализація, безъ сомнѣнія, возникла уже въ первобытномъ человѣчествѣ, и съ тѣхъ поръ она является естественною, біо-психическою почвою, на которой, при мало-мальски благопріятныхъ соціальныхъ условіяхъ, возникаетъ и чисто-психологическая индивидуализація. Личность (въ противоположность особи) есть продуктъ прогрессирующей соціальности, но тотъ матеріалъ, изъ котораго вырабатывается психологическая личность, именно психо-физическая дифференціація, данъ заранѣе. Предокъ человѣка былъ физіологическою особью раньше, чѣмъ сталъ животнымъ общественнымъ, стаднымъ. Слѣдовательно, индивидуализація есть нѣчто, такъ сказать, первородное, исконное. Оттуда и та естественность, непроизвольность, съ какою психологическая индивидуализація пробивается уже съ древнѣйшихъ временъ, такъ ска-

зать, при всякомъ удобномъ и даже неудобномъ случаѣ. Нѣтъ ничего искусственнаго, вынужденнаго въ развитіи личности, какъ мы наблюдаемъ этотъ процессъ въ исторіи человѣчества. Оттуда и тотъ, на первый взглядъ странный, фактъ, что народное поэтическое и вообще умственное творчество, какъ это теперь доказано, вовсе не коллективно, а почти такое же личное творчество, какъ и то, которое принадлежитъ образованнымъ классамъ. Пѣсни, былины, сказки и т. д. создаются не массой, а отдѣльными лицами, отдѣльными умами и талантами, обособившимися и вышедшими изъ рамокъ „сплошной" народной психологіи и воспринявшими продукты чужого творчества (чужого — въ классовомъ, а также и въ племенномъ смыслѣ), созданные раньше.

Эти обособившіяся личности и образуютъ то, что можно назвать „народной интеллигенціей". Прогрессирующіе народы всегда, даже въ эпохи господства „сплошной" классовой и племенной психологіи, выдѣляли свою „интеллигенцію", которая нерѣдко становилась въ оппозицію господствующимъ понятіямъ и нравамъ. Вспомнимъ, напр., древнееврейскихъ пророковъ, древнихъ греческихъ мудрецовъ, даже нашихъ кіево-печерскихъ монаховъ и лѣтописцевъ XI—XII вѣковъ.

Но есть большое различіе между интеллигенціей высшихъ, образованныхъ классовъ и интеллигенціей народныхъ массъ. Процессъ индивидуализаціи личности гораздо сильнѣе выраженъ въ первой, чѣмъ во второй. Народная, въ особенности земледѣльческая (крестьянская) масса представляетъ собою среду, наименѣе благопріятную для успѣховъ индивидуализаціи и для умственнаго развитія. Оттого и сама народная „интеллигенція" отличается однообразіемъ и скудостью идей, и постороннему наблюдателю очень трудно уловить признаки личнаго творчества въ народной пѣснѣ, былинѣ, сказкѣ и въ самой идеологіи народныхъ массъ.

Тутъ изслѣдователю приходится производить тщательныя разысканія, своего рода „микроскопическія“ изслѣдованія, чтобы устранить иллюзію, будто народная мысль и творчество коллективны, и въ нихъ нѣтъ ничего, кромѣ того, что Бельтовъ называетъ „объективною логикою фактовъ“.

Эта „объективная логика“ дѣйствительно весьма сильна въ мало-дифференцированной средѣ, какова крестьянская. И если человѣкъ изъ другой среды пожелаетъ внести туда свои понятія, то встрѣтитъ тотъ отпоръ, который такъ рельефно изображенъ Успенскимъ въ разныхъ мѣстахъ его сочиненій и, между прочимъ, въ IV-ой главѣ очерковъ „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ“ („Не суйся“).

„Не суйся!“—таковъ былъ отвѣтъ народа на всѣ попытки передовой интеллигенціи 70-хъ годовъ стать „народною“.

Въ этихъ попыткахъ обнаружилось, между прочимъ, ничтожество, можно сказать, отсутствіе чисто-народной интеллигенціи. Успенскій говоритъ о ней, какъ о явленіи прошлаго, хотя и недавняго. На своемъ пути въ направленіи къ народу наши народники-идеалисты лишь изрѣдка встрѣчали кое-какіе слѣды народной интеллигенціи, да и то почти исключительно въ лицѣ сектантовъ, т. е. отщепенцевъ отъ массы православнаго люда. Эта масса казалась лишенною своей интеллигенціи и являла безнадежно-сплошной видъ, такъ что о ея психологіи, ея понятіяхъ, настроеніи можно было безошибочно судить по отдѣльнымъ, выхваченнымъ изъ нея экземплярамъ, по Ивану Ермолаевичу, по Семену Никитичу, и вмѣсто „русскій народъ“ говорить тропомъ—„Иваны Ермолаевичи“, „Семены Никитичи“, „Иваны Босыхъ“...

Это „отсутствіе“ народной интеллигенціи въ 70-хъ и 80-хъ годахъ должно быть признано фактомъ огромной важности. Безъ всякаго сомнѣнія, она, въ дѣйствительности, существовала, но была ничтожна и отсутствовала какъ разъ тамъ, гдѣ ея присутствіе было бы особливо желательно. Ибо наша передовая—народническая—интеллигенція могла бы

упрочиться въ народѣ не иначе, какъ черезъ посредство „натуральной“ народной—„интеллигенціи“. Послѣдняя сыграла бы роль посредника между интеллигенціей изъ образованнаго общества и „сплошными“ народными массами. Такъ это и было въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда представители передовой части общества завязывали связи съ сектантами. Совершенно очевидно, что всякое идейное общеніе между классами устанавливается не иначе, какъ путемъ знакомства и психическаго обмѣна интеллигенцій этихъ классовъ,—совершенно такъ, какъ совершается обмѣнъ культурными цѣнностями между различными народами. Взаимное пониманіе можетъ установиться только между личностью и личностью, между интеллигенціей и интеллигенціей, но отнюдь не между личностью или интеллигенціей съ одной стороны и „сплошною“ массою—съ другой. Будь Иванъ Ермолаевичъ не только психо-физическая особь, но и психологически-дифференцированная личность и представитель народной „интеллигенціи“, а не массы,—онъ не сказалъ бы Успенскому: „не суйся!“ и, во всякомъ случаѣ, заинтересовался бы личностью писателя, хотя бы и не нашелъ возможнымъ воспринять его идеи.

Этотъ фактъ абсентеизма „народной интеллигенціи“ показывалъ, что она уже тогда сильно пошла на убыль, что она вымирала. Послѣдующее время подтвердило это фактомъ возникновенія новой народной интеллигенціи, вербующейся изъ лицъ, прошедшихъ элементарную школу и развившихся на популярной литературѣ, а не на старинной народной „мудрости“ или на „житіяхъ“ святыхъ.—Достаточно извѣстно, какими тяжелыми условіями была обставлена дѣятельность земскихъ школъ и обществъ грамотности, и какія преграды стояли на пути популярной литературы, предназначенной для народа. И однако же, несмотря на все это, и школа, и общества грамотности, и литература свое дѣло сдѣлали. Это показываетъ, что въ самомъ народѣ, не взирая

на преобладающій „сплошной“ характеръ народной психологіи, неуклонно шелъ своимъ порядкомъ естественный процессъ дифференціаціи личностей и выдѣленія „своей“ интеллигенціи. Не будь школы и книжки, эта „своя“ интеллигенція вылилась бы въ старыя формы. Теперь она формируется не по старой традиціи, а по образу и подобію интеллигенціи образованныхъ классовъ, и отнынѣ общеніе между этими классами и народомъ будетъ идти впередъ, всю усиливаясь и расширяясь. Съ тѣмъ вмѣстѣ и процессы дифференціаціи и индивидуализаціи будутъ выражаться въ народныхъ массахъ все ярче и интенсивнѣе, — и картина „сплошного“ народа, идущаго, какъ вобла, въ недалекомъ будущемъ, надо надѣяться, станетъ воспоминаніемъ.

Воспоминаніемъ станутъ и народническія иллюзіи, и всѣ разочарованія, лучшимъ памятникомъ которыхъ навсегда останутся въ нашей литературѣ сочиненія Глѣба Успенскаго.

Далекимъ отголоскомъ скорбной эпохи, отошедшей въ прошлое, будутъ звучать слѣдующія слова его, въ которыхъ выразился весь трагизмъ положенія интеллигенціи 70—80-хъ годовъ, приносившей себя въ жертву Молоху „сплошного“ крестьянства: „Не суйся!—Признаюсь, когда эти слова мелькнули въ моемъ сознаніи, мнѣ стало какъ-то холодно и жутко... До сей минуты... мнѣ представлялось, что я и предназначенъ-то собственно для того, чтобы соваться въ дѣла Ивана Ермолаевича, и что самый лучшій жизненный результатъ, котораго я могу желать,—это именно быть „потребленнымъ“ народною средою безъ остатка и даже безъ воспоминанія, подобно тому, какъ не вспоминается съѣденный часъ назадъ кусокъ бифштекса...“ [1]) (544).

Дальше этого самозакланія идти уже некуда. По счастью,

[1]) Курсивъ мой.

„сплошные“ Иваны Ермолаевичи, со своею „объективною логикою“, сказали: „не суйся!“

Это ошеломило Успенскаго, какъ и всѣхъ друзей народа. Успенскій, изучивъ жизнь и психологію Ивановъ Ермолаевичей и „проникнувшись непреложностью и послѣдовательностью взглядовъ“ этой сплошной массы, „почувствовалъ, что они совершенно устраняютъ“ его, Глѣба Успенскаго, „съ поверхности земного шара...“ — Получалось ощущеніе какой-то пустоты, бездны, вдругъ разверзшейся подъ ногами, безцѣльности, ненужности существованія... „Не имѣя подъ ногами никакой почвы, кромѣ книжнаго гуманства..., я, какъ перо, былъ поднятъ на воздухъ дыханіемъ правды Ивана Ермолаевича и неотразимо почувствовалъ, какъ и я, и всѣ эти книжки, газеты, романы, перья, корректуры...,—всѣ мы безпорядочной, безобразной массой, со свистомъ и шумомъ летимъ въ бездонную пропасть...“ (555).

Теперь вспомнимъ слѣдующее: передовая интеллигенція 70-хъ годовъ „шла въ народъ“—движимая не только стремленіемъ служить народу и „культомъ“ мужика, но и идеею личности. Философія того времени выдвигала впередъ понятія „критически-мыслящей личности“, ея „гармоническаго развитія“, „борьбы за индивидуальность“. Эти соціологическія и историко-философскія идеи и были положены въ основу того „субъективнаго метода“ въ исторіи и соціологіи, который былъ установленъ Лавровымъ и Михайловскимъ, и имѣлъ не столько теоретическое, сколько практическое (моральное, идеологическое и публицистическое) значеніе. Воззрѣнія этихъ двухъ мыслителей и были руководящими идеями времени.

„Крушеніе“ всѣхъ народническихъ упованій, о которомъ говорятъ вышеприведенныя строки Успенскаго, очевидно, означаетъ, что „правда“ Ивановъ Ермолаевичей оказалась чѣмъ-то вродѣ смертоносной головы Медузы, передъ мертвящимъ взоромъ которой сразу увяли прежде всего всѣ

стремленія „критически мыслящей личности", и самое существованіе ея оказывалось эфемернымъ тамъ, гдѣ незыблемо покоится на своихъ вѣковыхъ устояхъ „правда" или „объективная логика" Ивановъ Ермолаевичей.

Чтобы лучше понять это „крушеніе", а за симъ и послѣдующее движеніе идей, намъ необходимо сдѣлать очеркъ той идеологіи и той теоріи прогресса, творцами которыхъ были Лавровъ и Михайловскій, и, въ связи съ этимъ, той „практики прогресса", которая наиболѣе ярко выразилась въ народническо-соціалистическомъ движеніи 70-хъ годовъ.

ГЛАВА IX.

Передовая идеологія 70-хъ годовъ. Лавровъ и Михайловскій.

Передовая идеологія 70-хъ годовъ не можетъ быть названа народническою въ тѣсномъ смыслѣ этого слова: въ ней только были элементы народническаго настроенія, у разныхъ лицъ получавшіе различное выраженіе и имѣвшіе не одинаковое значеніе въ общей системѣ ихъ идей.—Крупнѣйшіе представители и, можно сказать, создатели идеологіи эпохи, П. Л. Лавровъ и Н. К. Михайловскій, выдвигали на первый планъ идею личности и отстаивали ея право на критическое отношеніе къ народному міросозерцанію и идеалу. Эта черта, которою идеи названныхъ мыслителей роднятся съ направленіемъ предшествующей эпохи—60-хъ годовъ (въ частности съ писаревскимъ), проводитъ рѣзкую грань между ихъ идеологіею и чистымъ народничествомъ, всегда склоннымъ подчинять индивидуалистическія стремленія личности коллективной мысли и волѣ народныхъ массъ.

Руководящая идея 70-хъ годовъ впервые нашла себѣ яркое выраженіе въ трактатѣ Михайловскаго „Что такое прогрессъ?“, появившемся въ „Отечественныхъ Запискахъ“

въ 1869 году, и въ „Историческихъ письмахъ“ Лаврова (Миртова), печатавшихся въ „Недѣлѣ“ Гайдебурова въ концѣ 60-хъ годовъ и изданныхъ отдѣльною книжкою въ 1870 году. Этими выдающимися произведеніями русской философской мысли былъ совершенъ поворотъ отъ идеологіи 60-хъ годовъ къ идеологіи 70-хъ. Они оказали огромное вліяніе на интеллигенцію эпохи. Молодежь зачитывалась ими, какъ и послѣдующими работами тѣхъ же мыслителей.— Лавровъ и Михайловскій (послѣдній въ особенности) стали „властителями думъ“ поколѣнія 70-хъ годовъ.

Статья Михайловскаго, сразу поставившая молодого и мало извѣстнаго тогда писателя въ первые ряды литературы, имѣла цѣлью установить такую „формулу прогресса“, которая, удовлетворяя теоретическимъ потребностямъ мысли, въ то же время давала бы указанія, которыми передовые дѣятели русскаго прогресса могли бы руководиться въ своихъ стремленіяхъ „дѣлать благое дѣло среди царюющаго зла“. Эти указанія отнюдь не были практическими, не заключали въ себѣ ничего „программнаго“ и не давали опредѣленнаго отвѣта на мудреный вопросъ „что дѣлать?“. Они только направляли мысль чуткаго читателя въ опредѣленную сторону, предоставляя ему самому уяснять себѣ свои отношенія къ дѣйствительности и вырабатывать программу своей дѣятельности.

Формула прогресса, предложенная Михайловскимъ, сводится къ мысли, что прогрессивнымъ слѣдуетъ признать все, что содѣйствуетъ поддержанію и развитію гармонической широты и разносторонности личности человѣческой, и непрогрессивнымъ — все, что такъ или иначе нарушаетъ эту широту и разносторонность. Поэтому, раздѣленіе труда, приводящее къ крайней спеціализаціи и дѣлающее человѣка узкимъ, одностороннимъ, признается зломъ. Михайловскій рѣшительно осуждаетъ не только крайности спеціализаціи труда, но и самый принципъ его раздѣленія между особями.

Этому принципу онъ противопоставляетъ другой, съ его точки зрѣнія, истинно прогрессивный: принципъ раздѣленія труда не между особями, а между органами особи[1]). Къ этому выводу Михайловскій приходитъ путемъ критики соціологическихъ идей Спенсера, видящаго въ раздѣленіи труда между классами и особями главнѣйшій органъ прогрессивнаго развитія чезовѣчества. Въ критикѣ Михайловскаго найдется не мало мѣткихъ и остроумныхъ замѣчаній, и весь трактатъ, по справедливости, можетъ быть названъ блестящимъ и глубокимъ по мысли философскимъ построеніемъ, но тѣмъ не менѣе основной взглядъ Михайловскаго на раздѣленіе труда и на дифференціацію общества приходится признать по существу неправильнымъ. И прежде всего не выдержитъ научной критики защищаемое Михайловскимъ понятіе о гармоническомъ и разностороннемъ развитіи личности, сводящееся къ раздѣленію труда между ея органами и, слѣдовательно, къ упражненію и развитію этихъ органовъ Это понятіе слишкомъ біологично и не годится для руководящей роли въ изслѣдованіи соціологическомъ. Для такого изслѣдованія необходимо установить сотвѣтственное соціологическое и психологическое понятіе не „особи“ или „недѣлимаго“, а личности человѣческой, что и дѣлали послѣдующіе изслѣдователи процессовъ раздѣленія труда и общественной дифференціаціи[2]). Нынѣ можно считать вполнѣ установленнымъ положеніе, что раз-

---

[1]) Формула гласитъ: „Прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣльности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ“ („Сочиненія Н. К. Михайловскаго“, изд. 1896 г., т. I, столб. 150, статья „Что такое прогрессъ?“).

[2]) G. Simmel, Durkheim и др.

витіе человѣческой личности вовсе не сводится къ „возможно-полному“ раздѣленію труда между органами, и что такое раздѣленіе, если бы оно проводилось сколько-нибудь послѣдовательно, оказалось бы пагубнымъ какъ для общественнаго прогресса, такъ и для развитія личности. Раздѣленіе труда между органами, напоминающее идеалъ, выставляемый Михайловскимъ, возможно только при количественномъ и качественномъ ничтожествѣ культурнаго труда. Такъ это и было нѣкогда, въ эпоху младенчества рода человѣческаго, и такъ это наблюдается и нынѣ въ жизни и въ „хозяйствѣ“ тѣхъ дикарей, которые остались на первобытной ступени развитія. О дикаряхъ упоминаетъ и Михайловскій (напр., на стр. 34 и слѣд.) и совершенно напрасно идеализируетъ ихъ „разносторонность“ и „полноту жизни“. — Впрочемъ, надо имѣть въ виду, что самъ Михайловскій не придавалъ своей формулѣ абсолютнаго значенія и смотрѣлъ на нее не какъ на догму, а только какъ на принципъ, который онъ считалъ плодотворнымъ и въ которомъ онъ видѣлъ, такъ сказать, коррективъ къ господствующему принципу раздѣленія труда между классами, профессіями, лицами. Онъ говоритъ не о безусловномъ, а только о „возможно-полномъ“ раздѣленіи труда между органами, и не объ устраненіи, а лишь объ уменьшеніи его раздѣленія между индивидами. Онъ хорошо зналъ, что полное и послѣдовательное проведеніе въ жизнь защищаемаго имъ принципа невозможно. Но онъ былъ убѣжденъ въ томъ, что существующее нынѣ въ цивилизованномъ мірѣ раздѣленіе труда крайне ненормально, что оно пагубно отражается на благополучіи и развитіи личности и, наконецъ, что оно можетъ и должно быть измѣнено въ томъ именно направленіи, на которое указываетъ формула. Если первые два пункта, въ существѣ дѣла, сомнѣнія не возбуждаютъ, то послѣдній оказывается въ непримиримомъ противорѣчіи съ тѣмъ несомнѣннымъ фактомъ, что количество культурнаго труда все растетъ и его каче-

ство улучшается, а это требуетъ все большей и большей **спеціализаціи** всѣхъ отраслей труда, которая исключаетъ возможность его раздѣленія между органами и требуетъ его раздѣленія между индивидами. Въ настоящее время уже очерчивается обликъ человѣка будущаго: это обликъ не разносторонняго диллетанта, который способенъ какъ-ни-какъ работать на разныхъ поприщахъ, а именно обликъ работника - спеціалиста, мастера въ своемъ дѣлѣ. Онъ несомнѣнно будетъ „узкимъ" спеціалистомъ. Но это слово „узкій" не такъ страшно, какъ кажется. При огромныхъ завоеваніяхъ техники будущаго (не нужно быть пророкомъ, чтобы ихъ предвидѣть), при полномъ торжествѣ науки надъ природою, разсчитывать на которое мы имѣемъ достаточно основаній, „узкая спеціализація" будетъ означать только то, что человѣкъ будетъ полнымъ господиномъ надъ орудіями и всѣми условіями своего труда и получитъ возможность, оставаясь „узкимъ" въ своей профессіи, быть очень „широкимъ" и разностороннимъ въ своемъ общемъ умственномъ, нравственномъ и политическомъ развитіи. Этой перспективы, связанной съ развитіемъ техники, машиннаго производства и съ эволюціей капиталистическаго строя, Михайловскій въ то время не прозрѣвалъ. Но это не можетъ быть поставлено ему въ упрекъ, ибо тогда эта перспектива вообще не была достаточно ясна—даже въ западной Европѣ, а у насъ, въ Россіи, и совсѣмъ не была видна.

Въ послѣдующихъ статьяхъ, въ особенности въ „Запискахъ профана", пользовавшихся въ 70-хъ годахъ огромною популярностью, Михайловскій неоднократно пояснялъ и развивалъ свою „формулу". И вотъ тутъ-то и выступила наружу та сторона ея, которою она въ извѣстной мѣрѣ роднится съ народничествомъ. Это именно—идеализація крестьянскаго земледѣльческаго труда, признаваемаго разностороннимъ, а не узко-спеціальнымъ, и состоящее въ очевидной связи съ этой идеализаціей ученіе о **типахъ и ступе-**

няхъ развитія. Крестьянинъ стоитъ на низкой ступени развитія сравнительно съ высшими классами, но онъ зато представляетъ собою болѣе высокій типъ человѣка. При всемъ своемъ невѣжествѣ, отсталости, суевѣріяхъ и т. д. онъ, какъ личность, гораздо шире и разностороннѣе, напр., иного ученаго, погруженнаго въ узкую спеціальность, чиновника, купца и т. д., поскольку психика этихъ людей представляется суженною и изуродованною узкостью или односторонностью ихъ профессіи... Это ученіе о типахъ и ступеняхъ развитія является однимъ изъ слабѣйшихъ пунктовъ въ соціологическихъ воззрѣніяхъ покойнаго мыслителя. Здѣсь не мѣсто опровергать это ученіе (нѣкоторыя замѣчанія мы сдѣлали въ предыдущей главѣ, говоря объ аналогическомъ воззрѣніи Гл. Успенскаго), но мы отмѣтимъ здѣсь то обстоятельство, что эта—наиболѣе народническая—сторона идей Михайловскаго представляетъ собою родъ компромисса или попытки согласованія индивидуализма съ народничествомъ, идеи и идеала личности съ идеею и „культомъ" народа. Крестьянинъ, какъ психологическій типъ, ставился выше другихъ типовъ именно потому, что „разносторонность" его труда создаетъ, будто бы, почву для развитія въ немъ широкой, всесторонней личности, и только тяжелыя матеріальныя условія, въ которыхъ ему приходится жить и работать, задерживаютъ его на низкой ступени развитія, почему и сама личность въ крестьянствѣ остается, такъ сказать, въ потенціальномъ состояніи.

Совмѣщеніе идеи личности съ соціологическими воззрѣніями, родственными народничеству, мы находимъ также въ соціологическихъ работахъ Михайловскаго, каковы: „Борьба за индивидуальность" и „Вольница и подвижники". Здѣсь одинаково ярко и полно обнаружились, съ одной стороны, самый талантъ Михайловскаго, какъ изслѣдователя и мыслителя, а съ другой—присущая его

уму склонность къ тому, что можно назвать „историческимъ и соціологическимъ романтизмомъ“. Онъ ошибочно приписывалъ прошлому ту борьбу за индивидуальность, которою скорѣе характеризуется новое время и которая еще предстоитъ въ будущемъ. Онъ смотрѣлъ на личность, какъ на нѣчто искони данное, и говорилъ о ея борьбѣ съ обществомъ, которое, въ своемъ стремленіи стать организмомъ, низводитъ личность на степень органа. Въ дѣйствительности дѣло представляется какъ разъ наоборотъ. Личность развивалась и обособлялась именно въ процессѣ осложненія и дифференціаціи общества. Этотъ процессъ придаетъ обществу характеръ „организма“ (въ соціологическомъ смыслѣ), но этимъ-то и создаются условія, необходимыя для индивидуализаціи личности.

Тенденцію сочетать идею личности съ историческимъ и соціологическимъ романтизмомъ слѣдуетъ считать типичною для 70-хъ годовъ. Въ глазахъ передовыхъ дѣятелей эпохи, благодаря этому сочетанію, идея личности переставала быть индивидуалистическою въ „буржуазномъ“ смыслѣ этого слова: она становилась соціалистическою и своеобразно-народническою.

Эту точку зрѣнія нельзя назвать народническою въ собственномъ смыслѣ, какъ это дѣлали нѣкоторые изслѣдователи [1]). Если это—народничество, то во всякомъ случаѣ не „правовѣрное“. Ибо „правовѣрное“ народничество выдвигаетъ впередъ не идею человѣка, какъ самоцѣнной и самоопредѣляющейся личности, а идею народа, какъ массы, какъ коллективнаго цѣлаго, въ которомъ личность исчезаетъ.

Направленіе Михайловскаго, какъ и другихъ передовыхъ идеологовъ 70-хъ годовъ, правильнѣе было бы называть не народническимъ, а народно-соціалистическимъ. Это былъ соціализмъ, выдвигавшій впередъ интересы крестьянской

[1]) Недавно г. Ивановъ-Разумникъ.

массы. Но это далеко не былъ тотъ культъ народа, какой мы видимъ у правовѣрныхъ народниковъ. У Михайловскаго, при всей его склонности къ историческому и соціологическому романтизму, мы не найдемъ и этого культа. Самъ онъ не разъ протестовалъ противъ причисленія его къ народнической партіи и велъ остроумную полемику съ наиболѣе видными представителями народничества разныхъ оттѣнковъ,—съ г. Воронцовымъ (В. В.), съ Каблицомъ (Юзовымъ), съ г. Червинскимъ (П. Ч.) и др. Онъ выдвигалъ впередъ принципъ, съ которымъ послѣдовательные народники не могли согласиться: передовая ителлигенція призвана защищать истинные интересы народа, но вовсе не обязана раздѣлять его мнѣнія, его понятія. И эти народныя „мнѣнія", очевидно, представлялись Михайловскому въ такомъ видѣ, что образованному и передовому человѣку психологически и логически невозможно ихъ раздѣлять.

Онъ сходился съ народниками лишь въ томъ, что допускалъ возможность (да и то лишь теоретически) дальнѣйшаго, прогрессивнаго развитія общинныхъ формъ крестьянскаго землевладѣнія и не вѣрилъ въ спасительность и безусловную необходимость обезземеленія мужика. Онъ защищалъ извѣстную еще съ 60-хъ годовъ мысль о томъ, что развитіе соціализма въ Россіи можетъ пойти другимъ путемъ, отличнымъ отъ западно-европейскаго, т.-е. не черезъ обезземеленіе крестьянъ и образованіе земельнаго и фабричнаго пролетаріата, а черезъ подъемъ крестьянскаго благосостоянія и усовершенствованіе общинныхъ порядковъ. Если отбросить послѣднее (усовершенствованіе общины), то въ этомъ воззрѣніи не окажется ничего специфически-народническаго. Повидимому, самъ Марксъ склоненъ былъ допустить возможность такого пути развитія въ Россіи [1]).

[1]) Что онъ и высказалъ въ извѣстномъ письмѣ къ Михайловскому.

Въ настоящее время все болѣе упрочивается мысль, что и въ самой западной Европѣ будущій соціалистическій строй подготовляется или назрѣваетъ силою весьма различныхъ процессовъ, въ ряду которыхъ крупная промышленность и объединенный пролетаріатъ образуютъ только одинъ, правда, важнѣйшій факторъ. Покойный Зиберъ (уже въ началѣ 80-хъ годовъ) указывалъ на признаки соціализаціи общественныхъ отношеній, учрежденій и даже нравовъ, обнаруживающіеся въ весьма различныхъ сферахъ жизни и культуры.—Что же касается Россіи, то нельзя сомнѣваться въ томъ, что никакой прогрессъ у насъ немыслимъ при нищенствѣ и голоданіи народной массы, при упадкѣ крестьянскаго хозяйства и что, прежде всего и совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было идеологическихъ программъ, здравая—реальная—политика должна поставить себѣ цѣлью подъемъ крестьянскаго хозяйства и обезпеченіе крестьянамъ возможности культурнаго развитія и просвѣщенія.

На такой именно точкѣ зрѣнія и стоялъ Михайловскій. Соціалистъ по идеаламъ, онъ не былъ—въ политикѣ—ни утопистомъ, ни доктринеромъ. Всякимъ идеологіямъ и „вѣроученіямъ“ онъ противопоставлялъ требованія реальной политики въ интересахъ благосостоянія и просвѣщенія народа.—Но, какъ исключительно сильный обобщающій философскій умъ, онъ чувствовалъ живую потребность въ созданіи цѣльнаго міросозерцанія, которое удовлетворяло бы требованіямъ теоретической и практической мысли. И онъ выработалъ широкое философское воззрѣніе, отличающееся рѣдкою стройностью и цѣльностью. Это, безспорно, одно изъ самыхъ замѣчательныхъ и оригинальныхъ созданій русской философской мысли. Въ основѣ системы лежитъ идея „двуединой правды“: правды въ смыслѣ истины и правды въ смыслѣ справедливости. Первая—объективна (наука и основанная на ней философія), вторая—субъективна (человѣческіе идеалы и все, что подводится подъ катего-

рію „должнаго“). Задача мыслителя—связать ихъ такъ, чтобы онѣ составляли одно нераздѣльное цѣлое. Въ предисловіи къ первому тому своихъ сочиненій онъ говоритъ (цитируя одно мѣсто изъ статьи 1889-го г.): „Правда въ этомъ огромномъ смыслѣ слова всегда составляла цѣль моихъ исканій. Правда-истина, разлученная съ правдой-справедливостью, правда теоретическаго неба, отрѣзанная отъ правды практической земли, всегда оскорбляла меня, а не только не удовлетворяла. И наоборотъ, благородная житейская практика, самые высокіе нравственные и общественные идеалы представлялись мнѣ всегда обидно-безсильными, если они отворачивались отъ истины, отъ науки. Я никогда не могъ повѣрить и теперь не вѣрю, чтобы нельзя было найти такую точку зрѣнія, съ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ руку, одна другую пополняя. Во всякомъ случаѣ, выработка такой точки зрѣнія есть высшая изъ задачъ, какія могутъ представиться человѣческому уму, и нѣтъ усилій, которыхъ жалко было бы потратить на нее“.

Въ такомъ синтезѣ понятій о сущемъ и понятій о должномъ Михайловскій видитъ могущественное орудіе нравственнаго оздоровленія личности. Каждый мыслящій человѣкъ долженъ, путемъ изученія и размышленія, стремиться къ объединенію своихъ знаній и своихъ моральныхъ идей и при томъ такъ, чтобы это объединенное цѣлое могло вліять на волю, на поведеніе человѣка. Вотъ именно эту связь идей, воздѣйствующую на волю, Михайловскій и назвалъ религіей. Въ этомъ психологическомъ смыслѣ самъ онъ былъ, безспорно, натурою глубоко-религіозною. Его философія и идеологія не были плодомъ исключительно любознательности и философскихъ дарованій, а прежде всего вытекали изъ глубокой потребности въ томъ психологическомъ объединеніи мысли, чувства и воли, которое по праву должно быть названо религіознымъ.

Этою-то стороною, можетъ быть, даже больше, чѣмъ положительнымъ содержаніемъ своихъ идей, Михайловскій и вліялъ такъ могущественно на современное ему поколѣніе.

Это поколѣніе напряженно искало своей „вѣры“ и своей „догмы“. Оно было, въ указанномъ смыслѣ, томимо духовною жаждой. Что касается „догмы“, то Михайловскій, если и давалъ ее, то только въ самыхъ общихъ чертахъ: онъ указывалъ то направленіе, въ которомъ, по его мнѣнію, слѣдовало искать положительныхъ отвѣтовъ на вопросы, относящіяся къ „правдѣ-истинѣ“ и къ „правдѣ-справедливости“, и пояснялъ, какъ искомые отвѣты могутъ быть логически связаны и образовать стройную систему идей, имѣющую для человѣка религіозное значеніе. Практическихъ же рѣшеній по въ упоръ поставленному вопросу: что и какъ дѣлать?—онъ не давалъ. Но онъ давалъ нѣчто большее и лучшее: всею своею литературною дѣятельностью онъ являлъ живой и заразительный примѣръ глубокой убѣжденности, истинной психологической религіозности. Онъ былъ не просто мыслитель, публицистъ, литературный критикъ, а—прежде всего—проповѣдникъ, какимъ былъ въ свое время Бѣлинскій. И потому поколѣніе 70-хъ годовъ видѣло въ немъ не только уважаемаго, популярнаго и вліятельнаго писателя, но главнымъ образомъ—„властителя думъ“, слово котораго было „со властью“. Къ его голосу прислушивались съ тѣмъ особеннымъ вниманіемъ и сочувствіемъ, съ какимъ люди, ищущіе „своей вѣры“, прислушиваются къ голосу признаннаго учителя-проповѣдника, который можетъ научить не только во что вѣровать, но—что важнѣе—какъ вѣровать и какъ исповѣдывать...

Онъ обладалъ всѣми качествами, какія необходимы для этого. Но въ ихъ ряду главная роль принадлежала двумъ, которыя опять заставляютъ насъ вспомнить Бѣлинскаго: это именно рѣдкій даръ творчества идей и безусловная независимость мысли, безъ оглядки на-

право или налѣво исповѣдующей то, что она признала за истину и благо. Послѣдняя черта придавала особливый вѣсъ взглядамъ и мнѣніямъ Михайловскаго: всѣмъ было ясно, что Михайловскій органически не способенъ прилаживаться къ какому бы то ни было направленію и ни въ какомъ случаѣ не отступитъ отъ того, что онъ считалъ правдой, въ угоду той или иной вліятельной группѣ передовыхъ дѣятелей. Онъ бывалъ рѣзокъ въ полемикѣ одинаково съ противниками справа и съ союзниками слѣва. Онъ не только не гонялся за популярностью, но иногда, казалось, дѣлалъ все, чтобы потерять ее. Въ 80-хъ годахъ онъ выступалъ противъ популярнаго тогда народничества, въ 90-хъ—противъ „русскаго марксизма". Онъ не боялся показаться той или иной вліятельной партіи „отсталымъ".—Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не претендовалъ и на практическую роль руководителя передовыхъ дѣятелей въ ихъ борьбѣ. Онъ ограничивался умственнымъ и нравственнымъ вліяніемъ, не предопредѣляющимъ никакой практической „программы". Въ этомъ послѣднемъ отношеніи есть замѣтная разница между нимъ и Лавровымъ, къ характеристикѣ котораго, какъ мыслителя и идеолога, я и обращусь теперь.

2.

Съ огромною, почти энциклопедическою эрудиціей, съ обширною начитанностью въ различныхъ областяхъ знанія и въ главнѣйшихъ европейскихъ литературахъ Лавровъ соединялъ даръ широкаго философскаго обобщенія. Онъ былъ философъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Многочисленные факты и свѣдѣнія изъ различныхъ областей знанія и жизни, сохранявшіеся въ его феноменальной памяти, не лежали тамъ въ видѣ сырого матеріала, а получали философскую обработку, группировались и объединялись

въ стройную систему идей, въ то цѣлое, которое принято называть „философіей“. Въ своей автобіографіи (1885 г.), написанной въ третьемъ лицѣ, онъ говоритъ, что „для него философская мысль есть мысль специіально-объединяющая, теоретически-творческая въ смыслѣ объединенія, черпающая весь свой матеріалъ изъ знанія, вѣрованія, практическихъ побужденій, но вносящая во всѣ эти элементы требованія единства и послѣдовательности“.—Свою философскую систему Лавровъ называлъ „антропологизмомъ“, оправдывая это наименованіе указаніемъ на то, что человѣкъ является „философскимъ центромъ“ всего мыслимаго: „всякое мышленіе и дѣйствіе,—читаемъ въ „Автобіографіи“,—предполагаетъ, съ одной стороны, міръ, какъ онъ есть, съ закономъ причинности, связывающимъ явленія, съ другой стороны предполагаетъ возможность постановки нами цѣлей и выбора средствъ по критеріямъ пріятнѣйшаго, полезнѣйшаго, должнаго. Но то и другое существуетъ не само по себѣ, а для насъ, слѣдовательно предполагаетъ человѣка въ общественномъ строѣ, при взаимной провѣркѣ и взаимномъ развитіи мнѣній о мірѣ и о цѣляхъ дѣятельности. Слѣдовательно, основною точкою исхода философскаго построенія является человѣкъ, провѣряющій себя теоретически и практически и развивающійся въ общежитіи...“ Это воззрѣніе, установленное Лавровымъ самостоятельно еще въ концѣ 50-хъ годовъ, на основаніи предпосылокъ, данныхъ Кантомъ и Фейербахомъ, оправдывается послѣдующимъ движеніемъ философской мысли, приведшимъ къ созданію особой области знанія—изученія познавательныхъ силъ человѣка, —къ такъ называемой „теоріи познанія“, которая въ настоящее время и кладется въ основаніе всякой философіи. „Антропологизмъ“ Лаврова, несомнѣнно, находится въ родствѣ съ направленіемъ философскихъ идей Маха и Авенаріуса, но возникъ независимо отъ нихъ. Вообще нужно сказать, что, какъ философъ, Лавровъ отличался большою

самостоятельностью и всего менѣе можетъ быть названъ чьимъ-либо подражателемъ или послѣдователемъ.

Его истиннымъ призваніемъ была дѣятельность независимаго ученаго и мыслителя, университетская каѳедра, на которой онъ явился бы, безспорно, однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ представителей научной философіи и могущественно содѣйствовалъ бы развитію столь недостающей намъ культуры и дисциплины мысли. Какъ умъ, помимо выдающагося философскаго дарованія, онъ отличался рѣдкою у насъ воспитанностью мысли, научною „выправкой", предохраняющей отъ причудъ, нелогичностей, парадоксовъ, противорѣчій... Къ сожалѣнію, этому призванію Лаврова не суждено было осуществиться. Оно натолкнулось на препятствія внѣшнія и внутреннія. Насъ интересуютъ здѣсь только послѣднія,—внутреннія, обусловленныя нѣкоторыми особенностями натуры и характера Лаврова. Это, прежде всего, была все та же „психологическая религіозность", которую Лавровъ раздѣлялъ съ Михайловскимъ и многими другими представителями эпохи. Лавровъ не могъ удовлетвориться ролью „независимаго философа". Онъ всегда ощущалъ жажду—„вѣровать и исповѣдывать" и стремился къ широкой дѣятельности идеолога, вліяющаго не только на умы, но и на сердца. Но у него не было дара „глаголомъ жечь сердца людей"... Онъ самъ хорошо зналъ это и, со свойственною ему скромностью, не претендовалъ на такую роль. Тѣмъ не менѣе онъ не переставалъ искать своего мѣста въ ряду борцовъ за прогрессъ и идеалъ,—къ этому побуждала его присущая ему психологическая религіозность,—и онъ ощущалъ живое нравственное удовлетвореніе, когда ему казалось, что онъ нашелъ свое мѣсто и свое дѣло не только въ выработкѣ теоріи, но и въ самой „практикѣ" прогресса...

Психологическая религіозность Лаврова своеобразно сказывалась также въ нѣкоторомъ догматизмѣ его идей, въ

почти органическомъ отвращеніи къ скептицизму и, наконецъ, въ томъ, что въ своемъ міросозерцаніи онъ на первый планъ выдвигалъ нравственное начало, приписывая ему роль дѣйствующей и рѣшающей силы въ исторіи человѣческаго прогресса. Носителемъ нравственнаго начала является личность, достигшая возможной при данныхъ условіяхъ высоты развитія. Эти-то „развитыя и критически-мыслящія личности" и служатъ органомъ историческаго процесса вообще и прогресса въ частности. Остальное человѣчество остается, такъ сказать, за предѣлами исторіи, въ качествѣ ея сырого матеріала или въ роли пассивныхъ зрителей, равнодушныхъ къ тому, что совершается на исторической сценѣ, или ничего не понимающихъ... Этихъ равнодушныхъ и непонимающихъ (а имя имъ легіонъ) Лавровъ не признавалъ натурами нравственными: они не доросли до нравственнаго сознанія или остановились на низшихъ ступеняхъ его.

По мнѣнію Лаврова, „область нравственности не только не прирождена человѣку, но далеко не всѣ личности вырабатываютъ въ себѣ нравственныя побужденія, точно такъ, какъ далеко не всѣ доходятъ до научнаго мышленія. Прирождено человѣку лишь стремленіе къ наслажденію, и въ числѣ наслажденій развитой человѣкъ вырабатываетъ наслажденіе нравственною жизнью и ставитъ это на высшую ступень въ іерархіи наслажденій. Большинство останавливается на способности разсчета пользы"...[1] („Автобіографія").

[1]) Это—одинъ изъ наиболѣе слабыхъ пунктовъ въ системѣ соціологическихъ и историко-философскихъ идей Лаврова. Его понятіе нравственности слишкомъ возвышенно и поэтому слишкомъ узко. Нельзя отказывать людямъ въ правѣ имѣть свою нравственность потому только, что они не достигли высоты нравственнаго развитія. Кромѣ того, этика Лаврова слишкомъ индивидуалистична: онъ упускаетъ изъ виду соціальную сторону морали. Мораль есть явленіе по преимуществу соціально-психологическое, коллективное и становится индивидуально-психологическимъ

Главная нравственная обязанность „развитого" человѣка, достигшаго возможной высоты нравственнаго сознанія, сводится къ „борьбѣ за прогрессъ". Этой борьбой нравственно-развитой человѣкъ уплачиваетъ часть своего „долга", которымъ онъ, какъ членъ привиллегированнаго меньшинства, связанъ въ отношеніи къ обойденному благами цивилизаціи большинству. Письмо 4-е „Историческихъ писемъ", озаглавленное „Цѣна прогресса", посвящено доказательству положенія, гласящаго, что „каждое удобство жизни" и „каждая мысль", которыми пользуется привиллегированное меньшинство, „куплены кровью, страданіями или трудомъ милліоновъ" („Истор. письма", изд. 3-е, 1906 г., стр. 93). Развитой человѣкъ долженъ сказать: „Я сниму съ себя отвѣтственность за кровавую цѣну своего развитія, если я употреблю это самое развитіе на то, чтобы уменьшить зло въ настоящемъ и въ будущемъ... Отыскивая и распространяя болѣе истинъ, уясняя себѣ справедливѣйшій строй общества и стремясь воплотить его, я увеличиваю собственное наслажденіе и въ то же время дѣлаю все, что могу, для страждущаго большинства въ настоящемъ и въ будущемъ"... (тамъ же). Эти мысли, въ которыхъ, конечно, есть много правды, но гдѣ также есть не мало чего-то „буддійскаго", въ свое время производили огромное впечатлѣніе на молодое поколѣніе, и безъ того предрасположенное считать себя въ неоплатномъ долгу передъ народомъ.

Борьба за прогрессъ сводится къ борьбѣ за истину и справедливость. Нравственно-развитой и критически-мыслящій человѣкъ стремится сдѣлать истину доступною возможно большему числу людей и, въ мѣру своихъ силъ, содѣйствуетъ внесенію въ общественныя формы начала справедливости. Объ этомъ трактуетъ письмо 5-е („Дѣйствіе лично-

---

только съ развитіемъ и обособленіемъ личности, не теряя однако при этомъ своихъ соціальныхъ признаковъ, которые получаютъ въ ней только другую психологическую постановку.

стей"), гдѣ проводится та мысль, что такъ называемыя культурныя блага (въ томъ числѣ наука и искусство) сами по себѣ еще не составляютъ движущей силы прогресса: они—только „матеріалъ" прогресса, а движущею силой его являются тѣ личности, которыя, созидая и распространяя эти блага, одухотворяютъ ихъ сознательнымъ служеніемъ истинѣ и справедливости. Поэтому, по мнѣнію Лаврова, величайшій ученый или художникъ, если онъ—общественный и политическій индифферентистъ, не можетъ быть признанъ человѣкомъ прогресса. Индифферентизмъ въ вопросахъ „истины" и „справедливости", въ глазахъ Лаврова,—величайшее прегрѣшеніе... Отсюда, между прочимъ, видно, что понятіе „истины", устанавливаемое Лавровымъ, далеко не совпадаетъ съ понятіемъ такъ называемой научной истины: это—истина философская или идеологическая, близкая къ религіозной, ибо только въ отношеніи къ истинамъ этого—догматическаго—порядка и можно говорить объ индифферентизмѣ и неиндифферентизмѣ, порицая первый, одобряя второй. Къ такъ называемой научной „истинѣ" это не примѣнимо: странно было бы говорить объ индифферентизмѣ къ Пиѳагоровой теоремѣ или къ закону Ньютона... Научная „истина"—недогматична. Не трудно видѣть, что у Лаврова, какъ и у Михайловскаго, эти основныя понятія—истины и справедливости, по ихъ психологической природѣ, принадлежатъ къ области стараго догматическаго (религіознаго) мышленія, а не новаго научнаго, какъ оно вырабатывается въ настоящее время. Правда, въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ понятіе научной, недогматической „истины", давно установившееся въ практикѣ научнаго мышленія, не было достаточно прояснено философскимъ сознаніемъ. Но и въ противномъ случаѣ, все равно, это понятіе, хотя бы и ставшее общимъ достояніемъ, остается, такъ сказать, органически чуждо натурамъ религіознымъ,—для нихъ оно непріемлемо.

Въ полномъ согласіи съ религіозной (въ психологическомъ смыслѣ) основой мышленія находится ригоризмъ и аскетическій пошибъ морали Лаврова. Онъ училъ, что каждый человѣкъ, достигшій нравственнаго развитія, обязанъ послужить прогрессу въ мѣру своихъ силъ, знаній и дарованій, отрекаясь отъ эгоистическихъ видовъ, жертвуя благами жизни, личнымъ счастьемъ и даже высшими интересами знанія, если они отвлекаютъ человѣка отъ „борьбы за прогрессъ“.—Прочтемъ слѣдующія строки: „...кто изъ-за личнаго разсчета остановился на полдорогѣ, кто изъ-за красивой головки вакханки, изъ-за интересныхъ наблюденій надъ инфузоріями, изъ-за самолюбиваго спора съ литературнымъ соперникомъ—забылъ объ огромномъ количествѣ зла и невѣжества, противъ котораго слѣдуетъ бороться, тотъ можетъ быть чѣмъ угодно: изящнымъ художникомъ, замѣчательнымъ ученымъ, блестящимъ публицистомъ, но онъ самъ себя вычеркнулъ изъ ряда сознательныхъ дѣятелей историческаго прогресса“... („Истор. письма“, стр. 104).

Все изложенное рисуетъ натуру и умственный складъ Лаврова въ чертахъ, живо напоминающихъ религіозныхъ и моральныхъ проповѣдниковъ и реформаторовъ. Такъ нѣкогда въ „позитивной политикѣ“ Ог. Конта сказался строй мысли и духъ католицизма...

Идеологія Лаврова была своеобразнымъ кодексомѣ „вѣроученія“, догмой, въ которой выдвигалось на первый планъ моральное начало въ видѣ нравственныхъ обязательствъ, сопряженныхъ съ самоотреченіемъ. И когда въ дальнѣйшихъ письмахъ онъ устанавливаетъ положеніе, гласящее, что личности, борющіяся за прогрессъ въ одиночку,—безсильны и поэтому должны организоваться въ партію, то эта партія явственно выступаетъ въ чертахъ, напоминающихъ старыя и новыя религіозныя секты. Въ этомъ отношеніи особенно любопытно письмо XVI-е, написанное гораздо позже предыдущихъ (въ 1881 г.) и трактующее о „теоріи и практикѣ про-

гресса". Теорія сводится къ признанію и разработкѣ новаго соціалистическаго идеала, какъ цѣли, къ которой должны стремиться дѣятели прогресса, а практика понимается въ видѣ партійной борьбы за этотъ идеалъ.—И обѣ сливаются въ одно нераздѣльное цѣлое, такъ что нельзя, по мысли Лаврова, понять „теорію" прогресса, не участвуя въ его „практикѣ", и нельзя быть практическимъ дѣятелемъ прогресса, борцомъ за соціалистическій идеалъ, не будучи искушеннымъ въ „теоріи", не выработавъ себѣ научнаго и критическаго воззрѣнія на историческій ходъ вещей и не разобравшись въ современномъ положеніи соціальнаго вопроса. Это опять напоминаетъ религіозную догму и религіозную практику, которыя, дѣйствительно, неотдѣлимы... Сектантскою религіозностью звучатъ и заключительныя строки письма: „Исторія требуетъ жертвъ. Ихъ приноситъ въ себѣ и около себя тотъ, кто беретъ на себя великую, но грозную задачу быть борцомъ за свое и за чужое развитіе. Задачи развитія должны быть [1]) разрѣшены. Лучшее историческое будущее должно [1]) быть завоевано. Передъ каждою личностью, которая достигла до сознанія потребности развитія, сталъ грозный вопросъ: будешь ли ты одинъ изъ тѣхъ, кто готовъ на всякія жертвы и на всякія страданія, лишь бы ему удалось быть сознательнымъ и понимающимъ дѣятелемъ прогресса? Или ты останешься въ сторонѣ бездѣятельнымъ зрителемъ страшной массы зла, около тебя совершающагося, сознавая свое отступничество отъ пути къ развитію, потребность въ которомъ ты когда-то чувствовалъ? Выбирай!" (стр. 358).

Передъ нами одно изъ самыхъ яркихъ выраженій той психологической религіозности, которою издавна характеризуется наша передовая интеллигенція. Нѣкоторые изслѣдователи (напр., недавно г. Мережковскій) склонны видѣть здѣсь черту національную. Мнѣ кажется, для этого

---

[1]) Курсивъ Лаврова.

нѣтъ достаточныхъ основаній, ибо аналогичныя явленія найдутся повсюду, на западѣ и на востокѣ. Вездѣ были и есть политическія партіи, принимающія, въ своей организаціи и дѣятельности, характеръ своего рода секты, возводящія свои принципы въ догмы. Вездѣ есть религіозныя и моральныя натуры, люди, которые прежде всего задаютъ себѣ вопросъ: какъ мнѣ жить свято? [1]. — Но у насъ эти явленія гораздо ярче выражены, чѣмъ въ зап. Европѣ, и самое количество религіозныхъ натуръ у насъ гораздо больше. Это объясняется отсталостью нашей культуры и нашей политической жизни. Не будетъ ошибкой сказать, что вторженіе психологической религіозности въ общественную жизнь, въ культуру, въ политику есть наслѣдіе прошлаго; равнымъ образомъ, наслѣдіемъ прошлаго приходится признать и преобладаніе догматическихъ формъ мышленія. Съ развитіемъ культуры и политической жизни эти явленія идутъ на убыль,—и сама психологическая религіозность замѣтно измѣняется въ своемъ характерѣ и психологическомъ составѣ. Ей, очевидно, предстоитъ новый путь развитія—въ направленіи рѣзко индивидуалистическомъ (каждый человѣкъ будетъ имѣть свою—не только религію, но и религіозность, годную и, такъ сказать, психологически-обязательную только для него одного), и на этомъ пути общественная жизнь и политическая дѣятельность будутъ все болѣе и болѣе освобождаться отъ всякихъ осложненій со стороны такого въ высокой степени субъективнаго фактора, какъ понятія объ идеалѣ, объ истинѣ и справедливости, усвоенныя отдѣльными лицами и группами и возведенныя ими на степень какого-то религіознаго культа. На смѣну этихъ вліяній психологической религіозности на политику выступаютъ вліянія на нее со стороны научнаго—недогматическаго—мышленія и міросозерцанія. Можно было бы провести любопытную параллель между психологіею и самою практикою научнаго

[1]) Выраженіе Михайловскаго.

мышленія съ одной стороны и раціональною политическою дѣятельностью, свободною отъ воздѣйствія психологической религіозности,—съ другой. Укажу здѣсь нѣкоторые пункты этой параллели, представляющіеся мнѣ важнѣйшими.

Научное мышленіе не знаетъ „абсолютныхъ истинъ“, и стремится замѣнить самое понятіе „истины“, явно-архаическое, какимъ-либо другимъ, находящимся въ большемъ согласіи съ психологіей раціональнаго познанія. Такимъ представляется понятіе экономіи умственныхъ силъ въ познавательномъ процессѣ. Соотвѣтственно этому раціональная партія „борцовъ за прогрессъ“, выставляя извѣстный идеалъ, политическій и соціальный, не считаетъ себя обладательницей всей полноты „истины“ и не должна полагать свое призваніе въ томъ, чтобы всѣхъ обращать въ „свою вѣру“. Ея прямая задача—въ томъ, чтобы, опираясь на реальные интересы всѣхъ слоевъ, такъ или иначе вовлеченныхъ въ историческое русло прогрессивной эволюціи, содѣйствовать скорѣйшему проведенію въ жизнь тѣхъ началъ, которыя могутъ сократить или облегчить муки „историческихъ родовъ“. Здѣсь—вмѣсто полноты истины или идеала—выступаетъ принципъ экономіи силъ.—Въ научной практикѣ положительное открытіе, хотя бы и второстепеннаго значенія, предпочтительнѣе всеобъемлющихъ, но фантастическихъ и недоказуемыхъ, построеній. Соотвѣтственно этому и въ политикѣ синица въ рукахъ предпочтительнѣе идеальнаго журавля въ небѣ.—Въ наукѣ всего важнѣе выработка метода и пріемовъ изслѣдованія. Наука, въ сущности, есть методологія познанія. Въ политикѣ этому отвѣчаетъ разработка ея принциповъ и пріемовъ ея тактики... Наука исключаетъ вѣру въ чудеса и въ произволъ,—давно пора и политикѣ освободиться отъ пережитковъ этой вѣры...

Въ передовыхъ странахъ Европы, повидимому, уже близко время, когда передовыя партіи и вообще „борцы за прогрессъ“ совсѣмъ освободятся отъ пережитковъ старой рели-

гіозности, и политика сблизится съ наукою, усвоивъ точку зрѣнія на вещи, принципы и пріемы дѣятельности, аналогичные (конечно, mutatis mutandis) научнымъ, — въ томъ числѣ и нормы научной этики: правдивость мысли и настоящую гуманность [1]). Для Россіи это время еще очень далеко,—несмотря на то, что у насъ уже теперь найдется не мало лицъ (и при томъ—въ различныхъ партіяхъ), являющихся достойными представителями раціональной политики, а ея основанія были установлены у насъ еще въ 70—80-хъ годахъ покойнымъ М. П. Драгомановымъ.

Возвращаясь къ Лаврову, постараемся отдать себѣ отчетъ въ его роли, какъ политическаго дѣятеля. Онъ стоялъ на высотѣ своего призванія—какъ мыслитель и идеологъ, но къ политической роли онъ призванъ не былъ. „Программа" партійной дѣятельности, имъ предложенная, сбивалась на проектъ организаціи не то секты, не то кружка, такъ-сказать, „соціалистическаго самообразованія" и мирной пропаганды въ цѣляхъ подготовки милліоновъ крестьянъ къ грядущему соціальному перевороту. Около половины 70-хъ годовъ такой кружокъ и образовался. Это были „Лавристы", которымъ очень скоро пришлось убѣдиться въ полной непрактичности „программы". Излюбленною „политическою" мыслью Лаврова была мысль о необходимости основательной, всесторонней подготовки самихъ пропагандистовъ. Прежде чѣмъ начать свое дѣло, они должны были, путемъ

---

[1]) Можно доказать, что гуманность есть результатъ развитія мысли вообще и въ частности процессовъ научнаго и философскаго познанія. Нужно отличать гуманность отъ альтруизма: послѣдній исходитъ изъ глубокихъ нѣдръ соціальности и можетъ и не быть гуманнымъ, между тѣмъ какъ гуманность есть продуктъ развитія личности, индивидуальной психологіи. Великая задача этики будущаго сводится къ сочетанію альтруизма съ гуманностью, къ перевоспитанію альтруистическихъ чувствъ (начиная семейными, классовыми, патріотическими и т. д. и кончая общечеловѣческими) въ духѣ гуманности.

самообразованія, пройти чуть ли не весь университетскій курсъ наукъ, а кромѣ того еще столь же основательно поработать надъ собою, надъ выработкою своей нравственной личности.—„Программа“ Лаврова успѣха не имѣла и не могла имѣть,—и онъ самъ ее оставилъ или, лучше сказать, отказался поддерживать ее; но онъ не переставалъ думать, что это — самая разумная и цѣлесообразная программа прогрессивной дѣятельности. И въ самомъ дѣлѣ: разъ мы примемъ ея теоретическія предпосылки (воззрѣніе Лаврова на историческій ходъ прогресса и на роль критически-мыслящихъ личностей), то логически программа окажется безупречною. Но это именно только логическое построеніе, которое неминуемо должно было пасть при первомъ соприкосновеніи съ жизнью. Тѣмъ не менѣе въ XVI письмѣ („Историч. письма“), относящемся, какъ мы знаемъ, къ 1881 году, когда „программа“ Лаврова давно уже оказалась несостоятельною, онъ снова возвращается къ ней и развиваетъ обширный планъ необходимой, по его мнѣнію, подготовки дѣятелей, которые должны „перевоспитывать и перерабывать себя въ своихъ привычкахъ мысли и жизни“ („Истор. письма“, стр. 305). Въ существѣ дѣла, здѣсь „революціонеръ“ подмѣнивается подвижникомъ-просвѣтителемъ, которому только вмѣняется въ обязанность пропагандировать соціалистическій идеалъ—въ тѣсномъ единеніи съ единомышленниками, планомѣрно и методично, и непремѣнно съ готовностью на всѣ жертвы ради идеи—такъ, какъ нѣкогда проповѣдывали евангеліе первые христіане.—Тамъ же читаемъ: „Распространитель пониманія прогресса въ области мысли [1]), членъ коллективнаго организма [2]) и организаторъ общественной силы для борьбы за прогрессъ въ средѣ общества, борецъ за прогрессъ долженъ быть еще хотя до извѣстной степени, въ собственной своей личной мысли и въ собствен-

[1]) Т.-е. пропагандистъ соціализма. [2]) Т.-е. партіи.

ной личной жизни, практическимъ примѣромъ того, какъ прогрессъ въ опредѣленномъ направленіи долженъ влiять на мысль и на жизнь личностей вообще" (стр. 305—306).

Но если влiянiе Лаврова, какъ практическаго дѣятеля, нужно признать маловажнымъ, то его значенiе, какъ мыслителя и ученаго, подлежитъ совершенно—иной оцѣнкѣ. Здѣсь ясно очерчиваются двѣ стороны: во-первыхъ, роль этого замѣчательнаго человѣка въ развитiи передовой русской идеологiи, на что я указалъ выше, и во-вторыхъ, положительный вкладъ, внесенный его работами въ нашу философскую и ученую литературу. Этотъ вкладъ доселѣ не оцѣненъ по достоинству. А между тѣмъ онъ весьма значителенъ,—и не только количественно, но и качественно. Кромѣ многочисленныхъ статей и трактатовъ по различнымъ областямъ знанiя, Лавровъ оставилъ монументальный (къ сожалѣнiю, неоконченный) трудъ, который онъ считалъ главнымъ дѣломъ своей жизни и который, несомнѣнно, займетъ видное мѣсто въ ученой литературѣ, не только нашей, но и общеевропейской. Это—„Опытъ исторiя мысли", задуманный по обширному плану и основанный на глубокомъ изученiи всѣхъ вопросовъ, имѣющихъ прямое или косвенное отношенiе къ интеллектуальной эволюцiи человѣчества. Это—исторiя развитiя общественныхъ формъ, поскольку онѣ влiяли на развитiе мысли, исторiя религiозныхъ идей, миѳовъ и мiросозерцанiй. Авторъ успѣлъ обработать только начальные перiоды эволюцiи человѣчества, и его трудъ представляетъ собою только фундаментъ будущаго зданiя, но вдумчивый читатель по этому фундаменту можетъ составить себѣ приблизительное представленiе о характерѣ и грандiозности задуманнаго историко-философскаго изслѣдованiя. Въ ряду извѣстныхъ трудовъ по первобытной культурѣ „Опытъ" Лаврова займетъ свое особое мѣсто какъ по самому замыслу, такъ и по обилiю обобщающихъ идей, дающихъ новое освѣщенiе и истолкованiе многимъ темнымъ и спорнымъ

вопросамъ первобытной культуры и „археологіи“ человѣческаго мышленія.

3.

Къ числу характерныхъ принадлежностей идеологіи, выработанной Михайловскимъ и Лавровымъ, слѣдуетъ отнести такъ-называемый „субъективный методъ“ въ исторіи и соціологіи, котораго требованія сводятся къ слѣдующему:

Изслѣдованіе соціальныхъ явленій можетъ быть вполнѣ правильнымъ и плодотворнымъ лишь въ томъ случаѣ, когда изслѣдователь стоитъ на высшей ступени моральнаго и идеологическаго развитія. Онъ долженъ быть адептомъ передового идеала своего времени. Если таковымъ слѣдуетъ признать идеалъ соціалистическій въ его современной постановкѣ, то ученый изслѣдователь,—историкъ и соціологъ,—долженъ быть соціалистомъ по убѣжденію. Это дастъ ему возможность правильно освѣщать и оцѣнивать явленія моральной, общественной и политической эволюціи человѣчества. Ибо явленія этого рода требуютъ не только безпристрастнаго изображенія и объективнаго изслѣдованія ихъ причинъ и слѣдствій, но и критической оцѣнки съ точки зрѣнія понятій о должномъ, о нравственномъ, о справедливомъ, а такая оцѣнка, въ свою очередь, нуждается въ предварительномъ установленіи надлежащаго критерія, которымъ и является выработанный передовою частью человѣчества идеалъ. Вотъ именно усвоеніе изслѣдователемъ и самостоятельную критическую разработку этого идеала и затѣмъ его утилизацію для оцѣнки и освѣщенія соціальныхъ явленій и историческаго процесса Лавровъ и Михайловскій и разумѣли подъ именемъ „субъективнаго метода“.

Въ свое время эта мысль вызвала оживленную полемику pro и contra [1]). Мы не можемъ входить здѣсь въ разсмотрѣ-

[1]) Въ ней, кромѣ Михайловскаго и Лаврова, принимали участіе Лесевичъ, С. Н. Южаковъ, г. Слонимскій, Н. И. Карѣевъ.

ніе вопроса по существу,—для нашей задачи достаточно лишь кратко указать на слѣдующее. Во-первыхъ, въ данномъ вопросѣ приходится отдѣлить соціологію отъ исторіи: „субъективный методъ" примѣнимъ и можетъ дать цѣнные результаты скорѣй во второй, чѣмъ въ первой. Во-вторыхъ, и въ той, и въ другой гораздо важнѣе обладать (какъ показала сама практика научныхъ изысканій) тѣмъ, что можно назвать „чутьемъ" прогрессирующей дѣйствительности, въ особенности если это „чутье" совмѣщается съ широкой гуманностью натуры изслѣдователя. Если изслѣдователь обладаетъ достаточнымъ чутьемъ человѣческой эволюціи и прирожденною гуманностью натуры, то ему, какъ изслѣдователю, идеологія не нужна. Если у него нѣтъ ни чутья, ни гуманности, то никакая идеологія ему не поможетъ,—онъ не имѣетъ призванія къ дѣятельности ученаго историка или соціолога... Само собой разумѣется, что чутье и гуманность, о которыхъ мы говоримъ, не образуютъ „метода", и имъ скорѣе приличествуетъ названіе таланта. Не трудно видѣть, что примѣненіе „субъективнаго метода", какъ понимали его Михайловскій и Лавровъ, можетъ дать плодотворные результаты въ наукѣ только при наличности у изслѣдователя вышеуказаннаго „таланта". Иначе этотъ „методъ" превратится въ ученую доктрину, всегда вредную въ ученомъ изслѣдованіи и противорѣчащую самому понятію о научномъ методѣ.—Въ общемъ, приходится сказать, что „субъективный методъ", обезвреженный талантомъ изслѣдователя, можетъ съ успѣхомъ примѣняться къ изученію нѣкоторыхъ сторонъ соціальной эволюціи и нѣкоторыхъ эпохъ въ исторіи человѣчества, но ему нельзя придавать того исключительнаго методологическаго значенія, какое приписывали ему Лавровъ и Михайловскій.

Въ заключеніе укажу еще на то, что теорія „субъективнаго метода", примѣнимаго преимущественно къ вопросамъ морали и идеологіи, явилась логически-правильнымъ ре-

зультатомъ общаго направленія идей Лаврова и Михайловскаго. Это направленіе, какъ я старался показать выше, обосновалось на почвѣ глубокой психологической религіозности этихъ мыслителей, откуда и ихъ стремленіе выдвигать впередъ въ исторіи, въ соціологіи и въ самой жизни моральную сторону человѣка, и ихъ исканіе положительнаго идеала, который долженъ озарять не только пути жизни, но и пути научнаго изслѣдованія. Они искали высшаго синтеза мысли, чувства и воли, объединеніе въ широкомъ идеалѣ разрозненныхъ элементовъ положительной науки, современныхъ идей философіи и запросовъ жизни, и создали оригинальную русскую философію—родъ религіи, которую Михайловскій назвалъ системою „двуединой правды", а Лавровъ—„антропологизмомъ".

На ней лежитъ печать эпохи, но она пережила эпоху, и, повидимому, должна получить дальнѣйшее развитіе. Было бы большою ошибкою смотрѣть на нее, какъ на одну изъ тѣхъ скоропреходящихъ идеологій, которыя возникаютъ на время, въ отвѣтъ на назрѣвшія потребности мысли того или другого круга или поколѣнія, и сходятъ со сцены вмѣстѣ съ этимъ кругомъ или поколѣніемъ. Философія Лаврова и Михайловскаго, какъ русская идеологія, гораздо долговѣчнѣе и переживетъ еще не одно поколѣніе.

Еще долго лучшіе русскіе люди, стремящіеся „дѣлать благое дѣло среди царюющаго зла" и, въ связи съ этимъ, задающіе себѣ вопросъ: „какъ намъ жить свято?", будутъ искать не общаго, для всѣхъ цивилизованныхъ людей одинаково годнаго, а спеціально русскаго отвѣта на этотъ вопросъ, и нигдѣ не найдутъ они лучшаго русскаго отвѣта, какъ именно въ идеологіи Михайловскаго и Лаврова. Конкурировать съ нею можетъ иногда—въ зависимости отъ условій времени—только идеологія Л. Н. Толстого, также очень русская, но перевѣсъ всегда будетъ

на сторонѣ первой, ибо вторая—ужъ слишкомъ русская и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ—не отъ міра сего, почему она можетъ разсчитывать лишь на ограниченное число адептовъ-сектантовъ. Имѣя въ виду психологическую религіозность, доселѣ свойственную лучшимъ русскимъ людямъ и такъ или иначе проявляющуюся во всѣхъ нашихъ идеологіяхъ, мы скажемъ, что эти идеологіи, въ сущности,—„религіи", и что изъ нихъ „религія" Михайловскаго и Лаврова, религія „правды-истины и правды-справедливости", сочетающая „культъ народа" съ „культомъ личности", имѣетъ всѣ психологическія права на титулъ „истинной", между тѣмъ какъ „религія" Толстого останется „сектой", болѣе или менѣе „еретической".

Эта перспектива въ 70-хъ годахъ еще не была видна. Въ то время „религіи" Толстого еще не было, а идеологія Лаврова и Михайловскаго только возникала. Если даже признать, что ея основы сложились еще въ первой половинѣ 70-хъ годовъ, то все-таки ея господство надъ умами и сердцами могло упрочиться лишь къ концу этого десятилѣтія, столь богатаго различными проявленіями нашей психологической религіозности. Важнѣйшія изъ нихъ обнаружились въ настроеніяхъ, идеяхъ и дѣятельности тѣхъ лицъ, которыя съ безпримѣрнымъ самоотверженіемъ посвящали себя служенію народному благу, какъ они его понимали. Разсмотрѣніе ихъ дѣятельности (какъ извѣстно, очень недолгой) не входитъ въ нашу задачу, но они интересуютъ насъ, какъ натуры съ исключительною психологическою религіозностью и какъ общественно-психологическіе типы, созданные самою жизнью и не нашедшіе въ художественной литературѣ исчерпывающаго выраженія. Тургеневу въ „Нови" удалось отмѣтить лишь нѣкоторыя черты ихъ психологіи, которыя онъ нѣсколько позже дополнилъ стихотвореніемъ въ прозѣ „Порогъ".

ГЛАВА X.

„Мирные пропагандисты". Поколѣніе 70-хъ годовъ.

I.

Соціалистическое движеніе 70-хъ годовъ, ознаменовавшееся такъ называемымъ „хожденіемъ въ народъ", „опрощеніемъ" передовой интеллигенціи, попытками пропаганды въ народѣ соціалистическаго идеала, какъ извѣстно, не имѣло почти никакого революціоннаго значенія, но зато сыграло свою роль въ исторіи развитія нашихъ идеологій и весьма замѣтно повліяло на психологію отношеній передовой интеллигенціи къ народнымъ массамъ. Оно представляетъ большой интересъ для постановки и изученія вопросовъ о судьбахъ народничества, объ утопизмѣ передовой интеллигенціи, о ея психологической религіозности. Съ этой-то точки зрѣнія я и постараюсь сгруппировать и освѣтить здѣсь нѣкоторыя данныя, относящіяся къ этому движенію.

Вѣра Николаевна Фигнеръ въ своей рѣчи, произнесенной на судѣ (27 янв. 1884 г.), вспоминая 70-е годы, говорила, что дѣятельность „революціоннаго кружка", въ который она вступила тогда, „состояла въ пропагандѣ идей соціализма, въ радужной надеждѣ, что народъ, въ силу своей бѣдности и неблагопріятнаго соціальнаго положенія, непремѣнно соціа-

листъ, что достаточно одного слова, чтобы онъ воспринялъ соціалистическія идеи“ [1]).—Это авторитетное свидѣтельство указываетъ на одинъ изъ главныхъ признаковъ, которымъ обычно характеризуется утопическій соціализмъ въ отличіе отъ новой—зап.-европейской—соціалдемократіи. Послѣдняя, во-первыхъ, есть соціализмъ не крестьянства, а фабричныхъ рабочихъ и предполагаетъ извѣстные успѣхи въ развитіи капиталистическаго производства, объединеніе рабочихъ фабрикой, ихъ партійную организацію на экономической почвѣ и извѣстный уровень матеріальнаго довольства и умственнаго развитія. Онъ отправляется не отъ бѣдности и приниженности, а отъ минимума благосостоянія и отъ накопленія новыхъ потребностей, матеріальныхъ и духовныхъ.—Убѣжденіе, что бѣднякъ есть какъ бы прирожденный соціалистъ, было старымъ заблужденіемъ, въ которомъ не трудно распознать пережитокъ идей христіанскаго соціализма.—Но послушаемъ дальше: „То, что мы называли соціальной революціей, имѣло скорѣе характеръ мирнаго переворота, т.-е. мы думали, что меньшинство, видя невозможность борьбы, принуждено будетъ уступить большинству, сознавшему свои интересы, такъ что о пролитіи крови не было и рѣчи... [1])“—Здѣсь ярко сказался идеалистическій и утопическій характеръ воззрѣнія, представляющаго собою не что иное, какъ видоизмѣненіе воззрѣнія религіознаго: думали, что все зависитъ отъ усвоенія людьми извѣстнаго „ученія“, „соціалистической вѣры“, уповали на предполагаемое всемогущество идеала и сами вѣровали въ грядущій „переворотъ“, какъ нѣкогда христіане вѣровали во второе пришествіе.—Дѣятельность пропагандистовъ должна была состоять только въ подготовкѣ милліоновъ темнаго люда къ этому „перевороту“, и по необходимости эта дѣятельность не могла быть иною, какъ мирною, культурною, просвѣти-

[1]) „Былое“, 1906 г., май, стр. 4.

тельною. В. Н. Фигнеръ говоритъ, что хотя „программа народниковъ“ и преслѣдовала цѣли революціонныя (именно „передачу всей земли въ руки крестьянской общины“), но фактически дѣятельность революціонеровъ, шедшихъ въ народъ, „должна была заключаться въ томъ, что во всѣхъ государствахъ называется не иначе, какъ культурной дѣятельностью“ (тамъ же, стр. 5). — Лично о себѣ В. Н. Фигнеръ говоритъ, что, явившись въ деревню „съ вполнѣ революціонными задачами“, она однако „вела себя по отношенію къ крестьянамъ“ и „дѣйствовала такъ, что будь это не въ Россіи, она не подверглась бы никакому преслѣдованію и даже считалась бы небезполезнымъ членомъ общества...“ (тамъ же).

О такой именно просвѣтительной и культурной дѣятельности, одухотворенной соціалистическимъ идеаломъ, мечтали и такъ называемые „лавристы“, группа послѣдователей П. Л. Лаврова, программа которыхъ отличалась отъ другихъ родственныхъ программъ болѣе детальною разработкою задачъ просвѣтительной пропаганды и значительно меньшею примѣсью утопизма („соціальный переворотъ“ отодвигался въ болѣе или менѣе отдаленное будущее). Мысль о необходимости культурной и просвѣтительной работы среди народа дѣятелей, лелѣющихъ соціалистическій идеалъ, высказывалась и М. П. Драгомановымъ, въ идеяхъ и программѣ котораго не было ничего утопическаго.

Въ высокой степени любопытны воспоминанія А. Д. Михайлова („Былое“, февр. 1906 г.), одного изъ видныхъ дѣятелей этой эпохи. Онъ былъ не столько „просвѣтитель“, сколько „организаторъ“, и его излюбленною мыслью была „организація революціонныхъ силъ“. Но подъ этимъ скрывалась ярко-идеалистическая и несомнѣнно религіозная натура. Вспоминая свое дѣтство и юность, онъ говоритъ: „Природа мнѣ была дорога и близка; въ періодъ ранней юности я былъ настоящимъ деистомъ. Даже въ моментъ моего перехода къ соціализму, природа играла нѣкоторую роль, по

крайней мѣрѣ происходило это передъ ея лицомъ. Я и товарищи мои по гимназіи... имѣли обыкновеніе собираться для чтенія и бесѣдъ на живописномъ берегу Десны. Любовь къ природѣ какъ-то незамѣтно переходила въ любовь къ людямъ; являлось страстное желаніе видѣть человѣчество столь же гармоничнымъ и прекраснымъ, какъ сама природа, являлось желаніе для этого счастья жертвовать всѣми силами и своей жизнью. Здѣсь, въ виду синяго неба, я далъ себѣ тайную клятву жить и умереть для народа..." (стр. 158).

Оттуда же недалеко до идеализаціи народа, до воспріятія идей романтическаго народничества и утопическаго соціализма. Ниже Михайловъ говоритъ (стр. 162) о „народническомъ направленіи" (кружка, къ которому онъ присоединился), какъ о направленіи, ему „чрезвычайно сочувственномъ". Разсказывая далѣе о своей дѣятельности среди старообрядцевъ, онъ пишетъ: „Міръ раскола плѣнилъ меня своей самобытностью, сильнымъ развитіемъ духовныхъ интересовъ и самостоятельно-народной организаціей. Это могучее государство въ государствѣ чиновничьемъ. Меня сильно манили тайники народно-общиннаго духа, область истинно-народной жизни и народнаго творчества [1])..." (стр. 165).—Вращаясь среди раскольниковъ, онъ долженъ былъ приспособиться къ этой средѣ, что для образованнаго и свободомыслящаго человѣка очень трудно. Михайловъ преодолѣлъ всѣ трудности: „мнѣ пришлось (пишетъ онъ) сдѣлаться буквально старовѣромъ, пришлось взять себя въ ежевыя рукавицы, ломать себя съ ногъ до головы..." (164).—Въ редакціонномъ примѣчаніи къ этому мѣсту сообщается, что Михайловъ „дѣйствительно былъ съ ногъ головы до ногъ „старовѣромъ", и даже въ спорахъ съ радикалами постоянно сбивался нечаянно на цитаты изъ разныхъ сектантскихъ „цвѣтниковъ". Въ силу сектантства

---

1) Курсивъ мой.

онъ глубоко вѣрилъ; религіознымъ въ формальномъ смыслѣ слова онъ не былъ и тогда, но однако имѣлъ *какую-то особую подкладку въ міросозерцаніи, которая очень приближалась къ религіи*[1]. „Богъ — это правда, любовь, справедливость, и я въ этомъ смыслѣ съ чистою совѣстью говорю о Богѣ, въ котораго вѣрю". Онъ увѣрялъ, что всѣ основатели великихъ религій, Христосъ даже, именно въ этомъ смыслѣ понимали Бога. Но все-таки, спрашивали его, что такое справедливость, любовь и т. д.? Есть ли это нѣчто личное, нѣкоторое существо, или отвлеченный принципъ? Не помнимъ, чтобы Александръ Дмитріевичъ давалъ на это вполнѣ рѣшительный отвѣтъ. У него была какая-то идея (смутная для постороннихъ, потому что онъ мало говорилъ объ этомъ, а можетъ быть смутная и для него самого), *что идеалы соціальной революціи должны создать людямъ нѣкоторую новую религію, которая бы также поглощала все существо человѣка, какъ это дѣлали старыя*" [1]) (стр. 164).

Психологическая религіозность Михайлова, очевидно, переходила въ религіозность сознательную, идейную: онъ уже не только бралъ идеи и идеалъ соціализма *какъ догму* (это — стойкій признакъ психологической религіозности у соціалиста), но къ этой догмѣ присоединялъ, если не положительное вѣрованіе, то, по крайней мѣрѣ, *чаяніе* высшей, сверхчувственной санкціи. То же самое, по всей вѣроятности, было и у многихъ другихъ, въ комъ привычки критической мысли и религіозный индифферентизмъ или скептицизмъ не пустили глубокихъ корней. Не всѣ еще воспоминанія опубликованы, не всѣ признанія, какія сейчасъ находятся въ нашемъ распоряженіи, раскрываютъ интимную, душевную сторону идей и стремленій дѣятелей того времени. Но по разнымъ намекамъ и симптомамъ мы можемъ установить не-

---

[1]) Курсивъ мой.

сомнѣнную религіозность (въ психологическомъ смыслѣ) душевныхъ основаній ихъ идей, ихъ этики и самой дѣятельности. Что касается этой послѣдней, то въ ней религіозная подкладка сказывалась постольку, поскольку эта дѣятельность удалялась отъ типа политической въ собственномъ смыслѣ и сбивалась на сектантство. У Михайлова это выступаетъ весьма отчетливо. Стоитъ только прочитать его „Завѣщаніе“ („Былое“, 1906, февр., стр. 173—174), гдѣ виденъ не только искусный „конспираторъ“ того времени, но и дѣятель, для котораго „кружокъ“ или „партія“ есть родъ секты, родъ „религіознаго союза“, гдѣ каждый участникъ обрѣтаетъ покой совѣсти и душевный миръ... Прочтемъ послѣдній пунктъ „Завѣщанія“ и заключительныя строки: „Завѣщаю вамъ, братья, заботиться о нравственной удовлетворенности каждаго члена организаціи. Это сохранитъ между вами миръ и любовь; это сдѣлаетъ каждаго изъ васъ счастливымъ, сдѣлаетъ навсегда памятными дни, проведенные въ вашемъ обществѣ.—Затѣмъ цѣлую васъ всѣхъ, дорогіе братья, милыя сестры, цѣлую всѣхъ по одному и крѣпко, крѣпко прижимаю къ груди, которая полна желаніемъ, страстью, воодушевляющими и васъ...“ (стр. 174).

2.

Въ одной изъ статей, помѣщенныхъ въ „Быломъ“ (авг. 1906 г.), находимъ слѣдующую характеристику „революціонеровъ“ конца 60-хъ и начала 70-хъ годовъ: „...это были дѣйствительно революціонеры, въ томъ смыслѣ, что желали радикальнаго—соціальнаго и политическаго—переворота на началахъ соціализма. Но въ то же время въ своихъ средствахъ это были мирнѣйшіе изъ мирныхъ людей. Они слишкомъ ненавидѣли насиліе, чтобы не отворачиваться отъ него, даже для достиженія своихъ цѣлей. Они слишкомъ вѣрили въ силу истины для того, чтобы считать нужнымъ насиліе. Тогда казалось, что стоитъ только сказать людямъ: „братья,

любите другъ друга!“, стоитъ только открыть имъ всѣ сокровища науки,—и зданіе грабежа и насилія рухнетъ само собою, быть можетъ, даже не задавивши ни одного человѣка. Для молодежи того времени единственно реальными понятіями были любовь, самоотверженіе, нравственное возрожденіе,—это мы понимали, потому что все это мы сами пережили. Но „бунтъ, кровь, революція“—все это были звуки. Мы слыхали, что безъ того нельзя обойтись, но совершенно не понимали, что это такое въ дѣйствительности. Наша „кровь“ не сопровождалась страданіями, нашъ „бунтъ“ былъ строенъ и безобиденъ, наша „революція“ была болѣе нравственнымъ перерожденіемъ, чѣмъ кровавой перетасовкой“ (стр. 119).

Нѣтъ надобности быть непремѣнно натурой религіозной, чтобы отвергать насиліе и быть „мирнымъ реформаторомъ“ Отрицаніе бунтовъ и кровавой революціи возможно и безъ того, что мы называемъ психологической религіозностью. А, съ другой стороны, исторія знаетъ достаточно примѣровъ воинствующей религіозности. Не разъ религіозныя секты и даже цѣлые народы, движимые религіознымъ чувствомъ, выступали въ защиту своихъ вѣрованій или для ихъ распространенія съ оружіемъ въ рукахъ *). Но при всемъ томъ вышеуказанное „мирное настроеніе“ нашихъ соціалистовъ начала 70-хъ годовъ должно быть признано однимъ изъ яркихъ выраженій ихъ психологической религіозности; они

---

*) Отрицаніе насилія, если только это не простой расчетъ (въ виду убѣжденія въ его, т.-е. насилія, нецѣлесообразности), а вытекаетъ изъ глубины натуры человѣка, есть только частное выраженіе духа гуманности и терпимости. А этотъ духъ, какъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ вся исторія человѣчества, отнюдь не часто встрѣчается у натуръ религіознаго пошиба; онѣ становятся гуманными большею частью лишь тогда, когда проникнуты воздѣйствіями, идущими отъ умственной культуры. отъ науки, философіи, искусства.—Что касается спеціально терпимости, то ею человѣчество обязано всего болѣе успѣхамъ религіознаго индифферентизма.

религіозно вѣровали въ идеалъ соціализма, какъ въ своего рода „откровеніе“, и приписывали почти чудесную силу исповѣданію этой „вѣры“, пропагандѣ соціализма. Кромѣ того, нельзя не видѣть здѣсь отпечатка той религіозности, которою характеризовалось первоначальное христіанство, религіозности евангельской, выдвигавшей идею не насилія, а самопожертвованія. Не всѣ, быть можетъ, но очень многіе изъ тѣхъ, которые „ходили въ народъ“, увлекались — одни сознательно, другіе безсознательно—идеаломъ евангельскаго служенія ближнему, отреченія отъ всѣхъ благъ земныхъ, отъ личнаго счастья. Когда такъ называемый „процессъ 50-ти“ (1877) обнаружилъ дѣятельность молодыхъ барышень, которыя самоотверженно несли народу „благую вѣсть“ соціализма,—мотивы изъ Евангелія, параллели къ нагорной проповѣди невольно приходили на умъ. Этимъ барышнямъ предстояло въ жизни счастье и довольство, въ числѣ ихъ были лица съ большими средствами, всѣ онѣ были образованы, хорошо воспитаны, всѣ они имѣли не только внѣшнія, но и внутреннія, нравственныя права на видное положеніе въ обществѣ, на жизнь истинно-счастливую и прекрасную. Но онѣ предпочли ей жизнь святую, счастье онѣ промѣняли на подвигъ и принесли себя въ жертву высокому идеалу, который казался имъ только новымъ выраженіемъ все того же евангельскаго идеала. И вотъ какъ оттолосокъ евангельскихъ мотивовъ прозвучалъ въ стихотвореніи Софіи Бардиной, одной изъ „50-ти“:

Мы были тамъ... Его распяли,
А мы стояли въ сторонѣ
И осторожно всѣ молчали,
Свои великія печали
Храня души своей на днѣ.
Его враги у насъ спросили:
„И въ васъ, должно быть, тотъ же духъ,—

„Вѣдь вы Его друзьями были…“
Мы отреклись… Насъ отпустили…
А вдалекѣ пропѣлъ пѣтухъ…
Намъ было слышно: умирая,
Онъ все простилъ своимъ врагамъ,
Онъ умеръ, ихъ благословляя,
Открывъ убійцѣ двери рая…
Но… онъ простилъ ли и друзьямъ?..

Другимъ проявленіемъ психологической религіозности мирныхъ пропагандистовъ 70-хъ годовъ были ихъ упованія на близость „соціальнаго переворота“, напоминавшія вѣру первыхъ христіанъ въ близость второго пришествія Христа и водворенія царства Божія на землѣ. Кто помнитъ то время, тотъ знаетъ, какъ распространены были эти упованія въ широкихъ кругахъ революціонно настроенной молодежи,— эти надежды, свидѣтельствующія объ устойчивости догматическихъ и миѳологическихъ привычекъ мысли. Эти привычки, воспитанныя вѣками, вообще гораздо прочнѣе, чѣмъ это принято думать, и часто остаются нетронутыми подъ налетомъ „научныхъ“ словъ и формулъ. Нерѣдко наблюдается какъ бы раздвоеніе ума: въ области естествознанія человѣкъ уже усвоилъ не только слова и формулы, но и привычки научной мысли, между тѣмъ какъ въ его воззрѣніяхъ на все соціальное и историческое, въ его способѣ мыслить эти явленія, съ большею или меньшею ясностью сказывается закоренѣлая вѣра въ произволъ и чудеса…

Изъ всей совокупности сгруппированныхъ здѣсь чертъ явствуетъ, что соціалистическое движеніе того времени не могло вылиться въ форму политической партіи въ собственномъ смыслѣ и поневолѣ должно было стать „сектантскимъ“. „Программа“ сбивалась на какой-то „символъ вѣры“, а „божество“, которому поклонялись, было представлено не то соціалистическимъ идеаломъ, не то русскимъ мужикомъ,

не то своеобразнымъ сліяніемъ ихъ въ одинъ фантомъ, въ какой-то призракъ идеальнаго русскаго народа, призваннаго изумить міръ скорымъ осуществленіемъ великой мечты утопистовъ...

3.

„Хожденіе въ народъ“ въ 70-хъ годахъ можно разсматривать какъ своего рода экспериментъ, аналогичный тѣмъ, о которыхъ разсказывалъ Гл. Успенскій въ очеркахъ „Непорванныя связи“ и „Овца безъ стада“.—Различіе, на которое мы указали выше (см. гл. VII), сводилось къ тому, что въ одномъ случаѣ было „опрощеніе“ безъ утопіи и безъ религіозно-психологической основы, въ другомъ оно характеризовалось и тѣмъ, и другимъ. Въ обоихъ случаяхъ была произведена, такъ сказать, очная ставка между передовой интеллигенціей и народомъ. И въ обоихъ же случаяхъ народъ сказалъ: „не суйся!“—Мы видѣли, съ какою горечью говоритъ объ этомъ Гл. Успенскій въ IV-й главѣ очерковъ „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ“. Не менѣе горькое чувство должны были вынести изъ „очной ставки“ и утописты. Въ своихъ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ одна изъ выдающихся дѣятельницъ эпохи „хожденія въ народъ“, О. С. Любатовичъ, говоритъ о своихъ товарищахъ, что они „искали высшей нравственной санкціи“ правъ человѣка „въ народѣ“, но не нашли ея „въ реальномъ русскомъ человѣкѣ, *въ этомъ скопищѣ, именуемомъ народомъ* [1])...“ („Былое“, 1906, май, стр. 215—216).

Этотъ горькій упрекъ по адресу „реальнаго русскаго человѣка“, подъ которымъ разумѣется именно „мужикъ“, имѣетъ свои психологическія оправданія, но вполнѣ справедливымъ называть его нельзя. „Скопище, именуемое народомъ“, не виновато, что его такъ долго и такъ неосновательно идеализировали, что въ дѣятельности, имѣющей

[1]) Курсивъ мой.

цѣлью его благо, руководились совершенно фантастическимъ представленіемъ о народѣ.

Экспериментъ, въ силу извѣстныхъ обстоятельствъ, могъ быть только начатъ. Если бы онъ продлился дольше, то, по всей вѣроятности, „въ скопищѣ, именуемомъ народомъ", обнаружились бы группы, способныя воспріять идеи утопическаго соціализма, какъ это наблюдается въ чистонародныхъ сектахъ. Образовалась бы смѣшанная „народно-интеллигентская" секта, въ родѣ позднѣйшихъ „толстовскихъ". Вспомнимъ, что стремленіе „сѣсть на землю", жить трудами рукъ своихъ и образовать родъ идеальной земледѣльческой общины было далеко не чуждо нѣкоторымъ кружкамъ того времени; одинъ изъ нихъ, и при томъ очень вліятельный, именно кружокъ „чайковцевъ", съ этою цѣлью переселился въ Америку, гдѣ и пытался осуществить свою мечту, но попытка была неудачна. Вспомнимъ и то, что въ этомъ же кружкѣ психологическая религіозность его дѣятелей уже прямо переходила въ родъ новаго религіозно-этическаго вѣроученія, гдѣ замѣтно выдѣлялась идея „непротивленія злу насиліемъ", которую проповѣдывалъ нѣкто Маликовъ, предупредившій въ этомъ отношеніи проповѣдь Толстого.—Съ другой стороны, такія лица изъ народной среды, какъ Сютаевъ, оказавшій (въ 80-хъ годахъ) большое вліяніе на Л. Н. Толстого, не замедлили бы появиться въ кружкахъ дѣятелей эпохи „хожденія въ народъ",—и произошло бы сліяніе психологической религіозности этихъ послѣднихъ съ сектантскою религіозностью выходцевъ изъ народа.

Но не трудно видѣть, что въ эти формы соціалистическое движеніе той эпохи могло бы вылиться только частично. Главное историческое русло движенія шло не въ этомъ направленіи. Сила вещей властно влекла революціонно настроенную интеллигенцію въ сторону не сектантскаго, а политическаго движенія, въ которомъ психологическая религіозность дѣятелей, какъ это всегда и вездѣ бывало, должна

была перейти въ другое, психологически родственное ей, явленіе—въ политическій революціонный фанатизмъ. „Религіозная“ (въ вышеуказанномъ смыслѣ) основа этого фанатизма съ рѣдкою отчетливостью выступаетъ въ воспоминаніяхъ О. С. Любатовичъ. Вотъ одно изъ наиболѣе яркихъ мѣстъ, гдѣ авторъ, обращаясь къ памяти умершаго на чужбинѣ сподвижника, говоритъ: „Въ вопросахъ вѣры ты былъ теоретически скептикомъ, но вѣра безсознательно жила въ твоей душѣ, управляла твоимъ чувствомъ и жизнью. Не свое „я“ помѣстилъ ты на алтарь низверженнаго божества, какъ это дѣлаютъ истинные скептики и невѣрующіе, а человѣчество въ его высшемъ идеальнѣйшемъ представленіи; этому божеству, этой мечтѣ ты принесъ въ жертву всего себя, всѣ свои силы, всю свою жизнь...“ („Былое“, 1906, май, стр. 209—210).

Мы не пишемъ здѣсь исторію освободительнаго и революціоннаго движенія въ Россіи. Насъ интересуютъ общественно-психологическіе типы интеллигенціи, выдвинутые самой жизнью; и психологія настроеній и идеологій передовой части общества. Съ этой цѣлью и сгруппировали мы вышеприведенныя свидѣтельства: они даютъ намъ надежныя указанія для характеристики даннаго момента въ исторіи нашего общественнаго развитія. При ихъ помощи мы можемъ, между прочимъ, отмѣтить различіе между тою полосою въ нашемъ развитіи, которая въ художественной литературѣ представлена грандіозною фигурою Базарова и обыкновенно обозначается терминомъ „нигилизмъ 60-хъ годовъ“, и тою полосою, которою ознаменовались 70-е годы. На мѣсто односторонняго увлеченія естественными науками явился живой интересъ къ вопросамъ соціальнымъ, экономическимъ, историческимъ,—въ особенности къ исторіи народныхъ движеній, раскола и сектъ. Индифферентизмъ и скептицизмъ въ религіи, чѣмъ такъ ярко отличалось „писаревское“ направленіе, замѣтно пошли на убыль. Относясь равнодушно къ

религіозной догматикѣ, къ офиціальной религіи, новые дѣятели обнаруживали несомнѣнный интересъ къ Евангелію, къ христіанской этикѣ, къ личности Христа.—Въ противоположность свойственному людямъ базаровскаго типа свободному, чуждому всякой „религіозности", отношенію къ идеямъ, они проявляли яркую, повышенную психологическую религіозность какъ въ своемъ личномъ самочувствіи, такъ и въ способѣ воспріятія идей, во всѣхъ отношеніяхъ другъ къ другу и къ дѣлу, которому они служили. Типъ передового, мыслящаго человѣка измѣнился довольно рѣзко. Эта перемѣна отмѣчена между прочимъ въ слѣдующемъ мѣстѣ воспоминаній О. С. Любатовичъ, гдѣ интересно отмѣтить и отношеніе автора къ недавно еще господствовавшему „базаровскому" или „писаревскому" направленію: описывая одну сходку или бесѣду, О. С. Любатовичъ говоритъ, что въ „нарядѣ", въ „жестахъ", въ „сдержанныхъ рѣчахъ" новыхъ людей не было той „шаблонной распущенности и рѣзкости", „которую привыкли у насъ называть нигилизмомъ, царившимъ, правда, въ студенческихъ кружкахъ 60-хъ годовъ, но совершенно исчезнувшимъ въ 70-хъ, по крайней мѣрѣ въ крупныхъ центрахъ... Столь же мало было въ нихъ общаго съ типомъ Базарова... Нѣтъ, не дѣти и не братья Базарова сошлись здѣсь на бесѣду, не братья того Базарова, который презиралъ народъ уже со студенческой скамьи, потому что привыкъ трезво смотрѣть на него еще съ колыбели,—нѣтъ, а скорѣе дѣти Кирсановыхъ, выросшія въ атмосферѣ мечтательнаго идеализма, дѣти Кирсановыхъ, получившія, впрочемъ, откуда-то притокъ свѣжей молодой крови, быть можетъ, крови какой-нибудь Ѳенички [1])..." („Былое", 1906, май, 215).

[1]) Курсивъ мой.

Это свидѣтельство лица, въ данномъ вопросѣ очень авторитетнаго, представляетъ высокій интересъ. Оно приводитъ насъ къ слѣдующимъ соображеніямъ. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на преобладаніе „разночиннаго“ элемента, въ средѣ „людей 70-хъ годовъ“ видную роль играли „дѣти Кирсановыхъ“, т.-е. лица дворянскаго происхожденія, дѣти богатыхъ и средней руки помѣщиковъ, унаслѣдовавшія идеалистическую складку своихъ отцовъ и дѣдовъ, „людей 40-хъ годовъ“, и сохранившія, такъ сказать, традиціи благородныхъ чувствъ и безкорыстнаго увлеченія идеей—въ ущербъ своимъ личнымъ и классовымъ интересамъ. Самый „культъ народа“ у „людей 70-хъ годовъ“ былъ не только отраженіемъ народнической идеализаціи мужика, столь ярко выраженной въ литературѣ 60-хъ—70-хъ гг., но также и продолженіемъ того народолюбія съ примѣсью идей европейскаго соціализма, въ томъ числѣ и утопическаго, которое было однимъ изъ видныхъ элементовъ идеологіи передовыхъ людей 40-хъ годовъ или, точнѣе, извѣстной ихъ фракціи. Новое поколѣніе 70-хъ годовъ по духу, по психологіи своихъ идей и настроеній, по своей этикѣ стояло значительно ближе къ Герцену, Огареву, Бакунину, чѣмъ къ Писареву и Базарову. Многіе изъ принадлежавшихъ къ этому поколѣнію, хотя и прошли черезъ писаревское отрицаніе и сохраняли нѣкоторые слѣды послѣдняго, но воспитались не на Писаревѣ и литературѣ его школы, а на Добролюбовѣ и Чернышевскомъ, и ужъ это одно должно было замѣтно повліять на ихъ душевный складъ—въ смыслѣ далеко не благопріятномъ традиціи, восходящей къ „нигилизму“ 60-хъ годовъ. Таково же было и вліяніе Михайловскаго и Лаврова, въ чьихъ сочиненіяхъ молодежь 70-хъ годовъ не могла почерпнуть ничего „нигилистическаго“, ни отрицанія „эстетики“, ни глумленія надъ метафизической философіей и филологическими науками, ни примѣровъ диллетантскаго отношенія къ вопросамъ мысли и жизни. Михайловскій и Лавровъ

относились къ метафизикѣ отрицательно, но чтили ея великихъ представителей. Лавровъ въ молодости самъ прошелъ черезъ гегеліанство, Михайловскій высоко цѣнилъ Шопенгауэра и чуть ли не первый у насъ (и при томъ именно въ 70-хъ годахъ, въ столь популярныхъ тогда „Запискахъ профана") обратилъ вниманіе читающей публики на этого мыслителя. Популярной философіей въ 70-хъ годахъ былъ у насъ позитивизмъ, истолкованіе котораго въ трудахъ Лаврова, Михайловскаго и другихъ содѣйствовало вообще пробужденію философскихъ интересовъ. Въ этомъ направленіи не малое вліяніе оказалъ и Лесевичъ, статьи и книги котораго знакомили читающую публику со всѣми новѣйшими успѣхами и выводами какъ французскаго позитивизма, такъ и германской критической философіи.

Поколѣніе 70-хъ годовъ въ общемъ, сравнительно съ поколѣніемъ 60-хъ, отличалось, между прочимъ, замѣтною убылью того раціонализма, той „разсудочности", какими въ большей или меньшей мѣрѣ характеризовалась интеллигенція эпохи реформъ. Добрая доля ошибокъ Писарева и крайностей Базарова сводятся, какъ къ своему источнику, именно къ излишней „разсудочности", къ исключительному господству „трезвой" мысли надъ чувствомъ, къ безоглядному отрицанію того натуральнаго, психологическаго „романтизма", который составляетъ немаловажную принадлежность души человѣческой. Отрицаніе „эстетики" было однимъ изъ выраженій этихъ раціоналистическихъ наклонностей мысли.—Соотвѣтственныя черты, только въ иной формѣ и постановкѣ, проявлялись и у многихъ другихъ представителей эпохи, не принадлежавшихъ къ „базаровскому" типу и не раздѣлявшихъ воззрѣній Писарева. Такъ, Н. Г. Чернышевскій, по складу ума, по своимъ умственнымъ вкусамъ (если можно такъ выразиться), былъ, несомнѣнно, раціоналистъ. Эту складку мысли, съ обычною проницательностью, подмѣтилъ въ немъ В. Г. Короленко, когда, уже въ 80-хъ

годахъ, по возвращеніи Чернышевскаго изъ Сибири, онъ познакомился и бесѣдовалъ съ знаменитымъ писателемъ: „Онъ остался попрежнему крайнимъ раціоналистомъ по пріемамъ мысли, экономистомъ по ея основаніямъ... Вѣра въ силу устроительнаго разума, по Канту. Вся исторія есть не что иное, какъ смѣна разныхъ силлогизмовъ, смѣна, происходящая по системѣ Гегеля... Далѣе: главный матеріалъ, надъ которымъ оперируетъ разумъ, творящій соціальныя формы, — эгоистическіе и прежде всего матеріальные интересы. Сдѣлать подсчетъ этихъ интересовъ, поставить наибольшее благо наибольшаго числа людей въ качествѣ цѣли, показать эту таблицу съ ея противоположными итогами громаднымъ массамъ, которыя теперь, по неумѣнію разсчитать, допускаютъ существованіе неестественной соціальной ариѳметики,—остальное уже можно легко предсказать и предвидѣть.—Таковы были, по-моему, взгляды, такова, по-моему, была вѣра [1])...“ — В. Г. Короленко говоритъ далѣе, что съ годами эта вѣра „утратилась“ у Чернышевскаго, но „основные философскіе взгляды остались“. Поколѣніе 70-хъ годовъ, воспріявъ эти самые „взгляды“, какъ и вѣру, отъ людей 60-хъ гг., въ особенности отъ того же Чернышевскаго, пришло, послѣ искуса народнической пропаганды, къ другимъ итогамъ,—оно убѣдилось въ томъ, что жизнь гораздо мудреннѣе, чѣмъ это казалось мыслителю-раціоналисту. „Вмѣстѣ съ народнической литературой наше поколѣніе изучало народъ, которому приходилось показывать соціальную ариѳметику; оно изучало его также практически, цѣлымъ опытомъ народническо-пропагандистскаго движенія. И мы были поражены сложностью, противорѣчіями, неожиданностями, которыя при этомъ встрѣтились [2])...“—Жизнь нещадно разбивала иллюзіи, но „разочарованія“, испытанныя поколѣніемъ

[1]) „Воспоминанія о Чернышевскомъ“ В. Г. Короленко. („Русск. Бог.“, 1904, ноябрь, стр. 63, второй отдѣлъ книги).

[2]) Тамъ же, стр. 64.

70-хъ годовъ, имѣли, по выраженію В. Г. Короленка, то „особое свойство“, что сама жизнь и исцѣляла ихъ“: на мѣстѣ разрушеннаго „незамѣтно зарождалась въ душѣ возможность новыхъ воззрѣній [1])“. Я бы сказалъ, что „возможность новыхъ воззрѣній“ люди 70-хъ годовъ принесли сами, въ своей душѣ, и что безъ всякихъ опытовъ и разочарованій они недолго удержались бы на упрощенной, раціоналистической точкѣ зрѣнія. Сложности жизни отвѣчала сложность ихъ душевной организаціи, ихъ прирожденная чуткость къ ирраціональнымъ силамъ жизни. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что поколѣніе 70-хъ годовъ относится къ поколѣнію 60-хъ приблизительно такъ, какъ люди 40-хъ годовъ къ людямъ 20-хъ. Говоря о раціонализмѣ, объ упрощенномъ міросозерцаніи Чернышевскаго, Короленко, въ противовѣсъ ему, вспоминаетъ Гл. И. Успенскаго, какъ типичнаго представителя людей 70-хъ годовъ: „Вся литературная біографія Успенскаго, все, за что мы его такъ любимъ, весь захватывающій интересъ его дѣятельности, художественной и публицистической, объясняется этой исторіей интеллигентной чуткой души, натыкающейся, въ поискахъ правды и жизненной гармоніи, на противорѣчія и диссонансы и все-таки не теряющей вѣры“ [2]). — И тутъ же В. Г. Короленко, по личнымъ воспоминаніямъ, показываетъ, какъ Чернышевскій не понималъ Успенскаго...

Противопоставляя, въ вышеуказанномъ отношеніи, людей 70-хъ годовъ людямъ 60-хъ, я отнюдь не хочу сказать этимъ, что послѣдніе были натурами болѣе поверхностными и менѣе сложными, чѣмъ первые. Дѣло идетъ не столько о психологіи ума. Подъ раціоналистическими пріемами и „вкусами“ мысли, подъ суховатою разсудочностью, подъ упрощеннымъ міросозерцаніемъ, не считающимся съ сложностью, съ ирра-

---

[1]) Тамъ же. Курсивъ мой. [2]) Тамъ же. Курсивъ мой.

ціональностью жизни, можетъ скрываться натура сложная, глубокая и чуткая, какою и былъ, напр., тотъ же Чернышевскій. Отличительная особенность раціоналистическихъ умовъ состоитъ только въ томъ, что сложность и глубина натуры человѣка не отпечатлѣваются въ должной мѣрѣ на работѣ ума, на пріемахъ мысли, на міросозерцаніи. И если судить о такомъ человѣкѣ исключительно по его мнѣніямъ, взглядамъ, сочиненіямъ, не зная его жизни, то легко впасть въ ошибку и составить себѣ самое ложное представленіе о немъ.

Бываютъ эпохи, когда обнаруживается настоятельный спросъ на раціонализмъ мышленія, когда, если можно такъ выразиться, „разсудочные" умы оказываются въ высокой степени полезными и нужными, когда для постановки и рѣшенія очередныхъ задачъ мысли, идеологіи и самой жизни упрощенное міросозерцаніе, не считающееся съ ирраціональностью и сложностью вещей, предпочтительнѣе всякаго другого, болѣе сложнаго и глубокаго. Такова была у насъ эпоха конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ,—эпоха реформъ и практическихъ задачъ жизни и мысли, которыя, волей-неволей, приходилось упрощать, а не осложнять. Это упрощеніе, съ его кажущейся правильностью, съ его фиктивною доказательностью, съ обманчивою „прозрачною ясностью" (выраженіе Короленка) его результатовъ, было одною изъ тѣхъ „ошибокъ", которыя властно требуются духомъ времени. И думается, что намъ вскорѣ предстоитъ пережить такую же эпоху; она властно потребуетъ упрощенія задачъ жизни и мысли,—и опять явится спросъ не только на разсудительность, но и на разсудочность...

Наши 70-е годы не принадлежали къ числу т а к и х ъ эпохъ, и психологическая реакція противъ раціонализма 60-хъ гг. не замедлила обнаружиться съ самаго начала,—реакція невольная, безсознательная, явившаяся какъ выраженіе „спроса" на большую глубину и разносторонность

мысли, какъ симптомъ пробужденія новыхъ интересовъ и запросовъ сознанія. Эта „реакція“ сказалась въ первыхъ же статьяхъ Михайловскаго. В. Г. Короленко вспоминаетъ: „Вмѣсто схемъ чисто-экономическихъ, литературное направленіе, главнымъ представителемъ котораго является Н. К. Михайловскій, раскрыло передъ нами цѣлую перспективу законовъ и параллелей біологическаго характера, а игрѣ экономическихъ интересовъ отводилось подчиненное мѣсто. Все это лишало прежнюю постановку вопросовъ ея прозрачной ясности, усложняло ихъ, запутывало, но всѣ мы чувствовали, что намъ необходимо войти въ этотъ сложный лабиринтъ, и при этомъ мы прощали изслѣдователямъ отступленія, ошибки, противорѣчія“ [1]).

И повторилось то, что у насъ уже произошло однажды— въ 30-хъ годахъ: на смѣну поколѣнію „съ упрощеннымъ міросозерцаніемъ“ явилось поколѣніе требовавшее не упрощенія, а осложненія, не боявшееся запутанности и противорѣчій и обнаруживавшее признаки психологическаго сентиментализма и романтизма. Та психологическая религіозность, о которой была рѣчь выше, явилась какъ одно изъ крайнихъ и яркихъ выраженій этого новаго настроенія, роднящагося съ настроеніями, нѣкогда пережитыми молодымъ поколѣніемъ 30-хъ годовъ.

4.

Въ концѣ 70-хъ годовъ И. С. Тургеневъ, живя въ Парижѣ, имѣлъ возможность нѣсколько ближе присмотрѣться къ нѣкоторымъ изъ представителей поколѣнія и движенія эпохи. Въ числѣ его знакомыхъ были Чайковскій, Лопатинъ, Цакни и другіе. Это были типичные „семидесятники“. Великій художникъ съ изумленіемъ отмѣчалъ въ нихъ черты,

---

[1]) Тамъ же. Курсивъ мой.

напоминавшія ему людей 40-хъ годовъ, и ему пришлось наглядно убѣдиться въ томъ, какъ неполно и невѣрно изобразилъ онъ „новь“ 70-хъ гг. въ своей „Нови“ (1877 г.).

Въ „Этюдахъ о творчествѣ И. С. Тургенева“ я посвятилъ героямъ „Нови“ особую главу. Здѣсь, въ дополненіе къ тому, что изложено тамъ, я скажу только нѣсколько словъ.

Кромѣ Маріанны, героини повѣсти, ни одно изъ лицъ, выведенныхъ въ ней, не можетъ считаться типичнымъ для даннаго времени и данной среды. Неждановы, Маркеловы, Остродумовы, Машурины могли, разумѣется, встрѣчаться въ массѣ молодежи, затронутой вѣяніями времени, но они не являются представителями его духа, — въ нихъ мы не находимъ характерной складки умовъ и натуръ, выдвинувшихся тогда на первый планъ. Даже такая мелочь, какъ то, что Неждановъ пишетъ стихи тайно, стыдясь этого занятія, представляется анахронизмомъ, отголоскомъ „базаровщины“. Поэтическія стремленія въ 70-хъ годахъ вовсе не были въ загонѣ. Выше я привелъ стихотвореніе С. Бардиной. Можно указать еще на раннюю поэтическую дѣятельность Н. А. Морозова. Поколѣніе 70-хъ годовъ выдвинуло цѣлый рядъ писателей-художниковъ,—изъ нихъ достаточно здѣсь указать на славныя имена В. Г. Короленка и П. Ф. Якубовича (Мельшина).

Главный герой „Нови“, Соломинъ, представляетъ высокій интересъ, какъ русскій національный и народный типъ, какъ умъ и характеръ, но для данной эпохи и среды онъ не типиченъ. Соломинъ—не утопистъ, въ немъ нѣтъ психологической религіозности, его „программа“ слишкомъ „благоразумна“ и умѣренна; онъ — „постепеновецъ“, а такое направленіе не пользовалось тогда популярностью. Соломины, какъ и другіе, могли быть, но они молчали и оставались въ тѣни—какъ разъ въ противоположность тому, что говоритъ повѣсть Тургенева, гдѣ Соломинъ выдвинутъ на первый планъ и выставленъ настоящимъ „героемъ своего времени“.

Маріанны той эпохи не увлекались такими, какъ Соломинъ, и не шли за ними...

Къ числу симптомовъ времени, указывавшихъ на перемѣну настроенія, на появленіе новыхъ умственныхъ интересовъ и вкусовъ, нужно отнести, между прочимъ, и успѣхъ Достоевскаго въ 70-хъ годахъ, очень усилившійся къ концу десятилѣтія.

Литературная дѣятельность Ѳ. М. Достоевскаго, начавшаяся еще въ 40-хъ годахъ („Бѣдные люди"), потомъ прерванная осужденіемъ по такъ называемому „дѣлу Петрашевскаго" и ссылкою на каторгу, возобновилась въ самомъ концѣ 50-хъ годовъ и достигла своего расцвѣта въ 60-хъ, когда Достоевскій создалъ свои лучшія произведенія („Преступленіе и наказаніе", „Идіотъ" и др.). Но только въ 70-хъ ему удалось „ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой".

ГЛАВА XI.

Достоевскій въ 70-хъ годахъ.

1.

Достоевскій былъ славянофилъ (правда, на свой ладъ), и въ его взглядахъ на вещи было много такого, что рѣзко расходилось съ понятіями, господствовавшими въ передовыхъ кругахъ общества. По нѣкоторымъ вопросамъ онъ выступалъ какъ консерваторъ. При желаніи можно даже найти въ его сочиненіяхъ кое-какіе признаки, дающіе возможность причислить его къ врагамъ освободительнаго движенія и прогресса. И при всемъ томъ, въ міросозерцаніи и еще больше въ самомъ душевномъ укладѣ этого необыкновеннаго человѣка были такія стороны, которыми онъ сближался съ передовыми кругами 70-хъ годовъ,—было нѣкоторое избирательное сродство между нимъ и самимъ „духомъ“ этого времени.

Достоевскій былъ убѣжденный народникъ, доходившій до обожанія народа, до крайней идеализаціи его. По его разумѣнію, русскій народъ, подъ оболочкою внѣшней грубости и нерѣдко жестокихъ нравовъ, скрываетъ чуть ли не настоящую святость, исключительную душевную красоту. „Судите нашъ народъ не по тому, чѣмъ онъ есть, а по тому,

чѣмъ онъ желалъ бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его въ вѣка мученій; они срослись съ душой его искони и наградили ее навѣки простодушіемъ и честностью, искренностью и широкимъ всеоткрытымъ умомъ, и все это въ самомъ привлекательномъ гармоническомъ соединеніи...“ Такъ говорилъ Достоевскій въ „Дневникѣ писателя“ въ 1876 г. (февр., II: статья „О любви къ народу. Необходимый контрактъ съ народомъ“), — въ самый разгаръ „хожденія въ народъ“ и соціалистической пропаганды. Онъ исходилъ, стало быть, изъ предпосылокъ, очень близкихъ къ тѣмъ, отъ которыхъ отправлялись и адепты утопическаго соціализма, полагавшіе, что мужикъ — прирожденный соціалистъ, что его исконные идеалы совпадаютъ съ высокимъ соціалистическимъ идеаломъ.

Читатели „Дневника“, въ ряду которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, передовая интеллигенція 70-хъ годовъ занимала видное мѣсто, находили здѣсь—по вопросу о народѣ и объ отношеніяхъ между нимъ и высшими классами — много мыслей и чувствъ, которыя шли отъ сердца къ сердцу. Славянофильскую точку зрѣнія, выводы и то, что можно бы назвать „программою“ Достоевскаго, передовая молодежь, конечно, не могла принять, но основной „догматъ“ о высокихъ качествахъ русскаго народа и о его великой миссіи въ грядущемъ обновленіи человѣчества,—„догматъ“, на которомъ основывалась самая возможность попытокъ соціалистической пропаганды въ народѣ и всѣхъ опытовъ „опрощенія“, былъ выраженъ Достоевскимъ съ такою глубокою вѣрою, съ такою проникновенною силою искренности, что невольно своею проповѣдью онъ, такъ сказать, подливалъ масла въ огонь. Отвергая ученіе европейскаго соціализма и порицая его пропаганду въ народѣ, Достоевскій въ то же время энергично, хотя и непреднамѣренно, поддерживалъ въ молодежи ту систему понятій и чувствъ, которая была психологическимъ основаніемъ революціонныхъ иллюзій нашихъ

соціалистовъ. Для подвига, для отреченія отъ всѣхъ благъ земныхъ и принесенія себя въ жертву „идеѣ“ народа еще мало сознанія нравственной отвѣтственности передъ нимъ,—необходимо обожаніе, нужна глубокая вѣра въ высокое достоинство, въ исключительное величіе „народнаго духа“ Эту вѣру проповѣдывали чистые народники, но никто изъ нихъ не могъ сравняться съ Достоевскимъ фанатизмомъ и радикализмомъ въ ея исповѣданіи. Въ народнической проповѣди Достоевскаго было что-то безоглядное, изступленное, недопускающее ни уступокъ, ни возраженій,—а это и есть то самое, на что русскій „идейный“ читатель всегда былъ падокъ...

„Въ русскомъ народѣ,—писалъ Достоевскій въ томъ же февральскомъ № „Дневника“ 1876 г.,—нужно умѣть отвлекать красоту его отъ наноснаго варварства“.—Вотъ тезисъ, который, напр., для Гл. Успенскаго требовалъ разныхъ оговорокъ и ограниченій, а для Достоевскаго былъ аксіомой, не нуждающейся въ доказательствахъ и только допускающею кое-какія поясненія, въ видѣ иллюстраціи. Въ качествѣ таковой онъ приводитъ (тамъ же) два воспоминанія: одно изъ своей жизни на каторгѣ, а другое изъ своего дѣтства, когда ему было 9 лѣтъ. Сперва нарисовалъ онъ дикую сцену расправы пьяныхъ каторжниковъ съ татариномъ, при видѣ которой ссыльный полякъ, товарищъ Достоевскаго по несчастью, сказалъ ему: je hais ces brigands![1]). На Достоевскаго эта сцена произвела удручающее впечатлѣніе. Онъ вспоминаетъ: „Безобразныя, гадкія пѣсни, майданы съ картежной игрой подъ нарами, нѣсколько уже избитыхъ до полусмерти каторжныхъ, за особое буйство, собственнымъ судомъ товарищей и прикрытыхъ на нарахъ тулупами, пока оживутъ и очнутся,—нѣсколько разъ уже обнажавшіеся ножи,—все это въ два дня праздника до бо-

[1]) „Я ненавижу этихъ разбойниковъ!“

лѣзни истерзало меня. Да и никогда не могъ я вынести безъ отвращенія пьянаго народнаго разгула, а тутъ въ этомъ мѣстѣ особенно...“—И вотъ онъ забрался на свои нары, притворился спящимъ („къ спящему не пристанутъ, а межъ тѣмъ можно мечтать и думать“) и погрузился въ воспоминанія. Ему припомнился одинъ случай изъ далекаго дѣтства, въ деревнѣ: однажды, гуляя въ полѣ, онъ испугался: ему померещилось, что кто-то крикнулъ: волкъ!—Проѣзжавшій мужикъ Марей успокоилъ ребенка: „Ишь вѣдь испужался, ай-ай! Полно, ро́дный!... Ну, полно же, ну, Христосъ съ тобой, окстись!..“ и т. д. Мало-по-малу ребенокъ успокоился подъ вліяніемъ ласковыхъ словъ мужика. Мужикъ Марей пожалѣлъ барченка и отнесся къ нему „по человѣчеству“, обнаружилъ рѣдкую деликатность души.—Предвидя возраженіе, что не нужно быть непремѣнно русскимъ мужикомъ, чтобы пожалѣть и успокоить испуганнаго ребенка, Достоевскій пишетъ: „Конечно, всякій бы ободрилъ ребенка, но тутъ, въ этой уединенной встрѣчѣ, случилось какъ бы что-то совсѣмъ другое, и если бъ я былъ собственнымъ его сыномъ, онъ не могъ бы посмотрѣть на меня сіяющимъ болѣе свѣтлою любовью взглядомъ, а кто его заставлялъ?..“—Пояснивъ, что ласка мужика была въ данномъ случаѣ совершенно безкорыстною, Достоевскій продолжаетъ: „Встрѣча была уединенная, въ пустомъ полѣ, и только Богъ, можетъ, видѣлъ сверху, какимъ глубокимъ и просвѣщеннымъ человѣческимъ чувствомъ и какою тонкою, почти женственною, нѣжностью можетъ быть наполнено сердце иного грубаго, звѣрски-невѣжественнаго крѣпостного русскаго мужика, еще и не ждавшаго—не гадавшаго тогда о свободѣ...“ Вотъ именно это воспоминаніе и заставило Достоевскаго взглянуть на буйствовавшихъ каторжниковъ, избившихъ татарина, совсѣмъ другими глазами. Тутъ у него „вдругъ, какимъ-то чудомъ, исчезла совсѣмъ всякая ненависть и злоба...“—Онъ съ сошелъ наръ и сталъ вглядываться

въ лица каторжниковъ.—„Этотъ обритый и шельмованный мужикъ, съ клеймами на лицѣ и хмельной, орущій свою пьяную сиплую пѣсню, вѣдь, это тоже, можетъ быть, тотъ же самый Марей...“—И когда въ тотъ же вечеръ онъ встрѣтилъ ссыльнаго поляка, онъ подумалъ: „Несчастный! У него ужъ не могло быть воспоминаній ни о какихъ Мареяхъ и никакого другого взгляда на этихъ людей, кромѣ: je hais ces brigands!“ — „Нѣтъ,—заключаетъ Достоевскій,—эти поляки вынесли тогда болѣе нашего!“

Послѣдняя фраза особенно характерна. У несчастныхъ поляковъ не можетъ быть столь утѣшительнаго взгляда на народъ, ибо, какъ доподлинно извѣстно, душевная красота, проявленная Мареемъ, это—привилегія только русскаго народа. Ни въ польскомъ, ни въ какомъ другомъ народѣ такихъ Мареевъ нѣтъ, а если бы таковые и встрѣтились, то это были бы исключенія, частные случаи, между тѣмъ какъ у насъ чуть ли не въ каждомъ мужикѣ такъ или иначе скрывается, хотя бы невидимкою, все тотъ же душевно-прекрасный Марей. Такова подлинная сущность души русскаго крестьянина, легко обнаруживаемая подъ налетомъ привитого варварства и проявляющаяся такими чертами, какъ „простодушіе, чистота, кротость, широкость ума и незлобіе...“ („Дневникъ“, 1876 г., февр., II).—Сказывается она также и тѣмъ, что русскій человѣкъ, дѣлая подлости и разныя мерзости, хорошо сознаетъ, что поступаетъ подло и мерзко, и что такъ поступать не слѣдовало бы... Стоитъ выписать мѣсто, гдѣ Достоевскій говоритъ объ этомъ: „Я какъ-то слѣпо убѣжденъ[1]), что нѣтъ такого подлеца и мерзавца въ русскомъ народѣ, который бы не зналъ, что онъ подлъ и мерзокъ, тогда какъ у другихъ бываетъ такъ, что дѣлаетъ мерзость, да еще самъ себя за нее похваливаетъ, въ принципъ свою мерзость возводитъ, утверждаетъ,

---

[1]) Курсивъ мой.

что въ ней-то и заключается l'Ordre [1]) и свѣтъ цивилизаціи, и, несчастный, кончаетъ тѣмъ, что вѣритъ тому искренно, слѣпо и даже честно" (тамъ же).

Въ этомъ изумительномъ преимуществѣ русскаго народа Достоевскій убѣжденъ „какъ-то слѣпо". И дѣйствительно, приходится изумляться ослѣпленію геніальнаго беллетриста-психолога, навязчивости его предвзятой идеи, его несправедливости и негуманности въ отношеніи къ другимъ народамъ и націямъ.

До какихъ геркулесовыхъ столбовъ доходила у Достоевскаго идеализація русскаго народа, видно также изъ его писемъ и выдержекъ „Изъ записной книжки", опубликованныхъ послѣ его смерти. Въ одной замѣткѣ читаемъ: „Идеалъ красоты человѣческой — русскій народъ. Непремѣнно выставить эту красоту, аристократическій типъ и пр. Чувствуешь равенство невольно; немного спустя почувствуете, что онъ выше васъ". („Полное собраніе сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго", 1883, т. I, „Изъ записной книжки", стр. 353).—Въ другомъ мѣстѣ онъ превозноситъ терпимость русскаго народа: хотя „русскій народъ весь въ православіи и въ идеѣ его," и слѣдовательно, „кто не понимаетъ православія, тотъ никогда и ничего не пойметъ въ народѣ", тѣмъ не менѣе народъ всегда готовъ выслушать человѣка другихъ воззрѣній и обойдется съ нимъ необыкновенно кротко: „О, онъ не оскорбитъ его, не съѣстъ, не прибьетъ, не ограбитъ и даже слова ему не скажетъ. *Онъ широкъ, выносливъ и въ вѣрованіяхъ терпимъ*..." [2]) (тамъ же, стр. 360).

---

[1]) Достоевскій, повидимому, въ самомъ дѣлѣ думалъ, что западно-европейскіе порядки это не что иное, какъ санкція всякихъ мерзостей, и что въ нихъ ничего нѣтъ, кромѣ вопіющей неправды, возведенной въ принципъ и въ законъ.

[2]) Курсивъ мой.

2.

Поклоняясь этому кумиру и приглашая другихъ къ тому же идолопоклонству, Достоевскій фанатически проповѣдывалъ смиреніе передъ „народною правдою". Интеллигенція, по его воззрѣнію, должна не только служить народу, просвѣщать его, защищать его интересы и т. д., но и раздѣлять его понятія, усвоить его предполагаемые историческіе идеалы и прежде всего его религію. Если интеллигенція не сдѣлаетъ этого, она останется чуждой народу,—между ними, попрежнему, будетъ пропасть. Оттуда формула: „не возвышая его до себя, любите народъ, а сами, принизившись передъ нимъ..." (Сочинен., т. I., „Изъ зап. кн.", стр. 358).—Достоевскому, повидимому, и въ голову не приходило, что это было бы насиліемъ надъ своею совѣстью, духовнымъ рабствомъ и худшимъ видомъ лицемѣрія.

Самоотверженныхъ дѣятелей, отрекавшихся отъ всѣхъ благъ земныхъ ради служенія народу, но проповѣдывавшихъ ему соціалистическіе идеалы, которые Достоевскій не признавалъ народными, онъ обзывалъ за это аристократами. Движеніе 70-хъ годовъ, вопреки всякой очевидности, онъ упорно отказывался признавать демократическимъ. Вотъ что читаемъ въ его письмѣ къ московскимъ студентамъ (отъ 18 апрѣля 1878 года): „...хожденія въ народъ произвели въ народѣ лишь отвращеніе. „Барченки", говоритъ народъ (это названіе я знаю, я гарантирую его вамъ, онъ такъ назвалъ)...".—Правда, самоотверженнымъ пропагандистамъ и вообще передовой молодежи онъ отдаетъ должное; еще не было у насъ эпохи, „когда бы молодежь... въ большинствѣ своемъ огромномъ была болѣе, какъ теперь, искреннею, болѣе чистою сердцемъ, болѣе жаждущею истины и правды, болѣе готовою пожертвовать всѣмъ, даже жизнью за правду и за слово правды...".—Но все это пропадаетъ даромъ потому только, что молодежь идетъ къ народу съ идеями ему

чуждыми.—„Вмѣсто того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего о немъ не зная, напротивъ, глубоко презирая его основы, напр., вѣру, идутъ въ народъ не учиться народу [1]), а учить его, свысока учить, съ презрѣніемъ къ къ нему — чисто аристократическая, барская затѣя!“ „Барченки“, говоритъ народъ, — и правъ. Странное дѣло: всегда и вездѣ, во всемъ мірѣ, демократы бывали за народъ; лишь у насъ, русскій нашъ интеллигентный демократизмъ соединился съ аристократами противъ народа: они идутъ въ народъ, „чтобы сдѣлать ему добро“, и презираютъ его всѣ обычаи и его основы. Презрѣніе не ведетъ къ любви!“ („Полное собр. соч.“, т. I, „Письма“, стр. 334).

Здѣсь можно было бы уличить Достоевскаго въ подтасовкѣ понятій и въ игрѣ словами. Демократы вездѣ и всегда стояли за народъ (въ этомъ и состоитъ демократизмъ), но это не значитъ, что они всегда и вездѣ раздѣляли исторически-сложившееся міросозерцаніе своего народа, и демократъ, возстающій противъ народнаго міросозерцанія и разныхъ обычаевъ и „основъ“, отъ этого отнюдь не перестаетъ быть демократомъ. Культъ и идеализація народныхъ понятій, обычаевъ и „основъ“ дѣйствительно сочетались иногда съ демократическими стремленіями; но этимъ сочетаніемъ характеризуется только особый, повсюду извѣстный, видъ демократизма, такъ называемое народничество, и, кажется, нигдѣ такъ не былъ популяренъ и живучъ этотъ романтическій демократизмъ, какъ именно у насъ въ Россіи.

Но такія и всякія иныя подтасовки, какихъ не мало найдется въ „Дневникѣ писателя“, не должны быть поставлены въ вину самому Достоевскому, котораго несправедливо было бы заподозрѣвать въ неискренности. Это — грѣхъ не его лично, а того фанатическаго національнаго, жертвою котораго онъ сталъ: такой національнзмъ съ психологическою необхо-

[1]) Курсивъ мой.

димостью ведетъ къ софистикѣ, ко лжи, къ подтасовкамъ, къ человѣконенавистничеству и изувѣрству. Можно любить свою національность и народъ, какъ предполагаемаго ея носителя и лучшаго представителя (что въ сущности невѣрно), но если вы возведете ихъ въ перлъ созданія и увѣруете въ „народныя основы“, какъ въ какую-то догму, какое-то откровеніе, то вамъ придется поневолѣ примириться со всевозможными дикостями и несообразностями, какими преисполнены всѣ исторически сложившіяся народныя міросозерцанія. А когда вамъ укажутъ на нихъ, вы, по свойственной всякому фанатически вѣрующему слабости, начнете изворачиваться, подтасовывать и лгать самому себѣ. Мы хотимъ думать, что, если бы Достоевскій прожилъ до конца 80-хъ годовъ, онъ отрекся бы отъ своего національзма и шовинизма, онъ одумался бы, какъ во-время одумался горячій почитатель его—Влад. Соловьевъ.

Письмо, изъ котораго я привелъ выдержки, было написано Достоевскимъ въ отвѣтъ на обращеніе къ нему группы московскихъ студентовъ, желавшихъ услышать его авторитетный отзывъ о возмутительномъ фактѣ избіенія студентовъ московскими мясниками. И вотъ Достоевскій утверждаетъ, что эти мясники—вовсе не чернь, какъ говорила либеральная печать, а подлинный народъ, и что избіеніе было выраженіемъ народнаго протеста. Самую форму этого „протеста“ онъ, конечно, не одобряетъ („ибо кулаками никогда ничего не докажешь“) [1], но однако признаетъ ее въ порядкѣ вещей („такъ бывало всегда и вездѣ, во всемъ мірѣ, у народа“). По существу же народъ правъ въ гнѣвѣ своемъ. Онъ уже начинаетъ сознавать всю ложь и все отщепенство русскаго образованнаго общества, которое насквозь прогнило. Передовая молодежь—это дѣти того же прогнив-

---

[1]) Укажу мимоходомъ, что для христіанина, какимъ считалъ себя Достоевскій, это мотивъ недостаточный; недостаточенъ онъ и для всякаго гуманнаго человѣка.

шаго общества, она заражена все тѣмъ же пагубнымъ „европеизмомъ“. Правда, передовая молодежь сама отворачивается отъ „общества“ и обращается къ народу (этому Достоевскій вполнѣ сочувствуетъ), но молодежь дѣлаетъ непоправимую ошибку тѣмъ, что проповѣдуетъ народу чуждыя ему понятія. И народъ не можетъ не протестовать противъ этихъ понятій. Молодежь космополитична, народъ націоналенъ: разладъ между ними неизбѣженъ. „А между тѣмъ, — говоритъ Достоевскій, — въ народѣ все наше спасеніе...“ „Это длинная тема“, замѣчаетъ онъ тутъ же въ скобкахъ, уклоняясь отъ развитія ея...

Если понимать фразу „въ народѣ все наше спасеніе“ въ томъ смыслѣ, что благосостояніе и просвѣщеніе народа есть необходимое условіе и основа благополучія общества и всего государства, то это выйдетъ тема вовсе не длинная; развивать ее студентамъ, обратившимся къ Достоевскому, было бы, въ самомъ дѣлѣ, излишнею тратою времени: студенты отлично знали и понимали эту банальную истину. Но подъ „спасеніемъ“, котораго нужно искать въ народѣ, Достоевскій понималъ нѣчто иное, и это была дѣйствительно „длинная тема“, которую онъ усердно „развивалъ“ въ „Дневникѣ писателя“. Она была тѣмъ болѣе „длинна“ и сложна, что, по славянофильскому воззрѣнію Достоевскаго, въ русскомъ народѣ приходится искать „спасенія“ не только „намъ“, но и Европѣ, всему цивилизованному міру. Эта фантастическая идея русскаго мессіянизма была одною изъ излюбленныхъ идей Достоевскаго. Онъ высказывалъ ее и въ письмахъ, и въ „Дневникѣ писателя“. Съ наибольшею опредѣленностью выражена она въ статьѣ „Признанія славянофила“ („Дневн. писат.“, 1877, іюль—авг.). Здѣсь онъ говоритъ, что славянофильство понимаютъ различно, самъ же онъ разумѣетъ подъ нимъ слѣдующее: оно есть „духовный союзъ всѣхъ вѣрующихъ въ то, что великая наша Россія, во главѣ объединенныхъ славянъ, скажетъ всему міру, всему европейскому че-

ловѣчеству и цивилизаціи его свое новое, здоровое и еще неслыханное міромъ слово. Слово это будетъ сказано во благо и во истину уже въ соединеніе всего человѣчества новымъ, братскимъ, всемірнымъ союзомъ, начала котораго лежатъ въ геніи славянъ, а преимущественно въ духѣ великаго народа русскаго..."—Это „слово" и разрѣшитъ ко всеобщему удовольствію „многія изъ самыхъ горькихъ и роковыхъ недоразумѣній западно-европейской цивилизаціи". Подъ этими „недоразумѣніями" слѣдуетъ понимать, главнымъ образомъ, соціальный вопросъ, борьбу западно-европейскаго пролетаріата съ буржуазіей и революціонный соціализмъ, о чемъ въ другомъ мѣстѣ „Дневника" (февр., 1877 г., статья III: „Злоба дня въ Европѣ") говорится съ полною опредѣленностью.—Россія, во главѣ объединенныхъ славянъ, порѣшитъ этотъ общеевропейскій, міровой вопросъ огромной сложности просто тѣмъ, что скажетъ какое-то новое „слово". Это магическое слово подготовляется „духовнымъ союзомъ" славянофильски-вѣрующихъ... „Вотъ къ этому-то отдѣлу убѣжденныхъ и вѣрующихъ принадлежу и я", заключаетъ Достоевскій свое profession de foi...

Если устранить славянъ, которыми передовая интеллигенція, не смотря на увлеченіе (незадолго передъ тѣмъ) герцеговинскимъ возстаніемъ, очень мало интересовалась, то этотъ русскій мессіянизмъ Достоевскаго окажется вовсе не столь чуждымъ ей, какъ могло бы показаться на первый взглядъ. Въ рядахъ передовой соціалистически настроенной молодежи были лица, думавшія, что соціальный вопросъ у насъ, въ Россіи, разрѣшится легче и лучше, чѣмъ въ Зап. Европѣ, и мы, рѣшивъ его, покажемъ, такъ сказать, примѣръ остальному человѣчеству. Въ его рѣшеніи у насъ главная роль выпадаетъ, конечно, на долю самого народа, этого прирожденнаго соціалиста, доселѣ сохранившаго общинные порядки, то и дѣло выдѣляющаго соціалистическія секты и совершенно нетронутаго пагубными буржуазными вождели-

ніями и вредными понятіями о частной собственности на землю. Земля—ничья, Божья—таковъ народный идеалъ, совпадающій будто бы съ выводами новѣйшаго соціализма...

Съ такою постановкою вопроса Достоевскій ни въ какомъ случаѣ не согласился бы: западный соціализмъ онъ отрицалъ и ненавидѣлъ какъ „лжеученіе", порожденное тѣмъ же „гніющимъ Западомъ", а соціальный вопросъ въ Россіи онъ сводилъ на нѣтъ, полагая, что всѣ „недоразумѣнія" между народомъ и высшими слоями разрѣшатся какъ-то сами собою, путемъ „самоусовершенствованія", силою моральной проповѣди, силою христіанскаго идеала, присущаго народной душѣ. Но при всѣхъ этихъ разногласіяхъ внутреннее, психологическое родство утопіи и иллюзій Достоевскаго съ утопіями и иллюзіями соціалистовъ 70-хъ годовъ представляется несомнѣннымъ: это были только разные плоды, взрощенные на одной и той же почвѣ, именно на идеализаціи и культѣ русскаго народа.

3.

Сближался Достоевскій съ соціалистами 70-хъ годовъ и на другомъ пунктѣ: онъ питалъ жгучую ненависть и великое презрѣніе къ буржуазіи, къ капитализму, къ западноевропейскимъ порядкамъ, основаннымъ на господствѣ буржуазіи, и наконецъ—къ нашимъ конституціоналистамъ и умѣреннымъ либераламъ, мечтавшимъ объ „увѣнчаніи зданія" (реформъ 60-хъ годовъ учрежденіемъ народнаго представительства), о русскомъ парламентѣ по европейскому образцу. Обо всемъ этомъ онъ говорилъ не иначе, какъ съ раздраженіемъ, напр.: „А Россію-то подгоняютъ: почему это она не Европа?.. Рѣшено, наконецъ, и разрѣшенъ вопросъ: оттого де, что не увѣнчано зданіе. И вотъ всѣ до единаго кричатъ объ увѣнчаніи зданія..." („Изъ зап. книжки", т. I, 363).—Вмѣстѣ съ тѣмъ Достоевскій отрицалъ и бюрократію, которую онъ считалъ, по примѣру другихъ славянофиловъ,

порожденіемъ все того же гнилого Запада, пересаженнымъ къ намъ Петромъ Великимъ. „Административная опека" надъ Россіей (т. I, 362) была ему ненавистна въ той же мѣрѣ, какъ и конституція. И вотъ онъ эти два объекта своей ненависти соединилъ вмѣстѣ, въ одинъ пугающій призракъ: конституція на европейскій ладъ будетъ, по его мнѣнію, только видоизмѣненіемъ или дальнѣйшимъ развитіемъ все той же административной опеки, которая только осложнится „говорильней". Нашъ будущій парламентъ рисовался ему въ видѣ учрежденія, гдѣ либеральные господа будутъ упражняться въ краснорѣчіи: „изъ бѣлыхъ жилетовъ выработаются лишь говоруны, а дѣла все-таки не будетъ". „Типъ говоруна" уже выработался—именно въ бюрократіи: „Выходитъ, напримѣръ, сановникъ и говоритъ собравшимся подчиненнымъ. Господи, что иной разъ говоритъ!"—Передовые люди (либералы) также мастера на это: какъ заговоритъ,— „ни концовъ, ни началъ, дурманъ! Часа полтора говоритъ. Этотъ типъ выработался..."—Онъ-то и возсіяетъ при конституціи... (I, 363).—Либеральная интеллигенція, по своей психологіи,—это въ сущности то же самое чиновничество, и будущій парламентъ окажется въ полномъ согласіи и единеніи съ бюрократіей: „...теперешній чиновникъ—это европеизмъ, это сама Европа и эмблема ея, это именно идеалы Градовскихъ и Кавелиныхъ. Стало быть, чтобы быть послѣдовательными, либераламъ и европейцамъ нашимъ надо бы стоять за чиновника, въ настоящемъ видѣ его, съ малыми лишь измѣненіями, соотвѣтствующими прогрессу времени и практическимъ его указаніямъ. А впрочемъ, что жъ я? Они вѣдь за это въ сущности и стоятъ. Дайте имъ хоть конституцію, они и конституцію пріурочатъ къ административной опекѣ Россіи" (I, 362).

Какъ славянофилъ, Достоевскій лелѣялъ идеалъ демократическаго самодержавія, единенія царя съ народомъ. Органомъ этого единенія долженъ явиться, какъ это было

встарь, земскій соборъ... Но только Боже сохрани—сразу пустить туда „интеллигента“! Земскій соборъ изъ мужиковъ оздоровитъ всю Россію.—Въ числѣ выдержекъ „Изъ записной книжки“ есть и такая (съ заголовкомъ „Земскій соборъ“): „И сколько перейдетъ интеллигента! А доктринеры [1]) пусть поучатся у народа смиренію и какъ такое великое дѣло надобно дѣлать. А великое это дѣло: царю всю правду сказать. Но съ нихъ надо начать, съ мужиковъ... и пока отнюдь безъ интеллигенціи. Почему же такъ? А потому, чтобы интеллигенція, когда услышитъ отъ народа всю правду, поучилась бы сама этой правдѣ, прежде чѣмъ свое-то слово начать говорить. И какъ плодотворно будетъ обученіе, сколько перебѣгутъ, какъ осиротѣютъ доктрины, вся молодежь отъ нихъ отшатнется, даже взрыватели отшатнутся и примкнутъ къ русской правдѣ. Останутся только старые доктринеры, отжившіе свой срокъ, колпаки и либералы сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ“ (т. I, „Изъ зап. кн.“, 365).—Въ другой замѣткѣ читаемъ: „Я, какъ и Пушкинъ,—слуга царю, потому что дѣти его, народъ его не гнушаются слугой царевымъ. Еще больше буду слуга ему, когда онъ дѣйствительно повѣритъ, что народъ ему дѣти. Что-то очень ужъ долго не вѣритъ“ (I, 366).

Въ январскомъ номерѣ „Дневника“ 1881 года Достоевскій пространно и въ свойственномъ ему тонѣ фанатической убѣжденности развиваетъ эту славянофильскую мысль (что царь—отецъ, а русскій народъ—его дѣти) и настаиваетъ на томъ, что народу должно быть оказано безусловное довѣріе. Онъ утверждаетъ также, что у насъ можетъ утвердиться „самая полная гражданская свобода“, полнѣе чѣмъ въ Сѣверной Америкѣ... Эта свобода „созиждется лишь на дѣтской любви народа къ царю, какъ отцу“.—„Итакъ,—заключаетъ онъ,—этакому ли народу отказать въ довѣріи? Пусть скажетъ онъ самъ о нуждахъ своихъ и полную о нихъ правду...“

[1]) Т. е., должно быть, соціалисты, „радикалы“ 70-хъ годовъ.

Этотъ номеръ „Дневника" былъ лебединою пѣснью Достоевскаго (онъ умеръ 28 января того же 1881 года), пропѣтою въ дни „диктатуры сердца" и либеральныхъ начинаній графа Лорисъ-Меликова...

4.

„Дневникъ писателя" сталъ выходить съ января 1876 года и сразу же привлекъ къ себѣ сочувственное вниманіе всего образованнаго общества. Нельзя сказать, чтобы всѣ или многіе непремѣнно ожидали найти въ „Дневникѣ" новое слово. Но всѣ знали, что Достоевскій будетъ говорить отъ всего сердца, и все, что онъ скажетъ, будетъ исповѣданіемъ глубоко-искренней души, чуткой ко всякаго злобѣ дня и вѣка. Въ томъ же 1876 году Достоевскій „имѣлъ 1.982 подписчика, и, кромѣ того, въ розничной продажѣ каждый номеръ расходился въ 2.000—2.500 экземпляровъ. Нѣкоторые же номера потребовали 2-го и даже 3-го изданія, напр., январскій. Въ 1877 году было около 3.000 подписчиковъ и столько же расходилось въ розничной продажѣ". Такъ свидѣтельствуетъ Н. Н. Страховъ въ статьѣ „Матеріалы для жизнеописанія Ѳ. М. Достоевскаго" (Полное собраніе сочин. Ѳ. М. Достоевскаго, т. I, стр. 300).—По тому времени и для такого изданія, какъ „Дневникъ", это былъ успѣхъ весьма значительный. Въ 1878 и 1879 гг. „Дневникъ" не выходилъ (по разстроенному здоровью автора), но въ 1880 году Достоевскій выпустилъ одинъ номеръ, гдѣ была напечатана его знаменитая рѣчь о Пушкинѣ, и этотъ номеръ разошелся въ нѣсколько дней въ количествѣ 4.000 экземпляровъ, послѣ чего было сдѣлано второе изданіе (въ 2.000 экз.), также скоро раскупленное. Наконецъ, предсмертный январскій номеръ 1881 г. былъ выпущенъ въ количествѣ 8.000 экземпляровъ, которые были „распроданы въ дни выноса и погребенія" Достоевскаго (Страховъ, тамъ же); второе изданіе было также раскуплено цѣликомъ въ количествѣ 6.000 эк-

земпляровъ.—Эти цифры наглядно показываютъ, какъ сильно возрасла популярность Достоевскаго въ концѣ 70-хъ и въ началѣ 80-хъ годовъ. Къ его слову прислушивалось все образованное общество, большая часть котораго не раздѣляла его славянофильскихъ воззрѣній. Но многіе вполнѣ раздѣляли его демократическое и народническое направленіе, и почти всѣхъ, за исключеніемъ отдѣльныхъ лицъ, подкупала кажущаяся гуманность Достоевскаго, а равно и — столь же фиктивный—радикализмъ его протеста. Такъ или иначе, но установилась тѣсная связь между писателемъ и обширнымъ кругомъ читающей публики, — и слово Достоевскаго было „со властью". Оригинальный публицистъ-проповѣдникъ ощущалъ эту власть, и порою ему казалось, что вотъ-вотъ въ сознаніи общества восторжествуютъ его идеи, и всѣ тлетворныя вѣянія „гнилого" Запада будутъ посрамлены... Въ одномъ письмѣ (17-го декабря 1877 г.) онъ говоритъ: „Одно скажу: хоть въ эти два года я и усталъ съ „Дневникомъ", но зато и много доставилъ мнѣ этотъ „Дневникъ" счастливыхъ минутъ, именно тѣмъ, что я узналъ, какъ сочувствуетъ общество моей дѣятельности. Я получилъ сотни писемъ изо всѣхъ концовъ Россіи и научился многому, чего прежде не зналъ...".—Въ дальнѣйшихъ строкахъ письма находимъ нѣкоторую неясность. Достоевскій говоритъ: „никогда и предположить не могъ я прежде, что въ нашемъ обществѣ такое множество лицъ, сочувствующихъ вполнѣ всему тому, во что и я вѣрю. Во всѣхъ этихъ письмахъ, если и хвалили меня, то всего болѣе за искренность и прямоту...". — Кажется, позволительно заключить изъ этихъ словъ, что сочувствіе многочисленныхъ корреспондентовъ Достоевскаго вызывалось не столько положительнымъ содержаніемъ идей, которыя онъ проповѣдывалъ, сколько его „искренностью" и „прямотою". Властителемъ думъ общества становился самъ писатель, какъ личность, а не его міросозерцаніе и не его убѣжденія, взятыя

въ цѣломъ. На отдѣльныя стороны его идей, подкупавшія многихъ, я указалъ выше. Что касается обаянія самой личности писателя, то, кромѣ „искренности“, „прямоты“ и, конечно, огромнаго дарованія, читающую публику подкупало то, что этотъ писатель выступалъ, какъ моралистъ и проповѣдникъ. Достоевскому (какъ вскорѣ и Толстому) удалось то, что въ 40-хъ годахъ совсѣмъ не удалось Гоголю: моральная проповѣдь на религіозной основѣ. Наше образованное общество, несмотря на пройденную имъ школу „нигилизма“, матеріализма, позитивизма, оставалось (и остается доселѣ) очень отзывчивымъ и падкимъ на всякую идеологію, такъ или иначе затрогивающую скрытыя струны религіозности и подымающую вопросы нравственнаго сознанія. Въ предыдущей главѣ я указалъ на глубокую психологическую религіозность передовыхъ круговъ интеллигенціи 70-хъ гг.; для проповѣди Достоевскаго почва была готова, и на ней въ 80-хъ годахъ эта проповѣдь принялась и кое-что изъ нея вошло, какъ элементъ въ послѣдующее развитіе нашихъ идеологій.

По нѣкоторымъ намекамъ въ письмахъ Достоевскаго можно судить о силѣ и обаяніи проповѣднической и моральной стороны въ публицистикѣ „Дневника“. Нѣкоторыя читательницы (въ данномъ случаѣ читательницы важнѣе читателей), не довольствуясь тѣмъ, что давалъ ихъ душѣ „Дневникъ“, вступали въ переписку съ авторомъ. Одной изъ изъ нихъ онъ пишетъ: „Что же до писемъ, то на этотъ счетъ я скучливъ: я не умѣю писать письма и боюсь писать. Пишешь съ жаромъ, пишешь много (это случалось), и вдругъ какая-нибудь черточка—и все письмо понимается на изнанку...— ...Вотъ недавно одна госпожа очень обидѣлась, когда я (не зная ея вовсе) отказался вести съ нею предложенную ею мнѣ постоянную переписку. Вы думаете, я изъ такихъ людей, которые спасаютъ сердца, разрѣшаютъ души, отгоняютъ скорбь? Многіе мнѣ это пи-

шутъ[1]), но я знаю навѣрно[2]), что способенъ скорѣе вселить разочарованіе и отвращеніе. Я убаюкивать не мастеръ, хотя иногда брался за это. А вѣдь многимъ существамъ только и надо, чтобы ихъ убаюкивали. (Соч., т. I, письма, стр. 329).

Послѣднія слова—знаменательны: дѣйствительно, у насъ въ ряду алчущихъ и жаждущихъ правды всегда было не мало „существъ", „которымъ только и надо, чтобы ихъ убаюкивали", и многія изъ этихъ „существъ" искали умственнаго убаюкиванія въ сочиненіяхъ Достоевскаго, дѣйствующихъ, какъ наркозъ, и въ его идеяхъ, въ его иллюзіяхъ, торжество которыхъ означало бы, что Россія заснула истинно-обломовскимъ сномъ или грезитъ наяву.

Удачный опытъ такого гипноза въ маломъ видѣ былъ произведенъ 8-го іюня 1880 года въ засѣданіи общества любителей россійской словесности, посвященномъ памяти Пушкина по случаю открытія въ Москвѣ памятника великому поэту. Здѣсь Достоевскій произнесъ знаменитую рѣчь, которая произвела сенсацію и нѣчто въ родѣ коллективной истерики. Пушкинское торжество было торжествомъ Достоевскаго. Онъ превозносилъ русскую націю, какъ такую, которая заключаетъ въ себѣ стихію всечеловѣческую; онъ говорилъ о великомъ предназначеніи русскаго народа, состоящемъ въ стремленіи къ „братству людей, ко всемірному, ко всечеловѣчески-братскому единенію"; онъ говорилъ о томъ, какъ это чисто-народное стремленіе выразилось и въ типѣ интеллигента-скитальца, въ Алеко, въ Онѣгинѣ, въ идеальной русской женщинѣ, въ Татьянѣ; онъ говорилъ еще о томъ, что интеллигентному скитальцу и искателю всечеловѣческой правды надлежитъ теперь смириться передъ народомъ, который эту правду давно знаетъ, „найти себя въ себѣ" и, смирившись и найдя себя въ себѣ, потрудиться на

1) Курсивъ мой.
2) Курсивъ Достоевскаго.

народной нивѣ... Давно пора русской интеллигенціи выйти „на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ". „Смирись, гордый человѣкъ!—взывалъ Достоевскій.—Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ; найди себя въ себѣ, подчини себя себѣ, овладѣй собой, и узришь правду!.."

Какъ сказано выше, публика пришла въ восторгъ неописуемый, Достоевскому сдѣлали овацію.—Но когда потомъ рѣчь появилась въ печати, она не произвела въ чтеніи и сотой доли того впечатлѣнія, какое произвела она въ устной передачѣ,—и всѣ эти сильныя мѣста, эти яркія слова, эти смѣлыя мысли вдругъ потускнѣли и казались блѣдными и общими мѣстами славянофильскаго народничества и русскаго мессіянизма [1]).

Тѣмъ не менѣе рѣчь осталась исповѣданіемъ вѣры и литературнымъ завѣщаніемъ Достоевскаго—на ряду съ его послѣднимъ романомъ „Братья Карамазовы", которому почитатели Достоевскаго доселѣ придаютъ особую значительность не только въ творчествѣ этого писателя, но и въ исторіи нашего религіознаго и моральнаго развитія. Во всякомъ случаѣ въ 80-хъ годахъ это была одна изъ тѣхъ книгъ, въ которыхъ тогда искали новыхъ откровеній. Оцѣнкѣ этихъ „откровеній" и общей характеристикѣ своеобразнаго творчества Достоевскаго мы посвятимъ слѣдующую главу.

---

1) Рѣчь Достоевскаго вызвала полемику и оживленные толки. Ему возражали преимущественно либералы (проф. А. Градовскій и др.). Съ другой стороны, Глѣбъ Успенскій въ „Отеч. Запискахъ" отозвался остроумной и уничтожающей критикой (см. Сочиненія Г. И. Успенскаго, т. III, статья „Праздникъ Пушкина").

XII.

Идейное наслѣдіе Достоевскаго.

1.

Увлеченіе Достоевскимъ достигло своего апогея въ 80-хъ годахъ. Къ концу десятилѣтія оно пошло на убыль, но не исчезло. Въ 90-хъ годахъ интересъ къ Достоевскому оживился вновь, отчасти благодаря возникшему въ это время интересу къ философіи Ницше: ницшеанство заставило припомнить кое-что изъ идейнаго наслѣдія Достоевскаго, и въ журналахъ стали появляться статьи о Достоевскомъ, въ которыхъ онъ то сопоставлялся съ Ницше, то противопоставлялся ему. Но здѣсь насъ занимаетъ только судьба идей и проповѣди Достоевскаго въ ближайшее время послѣ его смерти. Наслѣдіе, имъ оставленное, нашло въ общемъ направленіи времени почву довольно благопріятную: въ мыслящей части общества обнаруживался живой интересъ къ морально-религіознымъ вопросамъ, появилось немало лицъ, „взыскующихъ града", ищущихъ своей вѣры и религіознаго покоя совѣсти. Л. Н. Толстой тогда только что осудилъ всю свою прошлую дѣятельность, написалъ свою „Исповѣдь" и приступалъ къ исповѣданію и пропагандѣ своей новой вѣры; вскорѣ явились и „толстовцы". Личность кре-

стьянина Сютаева, ученіе котораго оказало замѣтное вліяніе на Толстого, привлекала къ себѣ заинтересованное вниманіе въ передовыхъ кругахъ. Покойный В. С. Соловьевъ беззавѣтной преданностью своимъ убѣжденіямъ, смѣлостью проповѣди и, наконецъ, общимъ впечатлѣніемъ своей яркой и даровитой личности вызывалъ почти всеобщее сочувствіе, и число его восторженныхъ поклонниковъ и поклонницъ все росло; онъ выступалъ съ религіозной, мистической проповѣдью, неортодоксальный характеръ которой на первыхъ порахъ былъ, правда, еще неясенъ, но въ освободительномъ значеніи которой уже нельзя было сомнѣваться. Онъ же и являлся однимъ изъ самыхъ горячихъ, самыхъ восторженныхъ почитателей Достоевскаго...

Въ туманѣ религіозныхъ и моральныхъ настроеній, охватившихъ извѣстную часть мыслящаго общества, личность и идеи Достоевскаго, преображенныя, какъ это часто бываетъ, впечатлѣніемъ недавней смерти, вырисовывались въ нѣсколько фантастическихъ, идеализированныхъ чертахъ, приблизительно въ томъ видѣ, въ какомъ выставлялись онѣ, напримѣръ, въ слѣдующемъ мѣстѣ надгробной рѣчи Вл. Соловьева: „...Любилъ Достоевскій прежде всего живую человѣческую душу, — говорилъ В. С. Соловьевъ, — ...и вѣрилъ онъ, что всѣ мы—рабы Божіи, вѣрилъ въ безконечную божественную силу человѣческой души, торжествующую надъ всякимъ внѣшнимъ насиліемъ и надъ всякимъ внутреннимъ паденіемъ... Дѣйствительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силѣ любви и всепрощенія и эту же всепримиряющую и всепрощающую силу любви проповѣдывалъ онъ какъ основаніе для осуществленія на землѣ того царства правды, котораго онъ жаждалъ и къ которому стремился всю свою жизнь...“ („Полное собраніе сочиненій Достоевскаго“, 1883, т. I, „Проводы тѣла Ѳ. М. Достоевскаго и погребеніе“, стр. 93—94).

Въ такомъ, приблизительно, ореолѣ, далеко не отвѣчав-

шемъ дѣйствительности, память о Достоевскомъ, какъ личности, и его идейное наслѣдіе стали достояніемъ 80-хъ годовъ, когда многіе, разнаго склада ума и разныхъ направленій читатели стали вникать въ сочиненія покойнаго романиста, отыскивая въ нихъ „новое слово". Всего усерднѣе искали этого „новаго слова" въ романѣ „Братья Карамазовы", на который самъ Достоевскій смотрѣлъ какъ на главный свой трудъ, какъ на свое завѣщаніе, какъ на самое полное и точное выраженіе своей вѣры и своихъ идеаловъ.

2.

Идея „Братьевъ Карамазовыхъ" была, дѣйствительно, давнишней и завѣтной мечтой Достоевскаго. Еще въ 1870 году онъ писалъ А. Н. Майкову: „Это будетъ мой послѣдній романъ... Этотъ романъ будетъ состоять изъ пяти большихъ повѣстей... Общее названіе романа есть „Житіе великаго грѣшника", но каждая повѣсть будетъ носить названіе отдѣльно. Главный вопросъ, который проведется во всѣхъ частяхъ,—*тотъ самый, которымъ я мучился сознательно и безсознательно всю мою жизнь—существованіе Божіе* [1]). Герой, въ продолженіе жизни,—то атеистъ, то вѣрующій, то фанатикъ, то сектантъ, то опять атеистъ. Вторая повѣсть будетъ происходить въ монастырѣ. На эту вторую повѣсть я возлагаю всѣ мои надежды... Вамъ одному исповѣдуюсь, Аполлонъ Николаевичъ: хочу выставить во второй повѣсти главной фигурой Тихона Задонскаго, конечно подъ другимъ именемъ, но тоже архіерей будетъ проживать въ монастырѣ на спокоѣ. Тринадцатилѣтній мальчикъ, участвовавшій въ совершеніи уголовнаго преступленія, развитый и развращенный (я этотъ типъ знаю), будущій герой всего романа, посаженъ въ монастырь родителями (кругъ нашъ, образованный) и для обученія. Волче-

---

1) Курсивъ мой.

нокъ и нигилистъ-ребенокъ сходится съ Тихономъ... Тутъ же въ монастырѣ посажу Чаадаева (конечно, подъ другимъ именемъ)... Къ Чаадаеву могутъ пріѣхать въ гости и другіе, Бѣлинскій, наприм., Грановскій, Пушкинъ даже... Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру..." („Полное собраніе сочиненій", т. I, „Письма", стр. 233). Объ этомъ планѣ, только гораздо короче, сообщаетъ онъ и Н. Н. Страхову (въ томъ же 1870 г.), умалчивая о Тихонѣ, Чаадаевѣ и т. д. Онъ говоритъ здѣсь, что „идея этого романа существуетъ" у него „уже три года" (слѣдовательно, съ 1867 года) и что этотъ романъ онъ считаетъ „своимъ послѣднимъ словомъ въ литературной карьерѣ своей" (тамъ же, стр. 288 и 300).

Произведеніе, задуманное еще въ концѣ 60-хъ годовъ, было написано только въ концѣ 70-хъ, при чемъ фабула подверглась кореннымъ измѣненіямъ. Чаадаевъ и другіе, а равно и тринадцатилѣтній „нигилистъ" отпали. На мѣсто послѣдняго явился святой юноша не отъ міра сего—Алеша Карамазовъ. Монастырь, соотвѣтственно первоначальному плану, занялъ видное мѣсто въ романѣ, но взамѣнъ архіерея на покоѣ мы находимъ здѣсь святого старца Зосиму, ученикомъ и послѣдователемъ котораго становится Алеша. Наконецъ, предположенное „житіе" одного грѣшника замѣнилось изображеніемъ грѣховъ и распутства Карамазова-отца, безпутства его сына Дмитрія и внутренней религіозной и моральной драмы другого его сына, Ивана, который самъ не знаетъ, вѣрующій ли онъ человѣкъ или безбожникъ. Фабула измѣнилась, но основной замыселъ остался тотъ же: „вопросъ о существованіи Божіемъ". Его постановка и развитіе въ романѣ явились какъ бы итогомъ долгой душевной драмы, пережитой самимъ Достоевскимъ.

Достоевскій, безъ всякаго сомнѣнія, былъ натура глубоко-религіозная. Но онъ принадлежалъ къ тому разряду религіозныхъ натуръ, который характеризуется слѣдующею

чертою: разсѣяніе сомнѣній, пріобрѣтеніе, казалось бы, полной вѣры не приноситъ успокоенія душѣ вѣрующаго, и чѣмъ больше онъ вѣруетъ, тѣмъ больше ожесточается,— подъ покровомъ словъ о всепрощеніи, о христіанской любви, о братствѣ у него клокочетъ злость. Прочтемъ слѣдующую тираду изъ „Записной книжки“ (подъ заголовкомъ: „Карамазовы“): „Мерзавцы дразнили меня необразованною [1]) и ретроградною вѣрою въ Бога. Этимъ олухамъ и не снилось такой силы отрицанія Бога, какое положено въ Инквизиторѣ и въ предшествовавшей главѣ, которому отвѣтомъ служитъ весь романъ [1]). Не какъ дуракъ же (фанатикъ) я вѣрую въ Бога. И эти хотѣли меня учить и смѣялись надъ моимъ неразвитіемъ! Да ихъ глупой природѣ и не снилось такой силы отрицанія, которое перешелъ я. Имъ ли меня учить!“ („Полное собраніе сочиненій Достоевскаго“, т. I, „Изъ записной книжки“, стр. 369). Въ другой замѣткѣ (подъ заголовкомъ: „Чортъ. Психологическое и подробное критическое объясненіе Ивана Өедоровича и явленіе чорта“) онъ говоритъ: Иванъ Өедоровичъ глубокъ, это не современные атеисты, доказывающіе въ своемъ невѣріи лишь узость своего міровоззрѣнія и тупость тупенькихъ своихъ способностей“ (тамъ же).

Эта негуманная, раздражительная и озлобленная религіозность сказывается и въ романѣ, гдѣ она является въ сочетаніи съ аналогичною чертою нравственнаго чувства. Герои романа каются и въ своемъ покаяніи ожесточаются; муки совѣсти приводятъ ихъ къ озлобленію. Пуще всего озлобляются они противъ тѣхъ, кто не вѣритъ въ безсмертіе души и загробныя возмездія. Въ озлобленіи, обнаруживающемся въ отношеніи къ этому отрицанію, ясно сквозитъ у Достоевскаго родъ самобичеванія: бичуя отрицателей, Достоевскій бичевалъ самого себя или, точнѣе, ту часть своего

[1]) Курсивъ Достоевскаго.

раздвоеннаго сознанія, которая сомнѣвалась, не хотѣла вѣрить, отрицала. „Чортъ“ Ивана Карамазова сидѣлъ въ самомъ Достоевскомъ, и приходится думать, что, несмотря на всѣ бичеванія, невзирая на „отвѣтъ“, данный ему „всѣмъ романомъ“, этотъ „чортъ“ оказывался налицо или, по крайней мѣрѣ, какая-то тѣнь его оставалась въ больной душѣ романиста-проповѣдника. Религія Достоевскаго была безсильна истребить „чорта“ безъ остатка и водворить въ душѣ миръ и благоволеніе... Это зависѣло, какъ я думаю, отъ разныхъ причинъ, глубоко коренившихся въ натурѣ Достоевскаго, и, между прочимъ, отъ того, что ему была чужда наивность, непосредственность религіознаго чувства, а также и отъ того, что въ религіи Достоевскаго было слишкомъ мало мистики. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ сходится съ Л. Н. Толстымъ: религія того и другого суха, раціоналистична, обходится безъ чудесъ, безъ фантастики, безъ экстаза [1]). Вспомнимъ здѣсь, что Достоевскій любилъ называть себя реалистомъ, влагая сюда тотъ смыслъ, что онъ не фантазеръ, не сочинитель, не романтикъ, а какъ бы „позитивистъ“ въ искусствѣ, въ морали, въ религіи, въ политикѣ,—мыслитель, не теряющій почвы подъ ногами, не вторгающійся въ міръ дѣйствительности съ произвольными построеніями. Самую вѣру въ Божество, въ безсмертіе души, наконецъ, въ чудеса онъ бралъ и цѣнилъ какъ реальный психологическій фактъ, какъ особое состояніе сознанія, имѣющее свое оправда-

[1]) Но этимъ сходство и ограничивается. Толстой—отрицатель религіозной традиціи, проповѣдникъ христіанства евангельскаго. Достоевскій же стоитъ на почвѣ традиціи, онъ—православный. Далѣе, въ ученіи Толстого по меньшей мѣрѣ 9/10 принадлежатъ чистой морали и анархическому соціализму и только 1/10 составляетъ религію въ собственномъ смыслѣ. У Достоевскаго, напротивъ, мораль подчинена религіи, а „соціальный вопросъ“ сведенъ къ однимъ словамъ и общимъ мѣстамъ, лишеннымъ положительнаго содержанія.

ніе, въ глазахъ „реалиста“, въ томъ, что оно существуетъ и должно существовать, хотя нерѣдко и затемняется. Вѣра есть всемірно-историческій фактъ, и „реалистъ“ обязанъ принять его. На этой точкѣ зрѣнія, которую можно назвать точкою зрѣнія наивнаго реализма, стоитъ, какъ извѣстно, и Л. Н. Толстой. Что касается Достоевскаго, то данная постановка вопроса и соотвѣтственное рѣшеніе его явствуетъ изъ слѣдующаго мѣста „Братьевъ Карамазовыхъ“, гдѣ дѣло идетъ о „чудесахъ“: „Не чудеса склоняютъ реалиста къ вѣрѣ. Истинный реалистъ, если онъ невѣрующій, всегда найдетъ въ себѣ силу и способность не повѣрить и чуду, а если чудо станетъ передъ нимъ неотразимымъ фактомъ, то онъ скорѣе не повѣритъ своимъ чувствамъ, чѣмъ допуститъ фактъ. Если же и допуститъ его, то допуститъ какъ фактъ естественный, но доселѣ лишь бывшій ему неизвѣстнымъ. *Въ реалистѣ вѣра не отъ чуда рождается, а чудо отъ вѣры. Если реалистъ разъ повѣритъ, то онъ именно по реализму своему долженъ непремѣнно допустить и чудо*...“ [1]) („Братья Карамазовы“, ч. I, кн. I, гл. V).

Теперь прочтемъ слѣдующую замѣтку изъ „Записной книжки“ (подъ заголовкомъ „Я“): „При полномъ реализмѣ найти въ человѣкѣ человѣка. Это русская черта по преимуществу, и въ этомъ смыслѣ я, конечно, народенъ (ибо направленіе мое истекаетъ изъ глубины христіанскаго духа народнаго), хотя и неизвѣстенъ русскому народу теперешнему, но буду извѣстенъ будущему. Меня зовутъ психологомъ,—неправда, *я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, т. е. я изображаю всѣ глубины души человѣческой*“ („Изъ записной книжки“, „Полное собраніе сочиненій“, т. I, 373).

Позволительно усомниться въ томъ, что Достоевскій изо-

---

1) Курсивъ мой.



бражалъ всѣ глубины души человѣческой: онъ изображалъ только нѣкоторыя и, большею частью, все однѣ и тѣ же... Поскольку онъ изображалъ ихъ правдиво (что̀ подтверждаютъ, кажется, единогласно спеціалисты—психологи и психіатры), онъ былъ, конечно, художникъ-реалистъ, пожалуй и („въ высшемъ смыслѣ". Въ числѣ этихъ „глубинъ души" видное мѣсто въ творчествѣ Достоевскаго занимаетъ слѣдующее психическое явленіе, наблюдаемое у многихъ, а у нѣкоторыхъ достигающее особливо яркаго и явно болѣзненнаго выраженія: человѣкъ мучится сознаніемъ своей грѣховности, подлости, душевной дрянности и, не полагаясь на силу и авторитетъ своей совѣсти, аппаратъ которой у него поврежденъ, жаждетъ знать, что на томъ свѣтѣ его разсудятъ по всей правдѣ, и, покаравъ, въ концѣ-концовъ помилуютъ. Для такихъ натуръ католическое ученіе о чистилищѣ было бы очень на руку... Въ этомъ собственно и состоитъ „глубина души", а равно и душевная драма Ивана Ѳедоровича Карамазова (также и Дмитрія Ѳедоровича, но тотъ не „мыслитель" и не „глубокъ"). И Достоевскій былъ великій мастеръ раскрывать и анализировать эту драму, эту болѣзнь совѣсти, какъ источникъ жгучей потребности въ вѣрѣ въ загробное существованіе и въ высшій судъ, который „оправдаетъ", т. е. помилуетъ, гадкаго человѣка съ слабой волей, хрупкой совѣстью и большими скверными страстями. Для изученія этого—патологическаго—источника религіозности сочиненія Достоевскаго — настоящій „человѣческій документъ". Но для изслѣдованія другихъ, лучшихъ источниковъ религіозности, какихъ не мало найдется въ душѣ человѣческой, Достоевскій не даетъ надежнаго діагноза.

3.

Религіозный вопросъ, какъ его понималъ Достоевскій, разработанъ въ романѣ преимущественно анализомъ душев-

ныхъ мукъ Ивана Карамазова. Самъ Достоевскій придавалъ этому лицу особую значительность. Къ сожалѣнію, разработка темы и выполненіе замысла едва ли могутъ быть признаны вполнѣ удачными. Въ противоположность Карамазову-отцу и Дмитрію, которые обрисованы превосходно и принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ Достоевскаго, фигура Ивана вышла блѣдною и, что всего хуже, претенціозною. Читатель все время не довѣряетъ Ивану Өедоровичу и не можетъ отдать себѣ яснаго отчета въ томъ, что это за человѣкъ. Его „глубина", о которой говоритъ Достоевскій, кажется читателю скорѣе претензіей на глубину. Не ясна и чисто нравственная сторона натуры Ивана Карамазова. Мы не можемъ сказать опредѣленно, хорошій ли это или дурной человѣкъ, крѣпокъ ли въ немъ аппаратъ совѣсти или хрупокъ. Одно лишь ясно въ немъ: онъ—психопатъ въ точномъ, медицинскомъ смыслѣ этого слова, и эта психопатическая сторона его личности, какъ всегда у Достоевскаго, воспроизведена превосходно, въ особенности въ сценѣ съ чортомъ, который и трактуется, какъ галлюцинація [1]).

Для построенія философіи религіи изученіе религіозныхъ сомнѣній и связанныхъ съ ними душевныхъ мукъ представляетъ огромный интересъ. Но ихъ нужно изучать прежде всего въ томъ видѣ, въ какомъ они проявляются у натуръ душевно-здоровыхъ. Ихъ изслѣдованіе у психопатовъ важно въ другомъ отношеніи: для психопатологіи религіи (какъ и все въ мірѣ человѣческомъ, и религія имѣетъ свою психопатологическую сторону).

Нельзя также ожидать сколько-нибудь удовлетворительной постановки и разработки вопросовъ философіи и психологіи религіозности отъ художника съ столь узкимъ худо-

---

[1]) Въ одномъ письмѣ (къ доктору А. Ө. Благонравову) Достоевскій прямо говоритъ, что это—галлюцинація и симптомъ психической болѣзни Ивана Карамазова („Полн. собр. соч.", т. I, „Письма", стр. 351—352).

жественнымъ кругозоромъ, какой мы вицимъ у Достоевскаго, и при такой внутренней неурядицѣ и смутѣ, которая царила въ его душѣ. Какъ для всякаго философствованія, такъ и для философіи религіи нужны душевный миръ, покой совѣсти, покой мысли и еще—доброе, сочувственное, справедливое отношеніе къ людямъ, мнѣніямъ, направленіямъ. Достоевскому „философскій покой" былъ недоступенъ по самой натурѣ этого геніальнаго, но неуравновѣшеннаго и негуманнаго человѣка.

Тѣмъ не менѣе, недоступное ему манило его,—онъ, повидимому, страдалъ отъ внутреннихъ противорѣчій и, не умѣя выйти изъ нихъ путемъ раціональнаго мышленія, лелѣялъ мечту о достиженіи—на основахъ положительной религіи—душевнаго мира, покоя совѣсти, широты религіозно-философскаго воззрѣнія, и въ этихъ поискахъ выдумалъ Алешу Карамазова.

Весь идейный интересъ романа сводится къ этимъ двумъ лицамъ—Ивана и Алеши.

Начнемъ съ Ивана и припомнимъ сперва то, что онъ говоритъ о присущемъ человѣку „сладострастіи" въ жестокости, по обыкновенію героевъ Достоевскаго слишкомъ обобщая явленіе, сгущая краски и сваливая съ больной головы на здоровую.

Въ извѣстной сценѣ его бесѣды съ Алешей онъ съ особеннымъ вниманіемъ (можно бы сказать: удовольствіемъ) останавливается на исключительныхъ, сравнительно рѣдкихъ проявленіяхъ жестокости въ отношеніи къ дѣтямъ [1]). Онъ протестуетъ противъ выраженія „звѣрская жестокость" человѣка, ибо „звѣрь никогда не можетъ быть такъ жестокъ, какъ человѣкъ, такъ артистически, такъ художе-

[1]) Тутъ и разсказъ о генералѣ, затравившемъ крестьянскаго мальчика собаками за то, что тотъ ударилъ камнемъ его любимую собаку; тутъ и „дѣло" о жестокомъ обращеніи родителей съ ихъ ребенкомъ; тутъ и звѣрства башибузуковъ въ Болгаріи...

ственно жестокъ...“ (курсивъ мой). — Слѣдуетъ яркое описаніе турецкихъ жестокостей въ Болгаріи, именно избіенія младенцевъ на глазахъ у матерей, заканчивающееся фразой: „Кстати, турки, говорятъ, очень любятъ сладкое“. „Я думаю,—продолжаетъ онъ,—что если дьяволъ не существуетъ и, стало быть, создалъ его человѣкъ, то создалъ онъ его по своему образу и подобію“. „Въ такомъ случаѣ равно какъ и Бога“, замѣчаетъ Алеша. „... Ты поймалъ меня на словѣ,—говоритъ Иванъ,—пусть, я радъ. Хорошъ же твой Богъ, коль его создалъ человѣкъ по образу своему и подобію...“

Здѣсь затронутъ, безспорно, самый „проклятый“ изо всѣхъ религіозно-философскихъ вопросовъ: какъ согласовать вѣру во всемогущество и благость Бога съ фактомъ существованія въ мірѣ зла вообще, всякихъ жестокостей и звѣрствъ въ частности, въ ряду которыхъ такимъ вопіющимъ укоромъ являются истязанія и избіенія ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей? Натуры, для которыхъ вѣра въ бытіе и всемогущество Божіе составляетъ глубокую, неискоренимую душевную потребность (къ ихъ числу, безъ сомнѣнія, относятся Иванъ Карамазовъ и самъ Достоевскій), либо просто обходятъ этотъ вопросъ, оставляя его неразрѣшеннымъ, и на этомъ успокаиваются, либо путемъ долгихъ и мучительныхъ сомнѣній, внутренней борьбы, религіознаго ропота и богохульства приходятъ къ тому или другому изъ возможныхъ — на теологической почвѣ — рѣшеній его, наприм., помощью религіознаго дуализма (Богъ и Дьяволъ), или теоріи „свободы воли“ (Богъ даровалъ людямъ „свободу воли“ и представилъ имъ свободный выборъ между добромъ и зломъ), или, напротивъ, ученія о „предопредѣленіи“. На томъ или другомъ рѣшеніи рокового вопроса возмущенная душа человѣка можетъ придти въ равновѣсіе, и его религіозное чувство будетъ удовлетворено... Однако, весьма часто— у людей мыслящихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отличающихся очень требовательною, не легко удовлетворяемою религіозностью—

достигнутый результатъ не обходится безъ слѣдовъ или переживаній испытанной борьбы, выстраданныхъ сомнѣній и обусловленнаго ими утомленія мысли и чувства. Оттуда— столь нерѣдкій отпечатокъ неполной удовлетворенности найденнымъ рѣшеніемъ, родъ досады на то, что нѣкій скептическій голосъ въ душѣ все еще слышенъ, нѣкоторая раздражительность религіознаго чувства, замѣтное недоброжелательство къ тѣмъ, кто не согласенъ съ рѣшеніемъ вопроса, столь дорого доставшимся, или возражаетъ противъ способа его постановки. И такой человѣкъ, если онъ вообще не спокоенъ духомъ и не обладаетъ достаточной гуманностью и терпимостью, скажетъ, по примѣру Достоевскаго: „Этимъ олухамъ и не снилось такой силы отрицанія, черезъ которое перешелъ я“, или что-нибудь другое, но въ томъ же родѣ и столь же убѣдительное...

Эту-то „силу отрицанія“, этотъ тяжелый процессъ внутренней борьбы, сомнѣній, ропота и т. д., приводящій въ концѣ-концовъ къ тому или иному (но непремѣнно положительному) рѣшенію вопроса, и изобразилъ Достоевскій въ горячечныхъ рѣчахъ Ивана Карамазова и въ сочиненной послѣднимъ легендѣ о „Великомъ инквизиторѣ“.

Здѣсь центръ тяжести всей идейной стороны романа. Эти страницы, написанныя такъ, какъ умѣлъ писать только Достоевскій (не всѣмъ эта манера нравится), по праву привлекали къ себѣ особливое вниманіе читающей публики. Поклонники Достоевскаго и всѣ тѣ, которые въ разгоряченныхъ, „мучительныхъ“ рѣчахъ его героевъ склонны были подозрѣвать какія-то глубокія откровенія, искали въ признаніяхъ Ивана Карамазова и въ легендѣ объ инквизиторѣ нѣкотораго „новаго слова“, новой постановки великой проблемы о происхожденіи зла въ мірѣ,—проблемы, хотя и перенесенной на религіозную почву, но въ сущности далеко выходящей за предѣлы чисто теологическаго вопроса. Для многихъ, вовсе не заинтересованныхъ религіозною стороной

проблемы, ея развитіе въ указанныхъ мѣстахъ романа являлось въ ореолѣ глубины, новизны и оригинальности. Тѣмъ болѣе всѣмъ, кто такъ или иначе вкусилъ сладости и горечи головоломной возни съ мудреными или неразрѣшимыми вопросами, строки, въ родѣ нижеслѣдующихъ, шли прямо отъ сердца къ сердцу: „Что мнѣ въ томъ, что виновныхъ нѣтъ и что все прямо и просто одно изъ другого выходитъ, и что я это знаю—мнѣ надо возмездіе, иначе вѣдь я истреблю себя. И возмездіе не въ безконечности и гдѣ-нибудь, а здѣсь уже на землѣ, и чтобы я его самъ увидалъ. Я вѣровалъ, я хочу самъ и видѣть, а если къ тому часу буду уже мертвъ, то пусть воскресятъ меня, ибо если безъ меня все произойдетъ, то будетъ слишкомъ обидно. Не для того же я страдалъ, чтобы собой, злодѣйствами и страданіями моими унавозить кому-то будущую гармонію. Я хочу видѣть своими глазами, какъ лань ляжетъ подлѣ льва и какъ зарѣзанный встанетъ и обнимется съ убившимъ его...“ (книга V, гл. V). Иванъ Карамазовъ возстаетъ противъ идеи всеобщей гармоніи, купленной цѣною безконечныхъ страданій и, главное, цѣною невинныхъ жертвъ. Онъ отказывается принять „истину“, такимъ путемъ достигнутую, „заранѣе утверждая“, „что вся истина не стоитъ такой цѣны“. Онъ указываетъ, наконецъ, на тѣ злодѣянія, которыя не могутъ быть прощены, не должны остаться безъ отмщенія. „Не хочу я,—восклицаетъ онъ,—чтобы мать обнималась съ мучителемъ, растерзавшимъ ея сына псами! Не смѣетъ она прощать ему! Если хочетъ, пусть проститъ за себя, пусть проститъ мучителю материнское безмѣрное страданіе свое, но страданіе своего растерзаннаго ребенка она не имѣетъ права простить, не смѣетъ простить мучителю, хотя бы самъ ребенокъ простилъ бы ему! А если такъ, если они не смѣютъ простить, гдѣ же гармонія? Есть ли во всемъ мірѣ существо, которое могло бы и имѣло право простить? Не хочу гармоніи, изъ-за любви къ человѣчеству, не хочу...“

Это выходитъ уже не теоретическій богословско-философскій вопросъ о доказательствахъ бытія Божія, это—жгучій вопросъ жизни и нравственнаго сознанія, вопросъ о злѣ въ мірѣ, о возмездіи за зло. Правда, онъ поставленъ здѣсь нераціонально, можно сказать, психопатически, но, во-первыхъ, отъ читателя зависѣло дать ему иную постановку (что, безъ сомнѣнія, и дѣлалось), а во-вторыхъ, тогда было (и сейчасъ есть) немало читателей, вѣрующихъ и невѣрующихъ, которымъ именно психопатическая постановка сложныхъ и трудныхъ вопросовъ жизни и мысли казалась особливо заманчивой и многообѣщающей.

Какъ бы то ни было, Иванъ Карамазовъ поставилъ вопросъ такъ рѣзко и дерзновенно, что никакое отступленіе вспять и никакое успокоеніе совѣсти не представлялись возможными, пока не найденъ выходъ изъ роковой дилеммы. На одинъ изъ возможныхъ выходовъ тутъ же указалъ ему Алеша: „Это—бунтъ, тихо и потупившись проговорилъ онъ".— Иванъ отвѣчаетъ такъ: „Бунтъ? Я бы не хотѣлъ отъ тебя такого слова... Можно-ли жить бунтомъ, а я хочу жить...". Итакъ, ему нуженъ другой выходъ, безъ „бунта". Алеша опять приходитъ ему на помощь, напоминая ему о Христѣ, о Единомъ Безгрѣшномъ Существѣ, „которое отдало неповинную кровь свою за всѣхъ и за все". Иванъ ждалъ этого указанія. Онъ говоритъ: „...я удивлялся все время, какъ ты Его долго не выводишь, ибо обыкновенно въ спорахъ всѣ ваши Его выставляютъ прежде всего". Оказывается, что и самъ Иванъ много думалъ о Христѣ, какъ Искупителѣ мірового зла, но что эти думы не привели его къ выходу изъ противорѣчій, а только поставили передъ нимъ новую загадку, которую онъ и воспроизвелъ въ сочиненной имъ „поэмѣ" о „Великомъ инквизиторѣ".

Не трудно видѣть, что все это должно было казаться читателямъ весьма далекимъ отъ „религіозной схоластики" и весьма близкимъ къ жгучимъ вопросамъ нравственнаго со-

знанія, что тутъ мерещилась возможность какихъ-то перспективъ, что тутъ подозрѣвали предпосылку если не „бунта“, то, можетъ быть, „ереси“, а если и не „ереси“, то хотя бы новыхъ импульсовъ для „выработки міросозерцанія“, для новыхъ отвѣтовъ на старый русскій „интеллигентскій“ вопросъ: что дѣлать и какъ жить свято? И неудивительно, что на знаменитый романъ, заключавшій въ себѣ идейное завѣщаніе Достоевскаго, набросились съ тою же „жадностью“, съ какою вскорѣ послѣ того зачитывались „Исповѣдью“ Л. Н. Толстого и его опытами реставраціи истиннаго христіанства временъ Евангелія и апостоловъ...

4.

Суть дѣла въ легендѣ о „Великомъ инквизиторѣ“, какъ извѣстно, сводится къ тому же коренному вопросу христіанскаго міросозерцанія, который заново поднялъ и такъ богатырски просто „рѣшилъ“ Толстой: это вопросъ о вопіющемъ противорѣчіи между христіанствомъ историческимъ и христіанствомъ Евангелія. Толстой „просто“ отвергъ все историческое христіанство цѣликомъ, какъ искаженіе Евангелія. Достоевскій въ противоположность Толстому, не былъ упростителемъ сложныхъ задачъ. Но онъ впадалъ въ другую, противоположную крайность: онъ еще больше запутывалъ и безъ того запутанный вопросъ. Крайности часто сходятся. Толстой, упрощая донельзя, дошелъ до утопіи водворенія на землѣ царства Божія путемъ „непротивленія злу“; Достоевскій, осложняя и запутывая, другимъ путемъ пришелъ къ той же утопіи: всѣмъ, взыскующимъ града и міросозерцанія, онъ хотѣлъ внушить ту мысль, что нигдѣ лучшаго града и совершеннѣйшаго міросозерцанія нельзя найти, какъ только въ православіи, правда, не „казенномъ“, а славянофильскомъ, или „народномъ“, гдѣ, по его мнѣнію, нѣтъ тѣхъ противорѣчій и искаженій, какія явились въ католицизмѣ въ силу поглощенія

церкви государствомъ; въ „истинномъ" православіи, наоборотъ, церковь должна поглотить государство, и тогда всѣ вопросы разрѣшатся, все станетъ ясно, зло пойдетъ быстро на убыль, добро и правда восторжествуютъ. Это—все та же, только въ другой редакціи, утопія водворенія царства Божія на землѣ путемъ общественнаго и политическаго квіетизма. Объ этомъ нѣтъ рѣчи въ „легендѣ", которая только развиваетъ идею, что все произошло отъ поглощенія церкви государствомъ (въ католицизмѣ) [1]); идеалъ же „православія" и утопія Достоевскаго намѣчены въ другихъ мѣстахъ романа, именно въ описаніи благой—свободной—дѣятельности монастырскихъ „старцевъ", образцомъ которыхъ является старецъ Зосима, а также въ томъ мѣстѣ, гдѣ говорится о статьѣ Ивана Карамазова, написанной имъ на тему объ отношеніяхъ между церковью и государствомъ. Вотъ какъ онъ самъ излагаетъ свою теорію, очень близкую къ „теократіи" Вл. Соловьева: „...церковь не должна искать себѣ опредѣленнаго мѣста въ государствѣ, какъ всякій общественный союзъ" или какъ „союзъ людей для религіозныхъ цѣлей", а напротивъ, всякое земное государство должно впослѣдствіи обратиться въ церковь вполнѣ и стать не чѣмъ инымъ, какъ лишь церковью и уже отклонивъ всякія несходныя съ церковными свои цѣли..." (кн. II, гл. V). Эти „несходныя съ церковными" цѣли проникли въ религіозную практику и устройство церкви во всемъ историческомъ христіанствѣ, въ томъ числѣ, отчасти, и у насъ, но апогея достигла эта фальсификація (превращеніе церкви въ государство) именно въ католицизмѣ, ибо „въ Римѣ, какъ въ государствѣ, слишкомъ

[1]) Это можетъ показаться страннымъ, но это извѣстное славянофильское ученіе, гласящее, что верховенство католической церкви, свѣтская власть папъ были фактомъ не торжества религіи и церкви, а наоборотъ — фактомъ превращенія церкви въ государство, между тѣмъ какъ идеалъ христіанства есть превращеніе государства въ церковь.

многое осталось отъ цивилизаціи и мудрости языческой, какъ, напр., самыя цѣли и основы государства...“ (тамъ же).

Не будемъ терять время на размышленія о томъ, не все ли равно, превращается ли церковь въ государство, или, наоборотъ, государство въ церковь,—и обратимся къ знаменитой „легендѣ“.

Въ самое жестокое время инквизиціи является въ Севильѣ самъ Христосъ: „Онъ возжелалъ на мгновеніе посѣтить дѣтей Своихъ и именно тамъ, гдѣ какъ разъ затрещали костры еретиковъ...“—И, конечно, Его арестовали и посадили въ темницу — по приказанію великаго инквизитора. Спасителю міра грозитъ вторичная казнь—на этотъ разъ на кострѣ, возженномъ Его же именемъ. Ночью инквизиторъ приходитъ къ Божественному узнику въ темницу, чтобы сперва удостовѣриться, Онъ ли это. Слѣдуетъ мастерски написанная, но слишкомъ ужъ пространная рѣчь инквизитора, въ которой онъ старается доказать Христу, что великую „ошибку“ сдѣлалъ Онъ, освободивъ людей, и что теперь, когда святая римская церковь, путемъ святой инквизиціи, уже почти „исправила“ Его божественную „ошибку“, Онъ, Христосъ, не имѣетъ права являться сюда и мѣшать довести дѣло до вожделѣннаго конца. — „Пятнадцать вѣковъ“—говоритъ инквизиторъ—„мучились мы съ этою свободой, но теперь это кончено и кончено крѣпко. Ты не вѣришь, что кончено крѣпко? Ты смотришь на меня кротко, не удостоиваешь меня даже негодованіемъ? Но знай, что теперь, и именно нынѣ, эти люди увѣрены болѣе чѣмъ когда-нибудь, что свободны вполнѣ, а между тѣмъ сами же они принесли намъ свободу свою и покорно положили ее къ ногамъ нашимъ...“.

Прочтемъ еще заключительныя слова инквизитора: „Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я былъ въ пустынѣ, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлялъ свободу, которою Ты благословилъ людей, и я готовился

стать въ число избранниковъ Твоихъ... Но я очнулся и не захотѣлъ служить безумію. Я воротился и примкнулъ къ сонму тѣхъ, которые *исправили подвигъ Твой*[1])... То, что я говорю тебѣ, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю Тебѣ, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановенію моему бросится подгребать горячіе угли къ костру Твоему, на которомъ сожгу Тебя за то, что пришелъ намъ мѣшать. Ибо если былъ, кто всѣхъ болѣе заслужилъ нашъ костеръ, то это Ты. Завтра сожгу Тебя. Dixi".

На этомъ обрывается „поэма" Ивана Карамазова[2]).

Нелишне отмѣтить еще слѣдующій эпизодъ изъ дальнѣйшей бесѣды братьевъ. Алеша, прослушавъ легенду, замѣчаетъ, что она вышла не хулою на Христа, какъ слѣдовало ожидать, судя по замыслу, а скорѣе хвалою Ему, а кромѣ того въ ней историческое христіанство представлено—по мнѣнію Алеши—неправильно: „это Римъ, да и Римъ не весь, а только худшіе изъ католичества, инквизиторы, іезуиты..."—А что касается православія (восточной церкви), то здѣсь Алеша усматриваетъ совсѣмъ другой духъ, здѣсь иное пониманіе вещей. Великій инквизиторъ—вовсе не представитель историческаго христіанства. Іезуиты—это „просто римская армія для будущаго всемірнаго земного царства, съ императоромъ - римскимъ первосвященникомъ во главѣ... вотъ ихъ идеалъ, но безъ всякихъ тайнъ и возвышенной

---

1) Курсивъ Достоевскаго.

2) Въ разговорѣ съ Алешей Иванъ мимоходомъ упоминаетъ о томъ, что онъ предполагалъ окончить поэму слѣдующимъ образомъ: инквизиторъ, окончивъ рѣчь, ждетъ, что скажетъ ему Спаситель... Но Христосъ молчитъ и только, какъ и во время рѣчи, „проникновенно" и тихо смотритъ въ глаза инквизитору. Потомъ Онъ подошелъ къ старику и тихо поцѣловалъ его „безкровныя девяностолѣтнія губы". Старикъ смутился. Онъ отворяетъ двери и отпускаетъ Узника на волю, говоря: „ступай и не приходи болѣе... не приходи вовсе... никогда, никогда!"—И Христосъ удаляется...

грусти... Самое простое желаніе власти, земныхъ грязныхъ благъ, порабощенія...“—На это Иванъ возражаетъ, что Алеша ошибается, отрицая идейную сторону того каѳолицизма, который получилъ столь яркое выраженіе въ исторической дѣятельности іезуитовъ. „Неужели ты въ самомъ дѣлѣ думаешь“—говоритъ онъ—„что все это католическое движеніе послѣднихъ вѣковъ есть и въ самомъ дѣлѣ одно лишь желаніе власти для однихъ только грязныхъ благъ?—Ужъ не отецъ ли Паисій такъ тебя учитъ?“

Послѣдній вопросъ задѣлъ Алешу за живое. Дѣло въ томъ, что въ монастырѣ, гдѣ онъ подвизался, есть двѣ „партіи“: старецъ Зосима и его послѣдователи представляютъ собою свободное, народное православіе, нѣкоторые же другіе иноки, въ особенности монахъ Паисій, изображаютъ, такъ сказать, консервативную, отсталую или узкодогматическую сторону православія. Алеша принадлежитъ къ послѣдователямъ и ученикамъ Зосимы, но чтитъ и Паисія, какъ и другихъ иноковъ, хотя въ нѣкоторыхъ взглядахъ и расходится съ ними. И вотъ теперь, отвѣчая на вопросъ Ивана, онъ съ очевиднымъ смущеніемъ обмолвился такъ: „нѣтъ, нѣтъ, напротивъ, отецъ Паисій говорилъ однажды что-то вродѣ твоего... но, конечно, не то, совсѣмъ не то...“—Иванъ подхватываетъ эту обмолвку и говоритъ: „Драгоцѣнное, однако же, свѣдѣніе, несмотря на твое: совсѣмъ не то...“—И въ дальнѣйшемъ онъ развиваетъ ту мысль, что инквизиторъ, іезуиты и вмѣстѣ съ ними все католичество, да и вообще историческое христіанство, отступившее отъ Евангелія, по своему правы, что иначе они не могли, да—по совѣсти своей—и не должны были поступить, что, наконецъ, они дѣйствовали не изъ корыстныхъ цѣлей, а имѣли въ виду благо паствы, какъ они его понимали. Ибо человѣчество далеко еще не готово для воспріятія евангельской истины, для осуществленія великой утопіи царства Божія на землѣ... Да кто знаетъ, будетъ ли когда-нибудь человѣ-

чество готово для этого... Оно, это бѣдное человѣчество, сплошь состоитъ изъ „бунтовщиковъ“, изъ „недодѣланныхъ пробныхъ существъ, созданныхъ въ насмѣшку“... Убѣжденный въ этомъ, инквизиторъ и поступаетъ соотвѣтственно своему убѣжденію, своему воззрѣнію,—и съ своей точки зрѣнія онъ, конечно, правъ, онъ чистъ передъ судомъ своей совѣсти,—этотъ „проклятый старикъ, столь упорно и столь по своему любящій человѣчество“... Однимъ словомъ, Иванъ, „взбунтовавшись“ противъ Бога, явно беретъ сторону инквизитора, личность и, такъ сказать, идея котораго въ одно и то же время и притягиваетъ его, и отталкиваетъ.—Что касается Алеши, то онъ никогда съ инквизиторомъ не примирится, сколько бы Иванъ ни доказывалъ его искренность и безкорыстіе. Онъ не видитъ въ немъ ничего, кромѣ кровожадности и „безбожія“: „Инквизиторъ твой не вѣруетъ въ Христа, вотъ и весь его секретъ!“ — Но это не смущаетъ Ивана. — „Хотя бы и такъ!“—говоритъ онъ.—„Наконецъ-то ты догадался. И дѣйствительно такъ, дѣйствительно только въ этомъ и весь секретъ, но развѣ это не страданіе, хотя бы для такого, какъ онъ, человѣка, который всю жизнь свою убилъ на подвигъ въ пустынѣ и не излѣчился отъ любви къ человѣчеству?..“

Итакъ, Иванъ Карамазовъ—заодно съ инквизиторомъ, и оба во имя любви къ человѣчеству возстаютъ противъ Христа. Это—„бунтъ“ одной утопіи, именно той, которая хочетъ облагодѣтельствовать человѣчество рабствомъ, насиліемъ, гнетомъ, казнями и всѣми страхами земными и загробными, противъ другой утопіи, которая средствами религіознаго подъема и путемъ нравственнаго перерожденія человѣка хотѣла бы водворить на землѣ „царство Божіе“. Обѣ утопіи, повидимому, были частично сродни душѣ Достоевскаго: въ ней Христосъ состязался съ инквизиторомъ, и—кто знаетъ?—быть можетъ, эти два начала въ концѣ концовъ и пришли бы у него къ нѣкоторому соглашенію, къ размежеванію его души, напр., такъ, что на долю утопіи Христа

достались бы мечты, идеалы и слова, а на долю инквизитора—настроенія, религіозныя страсти, идейныя и національныя пристрастія... Если судить по послѣднимъ произведеніямъ Достоевскаго, въ томъ числѣ и по роману „Братья Карамазовы“, то приходится думать, что къ этому и шло дѣло. Этотъ романъ, въ своемъ цѣломъ, является, по мнѣнію самого Достоевскаго, отвѣтомъ на „бунтъ“ Ивана Карамазова. Въ чемъ же состоитъ этотъ отвѣтъ? Его содержаніе не поддается сжатой формулировкѣ, но съ наибольшею ясностью указано тѣмъ, что представляетъ собою лицо Алеши Карамазова. Что же говоритъ намъ это лицо?

5.

Это—юноша чистый, почти идеальный, съ душою глубокою и наивною, рвущейся „изъ мрака къ свѣту“ (кн. I, гл. V), юноша, ищущій правды, подвига, жизни по совѣсти. По прямому указанію автора, онъ принадлежитъ къ тому психологическому типу, который въ 70-хъ годахъ такъ ярко опредѣлился въ лицѣ самоотверженныхъ молодыхъ дѣятелей, жертвовавшихъ всѣми благами жизни и самою жизнью ради служенія тому идеалу, въ который они вѣровали. Это были соціалисты, народники, революціонеры того времени. Таковъ и Алеша, но только Достоевскій послалъ его не „въ народъ“ и не „въ революцію“, а въ монастырь, правда, на время, въ разсчетѣ, что Алеша, воспитавшись „въ послушаніи“ и воспріявъ въ свою душу истинную, „народную“ вѣру, истолкованную высокою проповѣдью и примѣромъ старца Зосимы, выйдетъ изъ монастыря въ міръ, чтобы, по завѣту того же Зосимы, служить людямъ, наставлять ихъ на путь истины, облегчать ихъ скорби, смягчать ихъ ожесточенныя души, обращать ихъ ко Христу и идеалу всечеловѣческой любви. Алеша пошелъ по этому пути, потому что онъ глубоко увѣровалъ въ Бога, въ Христа и въ безсмертіе души и

еще потому, что онъ—натура цѣльная, не допускающая никакихъ компромиссовъ, никакихъ сдѣлокъ съ совѣстью, ничего половинчатаго. Онъ—человѣкъ, которому необходимъ „скорый подвигъ“, сообразный его вѣрѣ, его идеалу. Если бы онъ не увѣровалъ въ Бога, Христа и безсмертіе,—онъ увѣровалъ бы въ атеизмъ и соціализмъ и пошелъ бы „въ народъ“ или „въ революцію“. Третьяго пути для него нѣтъ... Прочтемъ то мѣсто, гдѣ прямо говорится объ этомъ: „если бы онъ порѣшилъ, что безсмертія и Бога нѣтъ, то сейчасъ бы пошелъ въ атеисты и соціалисты, ибо (поясняетъ Достоевскій въ скобкахъ) соціализмъ есть не только рабочій вопросъ, или такъ называемаго четвертаго сословія, но по преимуществу (?) есть атеистическій вопросъ, вопросъ современнаго воплощенія атеизма (?), вопросъ вавилонской башни, строящейся именно безъ Бога, не для достиженія небесъ съ земли, а для сведенія небесъ на землю...“ (кн. I, гл. V).

Очевидно, понятія Достоевскаго о соціализмѣ были и неясны, и неточны. Но въ нихъ (именно въ силу ихъ неточности) было нѣчто такое, что возвышало Алешу Карамазова во мнѣніи многихъ читателей и вмѣстѣ съ тѣмъ придавало въ ихъ глазахъ особую значительность всей концепціи романа. Изъ антитезы религіознаго подвижничества и „атеистическаго соціализма“ явствовало, что Алеша—тотъ же—„соціалистъ“, только на свой ладъ, а также и то, что „соціализмъ“, при всемъ своемъ „атеизмѣ“, есть своего рода „религія“. Мы знаемъ, что въ рядахъ нашихъ соціалистовъ того времени было не мало натуръ, отличавшихся ясно выраженною психическою религіозностью, въ силу чего ихъ соціалистическая идеологія и утопія, превращались въ родъ религіознаго „вѣроученія“. Алеша, несомнѣнно,—натура этого пошиба. То обстоятельство, что онъ держится установленныхъ догмъ и вѣрованій и въ основу своего міросозерцанія кладетъ вѣру въ личнаго Бога и безсмертіе души, ничуть не мѣняетъ сути дѣла и не мѣшаетъ ему

быть по своему и „соціалистомъ", и „утопистомъ". Его утопія въ 70-хъ годахъ успѣха не имѣла бы и раздѣлила бы участь аналогичныхъ ученій Маликова и „чайковцевъ", но въ 80-хъ годахъ она не могла не привлечь къ себѣ вниманія и сочувствія, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ кругахъ, гдѣ обнаруживался интересъ къ религіозной постановкѣ соціальныхъ вопросовъ. Вотъ краткое изображеніе настроенія и исповѣданія утопіи Алеши, тѣсно связанной съ ученіемъ и религіозною практикой его учителя, старца Зосимы: „...какой-то глубокій, пламенный восторгъ все сильнѣе и сильнѣе разгорался въ его сердцѣ. Не смущало его нисколько, что этотъ старецъ все-таки стоитъ передъ нимъ единицей: все равно, онъ святъ, въ его сердцѣ тайна обновленія для всѣхъ, та мощь, которая установитъ, наконецъ, правду на землѣ, и будутъ всѣ святы, и будутъ любить другъ друга, и не будетъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, ни возвышающихся, ни униженныхъ, а будутъ всѣ какъ дѣти Божіи, и наступитъ настоящее царство Христово. Вотъ о чемъ грезилось сердцу Алеши" (кн. I, гл. V).

Съ такими-то идеалами и мечтами поступилъ Алеша въ монастырь на „послушаніе" къ старцу Зосимѣ и въ вѣроученіи и проповѣди этого послѣдняго онъ нашелъ какъ разъ то самое, чего искалъ, чего жаждала его душа. О старцѣ Зосимѣ, о его жизни, идеалахъ, вѣрованіяхъ и воззрѣніяхъ говорится подробно въ его „житіи", приведенномъ въ началѣ книги V [1]). Въ смыслѣ идеологическомъ это чуть ли не замѣчательнѣйшій эпизодъ въ романѣ. Мѣстами читателю кажется, что это взято откуда-нибудь изъ религіозныхъ или этическихъ трактатовъ или „притчей" Л. Н. Толстого,—и только то обстоятельство, что дѣло идетъ о православномъ

---

[1]) „Изъ житія въ Бозѣ преставившагося іеросхимонаха, старца Зосимы, составлено съ собственныхъ его словъ Алексѣемъ Ѳедоровичемъ Карамазовымъ".

„іеросхимонахѣ“, заставляетъ насъ забывать о „еретикѣ“ Толстомъ и помнить о православіи Достоевскаго, „еретичество“ котораго обезвреживалось и сводилось на нѣтъ приблизительно такъ, какъ обезвреживался вообще весь его радикализмъ. Какъ бы то ни было, но ученіе Зосимы—это своего рода проповѣдь „непротивленія злу насиліемъ“ и внутренняго перерожденія людей въ духѣ любви и братства. Формулировано оно въ слѣдующихъ словахъ другого лица, идеи и судьба котораго оказали большое вліяніе на Зосиму въ молодости: „Чтобы передѣлать міръ по новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше чѣмъ сдѣлаешься въ самомъ дѣлѣ всякому братомъ, не наступитъ братства. Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумѣютъ безобидно раздѣлиться въ собственности своей и въ правахъ своихъ...“. Зосима воспріялъ эту идею и положилъ ее въ основу всей своей дальнѣйшей дѣятельности. У него эта утопія уже является въ славянофильской и народнической окраскѣ. Вотъ какъ училъ и пророчилъ онъ: „Изъ народа спасеніе выйдетъ, изъ вѣры и смиренія его... спасетъ Богъ людей своихъ, ибо велика Россія смиреніемъ своимъ. Мечтаю видѣть и какъ бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будетъ такъ, что даже самый развращенный богачъ нашъ кончитъ тѣмъ, что устыдится богатства своего предъ бѣднымъ, а бѣдный, видя смиреніе сіе, пойметъ и уступитъ ему, съ радостью и лаской отвѣтитъ на благолѣпный стыдъ его. Вѣрьте, что кончится симъ: на то идетъ. Лишь въ человѣческомъ духовномъ достоинствѣ равенство, и сіе поймутъ лишь у насъ. Были бы братья, будетъ и братство, а раньше братства никогда не раздѣлятся. Образъ Христовъ хранимъ, и возсіяетъ какъ драгоцѣнный алмазъ всему міру... Буди, буди!“

Это—своего рода „толстовство“, только совершенно обезвреженное и лишенное самыхъ яркихъ своихъ принадлежностей, каковы: открытый космополитизмъ, радикальное от-

рицаніе историческаго православія, догматовъ, таинствъ, священства, проповѣдь отказа отъ воинской повинности, наконецъ, требованіе аграрной реформы по ученію американца Джорджа... Ото всего этого Достоевскій пришелъ бы въ ужасъ...

Въ началѣ 80-хъ годовъ эти „пункты" еще не были выработаны или, по крайней мѣрѣ, не были высказаны Толстымъ; а проповѣдь Достоевскаго уже была налицо. Въ ней многіе видѣли тогда самое новое, самое смѣлое и глубокое слово, сказанное въ то время русской литературой. Если инымъ оно могло казаться недоговореннымъ, то каждый могъ договорить его по-своему. Оно далеко не было „еретическимъ", но въ истолкованіи того или другого послѣдователя легко могло стать таковымъ. Достоевскій рѣзко противопоставлялъ христіанство соціализму, но другіе, отправляясь отъ тѣхъ же предпосылокъ, могли придти къ выводу, что соціализму вовсе нѣтъ надобности быть непремѣнно атеистическимъ, и что христіанство Достоевскаго по существу дѣла соціалистично, да еще, пожалуй, таитъ въ себѣ зачатки анархизма.

Во всякомъ случаѣ и „бунтъ" Ивана Карамазова, и „отвѣтъ" на этотъ бунтъ, данный „всѣмъ романомъ", а въ особенности тѣмъ, что воплощено въ лицѣ Алеши и выражено въ проповѣди Зосимы, представлялись многимъ читателямъ какимъ-то „откровеніемъ" или, по крайней мѣрѣ, что-то обѣщали, раскрывали какія-то новыя перспективы, и слово Достоевскаго получало власть надъ умами и сердцами, какой не имѣло раньше, даже въ эпоху наибольшей популярности „Дневника писателя".

6.

Этой „власти" много содѣйствовалъ, конечно, огромный и своеобразный талантъ Достоевскаго, тотъ, по діагнозу Ми-

хайловскаго, „жестокій талантъ", въ силу котораго Достоевскій не имѣлъ конкурентовъ въ дѣлѣ терзанія души и нервовъ своихъ читателей.

Діагнозъ Михайловскаго до сихъ поръ остается и, я думаю, навсегда останется незамѣнимымъ. Покойный мыслитель съ геніальной прозорливостью указалъ на коренную черту художническаго „паѳоса" Достоевскаго. И если этотъ діагнозъ потребуетъ какихъ-либо дополненій, то лишь такихъ, которыя еще болѣе подтвердятъ его правильность. Эти дополненія могутъ быть даны детальнымъ анализомъ психопатологической организаціи большинства героевъ Достоевскаго, а равно и соотвѣтственныхъ элементовъ въ его собственной душѣ. Для изслѣдованія душевной неуравновѣшенности Достоевскаго время еще не настало,—въ нашемъ распоряженіи нѣтъ достаточно полныхъ біографическихъ свѣдѣній. Что касается его героевъ, то анализъ ихъ психопатологической стороны дѣлался неоднократно, между прочимъ спеціалистами-психіатрами, но мы не имѣемъ обстоятельнаго труда на эту тему, который разъяснилъ бы намъ интимную психологическую связь психопатологической основы творчества Достоевскаго съ „жестокостью" его таланта, а равно и съ его религіозно-моральными исканіями. Существованіе этой связи представляется мнѣ несомнѣннымъ.

Выше я указалъ на то, что на ряду съ нормальными, здоровыми источниками религіозности (и морали), въ душѣ человѣческой есть и нездоровые, патологическіе. Въ числѣ послѣднихъ особенное вниманіе наблюдателя привлекаютъ тѣ, которые можно охарактеризовать такъ: въ силу болѣзненныхъ процессовъ въ нервной и психической организаціи человѣка, всякое малѣйшее оживленіе или обостреніе религіознаго и моральнаго чувства приводитъ къ аффекту,—человѣкъ не просто переживаетъ тѣ или другія религіозныя и моральныя состоянія сознанія, а испытываетъ родъ религіознаго или моральнаго припадка, его душа являетъ въ эту

минуту картину, близкую къ „истерикѣ“ или „изступленію“, отчего затемняется ясность его религіозной мысли, а моральныя сужденія поражены нравственною слѣпотой (субъектъ не сознаетъ, что онъ бѣлое называетъ чернымъ, а черное—бѣлымъ). Яркою иллюстраціей такого затменія могутъ служить слѣдующіе отзывы Достоевскаго о Бѣлинскомъ въ письмахъ къ Н. Н. Страхову: „...Бѣлинскій (котораго вы до сихъ поръ еще цѣните) именно былъ немощенъ и безсиленъ талантишкомъ, а потому и проклялъ Россію и принесъ ей сознательно столько вреда...“ (письмо отъ 23 апр. 1871 г., „Полн. собр. соч.“, т. I, стр. 310).—„Я обругалъ Бѣлинскаго болѣе какъ явленіе русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни...“ (письмо отъ 18 мая 1871 г., тамъ же, стр. 312). Въ перепискѣ Достоевскаго можно найти еще нѣсколько такихъ выходокъ, которыя иначе нельзя объяснить, какъ именно потемнѣніемъ моральнаго чувства и ослабленіемъ силы сужденія подъ вліяніемъ аффекта.

Изъ этого, разумѣется, не слѣдуетъ, что Достоевскій былъ человѣкъ дурной и очень злой. Это была организація очень сложная, противорѣчивая и неуравновѣшенная, въ которой припадки озлобленности и ожесточенія смѣнялись раскаяніемъ, размягченіемъ души и жаждой любви къ людямъ, всепрощенія, христіанскаго смиренія. Христіанская этика Достоевскаго психологически обосновывалась на душевной и моральной реакціи противъ припадковъ озлобленія и противъ той негуманности, которая составляла одинъ изъ элементовъ его натуры и, несомнѣнно, была для него источникомъ душевныхъ мукъ. Религіозною утопіей и христіанскимъ всепрощеніемъ онъ безсознательно (а иногда, можетъ быть, и сознательно) боролся со своею собственною негуманностью и другими отрицательными сторонами натуры, обусловленными болѣзненнымъ состояніемъ его нервной системы и общею неуравновѣшенностью души.

„Жестокость“ таланта Достоевскаго проявлялась не только въ томъ, что онъ мучилъ читателя и заставлялъ своихъ героевъ мучить другъ друга и себя самихъ, но также и въ томъ, что онъ самъ себя мучилъ—озлобленіемъ и покаяніемъ, укорами совѣсти и безпощаднымъ самоанализомъ, и это было однимъ изъ главныхъ источниковъ его творчества. Въ его психическихъ самоистязаніяхъ, безспорно, была сторона „артистическая“, было и своеобразное „сладострастіе“ мучительства. Въ результатѣ возникала душевная истома, разрѣшавшаяся припадками сентиментальной религіозности и хорошими словами любви и всепрощенія, которыя такъ соблазнительно и сладко звучали манящимъ пѣніемъ сирены въ сумрачную эпоху 80-хъ годовъ, въ туманѣ реакціи, когда старыя иллюзіи были разбиты, а новыя еще не народились, и среди повальнаго затемнѣнія и упадка общественной и политической мысли почти всѣ здоровые элементы нашего развитія были или казались „на ущербѣ“

ГЛАВА XIII.

80-е годы.—„На ущербѣ“, романъ П. Д. Боборыкина.

1.

Послѣ трагической кончины Императора Александра II и паденія графа Лорисъ-Меликова съ его „конституціонными“ замыслами, къ правительственной реакціи присоединилась и общественная. Торжествующая партія Каткова и гр. Д. А. Толстого властною рукою направляла вспять внутреннюю политику государства и, казалось, находила себѣ надежную опору въ сочувствіи и вообще въ настроеніи болѣе или менѣе широкихъ круговъ общества. Рядъ попятныхъ реформъ, окончательно исказившихъ либеральныя начинанія Александра II, рядъ ограниченій, усиленная охрана, институтъ земскихъ начальниковъ, введеніе новаго университетскаго устава (1884 г.), уничтожившаго автономію высшей школы, удаленіе, безъ суда и разбирательства, цѣлаго ряда лучшихъ профессоровъ (Муромцева, Эрисманна, М. Ковалевскаго, Дитятина, Мищенка и др.), закрытіе „Отечественныхъ Записокъ“ и т. д. и т. д., все это создавало тяжелую атмосферу какой-то безнадежности, безпросвѣтности, у лучшихъ людей опускались руки, и не вѣрилось, чтобы въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ возможенъ былъ какой-либо поворотъ

къ лучшему,—не предвидѣлось конца реакціи. Она тучами сгущалась и надвигалась сверху, она туманомъ подымалась снизу... Лучшимъ людямъ приходилось вольно и невольно устраняться отъ дѣла, или тянуть лямку, или придумывать себѣ, въ сторонѣ отъ общественной жизни, какіе-либо искусственные интересы, чтобы хоть чѣмъ-нибудь наполнить пустоту жизни. Это сумеречное время отразилось, между прочимъ, въ нѣкоторыхъ разсказахъ Чехова, ярче всего— въ знаменитой „Скучной исторіи".

Оно же воспроизведено и въ романѣ Боборыкина „На ущербѣ", отличающемся тою точностью изображенія и тѣмъ чутьемъ дѣйствительности, которыми вообще характеризуются произведенія этого писателя.

Я остановлюсь на тѣхъ чертахъ, данныхъ въ романѣ, которыми отмѣчено, такъ сказать, соціальное самочувствіе и настроеніе мыслящей части общества въ 80-хъ годахъ, а также — съ большимъ мастерствомъ діагноза — опознана характерная складка молодого поколѣнія того времени, яснѣе опредѣлившаяся позже, къ концу десятилѣтія и въ началѣ 90-хъ годовъ.

Одно изъ главныхъ лицъ романа — профессоръ университета Кустаревъ, добровольно вышедшій въ отставку, потому что, какъ человѣкъ, неспособный на компромиссы и сдѣлки съ своею совѣстью, онъ не могъ ужиться съ новыми порядками. Онъ—убѣжденный народникъ-радикалъ въ духѣ 70-хъ годовъ. Ученый публицистъ и общественный дѣятель, онъ въ 70-хъ годахъ находилъ нѣкоторый просторъ для своей дѣятельности и могъ проводить свои воззрѣнія и съ каѳедры, и въ печати. Теперь онъ не у дѣлъ и живетъ отшельникомъ на хуторѣ недалеко отъ Москвы, сотрудничая въ либеральной московской газетѣ, которая, разумѣется, стала тише воды, ниже травы. Онъ—не изъ тѣхъ ученыхъ, которые могутъ съ головой уйти въ отвлеченную науку и тамъ обрѣсти забвеніе всѣхъ скорбей. Онъ—человѣкъ жизни,

гражданинъ, боевая натура, съ крѣпкими убѣжденіями, перешедшими въ плоть и кровь, съ живыми негодованіями, съ глубокою потребностью общественной дѣятельности. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, что называется, „душевный“ человѣкъ, съ неисчерпаемымъ запасомъ доброты, сердечности, живого участья къ людямъ. Съ начала до конца романа онъ привлекаетъ читателя гуманностью, чистотою и ясностью своей натуры.

Человѣкъ строгихъ и вполнѣ опредѣленныхъ убѣжденій Кустаревъ всего менѣе—доктринеръ или сектантъ: въ немъ нѣтъ и тѣни узкости и нетерпимости этихъ послѣднихъ. Къ числу его друзей принадлежитъ нѣкто Ермиловъ, его товарищъ по гимназіи и университету, человѣкъ совсѣмъ другого склада и міросозерцанія, эпикуреецъ, эстетъ, любопытный типъ дилетанта мысли и благородныхъ убѣжденій. Невзирая на все различіе натуръ и умственныхъ интересовъ, Кустаревъ искренно расположенъ къ Ермилову. Послѣдній съ своей стороны высоко цѣнитъ душевныя качества Кустарева, его убѣжденность, его честную, прямую натуру.

Ермиловъ, вернувшись изъ-за границы, спѣшитъ навѣстить стариннаго пріятеля на его хуторѣ подъ Москвой. Дорогою онъ предается воспоминаніямъ: „и тогда Кустаревъ былъ такой же—приземистый, съ удивленными добрыми глазами, вообще молчаливый; съ пріятелями теплый и словоохотливый; „нутрякъ“, какъ кто-то прозвалъ его, склонный къ мечтамъ о всемірномъ торжествѣ добра, любящій излить душу про „гадость“ порядковъ и дѣлъ, способный на порывъ, на выходку, за которую по головѣ не погладятъ. Тогда это было изъ-за товарищей, противъ учителей и начальства, позднѣе—изъ-за гражданскихъ идеаловъ въ аудиторіяхъ и на сходкахъ, еще позднѣе — на ученой службѣ вплоть до добровольнаго выхода въ отставку, послѣ одной исторіи, гдѣ онъ въ лицо всѣмъ сослуживцамъ сказалъ: „съ такими гадостями я, господа, мириться не могу!“ вышелъ изъ совѣта и подалъ прошеніе объ отставкѣ“ (ч. I, I).

Кустаревъ встрѣтилъ пріятеля съ большимъ радушіемъ, и за чаемъ и закуской полились тѣ задушевные русскіе разговоры, которые въ сумрачное время реакціи и застоя имѣютъ особую прелесть... „Слишкомъ долго накапливалось въ Кустаревѣ чувство невеселыхъ итоговъ за послѣдніе два-три года... Не горячась, безъ фразъ и восклицаній... Кустаревъ говорилъ больше о томъ, куда „все“ идетъ, чѣмъ о собственной жизни...“—Онъ говоритъ, что предпочитаетъ перебиваться на хуторѣ „съ хлѣба на квасъ“, чѣмъ жить въ городѣ, гдѣ онъ можетъ гораздо больше заработать, но гдѣ все ему теперь такъ претитъ... Впрочемъ, и здѣсь, на хуторѣ, онъ оказался „подъ сумнѣніемъ“: „Герой—Разуваевъ... Онъ царитъ и въ уѣздѣ... Я для него вредный человѣкъ, рабочихъ съ пути сбиваю, заработки поднялъ на цѣлую гривну серебромъ. Эхъ, Егоръ Петровичъ, посмотрю я на васъ—благую вы часть избрали: снимаете пѣнки со сливокъ Европы, сегодня тутъ, завтра тамъ, смотрите на все, какъ древній эллинъ-эпикуреецъ!“ (I, II).

2.

Присмотримся нѣсколько ближе къ этому „эллину-эпикурейцу“. Это—русскій европеецъ, русскій парижанинъ, поклонникъ и адептъ западной культурности и—въ частности—той умственной и эстетической утонченности, которая „культивируется“ въ міровыхъ центрахъ цивилизаціи и главнымъ образомъ въ Парижѣ. Онъ—человѣкъ съ широкимъ литературнымъ образованіемъ, цѣнитель искусства, знатокъ новѣйшихъ, преимущественно французскихъ, направленій въ поэзіи, въ беллетристикѣ, въ литературной критикѣ. Онъ знаетъ и „смакуетъ“ всѣ „новыя слова“ въ этихъ — безпечальныхъ—областяхъ не то творчества, не то сочинительства, и упивается стихами Хозе-Маріа-Эредіа. Наша „гражданская“ поэзія ему давно прискучила, какъ и соотвѣтствен-

ная „публицистическая“ критика. Давно прiѣлись ему наши литературныя направленiя и ихъ органы — наши толстые журналы. Онъ—рѣшительный противникъ вторженiя общественныхъ и моральныхъ тенденцiй въ изящную литературу, въ которой онъ цѣнитъ исключительно „красоту“ формы и производимое ею мозговое возбужденiе или наслажденiе.

Передъ нами—любопытный типъ литературнаго гастронома. Въ русской жизни это типъ — не новый. Такiе Ермиловы уже появлялись въ 30—40-хъ годахъ и въ послѣдующее время; но въ 80-хъ они стали замѣтнѣе обрисовываться въ туманѣ безвременья, получили, если можно такъ выразиться, больше ходу въ жизни и—что любопытно—утрачивали тотъ налетъ кажущейся (а часто и дѣйствительной) реакцiонности, который былъ присущъ имъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ. Ермиловъ — ни въ какомъ смыслѣ не реакцiонеръ и числится (лучше сказать, присутствуетъ или толчется) въ рядахъ оппозицiи. Онъ сочувствуетъ освободительнымъ идеямъ и гнушается всякаго компромисса съ торжествующей реакцiей. Эта черта представляется характерной для эпохи 80-хъ годовъ,—оттуда она перешла и въ 90-е годы; ее же встрѣчаемъ мы и въ наше время. Дiагнозъ Боборыкина блистательно оправдался. Господъ „эстетовъ“ и „литературныхъ гастрономовъ“ можно только поздравить съ такимъ поворотомъ ихъ политическихъ понятiй. Но выиграло ли освободительное движенiе отъ ихъ „участiя“ въ немъ, — это другой вопросъ, на который отвѣтъ будетъ данъ въ будущемъ, когда исторiя подведетъ итоги всѣмъ затратамъ переходнаго времени... Но, пользуясь фигурою Ермилова, которая очень типична, мы можемъ и сейчасъ выставить нѣкоторыя соображенiя по этому вопросу.

Прежде всего отмѣтимъ то, что литературный гастрономъ Ермиловъ оказывается своего рода „гастрономомъ“ и въ жизни. Ко всему онъ относится какъ-то „гастрономически“. И если реакцiонныя поползновенiя, извѣты, происки, доносы

ему претятъ, то тутъ прежде всего сказывается отвращенiе европейски-воспитаннаго русскаго „джентльмена" къ уродливой сторонѣ отечественнаго регресса. Ермиловъ въ вопросахъ прогресса, политики, общественной борьбы,—индифферентистъ; но у насъ все реакцiонное по большей части облекается въ такiя дикiя формы и проявляется такъ безобразно, что „порядочному человѣку" и тѣмъ болѣе поклоннику „всего изящнаго" психологически невозможно примкнуть къ реакцiонной кликѣ, изступленность которой доходила тогда, въ 80-хъ годахъ, казалось, до крайняго выраженiя, превзойденнаго только въ наши дни.

„Гастрономическое" отношенiе Ермилова ко всему на свѣтѣ, къ книгамъ, къ искусству, къ идеямъ, къ людямъ, къ дружбѣ, къ любви, а всего болѣе — къ хорошенькимъ женщинамъ превосходно обрисовано на всемъ протяженiи романа. Изъ этой обрисовки читатель легко выводитъ общее заключенiе, гласящее, что Ермиловъ это—законченный психологическiй типъ дилетанта жизни, идей, „красоты" и благородныхъ чувствъ и при томъ въ специфически русской формѣ этого дилетантизма.

Дилетантизмъ принадлежитъ къ числу тѣхъ явленiй, въ которыхъ съ наибольшею ясностью и точностью обнаруживается преобладающiй характеръ данной культуры. Какъ извѣстно, наша культура, въ противоположность западноевропейской, которая давно уже въ высшей степени интенсивна, отличается—пока—преобладающимъ характеромъ экстенсивности. Въ нашей культурной работѣ мы все еще идемъ по преимуществу въ ширь, а не въ глубь. Придетъ время, когда и для насъ настанетъ чередъ интенсивной работы, къ которой исподволь, словно нехотя, поневолѣ мы уже и теперь обращаемся въ кое-какихъ отрасляхъ жизни и мысли. Соотвѣтственно преобладающему характеру экстенсивности нашей культуры, и нашъ дилетантизмъ характеризуется разносторонностью умственныхъ интересовъ, „энци-

клопедизмомъ", широтой размаха въ ущербъ глубинѣ и и основательности разработки. Въ связи съ этимъ въ нашемъ дилетантизмѣ гораздо ярче, чѣмъ въ европейскомъ, выраженъ моментъ эпикурейства, эстетизма, когда онъ вообще входитъ въ составъ психологіи русскаго дилетанта (что вовсе не обязательно, ибо есть и другія разновидности русскаго дилетантизма, съ одною изъ которыхъ мы сейчасъ и познакомимся).

Эпикурейскій дилетантизмъ, это одно изъ старѣйшихъ явленій нашей жизни, и всегда онъ оказывался, рано или поздно, скрыто или явно, чѣмъ-то болѣзненнымъ, ненормальнымъ, часто—уродливымъ. Вспомнимъ нашихъ великолѣпныхъ баръ-„вольтеріанцевъ" XVIII-го вѣка, этихъ, по выраженію Герцена, „иностранцевъ дома, иностранцевъ въ чужихъ краяхъ", эту „умную ненужность", этихъ „праздныхъ зрителей", „терявшихся въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ" („Былое и думы", ч. I, гл. V). Ермиловъ хотя и отдаленный, но, несомнѣнно, прямой ихъ потомокъ. Между предками и этимъ потомкомъ стоитъ цѣлый рядъ посредствующихъ звеньевъ, представляющихъ собою различныя видоизмѣненія типа, соотвѣтственно условіямъ времени и бытовой обстановкѣ. Въ числѣ этихъ звеньевъ найдутся и такіе представители типа, которымъ пришлось въ свое время сыграть извѣстную роль и явиться выразителями опредѣленнаго момента въ нашемъ развитіи, когда, кромѣ дилетантизма и эпикурейства, у нихъ оказывались въ наличности и другія, болѣе цѣнныя, качества и задатки. Вспомнимъ Онѣгиныхъ и Печориныхъ, къ которымъ, повидимому, такъ примѣнимо выраженіе Герцена: „умная ненужность", но въ примѣненіи къ которымъ это выраженіе, однако, требуетъ цѣлаго ряда оговорокъ и ограниченій. Во всякомъ случаѣ, элементъ эпикурейства и дилетанства игралъ въ ихъ психикѣ и жизни видную роль и служилъ симптомомъ какой-то душевной порчи. Въ даль-

нѣйшемъ онъ отступаетъ и вытѣсняется,—на сцену выступаютъ представители другихъ общественно-психологическихъ типовъ, въ которыхъ этотъ элементъ сведенъ къ минимуму или совсѣмъ отсутствуетъ. Если Рудинъ и Лаврецкій въ извѣстномъ смыслѣ и дилетанты, то эпикурейцами ихъ назвать ужъ нельзя, и было бы въ высокой степени несправедливо говорить о нихъ, какъ объ „умной ненужности“ или какъ о „праздныхъ зрителяхъ, погрязшихъ въ чувственныхъ наслажденіяхъ и нестерпимомъ эгоизмѣ“. О людяхъ 60-хъ и 70-хъ годовъ и говорить нечего: они совершенно неповинны ни въ дилетантизмѣ, ни въ эпикурействѣ.

Дилетанты-эпикурейцы, разумѣется, не исчезали; напротивъ, они множились и развивались какъ типъ. Но они перестали выступать въ качествѣ типа общественно-психологическаго, чѣмъ и оправдалось ихъ мѣткое опредѣленіе—какъ „умной ненужности“. Изъ лабораторіи (если можно такъ выразиться) нашего развитія они были исключены—за ихъ ненадобностью. Но они оставались какъ одинъ изъ общихъ психологическихъ типовъ (съ патологическимъ уклономъ), какихъ не мало вырабатываетъ наша жизнь. Вспомнимъ, напр., В. П. Боткина, друга Бѣлинскаго, виднаго представителя западничества и передовой литературы 40-хъ годовъ, человѣка, который свои недюжинныя умственныя силы истратилъ на безплодное эпикурейство, литературный дилетантизмъ, гастрономію (въ буквальномъ смыслѣ) и эротизмъ. Нѣкогда либералъ, прогрессистъ, гуманистъ, онъ кончилъ тѣмъ, что впалъ въ тотъ (въ прежнее время, въ 60—70-хъ г.г. нерѣдкій) родъ огорченнаго и раздражительнаго реакціонерства, который ближайшимъ образомъ объясняется общимъ—физическимъ и психическимъ—оскудѣніемъ человѣка. Онъ опустился, измельчалъ, отупѣлъ мыслью, огрубѣлъ душой и уже въ 60-хъ годахъ являлъ печальную картину умственной и моральной руины.

Ермиловъ, надо полагать, до ретроградства не дошелъ бы;

можетъ быть, не превратился бы и въ руину. Но декадентомъ въ 90-хъ годахъ сдѣлался бы навѣрно. А пока что—судьба покарала его за легкое отношеніе къ жизни вообще и, въ частности, къ женщинамъ: его захватила роковая любовь—страсть къ одной изъ героинь романа, та слѣпая страсть, которая порабощаетъ человѣка, отнимаетъ волю, убиваетъ чувство собственнаго достоинства, дѣлаетъ человѣка пѣшкою и игрушкою въ рукахъ женщины.

Въ 80-хъ годахъ Ермиловы, стоя въ рядахъ оппозиціи, представляли однако одну—правда, самую невинную—сторону тогдашней реакціи: они протестовали противъ заполненія изящной литературы публицистикою и картинами мужицкой нужды, ратовали за „чистое искусство“ и отстаивали „права личности“ противъ тѣхъ посягательствъ на нихъ, какія въ 70-хъ годахъ исходили отъ господствовавшаго въ литературѣ и въ передовыхъ кругахъ направленія, требовавшаго отъ мыслящаго человѣка служенія народу, самоотреченія и т. д. Въ этомъ смыслѣ Ермиловы типичны для эпохи,—они являлись, можно сказать, начинателями того, вскорѣ обнаруживавшагося настроенія, которое (въ 90-хъ годахъ) питалось идеями Ницше и зачастую выливалось въ крайне антипатичныя формы—какого-то этическаго вандализма личности, проповѣди эгоизма и моральнаго произвола.

3.

Иную разновидность русскаго дилетантизма представляетъ въ романѣ нѣкій Гремушинъ. Это—уже не эпикуреецъ, а скорѣе ригористъ. Онъ—образцовый семьянинъ и человѣкъ строгихъ правилъ. Но онъ—большой чудакъ, изъ числа тѣхъ, которые, дилетантствуя въ области идей, открываютъ давно извѣстныя или давно опровергнутыя истины, носятся съ ними и „разрабатываютъ“ ихъ съ усердіемъ, достойнымъ лучшей участи. Онъ мнитъ себя „мудрецомъ“ и, въ качествѣ таковаго, педантично строитъ свою жизнь и во-

спитываетъ дѣтей по особому рецепту, по теоріи „эгоизма" или „эвдемонизма"—въ ожиданіи тѣхъ блаженныхъ временъ, когда эгоизмъ будетъ вытѣсненъ альтруизмомъ. „Онъ убѣжденъ, глубоко убѣжденъ, что человѣчество устроитъ себѣ образцовое существованіе на землѣ. Объ этомъ пишетъ онъ книгу больше 10 лѣтъ и передѣлываетъ ее каждое полугодіе... Но до золотого вѣка еще далеко,—когда всѣ націи, всѣ государства одинаково пройдутъ черезъ возрождающій общественный режимъ, руководимые мудрыми преобразователями. А пока—каждый отецъ обязанъ воспитать дѣтей такъ, чтобы обезпечить имъ maximum пріятныхъ ощущеній и допустить одинъ minimum страданій..." (I, XV). Такимъ образомъ, Гремушинъ, отнюдь не будучи самъ эпикурейцемъ, кладетъ въ основу своей теоріи (по крайней мѣрѣ въ вопросахъ воспитанія) эпикурейскую тенденцію.—Но прочтемъ еще: „Для нихъ (дѣтей) онъ хлопоталъ о матеріальномъ обезпеченіи и до сихъ поръ, по денежнымъ операціямъ, ѣздилъ въ деревню, въ губернскіе города, на ярмарки, расширялъ торговлю, занимался совсѣмъ не „дворянскими" дѣлами... Дѣти должны имѣть базисъ... обезпеченный кусокъ хлѣба... Рента сама по себѣ презрѣнна и вредна, и ея не будетъ въ преобразованномъ человѣческомъ обществѣ; теперь же она одна даетъ независимость... Но ея мало... *Слѣдуетъ вести дѣтей такъ, чтобы они развились безъ малѣйшаго намека на какое-нибудь исканіе идеала, чтобы они не знали преувеличенныхъ идей—жертвы, альтруизма, и думали бы только о себѣ. Это—эгоизмъ, но эгоизмъ, ведущій къ счастью. Пускай ребенокъ дѣлается великодушенъ, если онъ находитъ въ этомъ наслажденіе, но не иначе,—а вовсе не въ силу отвлеченнаго долга...*" [1] (I, XV).

[1]) Курсивъ мой.

Здѣсь есть черты, характерныя для эпохи, а парадоксальностью теорія Гремушина не уступитъ другимъ, въ то время популярнымъ, и поэтому могла бы конкурировать и съ утопіей Достоевскаго, и съ „теократіей“ Вл. Соловьева, и, пожалуй, даже съ ученіями Л. Н. Толстого. Мыслящее общество 80-хъ годовъ вообще было падко на парадоксы и утопіи, лишь бы только эти послѣднія были не революціонныя и политическія, а сектантскія, бытовыя, всего лучше съ окраскою религіозною или въ родѣ религіозной; не вредила дѣлу и доля мистики; а главное—чтобы это было какъ бы „вѣроученіе“, „новая догма“ и еще, чтобы она не была похожа на то, что проповѣдывалось въ 70-хъ годахъ...

Въ Гремушинѣ есть что-то не то сектантское, не то маніакальное: въ немъ поражаетъ насъ то завидное спокойствіе духа, по которому мы навѣрняка узнаемъ, что россіянинъ позналъ истину и всѣ вопросы рѣшилъ. Вся жизнь Гремушина распланирована по изобрѣтенной имъ системѣ онъ въ нее увѣровалъ и подчиняется ей съ тѣмъ смиреніемъ и самоотверженіемъ, съ какимъ вѣрующіе исполняютъ обряды своей религіи.

Этому чудаку пришлось раздѣлить судьбу Ермилова: онъ воспылалъ всепоглощающею страстью къ нѣкоей Карусъ, красивой московской барышнѣ, мечтающей о карьерѣ и славѣ пѣвицы. И тутъ онъ оказался своеобразнымъ: во-первыхъ, онъ влюбился не въ женщину со всѣми ея качествами, дѣйствительными или воображаемыми, а только въ одно изъ этихъ качествъ, именно въ голосъ. Во-вторыхъ, онъ эту роковую страсть воспринялъ послѣ недолгой борьбы, какъ нѣчто фатальное, какъ родъ призванія, и подчинился ей такъ, какъ раньше подчинялся своимъ теоріямъ и правиламъ.

4.

Въ главахъ IX—XI (первой части) живыми и мѣткими чертами описанъ „товарищескій обѣдъ“ въ честь проф.

Симбирцева. Читая эти страницы, мы сразу догадываемся, что дѣло происходитъ въ 80-хъ годахъ и непремѣнно въ Москвѣ. Мѣсто дѣйствія—одинъ изъ извѣстныхъ московскихъ трактировъ, — по выраженію Ермилова—„государственное учрежденіе“, съ которымъ отъ той эпохи связано много воспоминаній,—о застольныхъ рѣчахъ, о тостахъ, о сочувственныхъ телеграммахъ. Здѣсь за обѣденнымъ столомъ отводили душу либералы и вообще прогрессисты того времени...

Иниціаторами чествованія были Кустаревъ и приватъ-доцентъ Куликовъ. Послѣдній представляетъ собою фигуру очень характерную для эпохи. Это—молодой, бойкій, юркій человѣкъ, съ успѣхомъ дѣлающій карьеру. Онъ искусно лавируетъ между Сциллою либерализма и Харибдою реакціи и пойдетъ далеко. Держится онъ—пока—либеральнаго образа мыслей и льнетъ къ передовымъ дѣятелямъ университета, ища здѣсь поддержки, но въ то же время старается быть на хорошемъ счету у начальства и не возбуждать противъ себя видныхъ дѣятелей реакціи. Несомнѣнно, благодаря поддержкѣ старыхъ, либеральныхъ, профессоровъ, онъ скоро сдѣлаетъ карьеру, получитъ каѳедру; впослѣдствіи, если придется ему перестать быть „либераломъ“, онъ сдѣлаетъ это такъ ловко, что нельзя будетъ обвинить его въ ренегатствѣ; онъ всегда сумѣетъ прикрыть свое отступничество либерально звучащими фразами и такъ называемымъ „благоразуміемъ“. Но до этого еще далеко, и Куликовъ усердно разыгрываетъ „либерала“ и „сильно поддѣлывается теперь ко всѣмъ, кто даетъ тонъ въ обществѣ, гдѣ онъ дѣлаетъ свою карьеру“ (гл. VIII).

Профессоръ Симбирцевъ, которому даютъ обѣдъ,—почтенный, заслуженный ученый, естествоиспытатель съ незапятнанной репутаціей, но внѣ науки и каѳедры безъ особыхъ заслугъ, какъ общественный дѣятель. Изъ 60-хъ годовъ онъ вынесъ матеріалистическое міросозерцаніе, культъ

естествознанія. Эти воззрѣнія, считавшіяся нѣкогда предосудительными, теперь, въ 80-хъ годахъ, потеряли свою остроту, но они все-таки на плохомъ счету, и въ формулярѣ ихъ носителя являются замѣтнымъ минусомъ.

На обѣдѣ сошлись представители интеллигенціи: тутъ и профессора, и литераторы, и адвокаты. Здѣсь же и знакомые намъ Ермиловъ и Гремушинъ. Компанія болѣе или менѣе единомысленная, и обѣдъ обѣщалъ быть задушевнымъ и прошелъ бы гладко, если бы не одно непредвидѣнное обстоятельство. Въ числѣ присутствующихъ оказался „посторонній" человѣкъ, профессоръ Сохинъ, типичная фигура ренегата, какихъ было не мало въ 80-хъ годахъ. Злобные, наглые, увѣренные, что на ихъ улицѣ праздникъ, эти люди выступали открыто, съ высоко поднятой головой, бросая дерзкій вызовъ всѣмъ „несогласно мыслящимъ". Они не стѣснялись въ выборѣ средствъ для искорененія „либераловъ" и смѣло переступали границу, отдѣляющую честнаго, убѣжденнаго консерватора отъ того типа реакціонеровъ, который Салтыковъ обезсмертилъ кличкой „торжествующей свиньи". Этотъ-то Сохинъ и испортилъ всю музыку.

Но прислушаемся къ тону застольныхъ рѣчей,—въ нихъ отразилось унылое настроеніе времени. Кустаревъ говорилъ, что „надо держаться и брать примѣръ съ Симбирцева", что „если ужъ черезчуръ трудно сдѣлаться „кроткимъ какъ голубица", то надо быть „мудрымъ какъ змій" и не давать себя на съѣденіе зря,—припрятать юношескую пылкость для лучшихъ оказій...".—Ермиловъ не безъ тревоги слѣдилъ за рѣчью Кустарева. Ему все казалось, что вдругъ Кустаревъ не выдержитъ и „скажетъ что-нибудь слишкомъ рѣзкое, рискованное, отчего его попросятъ, пожалуй, переселиться и изъ подмосковнаго хуторка". Смущаетъ Ермилова и присутствіе Сохина, о которомъ ему уже говорили здѣсь, какъ о „ренегатишкѣ". Но до поры, до времени опасенія Ермилова не оправдывались, и, слушая рѣчь Кустарева, онъ подумалъ

„Да вѣдь онъ себѣ самому нотаціи читаетъ... Въ добрый часъ, такъ-то гораздо лучше! Хорохориться нечего! Надо выждать, какъ дѣлаетъ Симбирцевъ и всѣ истинно-умные люди...“. А тѣмъ временемъ Кустаревъ уже уклонился отъ взятаго вначалѣ тона. Его раздражало и подмывало присутствіе Сохина, и онъ „закончилъ, приподнявъ и тонъ рѣчи, и звукъ голоса, указаніемъ на то, какъ рѣдки теперь люди, оставшіеся вѣрными себѣ, какъ часты перебѣжчики...“. „Дѣло портится“, шепнулъ Ермиловъ сосѣду-адвокату. Потомъ поднялся Куликовъ. „Онъ съ улыбочкой поглядѣлъ сначала на всѣхъ вправо и влѣво, затѣмъ въ шампанское своего бокала и заговорилъ дробью, отчетливо, съ переливами голоса бойкаго магистранта, отчеканивающаго свою пробную лекцію pro venia legendi. Мимо ушей Ермилова проскальзывали слова, давно ему извѣстныя: готовыя фразы о „солидарности“, о „alma mater“, о томъ, что „много званныхъ, но мало избранныхъ“, и еще о чемъ-то... „Изъ молодыхъ да ранній!“—шепнулъ адвокатъ Ермилову.—„И все это онъ вретъ, просто желаетъ поддѣлаться къ этимъ господамъ и поскорѣе выйти самому въ заправскіе ученые“. Наконецъ, заговорилъ ренегатъ Сохинъ. „Онъ припомнилъ вкратцѣ смыслъ рѣчи Кустарева и съ легкимъ подсмѣиваніемъ похвалилъ и его, и его „единовѣрцевъ“, такъ онъ выразился, за то, что они „взялись за умъ“, и поняли, какъ смѣшно ставить свое высокомѣріе и „политиканство“ выше „историческаго теченія событій“, выше того „уклада“, которому русское общество должно отнынѣ неустанно слѣдовать. Но онъ этимъ не ограничился, а призвалъ всѣхъ этихъ „взявшихся за умъ“ очистить себя, искренно и всенародно прильнуть къ общему теченію, а не держать камня за пазухой, и быть „мудрымъ какъ змій“ вовсе не затѣмъ, чтобы жалить въ благопріятную минуту...“.

Дѣло не обошлось безъ скандала. Кустаревъ не выдержалъ. Когда послѣ обѣда Сохинъ сталъ приставать къ Сим-

бирцеву съ ехидными, провокаторскими шуточками, Кустаревъ его выгналъ вонъ, къ великому смущенію нѣкоторыхъ изъ участниковъ обѣда. 80-ые годы были эпохою страховъ и опасеній по формулѣ „какъ бы чего не вышло". И въ данномъ случаѣ такія опасенія были далеко не безосновательны.

5.

Въ романѣ выведены и представители молодого поколѣнія. Изъ нихъ наиболѣе замѣчательна фигура студента „бѣлоподкладочника" Капцова. Его отецъ, Порфирій Николаевичъ Капцовъ,—пріятель и единомышленникъ Кустарева, но его жизнь сложилась иначе: онъ готовился въ московскіе профессора и подавалъ большія надежды, но попалъ въ петербургскіе чиновники, женился и тянетъ бюрократическую лямку, весь поглощенный вопросомъ заработка: жена и дочь тратятъ много, „принимаютъ" и „выѣзжаютъ", хотятъ жить широко. Онъ уже въ чинахъ, „штатскій генералъ", и успѣлъ уже „получить новое, высшее назначеніе по казенной службѣ и два новыхъ частныхъ мѣста" (I, XVII). Онъ лѣзетъ изъ кожи ради семьи, съ которою у него нѣтъ единенія. Онъ глухо протестуетъ, „про себя", но, по мягкости характера, по неисчерпаемому благодушію, онъ не въ силахъ оказать вліяніе, давленіе, заявить свои требованія. Всего болѣе огорчаетъ его сынъ Гриша: „ничто не нравится ему въ сынѣ... такихъ студентовъ, какъ Гриша, Порфирій Николаевичъ не хочетъ про себя и признавать. Это пажъ какой-то, думаетъ онъ часто, когда его взглядъ за столомъ или въ гостиной упадетъ на сына. Ему прямая дорога въ кавалерію, благо онъ бѣлую подкладку носитъ... „Бѣлоподкладочникъ", съ горечью называлъ онъ Гришу про себя и чувствовалъ, что лучше ужъ не присматриваться къ душевнымъ качествамъ сына, его поведенію, идеаламъ и правиламъ..." (II, I). Мы узнаемъ тутъ же, что этотъ юнецъ, типичный продуктъ 80-хъ

годовъ, науками не интересуется, а помышляетъ только о скорѣйшемъ окончаніи курса, что ни общественныхъ, ни литературныхъ интересовъ у него нѣтъ и читаетъ онъ только порнографическія книжки, что его конекъ—верховая ѣзда, да еще—что онъ играетъ на гитарѣ и приверженъ ко всякаго рода спорту. Есть уже у него и любовная связь съ богатой и кутящей дамой... И „когда Порфирій Николаевичъ раздумается объ этомъ, у него даже потъ выступитъ на вискахъ...“ (II, I).

То, что переживаетъ этотъ несчастный Порфирій Николаевичъ, переживали въ тѣ годы очень многіе, столь же несчастные отцы. Драма „отцовъ и дѣтей“ становилась настоящей трагедіей, ибо весь духовный обиходъ такихъ „дѣтей“, какъ Гриша Капцовъ, невольно внушалъ самыя пессимистическія, безнадежныя мысли: подрастало и уже вступало въ жизнь поколѣніе, очевидно, умственно-отсталое, морально поврежденное, граждански негодное...

Теперь, по прошествіи 20 лѣтъ [1]), мы знаемъ, что эти мрачныя предвидѣнія, къ счастью, не вполнѣ оправдались: если значительная часть молодого поколѣнія 80-хъ годовъ дѣйствительно оказалась порченной и изъ нея вышли въ самомъ дѣлѣ дрянные люди, то другая часть — и при томъ изъ тѣхъ же „бѣлоподкладочниковъ“ — довольно скоро (въ 90-хъ годахъ) выправилась и оказалась гораздо лучшею, чѣмъ можно было ожидать: обнаружилось, что отрицательныя черты (напр., тѣ, какими характеризуется Гриша Капцовъ) были, такъ сказать, обманчивы и заслоняли собою натуру, не лишенную положительныхъ качествъ, которыя, по минованіи переходнаго возраста, не замедлили обнаружиться. Надо отдать справедливость П. Д. Боборыкину: онъ предугадалъ возможность такой метаморфозы типа и на примѣрѣ Гриши Капцова показалъ, что отрицательныя черты

[1]) Дѣйствіе романа пріурочено къ 1886 г.

типа нерѣдко могли быть частью внѣшними, случайными, навѣянными духомъ времени, частью же являлись выраженіемъ естественной психологической реакціи молодого эгоизма (который—вовсе не порокъ) противъ утрированнаго моральнаго и идейнаго ригоризма отцовъ. Это явленіе, такъ сказать, „обратной наслѣдственности“ наблюдается зачастую: дѣти аскетовъ и альтруистовъ оказываются эпикурейцами и эгоистами, дѣти матеріалистовъ и позитивистовъ выходятъ мистиками—и обратно. Слишкомъ долгое господство идеала самоотреченія, принесенія себя въ жертву идеѣ, отечеству, прогрессу, народу и т. д. вызываетъ рано или поздно психологическую реакцію здоровыхъ натуръ, на первыхъ порахъ приводящую къ противоположной крайности. Съ теченіемъ времени крайности отпадаютъ, и поколѣніе (или здоровая часть его) выравнивается, выпрямляется...

Гриша Капцовъ сперва кажется намъ крайнѣ антипатичнымъ, почти безнадежнымъ. Но въ дальнѣйшемъ мы невольно отмѣчаемъ въ немъ черты, намекающія на то, что, пожалуй, въ его натурѣ найдутся задатки здороваго развитія.

Прочтемъ слѣдующую характеристику этого юноши: „Голова его работала основательно и къ двадцати годамъ усвоила себѣ почти законченное пониманіе жизни, гдѣ отвлеченныя идеи, порывы, стремленія и „вопросы“ отнесены были къ разряду „пустяковъ“, не стоящихъ вниманія, и опасныхъ формъ убиванія времени... Онъ цѣнилъ только фактическое преимущество въ товарищахъ и во всѣхъ, кого встрѣчалъ дома и въ обществѣ. Знаешь всѣ греческіе неправильные глаголы—„молодецъ“; можешь писать прямо итогъ восьми столбцовъ цифръ, по десяти въ каждомъ,—„лихо“; проѣдешь верхомъ изъ Петербурга въ Москву въ трое сутокъ—„завидно“... И главное, чтобы все это тебѣ самому доставляло пользу и удовольствіе, чтобы ты жилъ, какъ тебѣ хочется, чтобы ты чувствовалъ полное равновѣсіе и довольство собой, а не кряхтѣлъ изъ-за какихъ-то идей или по слабости характера,

для другихъ изображая изъ себя поденщика, не имѣющаго настолько чувства своего „я“, чтобы его не эксплоатировали. И примѣромъ такой подневольной и уродливо жалкой жизни Григорій Порфирьевичъ бралъ жизнь своего отца. Къ нему онъ въ иныя минуты чувствовалъ жалость, но жалость, пропитанную сознаніемъ своего превосходства“ (II, IV).

Нелишне указать и на его отношеніе къ женщинамъ. Онъ ихъ презираетъ: „ихъ вздорность, охи и ахи, увлеченія и порывы“ онъ называетъ „однимъ собирательнымъ терминомъ: психопатія...“.—Онъ не дуренъ собой и нравится женщинамъ; барышни то и дѣло влюбляются въ него, а онъ отзывается о нихъ съ „ужимкою глубокаго презрѣнія: — Ну ихъ! Виснутъ!—И *это не было у него ни позой, ни притворствомъ...*“ [1]) (тамъ же). — Что же касается его отношеній къ богатой и распутной вдовѣ, то они оказываются не столь предосудительными, какъ склоненъ былъ заподозрѣть его отецъ. „...Вдова дарила ему разные „сувениры“; порывалась дѣлать и цѣнные подарки, намекать на то, что у него мало карманныхъ денегъ, но Григорій Порфирьевичъ положилъ этому конецъ.—Это будетъ альфонсизмъ!—сказалъ онъ ей спокойно и съ большимъ достоинствомъ...“.—„И когда ему казалось, что отецъ подозрѣваетъ что-то—оттого, вѣроятно, что онъ сталъ рѣже просить у него денегъ,—его это щемило. Онъ способенъ былъ самъ заговорить о своихъ отношеніяхъ къ вдовѣ и сказать отцу прямо: „Ты, пожалуйста, не думай, что Мещерина даетъ мнѣ денегъ!... Я съ ней провожу время... У меня стало меньше холостыхъ расходовъ—вотъ тебѣ и объясненіе загадки...“ — Но случая не представлялось, и онъ кончилъ тѣмъ, что успокоился“.

Еще черта: онъ любитъ циркъ, куда „его привлекаютъ лошади, ихъ выѣздка, ихъ „кровныя статьи“, дрессировка собакъ, свиней, гусей, ословъ, ловкость и условная грація

---

[1]) Курсивъ мой.

акробатокъ и наѣздницъ высшей школы. Онъ отдыхалъ въ этомъ царствѣ мышечной силы, спорта, упорной энергіи съ оттѣнкомъ всегдашней опасности отъ скуки мужскихъ и кудахтанія женскихъ разговоровъ, зѣвоты на лекціяхъ, танцевъ съ барышнями, ежедневныхъ встрѣчъ съ товарищами...“ (II, IV).

Подъ всѣмъ этимъ чувствуется натура, если можно такъ выразиться, „грубо-здоровая“. Ни къ какой „высшей жизни духа“, ни къ какой идеологіи Гриша Капцовъ, конечно, не призванъ, но его грубый эгоизмъ и упрощенное эпикурейство, въ сущности, предпочтительнѣе утонченнаго эгоизма и гастрономическаго эпикурейства Ермиловыхъ. Изъ Гриши Капцова не выйдетъ такой разслабленный смакователь жизни, какъ Ермиловъ, но легко можетъ выйти смѣлый и крѣпкій человѣкъ, способный бороться—не за идею, а за свои жизненные интересы, за свои права, какъ онъ ихъ понимаетъ. Когда къ концу 90-хъ годовъ разразились университетскія волненія и забастовки, въ нихъ не послѣднюю роль играли вотъ такіе самые Гриши Капцовы, которыхъ увлекла борьба—какъ своего рода „спортъ“—и для которыхъ опасности, тревоги и страсти борьбы, при ясной, близко поставленной (какъ имъ казалось) цѣли ея, представляли большую заманчивость. Иные изъ нихъ могли даже доходить и до „идеи“—путемъ борьбы.

Укажемъ еще нѣсколько чертъ, которыми въ дальнѣйшемъ характеризуется Гриша Капцовъ.—Въ романѣ выведенъ, между прочимъ, нѣкій Благомировъ, феноменальный басъ, изъ семинаристовъ, бывшій народный учитель, человѣкъ идеи, народникъ. Онъ долго колеблется между заманчивою перспективой карьеры артиста и скромною, но отвѣчающею его убѣжденіямъ жизнью „дѣятеля на нивѣ народной“. Встрѣтившись съ нимъ въ одномъ артистическомъ кружкѣ, Гриша Капцовъ заинтересовался этимъ обладателемъ феноменальнаго голоса и къ тому-же человѣкомъ огромнаго роста и почти

красавцемъ. Нравилась ему и скромная, конфузливая манера Благомирова. И вотъ, когда послѣдній, послѣ долгихъ упрашиваній, наконецъ согласился пропѣть арію изъ „Руслана", Гришѣ „почему-то стало страшно" за него: вдругъ „скапустится", бѣднякъ!... На Григорія Порфирьевича находило изрѣдка такое гуманное настроеніе. Да и парень-то былъ ужъ очень безобиденъ. Ему нравились натуры съ чѣмъ-нибудь сильнымъ — голосъ ли, кулакъ ли, ловкость ли — чрезвычайныя. А въ голосъ семинариста онъ уже увѣровалъ..." (II, VIII).

Въ числѣ эпизодическихъ лицъ выведенъ нѣкій Малышевъ, пріятель ренегата Сохина. Этотъ Малышевъ принятъ въ домѣ Капцовыхъ. Однажды онъ столкнулся тамъ съ Кустаревымъ, въ присутствіи котораго онъ между прочимъ сказалъ: „Мой другъ и пріятель Сохинъ имѣлъ основаніе не раздѣлять воззрѣній лже-либераловъ и радикаловъ, промышляющихъ своимъ дешевымъ товаромъ...". На это Кустаревъ отвѣтилъ такъ: „Мнѣ лучше удалиться. Что же тебѣ, Порфирій, въ чужомъ пиру да похмѣлье принимать. Только я просилъ бы твоего гостя радикаловъ и ихъ дешевый товаръ оставить въ покоѣ. Товаръ этотъ, во всякомъ случаѣ, менѣе подмоченный и зловонный, чѣмъ тотъ, какимъ промышляютъ иные изъ его друзей и пріятелей". Тутъ ужъ и Порфирій Николаевичъ Капцовъ набрался куражу и рѣшительно взялъ сторону Кустарева. Когда Малышевъ, весь зеленый отъ злости, заявилъ, что „въ такомъ тонѣ онъ разговаривать не желаетъ", и вышелъ изъ комнаты, Капцовъ крикнулъ ему вслѣдъ: „Какъ угодно-съ!" и сказалъ Кустареву: „Голубчикъ! Ты оцѣнилъ эту уксусную, искаріотскую фигуру. Византіецъ, изволите видѣть, археологіей занимается, вмѣстѣ съ кляузными дѣлами и конкурсами по банкротствамъ, охранитель древне-русскихъ началъ и ренегата Сохина благопріятель!"—Капцовъ рѣшительно взбунтовался и горько упрекаетъ себя за малодушіе, съ какимъ онъ терпѣлъ въ своемъ домѣ этого господина. Жена

Капцова возмущена и постаралась уже извиниться передъ Малышевымъ и Сохинымъ за грубую выходку мужа. Но совершенно иначе отнесся къ этой выходкѣ его сынъ. — „Нѣтъ, каковъ фатеръ? — говоритъ Гриша сестрѣ. — Вѣдь онъ въ первый разъ характеръ выказалъ!“ — „Однако, такъ нельзя поступать съ гостями“, возразила Дина... „Да вѣдь фатеръ самъ по себѣ. Онъ многихъ гостей нашихъ и въ глаза не знаетъ... Нѣтъ, пора было нашему Нестору-лѣтописцу— Гриша такъ называлъ Малышева — и сдачи дать. Если бы я былъ на мѣстѣ отца, я бы давно спустилъ его“ (II, IV).

Принимая въ соображеніе всѣ такія черты, разбросанныя въ романѣ, мы скажемъ такъ: неизвѣстно, что выйдетъ изъ Гриши Капцова (можно было только предполагать тогда, что ничего хорошаго изъ такихъ юнцовъ не выйдетъ), но зато мы имѣемъ возможность съ большею опредѣленностью утверждать, что, возмужавъ и вступивъ въ жизнь, Гриша Капцовъ не явится ни разслабленнымъ и дряблымъ обывателемъ, ни поврежденнымъ декадентомъ, ни позирующимъ ницшеанцемъ, ни изступленнымъ реакціонеромъ и обскурантомъ, ни „человѣкомъ въ футлярѣ“. Вѣрнѣе всего, что изъ такихъ, какъ Гриша Капцовъ, выйдетъ то, что—въ pendant къ выраженію „умная ненужность“—можно было бы назвать „здоровою ненужностью“: душевное здоровье и уравновѣшенность, непосредственная натура, крѣпость мышцъ и нервовъ, несомнѣнный, но простой и грубый умъ, несложность душевныхъ движеній и запросовъ, упрощенная психика, — все это въ общественно-психологическомъ смыслѣ — балластъ, который въ эпохи реакціи является однимъ изъ симптомовъ общаго пониженія жизненнаго тона и оскудѣнія творческихъ силъ общества, а въ эпохи движенія и борьбы представляетъ собою своего рода „силу“, но такую, о которой нельзя сказать, куда она направится, принесетъ ли вредъ или пользу...

Душевная уравновѣшенность и здоровье,— сами по себѣ благо. Но нужно различать между понятіемъ о здоровьи,

которое всегда нужно, и понятіемъ о здоровой ненужности. Есть и такія „ненужности", которыя тѣмъ хуже, чѣмъ здоровѣе.

80-е годы были эпохою общественнаго упадка и оскудѣнія—умственнаго, моральнаго и вообще психическаго, когда наша жизнь съ избыткомъ производила, рядомъ съ разными уродствами и юродствами, психозами и всякой дряблостью, и много „здоровыхъ ненужностей", иногда крайне отвратительныхъ, иногда безразличныхъ, иногда кажущихся „красивыми".

80-е годы были эпохою въ своемъ родѣ знаменательною: въ глубокихъ нѣдрахъ различныхъ слоевъ населенія совершались темные процессы какого-то „развитія", о которыхъ нельзя было сказать съ опредѣленностью, что это такое: выработка чего-то новаго и жизнеспособнаго или только—продукты разложенія и гніенія. Это „развитіе" продолжалось и въ 90-хъ годахъ. Въ третьей части этого труда мы сдѣлаемъ попытку разобраться въ противорѣчіяхъ теченій и вѣяній, новыхъ позъ и фразъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

I.

Чаадаевъ и русское національное самоотрицаніе.

Въ I-й части этого труда я обошелъ Чаадаева. Постараюсь восполнить здѣсь этотъ пробѣлъ. Какъ и въ другихъ вопросахъ, такъ и въ этомъ наша задача состоитъ въ томъ, чтобы освѣтить явленіе, т. е. въ данномъ случаѣ эпизодъ, связанный съ именемъ Чаадаева (а также отчасти и вообще „чаадаевщину"), съ точки зрѣнія психологическихъ отношеній мыслящей и передовой части общества къ русской дѣйствительности, къ такъ называемымъ „національнымъ" русскимъ началамъ, къ вопросамъ нашего историческаго развитія.

Сперва припомнимъ впечатлѣніе, произведенное на общество (въ лицѣ лучшихъ его представителей) знаменитымъ „Философическимъ письмомъ" Чаадаева, когда оно появилось въ 15-мъ № „Телескопа" Надеждина 1836 г.

Никитенко записалъ въ своемъ „Дневникѣ": „Ужасная суматоха въ цензурѣ и въ литературѣ. Въ 15-мъ № „Телескопа" (т. XXXIV) напечатана статья подъ заглавіемъ: „Философскія письма". Статья написана прекрасно; авторъ ея (П. Я.) Чаадаевъ. Но въ ней весь нашъ русскій бытъ выставленъ въ самомъ

мрачномъ видѣ. Политика, нравственность, даже религія представлены, какъ дикое, уродливое исключеніе изъ общихъ законовъ человѣчества. Непостижимо, какъ цензоръ Болдыревъ пропустилъ ее. Разумѣется, въ публикѣ поднялся шумъ. Журналъ запрещенъ. Болдыревъ, который одновременно былъ профессоромъ и ректоромъ московскаго университета, отрѣшенъ отъ всѣхъ должностей. Теперь его вмѣстѣ съ (Н. И.) Надеждинымъ, издателемъ „Телескопа", везутъ сюда для отвѣта". (Подъ 25 окт. 1836 г.).

Чаадаева, какъ извѣстно, объявили сумасшедшимъ и подвергли домашнему аресту [1]).

Герценъ, находившійся въ то время въ ссылкѣ и, какъ это видно изъ его переписки съ Н. А. Захарьиной, переживавшій религіозное настроеніе, близкое къ мистицизму и таившее въ себѣ возможность своеобразнаго „примиренія съ дѣйствительностью", все-таки почувствовалъ силу и оригинальную прелесть чаадаевскаго отрицанія. Впослѣдствіи онъ вспоминалъ: „...письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россію... Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь... Лѣтомъ 1836 г. я спокойно сидѣлъ за своимъ письменнымъ столомъ въ Вяткѣ, когда почтальонъ принесъ мнѣ послѣднюю книжку „Телескопа"......."—„Философское письмо къ дамѣ, переводъ съ французскаго" сперва не привлекло къ себѣ его вниманія,—онъ принялся за другія статьи... Но когда онъ сталъ читать „письмо", то оно глубоко заинтересовало его: „со второй, съ третьей страницы меня остановилъ печально-серьезный тонъ: отъ каждаго слова вѣяло долгимъ страданіемъ, уже охлажденнымъ, но еще озлобленнымъ. Этакъ пишутъ только люди долго думавшіе, много думавшіе и много

---

[1]) Вся эта исторія была изложена и комментирована въ нашей литературѣ неоднократно—Пыпинымъ (въ біографіи Бѣлинскаго, въ „Характеристикахъ литер. мнѣній", въ IV-мъ т. „Исторіи рус. литературы), П. Н. Милюковымъ („Главныя теченія русс. историч. мысли"), В. Я. Богучарскимъ („Изъ прошлаго русс. общества"), С. А. Венгеровымъ (въ I-мъ т. „Новаго собранія сочиненій Бѣлинскаго") и др.

испытавшіе жизнью, а не теоріей... Читаю дальше, — письмо растетъ, оно становится мрачнымъ обвинительнымъ актомъ противъ Россіи, протестомъ личности, которая за все вынесенное хочетъ высказать часть накопившагося на сердцѣ. Я раза два останавливался, чтобъ отдохнуть и дать улечься мыслямъ и чувствамъ, и потомъ снова читалъ и читалъ. И это напечатано по-русски неизвѣстнымъ авторомъ... Я боялся, не сошелъ ли я съ ума. Потомъ я перечитывалъ „письмо" Витбергу, потомъ С., молодому учителю вятской гимназіи, потомъ опять себѣ.—Весьма вѣроятно, что то же самое происходило въ разныхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, въ столицахъ и господскихъ домахъ. Имя автора я узналъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ" („Былое и Думы" — „Сочиненія", т. II, стр. 402—403).

Основную мысль „письма" Герценъ формулируетъ такъ: „прошедшее Россіи пусто, настоящее невыносимо, а будущаго для нея вовсе нѣтъ, это — „пробѣлъ разумѣнія, грозный урокъ, данный народамъ,—до чего отчужденіе и рабство могутъ довести". Это было покаяніе и обвиненіе..." (403).

Любопытно отмѣтить, что ни Герценъ, ни Никитенко не выражаютъ никакого порицанія или негодованія по адресу Чаадаева, котораго идей они раздѣлять не могли. Прочтемъ еще слѣдующія строки Герцена: „Въ Германіи Чаадаевъ сблизился съ Шеллингомъ; это знакомство, вѣроятно, много способствовало, чтобъ навести его на мистическую философію. Она у него развилась въ революціонный католицизмъ, которому онъ остался вѣренъ на всю жизнь. Въ своемъ письмѣ онъ половину бѣдствій Россіи относитъ на счетъ греческой церкви, насчетъ ея отторженія отъ всеобъемлющаго западнаго единства" (II, 406). — Этому, конечно, Герценъ сочувствовать не могъ, какъ не сочувствовалъ онъ переходу въ католицизмъ доцента моск. унив. Печорина. Но къ католическимъ увлеченіямъ обоихъ отрицателей онъ относится съ большою терпимостью. Очевидно, Герцена, какъ и другихъ, подкупилъ самый фактъ протеста, отрицанія. И Печоринъ, и Ча-

адаевъ одинаково возстали противъ русскаго варварства и обскурантизма, противъ „отчужденія и рабства“. Со стороны „католицизма“ опасностей не предвидѣлось, а отрицаніе національной дикости, „отчужденія и рабства“ было необходимо, какъ хлѣбъ насущный, какъ струя свѣжаго воздуха, ворвавшаяся въ удушливую атмосферу затхлаго, наглухо заколоченнаго стараго дома, наконецъ, какъ необходимыя предпосылки умственной и моральной дѣятельности, направленной на выработку національнаго самосознанія.

Чаадаевское отрицаніе стоитъ на рубежѣ этой дѣятельности, которая и составляла главную задачу мыслящихъ людей 30-хъ и 40-хъ гг.,—западниковъ и славянофиловъ.

Какой толчекъ работѣ мысли въ этомъ направленіи дало Чаадаевское отрицаніе, это видно, между прочимъ, изъ тѣхъ мыслей, которыя развивалъ, по поводу „письма“ Чаадаева, Пушкинъ.

„Письмо“, какъ извѣстно, было написано задолго до его опубликованія въ „Телескопѣ“. Пушкинъ читалъ его въ рукописи (на франц. языкѣ) еще въ 1831 г., и тогда же (6 іюля 1831 г.) онъ писалъ Чаадаеву: „...Ваша рукопись все еще у меня; не хотите ли вы, чтобы я отослалъ ее вамъ? Но что вы станете дѣлать съ нею въ Некрополисѣ [1])? Оставьте мнѣ ее еще на нѣсколько времени. Я только-что перечиталъ ее; мнѣ кажется, что начало очень связано съ предшествовавшими разсужденіями и съ идеями, гораздо ранѣе развитыми, болѣе ясными и положительными для насъ, но не для читателя. Поэтому первыя страницы нѣсколько темны, и я думаю, что вы сдѣлаете лучше, если замѣните ихъ простымъ примѣчаніемъ, или сдѣлаете изъ нихъ извлеченіе. Я готовъ былъ также замѣтить вамъ безпорядокъ и отсутствіе метода во всей статьѣ, но разсудивъ, что это вѣдь—письмо и что этотъ родъ извиняетъ и уполномочиваетъ и эту небрежность, и это laisser-aller. Все, что вы говорите о Мои-

---

[1]) Т.-е. „въ городѣ мертвыхъ“—въ Москвѣ.

сеѣ, Римѣ, Аристотелѣ, идеѣ истиннаго Бога, древнемъ искусствѣ, протестантизмѣ, все это изумительно по силѣ, правдѣ и краснорѣчію. Все, что является портретомъ и картиною,—все широко, блестяще и грандіозно. Со взглядомъ вашимъ на исторію, мнѣ совершенно новымъ, я однако-жъ не могу всегда соглашаться: напр., я не понимаю ни вашего отвращенія къ Марку-Аврелію, ни вашего предпочтенія Давиду (псалмамъ котораго удивляюсь и я, если только еще они имъ и написаны). Не вижу я также, отчего сильная и наивная живопись политеизма возмущаетъ васъ въ Гомерѣ. Не говоря уже о поэтическомъ достоинствѣ, это и по вашему признанію великій историческій памятникъ. Да и все, что ни представляетъ кроваваго Иліада, развѣ тоже не находится и въ Библіи? Вы видите христіанское единство въ католицизмѣ, т. е. въ папѣ. Не въ идеѣ-ли оно Христа, которая есть и въ протестантизмѣ? Первая идея была монархическою; потомъ сдѣлалась республиканскою. Я дурно выражаюсь, но вы поймете меня. Пишите же мнѣ, другъ мой, если бы даже вамъ пришлось бранить меня...“

Дѣло шло о созданіи своеобразной „философіи исторіи“, откуда вытекалъ и опредѣленный взглядъ на историческія судьбы Россіи, на ея прошлое, на ея призваніе въ будущемъ. Иначе говоря, дѣло шло о выработкѣ національнаго русскаго самосознанія,— и вотъ что писалъ Пушкинъ Чаадаеву на эту тему пять лѣтъ спустя, когда знаменитое „письмо“ появилось въ печати:

„Благодарю васъ за брошюру, которую вы мнѣ прислали. Мнѣ было пріятно перечитать ее, хотя я удивился, что она переведена и напечатана. Я доволенъ переводомъ: въ немъ сохранилась и энергія, и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, вы знаете, что я далекъ отъ полнаго согласія съ вашимъ мнѣніемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что „схизма“ насъ отдѣлила отъ остальной Европы, и что мы не участвовали ни въ одномъ изъ великихъ событій, которыя ее волновали. Но у насъ было наше собственное призваніе...“ Между прочимъ, мы спасли Европу отъ татаръ: „благодаря нашему мученичеству, католическая Европа могла безъ помѣхи энергически развиваться...“. Отчужденіе отъ

Европы и вліяніе Византіи не были, по мнѣнію Пушкина, такъ пагубны, какъ представляетъ это Чаадаевъ: „нравы Византіи отнюдь не были нравами Кіева...“—Наше духовенство въ старину [1]) было достойно уваженія: оно никогда не оскверняло себя мерзостями папства...“—Правда, нынѣшнее духовенство, говоритъ Пушкинъ, отстало, опустилось, но это только потому, что „оно носитъ бороду и не принадлежитъ къ хорошему обществу“ [2]).

Хорошимъ, какъ я думаю, комментаріемъ къ этому мѣсту (о духовенствѣ) можетъ служить то, что сообщаетъ Смирнова со словъ Соболевскаго (послѣ смерти Пушкина): Соболевскій передавалъ отзывы Пушкина о Чаадаевѣ и его взглядахъ и, между прочимъ, говорилъ, что Пушкинъ, указывая на необходимость цѣлаго ряда реформъ (освобожденіе крестьянъ, гласность, судъ присяжныхъ, большая свобода печати, народныя школы), вмѣстѣ съ тѣмъ настаивалъ на эмансипаціи церкви и на ея призваніи быть „активной и воинственной“: „Прежде у насъ были епископы и монахи, очень полезные и дѣятельные въ политической жизни“—въ противуположность тому, что мы видимъ теперь, когда церковь подчинена государству. Это очень прискорбно: „вѣдь жандармы ничего не имѣютъ общаго съ символомъ вѣры,—и не съ ихъ помощью обратятъ раскольниковъ... лютеранинъ графъ Бенкендорфъ, шефъ жандармовъ“,—сказалъ Пушкинъ въ заключеніе,—„кажется мнѣ не вполнѣ подходящимъ борцомъ за православіе...“—(„Записки Смирновой“, ч. II, стр. 18).

Возвращаясь къ письму Пушкина, отмѣтимъ, что онъ безотрадному взгляду Чаадаева на историческое прошлое Россіи противупоставляетъ свой взглядъ, болѣе справедливый, напоминая, что и у насъ были свои великія дѣянія, подвиги, крупныя историческія личности и т. д. „А Петръ Великій, который одинъ—цѣлая всемірная исторія?“—Однимъ словомъ, прошлое Россіи, по

---

1) „до Ѳеофана“ (Прокоповича).

2) въ спеціальномъ смыслѣ, какой имѣло выраженіе „bonne compagnie“, т. е. цвѣтъ общества.

воззрѣнію Пушкина, не даетъ основаній для того рѣзко пессимистическаго взгляда, котораго держался Чаадаевъ, для того національнаго отчаянія и самоуничиженія, выраженіемъ которыхъ явилось его „письмо“.

Въ заключеніе же Пушкинъ говоритъ слѣдующее: „Послѣ стольких возраженій я долженъ вамъ сказать, что въ вашемъ посланіи есть много вещей глубокой правды. Нужно признаться, что наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствіе общественнаго мнѣнія, это равнодушіе ко всякому долгу, къ справедливости и правдѣ, это циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому достоинству, дѣйствительно, приводятъ въ отчаяніе. Вы хорошо сдѣлали, что громко это высказали[1]). Но я боюсь, что мнѣнія ваши объ исторіи вамъ повредятъ...“

И они, дѣйствительно, „повредили“. Вотъ что сказалъ графъ Бенкендорфъ М. Ѳ. Орлову, когда послѣдній попытался замолвить слово въ защиту Чаадаева: „Прошлое Россіи было восхитительно; ея настоящее болѣе чѣмъ великолѣпно; что касается ея будущности, то она превосходитъ все, что самое смѣлое воображеніе можетъ представить себѣ. Вотъ—та точка зрѣнія, съ которой слѣдуетъ понимать и писать русскую исторію“.

Пушкинъ на этой „точкѣ зрѣнія“ не стоялъ... Не раздѣляя пессимизма Чаадаева, онъ приходилъ однако въ отчаяніе отъ русской дѣйствительности того времени—и, въ общемъ, одобрялъ выступленіе Чаадаева. Послѣдній, повидимому, увидѣлъ въ письмѣ Пушкина сильную нравственную поддержку себѣ: Соболевскій говорилъ Смирновой, что Чаадаевъ былъ въ восторгѣ, получивъ письмо, и сейчасъ послалъ ему (Соболевскому) копію его („Записки Смирновой“, II, 16).

Одинаково отрицательно относились къ современной русской дѣйствительности и западники, и передовые славянофилы. Различіе между ними сводилось, между прочимъ, къ тому, что въ то время какъ славянофилы идеализировали до-

---

[1]) Курсивъ мой.

петровскую Русь и отрицали реформу Петра, западники, напротивъ, возвеличивали Петра (вспомнимъ восторженныя страницы Бѣлинскаго, ему посвященныя) и относились отрицательно къ идеаламъ и основамъ до-петровской, преимущественно Московской Руси. Но и тѣ, и другіе не теряли вѣры въ будущее Россіи и были безконечно далеки отъ того національнаго самоотрицанія и самоуничиженія, выразителемъ котораго явился Чаадаевъ. Но это національное самоотрицаніе, безъ всякого сомнѣнія, послужило могущественнымъ стимуломъ для развитія какъ западнической, такъ и славянофильской идеологіи.

И многое изъ того, что передумали, перечувствовали, что создали, что высказали благороднѣйшіе умы эпохи, — Бѣлинскій, Грановскій и Герценъ, К. Аксаковъ, Ив. Кирѣевскій, Хомяковъ, потомъ Самаринъ и др.,—было какъ бы „отвѣтомъ“ на вопросъ, поднятый Чаадаевымъ. Словно въ опроверженіе пессимистическихъ идей Чаадаева явилось поколѣніе замѣчательныхъ дѣятелей, умственная и моральная жизнь которыхъ положила начало нашему дальнѣйшему развитію. Чаадаеву вся русская исторія казалась какимъ-то недоразумѣніемъ, безсмысленнымъ прозябаніемъ въ отчужденіи отъ цивилизованнаго міра, идущаго впередъ,—славянофилы и западники стремились уяснить смыслъ нашего многовѣковаго прошлаго, заранѣе полагая, что онъ былъ, и что русская исторія, какъ и западно-европейская, можетъ и должна имѣть свою „философію“. Расходясь въ пониманіи смысла нашей исторической жизни, они сходились въ скорбномъ отрицаніи настоящаго и въ стремленіи заглянуть въ будущее, въ упованіи на будущее, которое Чаадаеву представлялось ничтожнымъ и безнадежнымъ.

Въ своемъ законченномъ видѣ чаадаевское отрицаніе стоитъ у насъ одиноко, какъ своего рода „unicum“ (если не считать доцента Печорина и другихъ „русскихъ католиковъ“), но его элементы найдутся въ изобиліи и въ XVIII-мъ вѣкѣ (когда въ такомъ ходу было презрѣніе образованныхъ людей, „вольтеріанцевъ“ изъ высшаго круга, ко всему русскому), и въ

XIX-мъ, начиная хотя бы чудачествомъ С. Глинки и кончая скептицизмомъ И. С. Тургенева и рѣчами Потугина въ „Дымѣ“ [1]. — Безъ всякаго сомнѣнія, „чаадаевщина“ и даже въ ея крайнемъ, „католическомъ“ выраженіи есть явленіе вполнѣ русское, даже „слишкомъ русское“... Оно съ необходимостью вытекаетъ изъ психологическихъ отношеній мыслящаго ума къ русской дѣйствительности, взятой какъ въ данный моментъ, въ эпоху николаевской реакціи, такъ и въ ея историческомъ (позволю себѣ такъ выразиться) „протяженіи“: „тьма и пугающее отсутствіе свѣта“ (по выраженію Гоголя) въ данный моментъ, какъ и во всѣ „моменты“ (если взять всю Россію цѣликомъ), „отчужденность и рабство“ въ прошломъ, культурная отсталость на всѣхъ поприщахъ, „обломовщина“ всѣхъ видовъ, во всѣхъ „званіяхъ“ и „состояніяхъ“, вѣчныя историческія сумерки, унылый фонъ картины, тусклый колоритъ жизни, не развитіе, а именно только „протяженіе“ въ вѣкахъ... Оттуда легкость, съ какою русскій мыслящій и чувствующій человѣкъ впадаетъ при случаѣ въ „чаадаевское“ настроеніе, образчикъ котораго мы встрѣтили выше въ письмѣ Пушкина; другіе образчики легко найдемъ у Гоголя, въ „Дневникѣ“ Герцена, въ „Дневникѣ“ Никитенка, въ письмахъ и сочиненіяхъ Тургенева и т. д.

„Чаадаевскія настроенія“ у многихъ лицъ и въ разное время появлялись спорадически, „при случаѣ“ (а „случаевъ“ всегда было достаточно), потомъ исчезали... Наиболѣе стойкими и затяжными были они въ тяжелое дореформенное время, въ 30-хъ и 40-хъ гг.,—преимущественно у „лишнихъ людей“, психологію которыхъ я старался раскрыть въ главахъ IV—VII первой части этого труда.—Въ дополненіе къ тому, что сказано тамъ на эту тему, укажемъ здѣсь на соотвѣтственныя черты и настроенія, воплощенныя въ фигурѣ Бельтова, героя знаменитаго въ свое время романа Герцена „Кто виноватъ“.

---

[1]) Эту нить я старался прослѣдить во „Введеніи“ къ „Этюдамъ о творчествѣ И. С. Тургенева“ (изд. 2-ое, 1904 г.).

II.

Бельтовъ.

Кто виноватъ, что Бельтовъ оказался „лишнимъ человѣкомъ", „празднымъ туристомъ", не способнымъ найти себѣ подходящаго дѣла въ жизни?

Добролюбовъ, который питалъ какъ-бы органическое отвращеніе къ типу „людей 40-хъ гг.",—ко всѣмъ этимъ Бельтовымъ, Рудинымъ и т. д., сказалъ бы намъ, что „виноватъ" прежде всего самъ Бельтовъ, „виноватъ" тѣмъ, что онъ — баринъ, баловень, бѣлоручка, человѣкъ безъ выдержки, не способный къ труду и т. д. Для обоснованія такого взгляда въ романѣ найдется не мало данныхъ. Вспомнимъ хотя бы слѣдующія строки: „Побился онъ съ медициной да съ живописью, покутилъ, поигралъ да и уѣхалъ въ чужіе края. Дѣла, само собою разумѣется, и тамъ ему не нашлось; онъ занимался безсистемно, занимался всѣмъ на свѣтѣ, удивлялъ нѣмецкихъ спеціалистовъ многосторонностью русскаго ума; удивлялъ французовъ глубокомысліемъ, и въ то время, какъ нѣмцы и французы дѣлали много, онъ—ничего[1]); онъ тратилъ свое время, стрѣляя изъ пистолета въ тирѣ, просиживая до поздней ночи у ресторановъ и отдаваясь тѣломъ, душею и кошелькомъ какой-нибудь лореткѣ". (Часть II, гл. I).

Герценъ, вообще, не щадитъ своего героя и нерѣдко самъ предъявляетъ ему обвиненія, которыя суровые обвинители 50—

[1]) Курсивъ мой.

60-хъ гг. могли бы только повторить. Прочтемъ еще: „Несмотря на то, что, среди видимой праздности, Бельтовъ много жилъ мыслью и страстями, онъ сохранилъ отъ юности отсутствіе всякаго практическаго смысла въ отношеніи своей жизни"... Этимъ Герценъ мотивируетъ несчастную мысль Бельтова служить по выборамъ: онъ долженъ былъ заранѣе знать, что ничего изъ этого не выйдетъ, что это — совсѣмъ не его дѣло. Побуждаемый, послѣ безплодныхъ скитаній, „болѣзненною потребностью дѣла", онъ не сумѣлъ найти его и сунулся туда, куда не слѣдовало. Это даетъ поводъ къ слѣдующимъ размышленіямъ: „Счастливъ тотъ человѣкъ, который продолжаетъ начатое, которому преемственно передано дѣло: онъ рано пріучается къ нему, онъ не тратитъ полжизни на выборъ, онъ сосредоточивается, ограничивается для того, чтобъ не расплыться,—и производитъ. Мы чаще всего начинаемъ жить вновь, мы отъ отцовъ своихъ наслѣдуемъ только движимое и недвижимое имѣніе, да и то плохо хранимъ; оттого по большей части мы ничего не хотимъ дѣлать, а если хотимъ, то выходимъ на необозримую степь,—иди, куда хочешь, во всѣ стороны — воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездѣйствіе, наша дѣятельная лѣнь. Бельтовъ совершенно принадлежалъ къ подобнымъ людямъ"... (II, I; „Сочин.", т. I, стр. 205—206).

Эти замѣчательныя слова заставляютъ насъ призадуматься надъ вопросомъ: „кто виноватъ?"—и заподозрѣть, что этотъ вопросъ принадлежитъ къ числу очень сложныхъ, очень мудреныхъ и „очень русскихъ". И прежде всего приходитъ намъ въ голову мысль, что, въ концѣ концовъ, „виновато" отсутствіе культурной и умственной традиціи, въ силу чего даровитый человѣкъ не получаетъ надлежащей выдержки въ трудѣ, не находитъ себѣ спеціальнаго дѣла, не можетъ стать работоспособнымъ дѣятелемъ жизни. „Виновато"... отсутствіе... Иначе говоря, „виновато" все наше историческое прошлое,—та „отчужденность" и то „рабство", зрѣлище которыхъ явилось основаніемъ Чаадаевскаго пессимизма и отрицанія. Конечно, отсюда еще далеко до систематизированнаго и по-

слѣдовательно-проведеннаго національнаго самоуничиженія въ духѣ Чаадаева (и среди западниковъ Герценъ всего менѣе былъ склоненъ къ тому), но вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ уже дана психологическая возможность „чаадаевскаго настроенія“.

Это настроеніе возникло у Бельтовыхъ, помимо всякихъ теорій и всякой „философіи исторіи“, уже изъ голаго факта ихъ враждебнаго столкновенія съ тогдашнею русскою дѣйствительностью.— Явившись въ городъ NN, Бельтовъ скоро возбудилъ противъ себя ненависть всѣхъ помѣщиковъ и всѣхъ чиновниковъ. Почему? Да просто потому, что Бельтовъ—не Пав. Ив. Чичиковъ (стр. 206), что мѣстное общество видитъ въ немъ человѣка чужого, и притомъ стоящаго неизмѣримо выше среды и презирающаго эту среду. Прочтемъ: „... Бельтовъ—человѣкъ, вышедшій въ отставку, не дослуживши 14 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ до знака, какъ замѣтилъ помощникъ столоначальника,—любившій все то, чего эти господа терпѣть не могутъ, читавшій вредныя книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталецъ по Европѣ, чужой дома, чужой и на чужбинѣ, аристократическій по изяществу манеръ и человѣкъ XIX вѣка по убѣжденіямъ,—какъ его могло принять провинціальное общество? Онъ не могъ войти въ ихъ интересы, ни они въ его, и они его ненавидѣли, понявъ чувствомъ, что Бельтовъ—протестъ, какое-то обличеніе ихъ жизни, какое-то возраженіе на весь порядокъ ея...“ (II, I; стр. 206.),— Бельтовъ—представитель передовыхъ идей, просвѣщенія, гуманности. И его ненавидятъ и преслѣдуютъ не столько какъ лицо и „аристократа по манерамъ“, сколько именно какъ человѣка просвѣщеннаго и передового. Это—органическое отвращеніе среды ко всему, что такъ или иначе отзывается гуманностью, умственными интересами, идеологіей. Оттуда у Бельтовыхъ—въ свою очередь— отвращеніе, презрѣніе и родъ ненависти къ этой средѣ: готовая психологическая почва для настроеній болѣе или менѣе „чаадаевскихъ“,—въ особенности если человѣкъ не склоненъ сваливать всю вину на всемогущія „условія“ дореформенныхъ порядковъ и проникнетъ глубже въ самую суть вещей, и сумѣетъ по-

нять всю „самобытность“ и всю мощь нашей дикости, нашей культурной скудости, нашей отсталости и вялости,—этой національной порчи нашей, излѣченіе которой есть задача вѣковъ... Взоръ Герцена проникалъ глубоко, взоръ Бѣлинскаго еще глубже, но только Гоголь, своею геніальною вдумчивостью художника, сумѣлъ вскрыть самую суть русской „бѣдности да бѣдности“, тьмы и косности русской жизни,—какъ впослѣдствіи умѣлъ дѣлать это только—Чеховъ.

Одно сопоставленіе невольно напрашивается. Черезъ 50 лѣтъ послѣ того, какъ Герценъ разсказалъ намъ исторію Бельтова, Чеховъ разсказалъ намъ исторію доктора Старцева („Іонычъ“ 1898 г.), который столь же одиноко и скверно чувствуетъ себя въ городѣ С., какъ чувствовалъ себя Бельтовъ въ городѣ NN. Докторъ Старцевъ—не чета Бельтову: онъ не идеалистъ, не идеологъ, не „скиталецъ“; онъ—просто человѣкъ наживы; но онъ уменъ, образованъ, и въ молодости у него были и умственные интересы, и стремленіе къ живой дѣятельности. Прошли годы. Старцевъ разбогатѣлъ, ожирѣлъ, опустился; но при всемъ томъ между нимъ и средою—цѣлая пропасть. „Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своимъ видомъ раздражали его. Опытъ научилъ его мало-по-малу, что пока съ обывателемъ играешь въ карты или закусываешь съ нимъ, то это мирный, благодушный и даже неглупый человѣкъ; но стоитъ только заговорить съ нимъ о чемъ-нибудь несъѣдобномъ, напримѣръ, о политикѣ или наукѣ, какъ онъ становится втупикъ или заводитъ такую философію, тупую и злую, что остается только махнуть рукой и отойти...“

За эти 50 лѣтъ, протекшіе отъ Бельтова до Старцева,—чего-чего только не было! Были реформы, и была реакція, были войны и революціонныя движенія, былъ прогрессъ литературы, науки, школы, былъ и упадокъ школы, науки, литературы, Россія покрылась сѣтью желѣзныхъ дорогъ, возникала и падала крупная промышленность, организовалось рабочее движеніе, разорилось крестьянство, размножались и лопались банки и т.д. и т. д.,—все

условія измѣнились,—а культурная бѣдность все та-же, темнота все та-же, „философія“ обывателя попрежнему „тупа и зла“, и психологическія отношенія мало-мальски просвѣщеннаго человѣка къ окружающей средѣ, къ обществу остаются, въ существѣ дѣла, такими же, какими они были 50 лѣтъ назадъ.

Но возвратимся къ Бельтову. Герценъ отнюдь не склоненъ сваливать всю „вину“ на среду, на ея отсталость и темноту (хотя и очень подчеркиваетъ эту сторону вопроса). Какъ мы указали выше, онъ не щадитъ своего героя. Между прочимъ, онъ обращаетъ вниманіе на воспитаніе Бельтова, какъ на одну изъ причинъ его непригодности къ живому дѣлу, его неумѣнія дѣйствовать въ данной средѣ и вліять на нее: „У него недоставало того практическаго смысла, который выучиваетъ человѣка разбирать связный почеркъ живыхъ событій; онъ былъ слишкомъ разобщенъ съ міромъ, его окружавшимъ. Причина этой разобщенности Бельтова понятна; Жозефъ [1]) сдѣлалъ изъ него человѣка вообще, какъ Руссо изъ Эмиля; университетъ продолжалъ это общее развитіе; дружескій кружокъ изъ пяти-шести юношей, полныхъ мечтами, полныхъ надеждами настолько большими, насколько имъ еще была неизвѣстна жизнь за стѣнами аудиторіи,— болѣе и болѣе поддерживалъ Бельтова въ кругу идей, не свойственныхъ, чуждыхъ средѣ, въ которой ему приходилось жить“...— Когда Бельтовъ, наконецъ, вступилъ въ жизнь и столкнулся съ дѣйствительностью,—онъ „очутился въ странѣ, совершенно ему неизвѣстной, до того чуждой, что онъ не могъ приладиться ни къ чему“... (ч. II, гл. I).

Это уже черта времени, и очень характерная, и вмѣстѣ съ тѣмъ—черта того класса, къ которому принадлежало тогда большинство передовыхъ дѣятелей, идеологовъ эпохи. Такъ воспитывались Герценъ, Огаревъ, Станкевичъ, Грановскій и др. Это было наслѣдіе XVIII-го вѣка: молодое поколѣніе 30-хъ годовъ (высшихъ

---

[1]) Его воспитатель, швейцарецъ, идеалистъ, раціоналистъ, поклонникъ Ж. Ж. Руссо.

классовъ общества) выращивалось искусственно и теплично, въ отчужденіи отъ окружающей среды, отъ другихъ классовъ общества, и отчасти (конечно, уже гораздо меньше, чѣмъ отцы, люди XVIII-го вѣка) денаціонализировалось, усваивая французскій языкъ, какъ родной, и воспитываясь почти исключительно на иностранныхъ литературахъ и вообще на матеріалѣ не русскомъ, иностранномъ. Этому обстоятельству Герценъ придаетъ большое значеніе, что видно между прочимъ изъ слѣдующей мѣткой характеристики Жозефа, воспитателя Бельтова: „Онъ былъ человѣкъ отлично образованный... Въ дѣлѣ воспитанія мечтатель съ юношескою добросовѣстностью видѣлъ исполненіе долга, страшную отвѣтственность; онъ изучилъ всевозможные трактаты о воспитаніи и педагогіи отъ Эмиля и Песталоцци до Базедова и Николаи; одного онъ не вычиталъ въ книгахъ, — что важнѣйшее дѣло воспитанія состоитъ въ приспособленіи молодого ума къ окружающему, что воспитаніе должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, такъ, какъ для каждой страны, еще болѣе для каждаго сословія, а можетъ быть и для каждой семьи должно быть свое воспитаніе [1]). Этого женевецъ не могъ знать; онъ сердце человѣческое изучалъ по Плутарху; онъ зналъ современность по Мальтъ-Брену и статистикамъ; онъ въ 40 лѣтъ безъ слезъ не умѣлъ читать „Донъ-Карлоса“, вѣрилъ въ полноту самоотверженія, не могъ простить Наполеону, что онъ не освободилъ Корсики, и возилъ съ собой — портретъ Паоли. Правда, и онъ имѣлъ горькія столкновенія съ міромъ практическимъ: бѣдность, неудачи крѣпко давили его, но онъ отъ этого еще менѣе узналъ дѣйствительность [2]). Печальный бродилъ онъ по чуднымъ берегамъ своего озера, негодующій на свою судьбу, негодующій на Европу, и вдругъ воображеніе указало ему на сѣверъ—на новую страну, которая, какъ Австралія въ физическомъ отношеніи, представляла

[1]) Курсивъ мой. [2]) Курсивъ мой.

въ нравственномъ что-то слагающееся въ огромныхъ размѣрахъ, что-то иное, новое, возникающее... Женевецъ купилъ себѣ исторію Левека, прочелъ Вольтерова „Петра I-го" и черезъ недѣлю пошелъ пѣшкомъ въ Петербургъ. При дѣвственномъ взглядѣ своемъ на міръ, женевецъ имѣлъ какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель неисправимъ: онъ останется на вѣки вѣковъ ребенкомъ". (Ч. I, гл. VI).

Передъ нами—типичная фигура мечтателя-доктринера, какихъ было много въ XVIII-мъ вѣкѣ (въ Зап. Европѣ). Этотъ типъ встрѣчался нерѣдко и въ XIX-мъ, по крайней мѣрѣ въ первой половинѣ его. Онъ характеризовался смѣсью раціонализма съ сентиментальностью („холодный мечтатель"—по выраженію Герцена), склонностью къ построенію отвлеченнаго человѣка, оторваннаго отъ мѣста и времени, лишеннаго живыхъ чертъ націи, класса, быта, и—къ оперированію надъ этимъ фантомомъ съ помощью идей и пріемовъ (педагогическихъ, политическихъ, моральныхъ), выведенныхъ дедуктивно изъ апріорныхъ предпосылокъ, являвшихъ ложный видъ самоочевидности, „аксіомъ". Это походило на ту медицинскую школу, которая отправлялась не отъ наблюденія и опыта, не отъ клинической индукціи, а отъ предвзятыхъ общихъ положеній, которыя представлялись безспорными, а потомъ, при первомъ-же прикосновеніи научной критики, оказались вздоромъ...

Въ области морали, политики, педагогіи, за отсутствіемъ научной критики, нерѣдко ея обязанность исполняла сама жизнь. Вотъ какъ Герценъ рисуетъ результаты воспитанія, полученнаго Бельтовымъ: „Ни мать, ни воспитатель, разумѣется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготовляютъ Володѣ этимъ отшельническимъ воспитаніемъ. Они сдѣлали все, чтобъ онъ не понималъ дѣйствительности; они рачительно завѣсили отъ него, что дѣлается на сѣромъ свѣтѣ, и, вмѣсто горькаго посвященія въ жизнь, передали ему блестящіе идеалы; вмѣсто того, чтобъ вести на рынокъ и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балетъ и увѣрили ре-

бенка, что эта грація, что это музыкальное сочетаніе движеній съ звуками—обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственнаго Каспара Гаузера"... (Часть I, гл. VI).

Въ XVIII-мъ вѣкѣ и въ первой половинѣ XIX-го это было—въ томъ классѣ, къ которому принадлежалъ Герценъ—„больное мѣсто", и неудивительно, что въ романѣ „Кто виноватъ?" ему удѣлено такъ много вниманія. Вопросъ о воспитаніи Бельтова выдвинутъ впередъ и (какъ это уже видно по вышеприведеннымъ выдержкамъ) освѣщенъ такъ, что читателю невольно навязывается искушеніе— на вопросъ „кто виноватъ?" отвѣтить: виноватъ женевскій педагогъ, M-r Жозефъ... Иначе говоря, „виновата" его педагогическая система, „виноватъ" Ж. Ж. Руссо, „виновата" раціоналистическая идеологія XVIII-го вѣка. Но это уже значитъ—сваливать съ больной головы на здоровую. Раціоналистическая идеологія была законнымъ и исторически-необходимымъ продуктомъ западно-европейской умственной культуры. Пересаженная въ Россію въ XVIII-мъ вѣкѣ, она либо вырождалась въ лицемѣрное и сентиментальное фразерство (вспомнимъ „республиканца" и крѣпостника Карамзина), либо отъ нея оставалось „жеманство—больше ничего"[1]), либо, наконецъ, у людей истинно-просвѣщенныхъ и искреннихъ, она еще рѣзче оттѣняла наше „отчужденіе" и „рабство",—все то, что послужило психологическимъ основаніемъ чаадаевскаго пессимизма. „Лишніе люди", воспитанные такъ, какъ воспитался Бельтовъ, еще больше чувствовали свое одиночество среди русской дѣйствительности; это воспитаніе и идеалы, имъ внушенные, казались имъ тяжелымъ бременемъ, своего рода веригами, пожалуй—крестомъ, который, волею судебъ, выпалъ имъ на долю. Это было все то же „горе отъ ума"; лишніе люди—идеологи—становились, при новыхъ условіяхъ, въ положеніе Чацкаго. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого положенія и являлись тѣ настроенія, которыя мы называемъ „чаадаевскими". Выходъ оттуда былъ одинъ: распространеніе умственной культуры въ болѣе широкихъ

[1]) Выраженіе Пушкина въ „Евг. Он.".

кругахъ общества. Поскольку „лишніе люди“, идеологи 30-хъ—40-хъ годовъ, служили этому дѣлу, постольку они становились все менѣе и менѣе „лишними“ и, соотвѣтственно, шли на убыль и ихъ „чаадаевскія настроенія“. Но всегда оставался отъ нихъ нѣкоторый остатокъ или осадокъ—и еще долго будетъ оставаться. Полное, окончательное устраненіе психологической чаадаевщины это все еще дѣло будущаго... Она исчезнетъ только вмѣстѣ съ нашей культурною отсталостью, темнотою массъ, дикими понятіями, жестокими нравами...

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Глава I. М. Е. Салтыковъ (Щедринъ) въ 50—60-хъ гг. . . 1

Глава II. Политическая сатира Салтыкова.—„Исторія одного города“. 24

Глава III. Духъ времени и направленія 60-хъ годовъ.— „Дымъ“ Тургенева 39

Глава IV. Базаровъ, какъ отрицатель и какъ общественно-психологическій и національный типъ 68

Глава V. „Кающіеся дворяне“ и разночинцы 60-хъ годовъ. 111

Глава VI. Глѣбъ Успенскій въ концѣ 60-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ. 132

Глава VII. Глѣбъ Успенскій въ 70-хъ годахъ.—Интеллигенція и народъ. 163

Глава VIII. Глѣбъ Успенскій. — Власть земли. — Классовая психологія крестьянства 186

Глава IX. Передовая идеологія 70-хъ годовъ.—Лавровъ и Михайловскій. 221

Глава X. „Мирные пропагандисты“.—Поколѣніе 70-хъ г. . . 249

Глава XI. Достоевскій въ 70-хъ годахъ 270

Глава XII. Идейное наслѣдіе Достоевскаго. 289

Глава XIII. 80-е годы.—„На ущербѣ“, романъ П. Д. Боборыкина. 317

Приложенія:

I. Чаадаевъ и русское національное самоотрицаніе. . . . 339

II. Бельтовъ 348

I ОТДѢЛЪ.

Политическая библіотека.

В. Вильсонъ. Государство. Прошлое и настоящее конституціонныхъ учрежденій. М. 1906 г. Цѣна 3 р. 75 к.

Предисловіе Максима Ковалевскаго. Переводъ подъ редакціей А. С. Ященко, съ приложеніемъ текста конституціонныхъ актовъ.

Ольстонъ. Краткій очеркъ современныхъ конституцій, съ приложеніемъ очерка конституціи Англіи. М. 1905 г. Ц. 15 к.

Георгъ Мейеръ. Избирательное право, въ 2-хъ част. Историческая и общая части. Съ предисловіемъ Георга Іеллинека. М. 1905 г. Цѣна 3 руб.

Собраніе конституцій. 19 конституціонныхъ актовъ. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 25 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ I. Конституціи Франціи, Германіи, Пруссіи, Швейцаріи. Декларація правъ. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ II. Конституціи Австро-Венгерской имперіи, Австріи, Венгріи и Соединенныхъ Штатовъ. М. 1905 г. Цѣна 30 коп.

Собраніе конституцій. Выпускъ III. Конституціи Швеціи, Норвегіи. Актъ Уніи 1905 М. г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ IV. Конституціи Болгаріи, Греціи, Румыніи и Сербіи. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ V. Конституціи Австраліи, Японіи и Бельгіи. М. 1906 г. Цѣна 30 к.

Г. Брандесъ. Великій человѣкъ. (Начало и цѣль цивилизаціи). Лекція, читанная въ Высшей Русской школѣ въ Парижѣ. Переводъ Н. Эфроса. М. 1905 г. Цѣна 40 к.

Тардъ. Отрывки изъ исторіи будущаго. Переводъ Н. Н. Полянскаго. М. 1906 г. Ц. 40 к.

Г. Іеллинекъ. Право меньшинства. Докладъ, читанный въ юридическомъ Обществѣ въ Вѣнѣ. М. 1906 г. Изданіе 2-е. Цѣна 20 к.

А. А. Титовъ. Изъ воспоминаній о студенческомъ движеніи. Москва въ 1901 г. М. 1906 г. Цѣна 30 к.

Декабристы и тайныя общества въ Россіи въ началѣ XIX вѣка. Слѣдствіе. Судъ. Приговоръ. Амнистія. Оффиціальные документы. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

М. Ковалевскій. Ученіе о личныхъ правахъ. М. 1906 г. Изданіе 2-е. Цѣна 40 к.

Н. Полянскій. Свобода стачекъ. Исторія завоеванія коалиціонной свободы во Франціи. М. 1906 г. Цѣна 40 к.

Мильо. Тактика соціализма въ рѣшеніяхъ международныхъ конгрессовъ. М. 1906 г. Цѣна 75 к.

Рѣчь Робеспьера о свободѣ печати, произнесенная въ якобинскомъ клубѣ 11 мая 1807 г. и повторенная въ Національномъ Собраніи 2 августа того же года. М. 1906 г. Цѣна 10 к.

А. И. Герценъ. Къ развитію революціонныхъ идей въ Россіи. М. 1906 г. Цѣна 50 к.

Бебель. Женщина и соціализмъ. Полный переводъ съ послѣдняго нѣмецкаго изданія. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Процессъ 193-хъ. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Процессъ 50-ти. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Снмагинъ. Отвѣтственность министровъ. М. 1906 г. Цѣна 10 коп.

Хроника соціалистическаго движенія. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Тунъ. Исторія революціонныхъ движеній въ Россіи. М. 1906 г. Ц. 35 к.

Ольшевскій. Бюрократія. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Науманъ. Демократія и императорская власть. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

К. Диль. Соціализмъ, коммунизмъ и анархизмъ. Полный переводъ съ нѣм. изд. М. 1907 г. Цѣна 75 к.

Рѣчи и біографіи участниковъ процесса 193-хъ и 50-ти. М. 1907 г. Цѣна 1 руб.

Дамашке. Земельная реформа. М. 1907 г. Цѣна 75 к.

П. Луи. Рабочій и государство. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 75 к.

Орландо. Принципы конституціоннаго права. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

И. И. Поповъ. Дума народныхъ надеждъ. М. 1907 г. Ц. 85 к.

Викторъ Обнинскій. Лѣтопись русской революціи. Выпускъ 1-ый. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Викторъ Обнинскій. Лѣтопись русской революціи. Выпускъ 2-ой. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Петрашевцы. Процессы Николаевской эпохи. М. 1907 г. Ц 1 р.

II ОТДѢЛЪ.

Научная библіотека.

Д-ръ Котикъ. Эманація психо-физической энергіи. М. 1907 г. Цѣна 60 к.

А. Риги. Современная теорія физическихъ явленій (радіоактивность, іоны, электроны). М. 1906 г. Цѣна 80 к.

Э. Жаваль. Среди слѣпыхъ. Практическіе совѣты для лицъ, потерявшихъ зрѣніе. Переводъ Г. Г. Оршанскаго. М. 1905 г. Цѣна 60 к.

В. Оствальдъ. Школа химіи. Первая часть, переводъ Евг. Раковскаго. М. 1904 г. Цѣна 1 р.

В. Оствальдъ. Школа химіи. Вторая часть. М. 1905 г. Ц. 1 р.

Сельско-хозяйственный анализъ. Составили: пр. Сельско-хозяйственнаго Института Демьяновъ, ассистенты Виноградовъ и Егоровъ. М. 1907 г. Цѣна 2 руб.

III ОТДѢЛЪ.

Библіотека художественной литературы.

Князь С. Д. Урусовъ. Записки губернатора. М. 1907 г. 1 р. 50 к.

А. А. Лопухинъ (бывш. директоръ департамента полиціи). Изъ итоговъ служебной дѣятельности. М. 1907 г. Цѣна 50 к.

Н. А. Морозовъ. Откровеніе въ грозѣ и бурѣ. 2-ое изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

А. Н. Радищевъ. Полное собраніе сочиненій. т. 1-ый. М. 1907 г. Цѣна 2 р.

А. Н. Радищевъ. Полное собраніе сочиненій, т. 2-ой. М. 1907 г. Цѣна 2 р. 50 к.

Проф. Д. Овсянико-Куликовскій. Исторія русской интеллигенціи (Итоги художественной литературы въ XIX вѣкѣ). 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Проф. Люблинскій. Итоги современнаго искусства и литературы. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, томъ I, съ портретомъ автора и критической статьей Г. Брандеса. М. 1906 г. Ц. 1 р

Содержаніе: Сказка, драма. — Смерть, новелла. — Мгновенія жизни, драма.—Литература, комедія.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-е изд. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Завѣщаніе, драма.—Поручикъ Густель, новелла.— Анатоль, діалоги. — Роковой вопросъ. Рождественскій подарокъ. Эпизодъ. Сувениръ. Прощальный ужинъ. Агонія. Утро Анатоля передъ свадьбой. Жена философа. Послѣднее свиданіе. Бенефисъ. Цвѣты. Мертвые молчатъ.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. III. 2-е изданіе М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Трилогія: Парацельсъ. Подруга. Зеленый попугай.—Покрывало Беатриче.—Одинокой тропой.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. IV. 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Берта Гарланъ. Храбрый Касьянъ. Канунъ Новаго года. Общая добыча.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. V. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Забава, драма.—Интермеццо, драма.—Разсказы.

Артуръ Шницлеръ. Забава, драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, переводъ В. М. Саблина. М. 1899 г. Цѣна 50 к.

Артуръ Шницлеръ. Общая добыча (Пощечина), драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, переводъ Н. Е. Эфроса. М. 1904 г. Цѣна 50 к.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, т. I. Драмы, съ портретомъ и предисловіемъ автора. 2-е изданіе. М. 1907 г. Ц. 1 р.

Содержаніе: Принцесса Маленъ. Вторженіе смерти. Аглавена и Селизета. Слѣпые. Аріана и Синяя Борода. Intérieur.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Драмы: Пеллеасъ и Мелизанда. Смерть Тентажиля. Алладина и Паломидъ. Семь принцессъ. Сестра Беатриса. Монна Ванна. Жуазель.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ III. М. 1905 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Сокровище смиренныхъ. Мудрость и Судьба.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ IV. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сокровенный храмъ. Правосудіе. Эволюція тайны. Царство матеріи. Прошлое. Счастье. Будущее. Жизнь пчелъ.

Морисъ Метерлинкъ. Слѣпые, драма. Переводъ В. М. Саблина Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. М. 1905 г. Цѣна 75 к.

Морисъ Метерлинкъ. Вторженіе, драма. Переводъ В. М. Саблина. М. 1905 г. Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. Цѣна 75 к.

Морисъ Метерлинкъ. Внутри, драма. Переводъ В. М. Саблина. М. 1905 г. Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. Цѣна 50 к.

Морисъ Метерлинкъ. Двѣнадцать пѣсенъ. Переводъ Г. Чулкова. Обложка, рисунки, заставки работы Дудлэ. Нумерованные экземпляры 5 р., ненумерованные—3 р.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, томъ I. Съ преисловіемъ автора и его портретомъ. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 75 к.

Содержаніе: Поємы Аметисты. Въ долинѣ слезъ. Въ часъ чуда. Городъ смерти. Introibo. Рапсодія 1. Epipsychidion. Рапсодія 2. Свѣтлыя ночи. Рапсодія 3. У моря). Cupio Dissolvi.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, томъ II. Съ предисловіемъ автора. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сыны земли (Малярія. Сумерки. Ultima Thule).

Ст. Пшнбышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. III. Съ портретомъ автора. М. 1905 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Homo Sapiens.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. IV. Съ критической статьей автора „О драмѣ и сценѣ". М. 1905 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Драмы (Пляска любви и смерти. Золотое руно. Счастье. Мать. Гости. Снѣгъ).

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. V. Съ портретомъ автора. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 75 к.

Содержаніе: Критика (Къ психологіи индивидуума: Шопенъ и Ницше. Ола Ганссонъ. Путями души. Вступленіе. Афоризмы и Прелюдіи. Эдвардъ Мунхъ. Густавъ Вигеландъ. Шопенъ. Пламенный. Памяти Юлія Словацкаго. Съ куявскихъ полей).

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. VI. М. 1906 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Дѣти сатаны. De profundis.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. VII. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Заупокойная месса. Стихотворенія въ прозѣ. Вѣчная сказка.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ I. Повѣсти и разсказы. М. 1905 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Рабы любви. Сынъ солнца. Закхей. По ту сторону океана. Отъявленный плутъ. Отецъ и сынъ. Царина Савская. Дама изъ Тиволи. Тайное горе. Кольцо. На улицѣ. Енъ Тру. Почтовая лошадь. Рождественская пирушка. Сочельникъ въ горной хижинѣ. Шкиперъ Рейерсенъ. На отмели близъ Нью-Фаундленда. Парижскіе этюды.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. М. 1905 г. Цѣна 1 р.

Редакторъ Линге, романъ.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ III. Повѣсти и разсказы. 2-ое изд. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Голосъ жизни. Маленькія приключенія: (1. Страхъ смерти. 2. Уличная революція. 3. Въ преріи. 4. Привидѣніе. 5. Гастроль). Завоеватель. Викторія.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ IV. Повѣсти и разсказы. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Голодъ. У царскихъ вратъ,—драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ V. Повѣсти и разсказы. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Панъ,—романъ. Вечерняя заря,—драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ VI. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Въ сказочной странѣ.

Киутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, т. VII. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе. Новь—романъ.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, томъ I. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сказки и разсказы.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-е изданіе М. 1907 г. Цѣна въ переплетѣ 2 р., безъ переплета—1 р. 50 к.

Содержаніе: Портретъ Доріана Грея, романъ.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, томъ III. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сказки. Стихотворенія въ прозѣ. Саломея. De profundis (тюрьма).

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, т. IV. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: О соціализмѣ. Герцогиня Падуанская. Вѣеръ леди Уайндермеръ.

Казимиръ Тетмайеръ. Сочиненія, переводъ съ польскаго В. Тучапской. 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: **Отрывки.** Гимнъ Аполлону. Тріумфъ. Двойная смерть. Заколдованная княжна. Карьера попугая. Гробы. Дождь. Недоразумѣніе. Гордость. Изъ афоризмовъ. Ледяная вершина. Монархъ. Кукла. Изъ воспоминаній художника. Къ небу. **Стихотворенія въ прозѣ.** Воспоминаніе. Судъ. Тѣнь. Любовь. Роза. На Везувіѣ. Черный мотылекъ. Надъ потокомъ. Счастье. Журавли. Ель. Къ женщинѣ. Тяжелое будущее. Къ смерти. За стеклянной стѣной. Одна изъ сказокъ. **Бездна.**

Казимиръ Тетмайеръ. Сочиненія. Переводъ А. Торскаго. М. 1907 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Революція—драма.

О. Мирбо. Собраніе сочиненій, т. 2-ой. М. 1907 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Садъ пытокъ—романъ.

Германъ Зудерманъ. Да здравствуетъ жизнь! — Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ. Переводъ, съ разрѣшенія автора, В. М. Саблина. 2-е изд. М. 1902 г. Цѣна 75 к.

Гергартъ Гауптманъ. Эльга, переводъ В. М. Саблина. Ц. 75 к.

Гергартъ Гауптманъ. Красный пѣтухъ. Переводъ В. М. Саблина. М. 1901 г. Цѣна 60 к.

Максъ Гальбе. Потокъ, драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, литографированное изданіе для театровъ. Переводъ В. М. Саблина. М. 1904 г. Цѣна 50 к.

Генрикъ Ибсенъ. Женщина съ моря, драма въ 5-ти дѣйствіяхъ. Переводъ В. М. Саблина. М. 1901 г. Цѣна 40 к.

Э. Лабишъ и Делакуръ. Копилка, комедія - шутка въ 5-ти дѣйствіяхъ, переводъ В. М. Саблина. М. 1902 г. Цѣна 40 к.

Роде. Гауптманъ и Ницше. Критическій очеркъ. М. 1903 г. Ц. 40 к.

Поль Эрвье. Пессимизмъ и современный театръ. Критическій очеркъ. М. 1902 г. Цѣна 30 к.

Треплевъ. Фактъ и возможность. Этюдъ о М. Горькомъ, съ портретомъ М. Горькаго. М. 1904 г. Цѣна 30 к.

Треплевъ. Молодое сознаніе, этюдъ о Вл. Г. Короленко, съ портретомъ В. Г. Короленко. М. 1904 г. Цѣна 40 к.

Треплевъ. Три этюда. М. 1904 г. Цѣна 50 к.

Содержаніе: Радость земли. Механизмъ. Бѣгство отъ земли.

Георгій Чулковъ. Кремнистый путь, стихотворенія и поэмы. М. 1904 г. Цѣна 1 р.

С. Выспянскій. Варшавянка,— драма. Переводъ В. А. Высоцкаго. М. 1906 г. Цѣна 40 к.

Японскія сказки. Переводъ В. Ф. Коршъ. М. 1906 г. Ц. 40 к.

Э. Кей. Вѣкъ ребенка. Первый полный переводъ Е. К.—М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Э. Кей. Очерки. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Э. Кей. Любовь и бракъ. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Танъ. Мужики въ Государственной Думѣ. М. 1907 г. Цѣна 10 к.

Танъ. На тракту,—повѣсть. М. 1907 г. Цѣна 10 к.

Танъ. Красное и черное. Очерки. М. 1907 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Опять на родинѣ. Христосъ на землѣ, фантазія. Сонъ тайнаго совѣтника. На тракту, очерки изъ жизни петербургскихъ рабочихъ. Дни свободы повѣсть изъ московскихъ событій. По губерніи безпокойной. Крестьянскій союзъ. Первый крестьянскій съѣздъ въ Москвѣ. Совѣщаніе въ Гельсингфорсѣ. Мужики въ Думѣ. Долго ли? Легенда о счастливомъ островѣ.

Берентъ. Гнилушки,—романъ. М. 1907 г. Цѣна 2 р.

Печатаются и скоро поступять въ продажу:

Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. VIII.

Лагерлефъ. Собраніе сочиненій.

К. Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, т. VIII.

Н. А. Морозовъ. Воспоминанія.

А. Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. VIII.

М. Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, т. V.

Поступили на складъ:

Бр. Гриммъ. Сказки и легенды въ переводѣ А. Федорова-Давыдова. 2-ое изданіе Уч. К. М. Н. П. **одобрено** въ средн. и низш. уч. зав. Т.т. 1-ый и 2-ой. Цѣна за два тома 3 руб., въ коленкор. пер. 4 руб.

